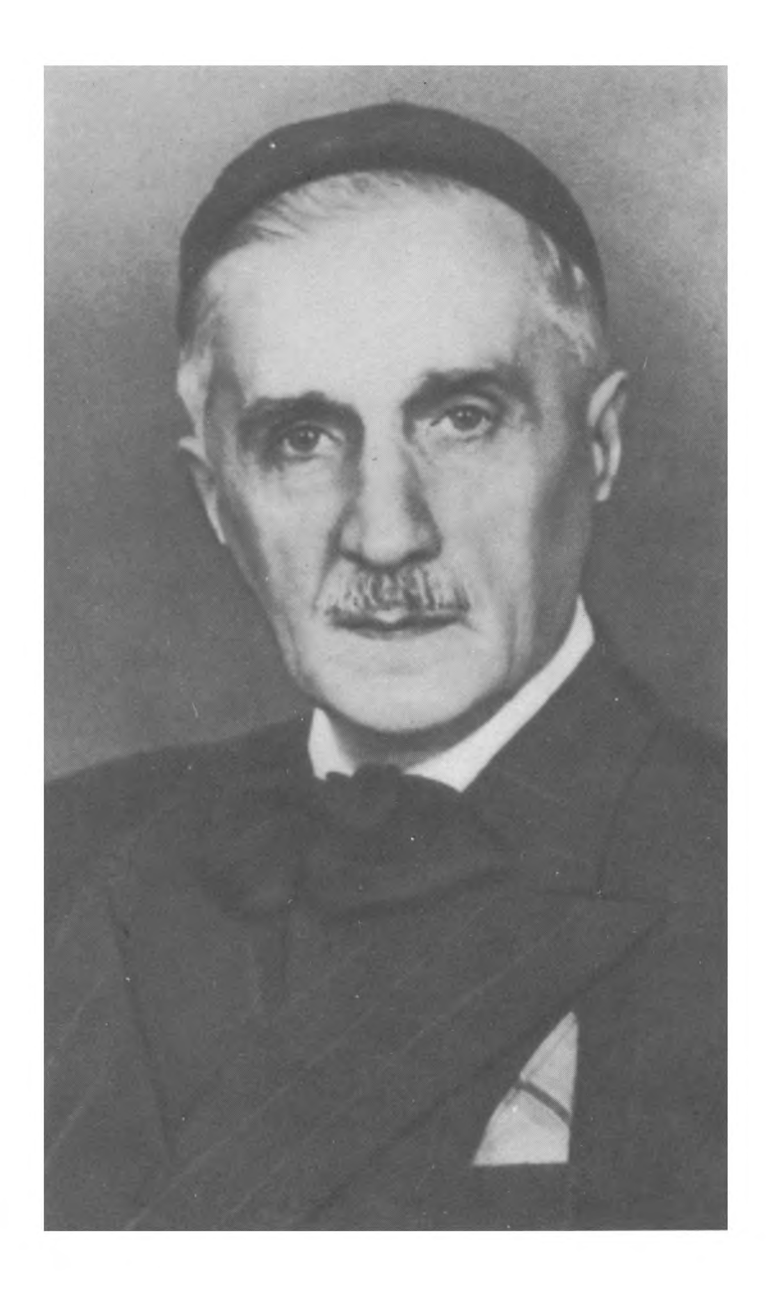
В. ЯН

ОГНИ
НА
КУРГАНАХ





В. ЯН

ОГНИ НА КУРГАНАХ

Исторические повести
Рассказы
Путевые заметки

МОСКВА · СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · 1985

ББК 84.Р7
Я 60

Сборник составлен и подготовлен к печати
М. В. Янчевецким

Фотопортрет В. Яна конца 1940-х годов в Москве

Книга иллюстрирована рисунками В. Яна, его живописными фантазиями и зарисовками на среднеазиатские темы.

На шмуцтитулах помещены рисунки пером и карандашом конца 30-х годов: I — «Джелаль-эд-Дин», II — «Полководец Джебе», III — «Чингиз-хан, каким его увидел во сне В. Ян».

На обороте шмуцтитулов помещены рисунки акварелью конца 20-х годов: I — «Пьяные скифы» и «Скифская симфония», II — «Вечер в скифской степи» и «Вид на Самарканд», III — «Мой конь Ит-Алмаз» и «Улочка в Самарканде, где я жил».

Все примечания к произведениям В. Яна, вошедшим в сборник, принадлежат автору; некоторые откорректированы в соответствии с современными историческими требованиями.

Я $\frac{4702010200-384}{083(02)-85}$ 158—85

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О СМЕЛЫХ БОРЦАХ ЗА СВОБОДУ

Не случайно внимание советских писателей к историческим темам, не случайны их достижения в этой области. Великие исторические повороты всегда обостряли интерес к прошлому — к тем его годам и событиям, когда решались судьбы народов и государств. Этот интерес к прошлому находил свое выражение в общественной мысли, в науке, в публицистике, в художественной литературе. Перед взорами людей, делающих историю, участников больших общественных движений, раскрывалась книга истории, сохраняющая глубочайшую поучительность. Сквозь образы прошлого современники хотели осмыслить законы общественного развития, облегчить понимание настоящего и тем подойти к восприятию будущего.

Величайшее движение нашей эпохи — рождение и победа социалистического строя, так же как Великая Отечественная война советского народа и всего передового человечества против фашизма,— в свою очередь возбудило глубокий интерес к большим историческим событиям прошлого.

Максим Горький, со свойственной ему прозорливостью, своевременно отметил этот интерес. Именно по инициативе великого пролетарского писателя было организовано издание серии исторических романов, в числе которых, на переломе 30-х и 40-х годов, вышли книги В. Яна «Чингиз-хан» и «Батый», принесшие славу писателю.

Горький сам набросал план этого издания, отобрал первые десятки названий. «Исторические романы,— говорил Алексей Максимович,— очень доходчивая форма, они помогают усвоению законов развития общества. Образы исторических романов надолго остаются в сознании». «Я сам,— говорил он,— сколько ни читал книг о Смутном времени на Руси, а Годунова представляю по Пушкину. Надо только отбирать книги, написанные с подлинным знанием истории».

Намечая списки исторических романов, Горький рекомендовал не ограничиваться переизданием старых произведений, а создавать новые книги по темам, которых раньше не касались или изображали неправильно, в том числе нашествия Александра Македонского, Аттилы, Чингиз-хана, других завоевателей. «Нужно при этом,— повторял Горький,— соединить работу историка и литератора».

Книги В. Яна, как составившие его известную историческую эпопею о нашествиях XIII века повести «Чингиз-хан», «Батый», «К По-

следнему морю», «Юность полководца» (Александр Невский), так и вошедшие в данный сборник повести «Огни на курганах» и «На крыльях мужества», исторические рассказы и автобиографические записи, в полной мере являются выполнением заветов Максима Горького.

Более полувека назад мне посчастливилось встречаться с Алексеем Максимовичем Горьким, участвовать в реализации некоторых из многих его замыслов, работать в основанных им изданиях, продолжавших свое существование и после кончины писателя.

В конце 30-х годов, будучи ответственным секретарем «Истории гражданской войны в СССР» и членом редколлегии серии «Исторические романы», мне приходилось знакомиться с планами новых изданий, а иногда рукописями, предложенными к публикации в серии, где издавались преимущественно уже зарекомендовавшие себя книги известных иностранных и советских авторов, такие, например, как «Собор Парижской богоматери» В. Гюго, «Черная стрела» Р. Стивенсона, «Граф Роберт Парижский» В. Скотта или «Салават Юлаев» С. Злобина, «Пархоменко» Вс. Иванова, «Шамиль» П. Павленко и другие им подобные по своей известности.

Однажды, протягивая мне рукопись, Горький сказал: «Вот интересная книга. Мне она в общем-то понравилась... Но чувствую... в ней чего-то не хватает. Почитайте рукопись как историк. Отвечает ли она истории?..»

Так попала ко мне объемистая рукопись исторической повести «Чингиз-хан», переданная в редакцию серии автором нескольких исторических произведений, тогда еще малоизвестным писателем В. Яном. Его имя мне мало что говорило, но в редакции серии было известно, что эта рукопись уже несколько лет «ходит» по издательствам, не решающимся ее печатать. Книга настораживала рецензентов как своей темой и содержанием, изображающими мрачную эпоху отечественной истории, охарактеризованную К. Марксом как «кровавое болото монгольского рабства», так и своими необычайными — стилем, формой, языком.

Мне эта рукопись сразу понравилась, и я прочел ее быстро — за два дня. Она оказалась написанной ярко и вдохновенно. Читая ее, сразу видишь перед глазами всю эпоху ее героев. События далеких лет освещены с позиций марксистско-ленинского понимания истории, во многом созвучны современности, повесть пронизана чувством патриотизма. Стало ясно, что это — необходимая книга, заполняющая большой исторический пробел в нашей художественной литературе, ее надо печатать.

По поручению М. Горького несколько позже мы встретились с Василием Григорьевичем Янчевецким (В. Яном) и долго беседовали, очень дружески, о его рукописи. Я сделал несколько замечаний и ре-

комендаций по ее содержанию, сводящихся главным образом к тому, чтобы усилить показ насилия и жертв завоевателя; говорил же К. Маркс о том, что «после прохода монголом трава не росла», и вместе с тем опрокинуть бытовавшее мнение, будто бы монголы проходили через покоряемые страны без всякого сопротивления, как нож сквозь масло.

Горький согласился с моими замечаниями. «Грядет новый Чингиз-хан — Гитлер,— говорил Алексей Максимович,— и надо показать ужас его нашествия... важность и возможность ему сопротивляться...»

Автор с пониманием принял эти пожелания, доработал рукопись в рекомендованном направлении, и в результате — весною 1939 года появилась его прекрасная книга «Чингиз-хан».

Несколько позже, в годы Великой Отечественной войны, писатель выделил из этого романа и развил в самостоятельную повесть тему о борьбе опального наследника трона Хорезм-шахов Джелаль-эд-Дина и его воинов — патриотов-хорезмийцев с нашествием Чингиз-хана. «На крыльях мужества» печаталась в те годы в Средней Азии, в «Библиотеке бойца», книжки посылались на фронты.

Через несколько месяцев после выхода в свет «Чингиз-хана» началась вторая мировая война, возвестившая о появлении современного (тогда) «бронированного Чингиз-хана», и книга В. Яна, рассказывающая о событиях семисотлетней давности, стала необычайно актуальна, бестселлером, читавшимся нарасхват.

Эта повесть, как и появившееся вскоре, накануне вероломного нападения фашистской Германии на СССР, ее продолжение — повесть «Батый», а затем и другие книги исторической эпопеи В. Яна рисовали трагические и героические картины истории, воскрешали образы наших далеких предков, защищавших Родину от завоевателей, и вдохновляли советских воинов, оборонявших родные города и рубежи от армий современных «чингисханов и батыев».

Вошедшие в настоящий сборник повести В. Яна рисуют две исторические эпохи, два нашествия на Среднюю Азию. «Огни на курганах» — это вторжение греко-македонских фаланг величайшего завоевателя Древнего мира Александра Македонского (IV век до н. э.) и отчаянное сопротивление насильникам, проявленное народами под предводительством Спитамена. «На крыльях мужества» — нашествие на те же земли в средневековье (XIII век н. э.) орд Чингиз-хана и борьба с ними хорезмийцев, возглавляемых Джелаль-эд-Дином.

Повести разделены по времени событий, но и объединяет их многое: места действия и населяющие их народы или потомки этих народов, тема вторжения, борьба покоряемых за свою независимость, героические образы борцов за свободу, мрачные фигуры завоевателей.

В этих произведениях автор, не прибегая к готовым обобщениям, лишь отобрав необходимый исторический материал, силой художественного воображения и мастерством писателя воссоздал прошлое двух эпох в рельефных, ярких картинах и живых фигурах персонажей действия, чем ответил на вопрос: почему культурные, высокоразвитые по тем временам цивилизации, страны и народы с многомиллионным населением, были завоеваны и раздавлены иноземным врагом, меньшим по численности, зачастую стоявшим на более низкой ступени общественного развития, но сильным своим единством, военным искусством, грабительской целенаправленностью, вероломством и беспощадностью, как это было в завоеваниях Александра Македонского или Чингиз-хана.

Убедительность и влияние произведений В. Яна в том, в особенности, что его художественные образы не противоречат исторической правде, а, напротив, раскрывают, подтверждают ее.

Повести В. Яна, как и его исторические рассказы, свидетельствуют о тщательном изучении документальных данных эпох и современных исследований и о богатом творческом воображении, всегда основывающемся на жизненной правде. Именно поэтому для В. Яна, глубоко изучившего эпоху, историческая правда и есть художественная правда.

Читатель верит его героям, и если они и не произносили слов, приписанных им автором, то могли бы их произнести. Возможно, некоторых поступков, совершаемых героями этих произведений, не было в действительности, но они могли быть, настолько верно и живо обрисовал писатель образы своих героев.

Вместе с тем автор мастерски владеет словесной живописью. Колоритны его описания древней и старой Азии, в которых яркость красок сочетается с верностью изображения бытовых деталей. В этом В. Яну, несомненно, помогли его личное знакомство с «голубыми далями Азии», путешествия по ее пустыням и горам, городам и селениям, встречи с ее жителями, многие переживания и впечатления, оставшиеся от нескольких лет, проведенных им «под солнцем Азии».

Это сочетание знаний историка, наблюдений путешественника и мастерства писателя позволило В. Яну создать высокохудожественные, немеркнущие во времени исторические произведения как его знаменитой эпопеи, так и вошедшие в этот сборник.

Великолепно написаны исполненные глубокого смысла портреты насмерть перепуганных «властелинов Азии» и их приближенных, ищущих спасения в бегстве, трусливо и предательски бросающих свои народы на разорение, с презрением относящихся к ним беспощадных завоевателей, и светлые образы борцов за свободу, отваж-

ных воинов — скифов, согдов и хорезмийцев, их вождей Спитамена и Джелаль-эд-Дина.

Читатель любовно следит за этими героями, зовущими к упорной борьбе с насильниками, срывающими с них ореол непобедимости, как это показано автором в сценах битв скифов с македонцами у Яксарта и хорезмийцев с монголами у Первана.

Как Спитамен против Александра, так и Джелаль-эд-Дин против Чингиз-хана упорно боролись, собирая вокруг себя смельчаков патриотов. «Защита воина — острие его меча»,— говорит Джелаль-эд-Дин, нанося удары врагу, борясь с ним до конца своих дней, погибая непобежденным. И читателю становится ясно, что если бы примеру гордых борцов за свободу и независимость следовали и другие руководители и народы, завоеватели были бы разбиты и отброшены.

Рисующие трагические и мрачные картины в жизни народов Азии произведения В. Яна по своей природе и убедительности всегда оптимистичны — это их отличительное свойство. В. Ян писал об ужасах нашествий, а создавал произведения о гордых, смелых борцах за свободу, зовущие на беззаветную, самоотверженную борьбу с поработителями.

Ту же тему протеста против угнетения и тирании можно подметить и в сюжетах и героях рассказов В. Яна: это опальные мыслители — ссыльный поэт Овидий и узник канцлер-поэт Пьетро де ла Винья («Овидий в изгнании» и «Возвращение мечты»), беглый раб Тетриний («Трюм и палуба»), Старый Жрец («Голубая сойка Заратустры»), прекраснодушный Сала-Эддин («Три счастливейших дня Бухары»), проводник Ходжом и охотник Максум («В песках Каракума» и «Плавильщики Ванджа»), партизан Каллистратов («Валенки летом») и в других рассказах.

Среди них выделяется замечательный, поэтичный рассказ «Ватан» (Родина), столь живо перекликающийся с событиями и героями сегодняшнего дня в Азии, Африке, Латинской Америке, где лучшие сыны и дочери некоторых все еще порабощенных или угнетаемых народов в жестокой и кровопролитной освободительной борьбе завоевывают себе национальную независимость и свободу.

Произведения В. Яна учат и тому, что завоеватели всех времен, древнейшие и современные, легко достигают своих целей, когда встречают трусливых и разобщенных правителей, предающих свои страны в надежде на пощаду. Так было и сорок лет назад с гитлеровскими бронированными ордами, понадеявшимися на то, что советский народ опустится перед ними на колени, но встретившими не отдельных смельчаков и героев, как в древности, а героев всего монолитного советского народа.

Среди них были и герои из Среднеазиатских советских республик, потомки народов, некогда боровшихся с нашествиями Александра Македонского и Чингиз-хана, ныне объединенные в одной советской семье, вдохновленные любовью к единой Родине, уничтожившие завоевателей нашей эпохи, готовых и дальше самоотверженно защищать свои родные очаги от любых агрессоров, откуда бы они ни появились.

Ныне, в свете обострения международной обстановки, очень своевременно и необходимо издание повестей и рассказов В. Яна, вошедших в сборник, рисующих образы мужественных героев, посвятивших свою жизнь неутомимой справедливой борьбе за свободу и независимость с кровавыми завоевателями Азии.

Это необходимо и потому, что в исторической и художественной литературе все еще высказывается мнение о том, что Александр Македонский и его воины были носителями передовой «европейской культуры», белыми «культуртрегерами» в «варварской Азии», а Чингисханово и Батыево нашествия, где были сломаны и истреблены десятки народов и государств, делались якобы в «прогрессивных целях», чтобы создать единые, большие государства, чем установить «всеобщий мир».

Решительно отражающие и разоблачающие эту антиисторическую тенденцию и антимарксистскую теорию произведения В. Яна, его повести и рассказы написаны удивительно просто, ярко, читаются легко и с огромным интересом. Они поднимают настроение, воспитывают национальную гордость и любовь к их героям.

Нужно отметить и то большое значение, какое выполняют произведения В. Яна в подготовке сознания нашего молодого поколения, знакомящегося с его книгами в домашнем чтении, школе, средних и высших учебных заведениях. Более чем за полвека уже несколько поколений советских и зарубежных читателей, можно сказать, выросли на чтении книг В. Яна, призывающих к самопожертвованию во имя Родины, к интернационализму, миру и дружбе между народами, узнают по страницам его книг эпизоды отечественной истории, образы своих национальных героев.

Общеизвестна выдающаяся патриотическая роль книг В. Яна, проявившаяся в годы Великой Отечественной войны, вдохновлявших образами далеких предков, мужественно защищавших родные очаги советских воинов, разгромивших фашистских завоевателей. Велико их оборонно-патриотическое и воспитательное значение и ныне, когда советский народ отмечает 40-летие Дня Победы в минувшей войне.

Книги В. Яна — острое оружие советской исторической художественной литературы в современной идеологической борьбе с буржуаз-

пыми и иными фальсификаторами истории — и сегодня воспитывают, как в годы войны, в советских читателях чувства патриотизма и интернационализма.

Они могут быть названы образцом правильного подхода литературы к истории, писателя — к историческому произведению, примером образцового сочетания в художественном историческом произведении исторического факта и творческого вымысла.

Сборник произведений В. Яна на среднеазиатскую тематику выпускается впервые. Он будет интересен как общесоюзному и зарубежному читателю, так и, особенно, читателям советских среднеазиатских республик — потомкам наций, населявших некогда Мараканду и Сугуду, Хорезм и Ургенч, другие земли, обильно политые кровью их предков, через какие прошли фаланги Александра Македонского и орды Чингиз-хана.

В памяти советских среднеазиатских народов, в их национальном эпосе, сохраняются овеянные сказочными преданиями легендарные фигуры известных и безымянных героев их тысячелетней истории, неподкупно боровшихся с захватчиками за свободу. Поэтому им будет особо интересно увидеть их живые образы, воскрешенные из тьмы веков силой писательского воображения В. Яна.

Публикуемые в сборнике заметки В. Яна о годах его пребывания в Средней Азии начала XX века, наполненные наблюдениями и переживаниями, составившими содержимое его «кладовой впечатлений», откуда писатель впоследствии черпал «самоцветы» для создания живых и ярких картин своих художественных произведений, представляющих несомненную литературную, историческую и биографическую ценность, записаны со слов писателя и подготовлены к печати его сыном М. В. Янчевецким.

В дополнение к достоинствам произведений писателя В. Яна, ныне хорошо известных, уместно здесь отметить еще одно его достоинство как человека: он сумел воспитать себе преемника, понимающего значение творчества своего отца, ставшего продолжателем его творческих замыслов, сохранившим и подготовившим к печати многие произведения В. Яна, усердно работающим вот уже тридцать лет после кончины писателя ответственным секретарем Комиссии по его литературному наследию, составившим и подготовившим к печати этот сборник. Спасибо за это обоим Янам — отцу и сыну.

Не скрою, для меня было трудно выполнить просьбу написать предисловие к этому сборнику произведений В. Яна, постоянно находясь в цейтноте: подготовка своих трудов, заседания, совещания, далекие командировки... Утомительно и длинно.

Но я вспоминал минувшие годы своих молодых лет, когда мы повстречались и беседовали с В. Яном, и утешением мне было хорошее

чувство от чтения его повестей, рассказов и воспоминаний, составивших сборник, перечитанных дважды, и я с большой настойчивостью рекомендую их современным читателям.

Вполне надеюсь, что им, как и мне, придут на память мысли великого Пушкина:

Два чувства дивно близки нам,—
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Академик И. И. Минц,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственных премий

Москва, 8.IX.1984 г.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ



ОГНИ НА КУРГАНАХ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

АЛЕКСАНДР В ДОЛИНЕ СЕДЫХ ГОР

Кто направлял средь битвы
Молнией властной десницы,
Неумолимый, как рок,
Удар золотых фаланг?..

Из песен Аристоника

МАКЕДОНСКАЯ ЗАСТАВА НА ПЕРЕВАЛЕ

Там, где угрюмый хребет Седых гор[1] прорезан узким ущельем «Священных лоскутов»[2], близ источника Куропаток, под нависшими глыбами зеленоватого гранита с красными прожилками стоят полукругом кожаные палатки, растянутые на кольях. Они выгорели на солнце, и ветер не переставая треплет их.

Огонек костра с треском вспыхивает, когда в него подбрасывают пучок сухих колючек. Порывы холодного ветра уносят клубы густого дыма. Ветер раскачивает длинные стебли растений с желтыми цветами, гонит по дороге сухие листья фисташковых деревьев, которые растут по склону горы, вцепившись корнями в трещины скал. Иногда скатываются легкие высохшие шары перекати-поля и, прыгая, несутся по каменистому ущелью. По обе стороны тропы на всех кустах нацеплены розовые и синие выцветшие лоскутки, оставленные суеверными путниками. Ведь если не оставить подарки духам гор, спрятавшимся в глубине ущелий, то этим можно вызвать их гнев, и они сбросят скалу, напустят болезнь или заставят хромать лошадь и путник не увидит родного дома!

Около костра, кутаясь в порыжелые шерстяные плащи,

[1] Седые горы (Сафэд-кох) — горный хребет к югу от долины Кабула в Афганистане.

[2] До сих пор в этом ущелье путники вешали на ветвях деревьев лоскутки своих одежд в честь «духа гор». Отсюда и название ущелья.

сидят бородатые воины. К огню протянуты их волосатые загорелые ноги, обутые в красные кожаные сандалии, подбитые гвоздями. Ремни от сандалий переплетены до колен. Бронзовые шлемы, сдвинутые на затылки, потемнели от времени и носят следы многих ударов. Обветренные лица темны от пыли и загара. Глаза щурятся от едкого дыма.

— Проклятое место!..— ворчит один.— Холодный ветер дует из этой щели, как из кузнечного меха.

— Но, но! Клянусь Гераклом,— кричит другой воин,— даже кони бесятся здесь, на этом проклятом перевале!

Восемь лошадей привязаны к коновязям, по четыре в ряд, головами в середину, четыре вороных и четыре рыжих. Два жеребца ржали и взвизгивали, стараясь достать друг друга.

Воин прикрикнул на них, схватил несколько длинных жгутов сена и стал раскручивать и пушить их перед присмиревшими конями.

— Аристоник никогда не позаботится о коне! Сидит где-нибудь на скале и мурлычет свою песню.

— Стой!..— раздался крик между скал.— Стой, бродяга, а то я проколю тебе живот!

Все три воина вскочили, схватив копья.

— Аристоник не прозевал! Кто-то хотел пробраться мимо поста. Нужно придержать его.

— Куда идешь?..— раздался сверху новый окрик по-персидски, и между большими камнями заметался странный, тощий человек.

С необычайной легкостью, размахивая руками и широким плащом, похожий на летучую мышь, он бежал по склону горы, прыгая с одной скалы на другую, и к нему спешили наперерез воины, бывшие в дозоре.

Путник сделал несколько прыжков, бросился к костру и здесь опустился на землю.

Этот человек, казалось, не мылся и не стригся от рождения. Длинные волосы, копной стоявшие над головой, спускались по спине чуть ли не до земли; они были заплетены в несколько кос, перевитых и перепутанных между собой и проткнутых на макушке длинными медными булавками. Курчавая бурая борода двумя прядями падала на грудь. Из-под грязной гривы черные глаза бросали недоверчивые, звериные взгляды. Полуголое, почти черное, тощее тело покрывал изодранный плащ, заплатанный яркими лоскутьями. Странник был подпоясан несколькими разноцвет-

ными шнурками[1], на которых висели медные кривые ножи, щипчики, буравчики, сушеные змеи, ящерицы и другие диковинные знахарские принадлежности. На босых ногах налипли слои засохшей грязи. В руках он держал длинный посох; на конце его болталась пустая тыквенная бутылка.

— Кто такой? Куда идешь? — спрашивали воины.

— Иду в Забул[2].— Он махнул рукой на север.— Я бедный атраван[3]. Хожу по свету и избавляю людей от злых дивов[4], посылаемых страшным Ариманом.

— Зачем крадешься по горе, а не идешь по дороге? Значит, ты имеешь дурные мысли! Зачем прячешься?

Атраван поднял к небу длинные костлявые руки:

— Вижу на небе то, что написано великим, всевидящим. Много крови прольется, не все вернутся домой...

— Это мы и без тебя знаем. Сиди здесь, попрошайка! Сколько денег собрал? Говори!..— Воин замахнулся копьем.

Атраван упал на землю и стал причитать:

— Ой, не убивай! Расскажу очень важное! Кто у вас начальник? Только ему скажу.

— Аристоник, иди сюда! Бродяга зовет начальника. Наверное, хочет обмануть! Чтоб с ним больше не возиться, сбросим его на дно ущелья!..

Со скалы спустился молодой воин в войлочной шляпе, завернутый в полосатый шерстяной финикийский плащ. В руках он держал кифару[5], и пальцы рассеянно перебирали струны.

— Кто это? — Воин зевнул и потянулся.

— Попрошайка. Такие постоянно шатаются по всем дорогам и все высматривают. Это самые подозрительные бродяги. Надо его прикончить.

Лохматый странник замотал головой, схватил край своего рваного плаща и стал желтыми зубами отдирать розовую заплатку. Он вытащил небольшой обломок серебряной монеты и протянул темную ладонь.

Аристоник взял монету, внимательно осмотрел ее и сказал воину:

---

[1] Разноцветные шнурки на поясе — признак жреца огнепоклонников.

[2] В описываемое время Кабул — столица Афганистана — населением назывался Забул.

[3] Атраван — ученый жрец огнепоклонников.

[4] Дивы — злые духи бога зла Аримана.

[5] Кифара — деревянный щипковый музыкальный инструмент с семью и более струнами.

— Берда, это нужный человек. На монете изображение нашего базилевса. Это ксюмбаллон[1]. Ты его проведешь прямо в главную канцелярию к экзитазису[2]. Смотри, чтоб его доставить живым... Сиди здесь! — указал он на место у костра.

Из глубины ущелья послышались звонкие крики. Подымаясь по склону горы, приближались запыленные всадники, ослы и верблюды, нагруженные вьюками, возле них погонщики с бичами. Над всеми возвышался огромный серый слон с корзиной на спине. Он величественно шел размеренными шагами и раскачивал толстым хоботом.

— Стойте! Да обезобразит вас Геракл! — Воины скрестили копья.

Караван остановился. Из кожаной палатки вышел начальник поста; он стал обходить и опрашивать прибывших. Рядом с ним шел переводчик в круглой белой войлочной шапке.

Несколько всадников в красных плащах и ярко блистающих шлемах держались надменно и отвечали сухо и отрывисто:

— Посольство из Афин[3]. Нас четверо, пятый слуга. Пропуск есть для свободного проезда по Персии, подписан стратегом Парменионом в Экбатане[4].

— Подождите!

Группа путников, пестро одетых, сидела на ослах.

Они кричали все разом:

— Мы знаем, что славные, непобедимые воины нуждаются во всем — в лекарствах от ран, приборах для бритья, ароматных мазях. Мы и продаем, и обмениваем одни вещи на другие.

— Подождите здесь! Надо осмотреть вьюки.

— Ох, опять подождать! — застонали купцы. — Как остановка, так наши вьюки становятся более тощими!

Пожилой путник в полосатом плаще подъехал на высоком сером муле, покрытом зеленой сеткой с желтой бахро-

---

[1] Ксюмбаллон — предмет с условными знаками, по которым два лица узнают друг друга: например, по двум половинкам разломанной щепки или монеты, концы которых должны сойтись.

[2] Экзитазис — ведающий депешами лазутчиков.

[3] Афиняне были настроены враждебно к македонянам и неоднократно участвовали в открытых выступлениях против Александра.

[4] Парменион — один из старейших военачальников Александра; находился с резервными войсками в Экбатане, важном узловом пункте, охраняя тыловые пути и связь Александра с родиной.

мой. Покрой его одежды и золотистый тюрбан были необычны.

— Посол из вольного города Карт-Хадашта[1] на берегу Ливии[2]. Со мной пять слуг и десять мулов с подарками для славного царя Македонии.

— Что ты бормочешь? Базилевс теперь уже не только царь Македонии, но повелитель всей Азии.

— Я буду счастлив приветствовать царя царей и поэтому совершил такой длинный путь.

— Подождешь! А это еще кто?

Перед воинами завертелся, кривляясь, старик в пестрой одежде, сшитой из ярких лоскутков. На голове возвышался остроконечный войлочный колпак, расшитый звездами. На его плече сидела, обняв за шею, обезьяна и скалила зубы.

Приплясывая, старик скороговоркой объяснял:

— Показываю чудеса: вызываю духов добрых, прогоняю злых, везу знаменитую танцовщицу Тира и Сидона, прекрасную Анашторет. Она едет, чтобы показать свое искусство перед великим завоевателем Азии и его непобедимыми воинами...

Знаменитая танцовщица оказалась грациозной, худенькой девушкой, завернутой в пестрое покрывало. Она сидела на разукрашенном лентами ослике. Из складок покрывала весело блестели ее черные глаза.

— Пусть она нам споет и спляшет! Посмотрим, что за танцовщица! — заговорили воины.

Анашторет, улыбаясь, сбросила покрывало и, ударив в бубен, запела по-эллински:

На канате я танцую,
Над людьми и над шатрами,
И веселый смех целую
Ярко-алыми губами.

На руках, как змеи гибких,
Я танцую между лезвий.
И лучи моей улыбки
Отражаются в железе[3].

Держа бубен зубами, девушка ухватилась за коврик на спине ослика и встала на тонких, гибких руках, загнув но-

---

[1] Карт-Хадашт — богатый финикийский город Карфаген на северном берегу Африки.

[2] В древности Африка называлась Ливией.

[3] Стихотворная обработка А. Шапиро.

ги над головой, как хвост скорпиона. Затем осторожно продвинула ноги дальше, изогнувшись кольцом, и опустила их на спину равнодушно стоящего ослика. Она выпрямилась и легко спрыгнула на землю.

— Прекрасно! — послышались одобрения воинов.

— Вам здесь делать нечего! — сердито сказал начальник поста.— Поворачивайте обратно.

— Брат! — воскликнула девушка.— Разве вы не хотите услышать песни вашей родины? Я знаю македонские и эллинские песни.

— Грабос, пропусти их! — вмешался Аристоник.— Сам базилевс любит слушать песни и смотреть на опасные пляски танцовщиц среди отточенных мечей.

Начальник отвернулся, махнув рукой.

Аристоник шепнул:

— Ничего не бойтесь! Поезжайте в город!

— Долгая жизнь тебе! — улыбнулась девушка, легко вскочив на ослика.

Путники двинулись по дороге, а из ущелья слышались новые крики:

— Берегись! Берегись! Дайте дорогу гонцу!

Три серых одногорбых верблюда, переваливаясь с боку на бок, иноходью бежали по ущелью. На двух передних сидели персы в цветных одеждах, закутав лица в башлыки, на третьем — пожилой македонец в пурпурном плаще и кожаном шлеме.

Персы хлестали животных толстыми плетьми. Верблюды бежали, вытянув длинные шеи. За ними, направив вперед копья, скакали греческие всадники, закутанные в бурые плащи.

— Именем базилевса, стойте!

Македонец с верблюда заревел:

— Как вы смеете, невежи, задерживать царскую почту! Постойте! Да не ты ли это, Грабос? Какими судьбами ты здесь? Неужели ты, старый ветеран, служивший еще у нашего славного царя Филиппа, до сих пор только начальник сотни, а не царь одного из народов великого персидского царства? У нас в Пелле [1] уверены, что каждый македонец, даже самый последний конюх, ушедший с нашим лихим драчуном Александром завоевывать Азию, уже сделался если не царем провинции, то по крайней мере ее казначеем.

---

[1] Пелла — столица Македонии.

Начальник поста подошел к верблюду и протянул гонцу обе руки:

— Откуда едешь, Никомандр?

— Прямо из Пеллы.— Гонец наклонился с горба верблюда и понизил голос:— Везу собственноручное письмо царицы-матери Олимпиады к ее царственному сыну, да живет он невредимо много лет! Хочу взглянуть на моего ученика. Я его помню еще упрямым и дерзким юношей. Жив ли его конь Буцефал? [1]

— Буцефал ожирел, ослабел ногами. Базилевс уже на нем не ездит, а все-таки по старой памяти водит с собой вместе с молодыми конями.

— Мой воспитанник Александр очень преуспел за эти годы, не правда ли? Вся наша Македония, пожалуй, едва ли больше одной этой долины. Сегодня же расспрошу его обо всем и побраню за то, что он тебя держит на такой маленькой должности. Видел я по дороге много беспорядков. Хочу ему дать полезные советы, как лучше управлять варварами. Он ведь еще молод и должен прислушаться к нам, более опытным в жизни. А где сейчас базилевс?

— Смотри туда! — Грабос показал рукой на север.

С перевала открывался широкий вид на цветущую долину. Три реки серебрились среди зеленых лугов, образуя острова, заросшие деревьями и кустами. Бесчисленные квадраты зеленых полей говорили о богатстве и плодородии края. Вдали, сквозь дрожащую дымку утреннего тумана, вырисовывался город, походивший на груду поставленных друг на друга глиняных кубиков. Долину окружали кольцом синие хребты гор с покрытыми снегом вершинами.

— Вот это главный город Ортоспана, или, как его называют местные жители, Забул. Уже несколько времени здесь стоит без движения лагерь базилевса. И никто из нас не знает, пойдет ли он дальше или повернет обратно. Сам он в городе не живет. Видишь, в стороне ровные ряды палаток? Там расположилась конница Филоты,— конечно, ты помнишь его, молочного брата базилевса? А далее зеленеют густые сады — вот там-то и находится ставка базилевса...— Он продолжал шепотом:— Александр не верит городу, где узкие грязные улицы перепутались лабиринтом... Жители могут поодиночке передушить всех наших

[1] Описанный Плутархом конь Буцефал сопровождал в походах Александра и погиб в Индии, где в его честь был основан город Буцефалия.

воинов, если бы они вздумали заночевать в их домах. Ведь одних горожан Забула столько, что и не сосчитать!

— Что ты болтаешь! Разве жители не рады, что имеют такого умного и прекрасного царя?

— Эй, не место тут объяснять... Скоро ты сам все увидишь и поймешь. Так смотри же, Никомандр, не забудь своего обещания и скажи базилевсу, чтобы он назначил меня на дело получше, чем сторожить дорогу на этом холодном перевале.

— Хайретэ! [1] — воскликнул македонец и дал знак сопровождавшим его персам.

Громко щелкнули широкие плети, и верблюды с жалобным стоном вперевалку побежали вниз по каменистой дороге. За ними, наклонив вперед тонкие копья, со звоном понеслись вскачь блистающие медью конвойные всадники.

Караван зашевелился и медленно двинулся по ущелью. Два воина, отвязав коней, вскочили на пестрые чепраки [2]. Между всадниками зашагал лохматый бродяга атраван, угрюмо поглядывая по сторонам и кутаясь в бурый рваный плащ.

Аристоник сел у костра, настраивая кифару и напевая:

После битвы при Арбелах
Александр Великий сразу
Взял у Дария все царство...

ПРИЕМ У БАЗИЛЕВСА

В узкой, тесной зале загородного дворца местного сатрапа собрались желающие представиться пред светлые очи грозного базилевса. Впереди стояли послы, прибывшие из Греции и далекого Карфагена. За ними теснились потерявшие службу бывшие персидские сановники и начальники некоторых воинских частей армии Александра.

Никомандр нетерпеливо оправлял складки белого гиматия [3], обращаясь вполголоса к соседу, афинскому послу:

— Сейчас я его увижу. Посмотрю, переменился ли этот веселый, стремительный, славный юноша. Окреп ли он, или

---

[1] Хайретэ! — греческое приветствие, буквально означает: «Радуйтесь!»

[2] Седел и стремян в то время всадники не знали. Верховой конь покрывался чепраком, кожаным или из шкуры, перетянутым широким ремнем.

[3] Гиматий — шерстяной плащ.

персидская роскошь его изнежила? Умеет ли он, как раньше, владеть мечом? А сколько хороших приемов боя я ему показал! Один отличный прием он долго старался выучить: обманный удар по голове, затем по плечу, опять по голове, перенос удара под правую руку и, когда противник открылся,— сразу выпад всем телом в горло — рукояткой вверх, острием вниз, чтобы меч вонзился в отверстие между шлемом и панцирем... Этот прием называется «молния пятого удара». Александр долго упражнялся, пока добился отчетливости этого удара... А вот, кажется, идут...

— Узнáешь ли ты его?

— Я-то его не узнаю! Шутник ты!

Пестрая, расшитая шелками занавеска, закрывавшая дверь, распахнулась под рукой толстого евнуха, который упал на колени и застыл в раболепной позе.

Все замолкли и выпрямились. Воин в начищенном до блеска панцире и шлеме, закрывающем все лицо, с сверкающими сквозь прорези шлема глазами, вошел тяжелой поступью и стал около двери. Копье с широким отточенным лезвием опустилось к ноге и замерло. Стремительной походкой вошли четверо. Все они были приблизительно одного возраста, в расцвете сил и молодости, и до странности походили друг на друга. Белые гиматии с несмятыми выглаженными складками были, по афинскому обычаю, обернуты вокруг тела, и концы их перекинуты через левое плечо. Лица тщательно выбриты, волосы, слегка завитые, волнистыми кудрями спускались по сторонам лица, не достигая плеч. У всех четверых были мускулистые шеи и необычайно развитые мышцы обнаженной правой руки. Шнурованные сапоги до колен, так же как и гиматии, были афинского покроя.

Никомандр, сделав невольно движение, чтобы броситься вперед, остановился, удивленно раскрыв глаза.

Афинские послы и карфагенянин низко поклонились, протянув вперед руку. Несколько знатных персов в пурпурных одеждах, затканных лиловыми цветами, упали на пол, целуя ковер, и застыли в позе беспредельной преданности.

Все четверо вошедших несколько мгновений стояли, равнодушно оглядывая присутствующих. Один из четверых, бывший немного ниже ростом, сказал:

— Никомандр, что же ты не приветствуешь меня?

— Да ты ли это, базилевс Александр? Или у меня от радости в глазах двоится, но я перед собою вижу четырех Александров!

По лицу говорившего скользнула чуть заметная улыбка, и, обращаясь ко всем, он сказал общее приветствие:

— Хайретэ!

Никомандр стоял неподвижно, пристально всматриваясь. На знакомом мужественном лице с прямой линией лба и носа и женственным ртом, изогнутым, как лук Эрота [1], появились резкие, суровые морщины. Но не это поразило его. На него смотрели неподвижные, стеклянные глаза, холодные и непроницаемые. «Этот человек может так же спокойно приласкать, как и раздавить меня»,— подумал Никомандр. Глубокая пропасть легла между прежним веселым, стремительным юношей, которого во время уроков он бил по плечам концом тупого меча, и этим самоуверенным, равнодушным человеком, прошедшим полмира, оставляя за собой бесчисленные развалины и реки слез и горя.

Никомандр смущенно бросился навстречу Александру. Тот позволил поцеловать себя в щеку и сам сделал движение губами, точно целовал бывшего учителя.

Старый толстый евнух в пестрой одежде поставил на лиловом ковре белый складной стул. Александр сел, расставив ноги в шнурованных красных сапогах; голые колени были сильно загорелыми.

Не обращая внимания на остальных, Александр обратился к Никомандру:

— Находишь ли ты, что твой ученик хорошо дрался? Слышал ли ты, сидя в своем домике под каштанами, о походах непобедимого Александра?

Никомандр смущенно засмеялся, рука по привычке дернулась, чтобы потрепать ученика по плечу, но он ее удержал.

— Как же не слышал! Теперь в Пелле только и говорят о том, как сражается наш молодой базилевс: не хуже быстроногого славного Ахиллеса.

Один из присутствующих воскликнул:

— Не только как Ахиллес — базилевс далеко превзошел своего предка! Базилевса можно сравнить только с непобедимым божественным Гераклом.

Другой голос перебил:

— Что такое подвиги Геракла! Он много ходил по свету, но особой пользы отечеству не принес. А наш базилевс

---

[1] Эрот — бог любви, изображавшийся греками в виде мальчика с маленьким изогнутым луком и стрелами.

присоединил целые государства варваров и заставил их почитать эллинских богов.

Александр вскочил и порывисто прошелся по комнате:

— Верно! Я хочу проникнуть еще дальше, чем ходил Геракл! Я проведу мои войска до конца вселенной, где неведомые пустыни заселены необычайными дикарями, где море омывает последний берег земли и где никто уже не осмелится встать на моем пути.

— Ты победишь, ты всюду пройдешь! — воскликнули голоса.

— А что говорят в Афинах? Был ли ты в этом болтливом, тщеславном городе?

— По пути наш корабль заходил в Пирей[1],— сказал Никомандр,— и я посетил Афины. В этот день там распространился слух, что будто бы ты умер в далекой Персии. Все ораторы закудахтали, как встревоженные куры, и народ побежал на Агору[2]. Там болтуны стали произносить хвастливые речи, требуя немедленно объявить войну Македонии. Только один Фокион[3] успокоил шумевшую толпу, сказав: «Зачем торопиться с объявлением войны? Подождем. Если Александр мертв, то он будет мертв и завтра, и в следующие дни. Сперва нужно проверить такой слух, а затем уже объявлять войну».

— Александр жив и будет жить всегда! — раздались голоса.

— О, я еще покажу мою волю этому коварному и болтливому городу! Хотя нас разделяют от Эллады более тысячи парасангов[4], придет время, я заставлю тщеславных афинян почувствовать весь ужас моего гнева.

Никомандр достал из складок гиматия кожаную трубку с висевшими на шнурках печатями и почтительно поднял ее перед собой:

— Письмо от царицы эпирской Олимпиады!

Александр схватил свиток. Мрачная тень пробежала по его красивому лицу. Изогнутые брови сдвинулись.

— Слава и благополучие царице Эпира! — сказал он задумчиво.— Ты мне расскажешь сегодня попозже все, что происходит дома. Гефестион, сохрани это письмо.

Товарищ детства Александра — Гефестион, несколько вы-

---

[1] Пирей — гавань Афин.

[2] Агора — площадь в Афинах, где происходили народные собрания.

[3] Фокион — афинский оратор.

[4] Парасанг — мера длины, немного более километра.

ше его ростом, с красивым спокойным лицом, взял кожаную трубку двумя руками, как драгоценность, прикоснулся к ней губами и отступил назад.

Отвернувшись от Никомандра, базилевс быстро подошел к карфагенскому послу и, глядя в упор, сказал:

— Ты приехал по своей воле или тебя отправило твое государство?

Карфагенянин развел руками:

— Если я буду иметь успех в моих переговорах, то, значит, я послан от моих граждан. Если же нет — то я приехал сам от себя.

Базилевс усмехнулся, на мгновение задумался, прищурил левый глаз и спросил:

— Как лучше мне с войском достигнуть Карфагена: на кораблях или сушей, по берегу Ливии?

Черные глаза финикиянина на мгновение метнулись вверх, скользнули по Александру. Затем он ответил, почтительно склоняясь:

— Это зависит от того, на каком пути, морском или сухопутном, боги захотят сохранить тебя невредимым.

Базилевс рассмеялся и обратился к своим товарищам:

— Финикийцы всегда были лукавы и в словах и в делах. Но с ним будет весело поговорить за обедом. Гефестион, позаботься, чтобы сын Аната [1] возлежал сегодня вечером рядом со мной.

Базилевс резко отвернулся и равнодушно подошел к афинянам; лицо его было холодно и непроницаемо:

— Жив ли еще мой мудрый учитель Аристотель? Ваши сумасбродные правители его еще не казнили?

Бледный афинянин, стоявший в небрежной и независимой позе впереди двух товарищей, ответил:

— Афины всегда были школой и центром просвещения всей Эллады. Разве мы можем поступить грубо и непочтительно с самым высоким учителем мудрости? Он, как и раньше, преподает нашей молодежи знания в тенистых садах Ликея [2].

— Однако, после того как дельфийский оракул провозгласил мудрейшим из мудрейших философа Сократа, совет вашего города присудил его к смерти. Зависть афи-

---

[1] Финикияне называли себя «Бэни-Анат» — сыны Аната. Финикиянин — слово греческое, означает «человек с востока».

[2] Аристотель преподавал философию и другие науки, прогуливаясь с учениками по аллеям сада Ликея при храме Аполлона Ликейского близ Афин. Отсюда название учебного заведения — лицей.

нян не знает пределов.— Голос Александра сделался хриплым, и левое плечо стало подергиваться.— Весь мир уже признал меня сыном бога, но афиняне очень ревниво оберегают от меня вход на небеса. Занятые такой заботой, не рискуют ли они потерять собственную землю?..

Базилевс резко отвернулся и отошел от афинян к распростертым на земле персидским сановникам:

— Встаньте, мои друзья! Теперь вы мои подданные и одинаково мне дороги, как и другие знатнейшие граждане всех народов моего великого царства. На что вы пришли жаловаться, о чем просить?

Персы говорили одновременно и на коленях подползали к Александру, стараясь поцеловать край его белого гиматия.

Переводчик, наклонившись, шептал базилевсу:

— Это бывшие придворные персидского царя Дария. Они клянутся в своей преданности и верности и просят тебя, чтобы за ними остались их поместья и должности при дворе.

— Пригласи их сегодня на обед. Скажи, что их новый повелитель Александр не менее милостив к своим верным слугам, чем был их добрый царь Дарий.

Александр снова подошел к Никомандру:

— Ну что, старик, смог бы ты еще испробовать со мной «молнию пятого удара»? Чей меч теперь сильнее?..

Никомандр обрадовался и торопливо засмеялся:

— Давай испробуем ловкость наших мечей!

— Испробуем, когда ты отдохнешь. Разве дорога тебя не утомила?

— Я так торопился доставить тебе письмо царицы, что не чувствовал усталости. Но должен признаться, что уж очень мне надоело без конца видеть обгорелые дома, бродящих между развалинами голодных стариков и старух. А вонь-то какая! Как ветер подует навстречу, так и знаешь, что потянутся кресты с прибитыми к ним гниющими трупами, возле которых бродят собаки с раздутыми от обжорства животами. Зато как я обрадовался, когда после жаркой равнины поднялся на перевал и почувствовал родной холодный ветер! Точно я снова попал в милую Македонию! И здесь, среди диких скал, я вдруг услышал дивную греческую песню. В ней, в глуши Азии, уже воспевались подвиги Александра Непобедимого.

— Где это было?

— Недалеко, на последнем горном перевале. Гляжу:

сидят у костра наши воины, и среди них мой старый приятель Грабос. Помнишь ли ты его? Он был верным воином еще твоего отца, царя Филиппа. А неведомый певец из его отряда пел так красиво, что я подумал: не сам ли Пан[1] с лирою сидит на горе и воспевает твои подвиги?

— Филота! — прервал базилевс. — Кто начальник поста на ближайшем перевале?

Из группы военачальников вышел высокий, стройный македонец в легком панцире всадников.

Вытянувшись, он сказал:

— Грабос, македонянин — начальник поста на перевале «Священных лоскутов». С ним шестнадцать фессалийских всадников.

— Вызови его сегодня же, и пусть он с собой привезет того воина, который хорошо поет. Мы послушаем его за ужином.

Александр направился к двери, остановился, подняв руку, и, воскликнув: «Хайретэ!» — скрылся за занавеской.

«НЕ ВЕРЬ НИКОМУ!»

Базилевс вошел в маленькую комнату, где он любил оставаться один. Стальные мечи всех форм и размеров с свежеотточенными лезвиями правильными рядами висели по стенам. В углу стояли несколько разной величины копий. Вдоль одной стены выстроились покрытые золотыми узорами панцири. Рядом топорщились красными волосяными гребнями шлемы с поднятым забралом. Позади них находились круглые щиты с выпуклыми изображениями сражающихся воинов.

Старый македонец, с седыми, заплетенными в косы кудрями, в темном шерстяном хитоне, протирал оружие желтой тряпкой, обмакивая ее в чашу с жидким маслом. Александр повел бровями, и македонец удалился.

Гефестион опустился на узкое ложе, покрытое пестрым ковром, осторожно разрезал кинжалом красный шнурок, сломал восковые печати и вынул из кожаной трубки пергаментный свиток. Базилевс стоял у стены среди длинных тяжелых мечей.

— Что пишет царица-мать, преславная Олимпиада? Опять на родине восстание?

---

[1] Пан — в греческой мифологии божество, олицетворяющее природу.

Гефестион пробегал глазами ровные ряды букв.

— Царица опять тебя предостерегает. Слушай, базилевс:

«Олимпиада, царица Македонии и Эпира, непобедимому великолепнейшему Александру, сыну Филиппа, всей Азии царю и повелителю (желает) радоваться! Я посылаю это письмо с преданным нашему дому Никомандром, учителем военного искусства, который поклялся на жертвеннике Гестии, что передаст письмо из моих рук в твои руки, готовый положить жизнь за царское благополучие.

Заклинаю тебя богами вечно сущими быть осторожным по отношению ко всем людям, которыми ты себя окружил. Я знаю, что ты был слишком доверчив и милостив к родовитым князьям Македонии. Помни, что ты — единственный в мире царь, посланный на землю самим Зевсом, а они — твои подданные, простые смертные, и должны тебе покоряться. Ты же сам беззаботно делаешь из них новых царей. Благодаря твоей щедрости все эти выскочки, которые на родине оставались бы ничтожными пастухами и пасли свиней и коз, теперь воображают, что могут равняться с тобой.

До меня дошли вести, что даже самые близкие к тебе люди, забыв милости и подарки, которыми ты их осыпал, тайно осуждают тебя, почему ты раздаешь управления провинциями персам, а не македонцам. И почему ты приближаешь к себе варваров? Даже старый Парменион, друг твоего отца, заявлял своим друзьям, что тебя надо обуздать, что больше от тебя македонцам пользы не будет, и даже дерзко сказал, что царем надо провозгласить его сына Филоту.

А ты ничего не предпринимаешь и даже сделал Филоту начальником конницы. Мне же передавали вернувшиеся раненые, что Филота раздает воинам ценные подарки и их подкупает, чтобы те его хвалили и избрали царем. И Парменион, и Филота, и убитый его брат Никанор только потому прославились, что находились около тебя, сына бога, исполняя твои приказания. А без тебя они сидели бы в ущельях Скардона, в своих прокопченных домишках, и возили бы на базар на продажу дрова и козий сыр.

Ты прошел так далеко по равнине земли, как не доходил ни один из героев или богов древности. Возвращайся обратно в Пеллу, выбирай лучшую из македонских девушек и правь отсюда миром, как твой отец, мудрый Филипп,

грозно правил предательской и подлой Грецией и готовил завоевание вселенной.

Ежедневно я совершаю возлияния богам, чтобы они охраняли тебя на бесконечных дорогах Азии и вернули здоровым и невредимым на родину.

Благодарю за присланные драгоценные подарки. Я бы хотела получить еще тонких прозрачных шелковых материй, сотканных народами Востока».

Гефестион посмотрел на Александра.

Базилевс поднял руку с золотым перстнем на указательном пальце и приложил его к губам:

— Запечатай печатью молчания твои уста,— прошептал он.— Вся конница, вся моя личная охрана — в руках Филоты, но сам он пока еще в моей власти. Мы дошли до Кавказа Индийского [1], а этэры [2] все еще думают, что я завоевал весь мир только для них, только для того, чтобы они могли царствовать над другими народами. Мне же в благодарность они готовы вонзить кинжал в спину, как они это сделали с моим отцом Филиппом. Сегодня ночью, после пира, ты приведешь тайно сюда Черного Клита... нет!.. Черный Клит тоже начал спорить со мной, и его надо остерегаться. Пусть придут Кратер, Аминта, Птоломей и Пердикка. Этой же ночью я возьму под стражу дерзкого хвастуна Филоту. В его палатке надо пересмотреть все вещи и во что бы то ни стало разыскать письма от его отца Пармениона. Я узнаю, откуда тянутся нити заговора, и я их распутаю огнем и пыткой. Я так накажу виновных, что этэры начнут ползать передо мною на животе, подобно персам.

— Не сделай поспешной ошибки! В этом письме говорит, может быть, только слепая любовь царицы-матери и ее боязнь за сына. Филота, его покойный брат Никанор и старый Парменион всегда были искренне преданны тебе. С кем же ты останешься, если перебьешь твоих лучших друзей, да еще так далеко от родины? Неужели ты больше доверяешь льстивым персам, для которых ты навсегда останешься врагом, иноземцем и завоевателем!

— Моя родина там, где стоит моя нога и где мое войско! — гневно прервал Александр, и на его губах пока-

---

[1] В то время предполагали, что область нынешнего Афганистана, где стоял лагерем Александр,— часть Кавказа, и ее горы называли, в отличие от Главного Кавказа,— Кавказом Индийским.

[2] Этэры — «товарищи», так назывались македонцы из знатных родов, товарищи и сверстники Александра, составлявшие особый отряд с лучшим вооружением.

залась пена. Его красивое лицо искривилось от гнева, и крупные белые зубы хищно оскалились.— Не забывай, что я уже не царь маленькой Македонии, как был мой отец, но повелитель всей Азии! По моей воле весь мир будет поворачиваться, как колесо вокруг оси, где стою я, и поворачиваться в ту сторону, в которую я захочу. Если двадцать тысяч македонцев не захотят мне повиноваться, то я раздавлю их копытами бесчисленных полчищ Азии, которые бросятся на них по одному моему слову... Азиаты смотрят на меня не как на иноземца, а как на бога, сошедшего с неба, чтобы дать всем людям мир и счастье.

Прозвенел удар в бронзовый щит.

— Войди!— крикнул базилевс.

В дверях показался юный эфеб[1] с завитыми кудрями и синей лентой вокруг головы.

— Пришел экзитазис. Разреши войти к тебе.

— Впусти!

Экзитазис, высокий, очень худой грек с желтым лицом и впалыми щеками, вошел, кашляя и кутаясь в плащ. Губы его были сини и подбородок дрожал.

— Ты совершенно болен,— сказал базилевс.— Какое важное дело могло оторвать тебя от постели и привести сюда?

— Ты требовал во что бы то ни стало известий с севера. Одного лазутчика мне доставили сегодня с перевала «Священных лоскутов». У него наш ксюмбаллон. Он много видел, много знает.

— Приведи его сюда.

— Но он так грязен...

— Тогда я допрошу его там, в другой комнате...

ЛАЗУТЧИК ИЗ СУГУДЫ[2]

В небольшой комнате с выбеленными стенами появился атраван, лохматый, как зверь, с всклокоченной бородой и длинными запыленными косами. Он туже запахнул рваный

[1] Эфеб — юноша из аристократического семейства, дежурный для поручений. Из эфебов потом делались этэры.

[2] Сугуда и Бактра — провинции древней Персии. Греки называли их Согдианой и Бактрианой. Сугуда (Согдиана) занимала плодородные земли между верхним течением Сырдарьи на территории современных Узбекской и Таджикской ССР, имея своей столицей Мараканду. Бактра (Бактриана) располагалась южнее Сугуды, по левобережью Амударьи, между Гиндукушем и Паропамисом, на территории Афганистана; центром Бактры был Балх — родина Зороастра, основоположника религии огнепоклонников — зороастрийцев.

плащ со множеством заплат и опустился на корточки. Воин в тусклом помятом панцире неподвижно стоял сзади.

Атраван сидел на четвереньках, как обезьяна, опираясь длинными руками о пол. Из-под гривы спутанных волос поблескивали горящие колючие глаза.

— Ты говоришь по-персидски?

Старик хрипло что-то пролаял, достал изо рта обломок серебряной монеты и протянул ее на темной ладони. Он видел перед собой молодого чужеземца в белоснежном шерстяном плаще, сидящего на складном стуле. Правая рука с могучими мышцами была обнажена. Кожа на руке была розовой, как у девушки, и он благоухал ароматами, точно цветущая яблоня. Глаза смотрели с тем равнодушием, с каким знатные люди смотрят на раба или на камень. Один глаз был темно-зеленый, другой светло-серый.

Рядом стоял человек в персидской одежде, с белым лицом и подведенными черной краской глазами. Кудри волос охватывались красным ремнем с золотой пряжкой. Сидевший говорил на неведомом атравану языке.

Стоявший объяснял по-персидски:

— Если твой язык не скажет всей правды, то тебя повесят за локти на крюк, пока не начнешь всего говорить правдиво, как добрый ребенок говорит своей матери. Начинай. Кто ты такой?

— Бактриец, атраван. Знаю прошлое, вижу за много гор и морей настоящее, постигаю будущее, открываю то, что задернуто.

— Молчи! Говори только, что тебя спрашивают.

— Я слушаю, о великий, о могучий! Открой очи от сна беспечности, чтобы на ухо внимания твоего я сказал важные вести.

— Сам пришел сюда или по приказанию?

— Тайный голос бога Агурамазды повелел мне: иди через горы и долины, проповедуй людям, что пришло последнее время. Все рушится, дети оторваны от сосцов матерей, и скоро облака не будут больше летать по небу, а камнями попадают на землю.

— Каким путем ты шел?

— Из Сугуды, из города Мараканды[1], шел сюда через город Бактру. По дорогам без конца движутся отряды пер-

---

[1] Мараканда — город, бывший на месте нынешнего Самарканда.

сидских воинов, обыскивают всех, даже не пожалели моих лохмотьев, точно может быть золото у бедного атравана!

Сидевший шевельнулся и стал внимательнее вглядываться:

— Ты сказал, что по дороге шло много воинов? На какой дороге ты их видел?

— Я шел прямым путем, через Железные ворота в Байсунских горах. Переплыл в лодке через реку Окс[1] и направился к Бактре...

— Много там лодок?

— Очень много. Целый день и ночь лодки перевозят воинов. Все они идут сюда, к Седым горам.

— Отчего же ты пришел сюда не прямой дорогой, с севера, а сделал такой большой круговой обход, что попал с юга на перевал «Священных лоскутов»?

— Говорил же я тебе, что отряды воинов стоят на главном пути. Я и пошел в обход, но не по злому умыслу, а из боязни. Если кто захочет пойти в горы, воины его ударят под левый сосок и сбросят в овраг. Я побежал горными козьими тропами, которых не знают караваны. Эти тропы идут через скалы, над пропастями. Я пробрался этими тропами в снег и вьюгу, и, когда был уже на перевале «Священных лоскутов», яваны[2] схватили меня своими грубыми руками.

— Видел ты по пути саков? Знаешь, кто саки?

— Знаю саков — это храбрейшие из людей, доители кобыл. Только в Мараканде я видел немного саков, а всюду по другим путям были только сугуды[3] и бактрийские воины. Все саки ушли на север, в свои степи.

Сидевший чужеземец вскочил:

— Ты, многознающий святой и хитрый атраван, пойдешь теперь со мною и покажешь мне дороги в Мараканду, по которым не ходят караваны.

Старик пал лицом на землю и умоляюще протянул руки:

— Отпусти меня, о блистающий, о добродетельный! Не пойду я в Мараканду, там меня посадят на кол, и пропадет, как раздавленная муха, праведный атраван!

Чужеземец отступал, а руки старика, длинные и костлявые, тянулись к нему.

---

[1] Окс, или Вахш,— древнее название реки Амударьи.

[2] Яваны, явана или явуна — так персы обычно называли греков.

[3] Сугуды — согды, народ, живший в Сугуде.

— Здесь недалеко у меня жена и тринадцать детей. Дай мне награду и отпусти, иначе за меня вступятся всемогущие дивы и будут бросать тебе камни под ноги.

— Спрятать его, кормить получше и не выпускать!

Чужеземец скрылся за занавеской, воин ткнул атравана ногой и, схватив за космы, потащил за собой, как мешок.

ПИР У ЦАРЯ ЦАРЕЙ

Три террасы ступенями подымались над дворцом правителя города. Персидские ковры и индийские ткани закрывали весь пол. По краям террасы дымились бронзовые треножники, и в них трепетными огнями горело ароматическое масло.

На верхней террасе подковой протянулись низкие столики, и возле каждого было приготовлено ложе, покрытое расшитым шелковым покрывалом. Персидские слуги в белых, до пят, одеждах, с парчовыми повязками на головах бесшумно скользили по террасам, расставляя на столиках блюда с едой.

По сторонам на угловых бойницах неподвижно застыли часовые с копьями. Конские хвосты на шлемах колебались, когда они поворачивались и осматривали даль.

Острые скалистые вершины Седых гор резко чернели на потухающем багровом небе. В потемневшей широкой долине Кофена бесчисленные огоньки зажигались, как звезды. Гости, одни в греческих белых гиматиях, другие в персидских красных одеждах, обшитых бахромой, поднимались по ступенькам на террасу.

Кудрявые эфебы, телохранители базилевса, в золоченых панцирях, с короткими мечами на бедрах, стояли на ступеньках лестниц, спрашивали имена прибывающих и по спискам, нанесенным на деревянные дощечки, указывали каждому гостю его место на одной из трех террас.

Уже все приглашенные были в сборе и сдержанно переговаривались, посматривая на нижнюю террасу, откуда ждали прихода базилевса. Македонцы, начальники частей, стояли отдельными группами; они говорили громко, держались непринужденно. Все они завернулись в белые персидские шерстяные плащи с красной узорчатой каймой.

Высокий, стройный Филота в красном кожаном панци-

ре, обшитом белой замшей, беседовал с пожилым греком, философом Каллисфеном[1], кутавшимся в гиматий.

— Где холоднее: в Македонии или здесь?

— Ясно, что здесь холоднее.

— Почему ты так думаешь?

— Посмотри на этих македонцев: у тебя на родине, на склонах Скардоса, они, наверно, пасли овец в дырявых плащах и спали в них, не жалуясь, что им холодно. А здесь они сразу закутались в три роскошных персидских плаща, и все им мало!

— Однако, хотя ты как философ и не признаешь роскоши и изнеженности, но и на тебе тоже теплый шерстяной гиматий! Пожалуй, ты бы не имел его, если бы мы, македонцы, не прошли через всю вселенную и не завоевали весь мир.

— Но не похожи ли македонцы теперь на ту змею, которая проглотила слишком большого зайца и не знает, как его переварить?

Пронесся шепот: «Базилевс!» Все смолкли и выпрямились. Зазвенели арфы, запели сиринги[2] и трубы, гулом наполнили террасу удары двадцати бубнов.

На нижней площадке показались мальчики и юноши в однообразных сиреневых хитонах. Красные ленты обвивали их надушенные и завитые кудри. Они выстроились парами на ступеньках лестницы.

— Это заложники,— говорили в толпе,— сыновья царей тридцати народов, покоренных Александром.

Базилевса сразу не узнали. Он шел вместе с Гефестионом, но на нем не было обычного греческого хитона и гиматия. Древняя персидская царская одежда, пурпурная, затканная парчовыми цветами и изображениями колеса с крыльями[3], и золотой кованый пояс обвивали его мускулистое тело. Все персидские сановники и князья упали ниц, касаясь лбом ковра. Македонские начальники стояли вытянувшись, сохраняя военную выправку. Угрюмое, бледное лицо базилевса со сдвинутыми бровями оживилось, когда приветственные крики усилились и знатнейшие князья Персии, подползая на коленях и целуя его позолоченные сандалии, загородили дорогу. Александр перешагнул через

---

[1] Каллисфен — племянник Аристотеля, известный ученый, философ, отличавшийся свободомыслием и смелостью речей.

[2] Сиринг — род флейты.

[3] Колесо с крыльями — герб древней Персии.

лежавшего старика Артабазана, знаменитого своей пятидесятилетней службой нескольким царям Персии, и легкими шагами взбежал на верхнюю террасу.

— Добро пожаловать! — крикнул он по-персидски и прошел на центральное место за столиками.

Черный слуга-нубиец отвязал позолоченные сандалии базилевса, и он возлег на ложе, украшенное фигурами львов из литого золота.

Персидские аристократы, вскочив, стали тесниться толпой на ступеньках, желая проникнуть на верхнюю террасу, но эфебы оттеснили их грубыми толчками и ударами, пропустив наверх только намеченных по списку.

— Позволь нам стоять возле тебя! — кричали персидские князья.— Дай насладиться видом твоей красоты!

Александр смеялся, разговаривая с Гефестионом:

— Здесь ли тот певец военных песен, о котором говорил Никомандр?

— Он уже прибыл, базилевс! — сказал Филота, выступив вперед.— Я срочно послал за ним лучших всадников.

Глаза базилевса сверкнули, когда он встретился со взглядом Филоты, но лицо не изменило холодного непроницаемого выражения.

— Ты должен был так поступить. Пусть этот певец ожидает поблизости.

Гефестион по списку проверил имена лиц, которые были допущены пировать за одним столом с базилевсом. Все они с довольным видом, оправляя складки плащей и пышных платьев, проходили к местам, указанным эфебами, снимали обувь и опускались на лежанки, и слуги подкладывали им под левую руку шелковые подушки.

С базилевсом обедало около двадцати «счастливейших» приглашенных. Рядом с ним, справа, возлежал толстый, с опухшим лицом и с подвязанной золотистой бородой перс Оксиафр, брат убитого царя Персии Дария. Он отличался тем, что мог без конца есть, пить, не пьянея, и рассказывать о том, какие празднества устраивались раньше, при «добрейшем и благороднейшем царе царей» — Дарии. Рядом с Оксиафром находился македонский царевич Арридей, слабоумный брат базилевса, любивший только сладкие блюда. С левой стороны от Александра эфебы поместили карфагенского посла; за ним разместились македонские начальники вперемежку со знатнейшими персидскими сановниками.

Базилевс, находясь в середине подковы, мог видеть всех

гостей. Иногда он бросал взгляды на левое крыло, где Филота обменивался остротами и шутками с философом Каллисфеном.

Увидев, что базилевс протянул руку к блюду с жареными куропатками, посыпанными имбирем, все гости набросились на кушанья, громко восторгаясь богатством блюд и искусством царских поваров. Восхищение вызывали откормленные пулярки, начиненные фисташками, окорока диких поросят, моченные в гранатном соке, маринованные угри, каплуны, посыпанные шафраном, и множество других кушаний, любимых персидской знатью.

Гости доставали правой рукой то, что им нравилось, или указывали слугам, и те подносили кованые золотые блюда, и каждый выбирал то, что хотел. Возле каждого на столе лежали куски сырого теста для обтирания жирных пальцев. Особые слуги стояли с пестрыми полотенцами, следя за тем, чтобы по первому знаку вытирать гостям губы, блестевшие от жира и различных подливок.

Александр, любивший рыбу, похвалил громадного копченого осетра, присланного ему в подарок наместником Гиркании [1].

Он приказал обнести осетра вокруг стола, чтобы его попробовали все гости.

Когда кончили сменяться бесчисленные замысловатые кушанья, слуги подали серебряные тазы и кувшины с теплой водой, и все обмыли руки. Эфебы надели на гостей венки из роз и зеленого мирта. Перед ними появились сладкие плоды и золотые кубки с чеканными рисунками охотничьих сцен.

Виночерпии разливали по кубкам вино, а слуги добавляли воды, сколько каждый гость им указывал. Македонцы, по своему обычаю, пили чистое, не смешанное с водой вино.

Александр поднял чашу к небу, где за надвигавшимися темными тучами быстро потухали звезды, и произнес молитву Гелиосу [2], плеснув из чаши на пол. Греки и македонцы запели любимую застольную песню Анакреона:

Благовонными венками
Увенчавши кудри наши,
Мы с веселою улыбкой
Пьем вино из полной чаши...

[1] Гиркания — провинция, находившаяся на юго-восточном побережье Каспийского моря.

[2] Гелиос — бог солнца.

Когда кончили песнь и ударили чашей о чашу, базилевс спросил:

— Где же обещанный воин-певец? Где его песня, воспевающая мои походы?

Все затихли. В глубоких сумерках ночи мягкий, бархатный голос запел:

Красные гребни на шлемах
Сорваны в битве мечами.
Дева, танцуй, изгибайся,
Как в трепете первой любви!
Царь Александр Великий,
Славной победой венчанный,
Шумно пирует с нами,
Смотрит на танцы твои.

Разбиты врагов колесницы
С ножами на спицах колес,
Конница камнем с утеса
Низринулась на врага.
Кто направлял средь битвы
Молнией властной десницы,
Неумолимый, как рок,
Удар золотых фаланг?..

Орудье, слонов, колесницы
Отбил Александр-победитель
И много красивых коней,
И белых, как мрамор, жен,
И резную шкатулку из золота
С янтарем и жемчужными нитями;
Раскрывал ее черный нубиец
Не остывшим от крови ножом.

И сказал базилевс: «Хорошо
Вы сегодня сражались, отвагой горя!
Возьмите все золото, стройных жен,
Жемчуг весь, все оружье,
Все куски янтаря,
Дворцы четырех столиц
И двадцать персидских сатрапий!..

Я первый средь вас. Да здравствует молодость!
Любовь друзей дороже наград.
Одну лишь пустую шкатулку из золота
Я возьму и поставлю в тени шатра» [1].

---

[1] После знаменитого сражения при Гавгамелах, в котором шестидесятитысячная армия Александра разбила полумиллионное войско персов, Александр отдал воинам всю захваченную добычу, а себе взял золотую шкатулку царя Дария, в которую он положил свою любимую рукопись — поэму Гомера «Илиада», и после всегда хранил эту шкатулку в своем изголовье.

Запах крови плеснул по багровым долинам,
Звон победы в закат подымали щиты,
Когда песен Гомера свиток длинный
Положил базилевс между степ золотых.

И сны прилетели к царю
Из шкатулки, у его изголовья,—
В ней таились Гомеровы звонкие песни,
Как стоны отточенной стали.
Выплывали герои Гомера
В золоте мутной крови,
В багровом дыму Гавгамелы
И в огнях ниневийских развалин.

В синем сумраке стелется дым благовоний,
На стройных треножниках меркнут огни,
Но вечно пылают сердца наших воинов,—
Царь Александр среди них!
Губы омочим в янтарном вине,
Растопчем доспехи вражьи!
В дрожащем сиянье смолистых огней
Сдвинем тяжелые чаши! [1]

Все заплескали в ладоши и закричали:

— Прекрасно! Да живет наш базилевс, равный героям Гомера! Да покроет он новой славой наши мечи! Нет, Александр выше героев Гомера!

— Подойди ко мне, юноша! — сказал базилевс.

Аристоник подошел к нему; его лицо было бледно, и капли холодного пота блестели на лбу. Как воин, он неподвижно вытянулся перед Александром.

— Откуда ты родом?

— Я фиванец, из Беотии.

Александр резко приподнялся и недоверчиво взглянул на Аристоника. Все затихли, вспомнив, что Александр разрушил до основания город Фивы, сровнял с землей каменные стены и продал в рабство тридцать тысяч защитников города. Но юноша стоял прямо и открыто смотрел в лицо базилевсу.

— Как ты остался жив?

— Во время взятия Фив я был на берегу моря, и меня не коснулся твой гнев.

— Что же, хотели бы вы, чтобы фиванские стены были снова восстановлены?

Аристоник опустил голову, видимо, колеблясь, и затем сказал:

---

[1] Стихотворная обработка песни Андрея Петрова.

— Если бы Фивы были восстановлены, то мы бы всегда боялись, что снова явится Александр и возьмет их.

Александр улыбнулся, одобрительно тряхнул кудрями и обвел взглядом окружающих.

Ближайшие гости шептали, желая, чтобы базилевс их услышал:

— Юноша достоин похвалы! Как базилевс милостив к фиванцу!

— Ты унаследовал дар песен вашего великого соотечественника, фиванца Пиндара[1],— сказал ласково Александр.— Я тебя оставляю в моей свите. Ты будешь петь, когда я позову тебя. В награду возьми этот подарок! — И Александр протянул юноше свой золотой кубок, наполненный вином.

Аристоник поднял кубок к небу, плеснул несколько капель на ковер в честь богов и выпил вино, не спуская глаз с базилевса. Повернувшись по-военному, он отошел четкими шагами и скрылся в группе эфебов.

Александр начал вести разговор с послом Карфагена.

— Наш город богатейший из всех городов Внутреннего моря,— говорил финикиянин.— Мои суффеты[2] уже давно вели тайные переговоры с царем Персии о заключении крепкого союза. Персия — сильнейшая держава на суше; финикийские корабли — самые многочисленные и сильные на море. Если бы вольный город Карфаген и могущественная Персия заключили крепкий союз, то власть этого союза распространилась бы до самых последних пределов земли. Теперь поднимает голову дерзкий Рим. Италийцы хотят наложить руку на Грецию и Македонию. Почему не соединить силы твои, великий царь, и вольного, всемогущего своим богатством Карфагена? Почему не заключить союза двух сильнейших в мире государств?

На левом краю стола македонцы, сидевшие близ Филоты, обменивались насмешливыми фразами:

— Лесть — самое верное оружие.

— Особенно у Александра!

— После битвы при Гавгамеле из захваченной добычи он ничего не взял себе, это верно, но зато уж в Персеполисе он не постеснялся и отослал матери в Пеллу тридцать пять

---

[1] Пиндар — знаменитый греческий лирический поэт.

[2] Суффетами назывались два выборных правителя Карфагенской республики.

тысяч мулов и пять тысяч верблюдов, нагруженных золотом и серебром.

— Разве управление сатрапиями он роздал своим товарищам по мечу? О нет! Ими он пренебрегает! Всюду начальниками он посадил персов.

— Мы для него захватывали царство за царством, а награда нам — тяжелые раны и отправка, как ненужных калек, на родину.

— Теперь мы, благородные этэры, даже редко видим Александра, а должны сперва кланяться персидскому евнуху, чтобы он нас пропустил к нему, нашему бывшему товарищу.

— А для чего он позорится, натягивая широкие персидские шаровары и варварскую одежду?

Музыканты снова затянули пронзительную мелодию, любимую песнь бывшего царя царей Дария. Свистели сиринги, заливались свирели, гудели трубы, и глухо рокотали бубны.

СКИФ И ЭЛЛИН

Тогда в темном небе над пировавшими загорелись два факела и осветили худенькую девушку, сильно набеленную, в пестрой короткой тунике с золотыми блестками. Покачивая факелами в вытянутых руках, она как будто плыла в воздухе. Когда акробатка дошла до середины террасы, сбоку вспыхнули еще два факела и небольшая обезьяна осторожно пошла по канату на задних лапах, покачиваясь и подражая девушке.

Громкий хохот раздался на верхней террасе, и все заметили высокого неуклюжего юношу в греческом хитоне, который показывал пальцем на обезьяну, приседал и задыхался от смеха. Его хохот заразил всех, прокатился по всем террасам и отозвался внизу, во дворе, где толпились воины.

— Кто это так громко смеется? — спросил базилевс.— Мне его лицо немного знакомо.

— Это скиф, молодой сакский князь Сколот,— сказал подошедший эфеб.— Ты вчера приказал вывести его из подвала, вымыть, переодеть и привести к тебе.

— Дай ему вина и приласкай. Я буду сегодня говорить с ним.

Девушка на канате остановилась над пирующими, ловко подбрасывая горящие факелы и снова ловя их за ручки. Снизу взлетели один за другим еще четыре горящих факела, и акробатка искусно ловила их, продолжая подбрасы-

вать, так что над нею образовался пылающий венок из вертящихся огней. Все затихли, опасаясь за девушку, стоявшую одной ногой на канате, высоко над всеми.

— Такова слава Александра! — прозвучал чей-то голос.

Некоторые узнали голос философа Каллисфена.

Девушка напрягала все силы, чтобы сохранить равновесие и ловить факелы. Туго натянутый канат дрожал, обезьяна сорвалась и, уронив факелы, повисла, уцепившись всеми четырьмя лапами.

Факелы, рассыпая искры, один за другим стали падать вниз, где их ловил старик в высоком красном колпаке и длинной одежде, обшитой золотыми звездами. Девушка, оставшись с двумя горящими факелами, прошла до конца каната и остановилась, приветствуя зрителей рукой. Обезьяна пробралась по канату к девушке и вскарабкалась к ней на плечо. Оба факела, вертясь, полетели вниз. Девушка с обезьяной исчезла во мраке.

К базилевсу подвели молодого скифа. Хитон на нем был узок и короток. Костистые руки с громадными кистями и длинные ноги были худы и неуклюжи. Скиф, открыв рот, исподлобья рассматривал базилевса.

Около Александра стояли два его секретаря. Один, бледный молодой сириец с красной лентой вокруг черных курчавых волос, записывал слова повелителя, другой, пожилой перс с привязанной бородой, завитой мелкими колечками, был переводчиком.

— Давно я тебя не видел,— сказал Александр.— Может быть, тебе жилось худо? Но ты сам виноват, что не обратился ко мне.

Скиф блеснул белыми зубами, и вокруг его глаз собрались насмешливые складки.

— Я тоже давно не видел тебя, кшатра [1], и жилось мне, пожалуй, похуже твоего. Из моего темного подвала в окошко я видел только ноги проходивших воинов. И меня заедали клещи и клопы.

— За это я сумею наградить тебя. Что бы ты хотел получить?

Скиф переступил с ноги на ногу и повел широкими плечами.

— Мне нужно разыскать моего жеребца. Он сын знаменитого в степи Буревестника, саврасый, с темной полосой вдоль спины.

---

[1] Кшатра — по-древнеперсидски «царь».

— Хорошо! — сказал базилевс. — Я прикажу, чтобы разыскали твоего саврасого. Может быть, ты хочешь еще что-нибудь?

Скиф обвел глазами круг незнакомых, чуждых ему людей, которые, кто растянувшись на ложе, кто стоя, с насмешкой смотрели на него блестящими от вина глазами.

— Если конь без работы застоится, то падает на ноги. То же случилось и со мной. Затосковал я без дела! Очень бы хотел с кем-нибудь подраться.

Базилевс ударил в ладоши:

— Это будет забавное зрелище! Кто хочет подраться со скифом?

Некоторые предложили:

— Вызвать из охраны базилевса рослых македонцев, достойных побороться со скифом.

Учитель Никомандр воскликнул:

— Если скиф умеет владеть мечом, то я согласен испробовать на нем мое искусство.

Переводчик объяснил его слова скифу.

Молодой скиф небрежно взглянул в сторону Никомандра:

— Дайте мне мою секиру, и я буду драться с тремя такими, как этот старик.

Базилевс подозвал Никомандра и тихо прошептал:

— Не смей убивать его, он мне нужен. Можешь только слегка ранить.

Никомандр сделал презрительный жест:

— В какое место его ранить?

— Ты его трижды ранишь в левое плечо.

— Дайте мне мой македонский меч! — обратился Никомандр к эфебам.

Он сбросил плащ и остался в одном хитоне и венке на седеющих кудрях. Мускулистые руки и ноги Никомандра были голы, и старые побелевшие шрамы говорили, что он побывал не в одном бою.

Из груды оружия, по обычаю снятого гостями при входе на место, предназначенное для пиршества, эфебы достали узкий стальной меч Никомандра с ручкой, отделанной золотом. Скифу дали тяжелый македонский меч. Он попробовал упругость стали, отточку острия и поднял его к небу:

— Тебе, бог Папай[1], я посвящаю эту жертву! Ты охра-

---

[1] Папай — главный бог у скифов, олицетворение грома и молнии.

няешь наши стада от волков в соленых степях, сохрани и меня среди этих разбойников!

С мольбой глядел скиф в темное, мрачное небо, покрытое тяжелыми тучами. Ветер усиливался, и пламя светильников порывисто трепетало. Порывы надвигавшейся бури жадно подхватывали искры и далеко уносили их.

Скиф расставил длинные ноги и протянул меч, направляя его против македонца.

Никомандр повернулся правым плечом к противнику и, сдвинув ноги, держал меч прямо, острием кверху, закрывая им грудь и лицо:

— О царь, славнейший из царей, и все вы, македонцы, эллины и другие гости! Мой меч, не знавший поражения, сегодня, по желанию нашего царя, пощадит этого варвара. Но я обещаю, что концом меча я тремя ударами по левому плечу юноши напишу «альфу», начальную букву имени величайшего повелителя Азии.

Скиф, следя горящими глазами за противником, стал приседать на левую ногу и выдвигать правую жилистую руку с мечом.

Македонец заложил левую руку за спину, глаза прищурились. На бритом лице морщины стали резче и глубже. Мускулы голых рук напряглись и вздулись. Он был готов к нападению.

Меч его, сверкнув молнией, сделал несколько зигзагов, и послышался лязг столкнувшейся стали. Длинный скиф пригнулся еще ниже, и только костистая рука его со стальным клинком завертелась, ловя мелькающий меч македонца.

Лицо Никомандра, бывшее самодовольным и насмешливым, вдруг сделалось серьезным. Он почувствовал силу дикого противника. Скиф не глядел на меч. Его синие глаза потемнели и впились в нахмуренные брови македонца. С звериной ловкостью он отражал стремительные удары Никомандра, сам не переходя в наступление.

— Эугэ! Каллиста![1] — пронеслись крики македонцев.

На левом плече скифа закраснела косая полоса, и кровь темной струйкой потекла по груди.

Скиф, казавшийся тяжелым, как верблюд, вдруг сделал легкий, упругий прыжок в сторону, и Никомандр, не докончив стремительного выпада, едва удержался на ногах,

---

[1] Эугэ! Каллиста! — Хорошо! Отлично! *(греч.)*

но быстро отступил, встретившись с градом ударов внезапно напавшего скифа.

— Не жалей его, Никомандр! Изруби варвара! — Крики неслись со всех сторон: с крыш и стен, на которые забрались воины.— Воткни ему меч в горло!

Новая косая линия нарисовала вторую сторону угла «альфы», и струя крови сильнее потекла по груди скифа. Оставалась только поперечная черта. Несколько эфебов и воинов приблизились, готовые разнять противников.

Скиф применил невиданный прием. Его меч, стремительно забуравив воздух, с силой понесся на противника. Лезвие Никомандра, встретившись с мечом скифа и описав дугу, полетело в сторону. Скиф диким прыжком обрушился костлявыми коленями на грудь македонца, подмял под себя и с ревом впился зубами ему в шею.

— Оттащите варвара! Он ему откусит голову! — кричали кругом.

Воины и эфебы навалились на скифа и, ухватив его за руки и за ноги, отодрали от македонца.

Скиф поднялся и легко раскидал воинов. Его лицо и рот были в крови. Никомандр встал, растерянный, с дико блуждающими глазами. Из его шеи хлестала кровь, забрызгав хитоны эфебов.

Врач базилевса подбежал со шкатулкой лекарств и торопливо стал перевязывать шею македонца.

— Зачем ты хотел откусить воину голову? — строго спросил скифа царский переводчик.

— Вовсе нет! — радостно улыбался скиф, утирая полотенцем лицо.— Я только выпил его крови, чтобы его сила и искусство перешли ко мне. Он умеет хорошо владеть мечом, теперь я буду сильнее его...

Буря усиливалась. Порыв ветра опрокинул высокий светильник и разлил по ковру душистое масло. Крупные хлопья снега, крутясь, неслись на пирующих. Базилевс поднялся с ложа, черный нубиец подвязал ему сандалии и накинул на плечи пестрый индийский плащ, подбитый мехом речного бобра. Группа телохранителей, сверкая медью, выстроилась в два ряда.

Александр шепотом говорил Гефестиону:

— Я жду всех в оружейной комнате. Отряд самых преданных всадников пусть будет наготове. Филоту надо захватить врасплох. Пришли ко мне танцовщицу.

Базилевс сделал несколько нетвердых шагов и остановился перед философом Каллисфеном:

— Конечно, этот дикий скиф нарушил правила боя, но он варвар, и поэтому надо или простить, или убить его. Ты, Каллисфен, как философ и как ученик Аристотеля, любителя всего мудрого и прекрасного, знаешь утонченное обращение с людьми, хотя допускаешь иногда неосторожные замечания... Поручаю тебе этого сака: научи его эллинскому языку и убеди его любить больше эллинские идеи, чем свои скифские степи. Как софист ты ведь сумеешь доказать правильность всего, чего захочешь. Через месяц ты ко мне придешь и расскажешь, каких успехов достиг в обучении скифа.

Музыка заиграла «славу» царю царей Персии. Снег ударял в глаза. Все ковры побелели. Александр, пошатываясь, при громких криках гостей и воинов медленно спускался по ступенькам, опираясь на двух эфебов. Участники пира, кутаясь в плащи, надевали оружие и торопливо покидали террасы.

Карфагенский посол остановился возле маленькой канатной танцовщицы и, взяв ее за руку, сказал по-финикийски:

— Кажется, мы с тобой имеем одну родину?

— Да, я из «города моря и солнца», растерзанного этим зверем. Я из славного Тира.

— Зачем же ты здесь их забавляешь? Разве ты забыла, что базилевс распял на крестах полторы тысячи храбрейших защитников твоего родного города?

— Я это помню и никогда не забуду. Мой отец тоже был распят. Поэтому я и приехала сюда...

Два эфеба подхватили девушку под руки:

— Ты пойдешь с нами. Базилевс ждет тебя!..

* * *

В небольшой комнате, увешанной персидскими коврами, с раскрытой на балкон резной двустворчатой дверью, на ложе с изогнутыми золотыми ножками лежал базилевс. Как обычно после обильного ужина, он сразу же заснул крепким сном, растянувшись на шкуре бурого медведя.

Александр хвастался, что мог по своему желанию мгновенно засыпать во всякое время дня и после крат-

кого сна вставать совершенно бодрым, готовым к новой работе.

Золотой светильник с душистым маслом, подвешенный на завитке высокого бронзового треножника, лил ровный оранжевый свет. Завитые кудри разметались по голубой шелковой подушке, искусно затканной малиновыми цветами. Красивое лицо было безмятежно спокойно, морщины разгладились. Открытая могучая шея и нежная, розовая кожа атлетической груди слегка прикрывались прозрачной зеленоватой тканью хитона.

Маленькая финикиянка стояла около заснувшего молодого тела и раскрытыми блестящими глазами всматривалась в застывшее лицо с голубоватыми веками. Мысли стремительным вихрем проносились в ее голове:

«Вот предо мной властелин Азии... Сейчас поразит тебя моя месть за тысячи распятых и замученных финикийских юношей... Пусть меня потом растерзают твои палачи, но рука дочери Тира не дрогнет...»

Финикиянка, склоняясь к Александру, осторожно вытянула из своей сложной высокой прически длинную и острую, как кинжал, стальную головную шпильку. Шестнадцать тонких кос рассыпались по плечам. Одна коса соскользнула и упала на розовую грудь Александра. Он слегка вздрогнул, по лицу пробежала тень, брови сдвинулись, между ними прорезалась суровая складка. Полураскрытые губы прошептали невнятно слова, но грудь продолжала дышать ровно — базилевс не проснулся. Финикиянка выпрямилась, подняв руку, выбирая место для удара.

Легкое дуновение ветра заставило ее оглянуться. Возле нее неподвижно стоял, скрестив руки на груди, старый, морщинистый евнух-перс. Его тонкие бледные губы издали тихий змеиный свист. Зашевелился висевший на двери шелковый ковер, и оттуда вынырнул черный полуголый нубиец. Евнух повел глазами, указывая на финикиянку, нубиец набросил пеструю шаль на девушку и бесшумно вынес ее из комнаты. За ним, покачивая лысой старушечьей головой, вышел евнух.

Через день, после долгих пыток огнем, финикиянка была разрублена на четыре части, которые, как требовалось обычаем, были подвешены над четырьмя воротами центрального крытого базара города.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СКИФСКИЕ СТЕПИ

Готовы ли кони? Отточены ли мечи?
Натянуты ли туго ваши луки?

Из песен Саксафара

ПУТНИК НА ХОЛМЕ

На вершине холма, одиноко поднимающегося над беспредельной равниной, возле упавшего на землю сигнального шеста, обмотанного соломой, неподвижно застыл человек. Его старая, выцветшая одежда того же бурого цвета, что и земля. Голова обмотана лоскутом красной тряпки. Человек стоит крепко, широко расставив ноги в мягких заплатанных сапогах без каблуков. Узкие немигающие глаза, прищурившись, устремлены вдаль.

Лицо молодое, скуластое, покрытое темным загаром. Кожа потрескалась от солнца и ветра. Плечи широкие. Одной рукой он придерживает кожаный мешок, перекинутый через плечо, другой сжимает костяную рукоятку широкого ножа, выглядывающего из-за пазухи. Длинный сыромятный ремень замотан несколько раз вокруг пояса.

Он смотрит вдаль — туда, где на широкой равнине весело рассыпались бесчисленные белые и черные сакские[1] шатры. Над ними карабкаются к небу голубые дымки. Около шатров, в загородках толпятся отары черных и белых ягнят.

Сегодня праздник. На равнине, испещренной тропинками, видны вереницы ярко одетых всадников. Все они тянутся к кочевью. Их пестрые одежды, расшитые разноцветными узорами, переливаются яркими красками в лучах солнца, только что вставшего над горизонтом.

Человек на холме стоит так долго и неподвижно, что едущие по равнине всадники начинают показывать на него плетками.

— Кто это там и кого высматривает? — говорят они.— Это не пастух. Не лазутчик ли, подосланный согдами? Не колдун ли хочет нагнать болезнь на Будакена?..

---

[1] К северу от Согдианы жили различные кочевые племена. Греки называли их скифами, но греческий историк Страбон сообщает, что сами скифы не называли себя этим именем, означающим человека «скитающегося», «скитальца», «кочевника». Здесь описывается одно из крупнейших скифских племен — саки (или сакуки).

Один всадник на пегом коне, отделившись от группы, вскачь пустился к холму. Не останавливаясь, взлетел на его вершину и затем медленно, шагом подъехал сзади к неподвижному человеку. Острым концом тонкой дрожащей пики он толкнул его в плечо. Тот оглянулся и смерил всадника безразличным взглядом.

Подъехавший произнес обычное приветствие:

— Пусть бог Папай даст тебе здоровье!

— Здоров ли ты? — послышался свистящий ответ.— Бодр ли ты? Силен ли ты?

— Да успокоится в радости душа твоя! — сказал всадник. Он провел рукой по черной жесткой бороде с прямыми волосами, недоверчиво посматривая на красную повязку на голове путника, завернутую по обычаю согдов — извечных врагов скифов.

— Что это за кочевье? — просвистели слова путника.

— Откуда же ты свалился, что не знаешь кочевья славного Будакена, по прозвищу «Золотые Удила»? Твои ноги запылены, коня близко нет. Какой дорогой ты пришел?

— На той дороге, по которой я пришел, меня уже нет. Видно, важное дело привело меня, если я десять дней шел через пустыню, чтобы увидеть славного князя Будакена.

— Садись тогда сзади на Пегаша,— сказал всадник.— Кидрей, укротитель диких лошадей, тебя подвезет к шатру самого князя. Сегодня у Будакена пир: он выдает замуж свою дочь. Ее получит тот, кто на скачках вырвет у нее платок. Из ближних и дальних кочевий — отовсюду сегодня съезжаются гости. Если бы у тебя был конь, то и ты бы мог попытаться добыть дочь Будакена. А я попробую. Неужели девушку поймать труднее, чем пятишерстную лошадь?

Путник легко вскочил на круп пегого коня, который стал медленно спускаться с холма по вьющейся тропинке, постукивая копытами и скатывая камни.

ШУТКИ БУДАКЕНА

После состязания молодежи в скачках, борьбе, стрельбе из лука Будакен — Золотые Удила захотел еще более развеселить своих гостей и шепнул своим молодцам-слугам [1],

[1] Слуги — скифы, дети рабов, бедняки, находившиеся на службе у богатого скотовода. Они присматривали за скотом и выполняли разные поручения хозяина. Слуги пользовались бо́льшими правами и свободой, чем рабы.

чтобы его дочь выехала на скачки и чтобы приготовили также верблюда. Молодцы, улыбаясь при мысли о предстоящем зрелище, побежали исполнять приказание.

Будакен, большой, широкоплечий, кривоногий от постоянной езды верхом, в темно-серой шерстяной домотканой одежде, от башлыка до края широких штанов расшитой голубыми бусами и украшенной золотыми пуговицами, старался удивить своим радушием, угостить на славу гостей, большей частью стариков, вождей разных родов племени.

Будакену подвели широкозадого гнедого жеребца; он дико храпел и бил передней ногой. На коне была узда с золотыми бляхами, ремни, отделанные бирюзой и сердоликом, красовались на шее; удила, затейливо украшенные изображениями дерущихся львов, были из чистого золота.

Среди гостей выделялся молодой вождь одного из колен рода Тиграхауда[1], тонкий, высокий, надменный князь Гелон. Его лицо было еще покрыто пухом юности, но сдвинутые брови и гордый взгляд говорили, что духом он далеко уже не юноша. На поясе у него висел короткий меч в золотых ножнах с вычеканенными рисунками боя скифов с персами. На всем его платье из красной чужеземной материи горели нашитые золотые бляшки, переливавшиеся, как чешуя. Жеребец Гелона, золотисто-рыжий, без гривы[2], с длинным белым хвостом, был еще наряднее и красивее будаkеновского жеребца. Говорили, что он выменял его у массагетов[3], славящихся высокими, легкими конями, отдав за него четырех невольников, умевших рыть колодцы в каменистой почве и выделывать мягкую замшу.

Внезапно из толпы вылетела на вороной кобылице дочь Будакена Зарика, сверкающая улыбкой и живыми, блестящими глазами, вся в бусах, ярких лентах и серебряных украшениях. Все знали, что за ней Будакен дает в приданое тридцать косяков лошадей, по девяти кобылиц и жеребцу в каждом, стадо баранов, десять верблюдов, груженных подарками, и сорок невольниц. Поэтому толпа нарядных молодцов немедленно помчалась за Зарикой на лихих конях. Она неслась к высокому кургану, чтобы обогнуть его и прискакать обратно. Черная кобылица, прославленная на скач-

---

[1] Тиграхауда — род скифов, живших за нынешней Сырдарьей, из большого народа тохаров.

[2] Лучшие кони древней породы в Средней Азии — аргамаки большей частью от рождения не имели гривы.

[3] Массагеты — скифское племя, жившее в пределах нынешней Туркменской ССР в юго-восточном Приаралье.

ках, перелетая через рытвины и кочки, легко неслась по степи. Догонявшие всадники рассыпались в десяти шагах, затем, с трудом сдерживая его, в разные стороны, стремясь перехватить Зарику, когда она завернет за холм.

Гелон на золотистом жеребце, в алой одежде, сверкающей, как пламя, стал быстро выделяться из группы других всадников. Он уже приблизился к Зарике, но она круто повернула кобылицу в сторону, и Гелон пролетел мимо. Зарика наскочила на подлетевшего сбоку пегого жеребца отчаянного укротителя лошадей Кидрея. Кидрей сцепился с Зарикой, стараясь выхватить кусок красного шелка, который развевался в ее руках. Зарика наотмашь била Кидрея толстой плетью, а сама, как змея, извивалась, прячась за шею кобылицы. Через несколько мгновений все скакавшие скрылись в клубах пыли за курганом. Когда они показались снова, Зарика была окружена кольцом коней, металась из стороны в сторону, хлестала направо и налево, а пегий конь Кидрея несся в стороне, без всадника. Потом говорили, что Гелон налетел на Кидрея, ударил его грудью своего коня так сильно, что тот вылетел из седла и потерял сознание.

Гелон подлетел к Зарике, сцепился с ней — и у него в руке затрепетал красный шелк.

— Сама ему отдала! — говорили в толпе.— У Будакена будет зять из знатного рода. А сам Будакен был когда-то пастухом... Будакен теперь так богат, что может взять в зятья кого захочет.

Зарика прискакала обратно к кочевью, ее окружили женщины и девушки-подруги. Невольницы взяли под уздцы взмыленную кобылицу, а Зарику ввели в разукрашенный коврами и шалями шатер невесты.

Гелон подлетел к тому месту, где на конях ждали Будакен и знатные гости, резко осадил жеребца в десяти шагах, затем, с трудом сдерживая его, подъехал шагом к Будакену и бросил ему в руки красный платок. К Гелону подбежал слуга и подал чашу с кумысом, сделанную из человеческого черепа, оправленного в золото. Гелон принял чашу двумя руками, поцеловал ее и протянул хозяину.

Будакен, грузный, с отвисшими усами, принял чашу. Лицо его было непроницаемо, но в глазах бегали веселые огоньки. Со стороны Гелона это был жест сватовства. Теперь Гелон, происходящий из древнего княжеского рода, станет зятем бывшего пастуха Будакена, вышедшего в вожди только благодаря уму, хитрости и удачным набегам.

Будакен пригубил кумыс, подул на поверхность и затем

выпил до дна. Гелон пересел на запасного коня, а его золотистого жеребца отвели в сторону, где на него с трудом влез старик, готовящий лошадей к скачкам, и стал шагом ездить взад и вперед, чтобы дать ему остыть.

КТО РАЗВЯЗАЛ ВЕРБЛЮДА

Скифы привели большого мохнатого темно-серого верблюда и с трудом заставили опуститься на колени. Верблюд был полудикий — он ревел, бился и старался встать. Скифы стали быстро скручивать его волосяными веревками, связывая подогнутые колени, загибая голову набок, делая множество узлов и сплетая вместе концы, чтобы труднее было развязать. Будакен торопил молодежь. Громадная толпа, стоявшая кругом, шумела и кричала. Все шутили, ожидая излюбленного зрелища.

Старый Хош, игравший при Будакене роль прихлебателя и шута, стал выкрикивать:

— Этот верблюд подымает восемь мешков ячменя и столько же зараз съедает. Бегает иноходью за верблюдицами и пятится, если видит седло. Может идти без воды десять дней и столько же сидеть на месте, глядя на бурдюк с кумысом. Прошел до Вавилона и обратно, вернулся еще более диким и обросшим бородой. Однако щедрый Будакен — Золотые Удила, желая позабавить гостей, дарит этого редкого верблюда той смелой женщине, которая развяжет все веревки без помощи ножа и затем объедет на верблюде вокруг кочевья. Но только, по старому обычаю, на этой женщине не должно быть никакой одежды, чтобы она не смогла спрятать нож...

Женщины стояли отдельной группой, подталкивая друг друга, пересмеиваясь, закрывая лицо широкими рукавами. Они ожидали, что сейчас выйдет старая Болхаш, пьяная и бесстыжая, которой было безразлично, как появиться перед толпой. Ее разыскали за шатром, где она лежала, напившись бузата[2], и только мычала в ответ на толчки женщин, пытавшихся ее разбудить.

— Чего же вы стоите? Не бойтесь! Попробуйте развязать — получите верблюда! — кричали в толпе.

---

[1] Этот обычай развязывания верблюда до сих пор сохранился у некоторых кочевых народов Средней Азии.

[2] Бузат — крепкий хмельной напиток, изготовлявшийся из молока.

Тогда из группы женщин вышла вперед стройная девушка. Она подошла застенчивой, скромной походкой к знатным гостям, сложив руки на груди, поклонилась Будакену и сказала, побледнев и опустив глаза:

— Привет тебе, храбрый и щедрый Будакен! Я сумею развязать верблюда, если ты действительно обещаешь подарить его мне...

Будакен, удивленный, видя эту девушку в первый раз, сказал:

— Если ты развяжешь верблюда и проедешь на нем вокруг шатров, верблюд будет твой. Кто ты, девушка, не боящаяся ничего, даже стыда?

Девушка безнадежно махнула рукой:

— Что такое стыд для потерявшей свободу!

— Ты невольница? Какого ты хозяина? Как твое имя?

— Меня зовут Томирис...

— Томирис, Томирис!..— загудели в толпе.

— Я из племени дахов [1], была украдена во время набега и затем продана купцам. Теперь я прислана князем Гелоном вместе с подарками для твоей прекрасной дочери.

Князь Гелон, кичившийся победой, потемнел от ярости и шепнул своему ближайшему слуге:

— Скажи этой негоднице, чтобы она уходила отсюда и не смела позориться.

Скиф бросился к девушке и стал ей что-то шептать на ухо. Томирис стояла, не отвечая. Но толпа жаждала увидеть поскорее веселое зрелище, и все стали кричать, требуя, чтобы Томирис скорее начала развязывать верблюда.

Томирис сделала рукой предостерегающий жест слуге, чтобы он отошел, и подбежала к лохматой темно-серой туше верблюда. Ошеломленный неожиданным неудобным положением, он был зол, дергал ногами, извивался всем туловищем, желая порвать веревки, клохтал и булькал, выбрасывая на сторону длинный розовый язык. Девушка быстро сняла все свои цветные одежды, свернула их в узелок и перевязала его красным шнуром от шаровар. Она положила узелок на песке между клочками редкой травы. Толпа гудела и хохотала. Но все затихли, увидав стройную худощавую девушку, украшенную только ниткой красных бус на шее и пестрыми лентами, вплетенными в шестнадцать тонких кос, спадавших на узкие девичьи плечи.

---

[1] Большое племя дахов в древности обитало на Нижнем Яксарте (древнее название реки Сырдарьи).

Никого не замечая, Томирис завязала косы вокруг головы.

— Но она совсем девчонка! — прошамкал старый князь Тамир.— Разве она сможет развязать столько узлов, затянутых шестью здоровыми молодцами?

Томирис стремительно бросилась к верблюду, вскочила розовым комком на его бурую шерсть и начала развязывать узлы, впиваясь в них пальцами и зубами. Прежде всего она развязала голову верблюда, притянутую к животу. Когда верблюд освободил голову и вытянул шею, он перестал биться и только иногда еще жалобно стонал, раскрывая узкие длинные челюсти. Томирис упорно работала над перепутанными узлами; ее тонкие руки летали и сплетались среди черных волосяных веревок, накрученных причудливой сеткой.

Потом она прыгнула к узелку с одеждой, взяла его в зубы и продолжала возиться, сидя на четвереньках. Вот освободилась задняя нога верблюда. Веревки стали слабнуть. Верблюд снова забился, повернулся на живот и вскочил неуклюжим прыжком сперва на задние, потом на передние ноги.

Томирис уже сидела на спине, припав между пушистыми горбами. Верблюд отряхнулся и, нелепо подпрыгнув, побежал сильной, размашистой иноходью в степь, прочь от гудевшей толпы.

Верблюд громко ревел от боли, а Томирис колола его горб бронзовой шпилькой, вытащенной из волос.

По обычаям старины, нужно было во время бега верблюда суметь одеться, объехать вокруг кочевья и вернуться к месту празднества. Темно-серый верблюд с девушкой, прижавшейся между горбами, скрылся за курганом. Никто не обратил внимания на то, что один из слуг князя Гелона вскочил на коня и помчался в степь за верблюдом.

ПОДАРОК СПИТАМЕНА

Тогда впервые увидели Спитамена и заговорили о нем.

Пока скифы смеялись над девушкой, не побоявшейся голой развязать верблюда, к Будакену и знатным гостям подошел запыленный путник с мешком за плечами. Незнакомец остановился в нескольких шагах от них и крикнул, произнося правильно по-сакски:

— Благородный князь Будакен — Золотые Удила, я принес тебе подарок, достойный твоей силы, твоей храбрости и

гостеприимного радушия. Такого подарка ты давно ждешь.

Будакен удивленно развел руками:

— Что может мне подарить согд, говорящий по-сакски? Я уже имею все, что только может пожелать человек. Подойди ко мне поближе.

Путник подошел к коню Будакена, сунул руку в свой кожаный мешок и вытащил оттуда небольшого темно-серого щенка с длинным хвостом. Пушистый зверек скалил острые зубы, топорщил белые усы и, неистово барахтаясь, урчал.

— Тебе нравится такой красавец? — спросил незнакомец.— Самый настоящий и злобный. Видишь черную полоску на носу? Через два года он будет с тобой ходить на охоту, ловить диких коз, перешибать хребты горным баранам и сбрасывать с коня твоих врагов. Узнаёшь ли ты этого зверя?

И все узнали в щенке будущего гепарда-читу[1], самого быстроногого и страшного зверя гор, который привязывается к хозяину, как собака, и в битве бесстрашно бросается на его врагов.

У Будакена разгорелись глаза. Щенка читы найти трудно: зверь водится в самых диких горных ущельях, на неприступных скалах.

— Спасибо, странник! Что же ты хочешь за этого щенка?

Все знали, что Будакен щедр, что он не остановится перед ценой, если что-нибудь ему понравится. Поэтому воины, стоявшие вблизи, закричали:

— Скажи, что ты даришь маленького читу! Будакен тебя отблагодарит дороже, чем стоит зверь!

Но незнакомец ответил:

— Ты богат и славен, Будакен! Никто не может сосчитать баранов в твоих стадах или коней в твоих табунах. Ты сам не знаешь им числа. Подари мне молодого коня с твоим тавром...

Такие слова, по кочевым обычаям, были дерзкими и непочтительными. Незнакомец походил на бедняка, и он не смел требовать, а должен был ждать милости от богатого

---

[1] Гепард, или охотничий леопард. У него кошачья голова и длинный хвост, но строение всего остального тела — как у собаки. В беге самое быстрое животное из всех млекопитающих. В странах Востока с древнейших времен приручался для охоты на коз и оленей. Встречается и в настоящее время в горах Средней Азии, но редко. В Персии гепарда зовут «чита» или «юспеленг».

и влиятельного Будакена. Поэтому все заметили, как Будакен нахмурил брови. Но этот большой и сильный князь любил шутки и забавы и не лишен был неожиданных причуд.

Будакен сказал:

— Как звать тебя, смелый путник, и откуда ты родом? Да сможешь ли ты вскочить на будакеновского коня? Ведь тебе придется садиться не на пуховую подушку, на которой согды считают свои барыши. Ты сейчас же свалишься, если тебя посадят на нашего жеребца...

Все кругом загоготали:

— Посади согда на жеребца! Покажи нам, как согдский козел барахтается на коне!..

Незнакомец, не обращая внимания на обидные выкрики, опустил узкие глаза и сказал:

— Я зовусь у согдов Спитамен, называют меня еще и Шеппе-Тэмен [1]. Я одной крови с вами — моя мать была из рода Тохаров [2] с боевым кличем «улала!» [3]. Но мой отец был согд, и с детства я был воспитан в Сугуде и вскормлен согдийским просом и виноградом.

Будакен задумал новую шутку, чтобы повеселить гостей, и сказал:

— Хорошо, Шеппе-Тэмен... Я рад, что мы с тобой одного боевого клича. Ладно, ты можешь взять у меня какого хочешь коня, но не из тех, которые привязаны, а из тех, что пасутся на воле. И, кроме того, ты возьмешь коня с земли, а не сидя на другом коне...

Тогда Спитамен скрестил на груди руки в знак благодарности и передал щенка читы подошедшему старику, умеющему воспитывать для охоты беркутов, соколов, борзых собак и других животных.

— Не сердись только, Будакен, если я буду выбирать лучшего, а не худшего коня...

---

[1] С п и т а м е н — древнеперсидское слово, которое означает: «блистающий» (храбростью, доблестью). С п и т а — «искры». Буквально: с п и т а м е н — «искрометный». Ш е п п е - Т э м е н (по-турански) — Левша-колючка.

[2] Т о х а р ы — великий скифский народ, который через двести лет после событий, описанных в настоящей повести, вторгся в Восточную Бактрию и овладел ею.

[3] Каждый род скифов имел свой особый боевой клич, которым они сзывали друг друга и с которым бросались в битву.

ЛОВЛЯ БУРЕВЕСТНИКА

Будакен крикнул своим слугам, чтобы они подогнали ближе табун лошадей, пасшийся невдалеке в степи, и сам с гостями тронулся шагом по направлению к табуну. Слуги с криками вскачь помчались к табуну и, растянувшись цепью, стали окружать его. Спитамен легко вскочил на круп коня одного приветливо его окликнувшего скифа. Они затрусили вслед за свитой Будакена.

Табун встревоженных кобылиц скакал по степи к кочевью. Скифы, размахивая арканами, дико вскрикивали и, свистя, носились вокруг табуна. Несколько жеребцов вылетели из табуна; они мчались, вытянув шею и прижав уши, навстречу скифам, готовые наброситься на них. Тогда те, стегая плетками своих коней, поворачивали и уносились в степь, затем, сделав полукруг, снова возвращались к табуну.

Будакен и гости должны были вскачь пронестись к кургану, чтобы не попасться под ноги летевшему табуну. Они въехали на курган, откуда, неуклюже переваливаясь, сбежали в степь три верблюда.

Тогда слуги и пастухи криками и хлопаньем длинных бичей завернули табун и остановили его перед курганом.

Кобылицы сбились в кучу, некоторые подымали высоко головы, другие прыгали, лягались, отлетая от бурых и гнедых жеребцов, пробегавших как хозяева между косяками.

— Где же этот согд? — крикнул Будакен.— Может быть, он испугался, увидев хвосты сакских кобыл?

Но Спитамен уже был наготове. Он казался особенно коренастым и широкоплечим, когда спускался мягкими шагами по скату кургана, раскачивая свернутый кольцами сыромятный аркан. В другой руке он держал свой кожаный мешок.

Все бывшие на кургане услышали сильный свист, протяжный, с переливами, тот свист, которым кочевники успокаивают испуганных лошадей.

Весь табун насторожился, вперед вылетел вороной жеребец, знаменитый неукротимый Буревестник, высокий, лоснящийся в лучах солнца. Спитамен остановился. Жеребец, сделав несколько прыжков, поднялся на дыбы, повернулся в воздухе на задних ногах и бросился обратно. Спитамен подошел еще на несколько шагов к табуну. Вороной жеребец остановился, сильно втягивая поздрями воздух, и снова помчался к Спитамену. Он был уже в трех

шагах, когда Спитамен взмахнул рукой. Сыромятный ремень мелькнул в воздухе и обвился вокруг лоснящейся крутой шеи, а охотник отпрыгнул в сторону, натягивая ремень. Жеребец взвился на дыбы, закрутился и снова бросился на дерзкого врага. Он хотел ударом зубов и передних ног сбить человека, захлестывавшего ремень. Тогда Спитамен ловко надвинул кожаный мешок на голову разъяренного жеребца, и через мгновение скифы увидели, что охотник висит на его шее, крепко ухватившись руками и ногами.

Буревестник мотал головой, взвивался, прыгал, бил ногами, стараясь сбросить впившегося в него седока, и наконец бешено понесся по степи, взвивая голубые клубы пыли.

— Улала! — закричал Спитамен.

— Улала! — вопили скифы.— Он нашей крови! Он наш! Ни один согд никогда не осмелится вскочить на нашего вольного жеребца!..

Будакен был доволен. Хотя бедный охотник вскочил на одного из его лучших коней, но зато гости были поражены интересным зрелищем. Теперь они разъедутся по своим кочевьям, и вся степь будет знать о щедрости Будакена, все заговорят о вороном жеребце, которого он отдал за щенка читы, и имя Будакена будет повторяться у всех костров, по всем тропам скифской равнины.

БЕГЛЯНКА ТОМИРИС

Спитамен промчался вихрем мимо кургана и кочевья, где пестрая толпа скифов кричала и выла от возбуждения; он подстегивал ремнем взбесившегося коня, летевшего, не разбирая дороги, с мешком на голове. Только когда кочевье скрылось позади и мимо стали пролетать песчаные барханы, охотник сдернул с головы жеребца кожаный мешок, продолжая хлестать коня ремнем с бронзовой пряжкой.

Не давая передышки, он гнал жеребца между песчаными холмами, поросшими редкими кустами кандыма[1], и, когда неукротимый скакун стал покрываться клочьями белой пены, Спитамен вытащил из-за пазухи недоуздок и набросил его на прекрасную голову свирепого Буревест-

[1] Кандым — растение, обычно попадающееся в виде отдельных кустов в песках Туркестана.

ника. Конь уже не сопротивлялся, не пытался, загибая шею назад, укусить всадника за колени.

Внезапно Спитамен услышал впереди крики и увидел между холмами грузную фигуру темно-серого верблюда. Между горбами его сверкала ярко-красным платьем девушка, которую он видел в кочевье Будакена на связанном верблюде.

Но теперь за верблюдом несся всадник в остроконечном башлыке и темной одежде. Он пытался схватить и стащить девушку.

Та отчаянно кричала и отбивалась:

— Степь, укрой меня! Степь, спаси меня! Смерть хочет выколоть мои глаза...

Спитамен сзади приближался к всаднику. Он видел мелькавшие в скачке копыта чалого коня, широкую коричневую спину скифа, его полосатые штаны, перехваченные у лодыжек ремешками. Рука скифа ловила красную одежду девушки, но та с визгом размахивала бронзовой длинной шпилькой, пытаясь ударить его по руке.

— Ты не убежишь от меня, поганка! — кричал хрипло всадник.— Теперь тебе конец!..

Тогда сыромятный аркан Спитамена снова пролетел в воздухе и захлестнул голову скифа, который вылетел из седла, взмахнув руками, и грузно упал на песок. Некоторое время он волочился по песку за вороным конем Спитамена, ошеломленный и полузадушенный. Спитамен перерезал ремень и, оставив скифа лежать на песке, бросился дальше за верблюдом. Чалый конь без всадника понесся в сторону и исчез, мелькнув за барханами.

— Улала! — крикнул Спитамен в знак дружеского приветствия.— Какого ты рода, девушка?

— Машуджи! [1]— крикнула беглянка.

Она оглянулась. Ее голова была закутана малиновым платком, из-под которого виднелись черные глаза с прямой линией бровей.

Спитамен знал, что «машуджи» — это боевой клич племени женщин, живших особыми кочевьями на севере, близ Оксианского моря. Они пользовались почетом у соседних племен, как живущие по особо строгим законам. Нападение скифа, только что им сброшенного, на женщину этого племени считалось преступным по законам кочевников.

[1] Машуджи — род одного из племен амазонок, живших в древности в степях близ Оксианского (Аральского) моря.

Вороной догнал бегущего верблюда и продолжал скакать рядом.

— Он хотел убить меня. Это слуга князя Гелона. Но ты не тронешь меня? Помоги мне бежать. Я родилась свободной и хочу вернуться к своим шатрам.— Томирис покосилась на охотника, приподняв руку, из которой высовывалось острое жало бронзовой шпильки.

— У Горьких колодцев, на перекрестке дорог, недалеко от каменного идола Афросиаба, стоит шатер Спитамена. Там живет моя мать, и она приютит тебя,— сказал Спитамен.

— Но ты дашь мне свободу? — закричала в ответ девушка.— Или ты тоже хочешь надеть на меня цепь невольницы?..

Слова их терялись в свисте ветра. Они оба продолжали нестись рядом — грузный, сопевший верблюд и легкий вороной конь.

Спитамен воскликнул:

— Спитамен беден, но свободен! В моем стаде только десять овец. Но Спитамен не кланяется князьям, он друг скованных цепями. Ты найдешь в моем шатре лепешки и овечий сыр. Полог моего шатра всегда будет открыт, если ты захочешь уйти из него.

Девушка подумала несколько мгновений.

— Я не знаю, говорят ли твои слова правду о моем спасении или это мурлыканье хитрого тигра, желающего разорвать меня. Но я хочу поверить тебе: ты крикнул мне привет вашего рода. Я поеду к Горьким колодцам и буду искать там шатер Спитамена.

Охотник указал рукой:

— Ты сейчас едешь правильно, на юг. Скоро ты увидишь вышку, покрытую костями и хворостом. Поезжай от нее дальше широкой тропой, ты увидишь там идола Афросиаба и мой шатер.

Спитамен завернул вороного и направился, не уменьшая бега, не к кочевью Будакена, а на восток — к тонкой линии тополей, растущих вдоль берега Яксарта. Мимо него пронеслись холмы, покрытые искривленными стволами саксаула. Иногда из-под ног вылетали куропатки, скакали в сторону зайцы, а он видел перед собой только черные брови, соединенные синей полосой, и его губы шептали:

— Алое солнце залило лучами твои золотистые руки, поднявшиеся завязать шестнадцать кос, и я сказал себе:

«Вот утренняя звезда, которую я сниму с неба!» Но смерть несется за моими плечами, и мне осталась только половина дня...

НА БЕРЕГУ ЯКСАРТА

Тополя и лозняк купают свои ветви в стремительно текущих мутных водах Яксарта. Река подмывает берег, и некоторые деревья держатся на корнях, наклонившись над рекой, вода в которой кружится, скользит и быстро проносит ветки, солому и коряги.

Там, где река изогнулась, образовав зеленый поемный луг, в траве и камышах рассыпаны сотни две лошадей. Одни из них ходят вокруг вбитых в землю приколов, другие стреножены и, подпрыгивая, медленно ковыляют с места на место.

Большая часть лошадей мелки, тощи. Спины их покрыты кусками войлока или выцветшей дерюги. Здесь не видно нарядных аргамаков, цветных чепраков и серебряных украшений.

Когда вороной Спитамена показался из-за бугра и пронзительно заржал при виде лошадей, из-под тополей выбежало несколько скифов в остроконечных шапках.

— Шеппе-Тэмен, ты с нами? Здравствуй, Шеппе-Тэмен! — кричали грубые голоса, и несколько саков, с горящими черными глазами, с длинными, падающими на плечи волосами, схватили потного, взмыленного жеребца и привязали к дереву.— Здесь уже кричали, что ты продался Будакену, что он купил тебя своим конем!..

Спитамен взобрался на толстый ствол упавшего тополя. Перед ним на склоне берега, тесно прижавшись друг к другу, сидело множество кочевников в различных одеждах. У одних широкие полосатые шаровары подхвачены у щиколоток ремешками. Другие завернули шаровары выше колен, их одежда еще мокра: они переплывали реку с другого берега.

Спитамен заговорил:

— Будакен не мог меня купить. Я с бою взял его Буревестника. Будакен разжирел, он дружит с князьями, он выдает дочь за князя. Он потерял счет своим баранам. Но один ли он ходил в походы или вместе с нами? Один ли он дрался, или все мы выручали его в боях и теряли свои головы?

— Верно, верно! Кто же этого не знает! — раздавались голоса.

— Почему растут его стада? — продолжал Спитамен.— Потому что у нас они убывают. Сколько слуг у него — и все присматривают за его богатством. Если он даст кому-либо корову, то на другой год надо вернуть ему и корову и теленка.

— Но что же делать? Будакен силен и богат, и все князья заодно с ним.

— А разве вы забыли все старые обычаи, что всякий работник, всякий слуга свободен и может уйти от хозяина, если двадцать один воин захочет образовать свой отдельный род, прокричать свой боевой клич, поселиться отдельным кочевьем?

— Но как же мы начнем свой новый род? — закричал тощий старик с седой козлиной бородой.— У нас не хватает скота, чтобы прокормить молоком и сыром наших детей. Нет баранов, чтобы собрать шерсть, из которой наши женщины соткут нам одежды. Будакен и князья дают от своей щедрости беднякам, когда у них чего-нибудь не хватает...

— Молчи, козел Сагил! Довольно хвалить Будакена! — закричали голоса.— Ты подослан Будакеном? Или ты сам пришел, чтоб освободиться от него? Пусть говорит Шеппе-Тэмен, что́ нам надо делать.

Спитамен обратился к тому скифу, которого обвинили в том, что он подослан Будакеном:

— Я знаю тебя, хотя и вижу в первый раз. В твоем шатре пищит, наверно, столько детей, что ты каждое утро дрожишь от мысли, как их прокормить. Но ты до смерти останешься с петлей на шее, и конец веревки всегда будет под сапогом Будакена. И если ты будешь бояться, то и дети твои всегда будут работать на детей Будакена. Но, если все слуги уйдут от Будакена, разве не разбредутся его стада по степи? Разве он один, без пастухов, сможет удержать все стада в своем кулаке?

— Верно, верно, Шеппе!

— Чтобы начать новую жизнь, надо уйти подальше в степь и там растянуть свои свободные шатры. Если вначале и придется трудно, зато каждый родившийся ягненок станет вашим, и вы не понесете его Будакену. Каждого жеребенка вы будете растить для себя, а через два года уже посадите на него своего сына.

— Пусть будет так!

— Если нас соберется двадцать один шатер, то мы уйдем далеко в степь, выкопаем свой колодец и начнем на призывы выступать своей дружиной. А если двадцать один воин сделает набег на чужое, враждебное племя, то мы сразу приведем столько скота, что проживем всю зиму, не боясь голода.

Скифы стали пересчитывать, сколько всадников хотят выделиться в отдельный род, поставить в новом кочевье свои шатры. Они долго спорили, переходили с одной стороны на другую и наконец насчитали семьдесят восемь шатров.

ШАТЕР БУДАКЕНА

Сумерки затягивали степь синими паутинами, когда понурый вороной конь подошел к кочевью Будакена. Все шатры, казавшиеся черными, просвечивали яркими красными щелями от огней, горевших внутри. Около крайних шатров пылало много костров, и клубы дыма, точно борода бога Папая, завиваясь, плыли к потухающему закату.

В четырнадцати больших бронзовых котлах варилось мясо лошади, коровы, барана и козы для угощения многочисленных гостей, прибывших, кто по приглашению, а большинство без всякого зова, из соседних кочевий.

Котлы были врыты в землю, по семь в линию. Под ними шли дымоходы, наполненные сухим кизяком и хворостом. Озаренные красными отблесками, женщины с большими деревянными ложками возились около котлов и накладывали куски мяса в большие деревянные и глиняные миски, с которыми подходили слуги, разносившие мясо гостям, сидевшим близ шатров на коврах и камышовых циновках.

Когда Спитамен подъехал к большой пестрой палатке Будакена, к нему подбежали два скифа, стоявших у входа, и, всмотревшись, сказали, что Будакен уже много раз спрашивал о нем и зовет к себе. Они крикнули старика, полусогнутого от времени, который взял коня за недоуздок, провел рукой по шее, между передними ногами и по ребрам и покачал головой:

— Ты его совсем загонял. Придется Буревестника подкармливать ячменем месяца два, пока он опять нагуляет жир.

— Разве это баран, что ты хочешь его сделать жирным? Конь должен быть легким, как олень.

Скифы ввели Спитамена в просторный шатер Будакена.

Шатер имел круглую форму. Крыша и боковые стенки, искусно сплетенные из прутьев, были затянуты белым войлоком, расшитым звездами и цветами. Посредине крыши в круглое отверстие выходил дымок, подымавшийся от небольшого костра из смолистых корней. Слуга подбрасывал пучки сухих колючек, вспыхивавших ярким пламенем, озарявшим загорелые суровые лица сидевших на коврах вокруг костра знатных скифов.

Среди гостей выделялся старый, сгорбленный князь Тамир, одетый в шелковую полосатую одежду и красный башлык, обшитый жемчугами. Рядом с ним был молодой Гелон, далее Ариасп и другие вожди родов.

С левой стороны, близ входа, висели два огромных кожаных турсука, сделанные из цельных, неразрезанных коровьих шкур, полные кумыса. Горла их были завязаны, и из каждого турсука высовывались резные деревянные ручки-болтушки, которыми два полуголых невольника с красными язвами вместо глаз, с оковами на ногах безостановочно взбалтывали любимый напиток скифов.

Около турсуков стояла огромная деревянная чаша, а возле нее другие, поменьше, из белой глины, казавшиеся рядом с большой маленькими детьми. Чаша-мать была полна кумыса, беспрестанно приводимого в движение деревянным ковшом затейливой резьбы в неутомимой руке стоявшего подле нее на коленях старого бородатого Хоша, умевшего своими рассказами веселить Будакена. Получив приказание Будакена, Хош прекратил мешать кумыс и, обтерев полою своей бурой одежды чаши поменьше, начал разливать в них напиток. Глиняных белых чаш было шесть, и в каждую вмещалось не менее пяти ковшей. Когда все были наполнены, то двое слуг, стоявших для посылки у дверей шатра, начали разносить кумыс гостям, строго разбирая возраст и старшинство.

Гости выпивали чаши до дна. И, чтобы облегчить этот труд, разделяли его на несколько приемов, делая передышки в разговорах или принимаясь дуть на поверхность пенящегося кумыса, чтобы перевести дыхание. Пустые чаши слуги тотчас отбирали и, наполнив снова кумысом, разносили остальным, менее важным гостям, которые из скромности доставали из кожаного мешка за поясом свои походные чаши [1] и наполняли их кумысом.

---

[1] Скифы всегда с собой носили в особом кожаном мешочке на поясе чашку, бронзовую или глиняную, а богатые — золотую.

Спитамен, зная обычай скифов, стоял неподвижно у входа, ожидая, когда знатный хозяин обратит на него внимание. Будакен, зорко за всем наблюдавший и делавший глазами знаки Хошу и слугам, сразу же заметил появление Спитамена. Но он должен был сохранить свою важность: не мог же он в присутствии знатных людей обратить внимание на неизвестного бедного охотника, и, только когда старый князь Тамир прошамкал беззубым ртом: «Не этот ли молодец сегодня взялся усмирить вороного Буревестника?» — Будакен сделал приветливое лицо, моргнул Хошу, чтобы тот дал Спитамену кумыса, и сказал стоявшему неподвижно охотнику:

— Проходи ближе, гость из пустыни, садись к огню.

Пройти вперед было невозможно: всюду на коврах сидели более или менее почетные гости из знатных родов. Но ведь важно показать свое гостеприимство, свою ласку даже бедному бродяге, который потом, прибавив и разукрасив подробностями, станет рассказывать об этом в кочевьях широкой равнины.

— Расскажи нам, откуда ты родом и у кого из князей ты был слугой,— сказал надменно князь Гелон.

— А также скажи, где ты научился так ловко набрасывать аркан и прыгать с земли на коня,— добавил его сосед, косоглазый князь Ариасп, прибывший из далеких восточных кочевий.

По скифским обычаям, если какой-либо бедняк на скачках, борьбе или других состязаниях выигрывал коня или ценный приз, то победитель не оставлял у себя выигранной добычи, а дарил ее какому-нибудь знатному вождю, которому был чем-либо обязан или надеялся получать его милость и в дальнейшем [1]. Поэтому все ждали, что бедный охотник в заплатанных сапогах, даже не имеющий остроконечного башлыка, воспользуется снисходительным обращением к нему знатных вождей и одного из них объявит своим покровителем, подарив ему будакеновского коня.

Слуга с чашей кумыса в руке ждал, что Спитамен пройдет и сядет на ковре, втиснувшись между гостями. Но странный охотник продолжал стоять у дверей. Будакен метнул на него взгляд и сделал знак слуге. Тот подал Спитамену чашу с кумысом.

---

[1] Этот обычай сохранялся у среднеазиатских кочевников еще в прошлом столетии.

Охотник взял ее двумя руками и сказал свистящим шепотом:

— Мы с тобой одной крови. Пусть наш род не видит джута[1] и не знает позора поражения! — Затем он выпил несколько глотков и причмокнул языком. — Хороши кобылицы у Будакена! Легки как ветер жеребцы Будакена, и одного жеребца, годного для далекой дороги, Будакен отдает бедному охотнику за щенка читы.

Будакен повернулся на месте и впился колючими глазами в невозмутимое лицо Спитамена. В раскосых карих глазах его поблескивали отсветы костра.

— Спитамену нужен конь, лук, меч и копье. Ты все это отдашь за то известие, которое я тебе сообщу и которое принесет тебе и великую радость и великое горе...

Будакен, спокойный, с приветливой и недоверчивой улыбкой, сказал, подняв плечи:

— Какую ты можешь сообщить весть, приносящую радость? Говори — и ты не уйдешь без награды.

Старый князь Тамир затряс головой:

— Кто пришел в шатер однажды с доброй вестью, тому хозяин при встрече всегда будет говорить: «Привет! Заходи еще!»

— Верно, — ответил Спитамен. — Но старые люди также говорят: «Кто приносит дурную весть, того все потом обходят за тысячи шагов». Пусть не обидятся гости, что я скажу несколько слов на ухо хозяину... — И Спитамен, легко проскользнув между сидящими, нагнулся к большому уху Будакена с тяжелой золотой серьгой в отвисшей мочке и прошептал несколько слов.

Будакен, несмотря на то что всегда умел скрывать свое горе и радость, не удержался. Он закрыл лицо большими квадратными ладонями и стал раскачиваться на месте с глухим стоном.

Все затихли, с удивлением глядя на обычно спокойного и величественного главу скифского рода, а Спитамен проскользнул обратно к входу и принял прежнюю окаменевшую позу, держась руками за ременный пояс.

Будакен поднялся и грузными шагами вышел из шатра.

Все молчали и слышали, как Будакен стоял у входа, тя-

---

[1] Джут — гололедица зимой, когда скот не может из-подо льда доставать себе подножный корм и гибнет от голода.

жело вздыхая. Вздохи его напоминали стоны верблюда. Потом он вернулся в шатер, невозмутимый, как всегда, и сел на свое место.

Недоверчивыми глазами он впился в Спитамена:

— Ты хочешь коня, лук, меч и копье? На какую же войну ты собираешься?

— На войну с Двурогим!

— О какой войне говорит этот оборванный охотник? — воскликнул нетерпеливый князь Гелон. — Для охоты на двурогого тура не нужно меча.

Тогда Спитамен указал рукой на юг:

— Взгляните туда — в степь. Занятые праздником, вы не замечаете тревожных сигнальных огней, загоревшихся на курганах.

ТРЕВОЖНЫЕ ОГНИ

Войлоки с боков шатра были закинуты на крышу, чтобы дать доступ свежему воздуху. Сквозь легкую деревянную решетку все увидели в ночном мраке вдали несколько красных точек. На сторожевых вышках, непрерывной цепью тянувшихся из глубины кочевий до первых укрепленных поселков Сугуды, разгорались огни. Ни одно движение отрядов согдийцев, парапамисадов или других племен не могло пройти незамеченным. Сторожевые скифы, день и ночь наблюдавшие на своих вышках, в случае наступления неприятеля немедленно зажигали соломенные жгуты, накрученные на высокие шесты. Через несколько часов вся степь на сотни верст кругом знала, что надо стягивать отряды к заранее условленным местам на перекрестках дорог и быть готовыми к защите родных стад и кочевий.

Увидав красные огни, все князья вскочили и выбежали из шатра. Всякий по-своему объяснял эти тревожные сигналы:

— Сделали набег массагеты? Но мы с ними заключили взаимный договор о дружбе. Может быть, возвращаются наши отряды, ушедшие год назад по требованию царя царей Дария? Или объявили войну согды? Но согды любят торговать, а не сражаться...

Будакен распорядился зажечь на кургане сигнальный огонь. Двадцати скифским воинам он приказал оседлать лошадей, приготовить оружие и взять в переметные сумы ячменя на три дня.

На вышке, сложенной из хвороста и верблюжьих костей,

слуги подняли высокий шест, обмотанный соломой. Уже года два в степи было спокойно, никаких сигналов не подавалось, и шест, сваленный бурей, лежал без надобности. Скиф принес в горшке углей и поджег солому на шесте. Она вспыхнула, пламя лизнуло верхушку шеста и осветило гудящую толпу тревожно толпившихся скифов.

Через час нужно ждать гонцов с ближайшего сторожевого поста. Они приедут получить распоряжение Будакена, а может быть, привезут известия о том, что случилось, какая беда надвигается на степь.

Одни из гостей бросились разыскивать стреноженных коней, другие вернулись в шатер Будакена и сели на коврах, споря и волнуясь. Сквозь решетку потянул холодный ветер, и слуги набросили на плечи знатнейших стариков шубы, крытые серым шелком и подбитые лисой, соболем и куницей.

Будакен усадил около себя Спитамена. Он хотел выведать от странного охотника все, что тот знал. Недоверчивый, он в то же время сомневался: не лазутчик ли это, посланный неведомым врагом? Хозяин ничем не выказывал своей тревоги, своей радости или горя.

Особенно кричавшим он добродушно говорил:

— Еще неизвестно, что за враг и где он. А вот если ты не поешь жаренного на вертеле мяса молодой, необъезженной кобылицы, то твоя душа затоскует.

Будакен расспрашивал Спитамена, и хотя узнал немного, но и этого было для него достаточно, чтобы признать охотника в будущем полезным для себя.

Немного помолчав, он сказал:

— Ты, Спитамен, останешься у меня до завтра, когда не будет остальных гостей, которых всех надо накормить и оказать им почет. Завтра же я тебе выберу из моих табунов самого настоящего саурана, с темной полосой на спине[1]. Он пригодится для длинной дороги. А Буревестник не годится для тебя. Он уже семь лет водит свой косяк в тридцать кобылиц и, оберегая табун от волков, истощил свои силы. Поэтому Буревестник и пришел таким измученным после скачки. Но Буревестник знаменит тем, что все жеребята, рожденные от него, имеют маленькую голову, всегда торчащие уши, изогнутую шею и прямые, как стре-

---

[1] Сауран — саврасый, светло-рыжий конь с темной полосой по хребту, происходящий, по преданию кочевников, от дикого коня. Сауран отличается неутомимостью.

лы, сухие ноги с маленькими копытами без волос на бабках.

— Это верно. Все в степи издали узнают жеребят от Буревестника,— подтвердил князь Тамир.— Они не идут, а пляшут; у них не голова, а песня; не ноги, а крылья сокола.

Спитамен молчал, опустив глаза, сидя на пятках, протянув руки вдоль колен. Лицо его оставалось неподвижным, как придорожный камень в степи. Он понимал, что Будакен не хочет расставаться с Буревестником, и ждал, что̀ еще хозяин предложит вместо него.

Будакен добавил:

— Ты получишь саурана вместе с чепраком и уздечкой, украшенной белыми ракушками, предохраняющими от дурного глаза.

Так как Спитамен продолжал молчать, Будакен добавил:

— Ты еще получишь копье с железным наконечником [1] и тогда поедешь в Макаранду моим проводником.

Раскосые глаза Спитамена продолжали глядеть на ковер. Свет от костра играл тенями на его неподвижном лице.

— Ну что же ты хочешь? Почему не благодаришь? — проговорил князь Гелон.— Скорее соглашайся. Кто, кроме Будакена, способен сделать такой щедрый подарок?

Тогда Спитамен процедил сквозь зубы:

— Подари мне стрелу, затерянную в траве...

Будакен покосился одним глазом на Спитамена. Он почувствовал особый смысл в словах охотника.

— Подари мне сокола, улетевшего в небо. Подари мне невольницу, развязавшую верблюда...

Будакен стал смеяться. Глаза обратились совсем в щелки, и от носа по лицу протянулось множество морщинок. Его большое грузное тело тряслось, и, глядя на него, стали смеяться остальные гости.

— Это уже слишком много! — воскликнул князь Гелон.— За котенка читы спросить молодого коня с копьем и рабыню — это чрезмерно! Он забыл, с кем говорит, этот охотник, пришедший пешком, как нищий.

Спитамен поднял на князя Гелона угрюмый взгляд, сверкнувший угрозой, и сказал:

— Почему ты жалеешь больше, чем Будакен, владелец коня? Разве трудно подарить непойманную рыбу в воде и тень от облака? Почему Будакен медлит? Ведь эта неволь-

---

[1] Железо ценилось дороже меди и бронзы.

ница все равно уже им потеряна. Она убежала на верблюде, и ее не поймать, как улетевшую с цветка пчелу.

Тогда старый князь Тамир раздраженно проскрипел:

— Эта невольница — молодец! И мне она о-о-очень понравилась. Около нее, вероятно, всякий помолодеет. Если Будакен мне ее уступит, то я заплачу за нее девять кобылиц.

Будакен перестал смеяться. Вскочив с легкостью, которую нельзя было подозревать, видя его большое грузное тело, он хлопнул в ладоши, но слуг вблизи не было, они ушли за конями торопившихся с отъездом гостей.

Громким голосом Будакен закричал в темноту, призывая слуг:

— Мармер, Мава! Где вы? Идите сюда!

— Здесь, мой хозяин, — ответили невдалеке голоса, и из темноты вынырнул на свет костра юноша в синей одежде, с уздечкой в руке.

Будакен пошептался со скифом. Он не сердился, не кричал, ничем не показывал, рассержен ли он бегством невольницы. Он слишком ценил присутствие старых князей, чтобы при них выказать свой гнев из-за ничтожной рабыни, которая для всякого свободного воина должна быть не дороже потерянного тюка с соломой.

Будакен вернулся на свое место, опустился на колени, потом откинулся на пятки. Его лицо было приветливо, как всегда.

— Ты просишь кольцо, упавшее в колодец, стрелу, улетевшую в камыши. Ты прав. Рабыня, развязавшая верблюда, до сих пор назад не вернулась. Если бы не эта военная тревога, когда надо всех молодцов сажать на коней, я бы сейчас разослал по степи двести моих воинов, и завтра беглянка сидела бы в яме, с кольцом в носу и с тавром Будакена, выжженным на лбу. Князь Тамир хочет купить эту рабыню. Я слишком высоко ценю князя, чтобы осмелиться сделать ему подарок, которого у меня нет в руках.

— Но если я сам подниму стрелу, выпавшую из твоего колчана, ты не потребуешь, чтобы я отдал ее?

И Спитамен глядел на Будакена, ожидая решительного ответа.

— Мало ли у меня других стрел! — ответил небрежно Будакен.

Спитамен наклонился перед Будакеном и сказал:

— Я буду тебе проводником и буду охранять тебя и

твоих коней, если ты возьмешь меня с собою отыскать то, чего ты ждешь...

Будакен был доволен отказом Спитамена от вороного. Больше всего любил он коней, затем сына, ушедшего по вызову персидского царя Дария, потом уже все остальное. Чего будут стоить его косяки кобылиц, если не будет Буревестника? Теперь все кочевья станут рассказывать, что Будакен не пожалел за вороного отдать оседланного саурана и молодую невольницу, что он предпочитает женщинам боевого коня, и Будакен радовался своей мудрости.

ГОНЕЦ ИЗ СУГУДЫ

В конце кочевья вдруг раздались вопли и крики.

— Это едут гонцы,— сказал старый Тамир, прислушиваясь и грея над костром восковые руки.

Другие гости вскочили и выбежали из шатра. Шум усиливался, слышался топот лошадей и бегущего народа. Несколько скифов с копьями в руках выстроились у входа в шатер, где остались только Будакен, Тамир и Спитамен.

— Все пропало! Все погибло!..— вопили женские и мужские голоса.— И мы все погибнем! За что Папай гневается на нас?!.. Что поделает могучий Будакен, если сам Папай гневается!..

— Введите гонца и никого больше не впускайте в шатер! — прогремел властный, по-новому зазвучавший голос Будакена.

Он встал, расставив широко ноги в замшевых сапожках, расшитых бисером, снял со стенки пояс с коротким мечом, надел его и взял в руки оправленную в золото плетку с двумя хвостами.

— Не напирайте! Отойдите! — кричали скифы.— Пропустите гонца!..

Раздались шлепки и вскрикивания: это слуги расчищали дорогу гонцу и его провожатым.

В шатер вбежал бородатый человек в разодранном богатом персидском кафтане, в широких шелковых штанах, расшитых цветными узорами. Его длинная борода и завитые волосы были растрепаны. Глаза дико блуждали. Он размахивал коротким персидским мечом.

— Кто князь Будакен? Ты или ты? — обращался гонец то к старому Тамиру, то к Будакену.

— Что произошло? — спросил Будакен.— Чего ты кри-

чишь, как испуганная курица, оставившая в зубах лисицы свой хвост?

— Все пропало! — в отчаянии воскликнул гонец и опустился на пестрые подушки, грудой лежавшие на ковре.

— Все пропало! — подхватили голоса за шатром.

Вопли и крики прорезали тишину ночи. Затем все затихли, прислушиваясь, что скажет Будакен.

— Ну, рассказывай: что пропало? — мрачно спросил Будакен, продолжая стоять.

— Скифские отряды, которые год назад были вызваны царем царей Дарием... Не могу говорить, дайте пить!..

— Дайте ему кумысу, чтобы остыла его голова! — приказал Будакен.

Слуги, отставив копья, нацедили кумыс из турсука в чашу и подали ее гонцу.

Тот отпил немного, вздохнул и жалобным голосом простонал:

— Все погибли! Все до одного перебиты Двурогим!

Все присутствующие взглянули на Будакена. Они знали, что с этим отрядом ушел и любимый сын Будакена, Сколот, и с ним двадцать молодых его родичей, не считая простых воинов.

— Где наши сыновья, наши братья, наши мужья? — завопили снова голоса за решеткой шатра.

Блестящие глаза припадали к прутьям решетки, руки со скрещенными пальцами просовывались внутрь:

— Отдай их нам назад, Будакен! Это ты отослал их из наших степей в далекие страны.

Будакен стоял по-прежнему, расставив широко ноги. Его челюсть отвисла, щеки подергивались, глаза скосились на кончик носа, и рука дрожала так, что два конца плетки извивались, как хвосты змей.

— Выпороть его! — прогремел Будакен и, шагнув через костер, стал хлестать плеткой и толкать ногой испуганного гонца. Чаша выпала из его рук, и белый кумыс разлился по шелковым подушкам.— Выпороть его, сказал я! Чего вы смотрите, вислоухие бараны! — И, схватив одного слугу за плечо, Будакен швырнул его в сторону сжавшегося гонца.

Скифы бросились к нему, вытаскивая из-за спины плетки. Они знали гнев Будакена. Князь гневался редко, но в гневе был страшен и не раз, рассердившись, душил провинившегося.

— Держите его за ноги и голову! — гремел, задыхаясь от ярости, Будакен.— Держите крепче! Я сам буду пороть

его. Сумасшедший верблюд! — кричал он и бил двухвостой плеткой по извивавшемуся телу гонца.

Перепугавшийся гонец сперва от страха молчал, а потом стал кричать неистовым голосом. Толпа снаружи шатра приумолкла, и множество блестящих глаз смотрело сквозь решетку.

— И те, кто послали тебя,— сумасшедшие верблюды! Не сумели послать другого, поумнее! Ты хочешь всполошить всю нашу степь, чтобы все кочевья снялись и ушли отсюда за горы к исседонам, а на наше место пришли ваши согдские пастухи со стадами? Может быть, не все пропали? Говори!

— Может быть, не все! — завопил гонец.

— Где пропали? — гремел Будакен, продолжая наносить удары.

— Там!..— орал гонец.

— Где — там?..

— В Персии...

ПОСЛОВ НЕ УБИВАЮТ

Тогда Спитамен, с улыбкой наблюдавший избиение гонца, приблизился к Будакену и крепко схватил его за руку, готовую наносить удары бесконечно.

— Довольно, Будакен! Ты забыл правило: «Послов не бранят и не убивают. Послу смерть запретна».

Будакен хотел вырвать руку, но Спитамен удержал ее.

— Теперь он уже вернул свой рассудок,— сказал, посмеиваясь, старый Тамир.— Он не станет больше кудахтать. Пусть теперь спокойно расскажет, что случилось. Дайте ему свежего кумыса.

— И подложите побольше подушек — ему трудно сидеть,— добавил Спитамен.

Будакен обошел костер и, еще задыхаясь, сел на свое место. Его широкая грудь со свистом вздымалась. Он глядел безумными глазами. Весть гонца его так же поразила, как слова, сказанные на ухо Спитаменом, но он все еще не хотел этому верить. Его тревожила судьба сына. Неужели он убит и нет никакой надежды увидеть его снова молодым, смелым, похожим на Будакена в молодости?

Гонец лег на бок. Его обложили подушками. Слуги свистнули двух серебристо-серых поджарых борзых, которые быстро вылизали с ковров и подушек пролившийся кумыс. Гонец пытался отпить кумыса, его зубы стучали о край зо-

лотой чаши, слезы еще лились по щекам, и он озирался на Будакена, как затравленный зверь.

Старый Тамир успокаивал гонца:

— Ты же мужчина! Ты должен был приехать молча, обратиться к князьям или выборным лучшим людям. Затем мы обсудим, соберем всех и придумаем, что делать. Помнишь сказку, как одна крупинка града упала на мышь, а она, испугавшись, побежала по степи и стала кричать, что идут несметным войском враги и стреляют в нее из луков? Ведь тогда все звери в степи поверили и убежали в горы. Так ты того же хочешь?

Будакен заговорил, обращаясь к гонцу, и голос его снова был тверд и непроницаем:

— Вернулась ли твоя душа обратно в селезенку?

Гонец молчал и старался незаметно смахнуть с глаз слезы.

— Теперь скажи нам, кто ты, как твое имя, от какого отца происходишь и от кого бежишь.

РАССКАЗ О ДВУРОГОМ

— Меня зовут князь Оксиарт, сын Амюрга, из рода наследных владетелей города Курешаты[1]. Я поставщик корма для лошадей правителя Сугуды Бесса.

Князья переглянулись. У всех мелькнула мысль: «Если это близкий человек Бессу, всесильному сатрапу Сугуды и Бактры, то не поступил ли опрометчиво Будакен, избив такого знатного персидского чиновника?»

Старый князь Тамир сказал мягким, вкрадчивым голосом:

— Отчего же ты не сидишь вместе с великим правителем за столом совета, а носишься по степи, как верблюд с подожженным хвостом, тревожа сердца мирных скотоводов, доителей кобыл?

Гелон прибавил:

— Правитель Бесс уехал год назад с войском от всех племен Сугуды, Бактры и саков, чтобы наказать дерзкие народы, оскорбившие царя царей...

Поглядывая недоверчиво и угрюмо на безмолвного Будакена, Оксиарт начал:

---

[1] Курешата — укрепленный городок, был расположен на границе со степью в ряду согдианских крепостей, назначенных охранять Согдиану от набегов северных степных кочевников.

— Что может сделать великий царь, если против него пошел сам бог, вышедший из моря, повелевающий демонами? Он не похож на обыкновенных людей. У него из глаз вылетают молнии и убивают все кругом. Он в два раза выше обыкновенного воина, и на голове его растут рога, завитые, как у горного барана... Когда он говорит, то люди падают на землю, как от грома. Он сын злого бога Аримана и священной змеи Ангромайнью. Бог Ариман даровал ему силу и злой разум, а змея наградила его хитростью, так что все народы бегут от его войска, как овцы от пожара, когда загорается высохшая степь...

Все скифы, разинув рты, слушали перса и не знали, верить ему или нет. Слишком невероятными казались его рассказы.

Послышались отрывистые вопросы:

— Ползает ли он на брюхе, как змея?

— Есть ли у него хвост?

— Видел ли ты его своими глазами?

— Если бы я его видел, разве мог бы я тогда появиться здесь? Все гибнут от его взгляда...

Все замолчали. Скифы, припавшие к решетке снаружи шатра, затаили дыхание, ожидая, что скажут вожди. А князья, опустив глаза, хитро выжидали, кто выскажется первым.

Спитамен посматривал на всех узкими карими глазами. На его губах змеилась усмешка.

— Что же, князья, вы молчите? Ведь надо поторопиться, а не то Двурогий, сын бога, происшедший от змеи, пожрет всех скифов, как журавль лягушек. Убегайте к исседонам или к черносвитам [1]. Там круглый год идет снег. Может быть, туда не пойдет за вами Двурогий?

Будакен почувствовал насмешку в словах Спитамена.

— Саки не бегут от слухов, которые принесла на хвосте согдская сорока! Разве не приходил к нам в степи непобедимый царь царей Куруш [2], чтобы нас наказать? Не на-

---

[1] По описанию Геродота, к северу от земель, занятых скифами, «где сыплется с неба белый пух», жили меланхлены (черносвиты, носящие черные плащи) и другие племена. Раскопки показывают, что уже в древнейшие времена были торговые связи между всеми этими племенами.

[2] Персидский царь Кир назывался в Персии Куруш. Его разбили скифы-массагеты, и их царица, отрезав ему голову, положила ее в мешок с кровью.

ши ли соседи массагеты отрезали ему голову и положили в мешок с кровью, чтобы он напился досыта? А мы, саки, и сильнее и многочисленнее массагетов.

— Верно! Верно! — очнулись скифы.— Чего нам бояться? Кто может прийти в наши беспредельные степи?

Спитамен заговорил опять:

— Если саки забыли, что́ надо делать, когда на них идут враги, то позовите певца. Пусть он споет старые песни. В них наши деды заповедали все, чего мы не должны забывать.

— Позовите Саксафара! — раздались голоса снаружи шатра.— Пусть он споет наши старые песни!..

ПЕСНИ САКСАФАРА

Саксафара разыскали и сейчас же привели. Тощий, согбенный, с развевающимися седыми волосами, он был одет очень бедно, в коричневую грубую одежду из верблюжьей шерсти, и подпоясан ремнем с множеством металлических украшений, куколок и талисманов. На ногах были широкие желтые сапоги, из которых виднелись войлочные чулки. Немигающие выцветшие глаза смотрели вверх. Он шел с протянутыми вперед руками, ощупывал встречных. Скифы усадили его на почетном месте. Перед ним положили плоский треугольный ящик с натянутыми струнами.

Саксафар опустил пальцы на струны и сказал слабым, старческим голосом:

— Привет вам, смелые товарищи рода Тиграхауда и Роксонаки! Я не вижу ваших лиц — они скрыты от меня вечной темнотой, но я помню ваших отцов и дедов. Я так же пел им песни, как пою вам, и они повторяли доблестные древние слова, когда бросались в битву...

— Спой нам, Саксафар! Пусть сердца наши разгорятся гневом!

Зазвенели струны под десятью старческими искривленными пальцами, и Саксафар запел высоким, звонким голосом, дрожащим в ночной тишине:

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

Если вы хотите, чтобы солнце золотило загаром
Смеющиеся лица наших голопобых детей,
Чтобы круглые животы наших женщин
Дарили новых крикунов боевого клича «улала́!»,

Чтобы задорно плясали шестнадцатикосые девушки
И звонко перекликались злобные жеребцы,
Скача вокруг косяков сладко пахнущих кобылиц,—
Проверьте стрелы вашего колчана,
Натянуты ли туго ваши луки?

Дожди увеличивают воду в колодцах,
А кобылицы наполняют кумысом кожаные турсуки.
Если мальчик научится крепко бить чужие скулы,
Он со смехом встретит огненное мгновенье,
Когда над ним зазвенят цепи смерти.
Если увидите вспыхнувшие дымные огни
На далеких сторожевых вышках курганов,
Сзывайте товарищей, спешите на перекрестки дорог!
Готовы ли кони? Отточены ли мечи?
Натянуты ли туго ваши луки?

ВТОРАЯ ПЕСНЯ

Улала! Скифы! Слышите ли призыв?
Еще дрожат в горячем ветре,
Как змеи, вставшие на хвост,
Голубые дали наших степей...

Видите ли, точки движутся вдали?
Это опять показались двуногие шакалы.
Мы должны догнать их
На наших неутомимых бегунцах
И пронзить стрелами их хребты!
Улала! Скифы! Слышите ли призыв?..

Не бросай раненого на поле битвы,
Если за тобой гонятся десять врагов,
Вспомни отважного Сакмара.
Он поочередно убил девять
Гнавшихся за ним парапамисадов
И привел на аркане десятого...

Ты слышишь топот погони,
Натянут ли туго лук?
Завлекай врагов на солончак,
Где завязнут их тяжелые кони.
Притворись, что ты очень боишься
И хочешь спастись от погони...

Улала! Скифы! Вы слышите ли призыв?..

ТРЕТЬЯ ПЕСНЯ

Если спросить совета у зайца,
У него задрожит хвост, и он покажет пятки.
Спроси совета у наших богатырей,

Они подымут секиру и
Крикнут боевой призыв «улала!».

Вынимайте широкие ножи!
Точите их на черном камне!..

Если четыре человека в союзе,
Они достанут звезду с неба;
Если восемь богатырей в разладе,
Они потеряют то, что у них во рту...

Тигр рвет одинокого волка,
Но, когда выводок семи волков-братьев
Завоет свою песню смерти,—
Тигр, ворча, уползает в глубину камышей.

Скифы, спешите скорее на помощь,
Когда услышите наш призыв «улала!».

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕСНЯ

Не верьте, товарищи, длиннобородым послам!
Лапы больного волка кусают шакалы,
А раньше они извивались на спине,
Когда видели тень его хвоста...
На черном камне наточите ножи!

Склоняйте головы только перед стариками
И воинами — товарищами, павшими в битве!
Длиннобородые персы хотят набросить на нас петлю,
Но они помнят змеиный свист нашей стрелы.
На черном камне наточите ножи!

Великий Куруш был царь царей,
Он хотел надеть цепи на скифов.
Но что осталось от тысячи его дружин?
Мы сделали их падалью, растаскиваемой шакалами!
На черном камне наточите ножи!

Мы отрезанную голову великого Куруша
Напоили кровью в кожаном бурдюке.
А черепами его бесчисленных воинов
Играли дети во всех скифских шатрах...
На черном камне наточите ножи!

Великий Кир был царь царей,
Но лучше бы он сидел на ковре в своем саду,
Слушал пенье своих четырехсот жен,
Но не беспокоил осиное скифское гнездо...
На черном камне наточите ножи!

ПЯТАЯ ПЕСНЯ

Пусть жеребят наших боевых коней
Воспитывают и холят нежные женские руки,
Чтобы наши кони имели такую же легкую походку,
Как наши звенящие бусами, длиннокосые девушки...
Такую же гордую, свободную осанку,
Как наши женщины, идущие с кувшинами к колодцу.

Женщины передадут жеребят старикам,
Научившимся сдерживать свой гнев,
И мы будем радоваться, видя, как двухгодовики
Обгоняют испытанных в беге старых скакунов.

Пусть наших коней холят женские руки!

Наши кони не знают, что такое далеко.
Да будут прокляты те скифы,
Которые жмурят глаза, слыша звон золотых монет,
И уступают купцам своих вспотевших коней,
Проскакавших соленые степи.

Наши мохнатые пегие кони
Издали внушают ужас врагам,
Налетают, как песчаный смерч,
И исчезают, как дым разметанного костра.
С нашими конями мы не знаем, что такое далеко!

Пусть наших коней холят нежные женские руки!

ШЕСТАЯ ПЕСНЯ

Скифы! Наше одеяло — синее небо с светящимися жуками.
Пускай персидские храбрецы, запершись в башнях,
Слушают журчанье прохладных канав
И расценивают урожай своих тучных земель,
Политых потом рабов, купленных у нас.
Пускай лежат на коврах в тутовых рощах,
Ловя ртом осыпающиеся сладкие ягоды.

Пускай хвалятся перед запыленными путниками
Высокими стенами, окружающими их дома,
Набитые пуховыми подушками
И мешками с шафраном, мускатом и финиками.
Вы, скифы, бойтесь спать в каменных ящиках,
Где бесшумно сквозь цветные занавески
Проскальзывает отточенный тонкий нож
И навсегда опускается темное покрывало
На глаза, видящие во сне наши голубые степи...

Мы, скифы, живем, как степные колючки,
Любим порывы пахнущего полынью ветра,

Ночной вой шакала, соленую воду колодца,
Дымок костра, карабкающийся к небу,
И наше одеяло — синее небо с светляками-жуками!..

Скифы внимательно слушали старинные песни Саксафара. Женщины вздыхали, бессильные старики плакали, сильные воины вскрикивали и потрясали волосатыми руками. Когда Саксафар пел известный любимый припев: «Улала! Скифы! Вы слышите призыв?» или «Точите ваши ножи на черном камне!» — все подхватывали припев и громко пели грубыми, сильными голосами.

Кто-то закричал:

— Саксафар! Спой песню Афросиаба! [1]

— Спой, Саксафар, про гнев Афросиаба!

Тогда Саксафар поднял тусклые глаза к небу, покачал седой головой и запел любимую боевую песню скифов:

Афросиаб воскликнул: «Я иду в поход!
Выкрасьте хною хвост моего коня!
Персы продают наших девушек на базарах.
Эта мысль переворачивает мое сердце!»

И все слушавшие скифы хором подхватили припев:

Афросиаб воскликнул: «Я иду в поход!»

Старый певец продолжал:

Все старые воины окружили разгневанного Афросиаба
И заплескали в ладоши, услыхав про поход.
Женщины развели огни и опустили в котлы мясо,
А юноши бросились в табуны выбирать себе коней.

Афросиаб в первый же день отправил вперед разноцветный шатер
И приказал его ждать на перекрестке у Горьких колодцев.
На третий день Афросиаб сел на коня с красным хвостом
И сказал женщинам: «Заботьтесь сами о стадах».

Афросиаб двинулся в поход. Вся равнина дрожала от страха.
На пограничных персидских башнях зажглись трепетные огни.
Афросиаб вторгся, как разлив реки.
Двести тысяч черных башлыков следовали за ним.

Горы не могли удержать натиска Афросиаба.
Не расседлывая коней, воины его переплывали реки.

---

[1] Афросиаб — мифический вождь и герой среднеазиатских сказаний. Его именем до сих пор называются некоторые исторические памятники возле Самарканда.

Персы, бросая дома, бежали на вершины скал.
Крепости стояли пустые, с раскрытыми воротами.

Семь дней кровавым облаком было затянуто небо,
На восьмой день снова запылало солнце.
Тогда Афросиаб воскликнул: «Поворачивайте коней,
Вытирайте мечи волосами персианок!»

Афросиаб со славой вернулся в степи.
Тысячи груженых верблюдов следовали за ним.
Скифы пили из вражеских черепов кумыс, сидя перед шатрами,
И пели песни про поход разгневанного Афросиаба...

* * *

Тем временем князья, не обращая внимания на песни, близко склонив головы друг к другу, шепотом обсуждали, что предпринять ввиду тревожных странных слухов из Согдианы.

Гелон сказал:

— Надо всем разъехаться по своим кочевьям и дать знать другим родам кочевников, чтобы все готовились отогнать стада дальше, за Оксианское море.

Будакен зацокал к знак несогласия.

— Зачем торопиться? В Сугуде я имею друзей. Сам сатрап Бесс принял от меня в прошлом году в подарок пару жеребцов и звал приехать к нему в гости. Уже несколько лет мы с согдами пили из чаши мира, обещая прекратить набеги. Я завтра сам выеду в Сугуду с двадцатью воинами и узнаю, какие последние известия получены от царя царей и кто такой Двурогий победитель, о котором рассказывают сказки.

Старый князь Тамир потряс одобрительно своей высохшей головой и стал тихо говорить, обращаясь к Будакену:

— Ты постарайся проехать всю Сугуду насквозь, до самой границы на Оксе, где переправа в Бактру. Внимательно смотри и слушай, не затевают ли чего-нибудь вредного для нас эти хитрые изготовители сладкого вина, от которого мы теряем рассудок. Через каждые три дня ты будешь посылать одного воина с новостями. Если же обнаружится большая опасность для нас, пошли гонца с приказом, чтобы на курганах зажгли двойные огни. А этот князь Оксиарт, пугающий женщин своими рассказами о Двурогом — сыне змеи, пусть останется здесь, в кочевье, до твоего возвращения. С ним надо обращаться как с почетным заложником, но зорко присматривать, и если он попытается убежать, то сейчас же надеть на него цепи и посадить в глубокую яму.

Под звуки песен Саксафара князья утвердительно поддакивали, слушая мудрые наставления старого Тамира.

А когда Саксафар снова запел боевую песню, скифы хором подхватили:

Слышите братьев призыв?
Кличет нас голос битвы!
Чувствует наш язык
Сладкую кровь убитых...[1]

Славьте отвагу и силу,
Жадное славьте копье!
Давно оно крови не пило.
Пусть пьет!

Близко шакалы двуногие!..
Седлайте коней ретивых!
Силу им влейте в ноги,
Ветер вплетайте в гривы!

Пойте боя жестокость,
Пойте храбрость орла!
В вражье кровавое око
Отточенная стрела!
Улала!..[2]

НЕВОЛЬНИКИ В ЯМЕ

Поздно ночью, когда все кочевье уже спало, Будакен сам разостлал снаружи шатра войлочную попону и лег, подложив под голову свою мерлушковую, обшитую соболем шубу. Ему не спалось, он поворачивался с боку на бок и не мог успокоить взбудораженные мысли.

К нему бесшумно подошел его старый слуга Хош, опустился на колени и, сев на пятки, стал рассказывать — как делал это каждую ночь — все, что за день произошло в кочевье: сколько ячменя съели лошади гостей, в какую беду попал Кидрей, который, опившись кумысом, по ошибке зашел в шатер Чепана, уехавшего на охоту, и в темноте наткнулся на лежавшую старуху, мать Чепана, которая сорвала с него башлык. Теперь он боится возвращения Чепана, который по башлыку узнает, кто ночью заходил в его шатер.

---

[1] Скифы пили кровь убитого ими врага, думая, что с кровью победителю передается сила убитого или раненого.

[2] Стихотворная обработка песни А. Шапиро.

Будакен слушал равнодушно и отпустил Хоша, приказав:

— Скажи Кидрею, чтобы утром он был готов в дорогу, с оружием и конем. Он поедет со мной в Сугуду.

Луна тихо поднималась по небу, иногда заворачиваясь в покрывало дымчатого облака. Одна из жен Будакена проскользнула к нему, посидела безмолвно в его ногах на попоне, но, не получив ни одного слова привета, исчезла среди ночных теней.

Слова бродяги-охотника с красной повязкой на голове, сказанные шепотом, казалось, беспрерывно повторялись около уха Будакена разными кричащими, резкими голосами: «Я говорил с человеком, который видел твоего сына. Твой сын Сколот жив, но он стал рабом...»

И Будакен не находил успокоения. Он смотрел вдаль, на залитые голубым светом луны равнины, где уже погасли все мерцавшие вечером огни, и вспоминал сына — высокого, стройного, затянутого в хорошо сидящий на нем темный чекмень, искусно расшитый руками мастериц-рабынь. Прощаясь, сын смеялся, показывая ровные белые зубы. Он забрал с собой двух рослых коней — сыновей Буревестника... И вот теперь этот веселый, смелый юноша, быть может, прикован к мельничному колесу, которое он должен вертеть, погоняемый бичом надсмотрщика. Ведь скифов за их силу всегда ставили на самую тяжелую работу. Или ему выкололи глаза, как невольникам самого Будакена, взбивающим кумыс, и его Сколот дробит большим пестом пшеницу в ступе.

Ярость и отчаяние охватывали Будакена. Тяжелые вздохи, точно из кузнечного меха, вырывались из его широкой груди. «Нельзя тратить ни одного лишнего дня — надо ехать вместе с бродягой охотником и разыскать того человека, который видел Сколота. Через него нужно будет послать известие сыну и обещать выкуп, хотя бы он равнялся половине всех его стад».

Вой, звериный, протяжный, отчетливо пронесся над заснувшим кочевьем. Будакен внимательно прислушался. Раньше он никогда не обращал внимания на такие крики, но сейчас приподнялся, сунул свои толстые ступни в меховые полусапожки и грузно пошел в направлении воя.

Будакен обходил спящие в разных положениях фигуры, спугнул несколько собак, миновал последние шатры и подошел к яме, из которой несся прерывающийся вой. Какой-то человек сидел на краю ямы на корточках.

— Кто ты и что здесь делаешь? — окликнул Будакен.

— Я наблюдаю человеческую судьбу! — ответил знакомый свистящий голос.— Вот что может статься с каждым из нас.

Луна вынырнула из дымчатого покрывала, и Будакен узнал Спитамена. Он держал длинный прут, на конец которого надевал куски лепешки и опускал в яму, откуда неслись вой и крики.

Лунный луч, падавший в глубину ямы, освещал пять человеческих фигур. Все они были скованы за ноги одной цепью. Четверо, толкая друг друга, вытягивали руки, стараясь схватить лепешку на пруте. Пятый лежал на дне, прикованный к одному из прыгавших, и выл диким, звериным голосом. Четверо, не обращая внимания на лежавшего, наступали на него, стараясь подпрыгнуть выше. Все находившиеся в яме были рабы Будакена, не желавшие исполнять его приказания. Они были бестолковы, не понимали скифского языка и постоянно пытались убежать на родину.

Будакен присел на краю ямы. Посмотрел вниз, на обросших волосами длиннобородых людей, протягивавших к нему руки и кричавших непонятные слова. Из ямы несло ужасным зловонием. В нее скифы кидали отбросы еды, и там же скованные рабы отправляли все свои естественные надобности.

«Может быть, и мой сын тоже хочет убежать на родину, тоже сидит в зловонной яме, вырывая у других обглоданные кости».

— На каком языке говорят они? Где находится их родина? Они, как одержимые демонами тьмы, кричат такие слова, которых не понимает никто в кочевье, даже жрец Курсук, который разговаривает в грозу с самим богом Папаем.

Спитамен стал задавать невольникам вопросы на разных языках, которые он изучил во время своих скитаний. Они все замолкли, стали прислушиваться и затем наперебой начали отвечать хриплыми, простуженными голосами.

Спитамен переводил их ответы внимательно слушавшему Будакену:

— Вот этот, с волосами, закрученными вокруг головы, из страны тохаров. Он сопровождал караван, везший в Вавилон шелка и драгоценные камни. Массагеты напали на караван, разграбили его, а всех взятых в плен купцов и проводников продали в рабство соседнему племени. Вот эти два, с длинными бородами и тонкими, как палки, ру-

ками, родом из Гиркании. Те же массагеты, пробравшись горными тропами, внезапно ночью напали на их селение, подожгли его и увели с собой людей, лошадей и верблюдов. Они оба сделались рабами, но хозяева не хотели их держать, так как у них нет сил, чтоб работать. На родине они были магами, молились богам и изгоняли из больных злых демонов; поэтому они лучше хотят сидеть в яме, чем вертеть мельничный жернов.

Четвертый говорил на языке, из которого Спитамен не мог понять ни одного слова. Среди длинной речи иногда слышались названия городов: Тир, Сидон, Иерушалаим[1], но что он хотел сказать, оставалось тайной.

— У него кудрявые волосы и черные глаза,— объяснил Спитамен.— Может быть, он из той провинции, где главный город Иерушалаим. Он похож на жителя той страны, лежащей на берегу моря. Пятый же болен, покрыт язвами, в которых завелись черви. Он говорит на языке явана, того народа, из которого вышел Двурогий царь; но он безумен, его речи бессвязны, целые дни он писал острым камнем на стене ямы слова и рисовал людей и лошадей, мешая спать другим. Товарищи избили его, чтобы он лежал тихо.

Будакен встал и пошел обратно к своему шатру. Зловонный запах преследовал его. Около шатра он увидел скифа, крепко спавшего на спине, с раскрытым ртом. Будакен закрыл ему своей широкой ладонью рот и зажал ноздри. Через несколько мгновений задыхающийся скиф вскочил и уставился на Будакена бессмысленным взглядом.

— Уже светает, пора собираться в дорогу! Подымай молодцов.

Когда скиф пришел в себя, Будакен добавил:

— Ты сейчас же вытащишь из ямы всех пятерых рабов и снимешь с них цепи. Я им прощаю их упрямство. Они могут уходить на все четыре стороны. От них нет никакого толку: работать они не могут. Зря приходится их кормить. Среди них есть два мага из Гиркании, с длинными бородами. Пусть помолятся своим богам, чтобы моя поездка была удачна. Все это им может растолковать тот бродяга охотник в красном согдском платке, который укрощал Буревестника. Там еще есть один больной явана в язвах. С него цепи не снимать, а пусть жрец Курсук совершает над ним молитвы и пляшет с бубном, чтобы из больного вылетел злой де-

---

[1] Иерушалаим — так евреи в древности называли город Иерусалим.

мон. Раны ему надо вымыть коровьей мочой[1] и смазать бараньим салом. Но ни в коем случае не дать ему убежать. Он может пригодиться для обмена пленных. Потом... Как только старый князь Тамир проснется и поест, мы отправимся в путь. Смотри, чтобы к тому времени и кони и запасы для дороги были готовы.

БУДАКЕН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

По жемчужной, ослепительно светящейся степи двигалась группа всадников. Трое ехали рядом. Будакен, в темной дорожной одежде, сидел на гнедом крепком жеребце. Расшитые пестрыми узорами штаны были заправлены в желтые сапоги без каблуков, с остроконечными, загнутыми кверху носками. Переметные сумы за седлом были туго подтянуты сыромятными ремнями. Все на Будакене и его коне было прилажено удобно ввиду далекой поездки.

Рядом на высоком сером в коричневых крапинках жеребце сидел князь Тамир, согнувшийся, высохший, с белой редкой бородкой, торчащей из-под красного, обшитого жемчугами башлыка. Его ястребиные глаза пристально оглядывали далекий горизонт, а впавший рот беспрерывно шевелился. Третий всадник был молод, красив, в новой шелковой куртке с вышитыми на ней птицами и цветами. Широкие полосатые штаны были подхвачены у щиколотки серебряными цепочками. Он уверенно сидел на высоком золотисто-желтом жеребце с белым хвостом. Круп коня был покрыт малиновым чепраком, обшитым золотым позументом. Конь, согнув крутую шею, грыз удила, порывался вперед, но твердая рука князя Гелона сдерживала его.

Впереди, в ста шагах, ехали четыре дозорных воина. Сзади следовала густая толпа всадников — бóльшая часть их была с тонкими копьями, украшенными у острия пучком красных волос. Один держал древко с поперечной перекладиной, на которой сидело три медных сокола с колокольчиками в клювах, под ними свешивались три белых конских хвоста. Это был боевой знак старого князя Тамира, желавшего лично проводить Будакена до границы подчиненных ему кочевий.

Вьючный караван Будакена был отправлен заблаговре-

[1] Коровья моча у огнепоклонников тогда считалась священной, очищающей от грехов и исцеляющей болезни, особенно раны.

менно, за несколько часов, и должен был сделать в условленном месте привал при заходе солнца.

Когда всадники поравнялись с небольшим кочевьем, около десяти шатров, к Будакену подскакал Кидрей и указал на темно-серого верблюда с подвязанными коленями, лежавшего около рваного и почерневшего от копоти и времени шатра.

Будакен, как кочевник, помнящий наружность каждого животного из его стад, сейчас же узнал верблюда, которого на его празднике развязала смелая молодая невольница. Он крикнул князю Тамиру, что догонит его, и хлестнул плетью коня, помчавшегося крупными скачками по растрескавшейся глинистой земле. За ним поскакал Кидрей.

Около шатров сорвалась навстречу свора лохматых собак, давившихся от злобного лая. Старуха, в длинной, до пят, полинявшей рубашке, тощая и сморщенная, вышла из шатра и стала вглядываться в Будакена, прикрывая глаза коричневой рукой, украшенной медными браслетами и перстнями.

— Зачем вы врываетесь в шатры, если мужчины уехали на охоту? Уезжайте скорее домой!

Кидрей быстро заговорил, но Будакен остановил его величественным жестом руки:

— Чей это верблюд?

— А зачем тебе знать? Ты откуда? Не послан ли ты жадным Будакеном, который каждый день прибавляет нового коня к своим табунам и нового верблюда к сотням своих стад? А у нас нет скотины, чтобы привезти топлива из степи, и мне все самой приходится таскать на согнувшейся спине.

— Но Будакен не только увеличивает свои стада, он также дарит скот своим братьям по боевому кличу. Разве не Будакеном подарен этот верблюд?

— Что ты шипишь, старуха? — шепнул Кидрей.— Ведь сам Будакен говорит с тобой...

Услышав имя всесильного князя, который имел власть убивать, судить и миловать каждого из их рода, старуха поспешно накинула себе на голову край рваного платка и упала на землю, к ногам пятившегося коня, стараясь поставить его копыто себе на голову.

— Прости меня, неразумную, выжившую из ума старуху! — завопила она.— Сказала я по старости глупое слово. От голода все это, меня злость охватила. Хлеба нет, баранов нет, сын два года бродил только Папай знает где...

— Встань и ничего не бойся! — сказал невозмутимо Будакен.— Как же зовут твоего сына и где он бродил два года?

Старуха поднялась, покрытая пылью, и стала всматриваться в Будакена:

— Кажется, что верно ты Будакен! Удила у тебя в самом деле золотые. Мой сын уходил погонщиком караванов в Вавилон, а оттуда еще дальше — на берег моря, к тем не верящим в наших богов иноземцам — явана и киликаса [1], которые бесстыдно ходят без штанов, с голыми ногами. Недавно приехал он на коне, с чепраком и уздечкой. Теперь меня прокормит... Ведь когда конь дома, то можно конец мира увидеть...

Будакен слушал внимательно болтовню старухи. Поездка Спитамена в Киликию к грекам вызвала новое подозрение недоверчивого князя. Он был бы рад еще порасспросить старуху, которая уже приглашала его сойти с коня и отпить овечьего молока. Но Будакен приблизился к самому шатру, не слезая с коня, и заглянул внутрь, приподняв грубый шерстяной полог.

В глубине, на полуистлевшем ковре, молодая женщина в яркой красной одежде крутила каменный жернов, растирая зерна пшеницы. Сквозь рваную дыру в крыше шатра падал косой луч и освещал смуглую руку с бронзовым браслетом выше локтя и красный платок, окутывавший шею и подбородок, знак замужества. Глаза женщины, черные и смеющиеся, с прямой линией бровей, соединенных синей краской, показались Будакену знакомыми.

— Откуда эта труженица? — обратился Будакен к старухе, повернув коня от шатра.

— Откуда? Я этого не знаю! — отвечала говорливая старуха.— Она приехала в синюю лунную ночь на темно-сером верблюде. Конечно, мой сын достал ее. Шеппе-Тэмен достанет даже из-под земли все, что задумает... Только я хотела, чтобы он сидел дома, а не разъезжал по горам и равнинам. Тогда бы не страдало материнское сердце. А то я боюсь, что мне однажды привезут его тело без головы [2].

---

[1] В описываемое время персы называли греков яванами или киликаса, потому что в Киликии жило много греков-ионян и с киликийцами персы имели большие торговые связи.

[2] По обычаю скифов, их воины отрезали у врагов головы и привозили в свои кочевья, чтобы иметь право на участие в дележе военной добычи.

Будакен, не слушая больше старуху, поскакал вслед за тихо двигавшимся по степи отрядом князя Тамира.

— Здесь живет тот охотник, что поймал моего Буревестника. Он добавил к своей добыче и темно-серого верблюда, а та бесстыдница, что развязывала его, кажется, стала его женой...

Под Гелоном конь запрыгал, и князь воскликнул со злобой:

— Как ни корми паршивую собаку, ее всегда тянет к падали!..

— Все мы когда-нибудь станем падалью,— произнес шипящий тихий голос.

Князья обернулись и увидели около себя Спитамена. Он был в той же рваной, бедной одежде, подпоясан ремнем, на котором висели небольшой меч и кожаная сумка с дорожной чашкой. Изогнутый лук и колчан, туго набитый оперенными стрелами, были прикреплены по обе стороны чепрака. Конь Спитамена, степняк-сауран, серый, с темной полосой вдоль хребта, небольшой, но крепкий и горбоносый, был настоящий берк[1], на котором скифы отправлялись в дальний путь, не боясь никаких лишений.

Вскоре князья остановились. В этом месте скрещивались главные степные тропы: на северо-запад — к Ховарезму[2], на юг — в Сугуду и на восток — к тохарам. Множество колодцев, обложенных ветвями саксаула, было разбросано посреди истоптанной скотом, выжженной степи. Большой каменный идол, высеченный из цельного камня, глядел слепыми, выпуклыми глазами, держа в руках каменную чашу. Князь Тамир, а за ним и все остальные путники спешились и поочередно положили идолу в чашу по кусочку вяленой баранины, лепешки или несколько зерен ячменя.

Затем князья подошли друг к другу, подержались за локти, шепча слова молитвы, и поцеловались в плечи. Будакен помог старому князю Тамиру снова взобраться на коня. Затем ловко вскочил на своего карего жеребца и по узкой тропе, выдавленной в глинистой почве, как канавка, тронулся к югу. Скифские воины, растянувшись длинной цепью, последовали за ним.

Тамир хлестнул коня плетью и вскачь, без дороги, пу-

---

[1] Название «берк» сохранилось до сих пор у кочевников для обозначения выносливой дорожной лошади.

[2] Х о в а р е з м, или Х о р е з м,— древнее название Хивы.

стился в степь — в сторону своей ставки. За ним, взбивая пыль, помчались все его спутники.

Одинокий серый идол слепыми каменными глазами смотрел вдаль — туда, где группа всадников быстро уменьшалась в дрожащем раскаленном воздухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СЧАСТЛИВАЯ СУГУДА

> Никто не думал о том, что сейчас все рухнет, что кровь промочит сухие, пыльные дороги, что начнется новая жизнь.
>
> *Из восточной летописи*

НА ГОРОДСКИХ ВОРОТАХ

Город Курешата дремлет в палящих лучах раскаленного солнца. Арка въездных ворот города, сложенная из больших квадратных кирпичей, раскрыла, как пасть, широкий черный вход. Старые карагачевые ворота изъедены временем и термитами; на них резные изображения льва, стоящего на задних лапах, и необычайно храброго персидского царя, который, держа льва за уши, разрезает ему мечом живот. Под аркой проходят ослики, нагруженные зеленым клевером, медлительные бородатые буйволы, малорослые кони, скрытые под громадными вязанками хвороста. За животными идут, покрикивая, крестьяне в серых дерюжных одеждах, в грубых кожаных сандалиях. У них длинные черные бороды; недоверчивые глаза сидят глубоко, носы горбатые. Подпоясаны они тремя разноцветными шнурками — знак того, что они, как честные поклонники огня, имеют три добродетели: добрые мысли, добрые слова и добрые дела. Головы обвязаны желтым или синим полотенцем, конец которого спадает на плечо.

Городские ворота стоят в глубине между двумя сходящимися углом стенами из сырцового кирпича. На стенах выступают бойницы. Если из степи прискачут скифы и захотят штурмовать город, то их обстреляют со стен, забросают сверху камнями и зальют кипятком и горячей смолой.

Над воротами на выступе сидит сторож Кукей и вяжет узорчатые шерстяные чулки. Он стар и провел на этом ме-

сте много лет. Лицо выжжено солнцем и изрезано морщинами. Седые брови над слезящимися глазами торчат во все стороны. Давно уже не налетали из степи кочевники. Но он хорошо помнит, как последний раз примчались всадники на небольших крапчатых и бурых конях, с короткими копьями и тяжелыми секирами, в остроконечных черных шапках. Они ревели, как буйволы. Их стрелы летели далеко и поражали без промаха. Защитники города попрятались со стен, оставив котлы с кипятком. Эти всадники вытоптали конями поливные поля пшеницы, на скаку хватали и втаскивали на седла баранов и телят, стучали секирами в ворота. Они ушли обратно в степь, лишь получив вереницу верблюдов, нагруженных полосатыми мешками с зерном и большими кувшинами с крепким вином и медом.

Сторож Кукей дремлет, а руки по привычке шевелят деревянными спицами, продолжая вязать чулок. Он поглядывает со стены вниз, когда там громко заспорят между собою крестьяне.

Направо от Кукея, на верхушке башни из сырцового кирпича, облупившейся и оплывшей под действием солнца, ветров и зимних дождей,— взъерошенное гнездо, и в нем маячит аист на длинной красной ноге.

Иногда аист подпрыгивает, распластав широкие крылья, или закидывает голову назад, кладя клюв на спину, и щелкает им, как трещоткой.

«Счастливый наш город,— думает Кукей.— Видно, еще мы не прогневали нашего всемогущего небесного покровителя Агурамазду». И он молитвенно протягивает руки с чулком к солнцу.

Налево, в щелях стены, скрыты гнезда больших серых коршунов. Они часто вылетают оттуда, стремительные и бесстрашные, и затем плавают в небе, издавая скрипучие тонкие крики, точно стон блока над колодцем: пирлюлюлю, пирлюлю...

Аист внезапно замахал крыльями, потанцевал на тонких ногах и плавно полетел, направляясь в степную равнину, раскинувшуюся к северу беспредельным выцветшим плащом.

Сонные глаза Кукея проследили за полетом аиста, на солнце отливавшего серебром. Через квадратные поля проса и клевера, где поблескивала спущенная из канав вода, по межам пробиралась группа всадников. Кукей их сразу узнал: это, несомненно, скифы, около двадцати воинов. Как не узнать остроконечных черных шапок, небольших бурых и

пегих коней! Уже можно было различить тонкие, наклоненные вперед копья.

Кукей бросился к бронзовому боевому котлу, подвешенному на перекладине, и неистово заколотил по нему палкой. Резкие дребезжащие звуки понеслись по городу, пробуждая всюду тревогу. На плоских крышах появились перепуганные жители, побросавшие работу.

Кукей бил в котел, пока не прибежал испуганный десятский[1], с опухшим от сна лицом. Он переводил глаза то на Кукея, то на степь и наконец бросился к стене, вглядываясь в приближавшихся страшных всадников. По дороге бежали крестьяне, прыгали через канавы, гнали ослов в стороны, прямо через поля.

— Ворота! Скорей закрыть ворота!— закричал десятский и вместе с Кукеем побежал с башни вниз по истертым сырцовым ступеням.

Но когда оба внизу завернули за выступы стены, то наткнулись на трех скифов, прискакавших на пегих конях. Они уже въехали в ворота и остановились, поджидая других.

— Назад, уезжайте назад!— кричал скифам десятский. Он боялся приблизиться и только издали махал руками.

Один из всадников, с красной головной повязкой, крикнул Кукею:

— Старик чулочник, неужели ты не хочешь узнать меня? Я же Левша, Шеппе-Тэмен, сын горшечника! Разве ты не помнишь? Ты мне показывал, как из кишок крутить тетиву, как из рога оленя гнуть лук.

Кукей начал присматриваться и узнал молодое обветренное лицо, узкие смешливые глаза.

— Верно, ты, кажется, Левша Шеппе! Мне ли не узнать тебя: рядом жили! Теперь ты уже своего коня завел! Разбогател, видно. Но что мне делать, если нам приказано не пускать скифов в город?

Десятский продолжал кричать: он боялся, что скифы начнут рубить его тяжелыми секирами.

— Уезжайте за городскую стену — мы запрем ворота, а потом уже начнем говорить с вами. Кто знает, не едут ли за вами тысячи скифов, чтобы ворваться в город.

— Брось кричать!— успокаивал Спитамен.— Зачем всполошил весь город? Сколько лет уже нет войны между

[1] Десятский — начальник десяти воинов.

нами! Сакские вожди не раз пили с вашими князьями чашу дружбы.

— Не пой мне песни, поворачивай! — кричал десятский.— Наместник города прибьет в гневе гвоздями к воротам и меня, и сторожа Кукея за то, что мы впустили вас.

Из соседней, людной улицы с криками вылетело несколько всадников. Впереди на большом откормленном коне несся толстый согд, обвешанный оружием, с копьем наперевес. Его латы блистали, на шлеме развевались фазаньи перья. За ним скакали безусые юноши с поднятыми мечами.

Одновременно в ворота въехал Будакен и за ним его спутники. Он сидел на коне, спокойный, как всегда, угрюмый, со свисшими усами; только глаза его сузились и настороженно поблескивали. Все остановились.

Кукей выскочил вперед:

— Вот это приехал наш сотник. Он тоже скажет, что скифам нельзя въезжать в город.

— Зачем вы приехали сюда? — задыхаясь, закричал сотник.

— Это очень знатный посол от саков,— отвечал Спитамен,— князь Будакен — Золотые Удила. Он едет в Мараканду к сатрапу Бессу, везет драгоценные подарки. Если твое благородство будет кричать и не впустит нас в город, а заставит ночевать за стенами в поле, на отбросах, вместе с шакалами и собаками, то мы не останемся здесь, а поедем дальше. Там мы пожалуемся на вас царскому сатрапу и расскажем, как грубо вы встречаете важных послов!.. Тогда Бесс пришлет правителю города и заодно тебе крученые конопляные веревки, чтобы вы оба удавились в наказание за обиду, нанесенную знатному послу.

Сотник пошептался со своими спутниками.

— Впустим их на торговый двор [1], а там запрем,— советовали юноши.

Сторож Кукей схватил коня под уздцы и принял от сотника копье. Грузное тело сотника сползло с коня. Сложив руки на груди, он стал медленно подходить к скифскому князю, склоняясь к земле.

Будакен спрыгнул на землю и двинулся, раскачиваясь

[1] Торговый двор, рабат,— по-арабски: «укрепление». Такие дворы устраивались персами на больших путях в форме квадратного двора, окруженного высокими глухими стенами, с одними воротами, которые на ночь запирались. Позднее в Москве был такой рабат для восточных гостей, и это имя сохранилось в переделанном названии — «Арбат».

на кривых ногах, навстречу сотнику. Оба протянули руки и подержали их, подняв в знак уважения согнутую правую ногу.

— Приветствую высокого гостя,— сказал сотник,— добро пожаловать! Проезжайте дальше на главную площадь. Там есть торговый двор для путников. Не сердитесь на сторожа — он был прав: есть приказ из Мараканды, чтобы никого из чужестранцев без разрешения не пускать в город. Но высоким послам всегда мы рады. Такое опасное стало время! Говорят, что на Сугуду идут враги под начальством Двурогого царя. Пусть твоя сила садится на коня и следует за мной.

Будакен и сотник снова сели на коней.

— Азрак, сторожа Кукея взять на петлю! — крикнул сотник.

Угрюмый, плечистый согдский воин подъехал к сторожу Кукею, набросил ему на шею петлю и, повернув коня, потащил старика за собой. Кукей схватил руками веревку, которая его душила, и всхлипывал:

— Пропала моя голова! Теперь мне нет спасения! Все из-за этих саков! Кто спасет меня! Мать моя, ты увидишь мою смерть!

Юноши бросились в узкую улицу, полную народа, и стали хлестать плетьми по головам всех встречных.

По обеим сторонам этой улицы тянулись лавочки купцов. Ослы, лошади, крестьяне, нарядные горожане в пестрых одеждах — все бросились вперед, спасаясь от скифов.

Слышались крики:

— Саки ворвались! Сыновья Аримана! Запирайте ворота! Афросиаб вернулся! Уже режут!

Купцы спешно закрывали резные двери лавочек. Убегая, опрокидывали корзины с гранатами, померанцами, персиками.

На плоские крыши домов выбегали женщины в длинных цветных одеждах. Они хватали плачущих детей, тащили одеяла, ковры, кувшины.

Дряхлая старуха, волоча зеленую подушку, вылезла на край крыши и, потрясая пятерней с растопыренными кривыми пальцами, повторяла самое обидное персидское ругательство:

— Жгу вашего отца!.. Пусть он сгорит в аду!..

Тогда Кидрей, смеясь, закричал ей:

— Зачем показываешь свое лицо? Оно безобразно, как вымя гиены! Закрой его подушкой!

Когда жители города увидели, что скифы едут спокойно, что их секиры и копья никого не поражают, они осмелели и стали останавливаться отдельными группами, затем следовать сзади, постепенно приближаясь, указывая пальцами, смеясь, хлопая себя по бедрам и бросаясь в стороны, как только скифы оборачивались.

Главная улица пересекала город от восточных въездных ворот до противоположных — западных. На улицу выходили глухие глинобитные стены, кое-где прорезанные калитками и узкими переулками. За этими стенами виднелись зелень садов и плоские крыши домов — огромных замкнутых жилых кварталов.

Всадники прибыли на небольшую площадь, в середине которой возвышалась кирпичная арка, а за ней низкие строения, огороженные стеной.

— Это торговый двор для караванов,— объяснил Будакену Спитамен.

На площадь выходили лавки купцов Курешаты. Перед лавками пестрели деревянные лотки и нары, крытые коврами, полные материй, цветных туфель, тарелок с красками в порошке, кривых ножей, платков, бус, ожерелий, браслетов, кувшинов, мелкой посуды, конской сбруи, крючков, колец и прочих ярких и диковинных для скифов вещей.

ТОРГОВЫЙ ДВОР

Передние согдские воины, хлопая плетьми, влетели в широкие ворота торгового двора. Послышались крики и рев верблюдов.

Сотник, делая приветливый жест рукой, кричал:

— Сюда, сюда!

Скифы столпились и переговаривались вполголоса:

— Бойся согдианских стен! Въедем — и потом не выедем. Здесь нас передавят, как крыс в яме. Лучше остановимся в поле.

Но подошедшие близко согды приседали, ударяли ладонями по камням и звали въехать внутрь двора.

Пегий конь Кидрея и его широкая спина мелькнули в темных воротах. Он вернулся оттуда и закричал:

— Там есть вода, есть сено, и для нас чистят место!

Будакен поднял руку с плетью, и двадцать скифских коней гуськом двинулись в ворота.

Большой квадратный двор, обнесенный стеной, был полон кричавших людей и встревоженных верблюдов. Дере-

вянные резные колонны поддерживали навесы над террасами, окружавшими двор. В стенах темнели глубокие ниши, где могли располагаться путники.

Некоторые ниши были завешены цветными занавесками и коврами. Из-за них испуганно выглядывали женщины, закутанные в оранжевые и малиновые покрывала.

По всему двору бегали согдские воины, расталкивая путников, подымая их ударами плетей, сгоняя толпу в одну сторону двора. Они, громко крича, бежали из разных ниш, ловили испуганных верблюдов, тащили в одно место вьюки, мешки, подбирали рассыпанную солому и клевер.

Скифы, недоверчиво оглядываясь, привязали коней вдоль одной стены, в которой были углубления — кормушки для скота.

Согды осмелели, приближались к скифам; некоторые ощупывали добротность материи их одежд, сбрую и оружие, приседали на корточки и быстро переговаривались на своем плавном, мягком языке.

Голые рабы стали мести пучками полыни террасу и ниши, выталкивая женщин, выбрасывая узлы и плачущих детей.

Старый Хош морщил нос, покачивал головой и вполголоса расспрашивал Спитамена:

— Знаешь ли ты, как выбраться отсюда? В этом городе легче запутаться, чем в камышах. А это еще что за безумец? Чего он здесь ищет?

По террасе шел согд в дорогой шелковой одежде, но босой, с куском рваной материи на голове. В руках он держал мешок, который встряхивал, и беспрестанно бормотал молитвы, закатывая глаза кверху.

Он зашел в нишу, где рабы обметали стены и пол, и бросился к мусору, выхватывая оттуда клопов, сороконожек и муравьев. Все это он сбрасывал в свой мешок, потряхивая его с монотонными причитаниями.

— Что ты делаешь, достойнейший сын добродетельной матери? — спросил его Хош.

— Я грешник! Семьсот семьдесят семь несчастий свалились на мою голову. Теперь мне грозят наказания и в этой жизни и после смерти. Духи тьмы будут грызть меня.

— За что такие несчастья свалились на тебя?

— Я был на празднике у моего брата, когда он был назначен сборщиком податей. Старое вино бросилось мне в голову, и я пошел домой, шатаясь и распевая песни. Ариман позавидовал мне, за мной увязались собаки и вцепились в

мою одежду. Тогда я схватил камень, чтобы отогнать их, и так ударил одну собаку, что она упала, задергала ногами и — о, горе мне! — околела.

— Но почему же это такое несчастье? — удивился Хош.— Ты вполне правильно сделал, ударив собаку.

— Какие грешные слова ты говоришь! — ужаснулся согд.— Ведь корова и собака у нас священны, и их оберегает сам великий бог Агурамазда. Когда я ударил собаку, поблизости проходил служитель из храма и пожаловался верховному жрецу. Теперь, по закону, я должен собрать своими руками четыреста восемьдесят слуг злого Аримана: сороконожек, ящериц, змей, клещей, скорпионов, сколопендр и других нечистых животных. Всех их я должен принести в храм непременно живыми, сдать жрецу для умерщвления священными щипцами. А затем он совершит моление и очистит меня от грехов.

— А кроме того, сколько ты должен еще заплатить жрецу? — спросил Спитамен.

— Я уже пожертвовал жрецу барана, двух овец и восемь кур, а сколько еще придется платить, знает только жрец...— Со стоном и вздохами согд пошел прочь.

— Что за страна! — удивлялся Хош.— Кажется, собаке здесь живется лучше, чем человеку?

— Ты легко можешь убедиться в этом,— ответил Спитамен.— Попробуй ударить камнем сперва человека, а потом собаку.

Во двор въехал старик на красиво убранном коне, которого под уздцы вели двое слуг. Желтая одежда, обшитая малиновой бахромой, остроконечная войлочная шапка, короткая палка, отделанная золотом, говорили о важном положении старика. Длинная серебристая борода была искусно завита в ряды ровных колечек. Глаза, обведенные черной краской, тревожно вглядывались.

Сотник громко провозгласил, обращаясь к Будакену:

— Да хранит всевидящий Агурамазда благородного Фейзавла, правую руку правителя нашего города!

Один слуга стал около коня Фейзавла и нагнулся до земли. Старик поставил ногу, оплетенную красными ремнями, на его спину и сошел на землю. Другой слуга поднял над ним широкий зонтик с красными, белыми и синими полосами. Фейзавл приподнял позолоченную палку, сказал тихо несколько слов.

Согды, почтительно склонившиеся при его появлении, услышав приказание, стремительно разбежались в разные

стороны. Слуги быстро притащили ковер и пестрые подушки и разложили на террасе между колоннами.

Фейзавл опять поднял руку с выкрашенной красной краской ладонью, и слуга подал ему корзинку. С торжественным видом Фейзавл вынул из нее красную розу на длинном стебле и оранжевый плод граната. Держа их перед собой, как большую драгоценность, Фейзавл медленными шагами направился к Будакену:

— Премудрейшая и прекраснейшая Рокшанек, дочь князя этого города, украшающая светом своих добродетелей землю, посылает тебе по случаю твоего приезда пожелания благоденствия и прибыли в делах и говорит тебе: «Добро пожаловать!» — При этом Фейзавл схватил руки Будакена, вложил в них розу и гранат и отступил назад, под защиту ставших около него воинов.

Будакен проворчал Спитамену:

— Ты здесь бывал, не знаешь ли, что я должен с этим делать? Съесть, что ли?

— Нет, отдай своему слуге, и пусть он стоит рядом и держит в руках, как чашу, переполненную водой.

Будакен повел бровями, взглянул на Хоша, и тот стал позади князя, держа на вытянутых руках розу и гранат. Будакен мрачно молчал.

Спитамен обратился к Фейзавлу:

— Скифский князь Будакен благодарит и просит рассказать, почему ему присланы роза и гранат.

— Княжна Рокшанек желает, чтобы князь так же процветал, как прекраснейшая роза, и чтобы прожил счастливо столько же лет, сколько зерен внутри граната.

Будакен громко захохотал:

— Всем расскажу в нашей степи, что я похож на розу и буду жить четыреста лет.— Он добавил: — Я очень хочу увидеть вашу княжну Рокшанек. Я тоже поднесу ей подарок, который будет достоин ее красоты и добродетелей.

Глаза Фейзавла метнули взгляды по сторонам, и он сказал, указывая медленным, величественным жестом на ковер:

— Пойдем сперва туда, на ложе отдыха, и погрузимся в сладостный разговор, возвышающий наш разум и наши души.

Будакен и Фейзавл сели на разных концах ковра.

Сзади Фейзавла стали сотник, слуга с зонтиком и несколько вооруженных юношей.

Фейзавл начал обычными вопросами:

— Здоров ли, князь? Толст ли твой нос?[1] Сильны ли, как всегда, твои мышцы? Свободно ли дышит твоя грудь?

— Благодаря твоей милости я дышу так же хорошо, как и мудрая «правая рука» правителя города.

Фейзавл поднял золоченую палку — подошли слуги и опустили на ковер медные подносы. На них лежали горой лепешки, сушеный виноград, миндаль, фисташки и медовые соты.

Голый невольник с костяным кольцом в ухе принес большой, покрытый мхом и плесенью глиняный кувшин. Старик слуга с желтой повязкой вокруг головы и в широкой полосатой одежде вытащил из-за пазухи стопку медных чашек, вложенных одна в другую, вытер их концом своего синего шерстяного пояса, ножом сбил смолу, облепившую горлышко кувшина, вытащил деревянную пробку и разлил в чашки темное густое вино.

Затем старик взял полную чашу вина, слил с нее несколько капель на свою сморщенную левую ладонь и подал чашу Будакену. Одновременно он слизнул вино с левой ладони и прищелкнул языком. То же самое он повторил, передавая другие чаши Фейзавлу и скифам. Все поняли, что если разливающий старик пьет первый, то в чашах нет яда и вино можно пить без опасения.

Фейзавл взял чашу обеими руками и, подняв глаза кверху, воскликнул нараспев:

— Пусть хранит Агурамазда великого царя царей, нашу землю и всех почитающих высочайшего! — И он выпил одним духом всю чашу.

Будакен наблюдал, что́ делает Фейзавл, и старался повторять его жесты. Выпил вино: оно было душистое, сладкое и крепкое.

Будакен стал задавать вопросы:

— Как здоровье царя царей? Где теперь великий непобедимый правитель Персии?

Фейзавл развел руками:

— Вы, саки, достойные и мудрые доители кобыл, живете в беспредельных степях, так что все новости приходят к вам через год. Про какого царя царей ты спрашиваешь? Если про великодушного Дариавауша[2], то его уже нет — его

---

[1] У сильного человека — толстый нос, у сильной лошади — толстые губы.

[2] Дариавауш — персидский царь, разбитый Александром Македонским. Имя его греками было переделано в Дарий.

призвал к себе на небо Агурамазда; где его семья — неизвестно: или погибла, или — еще хуже — обращена в рабство Двурогим злодеем. Выпей еще этого вина — оно пролежало в земле много лет и потому стало густым, как мед.

— Что же случилось с царем царей, какие несчастья могли обрушиться на него?— продолжал расспрашивать Будакен.

— Что можем мы знать здесь, в маленьком городке, на границе с соленой пустыней. Мы должны тихо молчать и ждать приказаний великих людей, которые правят нами.— И Фейзавл скромно опустил глаза.

— Но сатрап Бесс? Наверное, он жив и правит по-прежнему Бактрией и Сугудой?

— Ты, я слышал, кажется, хочешь проехать в Мараканду?

— Да, я проеду в Мараканду, к сатрапу Бессу. Он звал меня к себе как гостя еще год назад.

Фейзавл покачал головой:

— Ты совсем ничего не знаешь, что произошло. Сатрапа Бесса уже нет. Великому создателю этого мира благоугодно было сделать Бесса царем царей, возложить на него царскую тиару [1] и передать ему жезл правления всей Персии. Теперь не так легко и просто приехать в Мараканду в гости к Бессу.

— Если Бесс стал царем царей, то, вероятно, потому что он полон справедливости,— сказал Будакен.— Царь должен помнить и исполнять свои обещания. Я думаю, что Бесс не забыл двух жеребцов, сыновей славного Буревестника, полученных им от меня в подарок, и вспомнит, что звал меня навестить его.

Фейзавл стал говорить сладким, вкрадчивым голосом:

— Теперь царь царей находится в Мараканде и строго охраняется: никому не разрешается въезд в город без особого вызова и письменного приказа за печатью. Не лучше ли тебе отдохнуть здесь, в этом городе, и переждать, пока мой гонец съездит в Мараканду с письмом и просьбой разрешить тебе приехать? Тогда ты свободно проедешь в Мараканду — она ведь теперь новая столица всей Персии.

Будакен уже выпил несколько чаш сладкого вина. Хотя

---

[1] Тиара — золотая шапка, которую в торжественных случаях надевали персидские цари.

он был очень силен, но вино разгорячило его, и слова Фейзавла показались ему оскорбительными и обидными.

— Мы, саки,— народ свободный и не состоим на службе ни у сатрапа Бесса, ни у царя царей. Мы живем где хотим; если не понравится, снимаем свои шатры, грузим их на телеги [1] и уходим к другим колодцам. Ты думаешь, что сможешь нас задержать в этой глиняной ловушке, полной клещей и скорпионов, и послать в Мараканду донесение, что Фейзавл один, без войска, только своей мудростью и хитростью, взял в плен непобедимого князя Будакена и двадцать свободных скифов? Ты ошибаешься, Фейзавл, и, верно, забыл походы Афросиаба. Эй, воины, приведите мне моего коня! — закричал Будакен.— Я посмотрю, как ты со всеми своими воинами попробуешь задержать Будакена, который один уводил целые караваны согдов!

Будакен вскочил, схватил боевую секиру и стал со свистом размахивать ею.

Фейзавл отбежал в сторону и, пятясь, издали старался успокоить гнев Будакена:

— Мы нарочно отвели для тебя этот двор, чтобы тебе не мешали любопытные жители города!..

— А ты не нашел места похуже? Сюда приходят сумасшедшие, чтобы собирать клопов, и здесь ты захотел заморить меня с моими воинами?

— Закройте ворота, не выпускайте никого! — кричал, прячась за колонну, Фейзавл.

— Там собрано целое войско,— говорили скифы.— Кидрей хотел выйти из ворот, а его встретил лес копий.

Снова секира Будакена с воем завертелась над головой Фейзавла. Он протягивал Будакену дрожащие руки:

— Успокойся, князь! Ты можешь переехать в летний дворец нашего князя. Там ты будешь в саду, под тенью деревьев, лежать на ковре и есть сладкие персики. А наши певцы споют тебе лучшие песни.

— Прикажи своим воинам, чтобы они уехали от ворот, а не то мои воины покажут, как летают сакские стрелы, как наши копья пробивают сразу трех человек.

В воротах раздались крики:

— Саки взбесились! Они садятся на коней! Они сейчас бросятся на нас!

---

[1] Телеги у скифов были четырех- и шестиколесные. Шатры для быстроты перекочевки часто устраивались на телегах.

— Улала!.. Улала!..— заревел Будакен боевой клич саков.

— Улала!..— ответили ревом двадцать скифов.

За воротами послышались крики команды и топот лошадей, бросившихся вскачь по улице.

— Я должен увидеть премудрую дочь правителя Курешаты!— наступал Будакен на Фейзавла.

— Наши женщины не боятся мужчин, но ты два мужчины! — отвечал Фейзавл.— Рокшанек умрет от страха, когда ты войдешь в ее дом.

— Ты меня проведешь к ней. Мы, саки, ни женщинам, ни детям зла не делаем. Веди меня к ней!

Фейзавл поднял руки к небу:

— О всемогущий! О создатель луны и шести планет! Ты видишь, что я не виноват; избавь меня от гнева моего князя Оксиарта!

— Какого Оксиарта?— остановился изумленный Будакен.

— Князь Оксиарт — владалец города Курешаты и всего округа. Только его здесь нет. Он уехал доставать коней для войска царя царей. Вместо него правит мудрая дочь его, Рокшанек.

Будакен с досадой вспомнил о появлении в его шатре Оксиарта и обо всем, что потом с ним произошло.

— Подожди меня,— говорил Фейзавл,— я съезжу сейчас к княжне Рокшанек, переговорю с ней и привезу ее ответ.

— Но могу ли я верить, что ты вернешься?

— Я тебе оставлю в залог самое ценное, что имею: золотой пояс, стальной меч или янтарное ожерелье.

— Этого и у меня много.

— Тогда я тебе оставлю еще более ценное — мою бороду...— Фейзавл снял свою седую завитую бороду, которая искусно держалась на золотых крючках, зацепленных за уши, и оказался моложавым красивым персом с гладко выбритым лицом.

Он приказал одному слуге сесть на ковер и на медном подносе держать драгоценную бороду. Сам же сделал приветственный жест золоченой палкой и направился к разукрашенному коню.

Слуги подхватили его, посадили на круглую лоснящуюся спину жеребца, крытую ковровым чепраком, и Фейзавл со своими воинами и провожатыми скрылся в широких воротах.

КОБЫЛИЦЫ НЕ ДОЕНЫ

Сняв свои шерстяные одежды, Будакен заменил их полосатыми согдскими шароварами, подставляя лучам солнца голую мускулистую спину. Он лежал на широком ковре, затканном синими цветами и красными птицами. Над ним распростерло ветви столетнее абрикосовое дерево с бесчисленными мелкими оранжевыми плодами. Толстый ствол виноградной лозы обвивался, как змея, вокруг дерева, подымаясь на самую его вершину, и среди густой листвы повсюду виднелись восковые грозди винограда.

Несколько слуг Фейзавла было приставлено к Будакену, и он их расспрашивал, как садят деревья, сколько с них собирают плодов, как их сушат на зиму, что помещается в сарае.

Скифы освободили коней от седел и вьюков, полили их водой из канавок, смыв накопившуюся на боках соль и пыль, и кони стояли в тени, блестящие, шелковистые, погрузив головы в свежие снопы сочной травы.

В торговый двор прибыл новый скиф на исхудалом коне, покрытом густой пылью. Он привязал коня к кольцу столба, подтянув коню голову высоко, чтобы он остыл.

Мягкими шагами скиф подошел к Будакену и остановился перед ним, скрестив руки на рукоятке ножа, заткнутого за пояс. По лицу, серому от пыли, капли пота провели темные полосы. Встретившись со взглядом Будакена, скиф опустился на колени на краю ковра и сел на пятки.

— Что делают мои кобылицы? Как бегает Буревестник? Жив ли маленький чита?— были первые вопросы Будакена.

Скиф развел руками. Из-под его войлочного остроконечного колпака выбивались, падая на плечи, длинные полуседые космы. Редкая борода завитком свисала с подбородка.

— Бой-бой, плохо! Если уйдет пастух, разве не разбредется его стадо? Сейчас же прибегут волки и начнут растаскивать овечек во все стороны.

Будакен отставил пеструю глиняную чашу с вином, которую держал обеими руками, и насторожился:

— Но князь Гелон обещал мне, что будет наблюдать за всеми моими стадами! Разве князь Гелон уехал?

— Князь Гелон делает все, что может: скачет от одного стада к другому, меняет усталых коней, кричит на пастухов, сам колотит их плетью, но толку от этого не много!

— Зачем же он скачет? Это не его дело. Ему надо сидеть около шатров на ковре в прохладной тени, попивать

кумыс и ждать, а к нему должны приезжать табунщики с поклоном и говорить все, что им нужно и что случилось во всей степи. Разве я когда-нибудь гонялся за моими пастухами?

— Ты — другое дело. Ты всех держал в своей широкой ладони. А когда ты уехал, то все поползли во все стороны, как щенки без матки. Бой-бой, что будем делать!

Кочевник ничего не скажет сразу. Его речь вьется, как тропинка в степи, и он должен начать издалека, чтобы пересказать все, что видел в пути.

Будакен передал ему чашу с вином:

— Выпей сперва согдского вина и не бойся. Пастух вернется к своим баранам и все исправит. Что же случилось?

Старый скиф взял чашу, покосился одним глазом на темное маслянистое вино и понюхал его:

— Никогда такого не пробовал. Пусть Папай даст нам всем много сил и целое стадо детей! — Отпил немного и почмокал: — С медом? Голова на плечах не закачается? — Скиф закинул голову назад, показалось донышко глиняной чаши, и старик, вытаращив глаза и отдуваясь, поставил чашу на ковер.

— В битвах согды послабее нашего, а такого вина наши кумысобои не сделают,— сказал Будакен.— Ну рассказывай теперь по порядку, что погнало тебя из нашей равнины вдогонку за мной? Как тебя звать? Кажется, Асук?

— Верно, верно — Сагил Асук! — ответил сразу развеселившийся скиф.— Когда я родился, в шатер вошел отец и принес дикого козла — асука [1]. Вот меня и прозвали Сагил Асук. С тех пор я, как асук, езжу по степи и не люблю сидеть в шатре. Сам знаешь: дома сидишь — последнее проешь, а по степи побродишь — счастье найдешь.

— Ладно, ладно! Теперь рассказывай дальше, что делает согдак Оксиарт, приехавший ко мне, когда загорелись огни на курганах.

— Этот согдак очень полюбил кумыс и бузат, пьет без конца, потом вскочит, бегает, пляшет, угощает стариков и их тоже заставляет плясать.

— Хозяин может только радоваться, если гость его весел. Но я еще не вижу, отчего мне надо тревожиться.

— Князь Будакен — Золотые Удила, большие у тебя убытки: кобылицы стоят недоенные, косяки сбились и па-

---

[1] Асук — по-согдски «горный козел».

сутся на вытоптанном лугу, где уже травы не осталось: некому их перегнать на новые места.

— А что же делают мои слуги? Разве загуляли вместе с согдаком? Или порубили друг друга? Или болезнь их передушила?

— Они почти все ушли от тебя...

Будакен, нахмурившись, уставился на Асука. Большая рука его невольно шарила по ковру, точно отыскивала меч. Он всматривался в глаза вестника, желая узнать, что таится недосказанного в обветренном, сморщенном его лице.

— Пей еще! — сказал он, указывая на полную чашу.

Старик опять выпил одним духом чашу, и язык его развязался. Он наклонился к Будакену и стал говорить вполголоса:

— Несколько саков нас подбивали. «Зачем, говорят, мы служим князю Будакену? Разве не такой же он скиф, как и все мы? Разве не родился он в закопченном, промасленном шатре, как и мы? Почему же,— говорили они,— мы стараемся, работаем на него, а он все прибавляет баранов и жеребят к своим стадам, а мы как были в рваных кожаных штанах, так и остались, только новые заплаты нашили?» — «Верно, верно,— отвечали мы тем, которые нас подбивали,— но что же поделаешь с Будакеном? Ему и солнце больше светит, чем нам».

— И все сговорились уйти от меня? — прохрипел Будакен.

Кулаки его сжимались. Хош запрятал его меч под ковер, зная дикие вспышки гнева своего хозяина.

— Не то что сговорились,— отвечал Асук,— а больше вожаки нас подбивали. Я им говорю: «А вы знаете, что значит: «он мне хлеб дает»?» А те отвечают: «Трусливый ты козел, Асук! Будакен не хлеб тебе дает, а крошки от того хлеба, что сам ест». И некоторые недовольные саки тайком съехались на берегу реки Яксарта в тот самый день, когда мы устроили скачки и праздник.

— Кто же тогда был? Говори имена всех! — Будакен навалился на Асука и своей могучей рукой придавил его к ковру.

— Всех назову, всех! И я сам там был тоже. А больше всех говорил против тебя тот охотник, который приехал на твоем жеребце Буревестнике...

Будакен отпустил Асука, встал и поглядел кругом — скифы, приблизившись, стояли молча, и их глаза впивались в Будакена. Спитамена среди них не было.

Скифы шепотом переговаривались. Все слышали рассказ Асука и ждали, как поступит их князь. Будакен ведь ничего не делает так, как другие, а все по-своему.

А Будакен похлопал по плечу Асука, засмеялся, и никто не мог понять, что у него на уме.

— Пей, Асук! В нашей степи тебе такого вина не дадут! Рассказывай дальше. Куда же ушли мои слуги? К какому князю? Не к хитрому ли старику Тамиру?

Асук, упиваясь вином, продолжал:

— Свой собственный выселок сделали, особое кочевье около каменного бога Скроша. «Будем жить вольные, говорят, никому не будем кланяться!» И я хотел было там поставить шатер, да думаю: подожду еще, посмотрю, что дальше будет. Будакен — мой хозяин, он мне хлеб дает, зачем я его брошу? Вот меня Гелон и послал к тебе, чтобы я все рассказал. Девять раз менял я коней на наших сторожевых курганах. Днем и ночью скакал, чтобы тебя остановить и скорее вернуть обратно к твоим стадам.

Будакен стал громко хохотать:

— Ты думаешь, старая ящерица, что я вернусь сам доить кобылиц? Пусть остаются недоеными — жеребятам больше молока достанется! Ты думаешь, старый Сагил Асук, что я поскачу за моими слугами и буду просить их вернуться к старому хозяину? Пусть бог Папай даст всем сакам столько же косяков, сколько он дал мне. Вперед! Вперед!..— прогремел Будакен.— Где же этот плясун с пришитой бородой? Что же, он думает споить нас вином в этом рабате, полном верблюдов и блох, и затем нас, пьяных, перевязать веревками? Зовите его сюда, а то я сам пойду его разыскивать...

А Фейзавл, величественный и прямой, в длинной лиловой одежде, с пестрой повязкой на голове, с новой каштановой завитой бородой, уже входил во двор, сопровождаемый несколькими тощими слугами. Один из них на блестящем медном подносе нес разрезанную звездою дыню.

Фейзавл, склоняясь, приложил ладонь ко лбу:

— Княжна Рокшанек шлет тебе эту дыню, чтобы ты накормил ею своего прекрасного коня. Она хочет повидать твое великолепие и силу, а также твоих смелых воинов. Она сейчас ждет тебя.

Будакен приказал шести скифам оседлать коней, взять оружие и следовать за ним, а остальным оставаться неотлучно около вьюков. Он скинул согдские шаровары и переоделся в скифскую одежду.

— Смотрите не отходите от коней, держите оружие

около себя и не верьте ласковым словам согдаков! Одного воина я пришлю обратно, когда приеду ко дворцу, чтобы вы знали, что́ с нами случилось.

Будакен и шесть скифов выехали из рабата, а на ковре, обнявшись с пустым кувшином, лежал Асук и бормотал:

— Сагил Асук — умный человек: он и от Будаксна получает хлеб, и товарищам поможет!..

Оставшиеся скифы сидели вокруг Асука и старались разузнать от него, что произошло в кочевье Будакена.

ГОВОРИТ ЦАРЬ ЦАРЕЙ

Потянулись узкие, кривые переулки, сбитые из глины глухие стены: за ними прятались дома, дворы и сады. Вся жизнь затаилась где-то там, внутри дворов.

Кругом ступенями, одна над другой, громоздились плоские крыши. На них женщины растягивали для сушки длинные белые и синие холсты. Смуглые полуголые дети влезли на заборы, бросали пращами глиняные пули и испуганно прятались.

Встречные согды в полосатых одеждах пробирались вдоль заборов и прижимались к стене, чтобы пропустить всадников, сверкающих оружием, яркими плащами, едущих на храпящих необычных конях.

В центре города на холме возвышалась мрачная пузатая башня. Перед ней была небольшая квадратная площадь, окруженная глухими стенами, за которыми виднелся бесконечный ряд плоских крыш, усеянных народом. Красные, оранжевые, зеленые с белым, полосатые одежды на женщинах и детях, которые держались отдельными группами. Мужчины, так же пестро одетые, сидели на стенах, и их желтые, синие и красные головные повязки казались большими цветами.

Посреди площади стоял каменный кубический жертвенник; над ним вился легкий дымок. Около жертвенника ходили два старика в белых длинных одеждах и веерами раздували тлеющие угли. Чтобы не оскорбить дыханием священного пламени, рот стариков был завязан квадратным лоскутом белой материи.

Вдоль одной стены выстроилась линия пеших согдских воинов, вдоль другой — всадники. Всего их около сотни. Все они были одеты по-разному. Одни в вязанных из веревок панцирях, другие — в кожаных. Лошади и большие, и мелкие, разных мастей.

Фейзавл со своими слугами вместе со скифами проехал вокруг площади и остановился под стеной башни:

— Князь Будакен, сейчас на этой площади ты увидишь моления и затем передвижения воинов! .

— Ты видишь, что здесь делается?— зашептал Будакену на ухо Хош.— Поедем обратно. Мы еще успеем пробиться к своим. Здесь сотня воинов! Нас зарежут и сожгут на этом камне.

Ворота в углу площади отворились, и пронзительно загудели трубы и засвистели флейты. Вышли парами восемь музыкантов. Впереди флейтисты, за ними барабанщики, и сзади трубачи с длинными прямыми кожаными трубами, концы которых были протянуты над головами передних музыкантов. За ними показались в белых халатах несколько мальчиков-певчих. Дальше шел дряхлый старик в высокой шапке, закутанный в лиловый плащ. Два молодых жреца поддерживали старика под руки, а один шел сзади, держа конец просторного плаща. Вышли еще три пары жрецов в высоких колпаках и длинных широких накидках.

Вся процессия расположилась перед жертвенником. Музыканты замолкли. Певчие спели заунывную, тягучую песню. К жертвеннику подвели старого жреца, и он дрожащими руками вынул из подставленной ему корзины несколько веток и, прикрыв рот широким рукавом, чтобы не осквернить жертвенник своим дыханием, бросил ветки в огонь. Растения затрещали, заклубился душистый голубой дымок. Потом жрец вылил в огонь две чаши вина и масла, отчего большими языками вспыхнуло пламя. На всех крышах раздались громкие восклицания:

— Агни [1] принял нашу жертву! Агни любит нас! Агни услышал наши молитвы!

Молодой жрец тонким голосом запел старинную песню из священной книги Заратустры [2]:

Звездное небо,
Моря пучины,
Звери и боги,
Дивы и люди —
Связаны все мы
Силой единой.

Вещее слово
Властно повсюду,

[1] Агни — бог огня.

[2] Заратустре приписывается создание древнейших священных книг, называемых ныне «Зенд-Авеста».

Слово сильней
Стрел и мечей.
Слушайтесь, звезды,
Слушайтесь, ветры,
Песни моей.

Силы, покорные
Знанью волшебному,
Звуки призывные
Мчите вы ей...[1]

Пение жреца разносилось по всей площади, отдаваясь эхом в мрачной башне.

Старый жрец поднял восковые руки, и оба его служки поддерживали их, чтобы они не опускались. Перед стариком развернули длинный свиток пергамента. Все на площади затихли, чтобы лучше слышать дребезжащий старческий голос главного жреца.

— Слушайте царский указ! Слушайте, что говорит царь царей:

«Великий бог Агурамазда, который создал эту землю, который создал это небо над нами и облака, плавающие наверху и не падающие на нас, который создал все питание и питье на пользу человека, этот великий бог Агурамазда избрал новым царем Персии и всех земель, ей подвластных, Бесса, великолепного и достойнейшего, почитающего пресветлого бога, чтобы Бесс был молителем и ходатаем за других перед Агурамаздой.

Отныне царь Бесс будет царем над царями, царем над всеми землями и всеми разноязычными народами и владыкой над счастливой нашей землей Сугудой и над далекими странами.

Отныне имя ему будет царь Артаксеркс.

Он из рода Ахеменидов, перс по роду, сын перса, ариец, арийского семени. И ныне всем объявляется воля царя Артаксеркса: так как бог Агурамазда сделал Бесса Артаксеркса царем царей, то приказывается всем народам подчиняться царю Артаксерксу и поминать его имя в молитвах и приносить ему дары ежегодно, как это делалось раньше, во имя царя царей Дариавауша, Кодемана́, сына Вистаспахия, душу которого великий Агурамазда взял к себе для высшего суда.

И теперь Артаксеркс, царь царей, говорит: как раньше персидское копье далеко разнесло силу великого царя царей, покоряя всех его воле, бросая в пыль к ногам персов

[1] Перевод Д. Цертелева.

всех, кто им сопротивлялся, так и теперь, когда сын злого Аримана и змеи, двурогий явуна разбойник киликаса Искандер вторгся как гантак-гад[1] в наши земли и во многих боях не мог разбить славные и могучие силы персов, а только гоняется, как бешеный волк, по персидской земле, то великий Агурамазда пожелал отогнать двурогого Искандера от мирной и счастливой Сугуды, и он ушел в засыпанные снегом горы Хараивы[2], где он издохнет на камнях, как грязный шакал, изъеденный червями.

О люди! Артаксеркс, царь царей, говорит всем честным почитателям светлого бога: что ни случается на земле, все случается по воле Агурамазды.

Агурамазда помогает желающим исполнить его волю. Агурамазда защищает всех почитающих его, и поэтому не смущайтесь тревожными слухами, ибо Агурамазда, который создал великое царство персидское, он же и сохранит его нетронутым и единым до пришествия великого суда.

О люди! Не идите против воли Агурамазды! Не оставляйте прямого пути, не делайте зла никому! Почитайте Агурамазду!»

Старый жрец опустил руки. Жрец, державший пергамент, тщательно свернул его, приложил ко лбу и спрятал в кожаную трубку, висевшую на ремешке у пояса. Старик сделал знак рукой, и шесть других жрецов стали вокруг жертвенника. Они склонились своими длинными колпаками к земле, пошептали молитвы, выпрямились и, закрыв ладонью рот, бросили на жертвенник горсти зерна и куски смолы. Огонь опять вспыхнул.

— Жертвы приятны богу Агни! — воскликнули шесть жрецов и подняли кверху руки. Правая рука была ладонью кверху, как берущая, левая — ладонью вниз, так дающая.

Флейты заиграли нежный мотив, барабаны и бубны выбивали дробь в шесть тактов, жрецы стали кружиться, одновременно двигаясь вокруг жертвенника. Каждый из них делал круги различной величины, одни возле самого жертвенника, другие все более от него отдаляясь. От равномерного кружения их длинные одежды развевались колоколами, и в этих одинаковых позах с поднятыми руками жрецы казались большими пестрыми волчками.

Будакен услышал возле себя знакомый тихий голос:

---

[1] Гантак-гад — злобный грабитель.
[2] Хараива — Северный Афганистан.

— Это обозначает шесть планет на небе; они кружатся вокруг Земли: Луна, Нагид, Тир, Гормизд, Брагам и старый древний Кайван[1].

Будакен оглянулся. Возле него находился на своем пятнистом коне Спитамен. Он смотрел прищуренными глазами на вертящихся жрецов, затем сделал рукой небрежный жест:

— Этими молитвами и верчением они думают остановить натиск двурогого зверя! А он ищет крови — и с каждым днем все к нам ближе...

Будакен смерил Спитамена холодным взглядом. «Гадгантак! — прошептал он про себя.— Это ты сманивал моих саков? Да я могу тебя раздавить двумя пальцами! Но ты мне еще нужен!» Он сдержал себя, его лицо оставалось непроницаемым.

Старый жрец воскликнул:

— Стой!

Танцевавшие жрецы мгновенно остановились. Служки подняли старика и посадили на свои плечи. Прикрыв глаза рукой, он всматривался, где и как стояли кружившиеся жрецы. Затем его опустили на землю.

Старик стал громко и нараспев выкрикивать:

— Шесть планет созданы всеблагим Агурамаздой. Они движутся по небу, не падая, по своим вечным путям, чтобы указывать людям волю великого бога, предсказывать будущее и предупреждать об опасностях. Большой враг сперва подошел совсем близко. Но расположение планет показало, что беда пролетает мимо и нас не коснется. О Сугуда! Ты прожила тысячу лет, счастливая и не тронутая врагами, и ты будешь жить дальше в мире, накапливая богатства благочестивых согдов. Слушай, Фейзавл, ты теперь заместитель Авшина Оксиарта, напиши царю царей Бессу Артаксерксу, что мы молимся о нем днем и ночью, так что он может быть спокоен. Напиши также, что сочетание планет на небе и предсказание вертящихся планет на земле — все показывает, что двурогий зверь уходит все дальше в горы, оставив Сугуду в покое.

Фейзавл громко воскликнул:

— Да живет благополучно много лет наш царь Артаксеркс!

И все жрецы и воины на площади повторили этот крик.

---

[1] Шесть планет — Луна, Венера, Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн.

Пешие и конные воины, стараясь соблюдать порядок, повернулись, прошли мимо Фейзавла с криками «Слава царю царей!» и скрылись в воротах за башней.

Фейзавл тронул своего нарядного коня и подъехал к Будакену:

— Ты слышал указ высочайшего, премудрейшего Артаксеркса? Теперь Согдиана будет главной сатрапией всего великого персидского царства, а Мараканда — его столицей. Бывший наш сатрап Бесс отсюда будет управлять всеми народами. Великая судьба выпадает теперь Согдиане, и если тебя помнит Артаксеркс, то он сможет облагодетельствовать тебя и одарить подарками.

Будакен пожал широкими плечами:

— Мы, кочевники, живем бедно, но свободно. У нас нет ни дворцов, ни запрятанных в них богатств. Поэтому нам незачем и бояться двурогого зверя. У нас крепкие мечи и хорошие кони. Мы можем и уйти от врага в глубину степей и встретить его так, как уже встречали царя царей Куруша.

Фейзавлу не понравился ответ Будакена, но персидская утонченная вежливость заставила его сдержаться и не показать своего неудовольствия.

— Я должен тебя покинуть, князь Будакен, мне нужно писать в Мараканду об этом важном предсказании нашего главного святого жреца. Тебя обратно в сад радости души проводят мои слуги.

— А княжна Рокшанек? — воскликнул возмущенно Будакен.— Ты же сказал, что она меня ждет и примет для беседы? Для этого я и приехал сюда. Зачем ты шутишь со мной?

— Ведь здесь сейчас ты был на ее приеме, чего же ты еще хочешь? — ответил с видом крайнего удивления Фейзавл.— Вот она там, на крыше.— И Фейзавл указал на крышу дома, с которой свешивались красные узорные ковры. Там сидела группа женщин в ярких цветных одеждах.— Вот там княжна Рокшанек. Она смотрела на праздник гадания шести планет и уже видела тебя и твоих воинов.

— Я не для того здесь, чтобы увидеть на крыше покрывало княжны Рокшанек. Я хочу видет ее и говорить с ней, и если ты этого не хочешь, то я сам пройду к ней в дом и разыщу ее!..

Будакен так настойчиво требовал свидания, что никакие уверения Фейзавла, что княжна устала, что она очень робка и боится вида воинов, не помогли. Фейзавл ударил

плетью коня и подскакал к дому, где на крыше находилась Рокшанек. Через несколько мгновений на крыше поднялись переполох и беготня, и все женщины исчезли, оставив груды подушек.

Фейзавл вернулся к Будакену:

— Сейчас ты увидишь прекраснейший цветок Сугуды, княжну Рокшанек. Теперь все они побежали переодеваться.

КНЯЖНА РОКШАНЕК

Всадники остановились около выбеленной глухой стены. Открылись ворота, пропустили Фейзавла и опять закрылись.

Скифы остались ждать снаружи. Казалось, дом замер, ни одного звука не доносилось изнутри.

Хош шептал Будакену:

— Зачем ты хочешь увидеть эту девушку? Она боится, она ничего не знает. Всем управляет этот толстый человек с привязанной бородой.

— Молчи, ты ничего не понимаешь.

— Но у тебя уже есть четыре дородные жены! Зачем тебе еще? — не унимался Хош.— Разве у тебя мало забот?

— Если я поехал в далекие страны,— объяснял Будакен,— то моя душа хочет все увидеть: как живут у себя дома согдские князья, какие у них ковры, как одеты их жены и дочери. Должен же я все это рассказать дома, когда благополучно вернусь в мои шатры и поочередно буду сидеть у моих жен. Если этот князь живет хорошо, то, может быть, и я у себя в степи построю такой же дворец и моих дочерей одену так же. Пусть кругом все в степи знают, что и князь Будакен живет не хуже, чем согдские богачи.

Хош стал причмокивать:

— Какая у тебя мудрая голова! Ляй-ляй, вай-вай! А я и не понимал, зачем ты все это делаешь. Думал, что ты хочешь опять жениться.

Ворота открылись. Показался Фейзавл:

— Войди, князь, и еще пусть войдет сюда один человек. Больше нельзя: женщины таких, как ты, очень боятся.

Скифы отказались войти во двор.

— Там нас задушат,— бормотали они.— И ты, князь Будакен, получишь удар кинжала сквозь шелковую занавеску. Вспомни песни Саксафара!

Если Будакен решал что-нибудь сделать, то никому не

удавалось отговорить его. Он соскочил с коня, отдал копье Хошу, расправил плечи и затекшие ноги:

— Кто пойдет со мной?

— Если позволишь, я пойду.— Спитамен спрыгнул на землю. — Я же обещал проводить тебя до самых Суз. Вот мы и увидим согдианскую сус [1].

Остальные скифы решили ждать, а Будакен, согнувшись, шагнул в дверь вслед за Фейзавлом. За ним последовал Спитамен.

Посередине двора находился квадратный бассейн с водой, обложенный плитами, отшлифованными временем. По сторонам кудрявились клумбы с кустами темно-красных роз. Двор окружала галерея с тонкими деревянными колонками, покрытыми затейливой резьбой. Несколько сплетенных из синих ниток клеток с соловьями и красноглазыми перепелами висели под крышей.

Оба скифа, следуя за Фейзавлом, прошли в персиковый сад, окруженный высокой глиняной стеной. Под развесистыми карагачами показался небольшой дом, как будто сложенный из серых кубиков, приставленных друг к другу. Вместо крыши пузырился ряд небольших куполов.

Черные павлины, волоча длинные хвосты, бродили по дорожкам, перекликаясь резкими голосами. Две ручные антилопы с маленькими рожками паслись между деревьями. В дверях дома стоял, как будто не впуская, высокий толстый евнух с обвисшим, сморщенным, безволосым лицом. Фейзавл грубо оттолкнул его.

Из глубины сада понеслась ноющая песня, начатая высоким, тонким голосом. В стороне под тенистым деревом сидели несколько юношей в нарядных лиловых одеждах, подпоясанных шарфами, с пестрыми повязками на головах. За ухом у каждого был заткнут красный цветок. Они держали в руках лютни и сопровождали песню нежными аккордами.

Песня юноши

Над плоской крышей — желтый месяц.
Любимой тень увидел я,
Она смешалась с тенью лестниц,
Ступенек затемнив края.

---

[1] Сус — по-согдски «лилия».

Я люблю тебя, милая, за капризный обман!

О любимая! Померанец ты Курешаты!
Я себя приношу тебе в жертву.
В исступленной безумной пляске
Я верчусь подобно ветру.

Я люблю тебя, милая, за капризный обман!

Ты убила на крыше влюбленного,
Его кровью письмо написала,
И кровавая рана сияла
На письме из-под локона темного.

Я люблю тебя, милая, за капризный обман!

Я ушел с караваном, болея тобой,
Нес тоску от долины к долине.
К плоской крыше стремились лучи золотой
Драгоценной, небесной лилии...

Я люблю тебя, милая, за капризный обман! [1]

Спитамен тронул за руку Будакена:

— Это все женихи! Времени у них много. Им не приходится ловить в степи диких коней.

Фейзавл ввел скифов в первую маленькую комнату. Слабый свет лился сверху, из купола, в котором было три круглых окна, закрытых узорчатыми решетками. Во всех отверстиях решеток просвечивали тонкие роговые пластинки.

Когда глаза привыкли к сумраку, можно было увидеть в стенах ниши, где стояли рядами медные и глиняные вазы, чашки и разноцветные стеклянные пузырьки.

Фейзавл, поднимая цветные занавески, повел гостей дальше, сквозь такие же небольшие комнаты, и привел в более просторную залу, верх которой состоял из четырех куполов с круглыми резными окнами. Все четыре купола опирались на одну резную колонну, стоящую посреди зала. На полу лежали пестрые ковры. В стороне стояло одинокое пустое кресло с высокой, изукрашенной резьбой спинкой. Вдоль стены, тесно прижавшись, сидели около двадцати женщин в ярких пышных платьях.

Все женщины разом встали, приложили руку ко лбу и к груди и наклонились до земли, воскликнув по-согдски:

— Добро пожаловать!

— Процветайте! — ответил Будакен.

---

[1] Стихотворная обработка А. Шапиро.

Платья зашуршали, и женщины опустились на ковер, но при каждом движении Будакена шевелились, приподнимались и вздрагивали, словно готовые убежать.

— Садись, достойный защитник справедливости! — прозвучал певучий женский голос.

Гости опустились на подушки.

Воцарилось молчание.

Будакен косился на пестрые, яркие одежды женщин, на их нарумяненные лица и не мог решить, которая же из них княжна — дочь правителя края.

В середине группы величественно восседала очень полная женщина, закутанная в прозрачный шелковый шарф. На голове в золотом венке дрожали на проволоках золотые бабочки. Будакен заметил тяжелые золотые серьги, ожерелье из цветных камней, множество золотых браслетов на полных руках и кольца на всех десяти пальцах.

Впереди на ковре сидели маленькие девочки, одетые в длинные платья, как у взрослых. Глаза их были обведены черной сурьмой, брови соединены в одну линию и лица так набелены и нарумянены, что все девочки были похожи одна на другую. Впереди детей сидел маленький толстый мальчик, украшенный ожерельем и золотыми побрякушками, пришитыми к одежде.

Он один смотрел в упор на Будакена и улыбался.

Все остальные сидели опустив глаза.

Фейзавл стал задавать вопросы вежливости:

— Каковы ваши благородные обстоятельства? Много ли у вас силы? Не мучает ли болезнь головы?

За всех отвечала полная женщина одной и той же фразой:

— По воле бога всемогущего и благодаря вашему вниманию, очень хорошо.

Фейзавл обратился шепотом к Будакену:

— Может быть, и ты, князь, хочешь что-нибудь спросить?

Будакен хотел ответить тоже шепотом, но его голос прогудел на всю залу:

— Кто эта одаренная полнотой красавица, сидящая посредине? Не она ли княжна, дочь правителя?

Все женщины зашептались, раздались удивленные восклицания и сдавленный смех.

— Эта женщина, украшенная столь же добродетелью, сколько и полнотой, жена правителя этого края. А дочь ее, княжна Рокшанек, еще не выходила.

Княгиня-мать, оправив платье и ожерелье на груди, зашептала на ухо мальчику:

— Княжич Гистан, пойди к Рокшанек и скажи, чтобы она вышла наконец. Этот храбрый скифский царь очень хочет ее видеть.

Мальчик засеменил зелеными сафьяновыми сапожками. Заколебалась шафранная, расшитая узорами занавеска, и из-за нее раздался недовольный голосок:

— И он тоже хочет меня видеть?

Мальчик, фыркнув в руку, вернулся, откидывая занавеску. За ней показалась худощавая девушка с бледным лицом. Она глядела вверх обведенными сурьмой продолговатыми глазами, не обращая ни на кого внимания. Две черные, с синим отливом волнистые косы, сплетенные под ушами из нескольких маленьких косичек, падали на грудь, украшенную янтарными бусами. В длинной, до пят, малиновой с лиловыми полосами рубашке, с поднятыми горизонтально белыми руками она двигалась по ковру такими осторожными шагами, точно старалась обойти невидимые хрупкие предметы.

Подойдя к большому резному креслу, усталым движением княжна ступила на скамеечку и опустилась на парчовую подушку, подобрав ноги в зеленых шелковых шароварах. На ее ногах блеснули тонкие золотые браслеты. Рокшанек полуотвернулась от Будакена с таким видом, точно ей все надоело.

— А где же мой красавчик? — забеспокоилась она.— Приведите его сюда!

Из-за занавески вышла весело улыбавшаяся девочка-негритянка с курчавыми блестящими волосами, с полосатой повязкой вокруг бедер. В ноздре было продето медное кольцо с бирюзой.

Негритянка держала на цепочке большую серую ящерицу-варана, которая то тянулась вперед, то отбегала в сторону.

— Дай ему мушку,— сказала Рокшанек.

Негритянка вынула из плетеной корзинки зеленого кузнечика и пустила его на ковер.

Кузнечик скакнул, ящерица прыгнула и схватила кузнечика на лету.

— Я благодарю тебя за твой подарок,— загудел Будакен.

— Какой подарок? — протянула удивленно Рокша-

нек.— Разве я ему посылала подарок? — обратилась она к Фейзавлу.

— Когда я узнал о приезде храброго князя, я от твоего имени передал ему из твоего сада лучшую розу и спелый плод граната.

— И еще он мне прислал дыню,— добавил Будакен.

— Только одну дыню? — воскликнула Рокшанек.— Разве можно такому большому человеку послать одну дыню? Фейзавл, ты бы послал ему верблюда, нагруженного дынями и гранатами.

Все женщины засмеялись, а мальчик, указывая пальцем на Будакена, сказал Фейзавлу:

— Он гораздо сильнее тебя.

Рокшанек равнодушно спросила:

— Правда ли, что у вас мужчины сами доят кобылиц?

— И вы едите лошадей? — добавила княгиня-мать.

— На наших конях мы мчимся по степи, они дают нам еду, и мы едим то, что мы любим.

— Водятся ли у вас на родине такие ящерицы? Убиваете ли вы их?

— У нас их много,— ответил Будакен.— Но их трогать нельзя: они наши друзья — ловят ядовитых змей.

— А у тебя есть такой дом, как этот? — лениво обратилась Рокшанек к молчавшему Спитамену.

— Мы, кочевники, имеем такие дома, чтобы их можно было увезти с собой на другое место.

— А почему? — Мысли Рокшанек были далеко, и она дразнила павлиньим пером ящерицу, шипевшую и раздувавшую горло...

— Наши кони и бараны любят новые места,— отвечал Спитамен.— Когда мы простоим целую зиму в одной долине, весна разогреет землю, зацветут красные маки, желтые тюльпаны и синие ирисы, потянутся на север перелетные птицы — тут у всех кочевников разгорается сердце, мы торопимся снять шатры и уходим далеко, на много дней пути, к берегу речки или к подножию горы, где из камней выбиваются чистые ключи. Там мы снова спешим поставить шатры и пустить наш скот на свежую, незатоптанную траву. И тогда наши быки и кони скоро делаются круглыми, с блестящей шерстью.

Рокшанек захлопала в ладоши:

— Вот это мне нравится! Мне скучно здесь, в этих стенах. Я хочу повидать мир, проехать по бесконечным дорогам, которые тянутся через всю вселенную. А они меня,—

она показала на других женщин,— заставляют выйти замуж за одного из мальчиков, воющих в саду, чтобы он запер меня в своей башне и заставлял всю жизнь вышивать занавески.

— Почему же ты не уйдешь смотреть мир? — спросил Спитамен.

— Я? Уйти одной? А кто будет заплетать мои волосы? Кто будет растирать мое тело душистым маслом? Нет, я жду, что великий Агурамазда услышит мои молитвы и пришлет мне такого могущественного человека, который провезет меня через далекие страны до того места, где небо сходится с землей.

— Я знаю женщину,— сказал Спитамен,— она без могущественного человека, одна с ребенком прошла пешком через всю Персию, от Мараканды до Вавилона, чтобы разыскать своего мужа, проданного в рабство.

— Значит, она шла пешком, как нищая? — Губы Рокшанек скривились в усмешку.

— Да. Она раскаленным гвоздем сожгла себе лицо до пузырей, закуталась, как прокаженная, рваным покрывалом, чтобы ее никто не тронул в пути, и протянутая за милостыней рука прокормила и ее и ребенка.

— И что же, нашла она в Вавилоне мужа? — спросила одна из женщин.

— Да, она нашла мужа, помогла ему бежать, и они вместе вернулись в Мараканду. Это была моя мать.

— О, счастливая! — воскликнули женщины.

Но Рокшанек, пожав плечами, отвернулась от Спитамена и обратилась к Будакену:

— Почему ты так грустен?

— Мой сын ушел на войну по вызову царя царей и попал в плен, теперь он стал рабом.

— Мое сердце грустит о нем — я жалею его...

— Если бы мой сын был свободен,— сказал Будакен,— то он бы смог показать тебе полмира.

— Но я же не могу его долго ждать! Мне скучно в этом доме.

Фейзавл решил, что разговоров было достаточно, и шепнул Будакену:

— Не хотел ли ты сделать княжне подарок?

Будакен порылся за пазухой, вынул кожаную коробочку, искусно сплетенную из черных и красных ремешков, и передал ее Фейзавлу. Тот выдернул из-за пояса шелковый зеленый платок, положил на него коробочку, встал и, на-

клонившись с видом крайней почтительности, мелкими шажками подошел к Рокшанек. Опустившись на колени, он на вытянутых руках протянул ей подарок. Рокшанек, скривив недоверчиво губы, взяла коробочку концами тонких набеленных пальцев с накрашенными ногтями, раскрыла, посмотрела внутрь, опять закрыла и повертела в руках. Затем снова открыла и вынула оттуда золотое ожерелье, сделанное скифскими мастерами из тонких завитков проволоки, колечек и бляшек.

Она повернула ожерелье перед собой и нетерпеливо крикнула:

— Чего же вы ждете? Дайте же мне зеркало!

Негритянка побежала за занавеску и принесла оттуда серебряное шлифованное зеркало с длинной ручкой и глиняную расписную чашу с водой. Рокшанек окунула зеркало [1] в воду и передала негритянке, чтобы та держала его перед ней, сама же стала примерять золотое ожерелье.

— Очень хорошо! — восклицали все женщины.— Ты красавица! Ты можешь быть царицей у скифов!

— Конечно, могу,— ответила небрежно Рокшанек.— Все меня любят. Но если скифский царь умирает, то его жену сжигают вместе с покойником, поэтому мне не очень хочется быть скифской царицей...— И воркующим голосом она обратилась к Будакену: — Я буду ждать полгода; если твой сын за это время вернется, то пусть придет сюда, ко мне. Я посмотрю на него и тогда скажу, кто лучше: ты или он.

Она подняла тонкие руки и, звеня браслетами, осторожной, раскачивающейся походкой вышла и скрылась за занавеской.

За ней проскользнула негритянка с ящерицей. Все молча глядели ей вслед, а из сада доносился вопль песен женихов.

Фейзавл осторожно поднялся. Будакен посмотрел на него, грузно встал, широко расставил ноги.

Все женщины вскочили и хором прокричали:

— Да хранит вас всевидящий!

— Процветайте! — ответили уходившие.

Они прошли сквозь пропитанные запахом гвоздики и мускуса маленькие комнаты и вышли во двор. Яркий свет

---

[1] В то время стеклянные зеркала не были известны, употреблялись шлифованные металлические зеркала, которые приходилось окунать в воду, прежде чем в них глядеться.

солнца ослепил их. Скифы, сидевшие в тени за воротами, вскочили и подвели Будакену коня. Они тронулись и вереницей въехали в узкий глухой переулок.

Хош стал расспрашивать Спитамена:

— Правда ли, что княжна Рокшанек самая красивая и умная девушка в Сугуде?

Спитамен подумал и ответил:

— В сказках всегда рассказывается, что жена или дочь царя прекраснее и умнее всех. О том, что Рокшанек прекрасна, поют все юноши, которые хотят сразу попасть в райский сад, сделавшись зятем князя Оксиарта. Но едва ли Рокшанек сумеет растереть три зерна пшеницы в муку и едва ли знает, как надо доить козу!

Хош вздохнул:

— Это надо знать нашим женам, женам бедняков, а ведь она княжна! Разве княжны должны работать?

Спитамен посмотрел на Хоша и процедил:

— Ты блюдолиз, все шепчешь на ухо своему князю. Вот и шепни ему, чтобы он отрезал твой потрепанный язык...

. . . .

Когда скифы вереницей подъезжали к торговому двору, Спитамен остановил Будакена, указав на двух вооруженных согдов, удерживавших рвавшегося и громко стонавшего человека. Лицо его было залито кровью. Сквозь нос была продета кость, и к ней привязан конец веревки. Руки были скручены за спиной. При каждом движении веревки он вскрикивал.

— Наверное, большой преступник? — спросил Будакен.

— Левша Шеппе! Из-за тебя погибаю, спаси меня! — кричал человек.

— Кукей-чулочник! Что с тобой сделали? — воскликнул Спитамен.

Он бросился вперед, стал наотмашь бить плетью, и оба согда, державшие Кукея, отбежали. Спитамен спрыгнул с коня, ножом перерезал веревки.

— Не выдергивай кости из носа,— стонал Кукей. — Кровь опять польется! — Кукей вцепился в повод коня Спитамена: — Теперь я не уйду от тебя, а буду с вами, иначе меня казнят!

— Кукей, хотя ты теперь и без носа, но можно жить и без этого — подумаешь, какое горе!— успокаивали скифы Кукея.— Ты будешь с нами, и никто тебя не тронет! — И они под руки увели плачущего Кукея внутрь двора.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МИЛАЯ!..»

Когда гости из соленых степей ушли, Рокшанек вернулась обратно в большую комнату. Прижав ладони к вискам, она вздрагивала и покачивалась, готовая упасть.

Все женщины, сидя тесным кольцом, щебетали, обмениваясь своими наблюдениями:

— Этот толстый скиф совсем не умеет себя держать как князь — размахивает руками и скребет за ухом.

— Но у него лошадей больше, чем жителей в нашем городе!

— Как замечательно ходила наша Рокшанек — совсем как царица! Она рождена стать царицей!..

— Если бы Рокшанек вышла за этого князя замуж, она бы стала царицей всех скифов и носила бы красную царскую одежду с золотой бахромой.

Рокшанек простонала:

— Перестаньте кудахтать! Разве вы не видите, что я умираю!

Княгиня-мать и другие женщины вскочили, испуганные, и подхватили княжну.

— Что с тобой, милая? — шептала мать.— Этот молодой скиф смотрел очень злобно; не испортил ли тебя его дурной глаз? Может быть, то ожерелье, которое подарил тебе «полтора человека», было заговоренное и принесло тебе болезнь? Ведь скифы не любят нас, согдов.

Но Рокшанек нетерпеливо отмахивалась тонкой рукой, и браслеты раздраженно звенели.

— Нет, нет! Совсем не то!

— Так что же? Скажи, моя душа!

— Ничего вы не видите и не понимаете: от этих диких людей пахло так ужасно, как от табуна диких лошадей!

Все женщины переглянулись и всплеснули руками:

— Вот это настоящая княжна! Как она страдает от того, чего мы даже и не заметили! Но они уже ушли, почему же ты страдаешь?

— Разве вы не чувствуете, что после них в доме осталось невыносимое кислое облако? Дайте мускуса и розовой воды! Сделайте же что-нибудь, а то я задохнусь!

Все забегали. Принесли жаровню с горячими углями. Закурились голубые дымки от тлеющих ароматных корешков. Мать с молитвой бросала на угли сушеные стебли васильков и порошок шафрана. Служанки обрызгивали комнату розовой водой. Все бережно провели Рокшанек в ее

комнату и уложили на мягких подушках. Она стонала, закатывая глаза. Маленькая негритянка обмахивала ее опахалом. Даже любимая ящерица раздражала Рокшанек, и ящерицу унесли.

Княгиня выслала всех женщин и тихонько ушла, оставив на ковре около Рокшанек блюдо с виноградом и медовым печеньем. Негритянка заперла за княгиней дверь на задвижку и вернулась к Рокшанек.

— Все ли ушли? — простонала девушка.— Как они меня мучают женихами, гостями и заботами! Ты будешь сидеть у двери и слушать. Если постучат, скажи, что княжна очень больна и не позволяет ее беспокоить.

Негритянка со страхом взглянула на больную и скрылась за ковровой занавеской на двери.

Тогда Рокшанек вскочила и бесшумно, как кошка, прошла по комнате. Из-под ковра она вытащила сверток, сняла со стены маленький кинжал и засунула его за шелковый пояс; по приставной лестнице легко поднялась к потолку и сквозь квадрат, светившийся синим небом и звездами, вышла на крышу.

Город гудел тихим ропотом теплой засыпающей ночи. Певуче перекликались ручные перепела. Издалека неслись затейливые переливы песни, сменяясь мягким перебором струн. С полей прилетали взрывы мрачных воплей подбиравшихся к домам шакалов и разом обрывались.

При сиянии больших оранжевых звезд голубое платье Рокшанек светилось в темноте. Она подошла к краю крыши и смотрела вдаль, на рассыпанные по равнине потухающие огоньки домов. За ними в небе четко вырисовывались угловатые линии горных хребтов.

Она взглянула вниз, в сад, где темнели гранатовые кусты и тянулись ряды молодых персиковых деревьев.

В кустах засвистел кузнечик. Рокшанек развернула сверток и осторожно спустила с крыши шелковую лестницу, зацепив ее за деревянный выступ стены. Неясная тень проскользнула на крышу и, как дуновение ветра, приблизилась к Рокшанек.

— Это я, Фирак, раненный стрелой из лука бровей твоих! Три дня и три ночи я умирал в страданиях, не видя на стене твоего красного покрывала. Теперь я здесь, милая! Я пришел по твоему зову и готов умереть для тебя.

Трепетная рука коснулась плеча Рокшанек, и ее ожерелье зазвенело.

— Иди сюда, Фирак. Мы останемся здесь под алмаз-

ными звездами, и ты будешь мне много говорить. Сегодня я хочу слушать тебя... Говори мне про далекие страны. Я хочу увидеть шумные города, синие моря с краснокрылыми кораблями...

— Я не князь,— шептал юноша,— у меня нет богатств, я только бедный певец, но я умею петь, и люди любят слушать мои песни. Эти песни прокормят и меня и тебя. Бежим отсюда, уедем в далекую страну. Там я буду петь про твои лучистые глаза, про твою нежную тень, про звон твоих браслетов, когда ты идешь, легкая, как пантера. Люди будут бросать мне тяжелые серебряные монеты и блестящие золотые дарики [1].

— Я не могу бежать с тобой. Я не могу идти по пыльной дороге, одетая в рубище нищей. Но я не хочу жить и без твоих песен. Отец сказал, что отвезет меня в Мараканду, где новый царь царей ищет невесту. Он говорит, что если я буду умна и хитра, то сумею стать царицей Персии. Ты знаешь, как строг мой отец, и, если я не исполню его воли, он прикажет бросить меня в «башню молчания» [2]. Так жить я больше не могу... Но что это? Концы моих пальцев чувствуют у тебя на глазах слезы. Ты не огорчайся, я не забуду о тебе и возьму тебя с собой; ты будешь петь при княжеском дворе, и, когда я позову тебя, ты будешь петь песни о райских садах, к которым стремятся и не могут дойти караваны...

— Умрем вместе — и мы улетим на крыльях вечного сна в чудесные сады!

Громкий стук в ворота и крики заставили встрепенуться Рокшанек. Она вырвалась из объятий юноши и подбежала к краю крыши. По дорожке сада шли люди с оранжевым фонарем.

— Это отец! Я узнаю его голос. Он неожиданно вернулся! Что делать? Он идет сюда. Если он нас увидит, то барабаны моего позора покатятся отсюда и загремят по всем базарам.

— Умрем вместе сейчас!..

— О мой драгоценный Фирак! Да, умрем! Вот мой кинжал!

---

[1] Дарик — персидская монета.

[2] «Башня молчания» — место погребения, куда складывались тела умерших, чтобы их расклевали хищные птицы. Остатки таких башен еще сохранились в разных местах Ирана и Узбекской ССР (к северу от Ходжента, в Могульских горах).

Юноша приставил конец кинжала к груди и бросился на него.

— Я люблю тебя, милая!.. — прошептали немеющие уста.

Рокшанек наклонилась над юношей и прислушалась.

— Что мне делать? Как спастись? Как страшно умирать! Зачем он это сделал?

Голоса в саду обошли дом и потом донеслись снизу, из внутренних комнат.

Рокшанек ждала, обессилев, не зная, что делать... Заскрипела лесенка из ее комнаты, и в квадратном отверстии крыши показалось освещенное фонарем лицо князя Оксиарта, его длинный сухой нос, курчавая борода и войлочный колпак, из-под которого выбивались длинные волосы. Оксиарт весело улыбался. За ним влез на крышу угрюмый старый евнух Фанфал.

— Ты здесь, Рокшанек? Ты ходишь, не боясь дивов или опасного болезнями ночного ветра? Значит, ты уже не больна? Сама ты виновата — зачем принимала этих степных разбойников саков? Я разрубил бы их на мелкие куски и бросил гиенам. Подумай, этот князь Будакен держал меня как простого пленника. Только его зять, князь Гелон, дал мне лошадей и проводника и отпустил на свободу. За это я ему обещал прислать старого вина, золота и невольниц... Но что с тобой?.. Твое лицо бледно... Откуда кровь на твоих руках и одежде?..

Опустив глаза, Рокшанек отвечала с трудом:

— Сюда, на крышу, влез неизвестный разбойник и набросился на меня. Я — дочь воина и ударила его кинжалом. Он упал...

Рокшанек зашаталась и бессильно опустилась на ковер. Оксиарт растерянно посмотрел на дочь, затем на евнуха. Тот невозмутимо поднял кверху указательный палец:

— Тише!

— Фанфал, негодный баран! Я тебе отрублю голову!

— Не за что!

— Почему ты недосмотрел? Что ты делал?

— Я исполнял приказание княжны Рокшанек и наблюдал, чтобы все женщины в доме не ходили, не пели и не говорили, — у нее болела ее мудрая голова.

— Но ты забыл мое приказание — охранять дом!

— Нет, я был также в саду и там слушал пение кузнечика.

— И видел что-нибудь?

— Видел, как кузнечик влез на крышу.

— И ты ничего не сделал, чтобы схватить его?

— Я услышал топот лошадиных копыт, побежал тебе навстречу и привел тебя сюда, на крышу. Вот лежит этот разбойник... Да ведь это наш беззаботный певец Фирак! Тише, господин!

— Как ты можешь говорить «тише»? Надо позвать слуг, отнести презренное тело на площадь и там рассечь на части, чтобы устрашить других!

— Нет, господин! Не так надо сделать. Злые языки любят чернить самое достойное. Поэтому надо взять верного слугу и отнести тело этого кузнечика в «башню молчания». Туда надо войти втроем, а назад выйти одному.

— Ты мне предан, Фанфал. Я этого не забуду! Когда все заснут, ты сделаешь это. А сейчас позови только основу добродетели, княгиню-мать! Надо помочь бедной княжне. Она нездорова. Мы должны охранять ее.

В «БАШНЕ МОЛЧАНИЯ»

Подъехав к воротам постоялого двора, Будакен придержал коня и подозвал Хоша.

— Прикажешь зажарить тебе барана? Или сварить в молоке ягненка? — подобострастно заглядывая в глаза, спрашивал Будакена старый слуга.

— А как ты думаешь, что будет лучше? — обратился князь к Спитамену.

— Самое лучшее — сейчас же вьючить коней и уезжать! — отвечал шепотом охотник.— Стены надвигаются на нас, и за этими стенами шуршит измена.

— Да будет так! — ответил Будакен.

— Но теперь поздно,— вмешался Хош,— подняты шлюзы, и по канавам вода пущена на поля. Мы не найдем брода, кони увязнут в намокшей земле.

— Мы сейчас едем, поторопи молодцов! — проворчал Будакен.

— Твоя воля — тетива для стрелы! — Хош поклонился и коснулся ноги Будакена. Он глазами подмигнул в сторону Спитамена и шепнул: — Не верь ему.

— Делай свое дело! — рявкнул Будакен.

— Делаю, делаю! — забормотал Хош и проехал в ворота.

. . . .

Верхушка сторожевой башни еще горела в последних

красных лучах заходящего солнца, в переулках протянулись лиловые тени, когда скифы гуськом пробирались задворками, через проломы стен. Они выехали из города сквозь задние ворота, ведущие к Шур-Бельским горам. Асук был привязан к спине лошади, он был так пьян, что ничего не понимал и твердил одно:

— Асук — умный человек, он умнее самого Будакена!

Коня вел за повод сторож Кукей. Боясь быть узнанным слугами Фейзавла, он обернул себе лицо синей тряпкой и закутался в скифский плащ.

Два сторожа, сидевшие близ ворот, смотрели, разинув рты, на проезжавших скифов, на их необычные пестрые одежды и мохнатых коней. Сторожа долго спорили о том, нужно ли пойти к начальнику и донести об уехавших иноземцах. Наконец они решили, что попозже, когда ворота закроются, они пойдут на базар в винную лавку и там расспросят постоянных посетителей, что за странные гости проехали через город.

Скифы подымались по пустынной дороге в сторону гор. Когда скалистые хребты загородили багровое небо, Спитамен дал знак остановиться. Впереди расстилалось большое поле с зелеными кустами хлопчатника, залитое водой. Несколько черных от загара и грязи крестьян, едва прикрытых рваными тряпками, ходили около канав с длинными шестами и направляли по полям потоки воды. В тихом вечернем воздухе ясно доносились их крики.

Здесь скифы сняли вьюки и стреножили коней. Поляна, на которой они находились, заросла репейником и травой.

В стороне виднелась низкая и широкая башня без крыши. Возле нее прилепился глинобитный домик.

Скифы развели три костра и, воткнув в землю пики, улеглись звездой вокруг огней.

— Что это за башня? — расспрашивал Будакен.

Спитамен поморщился:

— Это «башня молчания», там собаки объедают покойников. Ты, князь, умирай где-нибудь подальше — здесь плохо умирать.

— Зачем же этих собак не передавят?

— Что ты! Это священные собаки. Кто их тронет, того убьют. А в этом домике около башни живут особые святые старики, сперва они помолятся над покойником, а потом отдают труп собакам.

— О великий Папай! — воскликнул Будакен и плюнул назад через левое плечо.— Я хочу умереть в поле, в битве,

чтобы в последний раз увидеть Железный гвоздь[1] на небе, слышать свист ветра и чувствовать запах лошадиного косяка. А здесь лучше совсем не умирать, а скитаться как последний нищий. А все-таки надо бы рассказать в степи, как согдские собаки объедают покойников. Князь Тамир, наверное, этого не видел. Нельзя ли сходить туда, в башню, посмотреть?

Зашла луна. Скифы дремали, пригретые огнем костров. Будакен и Хош направились к «башне молчания»; впереди Спитамен отыскивал дорогу межами среди залитых квадратов полей. Они шли по краю канавки, где быстро струилась вода, перепрыгивали через запруды. Голубой лунный свет заливал тихую равнину, по голым пустырям скользили бесшумные тени волков и шакалов. Широкая башня одиноко чернела впереди. В пристройке мерцал огонек. Когда скифы приблизились, они услышали глухое ворчание, визг и вой, на который откликались в оврагах сотни голосов невидимых шакалов. С одной стороны к верхушке башни вела узкая каменная лестница. Спитамен стал бесшумно подыматься по громадным ступеням, высеченным из цельных камней. На верху башни раздался шорох, большие черные тени замахали широкими крыльями и, взлетев, закружились над головами скифов.

Будакен выхватил меч; Хош уселся на ступеньке и умолял не идти дальше.

— Это дивы и пэри слетаются сюда по ночам, чтобы попугать мертвецов. Они выпьют нашу кровь и разорвут нас на куски.

— Это голошеие орлы-стервятники! — сказал Спитамен.— Смотри, Хош, чтобы они не унесли тебя на вершину горы. Они любят таких откормленных, как ты.

С верхушки лестницы можно было смотреть внутрь башни. Лунные голубые лучи ярко освещали часть внутренней площадки. Белели груды человеческих костей. Большие темные длинношерстные собаки бродили и дрались, вырывая друг у друга кости.

Почуя присутствие посторонних, собаки прекратили возню, сбежались в кучу и начали лаять.

— Собаки просят, чтобы им дали есть! — сказал Спитамен.— Придя сюда, родственники покойников смотрят на собак сверху и бросают им еду.

[1] Железный гвоздь — Полярная звезда.

— Какой шум, какой собачий базар! — плевался Будакен.— Идем скорей отсюда!

Вдруг собаки замолкли и отбежали в сторону. Внизу стукнула дверь. Показался старик в белой одежде и в белом колпаке. В одной руке он держал фонарь, в другой — длинную палку с трезубцем на конце.

— Спрячься! — шепнул Спитамен.— Сейчас ты увидишь то, что не всякому удается посмотреть.

Все трое припали к стене, продолжая наблюдать.

За стариком вошли два человека с носилками на плечах. Один из несших был большой пухлый безбородый человек. Другой — полуголый раб. На носилках лежало тело, перевитое веревками. В лунном свете отчетливо было видно лицо юноши с закрытыми глазами, бледное, как снег. Носилки поставили одним концом на землю, другим прислонили к стене, так что юноша оказался в стоячем положении.

Старик в колпаке распоряжался и объяснял:

— Покойник должен быть обращен лицом к востоку, чтобы встретить восход солнца. Его душа будет оставаться здесь, пока священные собаки не объедят все мясо. Тогда душа улетит на мост Чинвад и там будет ждать разрешения пройти по доске, тонкой, как острие ножа. Если душа была праведна, то счастливо пройдет по доске, если же в жизни сделала много зла, то оборвется и упадет в зеленое топкое болото, где пэри ее будут мучить и жечь на вечном огне.

Старик стал бормотать и петь молитвы, простирая руки к луне.

Пухлый безбородый человек отошел назад, вытащил веревку и сзади стал подбираться к рабу. Петля упала на голову раба, и он опрокинулся назад, но тотчас же стал яростно защищаться, и оба упали на землю. Собаки подняли лай, а старик старался ударить трезубцем боровшегося раба.

— Безумец, что ты хочешь сделать? — прошипел Будакен.

Спитамен вскочил на стену, уцепился за край руками и спрыгнул вниз.

— Я пэри этого места! — зарычал он хриплым голосом.— Кто осмелился нарушить священный покой мертвецов?

Спитамен поднял берцовую кость и начал колотить

ею толстяка и старика. С диким воплем они бросились прочь и выбежали из башни. Дверь оставалась открытой.

Перепуганные, взъерошенные священные собаки, прыгая друг через друга, с визгом бросились в нее и исчезли из башни.

Спитамен нагнулся к лежащему рабу и распустил узел, затянувший его шею. Тот поднялся полуоглушенный и попятился, со страхом глядя на Спитамена:

— Если ты пэри этого места, не убивай бедного раба! Я никому не сделал зла.

— Я такой же пэри, как ты! — ответил Спитамен.— Кто твой хозяин?

— Мой господин — князь Оксиарт, владетель этого города. Он внезапно приехал сегодня вечером и приказал отнести этого мертвеца сюда, в «башню молчания».

— А кто был с тобой?

— Главный евнух Фанфал. Я не знаю, за что он начал душить меня. Я усердный раб господина моего.

— Но ты узнал больше, чем хотел твой господин, и в этом твоя вина.

Спитамен повернулся к покойнику. Юное лицо сохраняло нежные черты, не тронутые смертью. Глаза были закрыты. Спитамен прижал ухо к сердцу и долго слушал. Потом отцепил от пояса маленькую тыкву и влил в рот юноше несколько капель. Веки дрогнули, и уста прошептали:

— Я люблю тебя, милая, за капризный обман!..

— Э, да тут опять замешана эта тонкая ящерица. Она отправила его на мост Чинвад, а он все еще не может забыть ее! Я вылечу тебя от такой болезни!

Выхватив нож, Спитамен перерезал веревки. Маленький кинжал выпал к его ногам. Спитамен поднял его, осмотрел и засунул за голенище.

— Послушай, ты, неразумный раб господина твоего!.. Если тигр сделал неудачный прыжок и промахнулся, то он сделает второй прыжок, чтобы прикончить свою жертву. Тебе, бедняга, не будет житья у князя Оксиарта: он все равно тебя убьет. Уходи сейчас со мной. И помоги мне взвалить этого молодца на спину.

Спитамен подхватил юношу и сквозь маленькую дверь вышел из башни. Будакен и Хош ждали внизу.

— Что здесь случилось?

— Князь Оксиарт внезапно вернулся из степи и хотел двоих отправить на мост Чинвад. Мы должны ехать дальше, чтобы скорее выбраться из этой земли. А вот это тебе, князь Будакен, новый верный слуга. Он будет смотреть за твоими конями. Мальчик, лежащий у меня на спине, умирает потому, что коснулся ядовитых уст княжны со змеиными глазами. Он поедет на моем коне, если ты позволишь, а я пойду рядом. Это один из тех чудаков красавцев, которые в саду пели песни в честь княжны Рокшанек...

— Пускай едет! — сказал Будакен.— Хватит и пшена, и хлеба. А когда он выздоровеет, то я возьму его к себе в степь — пусть поет песни моим гостям и воспевает красоту моих дочерей.

. . . .

Когда все вернулись к кострам, Спитамен уложил юношу и долго с ним возился. Он осмотрел и обмыл грудь, засыпал рану смолистым порошком амбры и перевязал тряпками.

Юноша что-то бормотал и вскрикивал, но не приходил в сознание. Спитамен посидел около него, пока тот не затих. Все скифы спали. Будакен, подложив ладонь под щеку, лежал на попоне. Его глаза то открывались и следили за огоньками костра, то опять слипались. Спитамен встал и подошел к рабу. Раб сидел у костра, обняв руками колени, и боязливо поглядывал на скифов. Спитамен толкнул его в плечо и сделал знак следовать за ним. Он нагнулся над одним из лежавших, который тихо и непрерывно стонал, приподнял его и шепнул несколько слов. Все трое отошли в поле, и, когда за кустами репейника скрылись огни костра, они уселись тесным кружком, прикоснувшись ладонь к ладони, и переплели пальцы. В таком положении они приблизили головы.

— У тебя, Кукей, нос пробит верблюжьим гвоздем, тебе житья не будет за то, что ты убежал из города; а ты, покорный раб, можешь снова попасть в петлю князя Оксиарта. Теперь вам одно спасение — уходить в горы. Здесь, в этом ущелье, на берегу реки живет моя сестра — Улыбка Месяца. Туда вы отправите этого молодого дрозда, который пищал свои песни, пока не попал под княжеский нож. Моя сестра его вылечит горными травами, и если он не захочет навсегда замолкнуть, то тоже уйдет дальше, к вольным горцам. Сестра укажет вам тропу, которой вы приедете в горы

к кузнецам; они льют железо и куют стальные мечи; им всегда нужны работники, и они вас прокормят. Если же вам и там будет плохо, то вы сможете уйти еще дальше, за великую реку Окс.

Все трое обнялись, договорились, где снова встретиться, затем все разом подняли руки к небу, прошептав молитвы, и тихо вернулись к кострам. Осторожно взвалили они раненого юношу на коня, перевязали волосяными веревками и бесшумно скрылись в темноте.

. . . .

Когда восток стал белесым, Будакен вскочил и крикнул:

— Готовить коней!

Спитамен сидел около костра, подкладывая в огонь репейник. Он растолкал крепко спавших скифов.

— А где же раненый? Где раб, где сторож с пробитым носом? — удивлялся Будакен.

— Они бежали, князь,— отвечал Спитамен.— Какая тебе польза от них, когда их уже нет?

Всадники навьючили лошадей и в предутренних сумерках потянулись верхней дорогой, изгибавшейся у подножия гор, направляясь к Мараканде.

«СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА»

Три дня ехали всадники пустынной тропой, избегая главного торгового пути. От времени до времени вдали в тумане показывались высокие стены то одного, то другого из семи городов, выстроенных против набегов кочевников пустыни.

Вдоль дороги тянулись старые тутовые деревья, покрытые белыми сладкими ягодами. От деревьев падала на дорогу непроницаемая тень... От легкого сотрясения с низко свесившихся ветвей градом сыпались тутовые ягоды на пыльную дорогу.

По всей равнине рассыпались богатые усадьбы согдских князей. Высокие глиняные зубчатые стены окружали постройки. Вдоль стен поднимались стройные тополи. Сквозь раскрытые ворота усадеб виднелись квадратные пруды, обсаженные кустами роз. Над ними простирали ветви величественные карагачи, громадными шапками поднимающиеся к небу. Около прудов на ровных приподнятых площадках, покрытых коврами и войлоками, лежали пестрыми цветни-

ками группы женщин и детей. Они пели, смеялись, плясали, ударяя в бубны. Все они удивленно вскрикивали и замолкали, когда сквозь раскрытые ворота замечали вереницу скифов в черных башлыках, вооруженных тонкими пиками.

Иногда по дороге встречались согдские князья, окруженные пышной свитой. Около князей ехали верховые, держа на кожаных рукавицах соколов и беркутов с надвинутыми на глаза птиц колпачками. Впереди бежали своры борзых собак, белых и желтых, с поджарыми животами и мохнатыми хвостами. Князья в нарядных одеждах, с позолоченным оружием гарцевали на горячих аргамаках, украшенных пучками перьев между ушами. Кони были покрыты серебряными или золотыми сетками, сверкавшими, как пламя.

Среди полей возвышались насыпанные курганы. Возле них лепились жалкие хижины крестьян, сложенные из глины и хвороста. Там работали обожженные солнцем крестьяне, едва прикрытые лоскутами дерюги. Голые бронзовые тонконогие дети с большими животами, с несколькими косичками, торчащими в разных местах головы, барахтались в пыли и, увидав путников, карабкались на заборы и кричали оттуда.

Две ночи скифы разбивали стоянки вдали от селений, на холмах. Уже проехав Зар-Гар и Дарвас-Кам, они переправились через множество каналов реки Санзар. Наконец спустились в долину реки Золотоносной[1] и увидели вдали бесчисленные дома и сады блистательной Мараканды — столицы согдов.

Казалось, этот город не имел ни начала, ни конца. К городу тянулись со всех сторон бесконечные сады. Между деревьями прятались плоские крыши домов, и среди этого сплошного сада возвышались высокие глиняные стены с зубчатыми башнями.

— В этой крепости живет правитель Сугуды сатрап Бесс — новый царь царей,— сказал Спитамен.— Там у него сложено запасов хлеба на пять лет. На конном дворе прикована цепями тысяча лучших жеребцов, а в домах, окруженных розами и персиками, тоскуют триста шестьдесят пять жен — столько, сколько дней в году. Согдские князья живут весело и горя не знают, не правда ли?

---

[1] Золотоносной рекой в древности называли реку Зеравшан.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГРОЗА С ЗАПАДА

...И там, где был город, поселятся пеликан и еж, и станут развалины логовищем зверей, и путник, проходя мимо, посвищет и не остановится.

Из восточной летописи

В СОГДСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Фирак лежал на камышовой циновке. Глаза равнодушно смотрели на закоптелый потолок, сложенный из жердей, переплетенных хворостом. Внимание Фирака привлекал большой желтый паук, который то пробегал по жерди, то так же быстро возвращался обратно и останавливался, подняв две передние мохнатые лапки.

На другом конце жерди из трещины в стене показывался второй желтый паук, осторожно пробирался до середины жерди и быстро убегал назад.

Все тело Фирака затекло и ныло, при каждой попытке пошевельнуться его пронизывала острая боль в груди. Кто-то тонко пропищал, затем послышались равномерный стук и поскрипывание. Фирак приподнял голову и в ногах у себя увидел неподвижно сидевшую женщину. Ее пальцы сучили белую нитку, на конце которой, подпрыгивая, крутилось веретено: другой рукой она выдергивала шерсть из прялки. Лицо ее, смуглое, загорелое, изборожденное резкими морщинами, говорило о тяжелой работе в поле. На голове белый платок, конец его прикрывал шею и подбородок.

Опять раздался писк, и рука, оставив нитку, толкнула детскую люльку, расписанную яркими цветами; люлька, качаясь, поскрипывала.

— Пить! — прошептал Фирак, и свой голос показался ему чужим, хриплым и далеким.

Женщина подняла глиняную миску, обмакнула в нее морщинистый мизинец и провела по воспаленным, сухим губам юноши. Она окунала палец в молоко и кормила его с пальца, привычным жестом, как ягненка, потерявшего матку. Жесткий, воспаленный рот Фирака стал влажным.

— Где я?

— Не спрашивай, не говори, чтобы див болезни не вернулся и не задушил тебя. Не двигайся, а то опять кровь пойдет.

Фирак чувствовал теплое сладковатое молоко, и ему казалось, что он только что родился, что прошлого нет и не было. Он не мог вспомнить, что было раньше, до того, как он попал сюда, в эту закоптелую хижину. Он казался себе маленьким ребенком, а эта женщина — всемогущей, всесильной, как мать: она может спасти его, слабого, только что рожденного.

— Пить! — опять помимо воли прошептали его губы.

— Довольно! — отвечала женщина, крутя нитку.— Надо оставить и моему ребенку.

Фирак опять забылся. Когда он очнулся, то не мог сообразить, сколько времени прошло. Женщины не было, ребенок не пищал, люлька неподвижно застыла. На жерди два ядовитых паука сидели один против другого и угрожающе шевелили поднятыми передними лапками. Солнечный луч, проникнув из квадратного отверстия под потолком, прорезывал всю хижину. Яркое оранжевое пятно горело на стене. В луче светились плывшие пылинки.

Фирак чувствовал себя бодрее, силы прибывали. Но сильно болело в груди. Он выше приподнял голову и осмотрелся. По сторонам широкие глинобитные нары. Между ними узкий проход. В конце его очаг в стене; по бокам очага вылеплены из глины колосья пшеницы и птичка, клюющая зерно[1]. Груда углей, засыпанных золой, и над ними голубой дымок, вьющийся к закоптелому выходу на потолке. На нарах потрепанные камышовые циновки и стертые обрывки ковров.

Фирак не понимал, почему он прикрыт бурым крестьянским плащом, а его ноги — в пестрых шерстяных чулках: ведь раньше он был одет как-то по-иному, по-городскому,— в зеленых туфлях и полосатых шароварах.

За спиной раздался стук. В отверстие грубо сколоченной двери просунулась стариковская корявая рука и долго возилась с засовом, стараясь открыть дверь; потом все затихло.

Фирак лежал, наблюдая за солнечным пятном на стене, которое медленно подвигалось, осветив глубокую трещину, из которой серая мышь высовывала мордочку. Под лучом ярко забелела на стене грубая холщовая рубаха, обшитая красной каймой, и заблестел изогнутый бронзовый серп, подвешенный на деревянном гвозде рядом с пучком высохшей полыни.

[1] Обычный рисунок на очагах огнепоклонников.

— Дружок! — раздался возле него тонкий хриплый голос. — Дружок, да хранят тебя светлые духи неба! Как тебя зовут?

Возле него стоял старик в широком плаще, подпоясанном разноцветными шнурками, в остроконечном колпачке. Все лицо его, заросшее седыми волосами, с прищуренными маслеными глазами, было в бесчисленных складках от расплывшейся улыбки. Когда рот закрывался, то нижняя губа уходила под верхнюю, и лицо уменьшалось вдвое: у старика не было ни одного зуба.

— Что же ты мне не отвечаешь?

Фирак смотрел на старика, не понимая, что тому нужно. Раздались грубые голоса. В хижину вошло несколько крестьян в длинных, до колен, рубахах и широких дерюжных шароварах.

— Зачем тревожишь больного? Видишь — он умирает. Ты атраван — служитель бога, твое дело молиться, хоронить покойников. Зачем же ты приходишь раньше времени, непрошеный, в чужой дом?

— Хе-хе-хе! А кто это?

— Это охотник. Упал со скалы, переломил себе кости. Наши старухи его лечат.

— Разве он охотник? — Старик окинул крестьян недоверчивым взглядом и погрозил пальцем. — А почему он кутает свое лицо? Может быть, он беглый разбойник? Ведь за поимку важных преступников князь Оксиарт заплатит пять дариков и больше.

— Ну и пускай их ловят слуги Оксиарта. А ты зачем вяжешься в это дело?

Старик захихикал:

— Пять дариков награды! Подумайте только — пять серебряных дариков!

— Верно, верно, святой праведник, — сказал один крестьянин. — А на что тебе дарики? Ведь святые атраваны денег не ищут, а живут молитвой. Что будешь с ними делать?

— О, чего только не сделаешь за деньги! Я могу открыть лавочку и торговать свечами и священной коровьей мочой для излечения всех болезней. Я даже могу жениться.

— Никто не пойдет за тебя, такого старого. У тебя ни одного зуба нет.

— Если будет кошель звенеть серебром, то самая первая роза в селении будет в моей хижине. Пойду к мудрому

нашему виспайти[1]. Не держите меня, пустите! О, пять дариков! — Старик торопливо выбежал.

Крестьяне шептали:

— Хорошо, что виспайти сейчас нет в селении. Он поехал встречать князя, едущего к нам из Курешаты.

— Что же делать с больным?

— Ты еще не можешь идти? — обратился один крестьянин к Фираку.

Фирак взглянул усталым взглядом. Крестьяне наклонились над ним.

— Он полуживой. Где ему идти! Если он и пойдет, то его нагонят и схватят.

— Нужно пожалеть его. Пока начнут разбирать, разбойник ли он или нет, его засадят в яму.

— Какой же это разбойник! Шеппе сказал, что он наш,— значит, надо поберечь его.

— Положим его на крышу и прикроем сеном, а скажем, что убежал. Кто станет искать поблизости? Старшина пошлет людей по тропам и дорогам. А дня через два суматоха уляжется. Мы его отвезем за пределы владений князя Оксиарта; тогда он сам поплетется дальше. Раз Шеппе сказал, то мы должны его сберечь!

Крестьяне подхватили Фирака осторожными руками, вынесли во двор и по лестнице втащили на крышу сарая. Там его прикрыли ворохом горного сена:

— Смотри же не заплачь! Не закричи!

КРЕСТЬЯНСКИЙ СХОД

Фираку было удобно лежать на сене. Высохшие горные растения сладостно одурманивали мятой и полынью. С крыши он видел часть улицы, высокий карагач и несколько хижин и дворов, где бродили куры и дремали взлохмаченные собаки.

По дороге спешили крестьяне, женщины, перебегали дети. Крестьяне собирались кучками и горячо толковали.

Вздымая клубы пыли, прискакали на взмыленных красивых аргамаках всадники. Алые чепраки блистали золотом, между ушами коней колыхались пучки фазаньих перьев. Крестьяне, низко кланяясь, схватили горячих коней под уздцы и отвели в сторону.

Один из всадников, молодой, дородный, выхоленный, с

---

[1] Виспайти — старшина деревни.

шелковистой завитой бородой, поднялся на квадратную площадку, устланную коврами, под старым тенистым карагачем. Холодным, надменным взглядом он обвел толпу.

Крестьяне подталкивали друг друга локтями и шептали:

— Гляди, одно только шелковое платье князя Катена стоит так дорого, что за него можно кормить полгода всех жителей нашего селения. А на платье нашиты золотые цветы настоящими золотыми нитками.

— А какой меч в золотых ножнах! Сразу видно, что большой князь!

— Скоро ли соберутся жители деревни? — крикнул князь Катен.

— Идут! Вот уже все идут!

Приближалась шумная толпа. Впереди шло несколько стариков. Двое держали под руки еще более древнего седобородого старика. Он не поспевал за шагавшими, и ведшие его приподымали так высоко, что он махал ногами в воздухе. Копну его пушистых белых волос раздувало ветром. Посреди заросшего сединой лица выдвигался орлиный нос, из-под нахмуренных темных бровей поблескивали черные сердитые глаза.

Это был виспайти — старшина селения, глава многолюдного рода, обитавшего в горной деревне и ближайших поселках, где в каждом старшина имел жен и дома для них.

Рядом с древним старшиной шли его уже седобородые сыновья — все с такими же орлиными носами и острыми сметливыми глазами. За сыновьями шагом шли десятка два пожилых и молодых крестьян — внуков и правнуков виспайти. А кругом в толпе шныряли дети всех возрастов, и тесными рядами шли женщины, привлеченные ожидавшимся зрелищем.

— Раз князь прискакал — не к добру!..— причитали женщины.

Прибывшие окружили возвышение, где стояли, выжидая, князь Катен и несколько персидских воинов из его охраны.

Впереди толпы, положив бороду на длинный посох, остановился старшина.

— Верные сыны Авесты! [1] — закричал князь крестья-

---

[1] Авеста, или Зенд-Авеста,— так называлась древнейшая книга, написанная в Бактрии; книга эта составляла сборник различных религиозных поучений, описаний обрядов и суеверий. Фанатичные огнепоклонники называли себя «верными сынами Авесты».

нам, крепко расставив ноги в красных сандалиях с множеством тонких ремешков. Он ударил рукой по рукоятке меча.— Нам придется взяться за мечи! Слушайте, что я вам скажу. На страну нашу, счастливую Сугуду, идут неведомые враги. Они хотят отнять нашу землю, забрать наши дома и всех нас изрубить или продать в рабство. Разве мы допустим это? Будете ли вы биться с врагами за ваших жен и детей, за ваши дома и посевы?

— Будем! Все встанем на защиту! — закричала толпа.— Пусть только они сунутся к нам сюда!

— Нет, нельзя ждать, пока враги придут в ваше селение. Надо собрать большое войско и пойти им навстречу, напасть на них в Бактрийских горах. Нельзя позволить им переправиться через великую реку Окс и прийти в наши долины. Если бои будут на наших полях, то мы вытопчем посевы и останемся без хлеба. Тогда настанет голод. Надо скорее уйти отсюда вперед, в Бактру. Все ли вы пойдете?

Толпа зашевелилась и загудела. Один голос протянул:

— Я, пожалуй, пойду.

За ним другой голос спросил:

— А далеко ли идти?

— Сперва надо идти в город Курешату, там собирается наш отряд. Оттуда воины пойдут в Мараканду, где царь Артаксеркс — жить ему и править тысячу лет! — соберет все отряды в одно войско и сам поведет его на злодея — Двурогого царя, чтобы запереть и раздавить его в горных ущельях Дрангианы[1]. Итак, что ж молчите? Все ли вы пойдете?

Несколько человек стали кричать:

— Как же нам бросить поля? Сейчас начинается сев. Если не засеять поля, чем будут кормиться наши семьи? Пусть на войну идут жители городов: им не надо работать на полях.

Крики усиливались. Женщины, взобравшись на крыши, шумели и вмешивались в спор:

— Три четверти урожая мы отдаем князьям и всегда голодаем. Если бросить поля, то кто прокормит наших детей?

Древний старшина, поддерживаемый сыновьями, взобрался на возвышение и стал махать руками на толпу.

— Слушайтесь меня, верные сыны Авесты, как слуша-

---

[1] Дрангиана — персидская провинция на территории нынешнего Афганистана.

лись до сих пор,— сказал виспайти.— Всего у нас в нашем роде сто восемьдесят дымов, а работников мужчин пятьсот сорок. Я получил строгий приказ, чтобы от каждого дыма выступило в поход не меньше чем по одному воину. Оружие нам дадут. Мы можем от наших работников отделить треть и отправить на войну. А кто останется, те помогут возделать и засеять поля ушедших. Никакого ущерба нашему роду не будет. Мы должны поставить также по одному коню от каждых десяти очагов — всего, значит, восемнадцать коней. Разве мы не справимся с полевыми работами без восемнадцати коней? Конечно, справимся.— И старшина, подмигивая глазами, кивал головой и делал жесты в сторону князя, как бы давая понять: «Что поделаешь, надо уступить, надо покориться».

Крики еще более усилились. Женщины на крышах подняли вопль.

— Мы уже посылали воинов, когда год назад их требовал царь царей. Где эти воины? До сих пор мы их не видим. Жены вдовами стали, дети сиротами!.. Горе нам!

Тогда выскочил вперед один крестьянин в одежде, казавшейся пестрой,— так она была перекрыта заплатами. Лицо его было скуласто, рот до ушей, ноги колесом.

— Позвольте мне сказать мое тараканье слово.

— Говори, говори, Таракан! — загудела толпа.

— Может быть, неумело скажу, да не учился я у мудрых атраванов или городских купцов говорить складные речи. Князь Катен зовет нас на войну — защищать наши земли. А чьи земли мы будем защищать? Наши? Ой ли? А не княжеские ли? Князю легко идти воевать — у него слуг полный двор и на полях копошатся почерневшие от солнца рабы: они ему и вспашут, и засеют урожай. Разве не так?

— Кто это говорит? — тихо спросил старшину князь.— Заткни ему ядовитый рот!

— Самый непутевый хозяин. Детей умеет делать: у него их, что тараканов, полная хижина. А вспаханного поля всего на три горсти зерен. Мы его и зовем Тараканом.

— Верно сказал Таракан! — закричали в толпе.— Что на полях соберем, то князю и несем. Воевать-то пойдем мы, а будет ли нам какая прибыль от этого? Разве князь не заберет опять нашего урожая? Пусть он сейчас объяснит нам, какая нам будет награда, если мы пойдем воевать.

— Что за лягушка сейчас квакала! — закричал князь и решительно вытащил из золотых ножен блестящий меч.— За его богопротивные слова мало ему отсечь дерзкий

язык — я отхвачу и его глупую голову. Подайте-ка мне его сюда!

Слуги князя бросились в толпу к тому месту, где только что говорил Таракан, но их оттолкнули возбужденные, кричащие крестьяне:

— Ты нам не даешь говорить свободное слово! Тогда зачем же приехал? Отбирай людей, как скот, и гони. Если же ты приехал к нам, чтобы говорить, то не закрывай нам рты!..

Тогда из толпы крестьян выступил согнувшийся от долгой жизни старик. Белая борода завивалась козьим хвостом и падала на грудь. Из-под щетины торчащих бровей косились на князя живые, проницательные глаза.

— Послушайте меня, почтенный князь, и вы, дети мои! Не торопитесь гневаться. Я напомню вам, как делалось раньше.

— Пусть говорит дедушка-охотник! — закричали в толпе.

— Когда я еще мальчиком ловил в горах куропаток, мне говорили старики, что раньше было время свободных земель. Тогда наши предки впервые пришли сюда, в эти долины. Земель свободных было так много, что каждый брал себе столько, сколько мог распахать. Воевать приходилось с дикими племенами дербиков, литейщиков меди, живших в горах. Наши предки, как один, защищали свои земли — ведь своими руками они их обработали, своим пóтом и кровью полили! А потом старшины и князья постепенно начали отбирать наши земли, а нас делать данниками. Какой-нибудь бедняк не уплатит князю долги, глядишь, и рабом его делается, а земля объявляется княжеской. Так пусть же теперь князь скажет вам: если вы, дети мои, сложите ваши головы в боях со злым Двурогим царем, то по-прежнему ли сыновья ваши останутся рабами князей, или же земли, что мы распахали, станут опять нашими?

Князь пошептался со старшиной и сделал знак своим воинам.

— Я слышу здесь речи не умудренных опытом долгой жизни стариков, а собачий лай бунтовщиков против царя и против князей. Вы забыли, что князья поставлены над вами самим великим богом Агурамаздой, без князей мир стоять не может, и вы должны им повиноваться. Говорить с вами больше не о чем... Сегодня же из вашего селения пойдут в Курешату двести ратников и двадцать лошадей. Если

же этого не будет сделано, то завтра же мои воины заберут силой весь ваш скот и весь хлеб, а селение я сожгу!..

Древний старшина и другие старики упали на землю:

— Не гневайся, князь! Наши люди — честные сыны Авесты и верные слуги царя царей. Мы сами обсудим меж собой, кого выбрать, и пришлем все, что требуется для тебя. А сейчас просим отведать нашего хлеба, наших умочей, нон-у-ош и сладких груш с орехами[1]. Пока ты будешь отдыхать, наши девушки тебе попляшут и споют.

Князь прошел в сад старшины. Под старыми грушами пестрели ковры, и на них были расставлены глиняные миски с кислым молоком, сыром и другим угощением. На полянке девушки завели хороводы и запели песни.

. . . .

К вечеру князь уехал и погнал перед собой выбранных по жребию на войну поселян. Стемнело. Сплющенная, с надутыми щеками, оранжевая луна показалась в глубине ущелья. Крестьяне осторожно опустили Фирака вниз по приставной лестнице и посадили на осла.

— Куда тебя отвезти: в горы, к медным литейщикам-дербикам, или вниз, в долину, на поля Сугуды?

— Мне все равно,— ответил Фирак.

— Отвезем лучше в сторону Мараканды. Там по дорогам народу ходит много, и всякий бросит лежащему лепешку. А в горах холодно, там ты замерзнешь.

Тот крестьянин, которого звали Тараканом, пошел рядом с ослом и весь путь говорил Фираку, как тяжело живется крестьянам:

— Самое главное для нас — получить оружие, а с оружием мы сумеем отстоять наши земли. Что Двурогий, что князья — не одни ли для нас болячки?..

Осел тихо плелся всю ночь до рассвета. Солнце застало путников уже на равнине. Повсюду весело бежали канавки, выведенные из прозрачного горного ручья. В одних местах женщины жали пшеницу, в других крестьяне шли за омачами[2], покрикивая на рыжих бычков. За ними по взрыхленным бороздам прыгали птицы, отыскивая червей.

Таракан поднял Фирака, как сноп, и опустил в высокую траву на пограничной меже между двумя полями.

---

[1] Умочи — мелкие клецки, заправленные кислым молоком. Нон-у-ош — гороховая лапша с хлебом. Нарезанные и высушенные груши перемешиваются с очищенными грецкими орехами.

[2] Омач — первобытного типа соха.

— Отсюда ты пробирайся к Мараканде,— сказал он.— Не бойся ничего: протянутая рука тебя прокормит!

...Фирак лежал так тихо, что прямо на него мягкими прыжками выскочил заяц, присел, забарабанил передними лапками, огляделся и, уставившись на Фирака блестящим выпуклым глазом, вдруг бросился в сторону, с шумом пробиваясь сквозь густую траву.

Где-то монотонно позванивали колокольчики. По большой дороге ехали два всадника, вооруженных копьями. Их лица показались Фираку знакомыми: не они ли сторожили ворота персикового сада, когда он ходил туда петь песни около белого дома? Далее трусили, взбивая пыль, навьюченные ослы. Рядом шли погонщики в длинных одеждах. «Хр-хр!» — доносились их покрикивания на ослов.

Еще дальше шагал высокий белый верблюд, украшенный сеткой с малиновой бахромой и с большим колоколом на изогнутой шее. Между двумя горбами сидела тонкая женская фигура. Прозрачное золотисто-оранжевое покрывало спускалось с головы. Тонкая рука со множеством браслетов откинула покрывало, открыв худощавое лицо. Продолговатые темные глаза равнодушно смотрели вдаль. Взгляд на мгновение скользнул по Фираку.

«Милая!» — хотел закричать Фирак, но его тихий, жалобный стон только спугнул куропатку с выводком пестрых птенцов, которые быстро юркнули в гущу травы.

Тонкая рука снова накинула покрывало, и верблюд, покачивая надменной головой, медленно прошел, бесшумно ступая в пыль громадными мохнатыми ногами. Несколько женщин, закутанных в полосатые материи, дремали на разукрашенных лентами и бусами серых мулах, шагавших вслед за верблюдом.

Вся процессия проплыла мимо, как сон, оставив после себя только облако медленно садившейся пыли, и долго еще слышались Фираку удаляющийся звон колокольчиков и хриплые покрикивания погонщиков.

КИТАЙСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Главная торговая площадь города Мараканды тесно застроена рядами лавок. Проходы между ними образуют сеть извилистых улиц и переулков. Перед каждым домом-лавкой у стены — глиняный квадратный выступ, покрытый стертым ковром. С утра на нем разложены различные товары: у одних купцов — глиняные чаши и светильники, ножи,

ложки, у других — деревянные ящики с мелкими отделениями, и в них кольца с бирюзой, сердоликом, ляпис-лазурью, серьги, цепочки, браслеты, ожерелья, головные гребни, баночки с гвоздичным маслом и мускусной мазью. Среди товара сидит поджав ноги сам хозяин, поджидая покупателей. Сзади него раскрыты двойные дверцы, и на них на деревянных гвоздях развешаны башмаки, уздечки, ремни, пестрые шарфы, платки, деревянные сандалии. Закрывая дверцы, хозяин сразу прячет половину своих товаров. Тут же согнулся полуголый раб с длинными всклокоченными волосами. Он выстукивает молотком по наковальне, выделывая изогнутый нож или медные щипчики для вырывания волос.

Между соседними лавками протянуты изодранные камышовые циновки. Проходящая толпа то попадает под яркие лучи солнца и на мгновение вспыхивает красными, желтыми, синими цветами пестрых просторных одежд, то снова окунается в тень и движется неясными пятнами.

К площади примыкают переулки, где идет горячая работа. Ряды горшечников, оружейников, красильщиков материй, сапожников целый день, до захода солнца, заняты упорной, непрерывной работой.

В одном переулке несколько лавок было занято торговцами, одетыми по-иному, чем обычные согдские купцы. Это серы [1] — купцы из страны, лежащей далеко на востоке, за горными хребтами. На них длинные черные или синие халаты, головы обриты, в ушах большие серьги. Этот ряд лавок торгует шелковыми тканями, железными изделиями, божками, сделанными из нефрита и мыльного камня, и лекарствами, дающими старикам силу, молодость и здоровье.

Несколько торговцев-серов шептались, сидя кружком на ковре:

— Почему сегодня такие долгие моления на площади? Уже много лет эта страна живет счастливо, и никто ее не тревожит. Если в этой стране избран новый царь, то он уедет отсюда в Сузы, а в Мараканду будет назначен сатрап [2], который с нас потребует богатых подарков. Смотрите, вот идет Цен Цзы. Что нам скажет его мудрость?

Степенной походкой шел мимо них Цен Цзы, одетый как и все купцы: на нем наброшен был на левое плечо се-

---

[1] Серами в древности назывались китайцы: их торговые колонии были на месте так называемого «Восточного Туркестана» (Кашгара», у них шла оживленная торговля с Согдианой. Слово «серы» значит «шелковые люди». Серика — так иногда назывался Китай.

[2] Сатрап — начальник провинций.

рый плащ с широкой розовой каймой. Его скошенные полузакрытые глаза глядели устало.

— Привет тебе, Цен Цзы! Остановись, скажи нам, что видел и что ты думаешь обо всем этом.

— Люди хотят крови. Гроза надвигается. Можем ли мы быть спокойны? Если будет война, то у нас отнимут имущество, а может быть, и жизнь.

— Вы слышали? — шептали купцы.— Может быть, отнимут жизнь? Но куда же нам бежать?

— Разве можно бросить наши склады товаров? Что делать?

Цен Цзы повернулся и пошел дальше. Пройдя несколько лавок, он постучал палкой в ворота. Они приоткрылись, сдерживаемые цепью, и Цен Цзы проскользнул внутрь.

Ему низко поклонился изможденный старик в желтой повязке. На его темном лице белела жесткая седая борода. Небольшой двор был окружен амбарами с дощатыми навесами. В раскрытую дверь рабы втаскивали полосатые узкие мешки, перевязанные камышовыми веревками. Несколько верблюдов лежало на земле. Густая пыль на них говорила о далеком пути.

Цен Цзы, пройдя калитку, очутился в саду, окруженном высокой глинобитной стеной. Он обогнул темный квадратный бассейн и пошел по прямой дорожке среди аккуратно подстриженных деревьев. В глубине сада была беседка с двухсторонней покатой крышей. Внутри беседки улыбалось застывшей гримасой каменное изваяние [1]. Около трех стен изгибалась кирпичная лежанка [2], покрытая циновками и волчьими шкурами.

Цен Цзы откинул занавеску на стене и вынул из ниши черную лакированную шкатулку. Он открыл ее серебряным ключиком и достал пергаментный свиток, бронзовую чернильницу с черным лаком и тростинку [3]. Оставив на полу сандалии, Цен Цзы уселся на лежанке, поджав под себя

---

[1] В IV веке до н. э. в Средней Азии было много буддистов, бежавших из Индии, где их преследовали брахманисты. Буддисты выстроили большое количество монастырей и распространяли изображение Будды. Китайцы, жившие в Согдиане, могли ознакомиться с учением буддизма, но в самом Китае буддизм получил распространение значительно позднее, через несколько столетий.

[2] В китайских хижинах устраивается длинная лежанка — кан — вдоль трех стен; из маленькой печки у входа дым проходит внутрь лежанки и уходит в трубу, поэтому на лежанке всегда тепло.

[3] Китайцы в то время еще не знали употребления кисти и туши.

ноги. Придвинул низенький столик на крохотных ножках, расправил на нем пергаментный свиток, снял крышку чернильницы, осторожно обмакнул тростинку в черный лак и стал быстро ставить правильными рядами значки сверху вниз.

Он писал:

«Продолжаю мое письмо о той стране, куда направили меня добрые духи. Страна называется Кангюй [1]. Она защищена горами и пустынями от вторжения других народов и многие годы живет в счастье и спокойствии, не испытывая бедствий войны.

Эта страна Кангюй лежит на большом пути из страны «Небесного спокойствия» [2] к Западному морю. Богатые караваны с различными товарами беспрерывно проходят в разных направлениях через эту страну. Как это радует взор!

Жители отличаются замечательными способностями в ремеслах и искусствах. Они высоки ростом. Бедняки заворачивают голову куском бумажной материи, богатые — куском шелка. Одежду носят бумажную, шерстяную или кожаную. Очень любят торговлю. Но имеют крайнюю склонность к наживе и обману. Какой стыд!

Они чрезмерно высоко ставят и любят женщин, которые пользуются у них свободой. В каждой семье муж исполняет все желания жены. Ради того, чтобы постоянно быть с женщинами, мужчины перестают заниматься военными упражнениями и теряют мужество. Безумцы, ведь это опасно! Кто станет охранять родную землю?

Половина населения занимается земледелием и половина — торговлей. В стране имеется замечательная порода пятишерстных лошадей. Самые красивые из них называются «небесными», и у них бывает кровавый пот [3]. Нашим доблестным воинам подобало бы ездить на таких конях.

В стране имеется семьдесят городов, окруженных высокими тройными стенами. В каждом городе живет князь и по наследству передает свою власть сыну. Если князя убивают, то царь присылает нового князя, который отрубает голову убийце, а сам делается правителем.

Земли плодоносны, дают обильную жатву и роздапы

---

[1] Китайский путешественник II века до н. э. Чжан Цянь называет Согдиану «страной Кангюй».

[2] Страна «Небесного спокойствия» — Китай.

[3] Китайские летописцы неоднократно говорят о «небесных» лошадях с «кровавым пóтом». Что это означает, пока объяснения не найдено.

князьям в вечное владение. За это они должны по первому требованию царя являться на конях вместе со слугами, хорошо вооруженные. Это разумно!

Простые земледельцы могли бы жить привольно и счастливо в такой богатой стране, но четыре пятых своего урожая они должны отдавать князьям за то, что те им разрешают возделывать свои земли. Поэтому трудолюбивые крестьяне, имея хлеб, постоянно голодают. Как их жаль!

Жрецы и некоторые князья умеют читать и писать. У них сочинения пишутся с помощью только двадцати пяти знаков, которые они переставляют в разном порядке и этим обозначают различные вещи. Это хитро придумано, но наше письмо более мудро[1]. Книжное обучение продолжается непрерывно. Книги написаны на выделанных коровьих шкурах справа налево[2]. Это неудобно.

Жители поют на праздниках песни о древних временах. Очень длинные песни всегда поются от начала до конца, так как они передают знание достойных поступков предков и мудрых правил жизни.

Мирная жизнь в течение многих лет сделала жителей страны Кангюй очень богатыми; они собрали в своих домах ценные товары из других стран. Довольные этими богатствами, они называют свою страну «счастливая Кангюй». Но богатство, соединенное с жадностью, подобно мимолетному облаку.

Так как всякое богатство вызывает у одних жадность, а у других зависть, то теперь государству Кангюй грозит вторжение народа, который наступает с Западного моря, разоряя по пути всю страну. Во главе этого народа идет страшный царь, про которого говорят, будто бы на его голове растут два бараньих рога...»

ГОСТИ ИЗ ПУСТЫНИ

Цеп Цзы услышал шаги на дорожке сада. Старый слуга остановился в дверях:

— Тебя хотят видеть два путника. Один — высокий, сильный, как медведь, немолодой по виду кочевник из степи; его оружие покрыто золотом. Другой — молодой, веро-

---

[1] Китайское письмо для каждого понятия имеет отдельный знак (иероглиф). Поэтому китайскому летописцу показалось удивительным и хитрым, как можно изобразить только двадцатью пятью знаками, то есть буквами, всякие предметы и понятия.

[2] Китайские иероглифы пишутся сверху вниз и справа налево.

ятно его проводник. Они сказали, что ты давно их ждешь.

Цен Цзы радостно закивал головой:

— Очень хорошо! Пускай войдут, а ты поскорее принеси сюда тридцать две радости.

Китаец быстро свернул рукопись, спрятал в лакированный ящик и поставил его обратно в нишу.

Будакен и Спитамен вошли в сад. Старый слуга, сложив руки на груди, торжественно шел впереди. Будакен с удивлением и любопытством расєматривал не виданные им раньше растения. Он остановился, изумленный, около бассейна, где пламенели красноперые рыбки с широкими, нежными, как паутина, хвостами.

Китаец, подойдя к бассейну, вытащил из кармана желтый шелковый мешочек, отсыпал из него на ладонь белых крупинок и стал звонить в серебяный колокольчик. Все рыбки быстро поплыли к нему. Цен Цзы, продолжая звонить, бросал рыбкам белые крупинки. Гость и китаец опустились на корточки рядом и наблюдали, как рыбы, толкаясь и высовывая из воды золотистые головки, хватали белые крупинки и вырывали их друг у друга.

Будакен смеялся, указывая толстым корявым пальцем на рыбок:

— Совсем как люди: так же живут вместе и так же ссорятся и толкаются из-за вкусного кусочка... А что это за белые зерна, которыми ты кормишь этих рыбок?

Оба встали. Китаец низко кланялся и, приседая, повторял:

— Это муравьиные яйца.

Будакен, уважая обычаи иноземцев, старался также поклониться с приседанием, и потом оба протянули друг другу руки.

— Какие умные рыбки! — удивлялся Будакен.— Продай их мне, я выкопаю около моего шатра пруд, поселю там рыбок, и вся степь съедется смотреть, как рыбы слушаются моего звонка.

Китаец, улыбаясь, шептал: «Очень хорошо», затем повернулся к Спитамену, радостно протянул ему руки, и оба подержали прямые ладони и прижались правыми плечами.

У Спитамена на лице засветилась теплая улыбка, и глаза ласково сузились.

— Я очень рад, Левша,— сказал китаец,— что ты спасся от всех несчастий, которые гонялись за тобой, и опять стоишь передо мною невредимым.

— А ты по-прежнему пишешь и учишься?

— Учитель сказал: «В многоучении, постоянном размышлении, есть также доброта. А встреча друга, вернувшегося из далекой девятой страны, есть радость и сердцу и глазам».

— Вот это отец того молодого скифского воина, которого ты видел в цепях,— сказал Спитамен.— Расскажи ему все, что ты знаешь. Чтоб услышать тебя, он приехал издалека.

Цен Цзы обратился к Будакену и жестом пригласил его войти в беседку. Мелкой торопливой походкой китаец пошел вперед, а за ним шагал Будакен. Его мускулистые плечи были вдвое шире, чем у китайца, и он повернулся боком и пригнулся, чтобы войти в дверь.

В беседке они уселись на лежанке, где были постланы меховые коврики, и после нескольких взаимных вопросов о здоровье, пройденном пути и виденных снах Цен Цзы стал рассказывать:

— Я дважды видел твоего сына Сколота, которого беспечность и смелость столкнули в горький колодец несчастья. Он просил меня помочь ему. А учитель говорил: «Помочь несчастному — это шаг на пути к совершенству»... Вот что он сказал...

Но Будакен поднял широкие ладони:

— Постой, не торопись наносить мне удар своим словом. Пожалей мое сердце, хотя оно уже обросло шерстью страданий. Сделай это потихоньку. Расскажи, где и когда ты увидел моего сына Сколота, с кем он тогда был и что он сам в это время делал. Тогда я пойму, почему дивы набросились на него и столкнули в бездну скорби.

— Хорошо. Если у тебя есть терпение, чтобы слушать, и желание, чтобы все понять, я тебе расскажу по порядку, как и почему я попал в городок Фару [1], где я увидел не только юношу Сколота, но и других весьма прославленных людей. А слушая меня, утешай свое сердце тридцатью двумя радостями, которые я могу предложить тебе по силам желаний моего сердца.

Старый слуга поставил между сидевшими столик и разостлал на нем пестрый, расшитый цветами платок. На столике выстроилось множество маленьких чашек. В каждой чашке было различное кушанье: наскобленная редька, мелко

---

[1] Город Фара — нынешнее иранское селение Акури, лежащее на полдороге между Семнуном и Давлетабадом, к югу от Каспийского моря.

нарубленный лук со сметаной, различные варенья, сваренные на меду,— из моркови, кизила, мелких яблок, имбиря, кусочки мяса с шафраном, бараньи мозги, жареная тыква, виноград, моченный в уксусе, рис с фисташками, вареные кусочки теста, начиненные древесными лишаями, и другие кушанья, незнакомые Будакену. Отдельно стояли три фляги с разогретым вином.

Будакен посматривал то на чашки, то на хозяина, то на неподвижного Спитамена и не знал, как все это начать есть. Он предпочел бы одну большую чашу, чем эти тридцать две маленькие. Не желая показаться смешным, он решил сперва воздержаться.

— Моя душа не принимает сейчас пищи твоих радостей,— сказал Будакен.— Мои уши раскрылись, чтобы слушать твою повесть.

В ГОРОДЕ ФАРЕ

— Я работаю в одном содружестве наших купцов из Серики,— начал Цен Цзы.— Они сообща посылают караванами товары отсюда до берегов Гирканского моря [1] и дальше, до богатых городов Финикии. В главном городе Гиркании Задракарте [2] и в некоторых других городах живут наши товарищи по торговле. У них выстроены дома и амбары для товаров. Я два-три раза в год езжу с нашим караваном в Задракарту, а иногда и дальше — до Раг [3]. Вместе с караваном идут вооруженные попутчики, чтобы защищаться от разбойников. Ехать вместе с большим караваном всегда надежнее, не правда ли? А по пути у нас имеются испытанные друзья из местных жителей, у которых мы останавливаемся и узнаем, безопасна ли дальше дорога. Управителям попутных земель мы платим за проход договоренную пошлину — либо деньгами, либо, чаще, нашими товарами.

Этой весной наш караван сделал путь вполне благополучно. Но в Фаре я заболел лихорадкой и пролежал целый месяц.

Город Фара небольшой, окружен каменной стеной, имеет двое ворот, которые закрываются при заходе солнца. Жители заняты сельскими работами и, когда видят, что солнце

---

[1] Гирканское море — ныне Каспийское.
[2] Задракарта — нынешний город Астрабад, на юго-восточном берегу Каспийского моря.
[3] Раги — город на севере Ирана (Персии).

уже спускается за горы, скорее спешат в город, чтобы успеть загнать скот, иначе закроются ворота. Оставить же скот за стенами нельзя, так как ночью с гор спускаются дикие звери и душат его.

Однажды среди лета, под вечер, в город влетел отряд всадников. Казалось, что они были без начальника. Воины разных племен были перемешаны и носились, как волки, гонимые охотниками. Эти всадники, проскакав до главной площади, рассыпались по всем улицам. Не считаясь с благополучием граждан и добрыми нравами, они врывались во все двери, сами открывали амбары, брали сено и ячмень и досыта кормили своих лошадей. Тут были бактрийские, согдские, парфянские и даже индусские воины. Когда у них спрашивали плату за все, что они отбирали, они со смехом указывали на юг:

«Царь царей Дариавауш едет за нами, он за все заплатит».

На другой день всадники уехали, но скоро явились новые. У этих был некоторый порядок, но они требовали от жителей еще больше корма коням и еды себе. Затем войска стали проходить беспрерывно. Большинство уже не останавливалось в городе, торопясь уйти дальше.

Последним пришел отряд, который особенно отличался от прежних. Кони были убраны золотом, серебром, ценными камнями. Воины были отлично вооружены. Сзади тянулись повозки с женщинами и мулы, нагруженные вьюками. Впереди отряда по всем улицам скакали начальники, которые кричали, распоряжались, но порядка все же было мало.

Я не хотел верить, когда распространился слух, что в одной из закрытых повозок едет сам царь царей Дариавауш и что его сопровождают слуги, евнухи, танцовщицы и флейтистки.

Я вышел посмотреть хотя бы издали на царя царей. Около ворот одного дома стояли на страже воины яваны[1] в блестящих панцирях, медных шлемах, с голыми руками и ногами. У каждого были щит и два-три небольших копья-дротика. Я пробрался на крышу соседнего дома и увидел, как великолепно одетые персидские начальники, сложив руки на груди, изгибаясь до земли, входили внутрь двора.

Среди всадников я узнал сатрапа нашей Сугуды — Бесса. Он приехал на большом белом коне. Красный шарф, рас-

---

[1] У Дария был отряд греческих наемников, составлявших его личную охрану.

шитый золотом, был прикреплен к шее коня, и концы его падали до земли. Голова и грудь коня были покрыты железной чешуйчатой броней.

Все поселяне, стоявшие поблизости, увидя знатного корана [1], упали лицом на землю. К сатрапу подбежали слуги; один взял коня за уздцы, другой нагнулся, подставляя спину, на которую ступил Бесс, сходя на землю. Высокий, сильный, красивый, в красной с золотом одежде и в блестящем шлеме с большими перьями, Бесс стоял у ворот и говорил с правителем города Фары, который по случаю приезда гостей был в новом плаще и высоком колпаке. Бесс подставил ему для поцелуя щеку, и правитель поднялся на носки, чтобы поцеловать высокого сатрапа.

Правитель города оглянулся, увидел меня на крыше и позвал. Я поспешно спустился к нему.

«У ваших купцов хороший дом,— сказал правитель,— поэтому пусть они позаботятся, чтобы достойно принять корана восточных сатрапий и других знатных гостей».

Это означало, что нам придется кормить персидских начальников, их слуг и лошадей столько времени, сколько они захотят у нас остаться. Но что я мог сделать? Благоразумный покоряется неизбежному. Я поклонился до земли и сказал:

«Все наше имущество мы всегда рады отдать тому государству, которое нас приютило и дает нам хлеб».

СОВЕЩАНИЕ САТРАПОВ

Я поспешил домой, чтобы открыть ворота и принять гостей, но ворота были уже открыты настежь. Во дворе ходили и кричали персы, халдеи, сирийцы, мидяне. Они распоряжались как у себя дома, входили в амбары и подвалы, вытаскивали оттуда муку, сушеный виноград, зерно, кувшины и мехи с вином, кололи наших баранов, тут же рассекали и делили мясо между собой. Когда появился коран Бесс с воинами, он приказал расставить стражу и выгнать шатавшихся в беспорядке воинов неизвестных отрядов.

Затем Бесс с несколькими начальниками прошел внутрь дома, где все они расположились на ковре и стали тихо вести беседу.

Так как я заботился об угощении гостей, то свободно

---

[1] Коран — правитель нескольких областей. Под властью Бесса находились сатрапии Бактрия и Согдиана.

входил и выходил из комнаты, где они сидели. Никто на меня не обращал внимания, и я слышал кое-что из их разговоров.

Персидские слуги мне разъяснили, что здесь собрались знатнейшие правители Персии: начальник охраны царя — Набарзан, сатрап Ареи — Сатибарзан, престарелый Артабаз, известный друг царя Дариавауша, и другие сатрапы. Все эти люди, которым бог дал величайшее могущество, богатство, почет, право повелевать сотнями тысяч подданных, теперь, теснясь, сидели на старом потертом ковре и рассматривали пергамент. На нем были нарисованы дороги, горы, реки и города персидского царства. Светильник с темным кунжутным маслом горел тускло, и я воткнул в поставцы еще три чарога [1]. Бесс сердился, водил пальцем по карте:

«Вот пути на Бактру и Сугуду. Здесь переправа через великую реку Окс. А дальше, пройдя Железные ворота, будет уже безопасно. Но нужно, чтобы этот трус нам не мешал...» Он показал рукой в ту сторону, где находился персидский царь царей.

В это время в комнату вошел с заплаканным лицом очень полный перс в дорогой пурпуровой одежде, с золотым поясом. Ножны его меча тоже были золотые. Он размахивал руками, всхлипывал и долго не мог ничего сказать от душивших его рыданий. Все приподнялись и поклонились до полу. Я сперва подумал, не сам ли это царь царей, но оказалось, что это был Оксафр, брат царя. Его глаза блуждали, то он хватался рукой за меч, то закрывал ладонями глаза.

Бесс стал объяснять ему карту, но Оксафр вырвал ее и бросил на ковер.

«Я сейчас видел царя царей,— заговорил он жалобным, убитым голосом.— Самое важное, что он еще не потерял надежды. Царь только очень огорчен, все плачет и молится. Флейтистки начали ему играть любимые песни, он немного послушал и прогнал их. Отказался от жареной баранины с шафраном и сильфием [2], только поел, бедный, немного плохой здешней дыни и выпил красного вина. Теперь царь ждет, что предскажут гадания жреца. До сих пор они были не очень плохие, а один раз даже хорошие... О чем вы совещались здесь?..»

---

[1] Чарог — сухой стебель растения, обмазанный маслянистым тестом. Чарог горит медленно, как березовая лучина, и до сих пор употребляется в глухих горных селениях.

[2] Сильфий — растение, любимая приправа к кушаньям в древней Персии и Греции.

Бесс ответил резким, решительным голосом:

«Мы совещались о том, что делать, и решили, что надо двигаться дальше...»

«Нет, нет!..— прервал Оксафр.— Об этом и думать нечего!.. Царь царей устал, хочет передохнуть и приказал мне вам передать, что скоро боги нам будут снова покровительствовать. Он думает, что все наши поражения были только для того, чтобы показать, как не надо забывать богов. Царь царей молился и дал торжественную клятву построить новые храмы и одарить золотом жрецов, чтобы они учили жителей сильнее молиться богам».

Бесс грубо ответил:

«Это будет потом, а что же делать сейчас?»

«Как — что делать? Не вечно же боги будут гневаться на нас. Мы должны не избегать больше встречи с Двурогим, а остановиться, собрать в одном месте все войска и...»

«Ну и что же»?

«Снова испытать счастье в бою. Царь царей уверен, что теперь счастье будет на нашей стороне. И, что очень важно,— старший жрец тоже советует остановиться...»

Все затихли и опустили глаза.

«Чего же теперь можно бояться? — настаивал Оксафр.— Двурогий должен был оставить во всех городах на своем пути гарнизоны, боясь восстаний населения, так что войско его уменьшилось почти наполовину. Если он идет по нашим следам, как уверяют некоторые, то только с конницей. В сражении при Гавгамелах у него было конных всадников всего три тысячи. Наших же войск даже теперь в несколько раз больше, чем у проклятого явана. Скоро — может быть, завтра — должны подоспеть сюда союзные скифы. В этих горных ущельях они одни смогли бы захватить всех яванов в мешок и раздавить их, как ядовитых змей. И они это сделают, только нужно дождаться их и приготовиться к бою».

Тогда заговорил старый Артабаз. Его голос звучал глухо, и слезы лились по щекам:

«Мы, слуги царя царей, всю жизнь защищали его и в битвах проливали нашу кровь, чтобы персидское копье раздвигало границы славного персидского царства. Мы и теперь должны пожертвовать всем для царя царей, хотя бы нам пришлось погибнуть».

Встал начальник царского отборного войска Набарзан и обратился к Оксафру:

«Я бы никогда не сказал тех горьких слов, которые рвут-

ся из моего сердца, полного любви к царю, но только крайняя необходимость заставляет говорить прямо. Если сейчас мы начнем биться с Двурогим — это вернейший путь к погибели. Мы и родину погубим, и сами без пользы будем перебиты. Надо как можно скорей отступать в безопасное место, в Бактру и Сугуду, чтобы этим сохранить главную силу Персии — ядро наших войск».

«Отступать!.. Отступать!..» — шепотом, но твердо проговорили остальные, кроме Артабаза, который зашипел:

«Трусы, трусы! Позорите персидское копье, обвитое старой славой...»

«Нет, нет, не трусость, а разум руководит нами,— ответил Набарзан,— только желание раздавить Двурогого явана. Надо отступать на восток, пока у нас еще не пали кони. Там мы соберем новые силы. Народ не верит более в счастливую звезду царя царей. Есть у нас только одно спасение: у народов восточных сатрапий пользуется славой и любовью коран Бесс...»

При этих словах все посмотрели на Бесса; он сидел с радостным, светлым лицом, и его глаза сверкали.

«Да, да! На Бесса вся наша надежда. И саки, и индусы находятся с ним в союзе. Кроме того, Бесс не самозванец, не какой-нибудь выходец из простого народа, он родственник царя царей. Пусть царь уступит ему тиару — конечно, временно, до тех пор, пока враг не будет побежден...»

«Это измена!.. Предатели!..» — закричал брат царя, выхватил меч и бросился на Набарзана.

Все сатрапы вскочили, преградили ему дорогу, желая успокоить. Набарзан выбежал в дверь. Его громкий голос послышался во дворе: он звал своих сотников. Кони загремели копытами по деревянному настилу. Набарзан вскочил на коня и ускакал.

Все сатрапы горячо спорили; Артабаз старался их успокоить:

«Разве можно ссориться в такое время? Мы должны крепко стоять друг за друга. Не все еще потеряно!..»

Брат царя выбежал, потрясая мечом, и кричал, что Набарзан сейчас же будет схвачен и казнен.

«О, КАК БЕСПЕЧНЫ САКИ!»

Коран Бесс заметил меня и сделал мне знак рукой. Мы вошли в другую комнату. Он схватил меня за плечо так сильно, что до сих пор остались синие пятна.

«Ты меня выведешь сейчас так, чтобы никто не заметил, и спрячешь в саду. Иди вперед».

Я провел Бесса через эндерун — женскую половину дома, и сатрап дал новое поручение:

«Пройди к Восточным воротам; там ты найдешь отряд саков. Разыщи их начальника Сколота и приведи его сюда».

Я поспешно стал пробираться по темным улицам. Город, обычно безмолвный в этот час ночи, теперь был полон гула разноплеменной толпы. Всюду взад и вперед ходили воины с охапками сена, кувшинами и бараньими тушами. Во дворах пылали костры и красным светом озаряли плоские крыши, куда забрались семьи напуганных жителей.

Я вышел к Восточным воротам. Там по всей площади стояли верблюды, лошади, повозки, ослы.

«Где скифы?» — спрашивал я.

«Да вот они пляшут»,— ответили мне.

На середине площади, в кольце горящих костров, двигалась в пляске вереница скифов. Держась за руки и подняв их кверху, высоко над головой, они передвигались то вправо, то влево, причем каждый скиф ловко и быстро перебирал и притопывал ногами. В середине круга два скифа плясали отдельно, размахивая мечами. Глядя друг другу в глаза, следя за каждым движением, они бросались навстречу, как будто желая пронзить друг друга мечами, ловко отбивая удары, и отлетали назад. Они то приседали, то падали на землю, ползали на коленях и животе, то опять вскакивали и плясали, схватившись за руки.

Я спросил, где найти начальника скифов. Тогда окликнули одного, который плясал в середине. Он был молод, строен и высок, с золотым ожерельем на шее. Пошатываясь, веселый и беззаботный, потряхивая длинными светлыми кудрями, он подошел ко мне. Когда я объяснил ему, что его зовет к себе коран Бесс, он стал хохотать:

«Пускай Бесс сам сюда придет выпить с нами: мы нашли погребок хорошего гирканского вина, нам его хватит до утра».

Он приказал подать мне чашу и насильно меня напоить. Все скифы были пьяны, пели и хохотали без причины. Они вскоре оставили меня в покое. Я пробрался обратно в наш дом, но Бесса уже не нашел.

Там была суматоха: важные сатрапы суетились во дворе, кричали на слуг и садились на коней.

Тогда я увидел двигавшихся по улице всадников с вы-

соко поднятыми горящими факелами. Их медные латы сверкали, лица в шлемах были усталы и суровы.

Среди всадников двигалась грязная навозная повозка, запряженная шестью лошадьми. На повозке лежала груда старых кож. Эти кожи зашевелились, приподнялись, и из-под них высунулся толстый человек. На нем была драгоценная пурпурная одежда. Он испуганно огляделся кругом и опять закрылся кожами.

«Это сам царь Дариавауш!» — воскликнул удивленно кто-то, и несколько человек упали лицом на землю перед навозной телегой, на которой находился разгромленный владыка Персии...

— Какой позор, какой стыд так прятаться от смерти! — добавил Цен Цзы и укоризненно покачал головой.

ВО ВЛАСТИ ЯВАНОВ

— В эту ночь я несколько раз выходил на крышу. Войска уходили на восток, их становилось все меньше. Долго слышались песни скифов, но и они к утру затихли.

Когда на рассвете стала розовой далекая снежная вершина горы Демавенд[1], городок уже спал. Изредка раздавались обрывки песни или возглас пьяного.

Перед восходом солнца кое-где на крышах появились жители, кутавшиеся в бараньи шубы.

«Вот они! Вот они!» — раздался крик. Все жители разом попáдали и ползком спрятались за выступы крыш.

Я смотрел на юг. Солнце, выглянув из-за горы, косым лучом освещало темно-синее ущелье, из которого выехали несколько всадников. Концы их отточенных копий вспыхивали искрами. Равнина от города до ущелья была пуста. На дороге валялась повозка со сломанным колесом, и хромой бык, ковыляя, переходил от одного куста репейника к другому.

Из ущелья выдвинулись два отряда всадников. Они сперва шагом, затем рысью двинулись в разные стороны и стали обходить город, постепенно приближаясь. Несколько разведчиков вскачь пустились к стенам города и остановились невдалеке.

Город казался мертвым. Ни одного дымка не подымалось над крышами.

---

[1] Демавенд — самая высокая гора северной Персии, покрытая вечным снегом.

Тогда из ущелья показался третий отряд и направился прямо по дороге. Впереди шли пехотинцы в кожаных шлемах, с мечами и плетеными щитами. Мерными шагами вошли они на холм и остановились близ Восточных ворот.

Вслед за пехотинцами приблизился новый отряд конницы. У них были очень длинные копья, однообразные кожаные панцири, обшитые железными пластинками, и шлемы с конскими хвостами.

По пустынной улице я пробежал к Восточным воротам и хотел взойти на башню, чтобы наблюдать, что будет дальше. С удивлением я заметил, что на площади находилось много скифов. Они все спали крепким сном. Стреноженные лошади были привязаны ремнями к приколам, вбитым в землю. Некоторые кони бродили по площади, подбирая остатки сена и рассыпанного зерна. Скифы, упившись вином, не подозревали, что те яваны, от которых они бежали, уже находились по другую сторону стены.

Я услышал сзади себя крики. Около двадцати стариков и правитель города в своем новом плаще и высоком колпаке торопливо шли через площадь. Вернее, старики тащили правителя, крепко держа его под руки и подталкивая сзади. Он плакал и упирался.

«Дайте мне умереть дома! — кричал он.— Глупость толкает вас к Двурогому. Он посадит и меня и всех вас на колья. Что будут делать мои дети и старая мать?»

Но старики продолжали тащить его:

«Иди, иди! Мудрость толкает тебя. Не все ли равно, от кого умереть — от Дариавауша или от Двурогого?»

Увидав меня, старики закричали:

«Иди с нами, Цен Цзы. Если мы успеем поклониться Двурогому за воротами города и поднести ему хлеб и дыню, то его воины не разграбят наших домов. Если же он увидит запертые ворота, то сожжет город, всех мужчин перебьет, а наших жен и детей продаст в рабство».

У всех стариков были в руках дыни и узелки с лепешками.

Я присоединился к ним, и мы вышли за ворота.

Конный отряд быстро двигался нам навстречу.

Все старики торопливо шли по полю, подымая пыль, как стадо баранов.

Перед нами была ровная линия широкогрудых коней и лес копий со стальными острыми концами; они могли бы в одно мгновение всех нас проткнуть насквозь. Головы воинов были скрыты под медными и железными шлемами.

Все они так покрылись пылью, что походили один на другого, и мы не могли узнать, кто из них начальник.

Старики уже издали начали кричать:

«Добро пожаловать! Бороды наши метут дорогу царю вашему».

Когда мы совсем приблизились, то все упали на колени, коснувшись лбом земли, и затем подняли над головой дыни и лепешки.

Раздался крик команды. Вся линия всадников остановилась. Крайний из них, вероятно переводчик, сказал по-персидски:

«Перестаньте галдеть! Кто из вас главный?»

Старики подняли правителя, сунули ему в руки узелок с лепешками и дыню, и он на подгибающихся от страха ногах хотел подойти к переводчику, но тот указал рукой на угрюмого молодого запыленного всадника, сильного, плечистого, с мускулистыми руками. Правитель подошел к нему и протянул дыню с лепешками. Воин взял дыню, коротким ножом вырезал себе кусок и отдал дыню соседу. Тот рассек ее на несколько частей, выплеснув сердцевину, и передал куски другим. Тогда наши старики осмелели и стали раздавать передним воинам все свои дыни и лепешки.

Молодой воин, обкусывая корку дыни, что-то говорил вполголоса на непонятном языке.

Переводчик выслушал его и спросил нас:

«Когда здесь проходили войска Дариавауша?»

Старики закричали:

«Вчера вечером сам Дариавауш проходил здесь, ел баранину, смотрел пляски танцовщиц и ночью уехал дальше».

Молодой воин с досадой швырнул корку дыни об землю и поднял руки к небу, произнося нараспев молитву.

Переводчик стал расспрашивать стариков, и те объяснили, сколько было войск у Дариавауша и что в городе почти ничего не осталось. Когда кто-то сказал, что отряд пьяных скифов спит на площади у Восточных ворот, воины залились безудержным смехом. Молодой начальник выехал вперед, дал распоряжение, и несколько всадников помчались к другим отрядам.

О нас, стариках, уже забыли, и мы побежали к воротам, боясь, что всадники растопчут нас. Послышались громкие крики команды. Конница перешла на рысь, пехотинцы беглым шагом последовали за нею.

Когда войска вошли в город, они захватили всех спящих скифов, связав их скифскими же ремнями. Когда я прибе-

жал на площадь, только три скифа отчаянно сопротивлялись; двое вскоре были заколоты копьями, а один, раненый, упал и остался жив. Это был тот молодой начальник Сколот, который вечером так беззаботно плясал. Воины хотели прикончить и его, но они заспорили из-за его золотого ожерелья. В это время подъехал тот молодой плечистый воин, которому мы подносили дыню, сопровождаемый переводчиком.

«Кто ты? — спросил явана.

«Я сак!» — ответил скиф, с трудом приподымаясь на руку.

«Почему же ты не покоряешься?»

«Мы, сакские князья, привыкли сами покорять других».

«Ты князь? Наденьте на него цепи, и пусть он следует за мной в обозе, среди заложников. Он мне скоро понадобится. А остальных, кто еще жив, не тащите за собой, а прибейте их гвоздями к воротам. Пусть все запомнят, как я наказываю тех, кто смеет противиться сыну бога».

Воины связали Сколота ремнями и оставили лежать на месте — он был очень слаб и не мог идти.

Яваны разошлись по городу и начали грабить дома. Я подошел к раненому скифу. Он сидел на земле и плевался кровью. Рана в боку сильно кровоточила. Он меня узнал и указал на виноградную лозу, которая свешивалась со стены.

«Нарви мне этих листьев и приложи к ране,— простонал он,— я истекаю кровью».

Я нарвал больших свежих листьев, наложил их и перевязал бок скифа полосой разорванного плаща.

«Не уходи — я тебе должен сказать важное».

В это время меня схватили два старика и потащили к правителю города. Он стоял перед молодым начальником, которого мы угощали дыней.

«Вот человек, которого ты ищешь,— закричали старики.— Он каждый год три раза ходит с караваном отсюда в Сугуду и обратно. Он знает все дороги».

Явана спросил:

«Можешь ли ты показать самую короткую дорогу отсюда в Гекатомпил? [1]»

«Я не знаю, про какой город ты говоришь,— ответил я,— у нас города называются по-иному. К востоку будут

---

[1] Гекатомпил («Город ста ворот») — главный город провинции Парфии, позднее город Тус.

большие города. Я знаю эти города и дороги к ним. Главный караванный путь идет, как согнутый лук, полукругом, чтобы путники могли каждую ночь ночевать в селениях. Но также есть короткий путь, прямой, как тетива лука. Идя по этому пути, можно обогнать ушедший вперед караван на три дневных перехода, однако этот короткий путь идет по пустыне, лишенной колодцев, так что приходится везти с собой воду в кожаных мехах».

«Ты поведешь нас по этой дороге,— сказал молодой явана,— но, если ты обманешь, тебя рассекут на части. Держите его под стражей, чтобы он не убежал».

Высокий воин положил тяжелую руку мне на плечо и отвел к раненому скифу. Тот был в лихорадке, иногда бредил, как безумный, называл неведомые имена, но в минуту просветления разума сказал:

«Мой отец — сакский вождь Будакен, по прозвищу Золотые Удила. Если судьба тебе позволит вернуться в Сугуду, то пошли гонца в степь, мимо Горьких колодцев, в кочевье Будакена. Передай ему, что я не сдавался, а боролся до последних сил один против многих и только после тяжелого удара копьем был схвачен врагами».

Затем он еще мне говорил:

«Я думаю, что мой отец Будакен не такой человек, чтобы остаться в степи, когда его сын в плену. Он сам проедет через девять стран, чтобы разыскать меня и выкупить. Если я останусь жив, то сумею убежать и вернуться в родные степи».

Весь этот день яваны отдыхали, так как кони их были крайне измучены. Одни воины спали, другие шарили по домам, разыскивая богатства и отставших персидских воинов; их они выводили на площадь в одно место, сдирали с них одежду и клеймили щеки каленым железом. Все пленные были потом отосланы для продажи в рабство.

В городе яваны нашли любимых царских певиц, танцовщиц и флейтисток. Они были брошены при поспешном бегстве. Из того сада, где они находились, доносились плач и крики, пение и музыка.

Когда взошла луна и стало прохладно, войска двинулись дальше. Я должен был следовать с ними.

Проезжая Восточные ворота, я увидел прибитых к ним гвоздями скифов. Некоторые висели уже мертвые, другие еще шевелились. Длинный тощий скиф был прибит наверху над остальными. Он не переставал ругаться. Один его глаз

был вырван и висел на кровавой жиле, другой глаз ворочался и сверкал гневом.

«Шакалы! — кричал он яванам, проходившим мимо.— Вы только и умеете драться с персидскими свиньями. Скорее догоняйте толстые туши их сатрапов, а мы, саки, и раньше колотили вас и будем бить дальше!»

В это время проезжал молодой начальник отряда среди таких же молодых, как и он, воинов. Они остановились перед воротами и стали дразнить скифа:

«Ну, покричи еще! Спой нам песню. Ты очень красив с одним глазом».

«А где ваш петух,— продолжал скиф,— ваш начальник, который прячется среди других, похожих на него петухов? Пусть он подъедет ко мне, чтобы я перед смертью плюнул в его глаза».

Тогда молодой начальник подъехал ближе, от гнева у него подергивались голова и плечо. Он говорил через переводчика, и вот что оба сказали:

«Скифская навозная муха! Ты жужжишь перед смертью, а сделать ничего не можешь. Тебя я приколол гвоздем к стене, и других скифов я также поймаю и посажу на колья».

«Хвастун! — кричал сверху скиф.— Ты на саков нападаешь, только когда они пьяны и спят. А сунься в наши степи, попробуй там сцепиться с нами, и ты убежишь без оглядки, как ошпаренный пес, как бежал Куруш и все, кто лезли к нам. Что ты так мало перьев нацепил на голову? Где твой хвост? Его выдрали у тебя наши саки в бою при Гавгамелах! [1]»

«Дайте мне дротик! — крикнул явана.— Я ему заткну глотку».

Всадники дали ему копье, и он бросил его в лицо скифу, который в это время кричал:

«Улала! Точите мечи на черном камне!»

Другие пригвожденные скифы подхватили крик и запели:

Сзывайте товарищей! Спешите на перекрестки дорог!
Готовы ли ваши кони? Натянуты ли туго ваши луки?

Вероятно, явана был очень взбешен — он промахнулся, и его копье с силой вонзилось в ворота, рядом с головой скифа, и задрожало, точно от стыда.

[1] В битве при Гавгамелах скифская конница разгромила обозы и лагерь греческого войска.

«Какой ты меткий! — бешено закричал скиф.— Не мог попасть в трех шагах! Ты не сын бога, а помет шакала!»

Но товарищи начальника стали метать копья, и одно из них пробило рот скифа, и он замолк. Только глаз его еще продолжал сверкать гневом, пока медленно не опустилось веко.

КОНЕЦ ДАРИЯ

Яваны шли всю ночь. Меня посадили на очень тряского коня. Хотя мне подложили подушку, но лошадь была тощая, хребет подымался как ребро доски, я жаловался и кричал, пока мне не дали доброго мула, который шел так же скоро, как и кони.

Утром была самая короткая передышка. Всадники ничего не могли есть, а, сойдя с коней, падали на землю и сейчас же засыпали. Накормив коней, мы снова ехали до полудня и сделали более долгую остановку в небольшой деревне, где, по словам жителей, ночью стоял персидский лагерь. Повсюду виднелись брошенные хромые кони. Крестьяне отбирали себе лучших, а остальных резали и сдирали с них шкуры.

Здесь яваны отдыхали до вечера. Начальники отобрали пятьсот всадников с самыми крепкими конями. Сзади каждого всадника сел еще один пехотинец. Этот отряд двойных всадников двинулся вперед, все же остальное войско должно было возможно скорее следовать за ним.

К вечеру мы вступили на безводную равнину. Серебристые солончаки с мягкой, как зола, почвой, кое-где кусты полыни и кости верблюдов — вот все, что попадалось по пути.

Всадники угрюмо молчали или тихо переговаривались, ворча, что это бессмысленная погоня.

Несколько воинов упали с коней и остались лежать на дороге. Когда моя голова опускалась от усталости и я начинал дремать, то воин, ехавший сзади меня, касался острием копья моего плеча.

Только молодой начальник отряда не признавал утомления и требовал одного — скорее идти вперед.

Луна стала совсем тусклой и небо на востоке побелело, когда впереди показался караван, растянувшийся далеко по степи. Видно было несколько повозок. В тихом воздухе ясно доносились крики погонщиков и скрип больших колес.

Всадники нашего отряда перестроились в боевой порядок. Пехотинцы соскочили с лошадей, рассыпались цепью и пошли вперед. С боевым криком понеслись всадники по степи к каравану.

Персы подняли ужасный вой и помчались во все стороны.

Молодой начальник явана в развевающемся красном плаще носился вдоль каравана. Он кого-то разыскивал и остановился около повозки, скатившейся в овраг.

Я узнал эту повозку и подъехал туда. На повозке на груде кож лежал окровавленный человек в пурпурной одежде, обшитой золотой бахромой. Восемь измученных мулов со спутавшимися постромками равнодушно стояли, повесив головы; погонщики разбежались. Раненый еще стонал, но, видимо, уже умирал. В предутреннем рассвете вырисовывалось его бледное полное лицо. Широко раскрытые глаза глядели, никого не узнавая. Он часто раскрывал рот, как рыба, выброшенная на берег, стараясь вдохнуть воздух. Все его шелковое платье было в темных кровавых пятнах.

Молодой явана соскочил с коня, заглянул в лицо умирающему, поднял его руку и осмотрел пальцы:

«Царского перстня уже нет. Негодяи убийцы его сняли! Но, вероятно, это царь Дарий».

«Да, это царь Дариавауш!» — сказал чей-то голос.

— Вот и все, что осталось от царя царей,— продолжал явана.— Пробитая ножами падаль! Он погиб не в сражении, как подобает воину, а зарезан, как баран, своими близкими, которые еще вчера падали в пыль и целовали его ноги. Вот участь того, кто добр со своими подданными! Здесь, в этой дикой степи, окончилась одна песнь и началась другая. Царя Персии больше нет, но есть царь Азии Александр, сын бога, и он жестоко накажет того, кто осмелится надеть на себя царский перстень и украденную у Дария тиару».

Явана сорвал с себя красный плащ и швырнул его на лицо царя Дариавауша. Затем он вскочил на коня и подозвал меня:

«Старик, тебе не пришлось быть нашим проводником. Мы сами нашли то, что искали. Но ты сказал правду о двух дорогах и не пытался обмануть нас и убежать. Как мне наградить тебя?»

Я ответил изречением моего учителя:

«Кусок грубого хлеба, кружка холодной воды и рука,

чтобы на нее приклонить усталую голову, разве этого недостаточно для желающего стать более совершенным?»

«Ответ, достойный мудреца,— заметил явана.— Второй раз в жизни я слышу подобный ответ[1], но, может быть, я могу чем-нибудь наградить не тебя, а твоих земляков — купцов из Серики?»

«Для них я попрошу немногого: разреши всем купцам-серам свободно, без особых пошлин, торговать в твоем царстве».

Явана засмеялся и обратился к свои воинам:

«Это хорошее предзнаменование. Чужеземец верит в счастливую звезду Александра, верит гораздо больше, чем многие из моих товарищей. Ты получишь то, что просишь. Гефестион, позаботься о нем».

После этого он повернул коня и стал объезжать остальные повозки. За ним неотступно следовала группа телохранителей. Он не тронул драгоценностей, которые грабили его воины, но приказал собрать все рукописи, которые только найдутся, чтобы прочесть приказы и документы походной канцелярии царя царей.

Отряд двинулся дальше на север. В ближайшей деревне меня отпустили, дали пергамент, написанный по-персидски и на языке явана, с разрешением свободного пропуска через земли персидского царства. Оттуда я направился на подаренном мне муле в Сугуду и прибыл сюда, в Мараканду. Вот то, что я испытал!..

ГНЕВ САКОВ

Оранжевый луч падал сквозь прямоугольный узор резной двери. «Тридцать две радости», почти не тронутые гостями, отбрасывали боками своих блестящих чашек тридцать два солнечных пятна. Лица троих расплывались в полутьме. Только на красном, грубом лице Будакена солнечные блики замерли причудливым рисунком.

Широкие плечи Будакена во время рассказа Цен Цзы медленно клонились вперед, и над бровями и на висках набухали извилистые жилы. Не дотрагиваясь до еды, он лишь раз медленно выпил чашу вина. Тонкий пучок укропа, ко-

---

[1] Намек на известную беседу с философом Диогеном, который на вопрос Александра: «Чего бы ты от меня хотел?» — ответил: «Посторонись и не загораживай мне солнце!»

торый он взял в левую руку, обвился зелеными нитями вокруг коротких пальцев.

Когда Цен Цзы степенно закончил рассказ и, слегка нагнувшись вперед, замолчал в ожидании вопросов, Будакен поднял на него налившиеся кровью глаза, схватил длинную прядь волос, падавшую на обшитое бусами плечо, и стал ее закручивать.

— После этого ты больше не видел саков?

— Нет, достойнейший.

Будакен глубоко вздохнул, и от его дыхания золотистый мотылек, трепетавший над чашками, стремительно отлетел в сторону.

— Ты все мне говорил про молодого начальника передового отряда. А не слыхал ли ты про Двурогого зверя, сына дракона — Аждархакаг. Он, говорят, главный царь всех яванов. Где же он?

Китаец погладил свою жидкую бородку и покачал фиолетовой шапочкой с круглым белым шариком на макушке.

— Я все время тебе рассказываю о Двурогом, а ты спрашиваешь, где он! Да ведь этот молодой явана в стальном шлеме, который ел нашу дыню, как и все мы, смертные, заковал в цепи твоего сына и метал копье в распятого сака, что настиг царя царей Дариавауша, и был тот, кто сжигает города и уничтожает целые народы. Это тот, кого зовут Двурогим, сыном бога и дракона.

— Значит, мой сын Сколот дрался на глазах самого Двурогого и только тяжело раненный взят им в плен? Теперь мое сердце успокоилось: он не посрамил сакского имени и мне не стыдно будет перед моими друзьями в степи.

— Да, это было так.

— Но чем Двурогий побеждает? Он вооружен так же, как и персидские войска. Воинов у него мало. Может быть, ему помогают боги? Как ты думаешь, Спитамен? Если Двурогий пойдет на нас, саков, что будет?

Спитамен сидел, скосив глаза. Мысли его как будто были далеко. Он вынул из-за пояса нож и, взяв его за лезвие двумя руками, сказал:

— Я думаю, что Двурогому помогают не столько боги, сколько то, что персы забыли об острие своего копья, а вместо себя посылают наемные войска, идущие в бой за серебряные дарики. Я клянусь этой холодной светлой сталью, что, если Двурогий придет в наши степи, мы поймаем его живьем и его голову положим в мешок с кровью,

как голову царя Куруша, чтобы она наконец напилась крови досыта!

И Спитамен запел скрипучим, диким голосом песню саков:

Если увидите вспыхнувшие дымные огни
На далеких сторожевых вышках курганов,
Сзывайте товарищей, спешите на перекрестки дорог!

Готовы ли ваши кони? Отточены ли ваши мечи?
Натянуты ли туго ваши луки?

Будакен, услышав знакомые слова песни, тоже заревел могучим голосом. Оба скифа, разъяренные, пели, точно почувствовав запах крови. Китаец испуганно отодвинулся.

Затем степные гости затихли и долго сидели неподвижно, опустив глаза.

Будакен покачался из стороны в сторону и тяжело приподнялся:

— Чем я могу отблагодарить тебя за заботы о моем сыне? Хочешь благонравного мерина, корову с теленком, невольника, умеющего шить сапоги, или что другое? Скажи, почтенный иноземец, к чему влечет твое сердце?

Цен Цзы встал, поклонился и отрицательно потряс бородкой.

Будакен посопел, порылся в своих широких шароварах и вытащил маленькую золотую чашку, величиной с разрезанное яблоко:

— Прими от меня эту маленькую чашку, и каждый раз, когда ты будешь пить свежую воду, вспоминай о Будакене, который всегда с радостью примет тебя гостем в своем шатре.

Китаец принял маленькую блестящую чашку, ударил ногтем по ее краю и, зажмурив щелочки глаз, прислушался к ее чистому звону.

Оба гостя протянули китайцу руки, подержали его выпрямленные ладони, подогнув, по обычаю, правую ногу, и молча вышли из беседки.

Цен Цзы соединил концы тонких пальцев и ждал в дверях, пока скифы не прошли в калитку.

— Достигать совершенства,— прошептал он,— можно, думая о своем несовершенстве, а также протягивая руку тому, кто нуждается в помощи. Вернусь к своим запискам...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

СУМЕРКИ ПЕРСИИ

Герой должен воспламенять
　　и сжигать в битве;
Если он ранен, то пусть грива
　　лошади его ложе.
Да умрет смертью собаки трус,
Зовущий себя мужем и умоляющий
　　о пощаде!

Шахрух Мирза

АРТАКСЕРКС

На высокой стене Маракандской крепости в просвете бойниц стоял на пестром ковре бывший сатрап Бесс, теперь получивший имя «царь царей Артаксеркс»; высокий, дородный, с искусно завитой черной бородой, он имел осанку правителя, привыкшего к власти. Темно-малиновое платье, вышитое золотыми цветами, облегало свободными складками его грузную фигуру. Широкий кожаный пояс с золотой пряжкой в форме колеса с крыльями туго затягивал его массивный живот. Короткий меч в синих сафьяновых ножнах с тонкой золотой отделкой висел на боку.

Опустив одну бровь и подняв другую, Бесс пристально смотрел со стены вниз, туда, где между деревьями виднелись раскрытые ворота. Толпа слуг разгружала караван мулов и ослов. Среди них неподвижно стоял белый двугорбый верблюд.

— Посмотри туда, Сатибарзан! Клянусь шестью потоками рая, что на верблюде сидит молодая прекрасная женщина. Видишь, она откинула покрывало. Вот верблюд стал на колени, и нежную девушку сняли осторожно, как гроздь винограда. Кто эта девушка?

Собеседник Бесса стоял мрачный. У него была короткая замшевая одежда воина. Он был широк в плечах, и плечи были подняты, как у атлета, который с детства упражняется в метании копья и боевых играх.

— Это владение князя Оксиарта, правителя Курешаты. Не его ли это дочь? Вероятно, она приехала ради тебя на смотрины царских невест.

— Клянусь шестью потоками, если даже это дочь беспутного пьяницы Оксиарта, то все-таки она достойна стать

одной из трехсот шестидесяти жен царя царей! Ты бы поехал туда к ним и разузнал, так ли это.

— Отпусти меня, величайший,— ответил Сатибарзан.— Я не создан для переговоров, и нет времени на это. Медлить нельзя. Я хочу поднять восстание в тылу Двурогого. Дай мне тысячу всадников, и с ними я буду нападать на македонские обозы.

— Да, да, это, конечно, важно, и этим я займусь на днях. Я дам тебе не одну, а целых две тысячи бактрийских всадников. Датаферн, ты слышал ли что-нибудь про дочь Оксиарта?

Мягкой походкой подошел толстый старик с обрюзгшим лицом. Он тяжело согнулся и упал ниц на ковровую дорожку, положив лицо между ладонями, подогнув правую ногу к подбородку и вытянув левую. Став на колено, он отвечал Бессу:

— Я слышал, что дочь Оксиарта не только прекрасна, но она также училась разной книжной премудрости: Оксиарт выписал ученого греческого раба из Финикии, и дочь князя Рокшанек научилась читать и писать по-эллински, играть на египетской арфе и танцевать вавилонские священные пляски. Ученые атраваны научили ее понимать древние книги Авесты. Такая девушка будет одним из лучших цветков во дворце царя царей.

— Пусть так и будет! К чему медлить! Пора устроить смотрины невест. Я готов отложить все другие дела, чтобы скорее отпраздновать свадьбу.

Раздался легкий шум. Царь царей оглянулся. На широкой площадке несколько человек, одинаково распростертых на ковре, ожидали милостивого внимания властелина, не имея права начать разговор.

— О чем вы просите? — спросил Бесс.

Лежавшие приподняли головы, и все заговорили сразу:

— Я приехал издалека, чтобы приветствовать тебя, величайший, светлейший. У меня нечестивые македонцы отняли поместья, и вот я, переодевшись нищим, пробрался сюда на осле, чтобы отдать свою жизнь за обожаемого царя царей. Я надеюсь служить тебе так же, как служили мои предки царям великой Персии.

— Постойте,— прервал их Бесс.— Я рад слышать ваши преданные речи. Мне нужны опытные в правлении люди, много людей. Мои планы громадны. Надо возродить страну. Боги нас не оставят. Они помогут нам снова восстановить и собрать вместе единую, неделимую, древнюю Персию.

— Ты велик, ты мудр, ты сверкаешь как солнце! — воскликнули лежащие.— Не забудь нас!

— Идите, я вспомню и позову вас.

— Но мы сейчас голодаем. Кто накормит нас, если не ты, величайший?

— Мне приходится столь многих кормить, но еще четыре человека не разорят меня.

Из-за угла стены выступил бледный сириец с двумя навощенными дощечками в руках. Он трижды становился на правое колено, подходя к Бессу, затем опустился на оба колена, ожидая высочайших приказаний.

— Ты запишешь всех четырех на кормление из царской кухни,— обратился к сирийцу Бесс.— А вы идите!

— А жалованье нам? — простонали просители.

Бесс показал вид, что не слышал вопроса, и повернулся к Датаферну. Сириец поднялся и, не поворачиваясь, пятясь удалился с площадки. За ним, так же пятясь, ушли просители.

— С чем ты пришел ко мне?..

— Величайший, приехали скифы.

— Ты слышишь, Сатибарзан? Наконец приехали скифы. Слава всемогущему творцу! Он услышал наконец наши молитвы. Видно, боги желают спасти нашу родину. Где скифы? Сколько их? Тысяча, две, пять?

На бритом лице Датаферна скользила почтительная улыбка.

— Приехал сакский князь Будакен — Золотые Удила. Очень большой человек, как горный медведь. Вместе с ним несколько сакских воинов.

— Но почему их так мало? Его отряд остался за городом? Не посол ли это для переговоров? Отправить этого сакского князя во дворец в саду Талиссия, окружить заботами. Дать вина столько, чтобы скифы пили без передышки и выболтали, что̀ у них на уме. Мне нужно сперва выведать их замыслы. Сегодня вечером я устрою совещание моих ближайших советников, а скифов я приму через несколько дней. Не подобает нашему величию принимать чужеземных послов сейчас же, как они постучат в ворота дворца. Ты, Сатибарзан, займешься скифами. Они для нас гораздо опаснее, чем Двурогий. Разве не верно?

Сатибарзан смотрел равнодушно:

— Я не умею вести хитрые разговоры: я воин, отпусти меня.

— Да, да, я тебя отправлю, но не сегодня же ты уедешь.

Поэтому сделай, что я сказал. Сходи к этому скифскому медведю.

Сатибарзан отступил на несколько шагов, трижды преклонил колено и, пятясь, удалился с площадки. Старый Датаферн на коленях ждал приказаний.

— А ты, Датаферн, позаботишься, чтобы смотрины царских невест устроить как можно скорее...

ЦАРСКИЙ ПРИЕМ

Несколько дней Будакен провел в отведенном ему царском загородном дворце Талиссия, ожидая приема у царя царей.

Громадные блюда с разнообразными кушаньями и запечатанные кувшины с вином присылались ему ежедневно. Персидские сановники постоянно сидели вокруг Будакена, расспрашивая его об охоте, лошадях, разных степных зверях, обычаях скифов, и заодно старались выведать, какие замыслы у скифских князей, собираются ли они прислать своих непобедимых воинов, чтобы сразиться с нечестивыми яванами, истребителями людей.

Будакен был молчалив, недоверчиво выслушивал вопросы и рассказы гостей, давая очень туманные ответы:

— Если Двурогий спустится с гор, то саки сперва посмотрят, какие у него воины. Потом мы решим, что нам выгоднее: уйти ли в глубину степей или напасть на Двурогого и раздавить его копытами наших бесчисленных коней.

Наконец Будакену был объявлен день царского приема. Он выехал в красном плаще с нашитыми золотыми бляшками, и его провожали десять вооруженных скифов.

Впереди скакали бактрийские всадники на высоких поджарых конях с вплетенными в гривы красными лентами. Бактрийцы, в чешуйчатых бронзовых панцирях, с роговыми луками на боку и колчанами за правым коленом, сидели, изогнувшись, как кошки. Встряхивая длинными кудрями, они гикали и хлопали плетьми, разгоняя встречных.

У ворот крепости сгрудились стража и пестрая крикливая толпа. Длинные кожаные трубы повторным ревом возвестили прибытие знатного гостя.

На высокой арке ворот разноцветными изразцами переливался герб персидского царя: распростертые соколиные крылья и посредине их — стрелок, натягивающий лук.

В темном проходе выстроились «бессмертные» — тело-

хранители царя, в длинных, до земли, одеждах, с колчанами за правым плечом. Тонкие бронзовые цепочки свешивались с колчанов и звенели при каждом движении воинов. Скрестив копья, они загораживали доступ внутрь крепости, куда пропускали только немногих избранных, имевших кусочек пергамента с печатью главного надзирателя дворца.

По требованию стражи Будакен оставил свое оружие при входе. Спитамен последовал за Будакеном, чтобы служить ему переводчиком.

Сатибарзан и двое «бессмертных» шли впереди; за ними четверо слуг несли на подносах подарки Будакена: короткий скифский меч в искусно отделанных золотом ножнах, драгоценные ожерелья из тигровых зубов, приносящие успех на охоте, и связку темных собольих шкурок.

Первый двор, вымощенный квадратными плитами, был полон согдской знати, ожидавшей возможности увидеть своего правителя. Затем пришлось идти узким проходом между гладкими глухими стенами. Дальше была низкая дубовая дверь. Два воина скрестили копья. Старый евнух с отвислыми щеками, с золотой цепью на шее спросил пропуск. Сатибарзан шепнул ему несколько слов на ухо и показал свиток пергамента. Дверь открылась, и Будакен вошел в небольшой двор, окруженный высокими кирпичными стенами. Бесчисленные деревянные колонны, украшенные тонкой резьбой, поддерживали несколько круглых навесов, под которыми посетители могли укрыться от солнца и от дождя. Весь двор был застлан коврами. В глубине стояло одинокое кресло, отделанное золотом и слоновой костью, с высокой спинкой, на которой было выткано золотом колесо с двумя крыльями.

В кресле, поставив ноги на скамейку, сидел Бесс в золотой круглой, как дыня, тиаре, в парчовой одежде, обшитой бахромой. По обе стороны Бесса стояли юноши с отличиями «бессмертных». Перед троном, опустившись на колени, стояли знатные персидские, согдские и бактрийские сановники.

Будакен на мгновение остановился, окинув всех внимательным взглядом, затем направился к сидевшему на троне Бессу.

Будакен знал, что все подданные великого персидского царства, встречаясь с царем царей, падают на землю и лежат неподвижно, пока царь с ними не заговорит. Но, поступив так, Будакен показал бы, что саки считают себя в подчинении персидскому царю, а этого сакский вождь

не мог допустить. Поэтому Будакен остановился в нескольких шагах от трона в ожидании. Глаза Бесса тревожно метнулись и уставились на скифского князя.

— Будь здоров и царствуй много лет, великий правитель персидского царства! — прогудел спокойно Будакен.— Сакские племена посылают меня передать их привет и пожелания жить в мире и дружбе с подданными тебе народами.

Бесс самодовольно улыбнулся, решив, что в этом приветствии выражено достаточно почтительности и что большего раболепия от скифского князя все равно не дождаться. Он поднял кверху ладони в знак обращения к небу с молитвой и заговорил, растягивая слова, как это делают при богослужении жрецы:

— Я рад видеть тебя, доблестный и храбрый князь Будакен. Да хранит тебя создатель неба, земли, гор и морей! — Бесс уже знал из докладов подсылавшихся к Будакену сановников его имя, род и место стоянки кочевья.— Садись рядом, здесь, и поговорим о делах наших народов, а потом перейдем к «козьей шерсти» [1].

Будакен, подойдя к трону, опустился на ковер, подобрав под себя ноги. Оба некоторое время обменивались любезными вопросами о здоровье, силе мышц, состоянии коней, о бурях, дождях и направлении ветров.

— Я знаю, что ты любишь быстрых и сильных коней,— сказал Будакен,— поэтому я привел для тебя двух жеребцов, сыновей знаменитого скакуна Буревестника.

Бесс захотел сейчас же их увидеть и приказал привести коней. Он продолжал спрашивать, живут ли в сакских степях львы и носороги, нападают ли саки на их соседей тохаров и много ли снега бывает зимой в кочевье Будакена.

Старый Датаферн, подойдя к трону, склонился до земли и произнес шепотом:

— Разреши, о величайший, предстать перед тобою верному слуге твоей воли Оксиарту, князю Курешатскому.

— Зачем он вернулся раньше срока? — удивился Бесс.— Что могло помешать ему исполнить мое приказание? Пусть придет.

Князь Оксиарт вбежал и с видом ужасного отчаяния бросился на ковер перед Бессом. На полу он забился в глухих рыданиях.

---

[1] Говорить о «козьей шерсти» означало говорить о маловажных делах.

— Какие несчастья обрушились на тебя, князь Оксиарт? Перестань предаваться горю, как вдова, лишенная поддержки любимого мужа. Говори, кто обидел тебя,— я покараю его всей яростью моего гнева. Не погиб ли твой сын, не заболела ли твоя прекрасная дочь?

— О величайший, о светлейший! Весь небосвод помещается в перстне твоего большого пальца. Когда я помчался исполнять твою волю и, чтобы скорее достигнуть наших пограничных крепостей, загнал трех жеребцов...

— Напрасно загубил трех жеребцов,— прервал его Бесс,— кони нужны теперь для войны.

— Я проехал сакскую степь, но там меня обидел скифский начальник, с которым я хотел повести переговоры согласно твоему повелению, да блистаешь ты победами тысячу лет! Этот начальник заманил меня в свое кочевье, где жестоко избил и посадил в яму с верблюжьими клещами. Долго ли еще саки будут издеваться над нами? Теперь не Двурогий разбойник наш враг — он уже подыхает, засыпанный снегом в горных ущельях. Теперь саки — наша гибель. Я умоляю тебя, собирай войска против саков. Они уже поют песни про Афросиаба и призывают точить ножи на черном камне.

Бесс смотрел с удивлением то на Оксиарта, то на Будакена. Все окружающие затихли. Оксиарт поднял голову и, посмотрев по сторонам, заметил Будакена. Скифский князь сидел, сжав кулаки, нагнувшись вперед. Его подбородок дрожал от гнева. Казалось, он сейчас бросится на Оксиарта.

Оксиарт запнулся, закашлялся и стал смеяться:

— Но, конечно, не все саки против нас. Есть и среди них мудрые князья, готовые к дружбе с нами. Все говорят о высоком разуме и подвигах князя Будакена — Золотые Удила. Он так горячо принял меня, что я буду рад отблагодарить его таким же точно образом... Но не его ли я вижу здесь? Какая радость для меня увидеть его теперь гостем согдов!

Будакен заговорил глухо, и глаза его горели скрытым гневом:

— Мы, саки, потому свободны, что всегда точим ножи и всегда наши колчаны полны жаждущих крови стрел. У нас нет крепостей, и наша сила только в том, что мы любим драться. Мы можем воевать сразу и с согдами, и с Двурогим разбойником, и со всеми, кого мы увидим на границе наших степей...

Бесс понял, что между обоими князьями таится еще непонятная ему вражда. Он не хотел ссориться с влиятельным Оксиартом, но в то же время ему нужна была помощь саков. Поэтому он прервал спор князей:

— Славный князь Оксиарт! Ты плохо заметил, против кого саки точили ножи. Конечно, не против нас. Уже несколько кругов лет[1] мы живем в полной дружбе с саками. Я уверен, что саки нам помогут; если Двурогий разбойник захочет пройти в наши долины, чтобы попробовать нашего старого вина, он сперва испробует острие наших прославленных мечей... Но что же нам не дают вина? Мы выпьем за нашего достойного гостя.

Немедленно вошли с подносами мальчики в широких желтых шелковых шароварах. Они принесли бронзовые кубки с янтарным вином и стали раздавать ценные кубки, разукрашенные затейливыми узорами.

Виночерпий, отлив вина из кубка себе на ладонь, выпил глоток и подал кубок Бессу. Тот с ласковым словом передал этот кубок Будакену. Затем привычным жестом Бесс сам осушил другой кубок.

ПРЕСТУПНЫЕ РЕЧИ

— Поговорим теперь о деле, о котором здесь все только и твердят.— Бесс сделал знак пальцем, украшенным перстнями, чтобы мальчики подлили еще вина.— Мои верные помощники спорят о том, придет ли в нашу мирную страну преступный царь Искандер. Одни говорят, что он непременно направится сюда, другие же убеждены, что он уйдет в Индию.

— Разве можно думать иначе! Конечно, он уйдет в Индию! — подобострастно зашептали все сановники.

— Он даже не дойдет до Индии,— заявил один из них.

— Почему не дойдет? — строго спросил Бесс и повернулся к сказавшему.

Сухой старик сидел неподвижно, вытянув на коленях ладони рук.

— Я видел одного нашего купца, перебежавшего из лагеря Двурогого. Он говорит, что у киликасов постоянные заговоры и бунты, что Искандер боится за свою судьбу и окружил себя громадной стражей, казнил нескольких са-

[1] Круг — двенадцать лет; обычное исчисление древних персов и скифов.

мых близких друзей и начальников. Может быть, Двурогий уже убит. Если он жив, то ему приходится больше думать о собственном спасении, чем о новых походах. Как стрела, долетевшая до своей цели, падает, так и Двурогий, истощив все свои силы походом через Персию, погибнет у подножия Седых гор.

Бесс поднял руки. За ним все протянули руки к безоблачному небу, синевшему над серыми стенами.

— О вы, древние хранители нашего великого царства! — протяжно, нараспев проговорил Бесс.— Вы оберегали многие тысячелетия нашу страну, чтобы мы смогли владеть и управлять всем миром. Вы теперь наслали на нашу родину злого сына змеи и Аримана, чтобы наказать нас за неверие и непочтительность к богам. Этот Двурогий наказал нас, как бич наказывает нерадивого раба. Теперь гнев богов кончается, и мы начнем восстанавливать разоренную страну, строить снова разрушенные храмы и дворцы. С востока восходит солнце, и с востока придет возрождение замученной Персии! — Бесс был взволнован, и слезы покатились по щекам.

— Ты великий, ты спасешь нас! — восклицали сановники.— Целуем край одежды твоей. Поведи наши смелые войска на Двурогого. Мы погоним его, как бешеную собаку, до самого моря, где он утонет!

— Молитесь и верьте! — воскликнул Бесс, протягивая руки своим приближенным, и они все подбегали к нему, падали на колени и целовали край его парчовой одежды.— Слушайте, что я решил сделать. Я издам приказ, чтобы все жрецы молились о нашей победе и днем и ночью.

— Верно! Верно! Это очень важно! Будем молиться.

— Я здесь вижу много мудрых сановников, знающих трудную науку управления государством. Через далекие равнины, горы и пустыни они с опасностью пробирались ко мне среди отрядов наших врагов. Все эти ценные люди представляют то ядро, из которого загорится пламенем слава дорогой нам Персии. Они составят «Царский совет возрождения и управления государством».

— Это мудро, это велико, это достойно царей древности! — восклицали сановники, и каждый надеялся, что он станет членом этого совета.

— Кроме того, мы должны позаботиться о воспитании нашей молодежи. Нужно сейчас же устроить школы, где будут воспитываться дети князей и высших сановников. В этих школах они будут учиться воинскому искусству,

езде верхом, метанию копий и будут посещать суды, чтобы знать, как решать важные дела.

— Ты все предвидел, ты обо всем подумал! — восхищались сановники.

— Нужно еще многое сделать! Сделаем возлияние богам и выпьем за то, чтобы отсюда, из Мараканды, началось возрождение Персии.

Бесс обвел всех взглядом, полным растроганной нежности, и остановился на Спитамене. Тот сидел на коленях, глаза его скосились, рот искривился горькой усмешкой, и он, растопырив ладонь левой руки, что-то считал по грубым, загорелым пальцам.

— Отчего у гостя чаша полна вина? Отчего он не пьет? И что он считает?

Будакен, только что выпивший чашу за возрождение Персии, покосился на Спитамена.

— Мой проводник-переводчик видел много народов и прошел много стран,— сказал Будакен.— Может быть, он мог бы рассказать нам что-нибудь ценное? Например, о родине Двурогого?

— Скажи нам, а мы послушаем! — ответил Бесс.

Все затихли и со снисходительным презрением уставились на неведомого, бедно одетого спутника скифского князя. Что может сказать этот измеритель больших дорог, наглотавшийся пыли,— сказать им, правителям сатрапий и провинций?

— Что же ты молчишь, говори! — сказал дружелюбным голосом Оксиарт, вспомнивший, что Спитамен удержал руку Будакена словами: «Послов не убивают».

Спитамен медленно произнес:

— Я высчитываю, через сколько дней Двурогий будет здесь, в Мараканде.

На мгновение воцарилась тишина, затем она сразу прорвалась шумом и криками:

— Что он сказал? Кто он? Он не верит в спасение Персии?

Голова Бесса сразу втянулась в плечи; он глядел помутневшими, испуганными глазами на странного для него человека, который сказал именно то, о чем Бесс неустанно думал дни и ночи, никому не решаясь высказать свои опасения.

— Замолчите! — воскликнул Бесс.— Пусть он говорит. Почему ты думаешь, что Двурогий может пойти сюда, на Сугуду?

— Двурогий может пройти всюду, где его никто не задержит.

— Но войска посланы ему навстречу, и во всех проходах стоят наши отряды.

— А кто должен задержать Двурогого? Кто должен подставить свою грудь, чтобы откинуть его назад?

— Кто? О чем ты спрашиваешь? Мы! — закричали сановники.

— Нет, вы свою грудь ему не подставите. Вы будете писать законы, а удерживать врага будут ваши пастухи и пахари.

— Вы слышите, что он говорит? — зашипели сановники.— Да он опаснее Двурогого! Он не наш! Нужно разузнать хорошенько, что это за человек. Да это, наверно, лазутчик Двурогого: и в глаза не смотрит, и косится на кончик своего носа.

Бесс заговорил опять громким, властным голосом. Снова он сидел, как царь царей, выпрямившись и ухватившись за ручки кресла пальцами, украшенными сверкающими алмазами.

— Мы можем весело посмеяться сегодня, так меня развеселил этот человек, скосивший глаза, точно на конце его носа сидит скорпион. Ты, вероятно, наслышался женских россказней о Двурогом и его воинах и потому трусишь. Не бойся: войск у нас довольно! Одних согдских воинов в три раза больше, чем всех войск Двурогого. Наши войска сыты, хорошо одеты, они у себя дома, поют песни и пляшут. А войска киликасов мерзнут в горах. Ты, вероятно, никогда не видел яванов. Они такие же люди, как мы, и наш прославленный бактрийский всадник может копьем проколоть сразу нескольких яванов.

Спитамен процедил сквозь зубы:

— Я хорошо знаю яванов-эллинов и не раз стегал их плетью так, что они разбегались от меня, как испуганные поросята.

— Да он еще и хвастун! — воскликнули все.— Где ты смог хлестать плетью этих разбойников?

— Нас было триста скифских всадников. Мы поддерживали порядок и спокойствие в главном городе яванов Афинах[1]. Они любят так много говорить, что если два явана заспорят, то их уже не разогнать, к ним пристают еще чет-

---

[1] В Афинах был отряд скифов — государственных рабов,— поддерживавший порядок.

веро, затем восемь, и скоро целая площадь спорит о том, кто выше и сильнее — Афины или Спарта. Только скифские всадники были способны разогнать такую крикливую толпу, и нас нарочно держали для этого.

— Ты, наверное, умеешь даже говорить по-киликасски, если жил в Афинах? — спросил вкрадчиво Датаферн.

— Да, умею.

— О, ты можешь оказаться нам очень полезен,— сказал Бесс.— Если князь Будакен тебя отпустит, ты будешь переводчиком в Бактре. Если ты уже бил яванов, то отправься на границу и поймай нам их несколько. Мы бы уж заставили этих болтунов рассказать все, что нам нужно. Теперь же, верные сыны Авесты, пойдемте смотреть жеребцов, которых привел из сакских степей славный князь Будакен.

Окруженный свитой и телохранителями из отряда «бессмертных», Бесс прошел в небольшой сад. Посреди стоял шатер из белого войлока, подбитый красной подкладкой. Вокруг шатра были привязаны к столбам любимые жеребцы Бесса. Слуги стояли около с большими подносами. На них лежали ломти спелых дынь. Бесс остановился около двух жеребцов Будакена. Один был золотисто-желтый, другой светло-серый в яблоках, с белым хвостом и гривой. Бесс при почтительном молчании сановников стал кормить коней ломтями дыни, затем он сделал знак Сатибарзану и отошел с ним в сторону.

— Этого проводника награди деньгами, чтобы он ничего не подозревал. Отправь его сейчас же в Бактру с отрядом всадников. Прикажи, чтобы они не спускали с него глаз и по пути надели на него цепи. В Наутаке надо подвергнуть его пытке и выведать, не лазутчик ли он.

С деланно радостным лицом Бесс вернулся к Будакену и стал ему рассказывать, какие он хочет построить каменные мосты через все реки и странноприимные караван-сараи на всех больших дорогах.

— Времени еще достаточно,— говорил Бесс.— Ты, князь, будешь вскоре пировать на моей свадьбе. Дочери согдских и бактрийских князей станут женами царя царей, и я повезу их с собой в Сузы. Разве согдские князья не станут после этого опорой царского трона и первыми вельможами в персидском царстве? Разве они не станут править отсюда всем миром?

Когда Будакен вернулся в загородный сад Талиссия, его там уже ждали персидские сановники. Они привезли подарки от Бесса: несколько бронзовых блюд и кувшинов со сценами охоты львов на оленей. Привезли также большой персидский ковер, он изображал цветущий весною луг в виде множества искусно сплетенных цветов и листьев, а также самый ценный для него подарок — большой панцирь искусной работы, сделанный из стальных пластинок и колечек.

Приехал Сатибарзан и, оставшись наедине с Будакеном, стал настойчиво расспрашивать его, на каких условиях саки могут немедленно прислать сто тысяч всадников, чтобы начать борьбу с Двурогим.

— Если саки нападут на дороги, по которым идут подкрепления царю Искандеру из Суз и Экбатаны, то войска этого разбойника будут отрезаны, лишены поддержки, и тогда всех яванов легко будет передавить, как щенков, в ущельях Дрангианы.

Скифские воины сидели отдельно от князей, вокруг костра, где над раскаленными угольями на вертелах жарились бараньи туши. Кидрей раздувал плетенкой уголья и поворачивал мясо, с которого стекал жир, шипел и вспыхивал, падая на огонь.

Спитамен объяснял:

— Меня посылают к Седым горам. Требуют, чтобы я им поймал пару киликасов. Им не понравилось то, что я им сказал. Они взбеленились, точно испуганные гуси. Мне дают двадцать всадников или меня передают им — не знаю. Боюсь только, не поручено ли им придушить меня по дороге.

— Мы поедем за тобой,— сказал Кидрей.

Спитамен подумал и согласился:

— Если вы поедете следом за мной, то мы встретимся около переправы через Окс. Там всегда задержка: не хватает лодок для перевозки путников. Поберегите моего коня. Если Бессу нужно, чтобы я пробрался к Седым горам, он коня даст. А если он хочет от меня отделаться, то зачем погибать доброму коню?

* * *

Утром двадцать всадников выехали из Мараканды по большой торговой дороге, ведущей к Бактре. Спитамен был среди них.

Начальник отряда, тощий и костлявый сотник, сидел молчаливо на коне, глядя исподлобья. Он покрикивал на других всадников, не позволяя им отдаляться от отряда. Спитамен ехал в середине. Несколько всадников неотступно его окружали.

Весь день ехали мимо тщательно возделанных полей с густыми зелеными посевами джугары и пшеницы.

По пути попадались похожие на небольшие крепости усадьбы князей. Поселки крестьян состояли из маленьких хижин, сложенных из камней и смазанных глиной. Громадные, похожие на волков собаки с яростным хриплым лаем прыгали и пробегали по глиняным заборам.

Всадники заезжали на бахчи, выбирали лучшие дыни и арбузы и ели их, не слезая с коней, топча грядки.

На коротких остановках в селениях сотник стегал плетью старшину, покорно склонявшего голову.

Испуганные крестьяне приносили в плетенках ячмень для коней, хрустящие лепешки и кувшины с молоком.

Вечером, когда солнце легло на гребень гор и их вершины стали рыжими, отряд остановился около ручья, протекавшего между скалами. Место было мрачное, безлюдное. Несколько кривых стволов можжевельника и фисташек кое-где прицепились по склонам гор. Селение осталось далеко позади.

Затрещало несколько костров, и сизый душистый дым стлался по земле. Начальник отряда стал еще грубей и закричал на Спитамена, когда тот вздумал подыматься по горе. Спитамен, не обращая на него внимания, поднялся выше. Остановившись на выступе скалы, он осматривался кругом. Сотник ругался, требуя, чтобы «дорожный бродяга» не колдовал и не призывал на воинов чуму.

Спитамен окинул взглядом горы и заметил направление ущелья — по склонам его зеленой щетиной росли ели. Тропинка бежала зигзагами к вершине горы. «Там перевал и спуск»,— подумал он.

Несколько воинов, ругаясь, вскарабкались на скалу и набросились на Спитамена.

— Вы чего взбесились? — крикнул Спитамен, рванулся и в несколько прыжков оказался около костра. Здесь он опустился на колени на войлочном потнике и застыл в неподвижной позе, точно молясь.

Воины с опаской подошли к странному для них охотнику. Он не сопротивлялся, когда они ему вязали сыромят-

ными ремнями руки за спиной. Он только начал дрожать мелкой дрожью, и зубы его стучали.

Ночь быстро закутала горы темно-лиловыми тенями, и в свете пылающих костров закраснели ближайшие камни и кусты.

Спитамен продолжал дрожать. Он метнул несколько косых взглядов на воинов, рывшихся в его переметных сумах и деливших между собой, бросая игральные кости, его лепешки, чашку и цветную рубашку.

— Чего дрожишь? — сказал молодой безусый воин.— Боишься смерти? От нее не убежишь...

— У меня в левом сапоге есть кошелек с серебром,— сказал охотник.— Возьми его себе, только за это прикрой меня своим плащом. Сегодня меня трясет лихорадка: каждый тринадцатый день она прилетает мучить меня.

Юноша пошарил за голенищем мягкого сапога Спитамена и вытащил оттуда кошелек. Он набросил на связанного свой белый войлочный плащ. Постепенно дрожь уменьшилась, и Спитамен затих.

Сотник точил черным камнем свой широкий тяжелый меч и говорил помощнику дефтадару, сидевшему рядом.

— Сейчас его убивать не следует: если теперь душа его выскочит из тела, она начнет летать всю ночь вокруг этого места и будет пить кровь заснувших. Мы с ним разделаемся на рассвете, перед отъездом. Пусть часовые сидят на полах его плаща, а один будет стеречь коней.

Ночь тянулась долго. Часовые подбрасывали ветви можжевельника. Где-то во мраке заливались визгом и хохотом невидимые шакалы. Летучие мыши чертили воздух.

Когда розовой шапкой заалела далекая вершина горы, засыпанная снегом, когда кони опушились серебристой пылью инея и костер, покрываясь пеплом, медленно потухал, один из сидевших на плаще Спитамена воинов очнулся ото сна. Ему послышалось странное клохтанье. Звук напоминал бульканье вина, вытекающего из меха. Другой часовой храпел, положив голову себе на колени.

Часовой встал, потянулся и увидел лежащую на земле голову сотника. Один глаз был закрыт, другой, прищуренный, как будто смотрел с усмешкой. Сотник лежал в стороне, раскинув руки и ноги, из горла с бульканьем вытекала кровь; голова была отсечена одним ударом.

Воин видел много смертей на своем веку, но он похолодел и в ужасе оглянулся кругом. Все спали; лошади, съев-

ши весь корм, стояли без движения, понурив головы. Часовой стал толкать ногой спавших товарищей.

— Верные сыны Авесты,— шептал он, поглядывая со страхом на окрестные скалы,— беритесь за оружие: враг близко!

Воины подымались, спросонок плохо понимая, в чем дело. Все хватали копья, готовые биться со злыми духами, летающими в глухих ущельях. Перепуганные воины медленно подходили к голове своего начальника.

— Наверное, дорожный бродяга вчера наколдовал и призвал ночных духов,— шептали они между собой.

— Этого колдуна убивать не следует, мы его живьем привезем в город. Там его вытряхнут из его шкуры.

Один воин ткнул копьем неподвижную фигуру Спитамена. Белый плащ, стоявший коробом, повалился.

Охотника под плащом не было. Он исчез. На том месте, где недавно все его видели, на камне сидел небольшой золотисто-желтый скорпион: загнув кверху коленчатый хвостик, скорпион пошевеливал ядовитым жалом, готовый и к защите, и к нападению.

— Дивы! Злые дивы в этом ущелье! — завопили воины.— Скорее прочь отсюда!

Дефтадар старался удержать обезумевших товарищей, но они ничего не слышали, отвязывали коней и мчались по дороге.

Дефтадар один остался около трупа. Его поразило, что исчезли меч сотника и его тяжелое короткое копье. Он нарубил веток можжевельника, снес их в одну кучу и положил на нее тело начальника.

Привязав на аркан коней сотника и Спитамена и вскочив на своего жеребца, дефтадар быстро двинулся по ущелью вперед, по пути к Бактре.

ПУТЬ СПИТАМЕНА

В полумраке Спитамен бесшумно удалился от костра. Он вытер короткий меч сотника о хвою ветвей, засунул его за пояс и углубился в ущелье.

Зорким глазом охотника он вскоре нашел козью тропинку и стал подыматься вверх по крутизнам уродливо разбросанных скал. Вскоре он услышал топот коней и крики. Притаившись за кустами, он следил, как воины, с которыми он только что ночевал, пронеслись вскачь по ущелью.

Он подымался все выше, и когда забрался на первый ска-

листый отрог, то увидел впереди себя бесчисленные утесы и причудливо набросанные камни. Ущелья казались особенно мрачными, как бездонные провалы, и дымчатые туманы ползли оттуда к вершинам гор, быстро тая в косых лучах солнца.

Скоро он заметил на горе вереницу тонконогих серых ослов, нагруженных с обеих сторон тяжелыми мешками. До него доносились покрикивания крестьян, шедших с длинными ровными палками следом за ослами. Они привычной походкой подымались в гору и на спусках упирались палками, задерживая свой шаг.

Спитамен то карабкался, то сбегал по скатам, выбирая кратчайшие пути. Несколько раз он обгонял крестьян. Увидав неизвестного путника с копьем, они кричали друг другу «Тереч!» [1] и выхватывали топоры с длинными ручками. Они настороженно смотрели на Спитамена.

— Кто ты, куда идешь?

— Идите с миром!

— Одинаково проходит и добрый и злой. Но пусть будет так, чтобы имя твое мы помянули добром.

— Я зла не сделаю.

— Говорят, война близко, скоро и здесь будут гореть хижины и женщины рвать на себе волосы. Мы уходим подальше в горы. Нам был приказ от царя царей идти воевать. Зачем нам воевать? Прожить бы только!..

Крестьяне сами доставали из мешков высохшие лепешки и горсти изюма и давали незнакомцу. Обычаи не позволяли в дороге просить хлеба. Кто даст, так сам — от доброго желания. Видно же сразу, что у путника нет дорожного мешка и глаза горят, как у голодного волка.

Несколько дней шел Спитамен горами и все туже затягивал свой пояс. Однажды на рассвете он увидел широкую светлую полосу реки, окаймленной высокими густыми камышами. По ту сторону реки раскинулась равнина, и на горизонте едва были видны далекие зубчатые горы, дымчатые в утреннем тумане. Он понял, что это великая река Окс.

За рекой начиналась Бактра.

Спитамен обошел далеко кругом селение, лепившееся по склону горы. Внизу, среди камышей, он заметил полянку с ровными линиями грядок. Он решил там отдохнуть.

Спускаясь к берегу, Спитамен наткнулся на всадника. Седобородый старик ехал на коне, навьюченном мешками.

---

[1] «Тереч!» — «Берегись!»

Увидев перед собою незнакомца с копьем, старик пустился вскачь. Один мешок оборвался и остался лежать на дороге. Всадник взлетел на перевал и, остановившись, следил, что будет делать незнакомец.

Спитамен развязал мешок. В нем были тщательно сложены синие и шафрановые рубашки и шаровары. Старик, вероятно, был скупщиком одежд и материй, которые ткут горные крестьянки. Спитамен вытряхнул на дорогу все одежды и, свернув кожаный мешок, углубился в камыши.

Старик ждал на перевале, пока не подошло несколько путников. Присев на корточки, они долго спорили, потом все направились к тому месту, где лежали выброшенные одежды, и кричали, обращаясь к камышам:

— Выйди только сюда, бездомный бродяга! Много вас теперь, бездельников, шатается! Все бегут, не хотят защищать родную землю. Изрубим тебя топорами, вор, разбойник, сунься только к нам!

Спитамен пробирался через высокие камыши, с трудом вытягивая ноги из топкой, вязкой земли. Он добрался до поляны. Это была бахча, на которой, прячась в пышной зелени, желтели дыни, поблескивали арбузы и большие изогнутые огурцы. Здесь он нашел сухую кочку, разостлал кожаный мешок и упал на него, потеряв последние силы.

Он лежал долго. Солнце перевалило за полдень. Спитамен протянул руку и взял зрелую дыню. Рассек ее мечом и выпил оранжевый сладкий сок. Он ел ее маленькими ломтиками и прислушивался к звукам окружающей чащи.

Гибкие камыши в два-три человеческих роста тихо шелестели, покачивая верхушками с пышными седыми кистями. От порывов ветра шелест усиливался, и из разных мест доносились звуки, точно множество людей собралось кругом и шептало неведомые слова.

Спитамен снял с себя шерстяной армяк, холщовую рубаху, кожаные штаны, истрепавшиеся мягкие сапоги, портянки и разложил их на земле. Он пролежал на солнце весь день, пока верхушки камышей не зачернели на багровом небе и с реки не повеяло холодом и туманом.

Силы восстанавливались. Он оделся, обошел поляну. В конце ее уходила в камыши едва заметная тропинка.

Где-то затрещало, послышалось чавканье. Спитамен спрятался за камыши. Сквозь сетку стеблей ему были видны грядки поляны.

Из камышей показалась фыркающая громадная голова кабана, вымазанная грязью. Белели изогнутые клыки. Хит-

рые злые глазки зорко смотрели по сторонам. Кабан сильно потянул воздух, затем уверенно и грузно вышел на поляну.

За ним стремительно выбежали несколько больших и маленьких свинок и остановились в ожидании. Кабан поднимал рыло, нюхал воздух. Щетина на хребте поднялась гребнем. Потом кабан успокоился, и щетина на спине улеглась. Он сильно стал взрывать мордой рыхлую сырую землю. Свиньи забегали по грядкам и, разевая длинные узкие морды, звонко раскалывали арбузы.

Спитамен стоял неподвижно: он знал, что кабан — самое бесстрашное животное и первым бросается туда, где ему почуется опасность для стада.

Попортив много арбузов, свиньи успокоились и легли на бок, вытянув ноги. Один только секач грузно ходил по поляне, громко чавкая, иногда рывками взрывая землю. Вдруг кабан насторожился и тревожно хрюкнул.

Зашумели камыши, послышался треск сломанных стеблей. Все свиньи вскочили и запрыгали на месте, не зная, куда бежать. Из чащи вылетела могучим прыжком громадная туша, красная, с поперечными черными полосами, и обрушилась на одну свинью. Неистовый визг прорезал тишину вечера. Схватив свинью за загривок, зверь в несколько прыжков перелетел поляну и скрылся в камышах. Только длинный хвост и грязные задние лапы мелькнули на багровом небе.

Кабан и свиньи врассыпную бросились в другую сторону, ломая камыши. Одна свинья неслась мимо Спитамена. Метнув копье, он пронзил ее насквозь. Она кувырнулась и, взвизгивая, забилась в топкой грязи.

Спитамен выдернул копье, озираясь по сторонам. Но тигр не вернулся. Вдали раздавался еще треск ломавшихся стеблей, но вскоре все затихло.

Спитамен притащил тушу свиньи на поляну. Он рассек ее на части, вырезал почки и печенку и съел их теплыми.

Медлить было нельзя. Владыки камышей — тигр и кабан-секач — могли вернуться на место встречи. Спитамен направился по тропинке, оглядываясь и прислушиваясь, не хрустнет ли сзади него ветка под тяжелой лапой зверя.

БАКТРА

Показался открытый берег, усеянный круглой галькой. Валялись обрывки гнилых сетей, куски разломанной лодки. Вода неслась стремительно, кружась в водоворотах, в которых толклись сучья, солома, арбузные корки.

Спитамен разделся, расправил мешок, вложил в него всю свою одежду и сапоги, надул мешок и затянул отверстие ременной петлей. Меч и копье привязал сверху.

Держа мешок перед собой, он вошел в воду. Скоро дно пропало под ногами, и его понесло течением. Одной рукой он обхватил надутый мешок — турсук; свободной рукой и ногами он загребал, стремясь доплыть до противоположного берега. Ему казалось, что оба берега и камыши бурно уносились назад, а вода оставалась на месте. Медленно, но упорно черная голова продолжала пересекать широкую водную равнину и наконец стала приближаться к противоположному берегу. Ноги коснулись песчаной отмели. Берег был низменный и пустынный. Серые кулики перебегали по мокрому песку и, подхватываемые ветром, взлетали с жалобными криками.

Спитамен ползком пробрался по берегу к более высокому месту и сейчас же сполз обратно под откос. Здесь он развязал мешок и оделся. Все вещи были сухие.

Над берегом слышались голоса. Говорили двое:

— Князья потеряли голову. Все они делают точно для того, чтобы погубить народ.

— Каждый день наши воины проходят мимо.

— А какие воины — кто с топором, кто с колом, а кто и с голыми руками.

— Всех посылают в Бактру, а еды не дают. Каждый должен взять с собой из дому хлеба. Вот по пути они и бросаются на крестьянские огороды, рвут огурцы и арбузы, выкапывают морковь и репу.

— А что же нам останется? Они съедят все наши запасы.

— Говорят, что князья приказали сжечь все деревни, все запасы, весь хлеб — на семь дней пути...

Голоса удалились. Спитамен поднялся и увидел двух крестьян. Они шли, согнувшись под тяжестью мешков, и скрылись за песчаными холмами.

Спитамен шел целый день по раскаленному песку, и в лицо его непрерывно ударял пылью горячий порывистый ветер.

Долго тянулась пустынная равнина. Наконец Спитамен пересек большую дорогу. Там он попал в гущу ревущих верблюдов, бараньих стад, повозок и всадников.

От путников он узнал, что недавно в Бактру приехал сам новый царь царей Артаксеркс, раньше называвшийся сатрап Бесс. С ним была тысяча всадников на прекрасней-

ших лошадях. Сзади ехало столько же слуг. Они везли ковры и палатки и всякие походные вещи. Сто поваров сопровождали караван верблюдов, груженных котлами и большими кувшинами с маслом и вином.

К вечеру пришлось переправляться через бесчисленные каналы с мутной глинистой водой. Впереди горели красные огни; это был город Бактра, прозванный «матерью персидских городов».

Чем темнее становилась ночь, тем ярче вспыхивали кругом огни. Они загорались по всей равнине. Красные языки подымались к небу, и низкие облака окрасились в багровый цвет.

— Это войска царя царей варят себе обед,— говорили путники.— Здесь собралась тысяча тысяч воинов.

— Нет, это воины приносят жертвы добрым богам,— возражали другие.— Это для того, чтобы великий Агурамазда дал победу персидскому мечу.

Но огни становились слишком велики и тревожны.

Вдруг крик пробежал по всей дороге:

— Горят наши селения! Горят склады хлеба! Бесс приказал сжечь всю Бактриану! Проклятие могиле его отца!

— Мы все помрем с голоду! Кто накормит наших жен и детей?

Вся толпа, двигавшаяся по большой дороге, рассыпавшись, побежала. Одни бросились в город, толкая, давя друг друга. Другие повернули обратно, стремясь скорее вернуться в свои селения. Толпа потеряла рассудок. Пастухи, гнавшие баранов, растеряли их в темноте и давке. Всадники понеслись вскачь. Повозки катились в стороны и падали в канавы. Где-то громко звучали трубы, собирая воинов и усиливая тревогу.

Спитамен шел через рытвины рядом с большой дорогой и думал только о том, где бы ему поесть. В стороне он увидел коновязи и ряды костров. Около них сидели воины; отблески огней вспыхивали на медных пластинках их кожаных панцирей.

«Где много людей обедают, всегда найдется кусок для путника»,— подумал Спитамен и подошел к одному из костров.

Сидевшие не обратили на него внимания, но один, стоявший в стороне, одетый, как начальник, в бронзовом изрубленном шлеме, окликнул:

— Ты здесь чего подбираешься, бродяга? Плети захотел?

— Я хочу быть воином.

— Воином? А ну-ка, подойди ближе! Ты копье бросать умеешь? А стрелять из лука? Отбивать удары мечом? — Железная рука схватила Спитамена за плечо и ощупала его мышцы.— Ты говоришь, что все это умеешь? Ладно. Как тебя зовут? Шеппе-Тэмен? Ты, верно, родом из дахов?

— Нет, согд.

— Ну, все равно! Агурамазду почитаешь? Да? Хочешь всякой беды и пакости Ариману? Если все так, как ты говоришь, то отныне ты будешь нашим воином.

Начальник указал на большого рыжего коня, привязанного на приколе отдельно.

— Видишь этого коня? Его хозяин убит. После него остались этот конь и оружие. Ты все это получишь, но уплатишь справедливую цену брату покойника. Конечно, уплатишь не сейчас, а потом. Война кормит воина. Обдерешь одного-другого киликаса — вот и будут деньги. Живот тебе, верно, подвело, так садись к костру — там тебе дадут горсть пшена.

Но, когда Спитамен подошел к костру, несколько голосов закричало:

— Это колдун! Он убил нашего сотника, вяжите его! Он может провалиться сквозь землю и обратиться в скорпиона! Смерть слуге Аримана!

Воины вскочили. Подошел начальник:

— Так это ты убил сотника? Правда ли, что ты колдун?

Расставив ноги, Спитамен стоял, озираясь, как волк, готовый сцепиться с наседающими собаками. Он схватил за горло одного воина и так отшвырнул его, что тот покатился.

— Да, я убил сотника, труса, боявшегося биться со мной один на один. Я задушу каждого, кто скажет, что я слуга Аримана. Да исчезнет он и да будет всегда правда на земле!

— Не слушайте! Убить его, убить! — кричали воины.

— Тебя надо отвести к князю Сатибарзану,— сказал начальник.— Как он скажет, так и будет. Пойдем!

Сатибарзан, в малиновой шелковой рубашке, в зеленых замшевых шароварах и желтых сапогах, лежал на пестрой ковровой попоне. Возле него стояли бронзовое блюдо с виноградом и золотая скифская чаша с вином. Кругом сидели, поджав под себя ноги, несколько воинов и слушали молодого певца. Он наигрывал на семиструнной арфе и пел о подвигах древних богатырей.

— Колдуна привели, вот он, колдун! — кричали воины.

— Тише, не мешайте слушать! — Красивое лицо Сатибарзана недовольно поморщилось.— Тише, говорю я вам! — прикрикнул Сатибарзан.

Воины замолкли, но певец, видно, устал и тяжело переводил дыхание.

— Отдохни, Фирак, выпей вина.— Сатибарзан протянул певцу свою чашу.— Ну, говорите теперь, что это за человек.

— Он колдун. Связанный, скрылся в нору скорпиона, отрубил голову сотнику и улетел, как летучая мышь.

— Ха-ха! Вот это забавный человек, он мне нравится! — воскликнул Сатибарзан.— Давно я ищу такого человека, о котором говорят только в сказках. Ну, сядь рядом со мной. Или ты опять вспорхнешь сейчас летучей мышью? А вино ты пьешь?

— Из твоих рук выпью,— сказал Спитамен и опустился на ковер.

— Правду ли говорят воины? За что ты убил сотника?

— Я убил сотника потому, что он хотел убить меня. Разве я неправильно сделал?

— Постой, я тебя где-то видел. Припоминаю — не ты ли был в царском дворце вместе со скифом Будакеном и уверял, что бил плетью яванов?

— Да, ты меня видел в Мараканде.

— А ты сумеешь влезть в нору скорпиона?

— Для того чтобы поймать киликасов, я пролезу даже в нору очковой змеи.

— Воины! — воскликнул Сатибарзан.— Вот человек, который ищет драки с яванами, а не бежит от них. А вы хотите такого человека убить! С врагами вы или против них? Сотник умер, и пусть душа его счастливо доберется до шести потоков рая. А у нас новый товарищ, и мы скоро увидим, как он ведет себя в бою. Его зовут Левша-колючка. Он левой рукой так же хорошо бьет, как правой, и, как скорпион, ужалит каждого, кто захочет сесть на него. Завтра мы двинемся искать киликасов и не будем больше валяться здесь, как шакалы, которым перешибли хребты.

— Живи, Сатибарзан! Веди нас в бой! — закричали воины.

Фирак поднялся и обратился к Спитамену:

— Постой! Ты не только Шеппе-Тэмен, но ты Спитамен, блистающий своей доблестью, как раскаленный

уголь, летящий во мраке. Друзья, он подарил мне жизнь, когда злодеи бросили меня, связанного, в «башню молчания».

Фирак подошел и коснулся рукой Спитамена:

— Я целую край твоей одежды.

Воины сбегались со всех сторон и указывали на Спитамена:

— Вот этот человек все может сделать и ничего не боится.

— С таким богатырем не может быть неудачи.

Фирак повел Спитамена к костру. Все протягивали ему чаши с вином и растопленным коровьим маслом и старались коснуться рукой его левого плеча, чтобы получить от него часть чудодейственной силы.

ГИБЕЛЬ САТИБАРЗАНА

На рассвете всадники ходили между конями, подвязывая им пестрые торбы с ячменем, затягивали широкими ремнями войлочные потники. Некоторые воины еще спали, и их кони, видя ячмень и не получая корма, рвались с привязей.

Сатибарзан, покрывшись белым шерстяным плащом, всю ночь пролежал, не закрывая глаз. Подперев рукой голову с растрепанными длинными кудрями, он глядел на равнину, где еще пылали дальние селения и черные полосы дыма, как смерчи, вились к небу, слабо относимые ветром.

— Пропала старая Персия, и нет нигде спасения! — шептал он.

К нему подошел молодой слуга и, блеснув зубами, насмешливо бросил:

— Царь царей... улепетывает!

Плащ отлетел в сторону. Сатибарзан вскочил. Слуга держал наготове панцирь и боевой шлем.

— Ты врешь! Раздавлю тебя!

— Гляди сам.

По большой дороге рысью двигалась густая вереница всадников. Топот тысяч ног гудел в тихом утреннем воздухе. Видны были начальники кухонь, палаток, обоза. Главный евнух трясся на разукрашенном муле. Вдали над толпой на длинном древке подымался золотой значок Артаксеркса.

Сатибарзан надел панцирь. Слуга затянул ремни, прице-

пил пояс с мечом, накинул полосатый плащ. Медленно подошел Сатибарзан к краю дороги. Оруженосец подъехал к нему, держа в поводу боевого коня с железной кольчужной сеткой на груди.

Золотистый конь с белой гривой («Подарок Будакена!» — вспомнил Сатибарзан) бежал по дороге крупной рысью, грызя удила, легко выбрасывая упругие ноги. Бесс сидел на нем, закутанный в пурпурный шерстяной плащ; видны были только черные сердитые глаза и нахмуренные брови.

Сатибарзан взял несколько крупинок земли, посыпал себе голову и низко наклонился, воздавая Бессу царские почести.

Бесс задержал коня и поднял руку. Отряд, загремев доспехами, остановился. Сатибарзан подошел к жеребцу, косившему черным глазом.

— Подойди ближе,— пробормотал Бесс.— Я узнал точно, что у македонца мало войска. Я хочу заманить его сюда и здесь прикончить. Я приказал сжечь все селения, все запасы на семь дней пути. До сих пор своими успехами хвастун Искандер был обязан только глупости царя Дария. Нужно завести наглого македонца в непроходимые леса, за глубокие реки, в большие горы, где грекам не только сопротивляться, но и убежать было бы некуда. Как ты думаешь?

— Я слуга твой и должен повиноваться, а не давать советы.

— Я решил отступить дальше, в Сугуду. Ко мне скоро придут хорезмийцы, дахи, саки, не считая других скифских племен, а скифы, живущие за Яксартом, настолько рослы и сильны, что македонцы покажутся перед ними маленькими детьми.— Бесс наклонился к Сатибарзану и сказал шепотом:— Это для нас самое безопасное решение... В случае чего мы сможем убежать и скрыться у скифов.

— Я жду твоих повелений.— Голос Сатибарзана был холодный и равнодушный.

Бесс пристально посмотрел на воина; поняв, что тот скрывает свои мысли, нахмурился и сказал резким, надменным голосом:

— Итак, мы повелеваем: оставайся здесь, чтобы поддерживать порядок. Смотри, чтобы не было резни и грабежей населения, а потом ты вернешься к нам в Сугуду последним.

— О величайший! — сказал Сатибарзан.

Его глаза смотрели в сторону, мимо Бесса, на спутников царя, откормленных пьяниц и льстецов, с которыми Бесс любил проводить пиры и вести «государственные беседы». Приближенные притихли, стараясь услышать разговор.

— Ну, что же дальше?

— Ни великая река, ни горы, ни пустыни не смогут спасти того, кто уходит с поля битвы. Твоей защитой может быть только острие твоего меча.

— Ты смеешь думать, что я не хочу боя с Двурогим?

— Знаешь, что говорят бактрийцы: «Не та собака сильно кусает, которая больше лает». И еще есть у них пословица: «Самые широкие и большие реки текут почти без всякого шума». Я отправляюсь искать македонцев.

Сатибарзан повернулся спиной к царю царей и, не оглядываясь, твердыми шагами пошел прочь.

Взбешенный Бесс искал рукоять меча, но молодой конь, почувствовав гнев седока, прыгнул вперед, чуть не сбросив Бесса.

Сатибарзан вскочил на рыжего жеребца и помчался к своему отряду. Всадники, ждавшие его сигнала, садились на коней и вереницей выезжали на дорогу, ведущую к Седым горам.

Отряд направился сперва на юг, потом на запад. Через несколько дней кони съели весь ячмень, взятый в Бактре. Отряд стал заезжать в селения и забирать хлеб, ячмень и муку. Везде запасов было много: в этих местах еще не свирепствовала война. Сатибарзан бросал крестьянам золото, но те говорили:

— Не надо нам золота. Лучше не берите у нас запасов. С чем мы останемся на зиму?

По вечерам на стоянках Сатибарзан расспрашивал Спитамена о дорогах, и они вместе обсуждали, как перерезать связь македонцев с их родиной и тыловыми частями. Спитамену была дана под начальство сотня всадников. Тут были и горные дахи в волчьих колпаках, со шкурами барсов на плечах, и бактрийцы в плетеных веревочных панцирях.

Спитамен со своей сотней ехал впереди, выбирая дорогу.

Но у того, кто одерживает победы, объявляется много новых друзей. Оплаченные лазутчики и добровольные перебежчики донесли македонскому царю, что большой пер-

сидский отряд появился у него в тылу и угрожает идущим из Экбатаны обозам.

Эстафетная почта, устроенная Александром по всем главным дорогам, спешно развезла его приказы гарнизонам, оставленным в захваченных по пути городах. Македонские отряды начали стягиваться навстречу отряду Сатибарзана.

Около города Артаксаны Сатибарзан наткнулся на македонскую конницу и позади нее увидел густую линию пехоты.

Бактрийские всадники вылетали вперед, гарцевали, задирая македонцев, которые перестраивались и выжидали момент, выгодный для боя. Сотня Спитамена обогнула македонский фланг и сбила нескольких отделившихся всадников.

Сатибарзан выехал вперед и вернул обратно бактрийцев, которые стреляли из луков в неподвижно стоявших врагов. Он снял шлем и громко вызывал охотника биться с ним на поединке. Волосы рассыпались по плечам, панцирь горел в лучах солнца. Его рыжий легкий жеребец как будто тоже был охвачен бешенством, вздымался на дыбы и метался перед рядами врагов.

Тогда выехал вперед македонский начальник Эригий, закованный в бронзовые латы. Конь его был тяжелый, большой, с широкой грудью. Эригий помчался на Сатибарзана, готовясь свалить его. Сатибарзан метнул копье, которое сбило шлем македонца, и у него рассыпались по плечам седые волосы.

— Будем дальше драться! — закричал македонец.— В моих жилах течет молодая кровь.

Опытен и силен был македонец, и верен был полет копья его: острое стальное жало пробило горло Сатибарзана и вышло наружу. Сатибарзан упал, и рыжий жеребец его громадными прыжками понесся по равнине. Македонец задержал своего коня, выдернул копье и вторично хотел поразить Сатибарзана. Но тот привстал, крикнул: «Не хочу жить рабом!» — и, схватив руками конец копья, вдавил железо себе в грудь между сверкающими пластинками панциря.

Тогда вся конница македонцев перешла в наступление. Они неслись неудержимым потоком, крепко держась один около другого, выставив вперед копья. Легкие бактрийские

всадники неслись врассыпную и быстро уходили от тяжелых македонских коней.

Сотня Спитамена наскочила на македонцев сбоку, сбила крайних всадников и повернула обратно.

Часть македонцев бросилась вдогонку. Спитамен скакал последним; задерживая коня и поворачиваясь, стрелял из лука. Несколько македонцев упали, другие начали отставать.

Внезапно всадники Спитамена повернули и снова напали на македонцев. Несколько мгновений продолжалась схватка. Снова бактрийцы понеслись прочь, а за ними на арканах волочились, ударяясь о неровную землю, полузадохшиеся македонские пленники.

Отряд Сатибарзана рассыпался по равнине. Часть была перебита, многие перебежали к македонцам, заявив, что отныне хотят служить царю Искандеру.

Македонцы прекратили преследование, боясь засады. Шагом возвращались они в лагерь, подбирая раненых и убитых, распевая хвалебные песни.

Начальник Эригий снял с мертвого Сатибарзана его боевые доспехи и заявил, что отвезет их в дар царю Александру.

К вечеру собралась только треть бактрийских всадников. Они подняли Спитамена на щите и назвали своим вождем. Десятка два македонских пленных, сильно избитых в скачке, были связаны, тяжелораненые посажены на коней, и отряд двинулся обратно к реке Окс.

Бактрийцы спорили, хорошо ли сделал Сатибарзан, что один вступил в бой.

— Горе толкало его: он оплакивал гибель Персии!

— Его рука дрогнула, когда он увидел старика.

— Лучше, чтобы вытекла кровь, но сохранилась честь.

— Он сам искал аркан смерти.

— А что ты думаешь, Спитамен?

Наступала ночь. Триста всадников перекатывались через гряды скал. Красные отблески заката изредка вспыхивали на окровавленных панцирях, освещали лохматые шкуры, наброшенные на плечи, и триста человек ждали, что скажет Спитамен.

И, когда в глухом гуле сотен копыт резко прозвучал скрипучий голос Спитамена: «Точите ваши ножи на черном камне!..» — триста человек разом подхватили дикую песню и пели ее под храп, топот и ржание жеребцов, пока не погас закат...

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ДВУРОГИЙ НАСТУПАЕТ

В стране персов неприятели прогуливаются свободнее, чем свои люди.

Ксенофонт

НАСТУПЛЕНИЕ

Лазутчики донесли Александру, что вся Бактриана горит, что войска, собранные в Бактре и других пограничных городах, разбегаются спасать свои семьи. Один лазутчик, переходивший несколько раз горы под видом бродяги атравана, клялся, что сам Бесс спешно бежал из Бактры вместе с отборными отрядами и, переправившись через великую реку Окс, приказал сжечь все перевозочные средства — лодки и паромы.

Никто не мог узнать планов базилевса. Казалось, что он решил навсегда остаться в Дрангиане. Он занят был постройкой города Александрии[1] у подножия Паропамиса. Александр получил донесения, что часть македонских офицеров задумала свергнуть — убить его, избрав нового вождя войска. Александр перестал заботиться о городе и целый месяц свирепствовал, казня всех заподозренных в заговоре. Дождями размыло спешно выстроенные жилища.

Начальник конницы Филота, молочный брат, сверстник и друг царя, после жестоких пыток был передан сходу македонских воинов, которые побили его копьями и камнями. К отцу Филоты, Пармениону[2], базилевс отправил с письмом на быстроходных верблюдах трех преданных ему телохранителей, дав им личный приказ, сказанный на ухо.

Когда Парменион стал читать письмо Александра, гонцы, приблизившись сзади, пронзили старого полководца мечами.

Казнив множество близких ему людей, Александр этим не удовлетворился. Он объявил, что для лучшей связи с родиной им устроена эстафетная почта и все желающие мо-

---

[1] Следов этого города не осталось.

[2] Парменион был старым товарищем и другом отца Александра — царя Филиппа; участвовал во всех битвах и занимал высшую должность наблюдателя за правильной связью армии Александра с далекой Македонией. Под начальством Пармениона были все тыловые отряды.

гут послать письма домой. Но, когда войско передало письма, все они были задержаны и прочитаны, и воины, выражавшие недовольство, были выделены в особый штрафной отряд, помещенный под наблюдением вне лагеря.

Этому отряду было объявлено, что в ближайших боях ему придется доказать верность, сражаясь в самых опасных местах.

Утолив немного свой гнев казнями и получив из Македонии несколько тысяч молодых солдат, базилевс решил, что недовольство подавлено и что войско снова беспрекословно исполнит его волю. Ранней весной, когда на горах еще лежал глубокий снег, а днем солнце уже разогревало замерзшую землю, однажды, на обычном вечернем пиру с начальниками частей и приближенными, Александр заявил, что на днях он снова двинется в поход.

— Куда? — воскликнули все.

— Отгадайте!

Все стали спорить. Одни высказывались за поход на Индию, другие — в Бактриану. Некоторые даже говорили, что царь достаточно расширил свои границы и двинется обратно через Кавказ к побережью Понтийского моря [1], чтобы, покорив там скифов, вернуться в Македонию новым путем и построить на родине столицу всемирного царства.

— Это я сделаю, когда дойду до конца земли,— сказал торжественно базилевс,— когда я воткну копье на крайнем, восточном берегу омывающего землю моря, из которого ежедневно выезжает колесница блистающего Феба.

Все поняли, что Александр пойдет на восток, но каким путем — через Согдиану и Серику или через Индию,— никто угадать не мог. По рукам передавался большой круговой «кубок Геракла», и все пили за удачный поход.

Несколько дней Александр занимался гаданиями. Его придворный главный жрец давал неясные, неопределенные предсказания. Александр пошел в храм драгнианских жрецов-огнепоклонников. Они нарисовали священными мелками на полу круги, разделили каждый на двенадцать отрезков и крутились, как волчки, пока не падали в судорогах, с пеной на губах.

Они кричали:

— Ты будешь бессмертен! О тебе написано в книгах

---

[1] Понтийское море — ныне Черное море (Понт Эвксинский).

Авесты! Ты пойдешь по всем землям и даже победишь подземных крылатых драконов, которые пожирают людей.

Из Артаксаны спешно приехал начальник конного отряда седовласый Эригий и привез латы персидского богатыря Сатибарзана. Эригий уверял, что принял поединок с ним, чтобы испытать, кто будет править миром — древняя Персия или молодая Македония. Хотя он годами был в два раза старше персидского богатыря, его рукой будто бы водила летавшая над ним богиня Афина Паллада, и он сам видел, как персидские боги, завертевшись, как клубок змей, покатились по земле; тогда все бактрийские всадники Сатибарзана, испугавшись, обратились в бегство.

Александр, довольный благоприятными предсказаниями, отдал приказ спешно двинуться через долину Панджир к самому восточному из семи горных проходов[1]. В Дрангиане остались только небольшие гарнизоны для поддержания порядка. С Александром двинулось на север около двадцати тысяч пехоты и трех тысяч всадников. Длинный обоз запряженных верблюдами двухколесных повозок и вьючных животных с невыносимым скрипом, ревом и грохотом последовал за войском.

В день выступления солнце сияло на чистом небе. На горной вершине Солянг, близ прохода, в течение многих дней висела серая туча. Проводники говорили, что там в пещере живет колдунья старуха Оджуз. Пока туча дремлет на горе, старуха сердится — там свирепствуют горные метели и снегом завалены все дороги. Когда Оджуз улетит на туче, путники могут отправляться в путь. В день выступления туча поплыла на запад, и снег на вершинах гор ослепительно заблистал.

Александр ехал в широкой восточной одежде, в меховых штанах парачей[2], войлочных сапогах и черном бобровом плаще. Под ним играл крепкий конь, привыкший к горным тропинкам.

Вскоре дорога стала труднопроходимой — всюду лежал глубокий снег.

Базилевс приказал выгнать вперед рабов, чтобы они протаптывали дорогу. Пленные, захваченные в более теплых местах, оборванные и полуголые, быстро слабели, утопая в снегу. Упавших македонцы отбрасывали в сторону от

---

[1] Перевал Хавак, через который караваны обычно направляются в Бадакшан.

[2] Парачи — древнее племя, жившее к северу от Кабула.

дороги, и они замерзали. Взамен уставших из тыла высылались новые партии пленных.

По пути на труднодоступных склонах гор лепились селения диких жителей. Их хижины были сложены из камней, суживаясь кверху. Посредине купола было отверстие для света и выхода дыма.

Македонцы и особенно греки, не привыкшие к сильным холодам, уже на следующий день стали приходить в отчаяние. Они грабили жителей, снимая с них меховые одежды, резали их баранов и заворачивали ноги в свежесодранные шкуры. Они забирались в хижины, чтобы отогреться, и только копьями можно было поднять их для дальнейшего пути.

Войско шло семнадцать дней, пока не перевалило хребет и не спустилось к бактрийским селениям с северной стороны хребта. За это время были съедены все запасы, выпито все вино и масло и перебита для еды половина вьючных животных.

В бактрийских селениях были найдены продовольствие, много скота и запасы зерна, скрытого в обложенных кирпичами ямах. Приказ Бесса о сжигании всех запасов еще не дошел сюда. Македонская армия, как бескрылая саранча, двигалась, пожирая все запасы по пути, отбирая коней, убивая скот и каждого, кто вступал в спор. Жители убегали, спасаясь от чужестранцев.

У подошвы горы, обильной ручьями, Александр выбрал место, подходящее для постройки города[1]. Он оставил там семь тысяч рабов и тех воинов, которых считал неспособными перенести трудности похода. Все земли бежавших жителей были отданы в их владение. Осиротевшие жены и дети попали в рабство новых поселенцев. Предоставив небольшой отдых войску, Александр двинулся дальше, не встречая никакого сопротивления.

БАЗИЛЕВС В БАКТРЕ

Александр приближался к Бактре. Несколько дней перед вступлением в столицу Бактрианы его армия отдыхала и отъедалась в окрестных селениях и по приказанию базилевса чистилась и приводила себя в порядок. Тяжелый переход через горы вывел многих из строя.

На холме перед въездом в городские ворота базилевс

---

[1] По-видимому, следы этого города находятся близ селения Эндераб, лежащего у спуска с Хавакского перевала.

сделал остановку, пропуская мимо себя идущие в боевом порядке отряды. Обозы были оставлены в ближайших селениях. Только личный обоз царя и его походной канцелярии должен был проследовать в город в центральную цитадель, где раньше жил сатрап, правитель Бактрийской провинции.

Теплое весеннее утро, еще охваченные ночным морозом сухие дороги, бодрые песни сытых воинов и, наконец, величественный вид древнейшей персидской столицы, лежавшей покорно у ног завоевателя,— все это привело Александра в радостное настроение. Он сидел на своем старом, по-прежнему буйном вороном жеребце Буцефале, служившем исключительно для торжественных выездов. Жеребец, возбужденный множеством окружающих его коней, звонко ржал, бил передней ногой, грыз удила и натягивал широкий красный повод, сдерживаемый мускулистой рукой всадника.

С холма город казался бесконечным: желтые и красные кирпичные[1] домики тянулись во все стороны, окруженные небольшими садами. Среди домов подымались купола и башенки храмов; над ними вились сизые дымки — там горели священные неугасимые огни, зажженные много столетий назад предками бактров.

Базилевсу донесли, что в городе никаких враждебных войск нет, что совет белобородых старейшин решил встретить завоевателя за воротами города, покорно сдавшись на его милость.

— Эвмен! — обратился Александр к начальнику своей походной канцелярии.— Которую по числу столицу я беру?

— Ты взял их столько, что немудрено забыть! — воскликнул находившийся поблизости и не стеснявшийся лести Перитакена.

— Во всяком случае, не последнюю и даже не предпоследнюю,— ответил Эвмен.

— Впереди еще столица согдов — Мараканда и столица скифов — Роксонаки,— добавил Александр.

Въезжая в городские ворота, Александр остановился. Высокий, высохший, как скелет, старик с жесткой седой бородой, длинной, как хвост лошади, выскочил вперед. Он держал в руках старинные пергаментные свитки.

— Остановись, покоритель мира! Ты бессмертен! Выслушай, что говорят древние книги. Они всё знают, они го-

[1] Такими красными и желтыми кирпичами и ныне усеяна равнина около Балха.

ворят о тебе! Они предсказали твой въезд в Бактру — хранительницу священного огня.

— Пусть говорит,— сказал базилевс, ожидая хвалебных слов.

— «Настанет день, когда небо померкнет от горя, и деревья и травы завянут от смрада гниющих трупов... Придет Афросиаб, кому бог зла Ариман дал бессмертие, чтобы он истребил все человечество...»

— Он безумный, прогоните его! — закричали кругом.

— А ты тоже бессмертный? — спросил Александр.

Он разгорался гневом. Его вороной жеребец заплясал.

— Я тоже бессмертен, но я знаю, как погубить тебя, чтобы спасти праведный народ Авесты. И, когда ты умрешь, черви в три дня съедят твое гнусное тело...

— В каких книгах написано твое предсказание? — яростно прохрипел базилевс.

— Здесь, в священной книге праведного, блистающего мудростью Заратустры! — кричал старик, потрясая свитками.

— Гефестион, я приказываю собрать все эти вредные, бессмысленные книги, о которых говорит этот враг здравого рассудка и чистой философии. Я приказываю сложить все книги в одно место, облить маслом и сжечь вместе с этим безумцем...

Александр хлестнул коня и, опрокинув старика, быстро въехал в ворота. Вопли старика заглушил топот копыт сотен всадников, последовавших вскачь за разъяренным базилевсом.

По обе стороны пути лежали на четвереньках знатные жители города и бесчисленные атраваны, встречавшие по персидскому обычаю своего нового повелителя. Они бросали горсти земли себе на голову и кричали:

— Слава и бессмертие сыну бога, царю царей!

. . . .

Когда суеверный и подозрительный Александр вечером вошел в узкую длинную залу дворца сатрапа, где был приготовлен ужин, он спросил Гефестиона, сожжены ли священные книги.

— Я послал воинов по всем храмам собрать все рукописи и снести их на главную площадь. Они будут сожжены завтра.

— Нет, сегодня ночью!

— Но ты забыл, что здесь, в Бактре, живет много опыт-

ных ученых лекарей, написавших ценные книги о врачевании людей.

— Хорошо, книги об излечении от болезней можно отобрать и все отослать в Афины к моему учителю Аристотелю...

Вмешался и философ Каллисфен, постоянный спутник Александра:

— Великий царь, здесь есть не только бессмысленные книги о суевериях и обрядах варваров, не знающих истинных эллинских богов, но имеются также книги и летописи с описанием прошлого народов. Разве не ценны книги по истории?

Льстец Перитакена прервал:

— Ты забыл, Каллисфен, что настоящая история началась только с рождения бессмертного царя царей Александра. Поэтому сдвинем кубки, чтобы и дальше покрывал себя лаврами победы единственный, никем не превзойденный победитель и покоритель всего мира — царь Азии Александр.

Всю эту ночь на площади горели костры. На них было сожжено двенадцать тысяч выделанных воловьих шкур, на которых были написаны древнейшие сочинения бактрийских мудрецов и ученых. С ними сгорел старый безумец атраван, выкрикивавший заклинания, чтобы погубить «слугу Аримана — злодея Искандера».

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ОКС

Когда разведчики македонской армии пробрались к берегам реки Окс, они увидели на месте переправы только растрепанные шалаши из плетенок и не нашли ни одной лодки. Они вытащили из оврага полуголого старика в синих шароварах. Он кричал и бранился, что бродяги, не уплатившие за переезд, захватили его лодки и угнали их на ту сторону. Мимо разведчиков, недалеко от берега, стремительно пролетела черная лодка, нагруженная людьми и лошадьми. Македонцы кричали, чтобы те пристали к берегу, и пустили в них стрелы, но лодка быстро удалилась, направляясь к другому берегу.

Александр вышел из Бактры со всеми боевыми предосторожностями, высылая по сторонам пути конных и пеших разведчиков. Он опасался засады и внезапного нападения бактрийской конницы, издревле прославленной в персидских войнах бесстрашием и лихими налетами.

Получив известие, что на берегу реки нет признаков неприятеля, Александр быстро прибыл к месту переправы и приказал развести на холме костры, чтобы уставшие, растянувшиеся по песчаной дороге отряды ободрились, видя, что им уже недалеко до лагеря.

Базилевс, поднявшись на холм на вороном коне, блистая начищенными бронзовыми латами, с красным плащом за плечами, долго вырисовывался на потухающем небе, освещенный заревом костров. Он выжидал, пока самые задние части армии не вошли в лагерь, где рабы уже растягивали кожаные палатки. Александр сам объехал место стоянки, выслал кругом сторожевые посты и только поздно ночью вошел в свой пурпурный, шитый золотом шатер, отобранный у царя Дария. Всю ночь он требовал к себе начальников отрядов, совещался с ними, сам допрашивал лазутчиков.

На рассвете конные отряды помчались обратно в Бактру и в ближайшие поселки. К полудню стали прибывать вереницы бактрийских поселян. Они везли на верблюдах и ослах груды шестов, досок и кожаных турсуков, в которых обычно хранилось вино. Бактрийцы, подгоняемые бичами и обещаниями награды, быстро стали связывать небольшие плоты[1] из надутых воздухом турсуков, покрывая их хворостом и циновками.

Эти маленькие плоты соединялись по нескольку вместе. На них расположились стрелки, пращники и щитоносцы. Бактрийские крестьяне должны были грести и управлять плотами.

Завернувшись в алый плащ, Александр сидел около шатра на складном кресле и наблюдал, как плоты отделились от берега и понеслись по реке. На другой стороне реки смутно виднелись небольшие группы быстро передвигавшихся всадников.

Александр вставал, ходил взад и вперед по холму, ожидая первых результатов переправы. Но вскоре раздались крики:

— Плывут обратно!

Плоты спускались сверху, куда их подтянули против течения бечевой. На первом плоту выделялись яркими, нарядными одеждами несколько персов. Перевозчики старательно гребли короткими веслами и пристали около лагеря. Несколько персов, завернув платье выше пояса, выпрыгну-

---

[1] Такие плоты, так называемые «гупсары», в недавнем прошлом все еще встречались в верховьях Амударьи.

ли с плотов прямо в воду и поспешно направились к базилевсу. Упав на колени, персы прокричали приветствия и протянули Александру пергаментный свиток. Эвмен, начальник канцелярии, взял свиток и прочел вслух Александру:

— «Мы, Датаферн и Катен, потомственные владетельные князья Сугуды, извещаем блистательного царя царей, владыку Персии Александра, что мы можем передать ему из рук в руки живым цареубийцу, злодея, наглого захватчика царской короны Бесса, если только Александр пришлет в город Наутаку[1] кого-либо из своих вождей с некоторым числом войска. Живи и царствуй много лет!»

Александр вскочил, схватил свиток и быстро прошел в свой шатер. Там он, обращаясь к небу, воскликнул:

— О бессмертный Зевс, властитель судьбы людей! Ты действительно следишь за подвигами твоего сына и убираешь камни с пути его славы. Я обещаю принести в жертву сто быков и построить по всей Персии сто храмов, чтобы и днем и ночью славилось твое имя.

Несколько македонских начальников вошли в палатку и выстроились при входе в ряд. Александр оторвался от карты, лежавшей на коленях, и обвел внимательным взглядом своих запыленных, обожженных солнцем помощников.

— Птоломей, сын Лага,— обратился базилевс к коренастому, мускулистому македонцу с суровым, окаменевшим лицом.— Я тебе поручаю дело, которое могу доверить только очень близкому другу. Если ты его выполнишь, то покроешь себя бессмертной славой. Ты отправишься вперед, по враждебной стране, в город Наутаку. Там ты захватишь цареубийцу Бесса и живым доставишь его ко мне. Я дам в твое распоряжение три гиппархии[2] македонских этэров, всех конных копьеносцев, тысячу щитоносцев и половину стрелков. До Наутаки обычно идут десять дневных переходов, но ты должен сделать путь в четыре дня. Бойся засады и ловушки и не доверяй обещаниям персов! Я буду следовать за тобой со всей остальной армией. Да хранят тебя Геракл и бессмертные боги!

— Но где главные силы Бесса? Где можно ожидать битвы?

Александр указал рукою вдаль:

---

[1] Упоминаемый летописцами Александра город Наутака, по мнению исследователей, был на месте городов Шахрисябза, Шара или Карши.

[2] Гиппархия равнялась приблизительно современному полку.

— Орлы, летающие над горами, да всевидящее око солнца могут сказать это.

Гефестион, побывавший на той стороне с первыми плотами, заметил:

— Главные силы Бесса, наверное, собрались в кулак где-нибудь на главной дороге, в глубине Согдианы. Мы видели на том берегу только группы отдельных всадников. Все они ушли, как только наши стрелки стали их сбивать стрелами. Поднявшись на холмы, они оттуда следили за нами и потом скрылись.

— Они нарочно нас заманивают в глубь Согдианы,— сказал базилевс.— Там имеется страшное ущелье — Железные ворота, где можно скатывать с гор камни и перебить любое войско, которое захочет пройти этой тесниной. Но нам помогает сам Зевс Громовержец. Что же может остановить нас?

БУДАКЕН В НАУТАКЕ

Будакен, не замечая времени, проводил беспечно день за днем в саду Талиссия, ведя лукавые осторожные разговоры с согдскими князьями и персидскими сановниками, приходившими выразить свое восхищение его силой и «ста одиннадцатью добродетелями».

Три зимних месяца Будакен провел в Мараканде гостем царя царей. Они часто вместе ездили на охоту в заповедный зверинец, окруженный высокой стеной. Там на свободе жили звери, привезенные со всех концов Персии: желтые косматые львы, пятнистые пантеры и полосатые тигры. Рабы криками и ударами в медные щиты выгоняли зверей на линию охотников, которые между собой соперничали в отваге, ловкости и умении метать копье.

Празднества не прекращались; Бесс с Будакеном ездили в усадьбы князей, где устраивались роскошные пиры и охота с соколами и борзыми.

Однажды к Будакену прибыл вестник от Сатибарзана сказать, что он уезжает по поручению царя царей. Ему перестали присылать из царской кухни большие блюда с жареной бараниной и курами, начиненными абрикосами.

Приставленный к нему переводчик объяснил, что царь внезапно выехал в Бактру. Будакен подумал, не вернуться ли ему обратно в родные степи, но он все еще надеялся найти способ помочь Сколоту. Его проводник Спитамен исчез, и никто не знал, что с ним. Будакен выжидал. Его

воины ничего не делали, валялись на коврах и пели песни.

Не зная, чем заняться, Будакен каждый день стал разъезжать по городу, а под вечер ходил на площадь в центре базара, когда там затихала торговля, темнело и начинались представления. Он втискивался с двумя скифами в густую кричавшую толпу, расталкивал встречных, пробирался в самую середину площади.

Будакена пропускали на почетное место, и он сидел на деревянных нарах под кирпичными сводами среди самых известных купцов. В темноте горели глиняные плошки с маслом и сальные свечи, прилепленные к выступам стен. Грызя фисташки и миндаль, он смотрел, как на подмостках пляшут мальчики, извиваются как змеи артисты, вымазанные мукой и сажей, подбрасывают и ловят сразу несколько горящих факелов и глотают и изрыгают горящую паклю.

Через несколько дней приехал гонец от Датаферна, хранителя царской печати. Он передал Будакену приглашение царя прибыть к нему для важных переговоров в Бактру. Будакен, довольный, что он увидит еще одну столицу и будет ему о чем рассказать в степи, немедленно поднял своих скифов и отправился в путь.

Он ехал мимо тщательно возделанных полей, бесконечных садов и виноградников, где ни один клочок земли не оставался необработанным. Привыкший к бесконечным песчаным или каменистым степям, Будакен поражался роскошью зелени встречавшихся долин. Фруктовые сады, осыпанные, как снегом, белыми и розовыми цветами, сменялись нивами, где зеленели первые всходы. Горные обильные ручьи и арыки, орошавшие пашни и сады, приносили жизнь и плодородие бесчисленному населению, которое, как муравьи, трудилось на полях: одни пахали на быках, другие кирками разрыхляли землю. Длинные караваны из сотен вьючных животных тянулись по дороге, направляясь к Наутаке: там, говорили, царь решил сделать свою новую столицу и приказал отовсюду свозить и хлеб, и розовую горную соль, и хлопок, и зынгыр[1], и кожи, чтобы прокормить и одеть войско, которое готовилось к борьбе с заморскими хищниками.

— Отсюда можно хорошо править Сугудой и не бояться

[1] Зынгыр — лен.

врагов,— сказал Будакен, увидев с перевала город, обнесенный тремя линиями зубчатых стен.

— Конечно, можно бы,— подтвердил провожатый,— но только в том случае, если бы князья меньше ели и перестали без конца обнимать глиняные кувшины со столетним вином.

Посреди города возвышалась угрюмая цитадель с несколькими круглыми башнями. Домики, рассыпанные вокруг цитадели, утопали в садах, цветущих белоснежным урюком и розовым миндалем.

Будакен проехал через речку по деревянному мосту и попал в шумную толпу. Широкое поле, где раньше были виноградники и арбузные бахчи, было истоптано бесчисленными группами крестьян, прибывших со всех концов Бактры и Сугуды. Они сидели и лежали вокруг дымящихся костров, бродили по всем направлениям, несли вязанки хвороста, колючек и репейника или тащили за рога упирающихся козлов и баранов.

По дорогам военные патрули опрашивали шедших: некоторых пропускали, других прогоняли обратно.

— Это славное войско царя. Только оружия пока нет,— объяснял проводник.

«И порядка тоже...» — подумал Будакен.

Близ городских ворот возвышались высокие кладки набитых зерном мешков. Пришедший караван верблюдов разгружал привезенный ячмень, высыпая его из мешков прямо на землю. Около него происходила свалка: несколько воинов колотили плетьми толпу, которая напирала с криками: «Хлеба, хлеба!»

— Но ведь хлеба довольно? — спросил Будакен.

— Каждый день приходит тысяча верблюдов с хлебом, но и людей сколько! Пекаря не успевают печь, и голодные люди кормятся только пшеницей, поджаренной на раскаленных камнях.

Они въехали в ворота. Несколько часовых схватили коней под уздцы, расспрашивая, кто едет, давно ли из Мараканды и правда ли, что Двурогий прилетел туда в виде змея с гребнем на спине, кружил над городом и улетел в горы.

Будакен ехал вдоль улицы, оказавшейся одной непрерывной мастерской. По обе стороны полуголые кузнецы колотили молотками, выделывая наконечники копий и мечи. Пыхтели кожаные мехи, раздувая горны; яркие искры летели под ударами молотов. Стон, лязг и грохот металла звучал несмолкаемым гулом.

Всадник на высоком тощем жеребце с большим персидским луком на боку приблизился к Будакену. С удивлением Будакен узнал в нем Спитамена. Охотник, глядя в сторону, перегнулся с коня и шепнул по-сакски:

— Если ты хочешь вернуться и увидеть родные степи, не расставайся со мной.— Он оглянулся кругом и добавил:— Может быть, ты увидишь также своего сына.

Будакен, всегда невозмутимый, теперь вспыхнул надеждой. Лицо его исказилось. Он ухватился сильной рукой за плечо Спитамена и, задыхаясь, зашептал:

— Где он? Здесь? В этом городе?

Спитамен указал на оружейников и небрежно ответил:

— Здесь базар. Может быть, ты купишь хороший новый меч? Это все искусные мастера. Смотри, как они ловко закаляют сталь.

Около них кузнец держал большими щипцами раскаленное добела лезвие меча и разом окунул его в глиняную бадью с маслом; оттуда вырвался вихрь пламени и черного дыма. Два раба прикрыли бадью глиняной крышкой и затушили пламя. Кузнец осматривал потемневшее, переливающееся лиловыми пятнами лезвие.

— Мы встретимся на площади перед воротами, ведущими ко дворцу Бесса, сегодня при заходе солнца.— Спитамен тронул коня, и толпа их разделила.

. . . .

Перед заходом солнца Будакен подъехал к воротам, ведущим ко дворцу.

Старый крестьянин подошел к нему и, сложив руки на груди, поклонился:

— Спитамен ждет тебя. Следуй за мной.

Будакен направил коня за стариком, который лавировал в толпе и кричал встречным:

— Дайте дорогу гостеприимцу [1] царскому!

Толпа расступилась, громко высказываясь о росте, красоте коня и странной для них одежде сакского князя.

Крестьянин пробирался извилистыми узкими улицами, прошел городские ворота и, перескочив канавку, направился через поле, где горели костры призванных на войну. За Будакеном следовали два конных скифа.

Они прибыли к маленькому дому, окруженному садом. Кругом него на приколах стояли навьюченные кони, и вдоль

---

[1] В древней Персии был особый титул «друзей», «гостеприимцев» царя.

глиняного забора лежали люди. К стене были прислонены копья и топоры.

Крестьянин взял за уздцы коня Будакена и пригласил его слезть. Он впустил Будакена внутрь сада, захлопнув калитку перед носом скифов.

Под старым деревом, обвитым до самой вершины стеблями виноградной лозы, на коврике сидели Спитамен и с ним несколько человек. Будакен узнал сторожа Кукея с пробитым носом, из которого торчал клочок хлопка.

Спитамен вскочил и направился к гостю:

— Садись сюда, дорогой гость, я буду говорить с тобой, как с родным дядей.

По знаку Спитамена все собеседники встали и ушли внутрь дома. Крестьянин принес на глиняном блюде несколько лепешек и гроздей увядшего, провисевшего всю зиму винограда. Спитамен помолчал и скосил глаза.

— Если ты не хочешь сделаться македонским рабом, ты должен уехать из этого города. Бесс потерял разум, коснувшись царской тиары и сев на большого коня, которым не может управлять. Все, что делает Бесс, только помогает Двурогому. Он призвал народ защищать страну, но сам сидит во дворце и пирует с блюдолизами, а воины не получают хлеба и не знают, кто их поведет на бой. Они разбегаются по домам. Бесс обратил наших богатырей, наших львов, в стадо баранов. Войско Бесса теперь — это сырое тесто, которое нож Двурогого может резать и кромсать, как он хочет.

Будакен смотрел на Спитамена пристальным, недоверчивым взглядом: «Не изменил ли он? Не лазутчик ли это Двурогого? Почему он так его восхваляет?»

— Бесс прибежал сюда обратно из Бактры без надобности, уведя войска и всполошив всех. Он ищет врагов вокруг себя и не знает, что главные его враги — он сам и его князья.

— Что же надо делать? — спросил невозмутимо Будакен.

— Тебе — ехать в свои степи и готовить отряды всадников. Ты увидишь, что ненасытный в крови Двурогий захочет пройти и туда и показать, что нет преграды для его копья.

— Пусть сунется к нам...— проворчал Будакен.— Куруш тоже был у нас и потерял голову. А что же ты будешь делать? Ты упадешь в прах перед Двурогим?

Спитамен почувствовал насмешку в словах Будакена.

— Тот, кто не хочет чужеземного ига, должен взять секиру и сбить врагу рога. У кого в груди бьется свободное сердце, а не звенит потасканная иноземная монета, не допустит, чтобы македонцы и яваны захватывали наши дома, убивали мужчин и обращали в рабство наших жен и детей. Бактрийцы не подняли вовремя меча в ущельях гор — и они уже бегут оттуда от македонских плетей и собираются в горах, чтобы резать македонцев на всех дорогах. Но теперь поздно, когда явана уже сидят в бактрийских домах.

— Ты думаешь, что он и к нам придет?

— Он придет туда, где мужчины упадут перед ним на брюхо и будут просить пощады. Но есть мужчины с львиным сердцем, которые хотят драться. Смотри, сколько молодцов собралось здесь! Нас уже несколько сот человек, и каждый день приходят новые отчаянные головы.

Будакен молчал. Ему представился его сын в цепях, идущий за македонской повозкой.

— Ты сказал, что я могу увидеть сына?

— Если перед тем, как вернуться в степи, последуешь за мной. Наш отряд уйдет в горы ловить македонцев, когда они начнут наступать сюда... А мы с тобой пойдем навстречу Двурогому.

— Ты обезумел?

— Почему? Ты оденешься бедным пастухом, я — тоже. Мы погоним десятка два баранов прямо в македонский лагерь, и там ты увидишь своего сына. Теперь в дороге ему убежать легче. Может быть, мы сумеем освободить его. Я пойду, а ты делай как хочешь.

— Я пойду с тобой.

— Я ожидал, что ты так скажешь. У меня есть одежда крестьянина, большая, как конская попона, и сегодня же мы выйдем по дороге к реке. А своих воинов отправь с конями в Курешату, и пусть там ждут тебя. Ты вернешься горами и там найдешь их.

— Теперь мне будет о чем рассказать в степи,— сказал Будакен,— если только я принесу целой мою голову.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА

Два путника брели по горной тропинке. По одежде они казались поселянами: шерстяные армяки, выцветшие желтые повязки и поверх цветных онучей кожаные лапти. Они гнали толстокожего старого осла, навьюченного мешками, и

десяток курдючных овец, хватавших на ходу редкие кустики полыни и солодки.

Дорога все поднималась. По склонам гор рассыпались группы мелколистного клена, арчи и фисташек.

На перевале одиноко взгромоздилась пятисотлетняя развесистая арча. Ее корявые ветви с темно-зелеными клочьями хвои искривленно растопырились во все стороны, и ветер играл цветными лоскутками, которые нацепили неведомые прохожие.

От каменистой дороги и голых скал веяло палящим зноем. Один путник, большой и грузный, как медведь, опустился на камни под арчой, другой — поднялся на выступ скалы. Солнце уже спускалось к зубчатым, рваным вершинам гор, и снежные полосы по глубоким трещинам казались кровавыми потоками. Даль закутывалась в фиолетовый туман.

— Теперь мы близко. Вот там, где эти черные скалы, находятся Железные ворота.

— О Левша, зачем я послушался тебя! — стонал лежавший.— Три двенадцатилетия протекли с тех пор, как я мог пешком, точно волк, гоняться за козами. Теперь я из одной своей юрты в другую езжу верхом. О Папай, дай мне снова скорей сесть на коня!

— Ойе! — донесся издали крик.

Внизу, на склоне горы, крестьянин, держа рукоятку омача, шел за маленькой коровенкой и ослом. Крестьянин посматривал в сторону путников и что-то кричал им. Дойдя до конца узкой, извилистой запашки, он выдернул омач и, легко прыгая с камня на камень, стал подниматься вверх. Завернутый в обрывки истлевшей овчины, молодой пахарь с добродушной улыбкой подошел к путникам:

— Куда вас ноги несут? Жизнь вам не мила? Теперь все бегут оттуда, от Большой реки.

— Зачем же они бегут?

— Зачем бегут? Конечно, надо сидеть на своей земле и сеять хлеб.— Крестьянин посмотрел на свои узловатые, корявые пальцы.— Я нашел себе место вó какое! Хороший ячмень будет. А по мне, пустяки, что там воюют. Эта война, как буря с градом, пронесется мимо, и опять солнце будет светить нам, пахарям.

— Значит, дело есть, если мы сами лезем в костер.

— А вы останьтесь здесь, со мной. Я вам покажу землю, да еще какую жирную — прямо целина, от века никто ее не пахал. А вашего осла мы припряжем к моей скотине,

да и вы оба поможете тянуть омач. Вот мы и вспашем новый участок и к осени будем с хлебом.

— А до Железных ворот еще далеко?

— Они начинаются сейчас же за тем перевалом. Там всегда была застава. Если сторожа еще там и вас не пропустят, то можно пройти кругом козьими тропками. Там проберутся и бараны, и ваш осел.

— А ты бы мог нас провести этими тропками?

— Отчего бы нет! Только сейчас не могу: у меня размыло канаву. Надо ее починить: вода идет мимо пашни. Если вы мне поможете поправить канаву, я завтра же вас проведу.

— Ладно,— сказали путники.— Мы тебе поможем сегодня, а ты нам завтра.

Крестьянин поднял прилегших в тени овец, и все осторожно начали спускаться по склону горы.

Они упорно весь вечер работали над канавой, проведенной вдоль ската горы из ручья. Они закладывали края канавы камнями, хворостом и дерном, чтобы ввести воду ручья в нужное им русло. В этой работе они забыли и войну, и страшного Двурогого, занятые одной только мыслью, чтобы вода им покорилась и перестала размывать потоками каменистый скат.

К ночи крестьянин привел обоих путников к своей хижине. Она была очень мала, сложена из камней, с плоской крышей, заваленной хворостом. Внутри почерневшие от копоти стены блестели, как каменный уголь. В трещинах ждали добычи громадные бурые тараканы и бесчисленные тощие клопы.

Оба гостя легли снаружи на войлоке, развесив на шесте мокрую одежду.

Маленькая подвижная жена крестьянина, с длинным носом и любопытными блестящими глазами, принесла горшок с вареной джугарой и вяленые бураки.

Когда совсем стемнело и шакалы запели свои тягучие молитвы, вдали запылали красные огни. Они усиливались, и багровый дым столбом поднимался к небу.

— Это же горит наше селение Чакчак! — закричал крестьянин.

— Это солома горит, зерно горит! Шерстью запахло. Это крестьянский скот горит. Горе всем нам!..

. . . .

— Здесь царство злого Аримана. Куда мы идем?— оглядываясь, громко говорил Будакен.

Красные скалы острыми зубцами поднимались кругом, и среди них резко выделялись снежные белые купола[1], точно слепленные руками таинственных дивов.

Дорога, шедшая по песчаному дну мелкого ручья, то поднималась к обрывистому карнизу, лепилась по склону горы, то снова опускалась на дно ручья, пока ее не перегородил поперечный скалистый хребет.

— Где же дорога дальше?

— Вот там, где гора треснула,— крестьянин указал на узкую щель в высокой черной скале, точно кто-то мечом рассек ее на две части.

Путники вошли в мрачный извилистый коридор. Глыбы черного камня нависли над ними, готовые рухнуть и раздавить их. Было темно и сыро.

Щель была шириною около пяти-шести шагов. Она то расширялась, то опять суживалась.

— Постойте, дальше идти не надо,— прогудел Будакен.

«...надо!» — повторило эхо.

Все остановились. Ни одного звука не доносилось из глубины ущелья.

— Разве не весело побывать в аду? — сказал Спитамен.— Не бойся, я же обещал тебя вывести из ада, и даже незакопченным...

— Но отчего такая тишина?— говорил крестьянин, прислушиваясь.— Здесь всегда шум, крики, ревут ослы, проходят караваны... Где же люди? Сейчас будут Железные ворота, идем дальше.

Овцы опять застучали копытцами по камням. Будакен, переваливаясь и сопя, шагал, со страхом глядя на множество маленьких пещер, выбитых в отвесных скалах. «Это жилища злых духов»,— думал он.

Впереди проход загородили большие темные ворота, сложенные из массивных бревен, обитых железом. Здесь скалы сходились так тесно, что маленькая кучка воинов смогла бы удержать целое войско. Старые тяжелые ворота, прикрепленные к тяжелой каменной кладке, стояли полураскрытыми. Стоявшие вдоль прохода три домика были безмолвны, двери вырваны, валялись корзины, солома, разбитые черепки. Все говорило о безлюдье и поспешном бегстве.

— В этих домах жили сторожа, они собирали пошлину с проходящих караванов. Но все они испугались и убежа-

---

[1] Белые бугры из гипса и соли существуют в этом месте и в настоящее время.

ли. А чего бояться? Мы, крестьяне, боимся только неурожая. А кто будет сидеть у нас на шее — согдский князь или бактрийский,— не все ли равно?

— Переждем немного,— предложил Будакен.

Он подошел к воротам, тронул одну створку — она издала хриплый стон, и зазвенели подвешенные на проволоке железные колокольчики.

— Тише, едут!

Издалека послышался шум. Он усиливался, наполняя гулом ущелье. Пощелкивали удары копыт о камни, звенело оружие. Все покрыло звонкое ржание коня.

Из-за поворота извилистого ущелья вылетело несколько всадников.

Их бронзовые панцири, длинные копья, красные плащи и конские хвосты на гребнях шлемов — все это было чуждо и непохоже на бактрийских и согдских воинов. Всадники бросились вперед вскачь, влетели в ворота и остановились.

Из глубины ущелья появились новые группы воинов.

Бараны шарахнулись в сторону и с блеянием сбились в одну кучу.

Первые всадники объехали домики и вернулись к воротам.

— Кто ты такой?— спросил Спитамена рыжебородый обветренный всадник, напирая на него большим тощим конем.

Спитамен сложил руки на груди, подражая жестам крестьян, и с видом скромной покорности ответил:

— Ищущий хлеба. Гоним продавать баранов.

— А кто эти люди?

— Крестьяне. Мы идем вместе.

— Где сторожа Железных ворот? Почему никого нет?

— Откуда мы знаем! Мы идем этой дорогой, в Чакчак, и остановились спросить, кому же надо заплатить за перегон баранов через ворота. Если мы не уплатим царской пошлины, нас накажут.

— Платите мне! Я возьму вместо пошлины половину баранов, а другую половину я тоже возьму.

— Даром я не отдам баранов: я бедный человек,— сказал Спитамен.

— А ты кто? — спросил всадник, хлопнув плетью по плечу Будакена.

— Тоже крестьянин. Половина баранов его, половина моя. Я тоже ищу хлеба.

Всадник отстегнул от пояса кошель и достал серебряную монету:

— Возьмите и никуда не отходите.

Будакен держал на широкой ладони монету и с любопытством ее рассматривал. На ней была изображена голова кудрявого юноши, прикрытая шкурой. На виске завивался бараний рог.

— Это кто же здесь изображен?

— Ты должен отныне знать его. Это царь Азии Александр. Он сын бога, и все должны ему покориться. Эй, Архелай, возьми-ка этих бродяг, свяжи их вместе.

Македонские всадники, как только соскочили с коней, повалились на камни, не снимая лат, замотали поводья на руку и заснули вповалку.

Около ворот, на выступе скалы, застыл в неподвижной позе часовой. Тут же сидели спиной друг к другу оба «бродяги». Их локти были крепко скручены.

— Это ты, злодей, привел меня сюда! — шипел Будакен.

— Не торопись умирать: песня Спитамена еще не допета. А наш крестьянин-то убежал. Лишь только показались всадники, он разом повернулся и так понесся по дороге, что только пятки замелькали.

— Не разговаривайте! — прикрикнул часовой.

МЕСТЬ ЦАРЕЙ

Начальник отряда приказал пяти всадникам отправиться дальше на разведку. Сам он сидел на камне и, положив кусок пергамента на колено, писал:

«Птоломей, сын Лага, царю Азии Александру, сыну Филиппа (желает) радоваться. С передовым отрядом в сто всадников мы ворвались в ущелье, называемое Железные ворота. Наша стремительность и величие твоего имени, которое летит впереди твоих войск, обратило в бегство всех бесчисленных защитников непроходимого ущелья. Я захватил в стычке множество пленных. Их показания сообщу со следующим гонцом. После краткого отдыха отправлюсь дальше, по главному пути к Наутаке. Приезжай скорее, по-видимому, путь свободен. Да хранит тебя Зевс Вседержитель!»

Птоломей свернул пергамент, завязал шнурком. Размяв в руке кусок воска, он прилепил его к концам шнурка и придавил перстнем с вырезанным на нем изображением Афины Паллады. Подошел воин с исхудавшим, потемнев-

шим лицом. Птоломей бросил письмо на землю в знак того, что оно должно быть доставлено немедленно. Воин положил свиток в кожаный шлем и, надвинув его на лоб, застегнул ремень под подбородком. Он вскачь пустился по ущелью, и эхо раскатилось сухим грохотом, повторяя удары копыт.

Спитамен был привязан к широкой спине скифского князя, который дремал и покачивался, пока не свалился на бок, потянув за собой и Спитамена.

«Сон утешает в горести и дает силы уставшему»,— сказал себе Спитамен, лежа на боку и чувствуя, как немеют руки, как мучительно впились в тело веревки. Голова, наливаясь кровью, свесилась набок. Спитамен заснул. Ему снились облака, обросшие рыжеватой бородой. Эти облака обратились в громадные головы в бронзовых македонских шлемах; у них разевались рты, и туда неслись, выставив вперед копья, скифские всадники...

Шум в ущелье заставил Спитамена очнуться.

На дороге стояли несколько знатных персов. Лучи солнца, упавшие сверху в темное ущелье, ярко осветили края длинной малиновой одежды.

Спитамен узнал приближенных Бесса, неотлучно окружавших его во всех пирах и поездках. Это был старый толстый Датаферн, с бритыми щеками и выкрашенной хною бородой, и наглый всесильный любимец царя Катен, молодой, непобедимый в пьянстве.

В стороне слуги держали разукрашенных коней. Но куда же девались прежняя заносчивость и высокомерие знатных сановников? Заискивающие и почтительные стояли они перед начальником македонского отряда, приседали и касались концами пальцев земли.

В стороне от них стоял высокий человек, весь до глаз закутанный в шерстяной пурпурный плащ. Обыкновенный персидский войлочный колпак был надвинут на лоб до разрисованных удлиненных бровей. Черные глаза внимательно и беспокойно следили за говорившими.

Птоломей, вытянувшись по-военному, с непроницаемым, холодным лицом говорил:

— Я уже сказал вам требование царя. Вы должны не забывать своих персидских законов. Если царь что-либо сказал, то потом он своих решений не отменяет. Поэтому поторопитесь исполнить его волю.

— Слушаем, светлейший! Понимаем, величайший! Будет так сделано, о необычайный!

Сановники несколько раз поклонились Птоломею и затем

набросились на одиноко стоящего высокого человека. Он сопротивлялся, отталкивал персов ногами и кричал тонким голосом. Тогда персы подозвали на помощь слуг и содрали с высокого человека плащ, длинную одежду и широкие шелковые шаровары.

Это был Бесс. Он остался голым, в одних расшитых жемчугом красных сандалиях и войлочном колпаке.

— Пусть стоит здесь,— указал Птоломей на широкий камень под черной скалой,— а вы будете стоять рядом.

Из глубины ущелья донеслись трубные звуки. Лежавшие воины вскочили, стали оправлять на себе доспехи и выстроились в ровную линию.

Сперва показались македонские этэры в блестящих медных латах. Они держали копья стоймя и ехали по трое в ряд. За ними тройка белых коней с красными перьями между ушами везла маленькую двухколесную раззолоченную колесницу. Колесница с бронзовыми ободьями подпрыгивала на неровной дороге. Лошадьми правил возница-негр, припав на колени, а около него стоял коренастый воин с красивым, выбритым, надменным лицом. Над стальным шлемом развевались крылья белой цапли. В руке он держал два коротких копья.

Воин окидывал взглядом скалы, Железные ворота, скользнул по рядам воинов, кричавшим: «Слава Александру богоподобному, базилевсу Азии!»

Наконец прищуренные глаза остановились на большой пухлой фигуре Бесса, выделявшейся на фоне черной скалы. Бесс отвернулся, закрываясь руками. По щекам его текли слезы, и плечи судорожно вздрагивали.

Колесница остановилась; за ней, прогремев, остановились и всадники.

Хриплый, полный ярости голос Александра пронесся по ущелью, отдаваясь в мрачных, нависших скалах:

— Наконец ты предо мной, жалкий беглец, хвастун! Говори, как осмелился ты схватить назначенный мне богами венец царей Персии? Говори, какое собачье бешенство толкнуло тебя заключить в оковы и потом убить добрейшего царя Дария, твоего родственника и благодетеля? Не для того ли ты все это сделал, чтобы присвоить себе украденное звание царя царей? Отвечай! Говори же, проклятый богами!

Бесс, вздрагивая, захлебываясь от слез, говорил:

— Я... объявил себя... царем... только для того... чтобы передать царство тебе... славному Александру. Если бы я

этого не сделал... то царским венцом овладел бы другой!..

— И ты осмелился сказать это? Кто дерзнет протянуть руку к царскому венцу? Им может овладеть только сын бога. Где князь Оксафр?

Из рядов свиты, следовавшей за колесницей, выехал толстый, с обрюзгшим лицом Оксафр, брат убитого царя Дария. Он тяжело сполз с коня, подхваченный слугами, и неуклюже подошел к Александру, от долгой езды с трудом двигая ногами.

— Оксафр, вот убийца твоего брата Дария! Я дарю его тебе. Ты отомстишь ему: отрежешь нос и уши, затем распнешь на стене и будешь медленно пронзать копьем.

Оксафр с важностью подошел к высокому Бессу и, ругаясь, стал хлестать его плетью, со страхом отпрыгивая при каждом движении Бесса.

Александр повернулся к персам, которые привезли Бесса; они держали большое блюдо, покрытое куском парчи. На нем лежала круглая, как тыква, золотая корона персидских царей, украшенная цветными сверкающими камнями.

Александр впился в нее глазами. Он отстегнул свой шлем с белыми крыльями и передал подбежавшему телохранителю-нубийцу. Жадно схватив корону, он поднял ее к небу, затем опустил на свои завитые кудри. Корона была велика и надвинулась на глаза. Александр придерживал ее руками, точно чего-то ожидая. Он обвел глазами угрюмое ущелье, увидел узкую полосу неба среди нависших черных каменных глыб, и тень тревоги пробежала по лицу. Он снял корону и передал ее черному нубийцу:

— Скорее вперед! Мы должны выйти отсюда, из этих мрачных теснин, где нас могут забросать сверху камнями. В Наутаке мы отпразднуем нашу новую победу. Я раздам всем моим воинам земли, пашни, дома и богатства глупых народов, которые не умеют защищаться и созданы быть нашими рабами. Там воины получат отдых. А вы — доставившие мне цареубийцу Бесса,— вы получите особую награду, я вас не забуду! Слушайте, товарищи по походам,— обратился громко базилевс к воинам,— Персия теперь всецело наша и будет наша всегда! Противников больше нет. Слава моему отцу — Зевсу Громовержцу!

— Ты победишь! Ты царь вселенной! — кричали воины, и эхо повторяло их слова.

Белые кони тронулись, и золотая колесница покатила вперед, покачиваясь на неровной дороге. За ней, сверкая

оружием, со звоном и грохотом, рысью тронулись телохранители и свита базилевса.

Будакен налитыми кровью глазами следил, как проезжали всадники. Но кто этот высокий юноша в бронзовых латах? Он необычайно похож на его сына — белокурого, стройного Сколота.

— Сколот! — заревел Будакен.— Сколот!

Но возглас Будакена потонул в шуме конских копыт и в криках воинов.

— Чего разорался, молчи! — прикрикнул часовой, ударив Будакена по голове.

— Это был Сколот, мой сын Сколот! — бормотал Будакен.— Если я мог ошибиться и принять за него похожего рослого явана, то я никогда не ошибусь в коне! Ведь он ехал на игреневом жеребце, сыне Буревестника!

Все воины вскочили на коней и последовали за базилевсом. Скоро ущелье затихло, и серые тушканчики выскочили из норок; они перебегали, садились на задние лапки и, озираясь, обнюхивали воздух.

Птоломей забыл о двух связанных крестьянах и умчался с отрядом базилевса.

Спитамен упорно старался перетереть о камни веревки и ремни, которыми они были связаны.

Когда лунный свет наполнил ущелье, в глубине показались две тени. Они шли осторожно, замирая при каждом шорохе. Это были молодой крестьянин и его маленькая жена.

Они нашли и развязали лежавших.

— Мы пришли, думая, что вы убиты. Среди проехавших проклятых яванов вас не было. Мы решили похоронить ваши тела, поставить чашу с молоком и лапшой, чтобы ваши души насытились и не мстили нам за то, что вы погибли вместе с вашими баранами около наших пашен. Теперь, хвала Агурамазде, вы живы и можете прийти к нам. Вода опять прорвала канаву, надо ее получше исправить. Прежде всего нужно, чтоб была вода, а тогда будет и хлеб. Работа не ждет!

Утром два путника горными тропами удалялись от большой дороги, по которой двигалось войско Александра, стремясь к Наутаке, по пути грабя и опустошая все встречные селения.

Спитамен утешал хромавшего Будакена:

— Все наши люди теперь собрались около Мараканды, и мы начнем бороться по-настоящему, без помощи изнежен-

ных князей. Согды не станут терпеть бесчинства греков. Согд любит свою пашню и свое тутовое дерево. Лучше он повесится на нем, чем оставит его. Теперь ты видел Двурогого и можешь рассказать в степи, что этот царь не остановится до тех пор, пока не встретит смелых воинов, которые не повернут перед ним спину, а сами начнут бить его в скулы.

Будакен стонал и скрежетал зубами:

— Мой сын вместе с Двурогим! А если злодей пойдет на сакские земли, неужели Сколот будет драться против нас? О, тогда я встречусь с ним в бою. Посмотрим, подымет ли он руку на отца!..

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ЖУРАВЛИ ЛЕТЯТ НА СЕВЕР

— Мы воины непобедимого царя Азии.

— У вас непобедим только царь? А мы, скифы, все непобедимы.

ЖУРАВЛИ ЛЕТЯТ НА СЕВЕР

Согдские пограничные башни остались позади и виднелись на горизонте оранжевыми точками. Впереди потянулась безбрежная степь. Весенние цветы — красные маки, желтые тюльпаны и лиловые трехперстники — ярким ковром разукрасили обычно мертвую равнину.

Радостное чувство охватывало отряд скифов Будакена, когда он возвращался из Сугуды обратно на север, в свое кочевье.

Тяжелая дума о сыне все время мучила Будакена и заставляла его сопеть и испускать глубокие вздохи, от которых его карий жеребец поводил ушами и косился черным блестящим глазом; но весеннее солнце, свежий ветерок, приносящий запах первых цветов и прелой тающей земли, вид по-праздничному убранной степи невольно разглаживали глубокие морщины на угрюмом загорелом лице сакского вождя.

Будакен ехал Голодной степью, прозванной так путниками еще в давние времена: в ней нет корма — ни колючки для верблюда, ни зайца или козы для охотника, только шары перекати-поля, прыгая большими скачками, проносятся по степи, подгоняемые визгливым ветром. Лишь весной ка-

раваны могут проходить безбоязненно через эту мертвую равнину, где повсюду белеют кости павших животных.

— Смотри, Кидрей, а ведь это дикие кони! — крикнул, вглядываясь вперед, старый Хош.

Кидрей хлестнул своего Пегаша, взлетел на бархан и заслонил рукою глаза, вглядываясь в даль. Несколько темных точек медленно пересекали путь. Теплый пар, подымавшийся от земли, струился волнами, и на линии горизонта все предметы трепетали.

— Мало ты видел диких коней,— сказал насмешливо Кидрей.— Ты больше привык смотреть на турсуки с кумысом и поэтому не можешь отличить диких ослов от сауранов. Смотри, как они бегают!

— Эти дикие ослы отбили от табуна кобылицу,— сказал Будакен.— Они гонят ее перед собой.

В Будакене проснулся охотник: его ноздри раздувались; всматриваясь в горизонт, он втягивал воздух, чувствуя переливчатые запахи степи. Выдернув несколько волосков из отворота сапога, он подбросил их в воздух и проследил за их полетом:

— Ветер с их стороны. Ослы нас не почуют.

Стадо приближалось. Ослы так увлеклись погоней за лошадью, что не замечали приближения грозы, которая их ожидала за барханами. Они бежали беспорядочно: то рассыпались, то сбивались в кучу, дрались и кусали друг другу загривки. Уже ясно было видно, как загнанная лошадь металась и била хвостом. Но что лежит на ней? Впилась ли в шею пантера или привязаны вьюки?

Дикие ослы недоверчивы и чутки. Они внезапно остановили беззаботную гонку. Несколько большеголовых самцов, взлетев на пригорок, задрав напряженно хвосты и насторожив длинные уши, уставились в сторону скифов, где им почудилась опасность. Стремительно скатились они вниз, и все стадо, повернув к северу, легкими скачками стало удаляться в степь. Только облако взбиваемой пыли осталось над тем местом, где пронеслись ослы.

Скифы помчались вперед, к лошади, скрывшейся среди барханов.

Когда Будакен нагнал скифов, он увидел молодую женщину, лежавшую на земле. Хош подложил ей под голову свой башлык. Женщина была очень истощена: щеки ввалились и глаза смотрели тускло и безжизненно. Руки, покрытые багровыми ссадинами и кровоподтеками, бессильно раскинулись. Скифы сидели кругом на корточках и тихо

перешептывались. Кидрей держал на аркане исхудавшую костлявую кобылицу. Она была покрыта пылью и солью от высохшего пота, а бока ее кровенились от укусов и ударов ослов.

— Тебе эта женщина знакома,— сказал вполголоса Хош.— Когда ты выдавал замуж дочь Зарику, она развязывала верблюда.

— Она жива?

— Еще жива.

Будакен опустился на песок возле Томирис. Ему достали из вьюка глиняный кувшин с заостренным дном. Темная струя старого вина, подаренного Бессом, наполнила бронзовую чашу. Будакен плеснул немного вина на землю, чтобы свирепые духи Голодной степи не гневались, и своей широкой, почерневшей от загара рукой приподнял Томирис. Бледные, засохшие губы прикоснулись к бронзовой чаше и не раскрывались. Корявым, обломанным ногтем Будакен раскрыл губы и влил немного вина в рот.

Будакен долго возился с Томирис. Он несколько раз отдавал полную чашу с вином в круг скифам, и все отпивали по глотку, повторяя:

— Да поразит смерть того, кто обидел дочь нашего племени!

Постепенно жизнь возвращалась к Томирис. Она пристально всматривалась в небо, откуда доносилось отдаленное слабое курлыканье.

Все взглянули вверх. Высоко в чистой синеве треугольником летели журавли.

Томирис приподнялась и испуганно уставилась на неподвижно сидевших скифов. Когда глаза ее остановились на широком лице Будакена, легкая улыбка скользнула по ее бледным губам:

— Ты Будакен, давший мне свободу... Я теперь не боюсь, но бойся ты.

— Кого бояться?

— Берегись возвращаться домой, там тебя убьют.

Брови Будакена нахмурились, глаза метнули взгляд направо и налево.

Томирис с трудом повернулась на бок, положила израненную руку под щеку и затихла.

— Она заснула,— сказал старый Хош.— Это хорошо.

Будакен приказал остановиться, развьючить коней и напоить их водой из бурдюков. Он достал из вьюка кожаный мешок и привязал его за седлом карего жеребца...

— Вы поедете прямо к Горьким колодцам, где стоит камень Афросиаба,— объяснял Будакен Кидрею, когда кони поели ячмень.— Там поблизости должно быть кочевье свободных скифов с шатром Шеппе-Тэмена. Эту женщину отвезете туда.

— А если шатры этого кочевья откочевали к горам на свежую траву?

— Тогда... Вай-вай, ляй-ляй, как трудно понять, что надо сделать! Нельзя же оставить эту больную на песке, чтобы она умерла и потом по ночам прилетала упрекать нас за свою смерть! Тогда ее надо привезти в мои шатры.

Вереница скифов потянулась к северу, кони шли ускоренным шагом: надо было скорее выбираться из Голодной степи. На одном из коней поверх тюков лежала Томирис.

Скифы оглядывались, не понимая, почему Будакен остался на месте один, сидя неподвижно, скрестив ноги, молчаливый, как камень Афросиаба.

Снова из далекой синевы донеслись трубные звуки — курлыканье журавлей. Будакен очнулся и взглянул на летевших в небе птиц с распластанными широкими крыльями.

Он встал, спокойный и решительный, подошел к жеребцу, нетерпеливо ходившему вокруг бронзового прикола, вбитого в землю. Из кожаного мешка Будакен вынул кольчугу со стальными пластинками, подаренную ему Бессом. Сняв одежду, он надел кольчугу, тщательно затянув ремни. Кольчуга была удобна, сделана искусным мастером. Когда снова были застегнуты все петли одежды, под ней кольчуга была незаметна.

Будакен смотал аркан с приколом, подвесил его спереди у седла и вскочил на коня. Равномерным, «волчьим» шагом жеребец двинулся в сторону кочевья Будакена.

ПОКОЙНИК ВЕРНУЛСЯ

Будакен ехал день и ночь, делая частые короткие остановки. Он то несся рысью по твердым такырам[1], то вел жеребца в поводу. Когда конь ел ячмень, Будакен, лежа на спине, засыпал тревожным сном, полуоткрыв глаза. Затем снова направлялся на север заброшенными тропами, стараясь не встречаться с кочевниками.

Уже кочевье Будакена было близко. В полусумраке ве-

[1] Такыр — ровная глинистая площадка в песках.

чера он узнавал вдали знакомые очертания холмов и бугор с сигнальной вышкой. Жеребец зашатался. Будакен злобно швырнул на землю двухвостку, осторожно слез с коня и потрепал его по шее. Он провел ладонью по глазам коня, тронул его уши — они бессильно повисли.

Долго сидел Будакен, глядя в сторону своего кочевья. Мраком окуталась степь, небо стало переливаться брызгами звезд, и конь, оправившись, очнувшись, начал перебирать ногами. В стороне кочевья засветились огоньки. Тогда Будакен направился пешком к кочевью, ведя коня в поводу.

Собаки издалека почуяли приближение путника и примчались с яростным лаем. Старые волкодавы узнали хозяина и запрыгали вокруг него, тыкаясь мордами и облизывая его руки, а вслед за старыми успокоились и щенки.

Но почему так мало шатров стояло под бугром? Куда откочевали стада овец, почему только несколько верблюдов дремали около приколов? Бесшумно подошел Будакен к одному шатру — там слышался сдержанный говор. Ему не понравились слова, доносившиеся оттуда. Сквозь прорванный войлок он стал рассматривать, что делается в шатре.

Младшая, четвертая жена Будакена сидела, окруженная старухами, которые равномерно покачивались из стороны в сторону и вполголоса напевали заунывную песню. На жене было накинуто синее покрывало, которое надевают вдовы, оплакивая покойника.

Будакен откинул ковер, закрывавший вход, и вошел в шатер.

Все женщины замолкли и с раскрытыми ртами глядели на него.

— Вы, может быть, угостите меня кашей и бузатом? — пробурчал Будакен.

— Покойник! Мертвец прилетел за кашей! — завопили женщины и сбились в кучу, закрываясь подушками.

Будакен плюнул и вышел из шатра. Он прошел в другой конец кочевья, где был шатер его старшей жены — матери Сколота. Он ввалился внутрь и остановился, ожидая, начнется ли и здесь переполох. Старая жена его, Спаретра, сидела у огня и длинной медной иглой сшивала шкурки ягнят. Увидев мужа, она несколько мгновений испуганно глядела на него, потом вскочила и, хромая, проковыляла к нему: у нее давно была повреждена нога от укуса волка, когда в степи она с маленьким Сколотом бесстрашно отбивалась от хищника.

— Живой ли ты, господин мой, или это душа твоя прилетела, но для меня все одно — будь нашим гостем и садись к огню.

— Чего вы все одурели? — спросил Будакен, обходя огонь и садясь на ковер.

— Не мы одурели, а наши князья одурели,— сказала Спаретра.— Что слышу, то я и знаю, а мало ли что говорят в степи! Сказали нам, что ты у согдов получил столько подарков и так тебя там закормили, что ты, съев целого барана, помер. А я говорила, что ты и двух баранов съешь и ничего с тобой не будет, только здоровее станешь. Дай я сниму твои сапоги, обмою твои ноги. Это все Гелон наделал, зять наш. Он вызвал из-за гор своих тохаров и сделал их нашими погонщиками. Они отогнали неведомо куда наши табуны и стада. Нам осталось так мало кобылиц, что молока не хватает. Был бы здесь вместо тебя наш сын Сколот — разве он допустил бы, чтобы зять ограбил его мать?

Будакен не стал раздеваться, а, сдвинув брови, полный тревоги, прислушивался к возгласам кругом, сам же сказал только:

— Сколот жив!

Из всех шатров сбежались женщины, чтобы повидать живого Будакена, но, не смея войти внутрь, толпились снаружи и раздирали дыры в войлоке, чтобы заглянуть в шатер.

Шесть дочерей-подростков, в малиновых одеждах, украшенные бусами и лентами, фыркая и подталкивая друг друга, вошли в шатер и встали у входа. Они разом поклонились до земли, когда отец взглянул на них.

Будакен любил и ласкал своих дочерей, и на его угрюмом лице появилась тень улыбки, когда дочери, осмелев и закрываясь рукавами, задавали вопросы:

— Здоров ли ты?

— Куда девались воины?

— Вспоминал ли ты о нас на базаре Мараканды?

Будакен ответил отрывисто:

— Воины приедут, привезут подарки с мараканденского базара, а вы все ложитесь спать и засыпьте золою огни.

Будакен приказал всем разойтись по шатрам. Только увидав певца Саксафара, пробиравшегося ощупью, Будакен поднялся, обнял его и спросил, хорошо ли его кормили.

— В кочевье Будакена всегда найдутся лепешка и колобок сыра для Саксафара,— ответил певец.

— Если все голодают, то и Саксафар не будет сыт,— сказал кто-то.

Будакен гневно засопел:

— Ступай, Саксафар, завтра я буду слушать твои песни!

Саксафар направился к выходу, но остановился и, подняв кверху невидящие глаза, произнес:

— Не прислоняйся к стене — она упадет, не полагайся на дерево — оно засохнет, не доверяй человеку — он предаст тебя...

— Если я раньше не убью его,— прервал Будакен.

Все огни в кочевье потухли, как звезды, задернутые облаком; все попрятались в шатры. Изредка доносился из темноты шепот — видно, все люди настороженно ждали чего-то и не спали.

Будакен сидел, скрестив ноги, перед входом в шатер и прислушивался к звукам, долетавшим из степи. Невдалеке, пережевывая жвачку, хрустели верблюды. Иногда жалобно блеял ягненок. Ветер играл концом висевшего над головой войлока.

Из степи доносились то нежный аромат кандыма и вереска, то тяжелая струя воздуха от недалеко лежащей падали. Вероятно, около нее грызлись собаки. Вот звуки замолкли. Вдруг собаки разом залились дружным озлобленным лаем, и затем голоса стали удаляться в степь. Будакен определил по лаю собак, откуда надвигалась опасность. Засунув полы одежды за пояс, с ножом в зубах, он бесшумно уполз в темноту. Уверенно двигался он вперед, прислушиваясь к злобному лаю овчарок. Одна завизжала — кто-то ранил ее. На пути — загородка ягнят. Стог сена. Только на мгновение он остановился около него и пополз дальше — недостойно воину прятаться в сене.

Быстро, как зверь, двигался на четвереньках Будакен. Когда под руками оказался сыпучий песок без бараньих катышков, Будакен остановился, нюхая воздух и поворачивая во все стороны широкое ухо. Лай собак приближался к кочевью и разливался полукругом.

Будакен снова пополз и завернул в сторону собак. Наконец на тусклом небе зачернело несколько лошадиных крупов. Слегка побрякивала уздечка. Два жеребца фыркали, обнюхивая друг друга.

— Буланый, не балуй! — прозвучал сдавленный хрип.

«Чей это голос? Не тохар ли говорит это?» — мелькнуло в уме Будакена, и он пополз к тому, кто сторожил коней.

Будакен обрушился на него без шума, подмял под себя, обшарил и содрал пояс с мечом.

Тело осталось лежать неподвижно.

Два жеребца вскачь пустились по степи. На одном сидел, сжавшись, Будакен. Другой жеребец, легкий и порывистый, побрякивая бляхами, несся рядом.

Из кочевья доносился гул мужских голосов, женские вопли и неистовый лай собак.

Будакен придержал коней, прислушался и снова помчался вперед.

СВОБОДНЫЕ СКИФЫ

Выборные от каждых двенадцати шатров свободных скифов собрались на совет кочевья. Усевшись тесным кольцом вокруг огня в старом черном шатре Спитамена, они обсуждали, ехать ли на съезд сакских вождей на берегу реки Яксарта. Там должны решить — идти ли на поклон к Двурогому царю, уже захватившему Мараканду, послать ли ему дары покорной дружбы или же... зажечь огни на курганах...

Выборные сидели тесно, плечом к плечу, наклонив остроконечные войлочные шапки и жмурясь обветренными глазами на багровые угли костра.

— Если мы поедем, князья подумают, что мы снова признали княжью волю,— говорили одни.

— Нас триста шатров, мы выставим четыреста всадников. У нас своя воля,— отвечали другие.

— У князей тысячи баранов и несчетные косяки кобылиц. Они их берегут, а драться придется нам.

Снаружи послышался топот коней...

— Где шатер Шеппе-Тэмена? — прохрипел низкий голос.

— Нет Шеппе-Тэмена, но здесь шатер его. Здесь ты узнаешь, где наш охотник.

Полог откинулся, и сквозь низкое отверстие протиснулся большой, грузный человек. Темный шерстяной плащ закутывал его. Он остановился у входа, как проситель.

— Погрейся у огня,— сказал старший.— Садись к нам. Мимо ли ты ехал и хочешь передохнуть или тебя привела сюда нужда?

— Вы не узнаете Будакена? — Незнакомец скинул плащ и бросил кожаный пояс с мечом в разукрашенных бронзой ножнах.— Кто из вас узнает, чей это пояс? Я при-

ехал просить вашей помощи против моих обидчиков, нападающих ночью.

Сидевшие скифы заволновались. Пояс с мечом переходил из рук в руки. Будакен продолжал стоять у входа. Он узнавал среди сидевших многих из своих бывших слуг. Они внимательно осматривали пояс. Один скиф снял шапку и откинул назад длинные полуседые волосы.

— Князь Будакен, взгляни на мой лоб: видишь ли этот знак?

На лбу выделялся выжженный железом кружок и под ним две черточки — известное всем тавро Будакена.

— Ты ставил свой знак на каждом коне и баране, на всем твоем добре и на каждом родившемся ребенке твоего раба. Мы ушли от тебя, и больше твоего знака на наших детях не будет. Зачем же ты пришел за нашей помощью?

— Или ты хочешь снова вернуть нас под свою тяжелую руку? Отобрать наших ягнят? — загудели голоса.

Будакен угрюмо молчал. Он видел враждебные, колючие взгляды.

— Я приехал к вам не для того, чтобы взять вас обратно или взять хотя бы одного ягненка...

— Да мы и не отдадим тебе ничего...

— Я пришел спросить вас, достойно ли для свободного племени саков нападать на кочевье, когда там остались одни женщины и дети, а все опоясанные мечом выехали на совет племени?

— Но саки ли это сделали? Не бродячие ли дахи?

— Я узнаю, чей этот меч,— сказал один скиф.— На пряжке изображен тигр, рвущий коня. Такие пряжки носит племя тохаров. Не твой ли зять Гелон из племени тохаров напал на твое кочевье?

— Это князья повздорили из-за богатства.

— Все зло идет от Гелона,— загудели голоса скифов,— он прибирает все к своим рукам. Он сгоняет к своему кочевью стада Будакена, он привязывает на спину диких коней наших гордых девушек. Он и нам никогда не простит, что мы ушли от князей и живем вольно. И на нас он нагрянет, чтобы мы снова пасли его кобылиц.

Слабый женский голос прозвучал из глубины черного шатра:

— Будакен вернул мне жизнь. Будакен подарил мне свободу. Именем Шеппе-Тэмена просит Томирис помочь князю Будакену...— Кашель прервал ее слова.

— Мы едем на совет сакского племени. Поезжай с на-

ми, и тебя никто не тронет. Мы зажжем на совете свой особый костер, и ты сядешь с нами. Мы спросим у племени: можно ли ночью нападать на кочевье, где остались одни женщины? Садись сюда, с нами.

Будакен прошел к огню, и его бывшие слуги потеснились. Он сел среди них как равный и протянул к огню свои квадратные ладони.

Скифы косились на него и подмигивали друг другу:

— Смирился или задумал обвести нас?

ВЕЛИКИЙ СОВЕТ ПЛЕМЕНИ

Бесчисленные костры горели под вековыми ветлами и серебристыми тополями вдоль реки Яксарта. Кругом гудел говор, мешались песни, крики, ржание и топот скачущих коней.

Скифские выборные, вожди, знатные князья и простые вольные саки съехались издалека на совет племени.

«Длинное ухо» [1] разнесло по всей степи, что в новолуние будут решаться важные дела на Яксарте. Молва опередила гонцов, посланных Тамиром по всем родам и коленам.

Отовсюду потянулись всадники, увешанные оружием, как подобает воину, имеющему право высказывать свою волю. Не раз бывало раньше — сразу после совета племени скифы выступали в стремительный набег, поэтому воин, явившийся без оружия, садился позади других и не имел права говорить.

Разбросанные по беспредельной равнине, здесь встречались старые друзья и товарищи по походам, обнимали друг друга, прижимались плечами и, согнув правую ногу, шептали принятые обычаями приветствия.

Не простое дело решалось сейчас — измена родному племени известного всей степи князя Будакена, продавшегося за коровий турсук золота Двурогому царю, разгромившему персов и теперь готовому надеть ярмо на все народы Азии.

И многие ехавшие на совет племени громко бранили Будакена за то, что он продался врагу. Разве мало было у князя золота: и удила у него были золотые, и пуговицы золотые, и у четырех жен были подвески на груди, как

---

[1] «Длинное ухо» — молва.

рыбья чешуя, из золотых монет. Но ведь все знают, что чем богаче князь, тем сильнее его жадность.

Поэтому все готовы были изгнать или побить камнями Будакена и спорили, каким родам следует раздать все косяки и стада князя-изменника.

Свободные скифы примчались на маленьких мохнатых коньках и развели свои особые костры, в стороне от других. Будакен прибыл вместе с ними, но так как он завернулся в широкий темный плащ и ехал не на карем широкогрудом жеребце, которого знала вся степь, а на большом и легком массагетском булаке, то все спрашивали: откуда этот всадник? Чей это слуга — наверно, он тоже ушёл от княжеского котла и стал жить своим умом и промыслом.

Уже от всех колен отделились князья и старейшины и степенно поднялись на курган, одиноко стоявший среди равнины, а свободные скифы продолжали сидеть вокруг своего костра, точно совет их совсем не касался; дважды за ними присылали князья, чтобы они послушали, что́ князья будут решать, но те ответили, что придут решать дела как свободные скифы, а не слушать разговоры князей. От них отделились пять выборных, которые, взойдя на курган, сели в общий круг совета, где все теснились в несколько рядов.

Старый князь Тамир поднялся с конской попоны. Протянув дрожащие руки к небу, он прошамкал:

— О величайший наш покровитель Папай! Пошли нам мудрость и силы праведно решить дела, от которых зависят благо или гибель народа саков! — Тамир старался не смотреть в ту сторону, где позади свободных скифов стоял Будакен, закутанный до глаз.

Он давно заметил Будакена, но мог ли перед всем народом обнять его, как прежде, если после совета его, быть может, побьют камнями и копьями, как вбежавшего в овчарню волка.

— Говорите нам про измену Будакена! Дайте нам этого предателя! — кричали голоса.— Он побоялся приехать сюда. Он со своим золотом убежал из сакских степей!

Будакен заревел, как раненый медведь, и швырнул свой плащ на землю:

— Кто говорит про Будакена? Здесь Будакен, перед советом племени! Кто меня обвиняет? Пусть скажет это мне в лицо, а не прячется за спинами других. Я узнаю, сак ли говорит это или шакал из другого племени!

Подслеповатые глаза Тамира забегали по сторонам. Он перекинулся несколькими словами с соседями.

— Привет тебе, славный Будакен! — сказал Тамир среди общей тишины. Легкий шепот пронесся по толпе и затих.— Ты честно поступил, что приехал сюда. Зачем же ты прямо не пришел к нам, как всегда, и не сел рядом с нами? Зачем стоишь как гость на чужом пиру? Поведай нам, где ты был это время? С кем виделся? Тут по степи носятся разные слухи о твоей поездке.

— Я ничего не буду говорить, пока передо мной не встанет тот, кто осмелился назвать меня изменником. Где этот червяк, которому поверили настолько, что созвали великий совет племени?

Тогда Тамир повернулся к князю Гелону. Он сидел побледневший, как воин, получивший смертельный удар под сердце. Но Гелон встал, такой же надменный, как всегда, и, отвернувшись от Будакена, стал говорить толпе, собравшейся вокруг совета и жадно внимавшей каждому его слову:

— Я говорю давно, яваны близко, и саки должны быть наготове раздавить их, не подпуская к нашим шатрам. Но скажите, вольные воины, разве допустимо, чтобы в такие тревожные дни один из наших знатных князей уехал навстречу врагам, получал от них золото и подарки? За какие заслуги он получил дары? Враги будут платить только за услуги, которые им на пользу, а нам во вред. Хотя князь Будакен теперь мой родич, но для каждого воина всего дороже должны быть правда и спокойствие родного племени. Верно ли я говорю?

— Верно, верно! — раздались голоса.

— Конечно, Будакена можно простить, его сын в цепях, во власти Двурогого. Будакен пожалел сына и хотел спасти его. Поэтому и я прошу милости для старого Будакена. У нас есть обычай, что старики, у которых ослабели руки и разум, получали прощение за свои неразумные поступки. А Будакена соблазнил проходимец, бродяга, приходивший в наши кочевья, чтобы выведать, что делают и готовятся ли к войне саки. Это был лазутчик Двурогого, истребителя мирных народов. И этот самый лазутчик водил Будакена на свидание к проклятым яванам. Какой позор для свободного сака!

— Это ложь, он не был лазутчиком! — закричали свободные скифы.— Наш Шеппе-Тэмен друг народа, не та-

кой, как ты, прибирающий к рукам чужие стада, чтобы на всех ляжках прижечь свое тавро.

Одни скифы кричали: «Смерть Будакену!» Другие требовали, чтобы Будакен оправдался. Свободные скифы вскочили и грозили заткнуть мечами глотку Гелону.

Тамир поднялся, взял из рук воина бунчук племени с изображением богини Артимпасы[1] и стал ждать. Все замолкли, повинуясь главному хранителю бунчука всего племени, с которым все должны идти в бой и на смерть.

— Саки, нельзя наказывать, не выслушав того, кого мы хотим казнить. Спросим сперва Будакена. Скажи нам, князь Будакен, раньше всегда хранивший светлым и незапятнанным свой тяжелый меч: правда ли, что ты ездил к Двурогому и говорил с ним?

Будакен стоял багровый, раскрывал рот, как рыба, выброшенная на песок, точно он ловил воздух, и не мог сказать ни слова.

Все ждали, что сейчас Будакен упадет и тут же умрет, но Будакен раскатисто засмеялся:

— Я старик? Этот чужеродный княжич решил, что я потерял разум? Да мы сейчас посмотрим на деле, верно ли это. Я тоже знаю наши обычаи, и получше князя Гелона, которому, как тохарцу, не подобает учить нас, саков, что нам делать. Наш дедовский закон говорит, что если кого объявили стариком, то он может вызвать обидчика на последний бой, а там уже все увидят, ослабели или нет его мышцы, верна ли рука у старика, и только после боя я скажу, видел ли я Двурогого и получил ли от него подарки.

— На бой! На бой! Пусть выходят оба на бой! — завопили все саки.

Гелон закричал:

— Я буду биться не пеший, а с коня. Идем вниз, на равнину!

СМЕРТНЫЙ ПОЕДИНОК

Вся толпа бросилась с кургана, разыскивая своих коней, чтобы лучше увидеть этот бой не на жизнь, а на смерть — любимое зрелище скифов.

— Будакен силен еще, но он стал грузен и неповоротлив,— рассуждали скифы.— Гелон молод и силен, хорошо

---

[1] Артимпаса — скифская богиня плодородия и материнства.

владеет копьем. Если бы они боролись пешие, Будакен, как старый медведь, задавил бы или сломал хребет Гелону, а с коня Гелону легче поразить копьем Будакена.

По приказу Тамира несколько скифов поскакали во все стороны, разгоняя толпу, и очистили широкую площадку. Оба всадника одновременно появились на разных ее концах. Они могли действовать только копьем и коротким мечом, не прибегая к стрелам. Маленькие круглые щиты из буйволовой кожи были на левой руке каждого.

Гелон сидел на рослом массагетском скакуне, но и под Будакеном был такой же сильный, высокий жеребец. Конь был чужой и горячился. Будакену дали длинное тонкое копье. В его корявых руках оно сейчас же переломилось. Один из сакских богатырей уступил ему другое копье, потолще. Будакен повертел им и усмехнулся:

— Сойдет!

Когда Тамир зазвенел бунчуком, оба всадника с яростью бросились друг на друга. Кони помчались легкими прыжками, клубы пыли вылетели из-под копыт. Гелон сидел, изогнувшись, прикрываясь щитом, и поднятая рука делала круги, готовая метнуть копье.

Будакен, широкий, плечистый, прикрывая щитом голову, высматривал из-за него, прижав копье локтем, стараясь предупредить тохарскую уловку.

За несколько шагов до встречи копье Гелона вылетело из его руки и понеслось навстречу Будакену. Оно ударилось в грудь ниже соска. Глаза всех метнулись на спину Будакена, откуда должно было показаться острое стальное жало.

Но копье Гелона отскочило от груди Будакена с обломанным концом и упало на землю.

Оба всадника пронеслись мимо, и толпа с криками шарахнулась в стороны от разъяренных коней.

Теперь счастье склонялось уже на сторону Будакена: у него оставалось в руке тяжелое копье.

Всадники повернулись снова лицом друг к другу. У Гелона в правой руке был короткий меч, щитом он прикрывался, готовый отбить полет смерти.

Вдруг раздались громкие женские крики.

— Убей его, не щади! — кричал кто-то, но в гуле толпы Будакен не мог разобрать слов.

Он увидел свою дочь Зарику. В красной одежде примчалась она на черной кобылице и, пробиваясь сквозь

толпу, продолжала кричать: «Убей его!» Но кому кричала Зарика — своему мужу, Гелону, или отцу?

Теперь всадники выехали не с такой быстротой. Оба были настороже. Кони приближались коротким наметом. Будакен завертел копьем, перевернул его тупым концом вперед и, припав к шее коня, яростно набросился на Гелона.

Мелькнули ноги Гелона, конь его сделал прыжок в сторону и без седока понесся на толпу, а Гелон, выбитый тяжелым копьем, ударился о землю, как бурдюк с кумысом. Ошеломленный, он с трудом приподнялся на руку, пригнув голову, ожидая последнего смертельного удара.

Будакен теперь мог по закону прикончить противника и затоптать его конем. Но он видел ожесточенное, кричавшее лицо своей дочери и решил, что она умоляет пощадить ее мужа.

Он повернулся к Гелону, поднял копье и остановился, готовый пригвоздить его к земле.

Гелон протянул руку к ногам коня, к своим губам и ко лбу: он признавал себя побежденным и просил пощады.

Зарика подлетела к Будакену.

— Добей его! Зачем щадить? — кричала она.— Он ограбил всех. Он не даст и тебе пощады, дай мне копье — я сама прикончу его.

Гелон уже встал, глаза его наливались кровью, и он снова был готов к нападению.

— Зачем ты не сказала этого раньше? — спросил Будакен.

Зарика махнула рукой и, стегнув кобылицу, умчалась в облаке пыли.

Гелон, хромая, приближался к Будакену.

— Я нарочно не нанес смертельного удара,— говорил он, стараясь улыбаться.— Я же знал, что ты в кольчуге, но я хотел доказать народу, что ты совсем не старик, что ты легко владеешь копьем и можешь быть, как и раньше, вождем племени...— Он протянул руку к поводу коня Будакена, чтобы провести его к кургану совета.

Но Будакен ударил двухвосткой по шее массагетского скакуна, приподняв его на дыбы, и воскликнул:

— Из золы не бывает горы, и ты, предатель, не станешь героем!

Будакен поскакал к кургану, взлетел на его вершину и остановился около костра совета. Шумная толпа окружила его со всех сторон.

Гелон тоже подошел, и за ним шли, сжимая рукоятки мечей, его слуги-тохары и сторонники, ожидавшие милости и подарков от богатого князя.

Будакен, оставаясь на коне, обратился к толпе:

— Здесь на меня хотели навертеть аркан лжи. Я, Будакен, стою перед вами и говорю, что я видел Двурогого царя в ущелье Железных ворот. Он ехал в колеснице, запряженной тройкой персидских коней. Был я в одежде пастуха, руки мои были связаны, и только поэтому проклятый явана колотил меня палкой. Вот все подарки Двурогого, которые я еще чувствую на своих плечах. Но я все вытерпел, чтобы увидать, какие силы у наших врагов. И остался я жив потому, что меня подобрали крестьяне и помогли вернуться сюда, в наши степи, где вы на меня лаете, как собаки на чужеземца. И я скажу: бойтесь Двурогого, но не потому, что его воины сильнее наших богатырей, а потому, что он сам нападает, сам ищет чужого горла, чтобы его перерезать. Ему помогает не его сила, а трусость тех, кого он гонит. Двурогого не остановят ни горы, ни реки; его задержим и раздавим только мы, саки, если бросимся на него и будем биться, пока не погоним обратно. А те шакалы, которые кричали, что я изменил родному племени, они сейчас будут биться со мной все по очереди. Я готов.

Скифы замолкли, переглядываясь, и тихий смешок, как отдаленный рокот грома, покатился по рядам черных остроконечных шапок. Кому хочется испытать участь Гелона и попасть на острие тяжелого будакеновского копья?

— Кто же кричал, что Будакен изменник? Выходите! — послышались голоса с разных концов кургана.

— «Длинное ухо» разнесло эту ложь по степи! Никто толком ничего не знал. Верим тебе, Будакен! Слезай с коня. Садись на войлок совета племени, выпей с нами чашу кумыса!

Но Будакен в знак отказа дергал головой кверху и цокал: он продолжал сидеть на беспокойно плясавшем жеребце. Когда затихли голоса, Будакен крикнул:

— Я вам еще раз говорю: побеждает тот, кто нападает, а не тот, кто ждет. Саки, готовьтесь к набегу! Я с вами не

сяду пить кумыс, когда надо точить ножи. Я сяду на бычью шкуру и зову всех идти со мной!

— И я сажусь на бычью шкуру,— зазвенел голос Кидрея, укротителя диких лошадей.— Готовьтесь к набегу на Мараканду. Яваны пьянствуют там, нажравшись, как тигры, согдской кровью, и теперь не могут двинуться. Тамир, веди нас на Мараканду!

Крики разом смолкли, и глаза скифов впились в старого Тамира. От движения его тонких восковых рук зависело, будет ли война или тревожный, неясный мир. Но руки неподвижно лежали на коленях, а Тамир глядел на яркое созвездие, горевшее над тополями Яксарта.

— Постойте, послушайте гонца из Сугуды!..— раздался голос из задних рядов.

Расталкивая сидевших, шагая через их плечи, к костру пробирался оборванный человек. Он был молод и плечист. Красная повязка была закручена вокруг головы. По запыленному лицу текли капли пота, и он тяжело дышал.

Озаренный красным светом костра, прибывший стоял перед старейшинами совета.

— Саки! — наконец начал он.— Я сейчас прискакал из Мараканды на трех сменных конях. Яваны идут на Мараканду. Они доберутся и сюда, и до цветущей долины Чача[1]. Яваны тянутся по большому караванному пути, как громадная ядовитая кобра, сжигая и уничтожая кругом селения, избивая крестьян. Но наши охотники умеют ловить и змей, пригвоздив их хвост к земле. Скоро голова яванов заглянет сюда, в наши степи,— вот тут-то и надо заставить кровожадную змею попятиться назад. Дайте мне молодцов, чтобы перерубить хвост яванам. Нас уже собралось сотни четыре всадников, и мы начали захватывать по дорогам обозы яванов. Наш отряд — это крестьяне, у которых яваны вырезали жен и детей, сожгли их скирды хлеба. Но нас мало, и у половины из нас нет мечей — наши воины дерутся топорами и дубинами. Вольные саки, придите нам на помощь!

Гул прокатился по рядам:

— Мы никогда не воевали с согдскими крестьянами! Уже сколько лет мы не щипали согдских купцов!

— Кто этот молодец? Не он ли на скачках Будакена

---

[1] Чач — древнее название крепости на месте нынешнего Ташкента.

укротил вороного Буревестника? Это Шеппе! Конечно, это Левша-колючка!

Грубые голоса кричали отовсюду:

— Тамир, веди нас на яванов! Наши копья ржавеют без дела!

Тамир, кивая седой козьей бородкой, поднял восковую руку. Гул постепенно затих...

— Благоразумие требует,— сказал Тамир,— чтобы мы были готовы броситься на того, кто хочет перебить нам хребет. Но мы ничего не должны делать поспешно, неразумно. Сперва мы вышлем посольство: надо заглянуть Двурогому в глаза и понять, что он замышляет. Двурогий не смеет переплыть сладких вод нашей пограничной реки. Если он попробует ступить ногой на правый берег Яксарта, на нашу вольную землю, он услышит рычание тридцати скифских племен. Если наши богатыри хотят расправить плечи и перерубить хвост яванской кобре — пусть собираются в набег вместе со смелым охотником Шеппе-Тэменом. Желаю каждому заработать в бою вражескую кольчугу. А мы будем готовы поддержать их. З а ж и г а й т е о г н и н а к у р г а н а х!

Радостный грохот прокатился по равнине:

— Саки, на коней! Точите мечи! Собирайтесь в поход на яванов!

Барабанщики бросились к своим коням и, вскочив на них, заколотили палками по ослиной коже, туго натянутой на глиняных и деревянных котлах, которые были подвешены по обе стороны.

Со всех концов неслись крики: на боевой клич глашатаев скифы разбивались на роды и колена. Все окружили своих молодых удальцов и стариков, споря, кто поведет отряды, кто будет доставлять баранов и зерно.

Будакен, видно, давно думал о бычьей шкуре: Кидрей издалека пригнал широкогрудого рыжего быка с длинными изогнутыми рогами и налитыми кровью злыми глазами.

Жрец, обвешанный побрякушками, с бубном в руках, закружился вокруг быка, выкрикивая песни, захлебывался и взвизгивал, изображая, как кричат духи, ожидающие бычьей крови. Бык ревел, опускал голову, пятился и рыл копытом землю.

Жрец еще не успел отдышаться, а бык уже лежал на спине, подняв кверху все четыре ноги, и опытные скифы быстро отделяли кривыми ножами его шкуру от дымящихся мышц. Кровь была собрана в кожаный турсук, и жрец

с заклинаниями поливал этой кровью широкое кольцо вокруг костра Будакена.

Когда рыжая шкура была снята и растянута на земле, Будакен, скрестив ноги, сел на темной полосе вдоль бычьего хребта. Рядом с ним сидела его дочь Зарика. Ее лицо побледнело, черные глаза горели гневом и ненавистью. Она бросала быстрые взгляды по сторонам. Усевшись рядом с Будакеном, а не с Гелоном, она объявила племени, что возвращается к отцу и боится нападения Гелона и его слуг.

Кидрей рассекал мечом тушу на части, ходил вокруг, косолапя носками внутрь, и, разинув рот, с блаженной улыбкой посматривал на Зарику, за которой он когда-то гонялся на скачках Будакена. Теперь она опять свободна. Неужели укротить дикого коня легче, чем гордую сакскую красавицу?

Спитамен сидел за другим костром. Под ним была разостлана шкура пегого быка, и его новые товарищи, взявшись за руки, ходили, притопывая кругом, плясали и пели сакские боевые песни.

Отряд Спитамена должен был ударить близ Мараканды в хвост двигавшейся армии Двурогого.

Вокруг разгорались костры, и все поджаривали на остриях копий куски бычьего мяса. Каждый скиф, вздевавший на копье кусок мяса и входивший в общий круг, этим самым зачислялся в отряд, идущий на войну, и обещал вернуться с черепом врага или не вернуться вовсе.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

БИТВА СКИФОВ

Наших стрел прирученная смерть
Настороженно спит в колчане...

Из песни Саксафара

ДВУРОГИЙ ЖЖЕТ СУГУДУ

Великий совет саков постановил не разъезжаться и следить за тем, что делается в Сугуде. Старый Тамир передвинул свою стоянку на берег Яксарта; около нее выросли

шатры Гелона и других князей. Отсюда летели гонцы ко всем родам с приказами.

Два скифа, побывавшие раньше в плену у согдов и умевшие вести дела с чужестранцами, были посланы в Сугуду, к своим гостеприимцам купцам. Они для вида повезли на продажу связки соленых бычьих кож, но им поручено было договориться с купцами, чтобы те приезжали с товарами на крайние курганы и передавали сторожевым сакам все, что услышат о Двурогом.

Через одиннадцать дней уже прибыли первые новости о Двурогом. Его воины ограбили и сожгли все селения вокруг города Наутаки. Жители бежали в горы, забрав самое ценное имущество. Но Двурогий сам во главе воинов погнался за беженцами, отнял у них все имущество, и воины поделили его между собой.

Много людей прибежали оттуда с большими от страха глазами; они говорили, что видели самого Двурогого. Он дрался среди других воинов и ударом меча рассекал беженцев наискось от левого плеча до правого бедра. Среди согдов, бросавших с гор камни на яванов, был один ловкий стрелок: он пускал стрелы в Двурогого, и три стрелы сломались об его грудь, покрытую железной броней, но одна стрела пронзила неприкрытую голень, и оттуда полилась кровь, такая же красная, как у всех рожденных женщиной, и Двурогий упал на колено. Его подхватили воины и унесли на плаще.

Тогда все стали говорить, что Двурогий не бог и так же боится смерти, как ее боялись все персидские цари, хотя они тоже называли себя сынами Агурамазды.

Гонцы беспрерывно скакали от согдских крепостей к холму великого совета. Они привозили кожаные свитки, и ученый раб, с тавром князя Тамира на левой щеке, читал вслух великому совету, что делалось в Сугуде, когда-то счастливой и мирной. Теперь страна была потрясена горем, и кровь смочила ее пыльные дороги. Купцы сообщили, что Двурогий уже вошел без боя в Мараканду и теперь его стража стоит у всех ворот и берет плату с каждого входящего и выходящего из города.

Наконец гонец привез последнее донесение: разъезды Двурогого показались перед городом Курешатой. Вдали был виден густой дым, кругом горели селения. Воины Бесса бросали вооружение, переодевались в одежду поселян и смешивались с толпой. Князь Оксиарт и другие князья бе-

жали с семьями в горы, а некоторые из них позорно поехали принести покорность Двурогому.

В этот день ярко вспыхнули костры на всех скифских курганах. Донесения из Сугуды от купцов прекратились. Скифские разъезды видели, как клубы черного дыма поднимались один за другим над пограничными крепостями: это шли яваны, оставляя за собой закоптелые развалины.

Один отряд яванов показался в степи, он приблизился к сакской сторожевой вышке и остановился, подавая сигналы медной трубой. Сакские всадники держались на расстоянии, проносясь по степи. Но от яванов отделились трое и медленно поехали навстречу скифам. Один из них кричал по-сакски, чтобы их не боялись, а выслали тоже троих для переговоров. От саков отделились Кидрей на пегом коне и еще двое. Они приблизились на сто двадцать шагов и стали кричать друг другу.

— Кто вы? — спрашивали яваны.— Мы воины непобедимого царя Азии, перед которым вы должны покорно упасть на землю.

— А мы — саки, которые тоже непобедимы. Но нас много, непобедимых, а у вас непобедим только царь.

— Что вы здесь делаете? В этой степи видны лишь ящерицы и саранча.

— Мы можем жить везде, как ящерицы, и, как саранча, перелетать с места на место. Как саранча объедает все листья, так и мы, если захотим, примчимся в Сугуду и отберем у вас все ваши мешки, которые вы набили чужим добром.

— Суньтесь к нам, и мы тогда увидим, кто кого обдерет.

— Что вам нужно? Зачем вы сюда приехали? — кричал Кидрей.— Не хотите ли вы попробовать нашей соленой воды или конского мяса, распаренного под попоной?

Яваны пошептались и ответили:

— Хотим. А мы вас угостим чем-нибудь получше. Посидим вместе на ковре дружбы и поговорим о «козьей шерсти». Пусть ваш начальник выйдет вперед и скажет свое имя. Наш начальник тоже выйдет к вам. Его зовут Пенида, и он имеет на руке перстень с изображением царя.

Кидрей положил на землю потник своего коня и уселся на нем, скрестив ноги, а два других скифа отъехали с его конем на сорок шагов.

— Подходите! — крикнул Кидрей.

К нему подошел тот, кого звали Пенида; на нем был медный панцирь и шлем яванов, а штаны с пестрыми вы-

шивками были, видимо, содраны с согда. С ним подошел старый перс-переводчик, в войлочном колпаке, похожем на тыкву. Он нес ковер, кувшин и мешок. Пенида уселся на ковре, против Кидрея, а переводчик стоял позади него.

— Не хочешь ли попробовать нашего вина? — сказал Пенида, налив из кувшина в бронзовую чашу.— А еще у меня есть хорошие яблоки. Их поднесли нам согдские купцы, благодарные за то, что они попали под крепкую руку нашего храброго царя.

— Я бы выпил твоего вина,— сказал Кидрей,— но не очень ли оно пропахло дымом от тех костров, на которых вы подпаливали благодарных согдских купцов? Не лучше ли выпить нам кислого кобыльего молока — оно в жару лучше утоляет жажду?

— Не будет ли это молоко опасным для нашего непривычного желудка? — ответил Пенида.

И так оба, и Кидрей и Пенида, пили каждый свой напиток.

— Где находится ваш главный начальник? — спросил Пенида.

— Он находится и здесь и везде,— ответил Кидрей,— вырастает из земли там, где нужно бросить на врагов сакских богатырей.

— А много ли сакских воинов?

— Столько же, сколько песчаных холмов в степи.

— Я приехал к вам объявить волю нашего царя, который есть царь над царями. Он приказывает передать вашим князьям, чтобы вы, скифы, не смели переходить на эту сторону реки Яксарта без его разрешения. Передашь ли ты это вашему царю?

— Царя у нас нет, а есть великий совет племени, и он будет знать сегодня же твои слова,— ответил Кидрей.— А что сделают саки, перейдут реку или нет,— это столько же знаю я, сколько знает орел, летающий в небе.

Пенида встал и поднял руку:

— Помни же твое слово! Передай еще, что те скифы, которые попытаются перейти через реку, будут считаться врагами: их схватят и убьют.

— А вы также помните, что если вы перейдете через реку на нашу землю, то будете раздавлены копытами сакских коней,— ответил Кидрей.

Пенида повернулся и пошел к своему отряду. Переводчик поднял ковер и пошел за ним. На месте встречи остались глиняный кувшин и мешок с яблоками.

Скифы подъехали, осмотрели его, но, боясь коварства яванов, разбили кувшин и разбросали яблоки.

Когда Кидрей, сменив по пути несколько коней, прискакал к холму совета племени, туда примчался другой гонец. Он сообщил, что передовые отряды яванов прибыли к берегам Яксарта и заняли пограничный город Ванкат[1], где была главная переправа для караванов на большой дороге к городу Чачу. Гонец полагал, что сам Двурогий приехал вместе с отрядом, так как около стен города появились не только кожаные палатки воинов, но также красные и пестрые шатры, и некоторые из них особенно велики и нарядны. За первыми отрядами движутся другие воины, пешие и конные.

Тамир и другие члены великого совета сейчас же разослали приказы, чтобы сакские дружины стягивались к Могульским горам против Ванката.

СКИФСКИЕ ПОСЛЫ

Двадцать скифских всадников выбрались из прибрежных высоких золотистых камышей и по растрескавшимся солончакам въехали гуськом на отлогий холм.

Вдали показались давно им знакомые утопавшие в садах грязно-желтые стены города Ванката. Река так же стремительно несла свои взбаламученные, мутные воды, сжатые узким руслом. Так же безмятежно в дымчатой дали подымались высочайшие зубчатые хребты гор, покрытые вечным снегом. Они окружали долину с тучными посевами трудолюбивых дахов и согдов.

Но что за шум, что за грохот, звериный рев и вопли неслись с равнины, всегда покрытой тихими, радостными рощами абрикосов, зарослями высокой джугары и квадратами желтой пшеницы!

С холма скифы видели, откуда неслись крики: по дороге и вокруг нее, прямо по зеленым посевам, метались толпы людей. Женщины в ярких желтых и красных одеждах, с детьми на руках бежали куда попало, падали и снова подымались — все оглядывались в одну сторону, откуда надвигалась опасность.

Десятка три чужеземных воинов шли цепью, держа

---

[1] Ванкат — нынешний город Ходжент на Сырдарье. Греческие историки называли этот город в честь базилевса — Александрия Дальняя.

копья наперевес. Перед ними отступала толпа крестьян, в руках мелькали топоры, ручные пилы и лопаты. Они швыряли в подходивших камнями и комьями земли. Воины приближались твердыми шагами, неумолимые и безмолвные.

— Это Двурогий царь наводит порядок,— сказал один из скифских всадников.— Сейчас яваны перебьют этих мирных, как быки, крестьян, забывших, как надо бороться. А женщин и детей потом пригонят в свой лагерь для продажи.

— Нам нечего здесь смотреть — едем дальше! — Тамир махнул рукой, и всадники спустились с холма.

Узкой тропой между затоптанными посевами направились они к стенам города.

Вся равнина вокруг города и весь берег пестрели палатками всех цветов — и черными арабскими, и пестрыми персидскими; больше всего было низких палаток из растянутых бычьих шкур.

На берегу реки, на холме, выделялось и величиной и ярким алым цветом несколько шатров. Возле них было особенно много людей и стояли правильными рядами кони всех мастей.

Воины, пешие и конные, двигались во всех направлениях. За ними бежали полуголые рабы. Они тащили мешки с зерном, узлы, гнали ослов, нагруженных хворостом.

Несколько македонских часовых копьями перегородили путь скифам. Среди скифских всадников один заговорил по-гречески.

— Откуда ты знаешь наш язык? — спросили воины.

— Я киликиец из Тарса,— ответил всадник.— Здесь я был рабом одного из сакских князей, князя Будакена. Теперь я состою переводчиком при этих послах от народа саков.

— К кому вы едете и зачем?

— Нам нужно видеть вашего царя,— ответил молодой красивый скиф, сидевший на высоком легконогом жеребце.

— Вы должны слезть с коней, оставить оружие и идти пешком,— сказали часовые.— А мы узнаем, захочет ли наш царь с вами говорить.

— Наши кони и мы, саки,— это одно,— спокойно сказал старый сгорбленный, высохший скиф.— И мы можем только на конях проехать к шатру вашего царя. Если же вы не хотите пустить нас, то мы повернем обратно и встретимся с вами только в поле.

Воины пошептались и ответили:

— Если обычай повелевает вам оставаться на конях, то проезжайте.

Один из часовых побежал к красным шатрам, другие, окружив скифов, медленно двинулись вместе с ними.

Скифы ехали, сохраняя достоинство, приличествующее послам, но глаза зорко присматривались к окружающему. Они прикидывали в уме, сколько здесь собралось войска, сколько сил надменные яваны могут выставить против саков.

Они также заметили, что вдоль всего берега привязана длинная вереница плотов и крестьяне под присмотром погонщиков с плетками связывали бревна и жерди, надували воздухом мокрые бурдюки и спускали их в воду.

Скифов остановили около большого малинового шатра. Вокруг него стояли одетые по-боевому часовые в латах, с очень длинными копьями, в три раза длиннее скифских, и проходили начальники, закутанные в просторные белые плащи.

Скифы сошли с коней и сами привязали их к кольям палаток. Степные лохматые кони фыркали и поджимали зады, готовые ударить каждого, кто к ним приближался.

Из шатра вышел высокий красивый явана с искусно завитыми кудрями, в светлой безрукавке, подпоясанной золотым поясом. Благоухая ароматами, как лавка согдского лекаря, он приветствовал скифов и ввел в шатер. Переводчик объяснил, что это начальник Гефестион — друг царя Азии.

Вошли несколько военачальников яванов, один из них был в персидской одежде. Рослый черный слуга нубиец внес складной стул с бронзовыми ножками и парчовым сиденьем. Одетый в персидскую одежду сел на стул, а яваны стали по сторонам.

— Садитесь,— сказал переводчик.— Царь Азии готов слушать вас.

Все скифы сели рядом вдоль стенки шатра на ковровых подушках и уставились на сидевшего.

Так вот он какой, Двурогий! Верно ли это? Не смеются ли яваны над малосведущими кочевниками, и не одного ли из телохранителей царя посадили вместо него, боясь нападения чужеземцев?

Сидевший был молод, с бритым лицом и ростом пониже других. Длинные рыжеватые волосы падали почти до плеч, и среди них никаких рогов не было. Один глаз был светлее другого и слегка косил. Надменным, холодным взглядом обвел он сидевших скифов и несколько задержался на ста-

ром Тамире, который вглядывался подслеповатыми хитрыми глазками.

Царь был одет в длинную, ниже колен, персидскую оранжевую рубаху, расшитую золотыми цветами. На кожаном поясе — золотая пряжка со знаком персидских царей: колесо среди распростертых соколиных крыльев. На ногах широкие красные шаровары, заправленные в персидские сафьяновые сапоги.

Скифы долго молчали, рассматривая царя иноземцев, прошедшего с боем через всю Персию. Сакский князь Мавак и другие его товарищи уже имели схватки с ним[1], когда Дарий попросил саков помочь защищать старую Персию.

Первым заговорил старый Тамир. Его слова вполголоса переводил высокий юноша, стоявший, наклонившись, около Двурогого. Два писаря-раба в длинных, до колен, рубахах опустились на ковер и быстро записывали палочками на деревянных навощенных дощечках.

— Царь Македонии! — сказал Тамир, и все затихли, только слышно было, как шуршали палочки писарей.— Ежели бы боги захотели создать твое тело таким же великим, как твоя тщеславная душа, то целый свет не вместил бы тебя. Тогда бы ты коснулся одной рукой востока, другая возлегла бы на запад, а потом и этого тебе показалось бы мало, и ты захотел бы проникнуть еще туда, где ежедневно в море скрывается блестящее солнце. А потом, если ты покоришь весь род человеческий, ты начнешь воевать с лесами, выступишь против холодных снегов, разливающихся рек, бурных ветров и, наконец, против диких зверей...

Базилевс переложил ногу на ногу и, слегка наклонив голову, с любопытством смотрел на сидевшего крючком Тамира. Его рука слегка похлопывала по колену, и на пальце вспыхивал голубыми искрами драгоценный камень в золотом перстне. Не на руке ли персидского царя Дария был этот перстень, и не Бесс ли затем снял его с руки заколотого им царя?

Тамир продолжал, и никто не мог догадаться, куда направляет свою речь хитрый вождь скифов.

— Царь Македонии, разве ты не знаешь, что большие деревья растут веками, но один порыв бури исторгает их, как соломинку, из утробы земной. Часто сам лев служит пищей маленьким зверям, и ржавчина поедает несокрушимое

[1] В битвах при Гранике, Тарсе и Арбелах.

железо. Нет ничего столь крепкого, чтобы не могло быть разрушено слабейшим.

Базилевс вскочил, отошел в сторону и пробормотал несколько слов.

Высокий переводчик сказал громко:

— Царь Азии спрашивает, зачем вы приехали к нему? Не для того ли, чтобы учить его?

Тамир съежился в комок, как хорек, готовый вцепиться в морду затравившей его собаки:

— О чем нам спорить с тобой, царь Македонии? Никогда нога нашего народа не была на земле твоей родины. Разве мирным обитателям пространных степей наших не позволяется узнать, кто ты такой и откуда и зачем пришел к нашим границам?

— Еще что ты хочешь знать? — спросил Двурогий и снова опустился на парчовый стул.

— Мы, саки, не хотим никому повиноваться, но и не желаем ни над кем властвовать. Но для того чтобы ты узнал нас, степных кочевников, скажу тебе, что небо дарит каждому из нас: ярмо волов, стрелу, копье и чашу.

— Что небо вам дарит? — переспросил царь, и усмешка скользнула по его гладко выбритому лицу.

— Ярмо волов, стрелу, копье и чашу,— невозмутимо повторил Тамир.— Мы ими пользуемся и с друзьями, и с врагами: с друзьями мы разделяем плоды земли, получаемые трудами наших волов, с ними же из чаш возливаем вино в жертву богам нашим; стрелами пронизываем врагов своих издали и копьем поражаем их вблизи. Таким образом мы победили самого Куруша, царя персов, и мидян, и кони наши прошли весь путь до самого Египта...— Тамир замолчал и сидел, настороженный, и его козья бородка дрожала.

Александр протянул руку с блистающим голубым светом перстнем:

— Там, в далеком Египте, сами боги признали меня своим бессмертным сыном, и македонские кони пили сладкую воду величайшей реки Ливии, как пьют они и сейчас из реки Яксарта, стоящей на пороге к вашим степям...

— Перейди только эту реку, и ты увидишь, сколь обширны наши степи,— добавил молодой, красивый скиф.

Он давно беспокойно двигался, желая вмешаться в разговор.

— Помолчи, Гелон, пусть говорит один Тамир,— шепнул ему его сосед.

Тамир продолжал:

— Наши владения обширны, и тебе никогда не завоевать их. Наша бедность — наша сила. А твое войско, обремененное богатствами стольких народов, которых ты ограбил, теперь с трудом движется, как тигр, который тащит в свою берлогу задранную корову. Наши необъятные равнины, где мы ничего не имеем и ничего не желаем иметь, нам милее и дороже, чем самые богатые города и самые тучные нивы. Только те народы, земли которых ты не обагрил горячей кровью, могут в знак верности обменяться копьями и сделаться твоими добрыми друзьями.

Гелон опять вмешался:

— Между равными и свободными может быть заключена тесная дружба, а равными мы считаем только тех, с которыми нам не пришлось испытать острия нашего копья.

Александр сделал знак Гефестиону и шепнул ему:

— Этого молодого скифа надо придержать, он, видимо, сам навязывается мне на службу.

Затем царь громко обратился к скифам:

— Но разве побежденные мною народы не благословляют моего имени?

Один из сидевших с краю скифов, одетый беднее других, резко ответил:

— Не полагайся на дружбу побежденных тобой. Между господином и рабом нет и не может быть дружбы... Порабощенный народ всегда имеет право восстать, даже во время безмятежного мира.

Лицо Александра исказилось, светлый глаз закатился под лоб.

Базилевс встал, отвернулся от скифов и сказал своим товарищам, которые затихли, вглядываясь в глаза своего вождя:

— Эти варвары вместо покорности навязывают мне свои советы. Не они ли подстрекают согдов и бактрийцев к восстанию? Пусть войска садятся на суда. Мы переходим на скифский берег!

Он повернулся к скифам, насмешка искривила его губы:

— Я вижу, что хотя скифы никогда не выпускают из рук оружия, но среди них имеются люди весьма умные и более просвещенные, чем у других варваров. Я постараюсь последовать и вашим советам, и своему счастью. Но я не предприму ничего безрассудного.

Базилевс поднял руку в знак прощального приветствия и удалился за занавеску.

Тамир поднялся, и за ним другие скифы встали и степенно вышли из шатра.

— Знаешь ли, кто был переводчиком у Двурогого? — спросил Тамира один из саков.

— Вероятно, кто-либо из отряда Мавака, который дрался в великой битве персов при Арбеле?

— Да, это был Сколот, сын Будакена. Он надел иноземное платье и носит волосы по-явански, завитые, как у барана.

— Хорошо, что Будакена не было с нами. Его бы не удержало присутствие царя, и он убил бы своего сына-изменника.

Гефестион с персом-переводчиком подошли к Гелону, уже вскочившему на легкого золотистого жеребца.

— Царь Азии желает посмотреть твоего коня. Не проедешь ли ты с нами к коновязи, где царская конюшня? — сказал Гефестион.

— Я сейчас догоню вас! — радостно крикнул Гелон медленно отъезжавшему Тамиру.

Затем он повернулся к переводчику и зашептал ему:

— Передай, что я могу пригнать для армии царя десять тысяч баранов. По какой цене будет за них заплачено?

БИТВА У МОГУЛЬСКИХ ГОР

«Богатыри, скачите к Могульскому дракону!» — такой призыв Тамир разослал с гонцами по всем сакским кочевьям.

Все знали, что Могульский дракон — это черный скалистый хребет среди голой равнины, перерезанный, точно от удара меча, узким проходом. Река Яксарт стремительно обегает его близ согдского города Ванката и, перепрыгнув через Беговатские пороги, дальше спокойно направляется к северу, по краю Голодной степи.

По ночам костры на курганах вспыхивали красными огнями, вселяя радостную тревогу в молодых саков, не видавших еще большой битвы. Они спешно чинили седла, точили мечи и клялись, что в предстоящем бою добудут себе и железную кольчугу, и голову явана, чтобы подвесить ее над входом в шатер.

Степь всполошилась. Пронеслись слухи, что надвигаются невиданные двурогие люди, что им нет числа, после них остаются развалины, трава вянет и больше не растет. Одни скотоводы погнали стада на север, другие, наоборот, оставив

стада у родичей в низовьях Яксарта, сами с повозками, с женами и детьми направлялись на юг, к Могульскому дракону, ожидая после боя богатой добычи. Старухи в повозках, раздувая угли в горшках, берегли огонь родных костров.

Повозки с войлочными юртами громыхали, пронзительно скрипели тяжелые карагачевые колеса, и шестерки быков, запряженных парами, протяжно ревели, когда погонщики покалывали их длинными стрекалами.

В Могульском ущелье, возле горного ручья, раскинулся большой шумный табор. Девушки в длинных, до пят, малиновых одеждах разбрелись по склонам холмов, собирая прошлогодний сухой бурьян. Они шли, раскачиваясь, распевая песни, неся вязанки над головой, и серебряные монеты, нашитые на груди, переливались на солнце, как рыбья чешуя. Разве девушки могли чего-либо бояться, когда непобедимые сакские богатыри слетелись на зов битвы!

Тучи пыли надвигались по равнине: в свисте, криках, топоте коней проносились веселые скифские воины, подбрасывая на скаку копья, готовясь к бою.

Молодцы рода Боняка, в рыжих остроконечных шапках и серых шерстяных накидках, примчались одними из первых. Они скатились с маленьких длинногривых жеребцов с выкрашенными красной краской хвостами, спутали им ноги и, оставив бродить по равнине, сами двинулись к табору со свистом, уханьем и песнями. Накидки были лихо наброшены на левое плечо; подхватив полу правой рукой, молодцы побрякивали медными чашками о бронзовые пряжки поясов, требуя, чтобы в таборе их угостили глотком холодного кумыса.

— Покажите нам яванов! — кричали они.— Наши стрелы ворчат в колчанах, они хотят скорей пробуравить толстые яванские животы.

Седая, с птичьим лицом старуха в заплатанной рубахе высунулась из юрты на телеге, щуря слезящиеся глаза:

— Бой-бой, какие вы все молодчики да красавчики! Все ли из вас вернутся к теплым кострам и черным шатрам? Дайте я налью вам кобыльего молока. Пейте, пока видят ваши смелые глаза!

Отряд свободных скифов прибыл со своим новым бунчуком.

Впереди них на пегом коне скакал Кидрей, держа бунчук с медными погремушками.

— Где Будакен и его «обреченные»?

— Близ берега, следят, что затевают яваны.

Кидрей протянул бунчук старику, сидевшему на старом сивом коне с облезлым хвостом. У пояса вместо лука висели гусли. Старик провел дрожащей рукой по воздуху и схватил бунчук.

— Глядите, бунчук в руках слепого.

— Не слепой ли поведет молодцов в бой?

— Да это Саксафар, наш певец! Он споет боевые песни.

Кидрей направился к реке; он нашел отряд «обреченных» Будакена в одном из ущелий, отходящих от главного пути. Воины лежали на камнях; некоторые кормили лошадей, другие собирали воду из тонкой струи горного ключа, падавшего со скалы.

Будакен полулежал, облокотившись на камень, и чаша с водой, стоявшая возле него, оставалась нетронутой.

Кидрей, сойдя с коня, несколько времени молча сидел около Будакена. Кидрей уже слышал, что послы саков видели у Двурогого юношу переводчика, похожего на Сколота. Древние законы саков требовали, чтобы отец в битве сам разыскал сына-изменника и собственноручно казнил его. Не к этому ли готовился теперь сумрачный Будакен?

— Почему твоя сила и здоровье здесь, а не на берегу? — наконец спросил Кидрей.

— Совет племени приказал мне быть в засаде вместе с «обреченными». Если яваны бросятся по этому пути, то мы ударим им в бок, расколем пополам и будем биться с одной частью.

— Если яваны переправятся на эту сторону, надо перерубить канаты плотов и лодок, чтобы им не было возврата на ту сторону.

— Это поручено Гелону.

— Где Тамир?

— Тамир со своим братом Сотраком на холме у берега реки. Они пошлют куда надо сакских бойцов.

Кидрей встал, поднял горсть песку и, вскочив на Пегаша, швырнул песок в сторону яванов:

— Да покроется лицо яванов грязью поражения! Чтоб их сила рассыпалась, как этот песок.

Главное ядро скифов расположилось у самого берега Яксарта, где обычно происходила переправа. Здесь течение сузилось, и ясно было видно все, что происходило на том берегу. Хорошие стрелки пускали из луков стрелы; иногда они долетали до другого берега, и тогда начинали биться рапе-

пые лошади или начиналась суматоха среди согдов, возившихся с плотами.

Плотов было очень много. Они растянулись вдоль берега. Много дней десятки тысяч пригнанных согдов работали над ними. В это яркое солнечное утро воздух был особенно чист, и можно было даже рассмотреть каждого любопытного, взобравшегося на старые каменные стены города.

Тысячи стрел взвились в воздух и ударили в скифский берег, сбивая с седел всадников. Скифы отхлынули от берега и взлетели на склоны холмов. Это метательные машины Двурогого загрохотали и с визгом перебрасывали через реку стрелы величиной с полкопья, очищая берег от скифов. Одновременно от левого берега разом оторвалась масса плотов, нагруженных воинами. Одни стояли по краям, припав на колено, прикрываясь высокими камышовыми щитами. За ними прятались лучники и пращники. На больших плоскодонных лодках помещались всадники; они держали за поводья лошадей, которые плыли сзади, погрузившись по уши, высовывая фыркающие ноздри. Быстрое течение мутной темной реки стало кружить плоты; воины шатались, хватаясь друг за друга; некоторые падали в воду и гибли в водоворотах. Гребцы быстро работали веслами, и македонские плоты начали пробиваться к правому берегу. Яваны соскакивали на землю, садились на больших мокрых коней и, примыкая друг к другу, наступали на скифских всадников. Пращники с такой силой швыряли круглые камни, что пробивали насквозь незащищенную грудь саков; они валились с коней, которые уносились вихрем по равнине и тащили за собой раненых, не выпускавших из рук поводьев.

Как стая громадных пестрых птиц, двенадцать тысяч плотов перенеслись через реку, и воины Двурогого, соскочив на берег, быстро сомкнулись в ряды и под свист флейт побежали по каменистой почве навстречу скифам. Широкие отточенные мечи в руках воинов переливались яркими вспышками играющих солнечных лучей.

Но пешие яваны не могли догнать скифских всадников, которые, припав к шее лошадей, проносились по долине, поражая врага без промаха маленькими отравленными стрелами.

С проклятием раненые воины оставляли ряды, падая на землю; выдернув стрелы, они перевязывали цветными тряпками кровавые раны и затем тащились обратно к плотам.

Всадники Двурогого, блистающие медью, в ярко-красных плащах, быстро выстроились длинными рядами. Задние ря-

ды всадников опускали концы длинных копий на плечи передних, так что отряд, наступая, щетинился остриями копий. Что могли сделать с таким мощным строем скифские бойцы в кожаных или веревочных нагрудниках, вооруженные небольшими копьями и короткими мечами, действующие в одиночку? Помня наказы Тамира и Сотрака, скифы рассыпались в стороны, взлетая на склоны холмов, и, оборачиваясь, на скаку пускали стрелы в македонцев. Скифские стрелы ударялись в медные нагрудники и шлемы нарядных яванов, ломались и отскакивали, но все же многие были тяжело ранены, и ровные линии копий начали дрожать и ломаться. Кони яванов вылетали из рядов без всадников и неслись вслед за македонскими отрядами.

Македонцы приходили в ярость от неуловимости скифов; могучие удары их конницы и фаланг пехоты нигде не встречали той сплоченной массы, которую они могли бы раздавить и искрошить. Македонцы продолжали еще держаться кучно, стараясь настичь скифов, но тревога расползалась по их рядам: привыкшие наводить ужас, они впервые видели врага бесстрашного и непреклонного.

Скифские богатыри разъярились и уже искали рукопашной схватки с надменными яванами, желавшими поработить их свободные степи.

Отчего же не вылетают «обреченные», которые в этом бою хотели добыть себе славу, чтобы потом у горячих костров слепые гусляры пели о них хвалебные песни?

Уже два отряда македонцев пронеслись вперед. Разве можно пропустить их? Ведь они мчатся туда, где растянулся лагерь саков, где были их семьи, жены, дети и старухи.

Могучей лавиной приближался третий отряд македонцев. Впереди выделялось несколько особенно нарядных всадников в стальных латах, блистающих на солнце.

Будакен наблюдал из-за обломков скалы за мчавшимися отрядами. Он сдерживал рвавшихся в бой молодых бойцов:

— Рано, рано еще! Дайте мне увидеть самого злого пса, желающего отгрызть сакские головы!

Его зоркие звериные глаза заметили в рядах македонцев одно лицо, с нахмуренными бровями, с прямой линией носа и лба, с красивым и злым изгибом надменного рта. Он держал над головой длинное копье, и белые крылья цапли развевались над серебристым шлемом.

— Улала! — заревел Будакен боевой призыв саков.

Вздрогнули «обреченные», выхватили короткие тяжелые мечи и вырвались вперед в бешеной скачке. Пегие, бурые и

рыжие сакские кони сбоку ударили в македонцев, разбили грудью их ряды. Македонцы, побросав длинные копья, завертелись в рукопашной схватке, рубясь мечами с налетевшими, как буря, отчаянными скифами.

Будакен, вертя воющей железной палицей, мчался в самую глубину сечи. Он видел вдали красивое лицо в стальном шлеме, и его глаза метались, отыскивая около него знакомые черты сына Сколота. Уже он сбил с коней нескольких македонцев. Его тяжелый жеребец, как бы чувствуя ярость седока, пробивался через ряды воинов, которые бросались в стороны от разъяренного скифа, ревевшего и валившего все кругом, как раненый медведь.

Двурогий близко... Он сейчас сбросит его и растопчет копытами коня. Но отборные телохранители Двурогого уже заметили свирепого скифа, пробивавшегося к царю Азии. Громадный черный нубиец подлетел сбоку и мощным размахом метнул в него копье. Копье скользнуло по панцирю, зацепило бедро и пронзило спину карего жеребца. Будакен полетел на землю вместе с перевернувшимся через голову конем. Толпа всадников пронеслась через него. Последним взглядом Будакен узнал пегого коня Кидрея. Мелькнуло копье, пронзившее плечистого нубийца, который повалился на землю, и затем темная ночь накрыла плащом глаза Будакена.

Телохранители Александра, отбиваясь от скифов, с трудом оттеснили их от царя царей. Схватив поводья его коня, плотным кольцом вылетели они из сечи и помчались обратно к реке.

Александр с трудом домчался до лодок. Здесь он приказал эфебу взобраться на скалу и следить за тем, что замышляют скифы. Сам же укрылся в кусты полыни, и телохранители загородили его, растянув плащи.

— Лекаря скорее, базилевс заболел животом! Где скифы? — кричали они.

— Скифы снова приближаются,— отвечал со скалы эфеб.

Александр, бледный, с синими кругами под глазами, поддерживаемый телохранителями, прошел в лодку. Гребцы отчалили и заработали веслами, направляясь к другому берегу.

Передние фаланги пехоты македонцев продолжали наступление. Они были неудержимы и не останавливались, уверенные, что сзади следуют подкрепления Александра. Ожидая великих наград за разгром непобедимых скифов, они гнались за отрядами рассыпавшегося во все стороны

противника, но натиск македонцев был бессильным ударом меча по воде.

Скифы с такой быстротой уходили от пехоты и тяжелых коней македонских этэров, что проскочили то место, где им приказано было завернуть и ударить с боков на растянувшиеся позади них ряды яванов.

Дикие вопли понеслись им навстречу.

Впереди в ущелье весь путь перегораживали ряды скифских телег, где находились женщины, дети и старики. Дымились костры, испуганные быки и верблюды бились на привязях.

Черные от солнца сакские жены на телегах подымали маленьких плачущих детей.

— Убейте нас раньше! Не отдавайте на позор врагам! Воины ли вы? Куда несетесь потеряв голову?

Одна женщина верхом на тощей лошади, с люлькой поперек седла, помчалась в ряды скифов:

— Дайте нам копья! Мы сами будем драться! Умрем в бою!

Люлька на широком ремне, перекинутом через шею женщины, раскачивалась, а она хлестала кобылицу и неслась сквозь ряды задерживающих бег скифов.

Македонцы издали увидели тяжелые телеги, где их кони переломали бы себе ноги. Военачальники закричали слова команды, и с необычайной быстротой и искусством всадники повернулись, перестроились и, стараясь сохранить порядок, понеслись обратно.

Скифы, как стая легких собак, наседающих на тяжелого кабана, кружились и гнались вслед за уходившими македонскими всадниками.

Македонцы направились обратно к реке тем же путем, постепенно сдерживая бег, подбирая своих раненых и добивая раненых скифов.

Скифы напирали сзади, готовясь к новому удару. Сейчас отряд Гелона налетит на македонцев, перерубит канаты плотов, и тогда в рукопашной схватке можно покончить с владычеством Двурогого в Азии.

Но Гелон с отрядом не явился...

Македонцы свободно приближались к переправе, выдерживая натиск беспорядочно наседавших скифов, а навстречу им уже двигалось подкрепление: извилистая линия лучников и пращников; за ними тесными рядами, блистающая медью, спешила пехота, прикрываясь бронзовыми щитами, готовая к рукопашному бою.

Яваны спешно переправлялись обратно на свой берег. Оттуда метательные машины с грохотом начали снова выбрасывать тучи стрел и камней, оттесняя скифов, пока последние плоты не оттолкнулись от раскаленного каменистого скифского берега...

В МАРАКАНДЕ

По дороге к Мараканде, взбираясь с холма на холм, плелся серый ослик с двумя мешками, перекинутыми через спину. Сзади шагал Спитамен в рваной одежде; красный лоскут был обернут вокруг головы. Он шел ровной походкой, веткой подгоняя осла, и беспечно тянул песню, переливчатую, как завывание ветра.

Он посматривал на старые желтые стены Мараканды, с густыми кустами в трещинах между зубцами бойниц, и, хмурясь, отворачивался, когда порыв ветра доносил душную струю трупного смрада. Возле открытых ворот, где обычно стояла стража и лотки продавцов вареной требухи, сушеного винограда и сладких палочек из теста, теперь было пусто. На дороге, изрытой глубокими колеями, валялись цветные тряпки, лежала на боку телега с одним колесом.

Осел, насторожив длинные уши, обошел телегу и шарахнулся, наткнувшись на раздутый труп белой лошади. В стороне лежали в странных позах несколько людей; собаки лениво отбежали от них и остановились, высунув языки, когда путник бросил в них камнем.

После ворот начинались домики ремесленников, окруженные урюковыми деревьями. Здесь раньше перед двустворчатыми дверьми целый день сидели медники и выковывали молотками тазы, кувшины или бронзовые серпы. Теперь не было видно ни одного мастера. Дверцы распахнулись; на пороге лежало пестрое одеяло, повсюду валялись клочья соломы и разбитые черепки посуды.

Осел засеменил по узкой тропинке вдоль глиняного забора.

Странная тишина и безлюдье делали мрачными эти извилистые улицы, по которым раньше непрерывным потоком двигалась смеющаяся пестрая толпа.

Что-то сильно ударило Спитамена в щеку, и легкая деревянная стрелка отскочила и скатилась на землю. Он задержал осла и вошел в раскрытые ворота. «Что это было: знак предупреждения или западня?» Он привязал осла и прошел во двор с квадратным прудом посередине. Раньше

когда-то Спитамен бывал здесь и знал хозяина — красильщика материй. И сейчас через двор были протянуты посиневшие от краски веревки, и на них еще висело несколько темных лоскутков.

Но где же сам мастер? У него было много детей, постоянно какие-то старые и молодые женщины полоскали холсты; где они? Пустынно и угрюмо, как выбитый глаз, глядела дыра в стене дома, и в ней запутался скомканный рваный ковер.

Новая стрелка пролетела мимо Спитамена, и тут он заметил на старом платане среди широких зубчатых листьев кудрявую головку мальчика. Он притаился за стволом и целился из самодельного лука деревянной лучинкой. Злые глазенки сверкали.

Спитамен подошел ближе, прикрывая лицо руками.

— Не подходи, а то убью,— пропищал ребенок.

— Подожди убивать, я друг твоего отца. Хочешь хлеба? — И Спитамен протянул ему сухую лепешку.

Мальчик схватил ее и стал жадно грызть, ворча, как звереныш, и вдруг заплакал. Слезы текли по щекам, и он утирал их грязным кулачком.

— Что с тобой, мальчуган, чего ты плачешь?

— Я боюсь здесь оставаться. Возьми меня с собой.

— Ты хочешь, чтобы я отвел тебя к отцу?

— Нет. Мой отец лежит в колодце, а мать в пруду. Я их спрашивал, а они ничего не говорят. Их побросали туда злые яваны.

— Ладно, слезай. Я тебя поведу с собой. У меня есть осел, и ты поедешь на нем.

Мальчик, ловко цепляясь босыми ногами за кору дерева, спустился на землю.

— Теперь иди за мной и не отставай, пока яваны далеко.

Они направились вдоль забора и вышли в ворота к месту, где остался осел.

Трое яванов в медных шлемах с конскими хвостами стояли около осла, и один ощупывал мешки.

— Крупный ячмень, пригодится.

— Ты зачем бродишь по чужим домам? Грабить пришел? — крикнул другой явана, приподняв копье.

— Постой, не торопись его приканчивать. Мне он пригодится. Эй, варвар, есть ли вино?.. Хочу пить!..— И македонец показал жестом, как он наливает и подносит чашу к губам.

— Я тебе сейчас найду его.

— Ты говоришь по-гречески? Да ведь ты будешь ценным слугой!

— Я ходил с караваном в Антиохию и там научился говорить на божественном языке эллинов.

Воин сдвинул шлем на затылок. Его лицо, заросшее густой курчавой бородой, сияло.

— Друзья! — крикнул он.— Мне привалило счастье. Я нашел себе хорошего раба. В него не придется вколачивать палкой наш язык.

Два других воина погнали осла.

— А у нас два мешка ячменя. Мы подкормим наших отощавших коней. Это поважнее твоего божественного языка.

— Ты, наверное, расторопный малый и сумеешь достать и ячменя для моего коня, и вина для меня. Ну-ка, подойди сюда!

Македонец поднял щепку, ножом вырезал из нее квадратную дощечку, провертел дырочку и вдел красную нитку. На дощечке он нацарапал свое имя: «Берда». Затем он крепко схватил ухо Спитамена, оттянул его и, прорезав концом ножа, продел нитку и завязал узелком.

— Теперь ты можешь быть спокоен: никто тебя у меня не отнимет. Так всем и говори, что ты раб Берды, конного копейщика.

Спитамен стоял совершенно спокойно, и смуглое лицо не дрогнуло, когда Берда прорезывал ему ухо. Он сказал:

— Ты хотел вина. Здесь есть погреб. Хозяин был гостеприимным и не раз угощал меня. Я, наверное, еще там найду кувшин старого вина.

— Пойдем, я выпью за доброе начало твоей службы.

Спитамен прошел двор, раскидал ворох старых листьев и откинул небольшую квадратную дверь. В глубине показались стоптанные ступеньки.

Он спокойно спустился в погреб.

— Есть! — донесся из глубины его голос.— Очень большие кувшины, в рост человека; надо перелить, а одному не справиться.

— Сейчас приду,— сказал Берда, прислонил к дереву копье и, положив ладонь на рукоять меча, тоже спустился в погреб.

Мальчик стоял в стороне, спрятавшись за дерево, и ждал возвращения явана и нового друга. Спитамен вышел один.

Он тяжело дышал; в руке он держал небольшой пустой кувшин.

— А где явана? — спросил мальчик.

— Ему понравилось вино, и он там остался пить его, а потом будет там же спать.— Спитамен прикрыл дверь и снова засыпал ее листьями.— Теперь пойдем скорее, если ты хочешь, чтобы я накормил тебя.

Оба пошли по узкой извитой улице. В окровавленном ухе Спитамена болталась дощечка. Навстречу попадались воины.

— Есть вино? — спрашивали они, хватая кувшин.

— Ищу для Берды,— отвечал Спитамен и направился дальше к середине города.

Главная улица, прорезавшая весь город, обычно полная народа, теперь была пустынна. Кое-где шли одинокие жители, прижимаясь к стенам. Несколько лавок было открыто, и возле них толпились македонцы. Они принесли большие, узлы, и важные купцы[1] невозмутимо разворачивали цветные одежды, шерстяные плащи, длинные покрывала и складывали их в кучи.

Купцы платили за эти награбленные вещи серебряными и бронзовыми монетами.

— Хочешь, дам один дарик?

— Один дарик за пять одежд? Да каждая хламида стоит четыре дарика! — кричали воины.

— Не хочешь — бери назад. У меня так много одежд, что я больше не могу покупать. Да вдобавок твои одежды в кровяных пятнах. Кто теперь их купит у меня?

В середине города, около ворот цитадели, на каменных выступах сидели часовые и метали кости. Спитамен заметил, что македонский гарнизон был незначителен — всего было, может быть, две-три сотни пеших и конных. Вся македонская армия двинулась дальше на восток грабить другие согдские города.

От цитадели дорога шла по мосту через глубокий ров, огибавший полукругом старые степы. Дальше начиналась самая густонаселенная часть города, где уже садов почти не было, а плоские крыши домиков лепились одна над другой бесконечной лестницей. Половина домов была разрушена пожарами, вспыхнувшими во время разгрома Ма-

---

[1] За армией македонцев шла следом свора многочисленных купцов, которые скупали у воинов награбленные вещи и отправляли в другие города для перепродажи.

раканды македонцами, и в разных местах обугленные пепелища еще дымились. Обезумевшие старухи и истощенные дети бродили среди развалин, рылись в мусоре, отыскивая себе еду и вытаскивая обгорелые тряпки.

Спитамен прошел через пустынную теперь торговую часть и зашел в переулок, где жил его друг философ Цен Цзы. Дом был пуст, вместо амбаров с товарами торчали покосившиеся черные столбы. Старый слуга-индус испуганно выглянул из погреба и, узнав Спитамена, подбежал и припал к его груди.

— И ты тоже в горе,— сказал, всхлипывая, старик, указывая на дощечку, висевшую под ухом охотника.

— Это еще полгоря,— ответил беспечно Спитамен.— А где твой мудрый учитель?

— Не знаю,— ответил слуга.— Когда грабители пришли на нашу улицу, учитель подвязал сандалии, взял посох и пошел из города. Назад он не вернулся, и я не знаю, жив ли он.

Спитамен зашел в сад, где на подстриженных деревьях листья сморщились, охваченные жаром пылавших зданий. В бассейне часть красных рыбок всплыла белыми брюшками кверху. Беседка была разрушена, и только каменная статуя Будды по-прежнему кривилась насмешливой гримасой.

Мальчик, следовавший за Спитаменом, держась за подол его плаща, подобрал несколько разбросанных по дорожке пергаментных листков, написанных рукой Цен Цзы. Спитамен бережно сложил их и спрятал за пазуху. Через пролом в стене охотник и мальчик пробрались в брошенные сады и затем вышли на окраину города, где начинались песчаные холмы.

Там Спитамена дожидалась группа всадников. На них были оборванные одежды, но все имели хорошие копья, луки и секиры.

— Яваны сейчас расползлись по городу, как клопы, ничего не стоит перехватить их живьем. Мы должны пробраться на главную площадь и отрезать яванам путь в крепость. Где главный отряд?

— За холмом, в камышах Золотоносной реки.

— Вызывайте его — яваны ничего не ожидают.

— Спитамен, что у тебя за новая серьга в ухе? — смеялись всадники.

— Это мне награда за знание греческого языка.— Спитамен сел на подведенного ему высокого рыжего коня,

надел пояс с мечом и взял в руки копье.— Кукей, возьми к себе на седло этого мальчика. Из него вырастет хороший защитник крестьян.

Из-за холма показалась вереница товарищей Спитамена и через проломы в стене быстро понеслась в город.

ПОСЛЕ БИТВЫ

Будакен очнулся. Было темно. Что-то навалилось на него, ноги невыносимо болели, и он не мог пошевелить ими. Рук он не чувствовал. Только глаза видели, что в ногах поперек него лежит большая туша. Над ней темнеет небо. В небе, мерцая, переливаются звезды.

Будакен приподымает голову, через силу поворачивает ее и снова опускает на камень.

Теперь его взор охватывает равнину, упирающуюся в горы. Неясные клочья тумана плывут и отделяются от земли. Луна выбирается из дымчатой паутины и катится по черно-синему небу, как голова, срезанная ударом меча.

Что за туша лежит на его ногах? Теперь он различает круп коня; одна нога с подогнутым копытом уперлась в небо. Нога коня начинает шевелиться и раскачиваться, и вся туша дергается.

Будакен издает хриплый стон. Послышалось ворчание, шорох и царапанье когтей.

Но где же люди? Куда они отхлынули? Их были тысячи — саков и этих надменных яванов, одетых в панцири, непроницаемые для скифских стрел.

Будакен оглядывается. Туманы отрываются от равнины и плывут по небу. Движутся черные тени: они пробираются гуськом, бесшумные, одна за другой, уткнув острые носы в землю. Это волки. Они собираются стаями и крадутся следом за саками, когда те выступают в поход.

Не они ли были сейчас здесь? Но почему бессильны руки? Звери могут изгрызть лицо Будакена: он не в силах, как раньше, задушить их своей могучей хваткой...

Будакен напрягает все свои силы и со стоном приподнимает голову. Он видит около себя камни. Нет, это не камни. Кто-то в упор смотрит на него. Что это за черное лицо? Глаза навыкате со светлым ободком белков. Оскалены крупные зубы. Белеют бусы-ракушки на черной шее. Кто он? Почему он пристально смотрит и не говорит? Будакен вспоминает черного воина, бросившегося ему наперерез, чтобы загородить македонского царя от будакенов-

ской воющей палицы. Он лежит теперь как брат, рядом с Будакеном, и в глазах его застыло удивление: он уже увидел мост Чинвад и позади него ивы, склоненные над шестью потоками воды, дающей бессмертие и забвение горестей.

Когда же сам Будакен доберется до моста Чинвад, за которым все богатыри, умершие в бою, получают вечную радость, сидя на облачных курганах, и вспоминают свои походы за чашами, всегда полными бузата. Что его тянет назад к шатрам? Перед ним смеющееся молодое лицо сына Сколота, который шепчет: «Я друг Двурогого. Я ношу красное платье и перстень явана. Я помогаю царю Азии надеть цепи на вольных саков...»

Яростный хрип с клокотанием вырывается из широкой груди Будакена; он чувствует кровь в горле. Небо, луна и лошадиная нога кувыркаются, проваливаются, и опять глубокий, бездонный мрак застилает глаза...

Яркое солнце так слепит, что трудно приподнять веки. Ресницы кажутся забором из толстых жердей, за которыми горит оранжевое небо. Будакен приоткрывает один глаз.

На его груди сидит птица. Она кажется громадной, как полнеба, черная с синим отливом, освещенная ярким лучом. Она отвернула в сторону длинный клюв и наблюдает круглым глазом.

Это ворон. Он делает осторожный шаг к лицу Будакена и опять, отвернув клюв, всматривается зорким, внимательным глазом.

Будакен жмурится... Чувствует на лице прохладное веяние крыльев. Птица подскочила и отлетела в сторону, где сцепилась с толпой воронов, усевшихся на животе лошади. С испуганным карканьем птицы поднялись в воздух и закружились: на тушу лошади опустился громадный орел с лысой шеей.

Сложив могучие крылья, он важно посматривал кругом, поворачивая голову с загнутым вниз клювом.

«Он уже сыт, потому и не клюет»,— мелькает мысль у Будакена, и снова он впадает в дремоту. Теперь ему все равно... Мост Чинвад прекрасен. Он весь сделан из длинных хрустальных нитей, на них нанизаны белые ракушки. Нити протянулись над глубокой синей пропастью. Ветер раскачивает эти бусы... Разве они выдержат такого тяжелого воина, как Будакен?

...Если сюда придут саки, они вытащат Будакена из-под

коня и, может быть, спасут его. Если придут македонцы, они добьют его. Если придут бродячие дахи, они задушат его камышовой петлей, снимут одежду, ожерелье, сапоги и срежут золотые удила. После битвы дахи приходят обдирать павших воинов.

Шаги и тихие голоса. Что они принесут: смерть или спасение? Все равно. Только бы услышать человеческую речь, увидеть живые лица. Будакену уже трудно раскрыть глаза. Веки, искусанные за день конскими мухами, распухли. Шаги ближе. Мягкий шорох ног по камням. Чья-то рука трогает лицо и пробует приоткрыть слипшиеся гнойные веки...

— Отец, жив ли ты? Дай я закрою ладонью твой рот, чтобы душа не вылетела из твоего тела раньше, чем ты услышишь меня. Это я, Сколот,— я убежал из плена. Я обошел всю долину и обшарил все кусты, чтобы найти тебя. Отец, раскрой свои смелые глаза... Твой Сколот перед тобой.

Из горла Будакена вырвался приглушенный стон.

— Он жив. Саки — крепкие воины,— шепчет старческий голос.— Если хрипит, то потом и заговорит. Отвалим сперва коня, а потом мы его снесем к ручью.

Холодная вода льется на распухшее лицо Будакена, промывает глаза, и он раскрывает тяжелые веки.

Перед ним Сколот — худой, с растрепанными волосами. Его одежда в клочьях. Грязь и царапины на лице и голых руках.

Рядом худой старик с выпуклым лбом, с длинными прямыми седыми волосами. На нем кожаная одежда дахов и ожерелье из птичьих когтей.

— Это старик дах, он вылечит тебя. Он мудр и знает, как заживлять боевые раны.

— Сколот! Скажи правду: предавал ли ты родное племя?

— Отец, они хотели, чтобы я рассказывал про все дороги, про все источники, про нашу воинскую силу. Они обещали, что я буду сакским князем над князьями. Но я им не сказал ни на пылинку правды и ждал минуты, когда смогу убежать в родные степи. А когда в ночной тишине я наконец услышал ржание наших жеребцов из-за Яксарта и увидел тревожные дымки на холмах, бросился в реку. Я переплыл ее, и раны от трех меня догнавших яванских стрел до сих пор гноятся на моих плечах...

— Где яваны?

— Все вернулись обратно за реку и залечивают раны от сакских мечей.

— А Гелон?

— Гелон изменил нам. Он увел свой отряд в ущелье, а сам перебежал к Двурогому.

— Тохар, собака! Он мог живьем взять Двурогого, а теперь лижет ему лапу. Где мой Карий?

— Карий ускакал к мосту Чинвад, а здесь, на твоих ногах, лежит его мертвая туша.

Будакен замолк. Глаза его опять слиплись, и Сколот с тревогой отгонял назойливых синих мух.

Наконец губы Будакена тихо прошептали:

— Сын мой, теперь я могу спокойно ступить на мост Чинвад...

«ДАЛЬШЕ НЕ ПОЙДЕМ!»

Со дня битвы с заречными скифами в шатер базилевса никого не пускали. Тяжелый персидский ковер завешивал главный вход, и перед ним застыли македонские часовые в шлемах, по-боевому опущенных на лицо, и с копьями, приставленными к правой ступне.

Часовые сменились несколько раз, но базилевса они все еще не видели.

В соседний шатер начальника походной канцелярии Эвмена приходили македонцы, и знатные этэры, и простые воины, выборные от отрядов,— все требовали свидания с базилевсом.

— Кроме врача и главного жреца-гадателя, базилевс никого не примет.

— Он ранен или болен?

— Болен животом,— сухо отвечал Эвмен.

Зная непреклонное упрямство базилевса, все возвращались в свои палатки, где стоял гул от криков и стонов. После этой битвы раненых было очень много — не так, как в предыдущих боях. Раны, нанесенные скифскими стрелами, воспалялись, вздувались, и воины, с выпученными глазами, горели в лихорадке, крича непонятные слова.

Лекари обходили раненых, выдавливали гной, втирали целебные мази, шептали молитвы богу Асклепию, исцелителю страждущих, но раненые все же умирали во множестве в жестоких страданиях.

Но еще страшней были удары скифских копий с крюками и палиц, раздроблявших кости. Хотя лекари заши-

вали зияющие раны, но раненые уже навсегда оставались калеками и, не думая больше о боях, обсуждали, где в Согдиане им будут выданы земли и сколько рабов они получат.

Во всем лагере громко говорили, что поход в Азию пора закончить, что у согдов очень плодородные земли, не то что на родине, в скалистой Македонии или Греции, пора воинам за их заслуги, оказанные базилевсу, получить в награду вдоволь и золотистой пшеницы, и румяных яблок, и полезного для здоровья лука и чеснока. Калеки перечисляли все, что хотели иметь: и длиннорогих быков, и стройных коней, и черноглазых согдских девушек с шестнадцатью длинными косами.

— Одно плохо,—жаловались воины,—согдские крестьяне еще очень непокорны, как необъезженные лошади; цепляются за свои земли, не желая отдавать их, и косятся на нас, как волки, забывая, что сами боги решили сделать македонцев и греков господами всех народов Азии.

— Македонцам опасно поодиночке входить в согдские селения,— говорили другие,— они исчезают бесследно. Говорят, что это дело разбойничьих шаек во главе с неуловимым Спитаменом, который умеет превращаться и в зверя, и в птицу, и в скорпиона.

— Незачем идти дальше, пора остановиться! — был общий голос лагеря.— А в земли скифов нечего больше соваться. Какая там может быть нам прибыль? В колодцах вода соленая, чеснок не растет, быки мохнатые, как медведи, и на них ездят верхом, а лошадей скифы доят, как коров. Нет, пора остановиться и начать делить между воинами завоеванные земли.

Через два дня после битвы в шатер Эвмена пришли высшие македонские военачальники. Коренастые, с толстыми шеями и большими выдающимися подбородками, с могучими плечами, македонцы шагали тяжелой поступью буйволов. Войдя в шатер, упершись кулаками в бока, они окружили Эвмена.

По краям шатра стояли столбиками одна на другой кожаные круглые коробки, каждая за соответствующей буквой; в них хранились свитки с отчетами македонских епископов[1], приставленных к персидским сатрапам. Здесь же хранились письма начальников македонских отрядов, разбросанных по всем главным путям великого персидского

[1] Епископ — надзиратель *(греч.)*.

царства, донесения правителей Сирии, Финикии, Египта и, наконец, подробные описания походов базилевса, изложенные красноречивым Анаксименом, Каллисфеном, Марсием, Харесом и другими, которые следили за тем, чтобы ни один шаг, ни одно слово «покорителя вселенной» не пропали бесследно для потомства.

Эвмен, плохо выбритый, с усталым, изборожденным морщинами лицом, растянулся на лежанке, покрытой шкурой барса, а четыре раба-писаря сидели перед ним на ковре и одновременно записывали на пергаменте то, что он им диктовал:

— «Варвары не выдержали ни взора, ни криков, ни мощных ударов непобедимых наших воинов. Они во весь дух обратились в бегство. Раздраженные воины преследовали их до поздней ночи. Все варвары увидели, что ничто не может противиться македонцам...» Вот так, как я продиктовал, понравится базилевсу.

— Эвмен, что делает базилевс?

— Чистит оружие. А когда базилевс начинает сам чистить оружие, это значит, что он в ярости и ждет, на ком излить свой гнев.

— Пускай гневается. Нам все равно надо говорить с ним.

Эвмен ударил в висевший бронзовый щит, и в шатер вбежал один из испытанных воинов-телохранителей базилевса, бывших при нем неотлучно. Воин проскользнул в малиновый шатер и, вернувшись, объявил, что царь Азии зовет к себе всех пришедших.

Оправляя складки плащей и откашливаясь, македонцы один за другим прошли за персидский ковер.

Базилевс сидел на складной табуретке в голубой безрукавке. Руки его до локтей были выпачканы салом и грязью. Перед ним на коленях стоял оружейник-перс, тощий старик, с худой, жилистой шеей. Ремешок вокруг головы поддерживал его седые вьющиеся волосы.

Базилевс скользнул по каждому вошедшему угрюмым, недоверчивым взглядом. На македонское приветствие: «Да живешь много лет!» — красиво очерченные губы отрезали коротким греческим: «Хайретэ!»

Македонцы опустились полукругом на ковер, подтянув под левую руку подушки.

— Раненых много? — спросил Александр.

— Редко кто не ранен стрелой,— скифы стреляют без промаха. Почти все наши кони подбиты.

— Это плохо. Для меня сейчас один конь важнее десяти воинов. А пригодны ли захваченные скифские кони?

— С ними нет сладу. Кусаются, как собаки, прыгают козлом на месте и сбрасывают всадников.

Перитакена, которого все презирали за бесстыдную лесть, вкрадчиво сказал:

— О блистательный сын Амона! По твоим прекрасным глазам я вижу, что ты придумал изумительный план, от которого скифы разлетятся, как стаи дроздов.

Александр молчал и усердно тер меч, обмакивая тряпку в кирпичный порошок:

— А что скажешь ты, Никанор? Что надо сделать, чтобы раздавить скифов?

Пожилой широкоплечий македонец наклонил круглую упрямую голову.

— Побить их хорошенько, чтобы сто лет помнили нас.

Александр встрепенулся:

— Я думаю то же самое. Надо продолжать поход. Надо ворваться в самое сердце Скифии, разгромить их крепость Чач.

Другие македонцы, зная вспыльчивый нрав базилевса, молчали. Их глаза, навыкате, как у быков, были непроницаемы.

— Ну что же вы молчите? Птоломей, разве не надо сейчас же идти дальше?

— Вот попробовали, да ничего не вышло. Мы с ними воевать не можем.

— Почему?

— Разве у нас была такая победа, к каким мы привыкли? — спросил Клит, прозванный Черным за смуглую кожу.— Воевать со скифами — все равно что вепрю воевать с орлами. Мы гонимся за скифами, а они разлетаются, как птицы, и сейчас же заворачивают и нападают с других сторон. Необходимо остановиться, ибо...

— Постой, Клит! — прервал Эвмен. Он очень редко высказывал свое мнение, предпочитая исполнять приказания базилевса; поэтому все внимательно прислушались, что скажет начальник канцелярии.— Скажи мне, базилевс, чего ты хочешь? Я, разумеется, не сомневаюсь, что ты сумеешь разбить скифов и занять их крепость Чач, и Роксонаки, и другие города. Но стремишься ли ты к тому, чтобы стать владыкой безводной пустыни и заставить македонских воинов доить кобылиц?.. Перитакена и Никанор уже готовы заняться этим почтенным делом... Или же ты хотел бы стать вла-

дыкой более плодородной страны, такой, как богатая Индия, откуда персидские цари получали слонов, павлинов, золото, алмазы, цветные камни, цейлонские жемчуга и чудеснейшие ткани, пряности и все другие богатства Востока? Не будут ли подобные вещи получше, чем сушеный скифский сыр и кобылье молоко?

— Но разве можно говорить об Индии, когда скифы перед нами! — сердито ответил Никанор.— Если мы теперь повернем в Индию, то скифы скажут, что мы их испугались, и пойдут следом за нами.

Эвмен пожал плечами:

— Почему они пойдут следом за нами, а не вместе с нами?

Александр перестал скоблить кирпич и удивленно поднял глаза на Эвмена:

— Ты думаешь, что скифы пойдут на переговоры?

— Простые скифы хотят драться, но ими руководят князья. И я напомню мудрые правила твоего отца, царя Филиппа. Не он ли сказал: «Стены крепости, которые нельзя взять приступом, легко перешагнет осел, нагруженный золотом»?

— Я думаю то же самое! — воскликнул, вскочив, Александр.— Нам нужно переманить к себе войско скифских всадников. Вот это настоящие воины! Гефестион, не пожалей золота. Начинай с князей — все князья любят звон золотых монет.

В шатер вошел воин и, откинув полог, пропустил запыленного гонца в персидской одежде.

Гонец поднял руку со свертком, как бы желая бросить его на ковер — знак спешности, и передал его базилевсу. После этого он зашатался и упал без сознания.

Все затихли, следя, как Александр отламывал восковые печати и пробегал, нахмурившись, греческие скорописные строки.

— Уберите отсюда гонца. Выдать ему награду! — Базилевс махнул рукой, и воины вынесли гонца.— Я получил три донесения. Мараканда осаждена бандой восставших согдов во главе со Спитаменом. Отряд македонцев в шестьдесят человек, выехавший в селение за кормом для лошадей, весь перебит — опять бандой под начальством Спитамена. Наконец, около Наутаки разбойники под начальством Спитамена же напали на мой караван, шедший из Экбатаны, и разгромили его. Что это за Спитамен, который сразу появляется в

трех местах? Этот человек — бог или три человека? Переводчик!

Эвмен откинул полог и крикнул: «Якир!» Тонкий молодой сириец с бледно-матовым лицом и шапкой курчавых волос, стянутых медным обручем, опустился у входа на колени.

Македонцы посматривали друг на друга и покачивали круглыми головами. Базилевс склонился к старому оружейнику-персу, сидевшему на ковре у его ног, и толкнул его ногой:

— Эй, бобо! Ты знаешь, кто такой Спитамен?

На лбу у старика собрались бесчисленные складки, точно ему доставляло громадную трудность вспомнить, кто такой Спитамен.

— Спитамен — это сияющий, как солнце, это храбрец, который никого не боится.

— А сколько Спитаменов — один или много?

Старик сложил на животе руки и с извиняющимся видом сказал:

— Не сердись, пожалуйста, на меня, но я не знаю.

— Где персидские князья? Что они делают? Они ведут праздную жизнь без всякой пользы. Позовите-ка мне их сюда.

Приказания базилевса исполнялись быстро, так как медлительных он колотил рукояткой меча.

Шесть персидских князей явились с распухшими от сна лицами и в беспорядочно накинутой одежде.

Александр прищурил глаза и уставился на обрюзгшего, толстого Датаферна, который под его холодным взглядом начал переминаться с ноги на ногу и пятиться.

— Ты знаешь Спитамена?

Датаферн оглянулся на других князей.

— Кто это — Спитамен? Вы слышали о таком? — спросил он шепотом.

— Какой это Спитамен взбунтовал ваших крестьян и с ними нападает на моих воинов? Вы всегда ничего не знаете! На что мне такие помощники?

— О великий, о прекраснейший! — заговорили князья.— Прикажи, что тебе нужно,— мы все сделаем.

— Спитамен — это, наверное, один из разбойников, которые бродят всегда по большим дорогам,— сказал бывший сатрап Фарнух.— Дай нам отряд твоих непобедимых македонцев, и через семь дней мы притащим его связанным к твоим ногам.

— Смотрите же, чтобы через семь дней или живой Спитамен, или голова его были здесь, передо мной, иначе сами вы потеряете головы.

В тот же день тысяча македонских всадников спешно двинулась по направлению к Мараканде. Возле начальника отряда Менедема ехал Фарнух; он уверял, что знает все уловки Спитамена, и обещал немедленно захватить его живым.

ЛОВЛЯ СПИТАМЕНА

Фарнуху не удалось в семь дней, как он обещал, поймать Спитамена. Когда тысяча македонских всадников Менедема, с которыми ехал Фарнух, прибыла к стенам Мараканды, там уже не оказалось отряда Спитамена. Из ворот цитадели вышли воины, истощенные, едва держась па ногах, так как они съели всех лошадей, уже начали есть крыс и саранчу и были накануне сдачи.

Менедем со своей тысячью помчался на север, куда уходили дерзкие бунтовщики Спитамена, не признавшие царя Азии. Но из всего отряда с трудом притащились обратно несколько всадников.

— Весь отряд вырезан и частью утонул в болотистых разливах Золотой реки,— говорили всадники.— Спитамену помог отряд скифов. Мы спаслись только благодаря выносливости и быстроте наших коней.

— А где Фарнух?

— Фарнуха скифы привязали за ноги к хвосту дикого коня и погнали его в степь.

Македонцы снова укрылись в цитадели Мараканды, когда конница Спитамена пронеслась по городу и заняла все перекрестки дорог.

Александр продолжал оставаться в Ванкате, где он строил новый город, назвав его в честь своего имени Александрией. Он вел переговоры со скифскими князьями о заключении «союза дружбы» и через лазутчиков изучал дороги на восток. Посредником был перебежавший на его сторону тохарский князь Гелон.

Известие о гибели отряда Фарнуха, посланного наказать Спитамена, привело Александра в ярость. Планы о дальнейшем движении на восток были оставлены. Немедленно с наиболее подвижной частью войска базилевс направился к Мараканде, где Спитамен снова осаждал македонский гарнизон. Вся остальная армия также двинулась к Мараканде.

Скифские князья, получив богатые дары, в знак верности обменялись с Александром копьями и поклялись, что не будут угрожать новому городу Александрии и переходить через реку Яксарт.

Александр помчался со всей конницей по следам ушедшего Спитамена и дошел до места гибели отряда Фарнуха, где наскоро похоронил тела убитых воинов. Он продолжал гнаться по пустынной равнине, но все следы Спитамена были потеряны.

Ему попался только одинокий молодой скиф, который вел за повод серого верблюда. Между горбами сидели молодая женщина и мальчик.

— Здесь никаких всадников я не видел,— объяснял кочевник.— Здесь начинается пустыня, через которую мы стараемся скорее пройти, чтобы не погибнуть от жажды и зноя.

— Что же тебя заставляет бродить в такой пустыне?— спросил базилевс.— Разве не лучше тебе жить в плодородных долинах Золотоносной реки?

— Здесь земли не принадлежат никому, а там всю землю поделили между собой князья.

— Как же тебя зовут, свободный варвар?

— Меня зовут Левша Шеппе, потому что я люблю идти влево, когда бич погонщика гонит баранов вправо.

И кочевник с верблюдом зашагали равномерной походкой, не обращая более внимания на блистающих латами всадников.

— Какое бессмысленное лицо у этого варвара! — заметил Перитакена.

— Он отличается от верблюда только умением говорить,— сказал Александр.— Но Спитамена я все-таки поймаю и посажу на кол. Наверное, он не такой простак, как этот доитель кобыл.

Вернувшись в Мараканду, базилевс со своей армией оказался в положении змеи, попавшей в кольцо раскаленных углей. Кругом, и в Согдиане и в Бактрии, вспыхивали восстания.

Крестьяне убегали в горы и леса и нападали на разъезжавших за продовольствием македонцев.

Александр беспощадно расправлялся с селениями, где происходили столкновения с его воинами. Он вытребовал из Персии новые подкрепления из молодых македонцев и наемных греков.

Наконец, он решил внести успокоение в страну самыми решительными мерами. Он разделил Согдиану на участки,

и в назначенный день посланные туда отряды должны были вырезать поголовно все взрослое население.

Александр с отдельным отрядом прошел в горы, куда укрылись жители Курешаты и других разрушенных городов. Оттуда его воины вернулись с богатой добычей, и сам базилевс привез персидскую княжну Рокшанек и объявил, что сделает ее своей женой.

— Мой брак соединит Азию и Европу,— объяснял базилевс своим приближенным.— Согдские князья не будут больше считать меня чужеземцем, когда их княжна станет женой царя царей. А с населением нечего считаться — половина его успокоилась в земле, а для другой половины я устрою великолепные игры, состязания воинов и другие увеселения в день моей свадьбы.

Спитамен продолжал давать о себе знать удачными набегами, и Александр снова призвал к себе персидских князей.

— Уже прошло не семь дней, как обещал глупый Фарнух, а семь месяцев. Однако вы до сих пор не сумели заманить и привести мне Спитамена. Я вам дам в помощь человека, самого хитрейшего из смертных. Он вам поможет найти и поймать создание тьмы и злого духа — неуловимого Спитамена.

И слуги ввели в залу бродячего атравана, которого часто видели на площадях, где он пророчествовал, давал лекарства для исцеления больных и, как безумный, предсказывал скорую гибель мира.

Высокий и тощий, как скелет, черный от грязи, с длинными, до пояса, космами вьющихся бурых волос, в шерстяных лохмотьях, он смотрел большими горящими глазами, и на темном лице выделялись длинные желтые верблюжьи зубы. Посвятив себя служению богу, он не стриг от рождения на ногах ногтей, и они, искривленные завитками, стучали по каменному полу, когда он подходил к князьям.

— Поймать Спитамена? Хорошо, я могу, я все могу,— говорил атраван, и его большой рот растягивался до ушей.— Но его надо, поймав, сейчас же сжечь на костре, иначе он обратится в летучую мышь, вспорхнет и исчезнет.

* * *

В горах, к югу от Мараканды, в глухом ущелье, над обрывом, с которого свергался неугомонный водопад, горели костры. Несколько десятков людей в лохмотьях одежд, с

мечами и копьями сидели около огня. Некоторые из них имели на себе персидские или македонские панцири. Невдалеке, по склону горы, паслись стреноженные поджарые кони.

Большой бронзовый котел был поставлен в груду раскаленных углей. Похлебка кипела ключом, и темная пена, подымаясь с одного края, шипела, падая на огонь.

— Друг или враг, стой! — послышался оклик часового, спрятанного в кустах.

— Мы ищем помощи и защиты! — послышался ответ.

— Эй, Таракан, прощупай-ка, кто это пробирается к нам.

Пожилой крестьянин, подняв короткое копье, спустился в кусты. Оттуда слышался спор. Таракан вернулся; за ним шли двое: один — лохматый, с длинными космами, нищий, в грязной, засаленной одежде атравана, другой имел вид знатного перса; лицо его было обрюзгшее, в пояснице он был шире плеч; богатая красная одежда туго перетягивалась кожаным поясом с мечом.

— Эй, занозы,— сказал Таракан,— эти люди твердят, что хотят видеть Спитамена, что они желают сообщить ему важные новости.— Он хитро подмигнул прищуренным глазом.— Выслушать их или сбросить со скалы?

— Пускай нам говорят! Сбросить к шакалам! — раздались грубые голоса.

Атраван заговорил первый:

— О храбрые защитники родины! Весь небосвод, великий бог Агурамазда и весь мир смотрят на вас и восхищаются вашей доблестью. Вот князь Датаферн — он был левой рукой у Бесса и хотел вместе с ним не допустить Двурогого в наши земли. Но Двурогому помогали все злые духи, и он залил кровью наши земли.

— Пускай говорит князь Датаферн. Чего ты поешь вместо него?

Датаферн заговорил мягким, вкрадчивым голосом:

— Я давно хотел найти вас, чтобы вместе с вами бороться против проклятых яванов. Но никто не мог указать, где ваш неуловимый вождь Спитамен. Наконец я увидел огни в горах и пошел прямо на них.

— Говори прямо, чего тебе надо от нас.

— Я хочу быть вместе с вами и помочь вам. Где ваш вождь Спитамен? Здесь ли он?

— На что он тебе? Мы все заодно. Говори прямо.

Датаферн подумал и ответил:

— Пусть будет по-вашему. Может быть, вы мне не ве-

рите, но то, что я вам сейчас скажу, покажет, что я действительно заодно с вами и готов все отдать на общее дело. Когда Двурогий подходил в первый раз к Мараканде, мой отец боялся, что яваны разграбят все те богатства, которые скопил еще мой дед. Он нагрузил верблюда золотом и серебром и с верным слугой ушел к горам и около Агалыка закопал все это в землю. Отец оказался прав. Вы сами знаете, что яваны в свои походные мешки умеют прятать целые города. Они отняли все, что было у нас в доме, и мой старый отец умер от голода, потому что не мог попасть в Агалык.

— Однако твой толстый живот показывает, что ты не страдал от голода! — воскликнул кто-то.

— Не смейся, неразумный! — ответил Датаферн.— У нас уж порода такая, и я остался толстым, несмотря на все несчастья, которые я перенес от яванов и Двурогого царя. Но я не могу оставаться спокойным. Я хочу вместе с другими смелыми бойцами бороться против злодеев, которые душат нашу родину. Я и пришел к вам, чтобы отдать на общее великое дело борьбы с Двурогим все, что я имею. Там, в Агалыке, закопано много богатств моего отца, на которые можно купить оружие, коней...

— Вы, смелые воины, можете разделить его между собою,— добавил лохматый атраван.

— Но, чтобы достать из земли клад, мне нужно, чтобы ваши молодцы поехали со мной, ночью выкопали его и увезли на быстрых конях. Там может встретиться отряд яванов, который все отберет.

Начался спор. Одни стояли за то, чтобы клад разделить, другие — чтобы отдать на общее дело, третьи — чтобы сперва привезти, а потом решать, что с ним делать.

Наконец постановили — атравана оставить заложником до возвращения князя Датаферна, а с ним немедленно отправить десять всадников на свежих конях.

Когда Датаферн и всадники скрылись в темноте, атраван присел на корточках к огню, и его большие глаза, отражая свет костра, горели, как красные огоньки. Возле него как тень появился Спитамен. Он спустился легкими прыжками с горы, с той стороны, откуда никто не ждал его. Как обычно, красная повязка окружала его голову, серая рубаха была затянута кожаным ремнем, и мягкие сыромятные сапоги делали бесшумными его шаги.

— И ты, черный ворон, появился у нас? Какое несчастье принес ты с собой?

Атраван встрепенулся, подскочил, но Спитамен ухватил его за подол бурой одежды.

— Оставь меня, не тронь! Я — священный атраван и слуга сияющего Агурамазды. Он поразит тебя молнией и громом, если ты будешь касаться меня.

Но Спитамен крепко держал шерстяную ткань и, выхватив нож, разом отсек большой кусок одежды и бросил его на пылающие красные угли.

— Эй, молодцы, посмотрите, что сейчас покажется из этого лоскута.

Атраван хотел выхватить лоскут из огня, но десяток рук держал его.

Лоскут задымился, вспыхнул, быстро прогорел, а в пепле показалось несколько золотых монет с изображением персидских царей и сатрапов...

— Вот золото, за которое этот гнусный червяк продавал Двурогому своих братьев. Он хуже вора и убийцы!

Несмотря на свою худобу, атраван был очень силен. Он раскидал всех, кто его держал, и вырвался, оставив в их руках клочья своей одежды.

— Агурамазда, ты всемогущ, сделай меня летучей мышью! — заревел он и диким прыжком бросился с обрыва.

Через несколько мгновений отдаленный шум покатившихся камней донесся из глубины темной пропасти.

— Неужели вы не догадались, простаки,— сказал Спитамен,— что это был лазутчик Двурогого? Бросьте в огонь его одежду! В ней насекомых столько же, сколько монет. И вы увидите, что под каждой заплатой у него были зашиты не только персидские монеты, но и яванские, с головой Двурогого.

СТРАННАЯ ГОЛОВА

Базилевс, усмирив железом, кровью и огнем Согдиану, отдыхал в Мараканде, в бывшем дворце Бесса.

По вечерам, к ужину, собирались его ближайшие помощники, высшие начальники отрядов и знатнейшие персы.

Возле него расположилась на лежанке, покрытой цен-

ным финикийским малиновым, расшитым золотыми звездочками покрывалом, молодая царица Азии Рокшанек — ее базилевс переименовал в Роксану. Она смотрела удивленными, расширенными глазами на базилевса, на его мускулистых, неуклюжих македонских товарищей, и на лице ее вспыхивал страх, когда громадный кубок Геракла обходил пирующих и каждый залпом осушал его.

Александр мало обращал внимания на нее. Она послужила ему забавой только несколько дней, а затем он занялся планами новых походов.

Когда Александр рассказывал о своих многочисленных подвигах, вошел воин и остановился, ожидая взгляда базилевса.

— Что случилось?

— Князь Датаферн просит принять его.

— Пусть идет. Целый месяц его не было. Посмотрю, с чем он явился.

Толстый Датаферн показался в дверях. Мышиные глаза его бегали по сторонам. Он тяжело дышал.

Александр стремительно приподнялся с лежанки.

Датаферн повернулся и втолкнул в залу молодую худощавую женщину. Она остановилась, бессильно опустив руки. Голова ее была закутана белой шерстяной шалью, красные, расшитые узором концы шали ниспадали до пола. Малиновая одежда была разорвана и запылена. Глаза смотрели прямо, ничего не видя.

Александр ожидал забавного приключения, какие обычно ему устраивали персидские князья, и крикнул:

— Это что за куропатка? Подведи-ка ее поближе.

Датаферн взял за руку женщину и повел ее через залу по шелковым коврам к тому месту, где возлежал базилевс. Другой рукой князь тащил полосатую торбу, которую согды обычно подвязывают лошадям для корма.

— О величайший! — воскликнул Датаферн, упав возле Александра на колени и подымая двумя руками полосатую торбу.— Я принес тебе дыню, которую ты давно ждешь.

— Какая дыня? Покажи!

Датаферн опустил торбу на пол, вытянул из нее сперва персидский башлык, затем опустил в нее обе ладони и вынул человеческую голову. Он держал ее за волнистые волосы, повернув лицо к Александру.

В зале все затихло. Все поднялись со своих мест и приблизились, желая увидеть странное мертвое лицо.

Это была голова молодого согда или скифа — восточные очертания слегка скуластого лица. Веки были полузакрыты, и печаль задумчивости навеки сковала последние движения молодого лица. Оно было по-своему прекрасно. Легкий темный пушок на верхней губе говорил о юных еще годах, и грустный изгиб рта создавал впечатление искренности и правдивости.

— Кто это? — глухо прозвучал голос базилевса.

— Спитамен! — торжествуя, воскликнул Датаферн.

— Мне эта голова нравится,— сказал Александр,— и мне жаль, что я не могу всегда возить ее с собой среди таких моих трофеев, как щит и лук Дария или перстень, снятый с руки Бесса... Лисипп!

— Лисипп, Лисипп,— зашептали голоса,— базилевс зовет тебя.

С лежанки поднялся пожилой грек, знаменитый ваятель, которому Александр поручал отливать из бронзы свои изображения для установки в храмах.

— Я здесь, базилевс, и слушаю тебя.

— Сумеешь ли ты вылить из бронзы такую же точно голову? Это был храбрейший из моих противников. Он не бегал от меня, как другие, а сам нападал.

— Я сделаю, базилевс,— ответил спокойно Лисипп, подойдя к голове и всматриваясь в застывшие черты.— Это прекрасный образ мужественного варвара. Но я должен сейчас же приступить к работе, пока разрушение, которое несет смерть, не изменило этого лица.— Он бережно завернул голову в башлык и вышел с ней из залы [1].

— А ты кто? Как зовут тебя? — обратился Александр к молодой женщине, стоявшей неподвижно с застывшим, печальным лицом.

— Меня зовут,— сказала она среди общей тишины,— Томирис, а тебя, если ты Двурогий, зовут «Проклинаемый людьми»...

Переводчик-сириец, услыхав эти слова, запнулся...

Базилевс взглянул на него:

— Что она сказала? Переведи!

Когда сириец шепотом перевел ее слова, базилевс, указывая на женщину рукой, отчеканил:

— Я хотел наградить ее, одеть в шелковые одежды, бро-

---

[1] Мраморная голова «умирающего перса в башлыке» хранится до сих пор в музее Терм в Риме.

сить ей талант золотых монет. Я всегда щедро награждаю своих врагов, если они мне покоряются. Но дерзких я жестоко наказываю. Только ради моей радостной свадьбы я не казню ее. Выгоните эту злую волчицу бичами, чтобы она скиталась по дорогам, как нищая!.. Царица Роксана,— обратился базилевс к Рокшанек,— отврати твой невинный взгляд от этого животного в образе женщины. Играйте, пойте песни!

Музыканты встрепенулись, флейты залились под переборы арф. Слуги-персы подхватили Томирис и грубо поволокли ее к выходу.

Воин проводил Томирис до ворот дворца. Она шагнула в темноту и, шатаясь, пошла вдоль стены, опираясь на нее руками.

Темная фигура вынырнула из мрака, перегородила ей дорогу.

— Томирис...— проскрипел тихий голос.

— Шеппе, почему ты здесь?

— Мои друзья следили за тобой, но не могли выручить. Идем скорей отсюда.

Взяв Томирис за руку, Спитамен прошел по узкому переулку, осторожно переводя ее через поперечные канавы, и вышел к повороту, где чернел силуэт высокого верблюда.

— Наконец вы пришли,— сказал детский голос.— Проходили мимо яваны, и я боялся, что они схватят нас.

Спитамен поднял Томирис и помог ей усесться между пушистыми горбами верблюда.

— Теперь с верблюдом нас четверо,— говорил Спитамен, шагая по неровной дороге,— и мы не пропадем.

Верблюд сопел и мерно ставил в пыль свои большие ноги.

Снова послышался голос Томирис:

— Чью голову лживый персидский князь подарил Двурогому?

— Голова одного из наших товарищей. Князья поймали неосторожного храбреца. А так как князья жадны и всегда лгут, то выдали эту голову за мою. Но на место убитого встанут новые борцы за свободу нашего народа. Теперь и яваны, и предатели — согдские князья вместе охотятся за мной, и пока они не уберутся отсюда, мне придется уйти туда, где не знают моего имени... Шагай, Серый, нам предстоит далекий путь...

ЭПИЛОГ

РЕЧИ «ЗА» И «ПРОТИВ» АЛЕКСАНДРА

Свадьба Александра с Роксаной состоялась в Мараканде. Осуществив этим браком воплощение своей идеи «союза Европы и Азии», Александр на празднествах и пиршествах, следовавших одно за другим, теперь занимал трон, где обычно сидел Дарий, и ему, как Дарию, персидские сановники целовали ногу.

Роксана спросила Александра:

— Почему тебе не кланяются до земли твои македонцы? Сколько македонцев и сколько народов Азии? Разве все македонцы избранники богов? Только ты — единственный сын бога. Если они не станут тебе поклоняться, то один из них захочет захватить твое место.

Первым Гефестион, за ним остальные приближенные македонцы и греки стали падать ниц перед Александром по персидскому способу и обычаям.

Однако небольшая группа лиц из числа сверстников и товарищей Александра держалась по-прежнему. Среди них был племянник Аристотеля — оратор, философ и историк Каллисфен. Александр видел это, иногда хмурился, но не показывал гнева, хотя доносчики и провокаторы сообщали ему о новом, якобы готовящемся против него заговоре, в котором участвовал Каллисфен.

Однажды за очередным обильным ужином присутствовавшие приближенные наперебой превозносили «божественного» Александра. Роксана, плохо понимавшая греческий язык, почти не принимала участия в разговоре. Александр, захмелевший, одобрительно всех выслушивал и сам произносил хвастливые речи о своих прошлых и будущих победах и подвигах.

Льстец Перитакена обратил внимание Александра на молчание Каллисфена, выглядевшее как вызов и неодобрение среди общего хора похвал Александру. Перитакена предложил Каллисфену произнести речь в честь Александра, надеясь, что Каллисфен откажется и тем докажет отсутствие своей преданности базилевсу.

Каллисфен, всегда державшийся гордо и независимо, нарядный, в выутюженном гиматии и надушенный египетскими духами, точно он был у себя в Афинах, поднялся с ложа, спокойно оправил кудри и произнес речь.

Это была яркая речь о великих достижениях и заслугах

Александра, таких, о которых тот даже не подозревал. Он сказал о прогрессивном значении его блистательных побед; о том, что Александр стал посредником и примирителем между Западом и Востоком; о том, что он открыл целым народам пути, по которым до него проходили лишь немногие путешественники; о том, что его походы открыли для народов Запада новый мир идей великих культур Азии; о роковом влиянии его походов на будущую историю народов Азии и Европы. Каллисфен высоко оценил способности Александра как государственного деятеля и военачальника, его личное мужество и щедро разбрасываемые им благодеяния...

Переводчики посменно переводили речь Каллисфена Роксане. Александр слушал сперва с удивлением и недоверием, потом с пристальным вниманием и, когда Каллисфен закончил свою речь, хотел подозвать к себе и наградить.

Но Перитакена, не показывая, что он посрамлен, предложил Каллисфену:

— Если ты истинный софист и мастер речи, то покажи нам, что ты можешь с таким же искусством сказать речь о недостатках походов Великого Александра...

— Да,— подхватил Александр.— Скажи такую речь! Я слышу отовсюду одни хвалебные слова. Я приму твою речь «против Александра» как образчик софистики, выслушаю с дружеским чувством и не рассержусь...

И Каллисфен произнес речь обратного смысла.

В ней он указал: отец Александра, царь македонский Филипп, был выше Александра, ибо это он создал сильную армию, объединил Македонию и Грецию, установил новые формы военного строя и этим подготовил и предопределил успех похода Александра на Восток; не Александру, а его непобедимой армии, его боевым товарищам грекам и македонцам, прошедшим полмира, принадлежит слава великих побед и завоевания Азии; как государственный деятель Александр ничего не создал, всюду нес только одно разрушение — он сжег Персеполь, разрушил старые культуры Тира и Сидона, уничтожил десятки городов, величайшие ценности науки и культуры побежденных народов; его «союз Европы и Азии» — это союз победителя и побежденного, раба и господина, союз, основанный на силе победителя и потому обреченный на разрушение вместе с его смертью; своей жестокостью Александр сравнялся с худшими тиранами. Любя на словах греков, он продал в рабство тридцать тысяч доблестных фиванцев и распял защитников Тира за

то, что они защищали свою родину; он, всем обязанный эллинской культуре, должен был бы поднять ее еще выше, но вместо этого сам, не будучи эллином (здесь Александра передернуло), он стал изгонять греков и все греческое из своего войска, окружив себя раболепной побежденной персидской знатью и назначая персов на государственные должности; наконец, он надел персидские штаны и атласные туфли и потребовал, чтобы его боевые товарищи целовали ему ноги, как богу! Разве Ахиллес и другие герои древних греков из столь почитаемой им «Илиады» требовали этого? Разве они допустили бы такое падение образа героя?..

Цель провокатора Перитакены была достигнута — взбешенный Александр вскочил. Левую часть лица и плечо передергивало от гнева:

— Теперь я знаю твое истинное отношение ко мне! Наконец ты высказался со всей откровенностью; ты мой самый убежденный враг и достоин казни...

Каллисфен ответил:

— Как философ я согласен принять всякую казнь, но как один из почитателей и учеников лучезарного Феба прошу не лишать меня неба, звезд и солнца, не бросать меня в темный погреб. Лучше сразу казни.

— Я так и сделаю.

Каллисфена схватили, сорвали с него плащ и увели. Он держался с таким достоинством, что его уход превратился в торжественное прощание с прежними товарищами.

После этого события ужины у Александра стали скучными. Их не делали более радостными даже персидские певцы, жонглеры и танцовщицы, вызванные Роксаной из разных персидских провинций.

Пресмыкание усилилось. Все говорили речи, наперебой восхваляя Александра как единственного сына бога, мудрейшего из мудрых, но никто не сказал такой глубокой, смелой речи, как речь «за» и «против» Каллисфена.

По приказу Александра Каллисфена посадили в клетку, где его поливал дождь и жгло солнце.

Александр ждал просьбы о помиловании. Некоторые просили Александра за Каллисфена, и тогда Александр спрашивал:

— А что говорит сам Каллисфен? Сам-то он просит пощады?

Ему ответили:

— Он просит одного: пусть ему дают достаточно папи-

русных свитков, чтобы описать твои походы и все выдающееся, что он видел.

Однажды, через полгода после речи Каллисфена, Александр спросил Гефестиона:

— Что с Каллисфеном?

— Он обовшивел и умирает.

— И не просит прощения?

— Он ответил: «Я могу просить бога света и правды Феба, но не тирана»...

— Его упрямство заразительно. Он показывает плохой пример другим. Нужно сломить всех заговорщиков. От него идут главные нити сопротивления власти базилевса. Казнить его!

ГЕРОИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ КАЛЛИСФЕНА

Александр приказал приготовить праздничное зрелище растерзания человека диким львом. На зрелище Александр пригласил скифских послов, с которыми договаривался вместе идти на Индию. Скифы были рады выведать новые дороги для набегов в будущем, вели переговоры и прибыли на зрелище.

Казнь должна была состояться внутри дворца бывшего сатрапа Мараканды и недолгого царя царей Бесса. Большой двор был окружен одноэтажными зданиями, где раньше жили жены Бесса, и перед каждой дверью, выходящей во двор, алели пышные кусты роз. В середине двора находился квадратный бассейн с золотыми рыбками.

На крышах зданий, окружающих двор, сидя на коврах, расположились самые знатные из приближенных Александра. С одной стороны двора — персы, а на другой стороне — македонские военачальники; многие воины тоже влезли на крыши.

Откуда-то доносилось хриплое, яростное рычание льва. Он был специально пойман в пустыне сетями и привезен для потехи.

Александр прибыл на зрелище, вернувшись из поездки в горы, где он хотел захватить отряд повстанцев, укрывшихся в крепости на вершине скалы. Взяв крепость, воины перебили всех ее защитников и занялись грабежом. Оставив своих солдат, Александр примчался в Мараканду с небольшой свитой.

Рабы вымыли его тело, умастили душистым розовым маслом и завили кудри. Это задержало зрелище.

Трубы и флейты возвестили прибытие базилевса. Все встали и с громкими криками «Ту бихас!» («Ты победишь!») пали ниц. Только воины продолжали, выпрямившись, стоять позади лежавших, и длинные копья густой щетиной резко вырисовывались на уже покрасневшем к вечеру небе.

Когда Александр, в голубой тунике и розовых шелковых шароварах, войдя решительной походкой, занял приготовленное место на золотом троне, раскрылись ворота, ведущие во двор.

На двухколесной повозке, со скрипучими колесами выше роста человека, запряженной мулами, украшенными красными кистями, была поставлена железная клетка. Никто не узнал бы теперь Каллисфена. Голый, он сидел сжавшись, и его длинные, раньше всегда завитые кудри теперь обратились в спутанную гриву.

Клетку открыли. Каллисфен вышел из нее, прижимая к груди свитки папируса. Он перевязал свитки красной тесьмой и положил их на землю.

Ему дали плащ. Он накинул его через плечо красивым жестом, оправил складки, освободил правую руку и спокойно ждал, пока слуги увезли повозку.

Когда мулы уехали и затихли их бубенчики, подошедший распорядитель-перс шепнул Каллисфену:

— Поклонись базилевсу.

Каллисфен поднял руку, точно защищаясь, и отвернулся.

Персидские воины с копьями и щитами в руках двумя шеренгами подошли к воротам и остановились. Перс-распорядитель распростерся ниц перед Александром и затем, стоя на коленях и кланяясь, воскликнул на ломаном греческом языке:

— Великий повелитель народов и его несравненная подруга жизни! Сейчас почтенные гости увидят, что ожидает самых знаменитых людей, если они замышляют злое против своих благодетелей!..

Затем персы торопливо удалились.

Рычание льва усиливалось — его нарочно старались раздразнить, прижигая раскаленным железным прутом. Двадцать четыре раба-негра в цепях стояли в ожидании около небольшой карагачевой двери, ведущей в подвал. У каждого раба было копье с длинным листообразным, остро отточенным лезвием, равным половине копья.

— Отворяй! — крикнул перс — распорядитель зрелища.

Дверь подвала отворилась. Рабы отбежали и прижались за выступом стены. Из темного квадрата подземелья больши-

ми скачками выпрыгнул лев и замер, ошеломленный невиданным зрелищем. После темноты подвала его ослепило солнце. Привыкший к простору пустыни, лев с боязнью косился на непонятные ему постройки, и человек, одиноко стоявший посреди двора, еще не привлек его внимания. Лев бросился к бассейну, прыжками обогнул его и остановился.

Каллисфен величественным жестом откинул плащ и, повернувшись к уже заходящему солнцу, сказал:

— Тебе, величайший просветитель человека, лучезарный Феб, создавший свет и правду, свободный искатель истины и мудрости, обращаюсь с последним словом.

Человек — это единственное из земных существ, созданное с глазами, обращенными к небу, а не к земле. Он создал храмы, чтобы в них возносить тебе молитвы и хвалу.

Сейчас я ухожу из этого мира, где я всегда, как и мой учитель, великий Аристотель, призывал людей выше всего любить свободу, правду и точную истину. Всю жизнь я стремился проникнуть и разгадать тайну вселенной.

Что может сделать свободному философу тиран, который требует себе поклонения, стараясь стать рядом с тобой, озаряющий своим светом вселенную, лучезарный, всесильный Феб!

Я рад, что могу послать тебе, вечный Феб, мой последний привет и сказать, что, даже плененный, даже запертый в клетку, я сохранял гордость свободного ученого, мыслителя, поэта.

Мои мысли, моя бессмертная душа сохранятся в моих записках, которые переживут казненного Каллисфена.

Сегодня закончатся мои записки, в которых я описал походы и подвиги Александра Великого, доблестного, достойного. И этот мой труд ни огонь, ни железо, ни всепожирающее время, даже гнев Зевса Олимпийца не будут в состоянии уничтожить.

Сегодня пришел день, который должен повернуть страницу моей судьбы, но мой дух сильнее и бессмертнее моего бренного тела, и он улетит высоко за пределы небесных светил, куда не достигает воля и насилие мелких и великих тиранов. Моя слава переживет меня. Вот я лишен отечества, друзей и дома. У меня отнято все, что только можно отнять, но мои дарования со мной. Они служат мне отрадой, ими я живу. Тут кончается власть базилевса. Пусть безжалостный меч или дикий зверь пустыни прекратит мои дни — слава переживет меня...

Больше Каллисфену говорить не удалось. Александр,

рассерженный речью философа, гневно взглянул на перса — распорядителя зрелища. Тот сверху крикнул черным рабам на дворе. Один из них ловко метнул копье в льва и ранил его в заднюю лапу. В ярости лев замотал огромной головой, заросшей густой гривой, и сделал прыжок.

Вторым прыжком лев бросился на Каллисфена. Философ упал, сбитый тяжестью огромного зверя. Лев, раздавив страшной пастью светлую голову мыслителя, рвал его лапами и с рычанием глотал куски мяса.

Александр встал, лицо его было хмуро. Брови сдвинуты. Он сказал Гефестиону:

— Рукопись сохранить. Внимательно рассмотреть, что он писал.

— Я уже читал. Он описывал твои походы.

— Осуждал меня?

— Нет, базилевс. Он восхвалял тебя.

Александр на мгновение задумался.

— Прощать — это привилегия богов. Смерть Каллисфена — достаточная угроза моим врагам, а для потомства — пусть знают, что Александр приказал сохранить рукописи Каллисфена. Каллисфен был необычайный человек, не то что другие, безумные заговорщики. Он заслуживает бессмертия... Сам позаботься о рукописи и дай ее размножить.

Подошел перс-распорядитель и пал на колени:

— Величайший! Ты сейчас увидишь, как эти аравийцы убьют льва!..

Александр, недовольный, продолжал стоять.

— Пусть убивают. Лев тоже заслужил смерть за то, что убил великого мыслителя.

Перс приказал неграм:

— Кончайте!

Негры, прикрываясь узкими длинными щитами, приблизились с четырех сторон. Лев рычал, бил хвостом и продолжал терзать тело Каллисфена. Негры одновременно метнули копья. Блестящие отточенные лезвия пронзили тело зверя. Лев вскочил и упал, попытался еще вскочить, но его крестец был перебит. Он рычал и полз на передних лапах, волоча туловище.

Негры подбежали еще ближе и вторыми копьями добили царя пустыни.

Праздник кончился. Александр медленно удалился. За ним, блистая драгоценностями, следовала Роксана. Она улыбалась, ее глаза сверкали торжеством. Толпа лежала ниц, выражая преданность царю царей.

— Да,— сказал Гефестион,— сам Зевс Вседержитель постоянно забывает гнев, отбрасывает свои громы и молнии и позволяет снова сиять ясному небу.

Прошли тысячелетия. По-прежнему по бесконечным равнинам Азии мерной рысцой, на лохматом бегунце или верблюде, едет кочевник. Он направляет путь к серебряной звезде, танцующей над далекими холмами.

Его дикая песня в своих загадочных переливах говорит о неоконченной сказке, о прерванном сне, о слезах, смешанных с кровью, и о чудесных грезах начавшегося расцвета Азии.

Но теперь на вековых тропах можно встретить не только одни караваны стонущих верблюдов. Теперь видны новые путники, среди них — юноша и девушка. Они несут в груди горячее пламя неудержимого порыва к знанию и свободе. Путники взбираются по крутым склонам гор, веря, что достигнут вершины, где огни их сердец сольются в новое сияние, которое озарит далекие пределы Азии.

Над путниками с визгом проносится смеющийся ветер в погоне за далекими миражами розовых городов, вырастающих из мертвых желтых песков. Но ветер уже не может разогнать эти миражи.

Новые города Азии строятся. Они вырастают и тянутся к небу в кружевах стальных стропил, создавая новую, культурную жизнь свободных, возрожденных народов.

НА КРЫЛЬЯХ МУЖЕСТВА

ВОСТОЧНАЯ ПОВЕСТЬ-СКАЗКА В ДВУХ ЧАСТЯХ

о бесстрашном, пламенном
доблестном султане Джелаль-эд-Дине Менгу-Берти,
о его упорной борьбе с беспощадными монгольскими воинами
великого истребителя народов
«потрясателя вселенной» кагана Чингиз-хана,
о необычайных битвах, победах, скитаньях
и о неожиданной трагической гибели в Курдских горах
этого удивительного витязя,
последнего шах-ин-шаха
Великого Хорезма.

...и лучезарный юноша сражался на путях Аллаха и оберегал честь рода своей славой.

Из древней сказки

ДЖЕЛАЛЬ-ЭД-ДИН НЕУКРОТИМЫЙ [1]

Рожденный властвовать, средь бурных сеч
Не знающий тревоги и смущенья,
Ты высился как знамя... Пораженья
Не гнули силу непокорных плеч.

Изведал Чингиз-хан твой светлый меч...
Властитель, он проникся уваженьем
К тебе, грозившему во имя мщенья
За честь отцов войною мир зажечь.

Шатались армии от сильных взмахов
Твоей руки, ты низвергал их в прах...
Но Азраилу повелел Аллах,—

И в курдской хижине возвел он плаху,
И принял смерть ты, как и жил, без страха,—
Джелаль-эд-Дин, последний Хорезм-шах!

---

[1] Стихотворная обработка песен Н. Н. Ушакова и М. Б. Сандомирского. Сонет — О. Орловской.

ПРОЛОГ

ТАИНСТВЕННЫЙ КУМГАН

Пастух Чобан-Коркуд был, пожалуй, самым бедным во всем кочевье Бала-Ишем. Его хижина состояла из нескольких камышовых циновок, подпертых кольями, и все свое имущество — продранный войлок, на котором он спал и совершал священные молитвы, и старый железный кумган без крышки, служивший и для варки и для омовения, и ободранная шуба из облезлого козла, и длинный посох с загнутым концом,— все это он мог за один раз легко унести с собой. А весь его скот — гордость и богатство кочевника — состоял из большой лохматой собаки, белой, с красными угрюмыми глазами, которая покорно плелась за ним, куда бы, по обязанности пастуха, Чобан-Коркуд ни переходил.

Много лет он пас овец и ягнят во всякое время года, являясь на ночевку из одной юрты в другую, где его кормили. А старый пес его Акбай равнодушно и гордо следовал за ним, и все собаки узнавали его: обнюхавшись, они расходились без обычной драки. Когда же неопытные щенки пробовали задеть его, то разъяренный Акбай давал им поучительную трепку и спокойно, виляя хвостом, возвращался к ногам хозяина.

И с Чобан-Коркудом произошло необычайное дело. Однажды он лег на свой войлок возле входа в старый шалаш и лежал без движенья на боку, подпирая седую голову костлявым, огрубевшим кулаком. Все из кочевья приходили смотреть на Чобан-Коркуда и говорили, что в старого пастуха вселился безумный джинн. А Чобан-Коркуд отвечал, что он и мог бы продолжать свою обычную работу, но он не будет больше пасти овец:

— Пусть это делают более молодые пастухи. Я же буду смотреть днем на плывущие облака, а ночью — на сверкающие слезами звезды, на дорогу вечности (Млечный Путь) и на улыбку месяца...

Кочевники предложили старому Чобану увеличить вдвое назначенную ему оплату — не две, а четыре овцы в год и даже пять... Но он от всего твердо отказывался, и кочевники уходили прочь, удивленно покачивая головами.

Несколько дней спустя к Чобан-Коркуду приплелась через пески его сестра, очень бедно одетая — в заплатанную, полинялую, когда-то бывшую малиновой, рубашку до пят. Она принесла на руках плачущую, исхудавшую, как лягу-

шонок, маленькую девочку. У этой девочки большая головка еще плохо держалась на плечах. Старушка Айдын обходила юрты кочевья, говорила, что она сестра Чобан-Коркуда, и просила молока для найденной ею в песках сиротки. И она затем приносила брату и лепешки, и сушеный творог, и молоко, собранное в разных юртах в большую глиняную миску.

— Это мое счастье, найденыш Гюль-Джамал,— говорил любопытным Чобан-Коркуд.— Она прокормит и себя, и бабушку, и меня...

Шестнадцать лет продолжалось «счастье» старого пастуха. У него появилась задымленная войлочная юрта, увешанная внутри бархатными ковровыми чувалами, над костром повис на цепи чугунный котел; у входа в юрту лежали ожидавшие милости хозяина две рыжие собаки, а рядом на приколе дремала белая ослица, и возле нее развился черный пушистый осленок.

А счастье у Чобан-Коркуда появилось так — об этом рассказывал сам Коркуд... А верно ли это или не верно — знает лишь аллах великий и всеведущий, и он ему судья!

Невдалеке от кочевья возвышались полузасыпанные песками развалины древней крепости. В далекие времена за ее неприступными стенами жил хан Баяндер. Много сказок и песен было сложено про его набеги на Хорезм и на Иран, откуда он возвращался с захваченными конями, верблюдами, нагруженными всяким добром, и с пленниками, молившими о пощаде, которых он продавал на невольничьих рынках Мерва, Несы и Мешхеда.

Но всякая удача сменяется новым решением аллаха — слава ему и величие! — в те же далекие времена войско неведомых кочевников пронеслось ураганом через пустыню и обратило грозную крепость хана Баяндера в желтые мертвые развалины, жилище совы и скорпиона.

Только мальчишки из кочевья ходили на эти развалины после каждого дождя, столь редко проливающегося в знойной пустыне. Недолговечные мутные потоки прокладывали дорожки между грудами квадратных плоских желтых кирпичей. Мальчишки внимательно осматривали эти дорожки и, счастливые, находили то обломок ножа, то чашу с цветным рисунком, то древнюю почерневшую монету, то зеленые бусинки. Более удачливые находили даже обломки янтаря, жемчужины, серебряные монеты или блестящие кусочки золотых тилля.

Бедняк Чобан-Коркуд не гнушался вслед за мальчишка-

ми ходить между развалинами в надежде, что щедрая рука удачи принесет ему целую, неразломанную золотую монету.

Однажды его посох коснулся предмета, издавшего звон. Был холодный день, когда ранней весной еще падал мокрый снег, и мальчишкам не хотелось оставить теплые юрты. Оглянувшись и увидав, что никого кругом нет, Коркуд присел на корточки и начал ножом раскапывать находку. Постепенно стал показываться старый медный чайник — кумган, позеленевший от времени, с изогнутой ручкой, вполне исправный кумган. На нем были заметны надписи и узор, покрывавший выпуклые бока.

Пастух принес домой в свой шалаш находку и зарыл ее под войлоком, боясь открыть крышку,— кумган был очень тяжел. Он опасался любопытства соседей и старого пса Акбая, сидевшего у входа и следившего за тем, как его хозяин роет руками песок на том месте, где обычно лежал войлок. Акбай после ухода старика непременно стал бы лапами разрывать это место.

В этот день Чобан-Коркуд впервые за свою долгую жизнь солгал, да простит его аллах и да помилует! Он стал всем говорить, что повредил себе ногу и не может выйти пасти баранов...

Дождавшись ночи, когда все кочевье заснуло и месяц на ущербе безмолвным сторожем смотрел с вышины, Коркуд дрожащими от волнения руками открыл концом ножа крышку, слипшуюся из-за зеленой окиси.

Вдруг со свистом из кумгана вырвался дым, с запахом гари и серы, и туманным облаком полетел в степь, подхваченный порывом ветра.

— Ойе! Ойе! — воскликнул Коркуд, положив палец на подбородок, и долго сидел пораженный, в недоумении, так как ему показалось, что из дыма выглянула голова бронзового цвета с огненными глазами.

Облако быстро растаяло. Коркуд подождал и, видя, что ничего больше не происходит, стал со страхом рассматривать содержимое кумгана. Сверху в кумгане лежал полуистлевший шелковый платок, а в нем была завернута серебряная коробочка в виде початка кукурузы, с вложенной молитвой и заклинаниями. А дальше узловатые пальцы старика нащупали мешочки с монетами.

В голубом свете любопытного месяца пастух увидел, как из первого мешочка на темный войлок посыпались золотистые кружочки, тонкие, с загадочной надписью... Он

боялся доставать и развязывать остальные мешочки: перед ним уже было большое богатство — пятьдесят золотых тилля, которых было вполне достаточно, чтобы старого Чобана-Коркуда наполнить надеждами.

Положив обратно в мешочек золотые монеты, старик завернул его в свой матерчатый пояс. Он закрыл кумган и снова зарыл его в песке под войлоком. Впервые Коркуд ударил посохом наблюдавшего за ним верного Акбая, точно боясь, что пес может разболтать о найденном богатстве.

В ближайшие ночи Чобан-Коркуд вынул остальные шелковые кошельки. В одних оказались опять золотые монеты, в пяти же последних он нашел семена: риса, пшеницы, проса, ячменя и джугары. А на самом дне лежала вторая серебряная коробочка, в которую была втиснута туго свернутая длинная узкая записка.

Только через год, когда Чобан-Коркуд побывал в Несе, он разыскал там своего друга детства, ставшего учителем — дамуллой, и тот прочел ему содержание этой записки. В ней стояло следующее:

«Поистине мы принадлежим аллаху и к нему возвращаемся, и нет мощи и силы, кроме как у аллаха высокого, всевластного, делающего несчастного счастливым.

Оставляю завещание своим внукам и правнукам. Я собрал это богатство своей смелостью и трудолюбием. Я не передаю моим сыновьям этого золота. Я хочу, чтобы они сами, своими руками, своим трудом, поставили себе юрту благоденствия и радости. Но жизнь длинна, извилист путь ее, и часто мы наталкиваемся на солончак бедствий.

Возможно, что придут тяжелые времена, возможно, что с востока, или с запада, или с других сторон вселенной примчатся враги дикие, безжалостные, не желающие проявить милость и дружбу потомкам праведного Адама. Будет великая война, когда небо померкнет от горя и кровью оросятся мирные пашни и степи нашей священной земли. Правоверные и прочие люди будут скитаться, не находя себе крова и пищи, и небо раскалится от огня и дыма горящих селений. Поля опустеют и, невозделанные, зарастут диким бурьяном. Люди съедят все запасы, и не останется зерна, чтобы снова засеять обработанную землю. На этот час я оставляю лучшие семена пяти добрых растений, подаренных человеку аллахом — велик он! — чтобы человек мог жить и питаться. Из каждого семени вырастет девять колосьев, а в каждом колосе нальются девяносто девять зерен. Правоверные и

прочие люди снова вспомнят мирную жизнь и счастье труда, урожая и дружбы.

К вам я обращаюсь, мои потомки великого тюркского племени: храните пять драгоценностей, которые всегда создадут вам славу, безопасность и благоденствие и сделают непобедимыми. Эти драгоценности: мужество, трудолюбие, верность данному слову, уважение к женщине и прославление аллаха, единого, покоряющего и милосердного.

Хан Баяндер».

Чобан-Коркуд вернулся в свое кочевье и никогда никому не говорил о найденном богатстве, которое он хранил в песке под своим старым войлоком. Ведя праведную и воздержанную жизнь, он был щедр к беднякам и гостеприимен ко всем, приходившим в его юрту.

ЧУДЕСНЫЙ ГОСТЬ ИЛИ СОН?

Однажды в тихую летнюю ночь старый Чобан-Коркуд лежал на узком, истертом коврике у входа в свою юрту. Положив под усталую голову свернутую козлиную шубу, он смотрел на звездный узор, вышитый аллахом по темному бархату неба, и, перебирая четки, сделанные из косточек алычи, повторял свое заветное заклинание:

— О аллах, всемогущий и милосердный! О малом прошу тебя: дай мне только достаточно сил, чтобы дожить до светлого дня, когда отрада моих очей Гюль-Джамал перейдет в руки человека достойного, праведного, трудолюбивого и к ней ласкового.

В этот день в песках Каракумов охотился молодой сын Хорезм-шаха Джелаль-эд-Дин Менгу-Берти. Он сбился с пути, попал под ливень и, увидев юрту Коркуда, направил к ней своего коня. Он попросил разрешения переночевать и тихо уселся у входа, обняв руками колени.

Чобан-Коркуд разговорился с молодым ханом. Его лицо понравилось ему своей открытой приветливостью, и пастух решил поделиться с ним своей тайной.

При свете костра Джелаль-эд-Дин внимательно прочел послание хана Баяндера и попросил Чобан-Коркуда подарить ему этот свиток. Затем он стал читать другой свиток, на котором были написаны заклинания. Вероятно, Джелаль-эд-Дин произнес одно из них, имевшее особую волшебную силу...

Лежавший рядом рыжий пес, сменивший уснувшего вечным сном Акбая, вдруг заворчал, насторожился, и шерсть на его спине стала дыбом.

Чобан-Коркуд поднялся и остолбенел... Над кумганом курился дымок, как будто в нем тлели угли чилима с табаком. Пес прыгнул вперед и залаял, а дымок быстро принимал очертания неподвижно стоящей тени, из которой появился облик человека. Красивый, стройный юноша, смуглый, с черными сдвинутыми бровями, скрестив руки на груди, смотрел на Коркуда бирюзовыми глазами. Черные как вороново крыло кудри, падающие до плеч, указывали на чужеземное происхождение незнакомца; об этом же говорил невиданный покрой его платья, лилового, с блистающими кое-где золотистыми звездами. За пояс из прозрачных голубых камней засунут кинжал в золотых ножнах. В руках юноши была зеленая смарагдовая палочка длиною в локоть.

Изумленный Коркуд, дрожа от страха, открывал и закрывал рот, из которого не вылетало ни одного звука. Рыжий пес бросился на незнакомца. Тот поднял смарагдовую палочку, и пес, перевернувшись, откатился в сторону и, жалобно повизгивая, умчался прочь.

— Привет, уют и простор твоему дому! — обратился к Коркуду необычайный гость. Его слова в тихом безмолвном воздухе звучали как переливы свирели.

— Будь моим гостем, садись со мной рядом! — прошептал осмелевший Коркуд.

— Ты меня призвал. Я ждал этого давно, чтобы увидеть тебя и узнать, что ты сделал, найдя древний, чудесный кумган. Я готов помочь тебе, если град несчастий на тебя обрушится. Почему ты не призвал меня раньше?

— Мне ничего не нужно! — ответил Коркуд.— Я имею гораздо больше того, о чем я когда-либо молил аллаха, велик он и славен!

Грустная улыбка осветила бледное лицо незнакомца:

— Ты первый из смертных, который доволен своей судьбой и своим достоянием. Я покажу тебе сейчас, что бы ты мог давно иметь... У тебя старая юрта. Дождь протекает сквозь ее войлочную крышу.

— Но у других кочевников бывает то же!..— робко сказал Коркуд.

— Стань рядом со мной и смотри!..

Коркуд вдел ноги в старые кавуши и, подойдя к незнакомцу, опустился рядом с ним на корточки. Он дрожал, и колени его подгибались.

Голубой дымок заклубился над юртой и совершенно скрыл ее. Когда порывом ветра дым унесло в степь, Коркуд увидел на месте старого жилища просторную юрту из белых войлоков, обтянутую пестрой, узорчатой дорожкой. Вход был завешен красивым ковром. Над юртой вился тонкий дымок, доносился запах ароматного плова и горячих лепешек.

— Разве ты не хотел бы видеть около твоего жилища благородного туркменского коня, потомка славного Буйноу, с маленькой головкой, настороженными ушами, лебединой шеей и хвостом на отлете — признаком драгоценной арабской крови?

Огненная зарница осветила небосклон. Коркуд вздрогнул, оглянулся, и когда перевел глаза обратно к новой юрте, он увидел рядом с ней поразительной красоты вороного коня, привязанного на приколе, воткнутом в песок. Конь стоял, подняв гордую голову, и ржал, весь дрожа, в нетерпении ожидая ответа на свой призыв... Невидимые руки бросили перед ним связку сушеной юрунджи (клевера).

— На что мне такой чудесный ханский конь? Я могу мечтать только о старом спокойном иноходце, на котором мог бы сделать поездку к моему почтенному другу дамулле в Несе....

— Ты его уже имеешь!

Это оказалось правдой: вместо вороного коня возле юрты стоял невысокий сивый конь в красных крапинках и мирно жевал свернутую жгутом, как женская коса, сухую степную траву.

Коркуд, изумленный, спросил:

— Скажи мне: что я мог сделать доброго для тебя, почему ты хочешь меня облагодетельствовать?

— Ты оказал мне неоценимую услугу, освободив из кумгана, где я находился девять столетий, запечатанный перстнем царя Сулеймана, сына Дауда. За это я исполню девять твоих желаний. Хочешь, я тебя перенесу на крыльях птицы симург под финиковые пальмы счастливой Аравии, на берега реки Евфрат?.. Или сделаю великим визирем шаха Хорезма и подарю сотню прекрасных невольниц из разных стран? Или ты получишь в дар тысячу баранов с тяжелыми курдюками и столько же тонкорунных белых овец, приносящих по два ягненка?..

— На что мне все это?! — Коркуд замахал руками.— Не обременяй моей жизни тяжелыми заботами. Мне вполне хватит одной верблюдицы с верблюжонком. О ней будет

заботиться моя почтенная сестра и приготовлять из верблюжьего молока пенящийся чал [1], которым я смогу угостить тебя, мой добрый покровитель.

Коркуд боялся даже взглянуть перед собой, однако верблюдица уже стояла, и возле нее неуклюже прыгал верблюжонок, стараясь дотянуться до материнского вымени.

— Довольно, довольно!— воскликнул Коркуд.— Я узнаю тебя! Ты могущественный джинн! А джинны бывают опасны и коварны... И теперь, после стольких радостных даров, я боюсь! Я боюсь, не начнется ли для меня пора горьких испытаний. Мне, старому Коркуду-пастуху, ничего не нужно, кроме одного: чтобы моя сиротка Гюль-Джамал, осветившая своей заботой и лаской закат моей жизни, чтобы эта вверенная мне судьбой девушка нашла себе смелого защитника и спутника на ее жизненной дороге...

Коркуд закрыл глаза руками и тихо заплакал.

Он очнулся, лежа, как и раньше, на ковре, положив седую голову на козлиную шубу. Кто-то звал его. Рыжий пес свирепо лаял. Чобан-Коркуд открыл глаза. На том месте, где только что говорил джинн, стоял молодой туркмен и шепотом твердил:

— Очнись, очнись, Чобан-Коркуд! Выслушай меня! Позволь мне эту ночь провести под твоим мирным кровом! Я бежал от преследования ханских джигитов, которые убили моего отца, известного тебе Курба-Джаухер-Клыча... Зовут меня Кара-Кончар...

— С твоим отцом мы были друзьями детства. Этой ночью ты будешь моим желанным гостем.

Кара-Кончар подошел к коврику. Они прижались друг к другу плечами, уселись рядом и стали шепотом говорить.

— Вчера двести ханских джигитов,— шептал Кара-Кончар,— пронеслись бурей по многим кочевьям. Они ограбили юрты, забрали лучших жеребцов и захватили самых красивых девушек. «Это все для шах-ин-шаха»,— объясняли проклятые джигиты и срывали серебряные украшения с груди женщин. Разве это все нужно шах-ин-шаху, самому богатому правителю вселенной?

Чобан-Коркуд, всплеснув руками, с ужасом сказал:

— Значит, ханские джигиты завтра могут приехать и сюда, в наше кочевье, и увезут мою внучку Гюль-Джамал? Вот подарок джинна, который кончается печалью!

---

[1] Чал — кислый напиток из верблюжьего молока, напоминающий кумыс.

— Ты должен бояться этого,— сказал Кара-Кончар.— Я давно думал о Гюль-Джамал и давно хотел, чтобы ты отдал мне ее для моего счастья.

— Но мы бессильны перед волей шах-ин-шаха! — ответил Чобан-Коркуд, и оба стали обсуждать, как помочь в надвигающемся горе.

— Где же мой приветливый знатный гость? — спохватился вдруг Коркуд.

— Когда я подъезжал сюда, я видел, как молодой джигит на очень красивом коне отъехал от твоей юрты и поскакал в сторону Ургенча.

ЧАСТЬ I

МУХАММЕД ШАХ-ИН-ШАХ ХОРЕЗМА

I. СЫН ПАНТЕРЫ

Хорезм-шах Мухаммед Алла-Эддин любил поражать воображение окружающей его почтительной свиты неожиданными решениями. Однажды он сказал:

— Из моих двухсот семидесяти жен, украшенных добродетелью, красотой и привлекательностью, я не вижу ни одной, которая принадлежала бы к племени беспокойному, свободолюбивому, всегда кипящему гневом и возражениями.

Все льстецы поняли, что повелитель говорит о туркменах. Старый векиль дворца и смотритель над евнухами заметил:

— Причину этого надо искать в твоей мудрости: ты не хотел иметь при себе во дворце постоянно тлеющий очаг беспокойства и тайных заговоров.

— Нет, это не верно! — возразил более дальновидный, смелый начальник конницы Тимур-Мелик.— Наш повелитель задумал мудрый и необходимый шаг: его величество приобретет верного и преданного друга, когда он будет держать около своего благородного сердца лучший цветок этого смелого, гордого племени.

— Да! Я решил послать опытных моих помощников в каракумские кочевья, их объехать и выбрать девять прекраснейших цветков пустыни. Всех их доставить в мой дворец. Они должны иметь гордую поступь вольного коня, легкость газели, глаза, сияющие как звезды в темную ночь,

уметь петь свои песни и быть достойными стать моей женой и подарить мне наследника...— и шах задумался, накручивая на палец, украшенный алмазным перстнем, завиток своей черной шелковистой бороды.

Сидевшие кругом Хорезм-шаха на ковре льстецы оживились и зашептали:

— Такие девушки будут тебе петь степные песни, танцевать, как ветер. Они приготовят тебе лучшие туркменские кушанья, они подарят тебе сыновей, совмещающих твою мудрость, твое мужество и туркменскую веселость, беспечность и страсть к набегам.

— Когда туркмены будут знать,— добавил шейх-уль-ислам,— что избранница их народа стала твоей великой подругой и спутницей жизни, они прекратят свои обычные волнения, имея собственную шахиню, которая будет рассказывать тебе, государь, об их жизни, нуждах и желаниях.

— Это мудрый, дальновидный и необходимый шаг! — хором поддержали все сидевшие близ Хорезм-шаха.

Целый месяц все туркмены были взволнованы. Некоторые кочевья снялись со своих стоянок и ушли далеко в глубь песчаной степи Каракумов. Два кочевья вступили в кровопролитную борьбу, когда их джигиты взаимно похитили девушек, предназначенных в жены Хорезм-шаху.

Все же приказ был выполнен, и караван верблюдов, разукрашенный серебряной сбруей, пестрой бахромой и шелковыми коврами, доставил в столицу Великого Хорезма, город Ургенч, во дворец шаха, девять «украшений вселенной», черноглазых и снежнозубых смуглых степных красавиц.

Осмотр и оценку привезенных невест взяла на себя властная мать Хорезм-шаха Туркан-Хатун, родом из племени кипчаков. Поэтому осмотр туркменок она делала с особой строгостью. Сам повелитель Хорезма, став женихом, не имел права увидеть избранницу до торжественного обряда венчания, порученного шейх-уль-исламу вместе с имамами, улемами и хором завывающих и прыгающих дервишей.

Туркан-Хатун, со своей обычной злобностью и недовольным шипением, осматривала и обследовала каждую девушку. Обнаженные, заливаясь слезами, закрывая руками лицо, они стояли перед шахиней-матерью, покорно исполняя все ее прихоти.

— Тощая, как голодная курица,— презрительно ворчала шахиня, ощупывая ребра одной.— Видно, питалась только

джугарой... Зубы у тебя как у совы, а ноги тонкие, как у джейрана. Ты неуклюжа, как птица пеликан, такие же толстые, как у нее, твои губы...

Туркан-Хатун была недовольна всеми девятью девушками. Однако Хорезм-шах нетерпеливо требовал немедленной свадьбы. Поэтому Туркан-Хатун выбрала одну, по имени Ай-Джиджек (лунный цветок), и приказала ее одеть в самые роскошные брачные наряды. Остальным девушкам, униженным и оскорбленным пристрастным осмотром, Туркан-Хатун приказала вернуться в кочевья. Сопровождавшие караван белобородые старики говорили между собой:

— Конечно, мать-царица нарочно бранит наших красавиц. Ведь она кипчакского рода, ей хочется унизить туркмен. Она выбрала Ай-Джиджек не потому ли, что эта чудесная девушка — сирота, у нее нет родных, которые могли бы приобрести влияние и значение при дворце?

Уже в пути караван был возвращен по приказу Хорезм-шаха. Он пожелал, чтобы все прибывшие с караваном, в том числе и восемь звезд, подруг невесты, присутствовали на свадебном празднестве.

На этом празднестве Мухаммед Алла-Эддин показал, что иногда он может поступать вопреки воле своей матери. Он проявил исключительную щедрость, наделив роскошными подарками всех туркменских гостей и опустошив этим значительно свою сокровищницу. Он был поражен, увидев туркменских красавиц, блиставших очарованием и улыбками, точно яркое созвездие Плеяд в летнюю ночь.

Туркан-Хатун, заметив, что Хорезм-шах готов включить в число своих жен еще восемь туркменок, посоветовалась с кипчакскими ханами, и шаху было сообщено, что все кипчаки волнуются и готовы сделать набег на туркменские кочевья, если они заметят дальнейшее благоволение к этому беспокойному племени.

Мухаммед Алла-Эддин ответил, что «для него счастье и спокойствие родины выше всего» и что он отпускает «восемь звезд» обратно в свои кочевья к родителям.

Царица Туркан-Хатун, отдувая важно губы, шептала своим приближенным:

— Я все предусмотрела, все подготовила... Я выбрала самую смуглую, темную, как жук, самую тощую, самую слабую. Я уверена, что она скоро подохнет.

Однако эта маленькая, худенькая туркменка с черными

спокойными глазами не оправдала надежд самоуверенной кипчакской ханши. Ай-Джиджек была гибкая, стремительная и выносливая, как пантера, и легкая, как степная дикая коза.

После торжественной свадьбы, которая, однако, по настоянию шахини-матери прошла более скромно в сравнении со всеми предыдущими свадьбами Хорезм-шаха, она поселилась в отведенной ей особой пристройке к дворцу, окруженной высокой стеной. Там были садик из молодых персиковых деревьев и кустов роз, бассейн с пестрыми рыбками и высокий старый карагач, на который Ай-Джиджек взобралась в первый же день, чтобы с его верхушки увидеть родные песчаные степи.

Мухаммед Алла-Эддин посвятил новой жене только первый десяток дней, а потом вспоминал о ней изредка, предоставив избраннице полную свободу в пределах ее маленького мирка.

Ее навещали приезжавшие из степей туркменки и влиятельные старики. Они привозили подарки — белых ягнят, живых куропаток, сушеный творог, и крупный розовый виноград, выросший в предгорьях Копетдага, и маленькие шелковые ковры, на которых просили ее молиться о счастье туркменского народа.

В урочное время Ай-Джиджек подарила Хорезм-шаху смуглого, как абрикос, очень крикливого мальчика, над которым шейх-уль-ислам произносил торжественные молитвы, а подосланные шахиней Туркан-Хатун колдуны завывали заклинания. Приезжавшие из степей туркменские певцы возле люльки с мальчиком распевали родные былины о подвигах своих героев, желая, чтобы новорожденный царевич тоже стал степным героем — батыром.

Занятый походами и государственными делами, Хорезм-шах надолго забыл о своем маленьком сыне. Он был очень удивлен поэтому, когда спустя семь лет Ай-Джиджек попросила его посмотреть на ее мальчика, названного Джелаль-эд-Дином.

Хорезм-шах прислал за ним несколько всадников и в подарок — коня, прекрасно убранного золотой сбруей. Джигиты вернулись, сказав, что мальчик отказывается сесть на этого коня.

— Почему? — воскликнул разгневанный Хорезм-шах.— Неужели, воспитанный женщинами, мой сын стал сам подобен изнеженной, робкой девушке? Я ему нарочно послал

спокойного белого коня, на котором детям ездить безопасно.

Джигиты ответили:

— Твой сын растет батыром. Он сказал, что на присланном твоим величеством коне может безопасно ездить царица Туркан-Хатун или старенький шейх-уль-ислам. А для того чтобы явиться перед великим шахом Хорезма, у него есть собственный конь, приведенный ему как дар туркменского народа. На этом коне он и приедет.

Хорезм-шах был удивлен и заинтересован. Он приказал сыну немедленно явиться и ожидал его в загородном саду Тилляны.

Маленький Джелаль-эд-Дин прискакал на необычайной красоты рыжем, поджаром туркменском жеребце с огненными глазами. На гибкой шее гривы не было, а от ушей до холки тянулась голая полоса — признак древней редкой породы. Мальчик легко соскочил на землю, бросив поводья джигитам, примчавшимся за ним на взмыленных конях. Держа в руках убитого зайца, он подошел к покрытому коврами возвышению под старым карагачем, где сидел Хорезм-шах. Джелаль-эд-Дин опустился на колени, положил зайца и поцеловал землю между руками.

Мухаммед Алла-Эддин был взволнован, подозвал к себе сына, обнял его, поцеловал в лоб и посадил рядом с собою.

— Прими от меня мою охотничью добычу — я сам загнал зайца моими любимыми борзыми собаками.

— А кто тебя научил ездить на этом коне?

— Моя мать, Ай-Джиджек! — гордо сверкнув глазами, ответил Джелаль-эд-Дин.

Хорезм-шах приказал немедленно для него зажарить зайца на вертеле, а из шкуры сделать для себя охотничьи рукавицы.

Он велел джигиту, державшему коня, сесть на него и проехаться по дорожкам сада. Джигит с трудом взобрался на храпевшего и плясавшего жеребца, а затем вылетел из седла, когда конь взвился на дыбы и сделал несколько бешеных скачков.

Со вторым и третьим джигитами произошло то же — они не могли усидеть на сильном, злобном жеребце.

Хорезм-шах хохотал до слез и приказал больше не трогать коня.

— А тебя конь сбрасывал когда-нибудь? — спросил он сына.

— Старики меня учили: кто не падал с коня, тот не

научится ездить. Теперь конь меня слушается, а я к нему привык.

Джелаль-эд-Дин спокойно подошел к коню, погладил его по гибкой, изогнутой шее, легко вскочил в седло и несколько раз промчался по саду, перескочив через кусты цветущих роз.

С этого дня Хорезм-шах полюбил мальчика, брал его с собой на охоту и требовал, чтобы он являлся к нему каждую пятницу, для присутствия на торжественном празднестве в честь Искандера Зулькарнайна Великого.

Вскоре, к бешеному негодованию Туркан-Хатун, Хорезм-шах объявил Джелаль-эд-Дина наследником древнего престола Хорезм-шахов.

Возмущенная Туркан-Хатун, проливая ядовитые слезы, слушала дворцовые сплетни, передававшие новые случаи внимания Мухаммеда к маленькому сыну от ненавистной ей туркменки. Шахиня, однако, присылала для мальчика дорогие подарки, сладости и редкостные плоды. Ай-Джиджек с благодарностью их принимала, но не передавала своему сыну ничего, что исходило из рук завистливой Туркан-Хатун, боясь отравы и смертельных заклинаний, сделанных над подарками, приносящих гибель.

Затем Хорезм-шах разрешил Ай-Джиджек вместе с Джелаль-эд-Дином свободно ездить в туркменские кочевья. Там мальчик участвовал в скачках, в охоте с борзыми собаками на лисиц, джейранов и волков. Он выказывал и ловкость и отвагу, своей легкой походкой, неутомимостью и отчаянной смелостью вызывая восхищение кочевников. Эти качества он получил от своей матери, которую правильно когда-то злобная Туркан-Хатун назвала «туркменской неукротимой пантерой». Тряся головой и шипя, она говорила:

— И сын пошел весь в нее. Кипчаки должны его бояться... И разделаться с ним возможно скорее...

II. ЮНОСТЬ ДЖЕЛАЛЬ-ЭД-ДИНА

Кипучий, всегда стремительный Джелаль-эд-Дин не мог примириться с однообразной жизнью дворца, постоянными приемами посетителей, с торжественными выходами Хорезм-шаха, его пышными речами, в которых он начинал с поучений об обязанностях правоверного мусульманина, а кончал планами будущих походов для завоевания вселенной.

— Ты новый Искандер Великий! — кричали раболепные слушатели.

Согласно приказу отца, Джелаль-эд-Дин всегда находился возле него как престолонаследник, который должен учиться трудному искусству управления государством.

Все свободное время Джелаль-эд-Дин проводил у своей матери Ай-Джиджек, в ее небольшом домике на территории дворца, где она, сидя на террасе вместе с несколькими служанками, искусно вышивала сюзане или ткала небольшие ковры с редкими, старинными узорами.

Одна комната с краю террасы была отведена Джелаль-эд-Дину. Всякий, войдя в нее, мог убедиться, чем увлекается наследник Хорезм-шаха. На стенах висели мечи и кинжалы различных образцов и размеров, саадаки, откуда выглядывали луки и стрелы, а в углу стояли короткие копья с отточенными, как бритва, лезвиями. Там же, на ковре, среди пестрых подушек обычно сидел Джелаль-эд-Дин, погруженный в чтение книги или чистя меч, согласно правилу: «Сталь меча должна быть так же светла, как мысли и сердце ее хозяина». Рядом лежала простая желтая баранья шуба, служившая подстилкой летом и покрывалом зимой. Для изголовья Джелаль-эд-Дин использовал очень легкое, хорезмского образца, седло, обтянутое кожей, с которым он никогда не расставался.

Воспитателем и учителем будущего шаха в воинском искусстве был знаменитый полководец, весь изрубленный в битвах, Тимур-Мелик. Он рассказывал и о своих походах, и хорезмийских богатырях прошлого, как они создавали славу и могущество Великого Хорезма и как дед и прадед Джелаль-эд-Дина сражениями и победами раздвигали границы родной страны.

Одно имя всегда волновало Джелаль-эд-Дина — прославленное имя Искандера Великого Двурогого[1]. Молодой наследник страстно хотел подробнее ознакомиться с жизнью этого необычайного полководца.

У Джелаль-эд-Дина был также и духовный наставник, факих[2] Хасан-Юсуф, тихий, сумрачный старик, приходивший медленными, неслышными шагами, принося в цветном платке несколько старинных книг, пахнущих воском и шафраном. Он читал нараспев арабские тексты и переводил

---

[1] На монетах Александр Македонский изображался в шлеме с бараньими завитыми рогами.

[2] Факих — ученый, законовед.

их на узбекский язык, объясняя поучения пророка Мухаммеда, да почтит аллах лик его!

А Джелаль-эд-Дин внимательно слушал старого учителя, всматривался черными пытливыми глазами в его седую бороду и крючковатый нос, следя, как тот водил сморщенным пальцем с желтым ногтем по священным строкам книги... Но мысли его уносились далеко, в горы и равнины Ирана, и вместо рядов арабских букв, сплетенных искусной вязью, он видел стройные ряды воинов, ощетинившихся длинными копьями, или стремительно скачущих всадников, а впереди — его, в серебряном шлеме с белыми крыльями, непобедимого, необычайного Искандера...

Однажды Джелаль-эд-Дин прервал Хасан-Юсуфа во время его разглагольствований о правилах веры и закричал:

— Довольно! Это выше моих сил! Отныне ты мне будешь рассказывать о том, к кому летит моя душа!..

Старый ученый оторопел... Он положил палец на нижнюю губу и стал грызть желтый ноготь. А Джелаль-эд-Дин продолжал:

— Скажи мне, достопочтенный наставник, нет ли у тебя такой книги, в которой была бы описана жизнь и походы великого Искандера?

Хасан-Юсуф рассердился:

— Как ты смеешь прерывать чтение «Благородного свитка»?! [1] Почитание аллаха — прежде всего! И я должен научить тебя этому, как приказал мне Хорезм-шах: «Привлечь сына к беседам с людьми богобоязненными и рассеять безумные мысли, так как ему не суждено быть шахом Хорезма».

Джелаль-эд-Дин вздрогнул... То, что он услышал, показалось ему невероятным:

— Но я ж наследник древнего престола Великого Хорезма?! Кто может лишить меня этого?

— Кто дал тебе это счастье, тот может тебя и лишить его! Если его величество увидит, что ты слишком любим народом, он назначит своим наследником самого младшего из своих сыновей, ребенка, чтобы в нем еще долго не иметь себе соперника...— Здесь старик перепугался, что сказал лишнее, захлопнул книгу и, схватив свои туфли, хотел убежать, но Джелаль-эд-Дин крепко держал его за одежду.

---

[1] «Благородный свиток» — так обыкновенно назывался Коран, священная книга мусульман.

— Сейчас ты мне расскажешь все, что знаешь про великого Искандера!

Старик засопел, прикрыл широким рукавом глаза и прошептал:

— Да поведет тебя всевышний по светлому пути удачи!..— Факих выпрямился и, снова став сумрачным, заговорил, как обычно, нараспев:— Если ты хочешь знать жизнь и подвиги Искандера-Румийца, истребителя народов,— да не помилует его аллах! — то послушайся моего совета. У твоего отца в потайном месте хранится драгоценная библиотека. Среди редчайших книг, конечно, есть и книга об Искандере...

— Благодарю тебя за важные указания, достопочтенный мой наставник!

Охая, с бормотанием молитв, старик удалился.

На другой день Джелаль-эд-Дин был у хранителя библиотеки, престарелого шахского летописца Шахир-Сулеймана Аль-Хорезми. Раньше ему не приходилось встречаться с этим великим ученым-историком, который изо дня в день, сорок лет без перерыва, записывал в большую толстую книгу летопись всех важнейших событий, происходивших во владениях Хорезм-шаха.

Библиотека находилась в небольшой квадратной комнате с железными решетками на маленьких окнах под самым потолком. Старый летописец, несмотря на жаркий день закутанный в бараний тулуп, сидел на истертом коврике. Перед ним на резной деревянной подставке лежала развернутая большая книга, а рядом с ним на коленях сидел его молодой чтец и переписчик,— старик уже наполовину ослеп и сам не мог ни читать, ни писать. От дряхлости у него тряслась голова, но мысли оставались ясными, и память воскрешала события далеких лет. Он диктовал переписчику фразу за фразой, а тот, повторив, обмакивал тростниковый калям в бронзовую чернильницу и быстро записывал их в большой книге красивой арабской вязью.

Шахир-Сулейман встретил Джелаль-эд-Дина сперва сердито:

— Приходят сюда знатные юноши посмотреть на меня, точно я пляшущий Карагез или ученая обезьяна, а настоящего дела нет ни у кого!

Узнав, что Джелаль-эд-Дин наследник престола, летописец раскашлялся и приказал помощнику вписать в книгу, что в такой-то день такого-то месяца наследный принц Джелаль-эд-Дин Менгу-Берти, желая просветить свой ум

светом знания, посетил старинную библиотеку Хорезм-шаха.

— Вот перед тобой драгоценное книгохранилище! — И старик указал трясущейся рукой на пять сундуков из потемневшего дерева, прикованных железными цепями к стене.— Отопри сундуки,— сказал он переписчику, сняв с пояса связку ключей.— Покажи книги дорогому, почтенному гостю.

Зазвенели пружины замков, все пять крышек были откинуты. Переписчик доставал книгу за книгой, громко читал название каждой, написанное на первой странице, и потом передавал ее летописцу. Старик любовно ощупывал каждую и вкратце рассказывал ее содержание. И вдруг одна книга оказалась той, которую искал Джелаль-эд-Дин. Она называлась: «Книга лекаря и философа Каллисфена о жизни, походах, завоеваниях и несчастной смерти царя Азии Искандера Зулькарнайна».

— Больше мне ничего не надо! — воскликнул Джелаль-эд-Дин.— Отложи эту книгу! Я хочу читать ее и возьму с собой!

Старик снова раскашлялся и затрясся:

— Я не могу допустить этого! Я приставлен его величеством беречь библиотеку... Без личного приказа Хорезм-шаха, запечатанного его перстнем, ни одна книга не может быть вынесена отсюда! — И он приказал переписчику:— Читай эту книгу нашему молодому наследнику!.. Начинай!

Певучим, ясным голосом переписчик стал читать. Джелаль-эд-Дин жадно слушал, а старик кивал головой и скоро задремал. Когда повесть дошла до того места, где говорилось: «Искандер из всех книг любил одну, поэму Гомера «Илиаду» о подвигах Ахиллеса и других героев, и эту книгу он всегда держал под своим изголовьем», Джелаль-эд-Дин загорелся и воскликнул:

— Я тоже хочу всегда иметь при себе книгу о подвигах Искандера, написанную так мелко, чтобы она помещалась в моем седельном мешке и всегда лежала под моим изголовьем!

Переписчик, взглянув в лицо Джелаль-эд-Дину блестящими серыми глазами, прошептал, косясь на дремлющего старика:

— Я перепишу тебе эту книгу, храбрый батыр! На это понадобится сорок дней. Для тебя я все сделаю!

Тогда Джелаль-эд-Дин впервые заметил, что у пере-

писчика хрустальные глаза, что у него ямочки на щеках, когда он улыбается, и что на его маленьких, точно девичьих, нежных руках нет ни одного кольца, ни одного браслета.

— Кто твои родители? Откуда ты?

— Не знаю! Ребенком я была куплена на базаре невольников и с тех пор стала рабыней Шахир-Сулеймана. Он научил меня читать и переписывать книги, их сшивать и рисовать картинки тушью, красной киноварью и золотом. Я благодарна ему, так как, зная это ремесло, я всегда найду работу и не умру от голода.

— Значит, ты девушка?

— Да, меня зовут Бент-Занкиджа.

— Если ты сделаешь то, что обещала,— говорил Джелаль-эд-Дин холодно и спокойно, хотя сердце его трепетало как птица,— то я заплачу тебе за каждую страницу по динару. А на каждый палец надену по кольцу и руки твои украшу браслетами!

Девушка опустила глаза, и две светлые слезы, скатившись по ее щекам, упали на страницу древней книги.

— Благодарю тебя, щедрый батыр, но мне ничего этого не нужно!..

Джелаль-эд-Дин на мгновение задумался:

— Я выкуплю тебя из рабства! Я подарю тебе свободу!..

Дрожащим от волнения голосом она с трудом проговорила:

— Через сорок дней ты получишь обещанную книгу... Никакой награды за нее я не хочу... Если же ты подаришь мне свободу, то, клянусь, я сама приду к тебе, чтобы стать твоей рабыней и не расставаться с тобой никогда.

Джелаль-эд-Дин вскочил... Слова девушки поразили его... Но в это время проснулся летописец Шахир-Сулейман, и Джелаль-эд-Дин, скрывая охватившие его чувства, с достоинством поблагодарил старика, обещав ему на другой день прийти снова, чтобы слушать дальше повесть о жизни и подвигах Искандера Непобедимого...

III. УДАР СУДЬБЫ

В этот знаменательный день старая царица Туркан-Хатун с утра была взволнована в ожидании важных событий. Она отхлестала по щекам всех своих служанок, а двоих таскала за волосы, ударяя лицом об пол.

Придворная мастерица осторожно подсурьмила ресницы,

накрасила синей краской брови от виска до виска, изогнув их, как крылья хищной птицы. Она набелила ей лицо и нарумянила щеки. Туркан-Хатун то и дело поглядывала в отшлифованное серебряное зеркало и в конце концов осталась довольна своим отражением.

Затем она выгнала всех служанок, надвинула на голову тюрбан пестрого шелка, с пышным султаном из перьев белой цапли, и с милостивой улыбкой разрешила войти своему любимцу, бывшему простому водоносу, персу Мухаммеду Бен-Салиху, которого она за его красоту и стройный девичий стан назначила управляющим всеми своими поместьями.

Он вошел, гордый и наглый, сознавая свою власть над обожающей его старой шахиней. Он не скрестил рук на груди, как полагалось, заложил их за пояс и, выпрямившись, подходил к ней, поскрипывая красными сафьяновыми сапогами, сдвинув изогнутые брови, стараясь изобразить на лице негодование и тоску.

Туркан-Хатун сидела на восьмиугольном серебряном троне и беспокойно двигалась, оправляя складки широкого парчового платья.

— Я давно добиваюсь, чтобы меня к тебе впустили, радость моих очей! Но, видно, на меня смотрят по-прежнему как на простого водоноса и гуляма. Вот мне награда за мою многолетнюю преданность тебе, прекраснейшая звезда вселенной!

Шахиня, прикрывая расшитым цветными шелками платком накрашенный рот, отвечала воркующим голоском:

— Почему ты так взволнован, мой возлюбленный? Мои обещания будут исполнены. Я же обещала тебе, что сегодня сюда прибудет Хорезм-шах и он тебе предоставит самое высокое положение, какое только может присниться сыну Адама.

— Я перестал верить твоим обещанием! Я клянусь, что если Хорезм-шах Мухаммед не выдвинет меня на высшую ступень, то я уйду в пустыню.

Он повернулся и быстро направился к выходу, резко отбросив руки шахини, желавшей его обнять, и, снова надменный, чувствуя обаяние своей красоты, вышел из полутемного зала.

Кипчакские ханы с отрядами телохранителей уже съехались, запрудивши улицу, двор и сад шахини. Знатнейшие из них проходили в тронный зал, низко склоняясь, приближаясь к Туркан-Хатун, говорили пышные приветствия

и затем садились вдоль стен на длинных узких коврах, положив на колени свои мечи. Вопреки обычаю, все ханы явились вооруженными, некоторые даже в кольчугах и металлических шлемах и латах.

Хорезм-шах, вместе с наследником Джелаль-эд-Дином и несколькими приближенными, прибыл в назначенное время, после второй молитвы муэдзина, призывавшей правоверных с высокого стрельчатого минарета. Шах был в парчовой одежде, с золотой саблей на боку, украшенной драгоценными камнями. Огромную белую чалму перевивали алмазные нити.

Когда Хорезм-шах, войдя в тронный зал, увидел множество кипчакских ханов, стоявших на коленях, опираясь на мечи, он на мгновение остановился и обвел всех недоверчивым, угрюмым взглядом. Сделав приветственный знак, подняв ладони и проведя ими по черной бороде, произнес молитву. Все ханы, низко склонившись, повторили приветствие и молитву. Один хан громко воскликнул:

— Да здравствует и царствует много лет наш возлюбленный шах, непобедимый новый Искандер, Мухаммед Алла-Эддин!

И все ханы многоголосым хором повторили это восклицание.

Хорезм-шах сделал несколько шагов вперед. Еще ослепленный ярким солнцем, он с трудом различал в полумраке зала, с отполированными деревянными стенами и решетчатыми окнами, светящуюся золотой парчой свою пышную мать, восседавшую на серебряном троне. Сложив руки на груди и слегка склонившись, Мухаммед быстро подошел к матери и прошептал:

— Селям, почитаемая и любимая, свет добродетели, образец справедливости!

Складки золотой парчи зашевелились. Пестрый тюрбан с пучком белых перьев низко склонился, коснувшись пола. Сделав сыну земной поклон, шахиня снова взобралась на трон.

— Бедная, несчастная вдова, мать твоя приветствует величайшего правителя вселенной! Окажи мне почет и радость и сядь рядом со мной!

Мухаммед выпрямился, поднял глаза и увидел перед собой маленькое лицо, густо покрытое белилами и румянами, и черные колючие глаза, в которых дрожали красные огоньки.

Туркан-Хатун, подобрав под себя ноги, сидела на вось-

мигранном серебряном троне, похожем на большой поднос. Мухаммеду, как верховному правителю страны, следовало сесть рядом с матерью, но на троне не оказалось места: все было занято ее парчовым платьем, и шах опустился рядом на ковер. Этого только и добивалась Туркан-Хатун, желая показать своим кипчакам, что могущественный Хорезм-шах сидит ниже ее.

Шахиня заговорила вкрадчиво, стараясь придать нежность своему низкому голосу, тряся головой, и ворох перьев на ее тюрбане дрожал:

— Я просила навестить меня, величайший возлюбленный сын мой, чтобы вместе обсудить важные дела. Они касаются счастья и благополучия нашего прославленного рода Хорезм-шахов. Надо оберегать наш трон, нашу власть и защитников нашей власти. Помни, что только одни кипчаки — верные защитники нашего трона. Все же другие племена, населяющие земли Великого Хорезма, ненадежны, вечно недовольные и бунтующие. Их нужно крепко держать за горло, подняв над ними кипчакский меч.

Джелаль-эд-Дин, войдя вслед за отцом и выразив почет бабке, встал в стороне, близ большого расшитого шелками занавеса, спускавшегося с потолка и прикрывавшего стену. Ветер слегка шевелил узорчатую ткань, позволяя видеть за ней широко раскрытую дверь, ведущую на балкон. Наследник был в полосатом красном чекмене с серебряным поясом и мечом в зеленых сафьяновых ножнах. Голову его украшал тюрбан из шафрановой индийской шали. Услыхав речь Туркан-Хатун, Джелаль-эд-Дин спокойно положил ладонь на рукоять меча, предчувствуя, что кипчакские ханы могут обрушить свою ненависть на него.

Хорезм-шах молчал, как бы обдумывая слова матери, и потом сказал:

— Я слушаю тебя, моя премудрая родительница, охраняющая наше гнездо и незыблемость трона Хорезм-шахов.

— До моей скромной хижины долетели слухи, будто ты готов к новым походам в отдаленные страны... Если вдруг ты погибнешь мучеником за правую веру, то здесь, без твоей могучей руки, возможны кровавые беспорядки, да оградит нас от них всесильный аллах! А так как наследник престола, мой беспокойный и надменный внук Джелаль-эд-Дин, предпочитает перешептываться с туркменами, готовыми вырезать всех нас, кипчаков, то пора подумать о том, не следует ли вместо Джелаль-эд-Дина забла-

говременно назначить наследником другое лицо, чтобы управлять страной Великого Хорезма.

— Мудрые слова! Драгоценные, как алмазы! — воскликнули ханы.

— Поэтому, — продолжала Туркан-Хатун, — посоветовавшись с преданными ханами родного нам кипчакского народа, я решила, дорогой мой сын, передать тебе просьбу всех кипчаков, чтобы ты назначил наследником престола твоего самого младшего сына, Кудб-эд-Дина Озлаг-шаха, сына твоей молодой жены, кипчакской ханши... Джелаль-эд-Дина же ты отошли на крайнюю границу твоих владений управлять самой отдаленной областью. Здесь же он является постоянной угрозой и тебе, и всем нам.

Все затихли, ожидая, что скажет шах Мухаммед. Он молчал, задумчиво накручивая на дрожащий палец с алмазным перстнем завиток шелковистой темной бороды.

— Если ты откажешься,— угрожающе прошипела Туркан-Хатун,— то все кипчаки уйдут из Хорезма в свои степи, и я тоже, как последняя нищая, пущусь в скитания вместе с ними.

Видя, что Мухаммед все еще колеблется, шахиня повернула голову и подняла маленькую ручку с золотыми браслетами. За ее плечами стоял красавец Мухаммед Бен-Салих. Он понял жест своей повелительницы, быстро вышел из зала и тотчас же вернулся, ведя за руку семилетнего мальчика, одетого в длинный, до пола, парчовый халатик.

— Вот ваш новый наследник престола! — воскликнула резким властным голосом Туркан-Хатун.— Объявляю ханам, бекам и простому народу, что шах-ин-шах согласен видеть в нем опору своего древнего, славного трона.

Все ханы вскочили, подхватили на руки мальчика и несколько раз подняли его кверху:

— Да живет, да царствует наш единокровный кипчакский шах!

Хорезм-шах встал, принял на руки сына, усадил его на трон рядом с бабкой Туркан-Хатун, которая, подобрав платье, подвинулась, уступив ему часть трона.

— Слушайте, ханы и беки! — сказал шах Мухаммед.— Как видите, я исполнил ваше желание. Теперь вы исполните также мою волю. Предстоят большая война и дальний поход на Китай. Я жду, что вы, со всеми своими джигитами, выступите немедленно, как только прозвучат боевые трубы, сзывая непобедимые мусульманские войска!

Все ханы вытащили до половины свои мечи и с треском снова их задвинули в ножны.

— Веди нас на край света, новый Искандер Великий! — закричали кипчакские ханы.— С тобою мы покорим всю вселенную!

Улыбнувшись, Хорезм-шах повернулся, отыскивая глазами сына.

— Теперь я хочу, чтобы наш возлюбленный сын Джелаль-эд-Дин сказал нам, что он думает о новом избраннике? И согласен ли он управлять отдаленной богатой Газной и Тохаристаном?

Джелаль-эд-Дин, побледневший, но спокойный, холодно ответил:

— Благодарю, отец, мне ничего не надо! Я люблю свободу и шум войны!..— и он стал отстегивать серебряный пояс с мечом.

— Берегись его! — закричали кипчаки.— Смотри, он берется за меч!

Джелаль-эд-Дин, выхватив блестящий клинок, переломил его о колено и бросил обломки перед троном Туркан-Хатун.

— Как защитник трона и как воин отныне я вам стал не нужен... Ты, отец, нашел себе новых защитников... Да сохранит тебя аллах от такой опоры трона!

Джелаль-эд-Дин быстро отошел, откинул край занавеса и стоял в дверях балкона, ярко освещенный солнцем.

— Я не останусь здесь, опороченный именем «бывший наследник»! Я покидаю Хорезм и ухожу скитаться по бесконечным дорогам вселенной, искать судьбы в неведомых краях... Если же ворвутся враги в нашу землю, то мы тогда увидим, будут ли кипчаки защищать Великий Хорезм или постыдно изменят? Меня вскормила родная земля Хорезма, и если ей будет грозить гибель, то я клянусь, что вернусь сюда простым воином, чтобы биться за ее свободу!

— Ловите его! — кричали ханы.— Смотрите, как он бешен, он опасен!

Высокий, грузный кипчак, в тяжелой кольчуге и блестящем стальном шлеме, устремился к Джелаль-эд-Дину. Тот с ловкостью и бешенством пантеры прыгнул на грудь кипчака; прижав его к стене, вывернул из его руки меч и быстро выскочил на балкон. На мгновенье он остановился в дверях и крикнул Хорезм-шаху:

— С этим мечом, отнятым у врага нашего народа, я ухо-

жу завоевывать себе светлое имя. Да хранит тебя праведный Хызр!

Джелаль-эд-Дин соскочил с балкона во двор, сел на своего коня и умчался под крики собравшейся толпы:

— Да здравствует наш батыр Джелаль-эд-Дин!

Хорезм-шах завыл от горя:

— Сын мой, любимый сын! Что я наделал! Я потерял своего лучшего сына и друга, и какого друга! Какую я сделал страшную ошибку!

К Хорезм-шаху подошел с надменным лицом Бен-Салих, держа в руках серебряный поднос. На нем лежал лист бумаги с искусно написанным указом об избрании нового наследника.

— Непобедимый,— жеманно, нараспев сказал Бен-Салих,— здесь твоя священная рука должна подписать твое высокое имя.

— Как ты смеешь так говорить? — закричал в ярости Хорезм-шах.

— Здесь надо подписать указ,— настойчиво повторил Бен-Салих.

Хорезм-шах в крайнем бешенстве набросился на любимца шахини, сбил его с ног и стал колотить серебряным подносом. Тот упал ничком, стараясь руками защитить лицо от ударов... А Хорезм-шах топтал его, хрипя и задыхаясь:

— Негодный, лукавый персидский гулям! Как смеешь ты подавать указ мне, тени аллаха на земле?! Это обязанность великого визиря.

— Вай-дод!..— Пронзительный, дикий крик шахини прозвучал как визг дикой кошки, заглушив голоса взволнованных ханов.— Успокойте моего сына шах-ин-шаха! Разве вы не видите, что в него вселилось безумие?! Перестань топтать преданного мне помощника Бен-Салиха! Его лицо уже в крови, нос разбит!

Ханы бросились к Хорезм-шаху, стараясь его успокоить. Высокий и сильный, Мухаммед легко разметал кипчаков... Три старейших хана, взяв с пола поднос, расправили на нем лист с указом. Почтительно кланяясь, они поднесли его Мухаммеду и осторожно вложили ему в руку калям.

Хорезм-шах подписал указ, не глядя на него, и швырнул калям в стену. Он повторял, хватаясь за голову:

— Какого сына, какого чудесного друга я потерял!

В указе между прочим говорилось также, что управляю-

щий поместьями шахини Туркан-Хатун, Мухаммед Бен-Салих, в воздаяние усердной службы назначается великим визирем и воспитателем нового малолетнего наследника Кудб-эд-Дина Озлаг-шаха.

Приподнявшись и видя, что указ подписан, Бен-Салих, утирая кровь с лица, со злобным торжеством смотрел на Хорезм-шаха и шептал:

— Клянусь, что я отомщу за эту кровь и шах-ин-шаху, и его бывшему наследнику, сыну Джелаль-эд-Дину!..

Туркан-Хатун, наклонившись к лежавшему Бен-Салиху, прошептала ему на ухо:

— Убей обоих — и внука, и владыку!

IV. ДОСТАРХАН ОПАЛЬНОГО ПРИНЦА

...а ведь у нас враг всюду: от заката солнца до восхода его.

Ибн Заххыр

На другой день после посещения бабки Туркан-Хатун и прыжка с балкона Джелаль-эд-Дин сидел в своей комнате в домике матери Ай-Джиджек. Он пересмотрел сбрую верхового коня, выбрал самую скромную и прочную, сам зашил порванные ремни. Осмотрел седло и переменил войлочную подстилку. Почистив, отточил меч, отнятый у кипчакского хана.

— Неважный меч! — проворчал он.— Но для дороги и этот пригодится.

Подобрал для меча ножны, насыпал в ковровые переметные сумы запас изюма, урюка и сухих лепешек, приготовил мешок с ячменем на пять дней кормежки коня.

С любовью завернув в красный шелковый платок красивой вязью написанную книгу об Искандере Зулькарнайне, засунул ее в хурджум и пошел во двор чистить вороного коня.

Он беззаботно напевал сложенную им песенку:

Когда джигиты-молодцы
Идут на смертный бой,
Враги бегут во все концы
От песни боевой.
Вперед, джигиты! Смерть врагу!
Аллага, Аллагу!

К Джелаль-эд-Дину подошла его мать Ай-Джиджек и с грустью спросила:

— Я с утра присматриваюсь к тебе... Что ты задумал? Ты так усердно и тщательно собираешься, точно тебе предстоит далекий путь.

— О нет, моя драгоценная горлинка! Я хочу проехать в гости к Тимур-Мелику, поохотиться в его загородном охотничьем домике, при котором имеется большой сад с оленями и джейранами.

— Но этот сад Тимур-Мелика славится также дикими кабанами и пантерами? — с тревогой спросила Ай-Джиджек.

— Люди страшнее диких зверей! — нахмурившись, ответил Джелаль-эд-Дин и стал куском войлока растирать блестящую шелковистую шерсть вороного жеребца, продолжая напевать свою песенку:

Неотразимы, точно рок,
Могучи, словно львы,
И каждый отточил клинок
Для вражьей головы.
Вперед, джигиты! Смерть врагу!
Аллага, Аллагу!

— Я слышал, вы упоминали имя Тимур-Мелика!.. Вот я сам и явился на ваш зов!..— Высокий и, несмотря на свои преклонные годы, стройный и сильный, Тимур-Мелик входил в калитку сада. За ним торжественно шагал векиль (смотритель дворца) Хорезм-шаха, держа на вытянутых руках серебряный поднос. На нем лежал сверток, обернутый в пеструю шелковую ткань.

Позади слуга-негр нес глиняное расписное блюдо с персиками, инжиром и грушами. Старый полководец сперва склонился до земли перед шахиней Ай-Джиджек, потом, на правах старого друга, обнял и поцеловал Джелаль-эд-Дина.

— К тебе являюсь я по приказу его величества, твоего отца. Шах-ин-шах повелел передать тебе, что он строго запрещает куда-либо выезжать из столицы. А в знак своей радости, что ты перешел из периода юности в возраст мужественности и стал смелым джигитом, что ты доказал, отняв у кипчакского хана его меч, его величество жалует тебе в постоянное владение дворец Тиллялы с фруктовым садом!..

Тимур-Мелик, весело прищурив левый глаз, наблюдал, как Ай-Джиджек и Джелаль-эд-Дин обменялись удивленными взглядами. Он продолжал:

— Его величество приказывает тебе переехать в Тил-

лялы немедленно, сегодня же, так как завтра вечером, между четвертой и пятой молитвой, хазрет придет тебя навестить в твоем новом дворце. Слуги уже приготовляют тебе и ковры, и шелковые подушки, и посуду, и диких уток, и куропаток для ужина в честь его величества.

— Да ведь этот дворец просила для себя царица Туркан-Хатун? Что она теперь скажет? — воскликнула Ай-Джиджек.

— Поэтому-то шах-ин-шах и приказывает немедленно переехать в Тиллялы, тогда царица Туркан-Хатун уже не посмеет отобрать дворец, тем более что здесь, на серебряном подносе, тебе присылается высочайший фирман, скрепленный подписями его величества, шейх-уль-ислама и начальника диван-арза, что отныне дворец Тиллялы является твоей наследственной собственностью.

Векиль, старательно вытирая рукавом слезы, кланяясь до земли, передал серебряный поднос. Джелаль-эд-Дин схватил сверток, развернул указ, пробежал его глазами и передал матери:

— На что мне все это?! Лучше бы отец назначил меня начальником тысячи своих джигитов, стоящих на границе, и разрешил мне сделать с ними набег на вечно враждующих с нами каракитаев!..— и Джелаль-эд-Дин стал снова усердно чистить коня.

Ай-Джиджек вмешалась:

— Храбрый и славный Тимур-Мелик! Передай горячую благодарность моего сына и мою за оказанную нам высокую милость и драгоценное внимание. Сегодня вечером Джелаль-эд-Дин будет уже устраивать свои комнаты в новом дворце.

— А эти сладкие плоды и жемчужное ожерелье, спрятанное под ними, шах-ин-шах посылает тебе, пресветлая Ай-Джиджек, в благодарность за то, что ты вырастила такого возвышенно думающего и доблестного сына! — и Тимур-Мелик взял у слуги-негра блюдо с фруктами и передал его матери Джелаль-эд-Дина.

На другой день, в назначенное время, Джелаль-эд-Дин сидел на суфе[1] под высоким деревом в саду Тиллялы. В стороне в ряд стояли девять жеребцов, также подаренных ему Хорезм-шахом. Три из них были серые в темных

[1] Суфа — возвышение из дерна, устраиваемое под тенистым деревом для летнего отдыха.

пятнах, как барсы, три светло-рыжие и три вороные. Каждый жеребец был привязан к приколам за переднюю и заднюю ногу. Каждый конь, по обычаю кочевников, был с головой закутан в войлочную попону, чтобы не кусали мухи, не жгло солнце и не огрубела шерсть. Видны были только вздрагивавшие уши и отгонявшие мух хвосты.

Джелаль-эд-Дин поджидал нескольких знатных приближенных Хорезм-шаха, которых он пригласил на праздник новоселья. Но от них прискакали гонцы с одинаковыми записками, в которых они «сожалели», что, «вследствие болезни и государственных срочных дел, лишены возможности воспользоваться его любезным приглашением».

Прибыл только старый Тимур-Мелик, передать «огорчение» Хорезм-шаха, что, вызванный остро заболевшей матерью Туркан-Хатун, он переносит свое посещение на один из ближайших дней, но требует, чтобы завтра Джелаль-эд-Дин присутствовал на празднике в честь Искандера Великого.

Джелаль-эд-Дин громко свистнул и сказал слова поэта Монтесера:

Вот конь и вот мое оружье!
Они заменят мне пир в саду!

На свист появился немедленно старший из джигитов. Джелаль-эд-Дин, взглянув на него, повел бровью. Джигит подошел и наклонился.

— У нас приготовлен большой достархан на много гостей, а их нет! Поставь заставу на дороге и спрашивай всех, кто проедет мимо. Среди них найди таких людей, которые развеселили бы мою душу, и приведи их сюда. Лучше я буду угощать безвестных путников с дороги, чем лицемерных ханов.

— Будет сделано! — ответил джигит и побежал к воротам.

Джелаль-эд-Дин, сидя на суфе и распивая красное, крепкое вино, объяснял Тимур-Мелику:

— Я не знаю, почему отец хочет держать меня здесь, чтобы я валялся на коврах и слушал сказочников?.. Я люблю горячего коня, светлую саблю и степной ветер...

— Шах-ин-шах прав,— ответил Тимур-Мелик,— тебе уезжать нельзя. Кругом уже разгорается война. Кипчакские ханы просят Хорезм-шаха двинуться с войском в их степи. Туда пришел с востока неведомый народ. Он сгоня-

ет кипчакский скот с хороших пастбищ и пускает туда свои табуны.

— Лучше бы отец выгнал из Хорезма всех кипчакских ханов и стал править без них. Они изнежились и развратились, грабя наших тружеников земледельцев. В тяжелую минуту эти ханы предадут моего отца.

— Почему ты так думаешь? — спросил, подняв брови, Тимур-Мелик.

— Когда шах не доверяет народу Хорезма и отдает защиту власти и порядка иноземным ханам, приведенным в страну злобной царицей Туркан-Хатун, то он похож на того хозяина, который поручает сторожить и стричь своих баранов степным волкам. У него скоро не окажется ни шерсти, ни баранов, да и сам он попадет на обед волкам.

Вскоре вернулся старший джигит, и за ним следовали три всадника, запыленные, потемневшие от зноя. Двое, ехавшие по сторонам, были вооружены, а средний, привязанный веревками к седлу, имел вид пленника.

— Вот, я привел желанных гостей! — крикнул джигит. — Они расскажут занятные новости!

Пленник имел необычайный вид. Он был перевязан много раз волосяными веревками. Синяя длинная одежда с красными полосками [1], нашитыми на левом рукаве, и плоская войлочная шапка с загнутыми кверху полями говорили о каком-то чужом племени. От висков, как два рога буйвола, опускались на плечи свернутые узлом две черные косы. Дикими казались скошенные глаза, неподвижно уставившиеся в одну точку.

— Подведи пленника сюда, — сказал Джелаль-эд-Дин. — Кто это такой и где ты его нашел?

— На границе, в степи, около города Отрара. Ну и крепкий! Жилистый! Едва втроем мы его скрутили.

— Что он говорит?

— Говорит, что он из войска непобедимого татарского владыки Чингиз-хана. Ехал он в нашу сторону.

— Почему ж ты скрутил его?

— А зачем ему ехать в нашу землю? Может быть, это лазутчик?

Джелаль-эд-Дин внимательно осмотрел пленника, потом спросил:

— Кто ты такой, куда и зачем едешь?

---

[1] Красные полоски на плече — знаки отличия офицера в монгольском войске.

— Я вольный мерген (охотник) Гуркан-Багатур. Я сам себе хан, сам себе нукер. И я бросил войско жадного Чингиз-хана, потому что этот краснобородый и кислолицый старик приказал переломить хребет моему отцу и двум братьям... Потому что он не терпит на своей земле никакой другой воли, кроме его каганской!.. И я приехал вас предупредить, мирный народ Хорезма, чтобы вы готовились к страшной войне, чтобы вы помнили, что Чингиз-хан великий полководец, великий и в злобе, и в военной удаче. Если вы поверите одному его слову, то все ваше царство обратится в пепел и дым! Берите мечи и копья, готовьте стрелы! За смелым летит удача, а трусливый сам себя обрекает на смерть!..

— Ты мне нравишься, Гуркан-Багатур! Сегодня ты будешь моим гостем! И вы тоже,— обратился он к джигитам,— садитесь на суфе. Мы будем ужинать, пить сладкое вино и слушать этого невиданного воина.— Джелаль-эд-Дин добавил: — А завтра Тимур-Мелик отвезет Гуркан-Багатура в диван-арз и там подробно расспросит.

— Я зачислю его в мою дружину,— сказал Тимур-Мелик.

Все уселись на суфе, где слуги уже приготовили обильный достархан, а сидевшие поблизости, среди розовых кустов, музыканты и певцы стали услаждать гостей боевыми песнями.

V. НУБА ИСКАНДЕРУ ВЕЛИКОМУ

Еще до рассвета на широкой крыше дворца Хорезм-шаха, вдоль стен с бойницами и сонными часовыми, выстроились юные ханы, сыновья владетелей Гура, Газны, Балха, Баниана, Термеза и других мелких областей Хорезма. Всех этих юношей и мальчиков шах-ин-шах держал при своем дворце заложниками, чтобы их отцы, заносчивые феодалы, не вздумали «поднять меч восстания». У всех юных ханов в руках были барабаны, медные тарелки и бубны с бубенчиками.

Тут же, на другой стороне плоской крыши, толпились музыканты с длинными трубами — карнаями, пронзительными гобоями и мелкими музыкальными инструментами. В стороне стояли в ряд главные военачальники и высшие правители страны.

Все они раз в неделю, утром в пятницу, собирались на

крыше дворца, чтобы участвовать в нубе[1] — торжественном возвеличении памяти знаменитого полководца Искандера Зулькарнайна. Эту нубу ввел в обычай шах-ин-шах, высоко чтивший македонского завоевателя.

Небо, еще темное, в серых тучах, над самым горизонтом прорезалось оранжевой полосой, постепенно становившейся багровой. Вдали, в тумане, медленно пробуждался город Ургенч, и бесчисленные голубые дымки завитками поднимались к небу. Восходящее солнце осветило розовыми лучами верхушки самых высоких зданий: мечетей, минаретов и башен. Все собравшиеся на крыше безмолвно ожидали появления строгого владыки Великого Хорезма.

С высоты минаретов, точно копья взлетевших к небу, стали перекликаться тонкие, словно детские, голоса муэдзинов:

Блажен, кто бодрствует, кого алла-а-а
Найдет готовым взяться за дела-а-а!
Велик алла-а!

На площадку по внутренней лестнице поднялся Хорезм-шах, в боевом вооружении, точно готовый к битве — шлеме, кольчуге,— опираясь на большой древний меч.

За шахом прошли и заняли места по сторонам векиль, начальник диван-арза, Тимур-Мелик и сын шаха, бывший наследник престола Джелаль-эд-Дин. Хорезм-шах подошел к золоченому трону и взмахнул мечом. Все музыканты заиграли бурную песню в честь Искандера. Когда песня замолкла и только эхо старых башен повторило последние звуки, Мухаммед обратился к собравшимся. Громким, уверенным голосом он говорил:

— Мы, смелые воины Великого Хорезма, возносим сегодня славу нашему непобедимому учителю, великому Искандеру. Он должен в боях всегда нам быть примером. Он сам вел свое грозное войско и сражался в его первых рядах... Нам предстоит далекий, но славный поход. Мы скоро двинем наше доблестное войско на восток, к столице спящего богатого Китая. Покорив его, приведя с собой на родину тысячные караваны верблюдов с богатствами, собранными в китайских дворцах, мы затем двинемся на запад, против моего врага, дерзкого халифа Насира... Клянусь, что я воткну мое копье перед главной мечетью столицы халифа Багдада! Тогда мы раздвинем во все стороны

[1] Нуба — торжественный концерт, серенада.

границы Великого Хорезма, и он станет самым большим и могущественным государством всей Азии!..

Все закричали:

— Да здравствует наш новый Искандер, великий шах-ин-шах могучего Хорезма!

Хорезм-шах опустился на трон, держа старый меч перед собою. Все подходили к нему, сложив руки на животе, и, целуя край одежды шаха, говорили ему льстивые речи о его прозорливости, смелости и о предстоящих великих победах.

Джелаль-эд-Дин стоял хмурый и безмолвный. Тимур-Мелик вполголоса его спросил:

— Что ты загрустил? Скажи и ты отцу какой-нибудь привет!

— Я бы ему сказал поговорку наших стариков: «Не говори, что ты силен,— нарвешься на более сильного. Не говори, что хитер,— нарвешься на более хитрого». Чтоб идти в поход...

Ему не пришлось докончить. На площадку вбежал слуга, тихо, на цыпочках подошел к векилю и что-то шепнул ему на ухо. Векиль прошептал несколько слов Джелаль-эд-Дину. Тот громко обратился к Хорезм-шаху:

— Прости, хазрет, что я прерву твою беседу. Явились во дворец три неведомых чужестранца и очень гордо и заносчиво требуют, чтобы ты немедленно их принял.

Хорезм-шах нахмурился, гневно сдвинув брови:

— Но кто они? Кем посланы? Из какой страны явились?

Слуга упал на колени и дрожащим от страха голосом, при общей тишине, сказал:

— Прости, хазрет, прости за дерзкие слова. Они твердят, что приехали с нашей границы, как послы грозного владыки мира, непобедимого царя монголов Чингиз-хана.

Один из кипчакских ханов воскликнул:

— Степной хвастун! Таких послов надо с позором гнать обратно!

Тимур-Мелик спокойно заметил:

— Зачем спешить? Сперва надо разузнать, кто они и чего хотят.

Другие ханы зашумели.

— Посмотрим на лгунов, степных фазанов, а потом разделаемся с ними!

Хорезм-шах, уже собиравшийся уходить, снова опустился на трон:

— Пусть чужестранцы придут сюда! Я хочу их увидеть.

Слуга быстро удалился. По указанию Тимур-Мелика музыканты заиграли приветственный марш. На площадку поднялись три невиданных раньше иноземца. В синих, до пят, шубах, подбитых лисьим мехом, в собольих шапках, с кривыми саблями на поясе, они стали перед троном гордые, не склоняясь, как делали обычно все посетители, перед шах-ин-шахом.

Один из иноземцев сказал:

— Великий Чингиз-хан, победитель всех монголов, отправил наше чрезвычайное посольство к тебе, преславному владыке Хорезма, чтобы завязать узел дружбы и доброжелательного соседства. Он присылает тебе подарки и приказал заявить такие слова... Разреши прочесть это его послание...

— Читай!

Посол развернул пергаментный свиток с привешенной синей восковой печатью и стал читать:

— «Я разорил Китай и заставил передо мной склониться его могучего владыку. Я покорил множество народов. Я собрал в своей ладони все земли беспредельной Азии. Сегодня я дошел до твоей границы. Если ты хочешь быть со мной в мире, открой твои границы для моих купцов и торговых караванов, а я разрешу твоим купцам свободно торговать в моих землях. Я предлагаю тебе, мой любезный сын, мою дружбу...»

Хорезм-хан гневно вскочил и стукнул мечом:

— Что ты сказал? Как смеет этот ничтожный, безвестный хан называть меня своим «любезным сыном»? Это я, шах-ин-шах, могу назвать твоего дерзкого владыку своим сыном, если пожелаю и он этого заслужит. Я требую к себе почтения и не разговариваю с наглыми! Гоните прочь этих безумных послов степного выскочки!

Хорезм-шах выхватил из рук посла письмо Чингиз-хана, разорвал и, бросив клочки ему в лицо, быстро удалился, сопровождаемый векилем, во внутренние покои дворца.

Кипчакские ханы волновались и кричали:

— Смерть дерзким! Рубите их! Пусть их каган увидит, можно ли оскорблять нашего великого шах-ин-шаха!

Один хан бросился на читавшего письмо посла и ударом меча свалил его с ног.

Джелаль-эд-Дин вмешался и, подняв меч, загородил двух монгольских послов:

— Безумные! Остановитесь! Разве вы не помните закон: «Посла не душат, посредника не убивают». Я беру их под свою защиту. Пусть их бережно, под охраной, доставят на границу.

Тимур-Мелик тоже обнажил меч:

— Я позабочусь, чтобы они безопасно вернулись к своему владыке.

Джелаль-эд-Дин приказал:

— Слуги, возьмите тело мертвого иноземца и передайте шейх-уль-исламу для достойного погребения... Какой бессмысленный удар! Какое ненужное убийство! Оно нам теперь грозит ураганом страшных бед...

VI. В ЛАГЕРЕ «ПОТРЯСАТЕЛЯ ВСЕЛЕННОЙ»

В верховьях Черного Иртыша, среди зеленой степи, у подножья одинокого кургана, стоял большой желтый шелковый шатер с золотой маковкой в виде рогатой головы яка. Он был отобран Чингиз-ханом у китайского императора. Позади шатра блистали белыми войлоками две большие юрты, обтянутые пестрыми ковровыми дорожками. В юрте помещались последняя молодая жена Чингиз-хана красавица Кулан-Хатун с малолетним сыном и ее служанки-китаянки.

Перед желтым шатром, на выметенной площадке, горели постоянные огни на сложенных из камней двенадцати жертвенниках. Между этими огнями должны были проходить все, являвшиеся на поклон к великому кагану. Этими огнями, как объясняли завывавшие заклинания шаманы, очищаются преступные замыслы и отгоняются злые джинны, вьющиеся невидимо вокруг злоумышленника.

С одной стороны шатра был привязан к литому золотому приколу белый жеребец Сэтэр. У него были огненные глаза и белая шерсть по черной коже. Ни один человек не садился на него. Во время походов Чингиз-хана, как объясняли знающие, на этом белоснежном жеребце Сэтэре ехал невидимый могучий бог войны Сульдэ, покровитель войска монголов, который вел их к потрясающим победам.

По другую сторону шатра стоял всегда оседланный широкогрудый жеребец Найман, любимый боевой конь Чингиз-хана, светло-рыжий, с черными ногами и хвостом и черным ремнем вдоль хребта,— потомок диких степных лошадей.

Возле священного коня Сэтэра было воткнуто в землю

высокое бамбуковое древко с белым девятихвостым знаменем и с изображением беркута, держащего в когтях коршуна. А невдалеке, в ограде, находились отборные кобылицы с жеребятами. Их каган держал при себе, чтобы всегда иметь свежий, пенящийся кумыс.

Вокруг кургана расположились три кольца дозорных телохранителей-тургаудов. Вооруженные, в кольчугах и железных шлемах, они следили, чтобы ни одно живое существо не приблизилось к священному шатру повелителя монголов.

А дальше, в степи, широким кругом рассыпались черные монгольские юрты и рыжие тангутские шатры: это был личный курень — лагерь тысячи избранных телохранителей на белых конях. В эту охрану входили только сыновья знатнейших ханов. Из них каган выбирал наиболее сметливых, смелых и назначал их начальниками отрядов.

Еще дальше раскинулись другие курени; они тянулись по степи и уходили к покрытым густым лесом голубым горам. Между куренями паслись верблюды, быки и табуны разношерстных коней. Конюхи с гиканьем скакали, размахивая шестами с арканами, и следили, чтобы кони разных табунов не смешивались или не приближались к косякам кобылиц с жеребятами.

Лагерь монголов жил своей особой жизнью, своими порядками и обычаями. Войско казалось огромным. Про него ходили слухи, что оно велико и страшно, как бушующее море, но только один каган и его ближайшие помощники знали, что монгольских воинов, двинувшихся на завоевание «вечерних стран», было всего сто двадцать тысяч. С этим войском «потрясатель вселенной» решил завоевать Великий Хорезм и сопредельные страны.

В знойный полдень без ветра над степью дрожали волны горячего воздуха. Весь лагерь Чингиз-хана дремал, и даже кони, обычно бродившие по равнине, теперь стояли неподвижно, сбившись в табуны, и, равномерно покачивая головами, отгоняли вьющихся вокруг них слепней.

Издалека, точно жужжание мухи, донесся тонкий тягучий звук. Потом стал выделяться быстрый перезвон бубенцов. Уже было видно, как клубок пыли катился по дороге... Два всадника мчались в лагерь. Они доскакали до черных монгольских юрт, где одна лошадь грохнулась о землю, а всадник перелетел через голову.

Выбежавшие тургауды, подхватив лошадей под уздцы, провели их к заставе. Оттуда, в сопровождении часовых, оба прибывших прошли в загородку для жеребят, где нашли Чингиз-хана. Большой, грузный человек, с длинной рыжей, полуседой бородой, в черной простой одежде пастуха, в белых замшевых сапогах, сидел на корточках перед белой кобылицей и, жмурясь, следил за тем, как серый, мышиного цвета жеребенок, на длинных, еще неуверенных ногах, тыкал мордочкой в розовое вымя матки.

Двое прибывших были перевязаны тряпками. Лица их распухли, покрытые нарывами. Они, видно, так изменились, что каган, повернувшись к ним, удивленно спросил:

— Кто вы?

— Великий каган! Мы раньше были твоими тысячниками, а теперь стали выходцами из могилы! Шах Хорезма захотел потешиться над нами и принял нас как разбойников, а его приближенные, надменные ханы, подожгли нам бороды — честь и достоинство воина! Затем нас провели до границы, где отобрали коней и все наши вещи и вытолкали опозоренными.

— А где мой верный помощник и соратник Ибн-Кефредж-Богра?

— За то, что он твердо прочел твое письмо, собаки, подвывавшие хорезмской свинье, зарубили его.

— Как?! Зарубили моего посла?! Убит храбрый, верный Ибн-Кефредж-Богра?

— Увы, это случилось!..

Чингиз-хан завыл. Он схватил горсть песку и высыпал его себе на голову. Он кулаками растирал лицо, по которому потекли слезы. Он бросился вперед и, грузный, тяжело шлепая косолапыми ногами в белых замшевых сапогах, побежал по пыльной дороге. За ним побежали все бывшие вблизи, присоединялись новые воины, пробудившиеся от крика, не понимая, отчего произошла тревога.

Каган, задыхаясь, добежал до коновязи, оторвал от прикола ближайшего неоседланного коня, схватил его за загривок, навалился ему на спину и понесся через степь к голубой горе. Прибежавшие сыновья Чингиз-хана и все тургауды помчались за ним.

Они прискакали к подножью высокой горы. На выступе серой скалы, среди искривленных, низкорослых сосен, стоял каган. Он был виден издалека. Он снял шапку, надел ее на кулак, а пояс повесил на шею, что означало, что он

всецело себя «отдает на волю неба». Слезы, большие и блестящие, текли по смуглому лицу, по которому каган размазал землю.

— Вечное синее небо! Ты спасаешь праведных и наказываешь виновных! — кричал каган.— Ты накажешь жестоко нечестивых мусульман! Слышите ли вы, мои храбрые багатуры: мусульманский шах убил посланного мною с дружеским письмом преданного моего посла, и его слуги спалили огнем, точно свиные туши, бороды еще двух других послов. Они выгнали их, как бродяг, отняв лошадей. По приказу Хорезм-шаха перебиты мои купцы, посланные торговать, и захвачены все их товары... Будем ли мы это терпеть?

— Веди нас! — кричали монголы.— Мы вырежем их города, перебьем всех с женами и детьми!.. Мы заберем весь их скот и лошадей!

— Там, в Хорезме, не бывает морозов и холодных буранов! — продолжал зычно реветь Чингиз-хан.— Там всегда лето, там растут сладкие дыни, вата, виноград... Там на лугах трижды в лето вырастает трава. Мы отнимем их земли, сожжем и сровняем с землей их города. На месте разрушенных селений мы посеем ячмень, и там будут пастись наши выносливые кони, и раскинутся монгольские кочевья с нашими преданными женами и детьми. Готовы ли вы идти на мусульманские земли?

— Укажи нам только, где враги, а мы их вырежем и в землю втопчем! — кричали монголы.

— Настала «счастливая луна» [1], и я приказываю немедленно подниматься в поход на вечерние страны!..

К вечеру Чингиз-хан вернулся в свой шатер и созвал старших военачальников. Тут были и покрытые славою побед соратники юных дней кагана, сгорбленные, седые, высохшие, с отвислыми щеками, и молодые, выдвинутые проницательным его умом багадуры, горящие жаждой возвышения, славы и богатства. Их было тридцать, и каждый имел под своим знаменем тумен — десять тысяч всадников, вооруженных и вполне готовых к походу.

Чингиз-хан, довольный обильным пиром и началом нового похода, сидел на тропе, подобрав ноги. Громко чавкая,

---

[1] «Счастливая луна» — то есть день, который шаманами признан «счастливым» для начала какого-либо дела или похода.

он брал куски жареного мяса и совал в рот тем из гостей, которым хотел выразить милость. К концу пира он спросил:

— Где мой недремлющий уйгур?

Сейчас же в шатер вошел престарелый секретарь и хранитель печати уйгур Измаил-Ходжа; согнувшись, приблизился к трону и опустился на колени, держа над головой пергаментный свиток.

— Написал ли ты письмо убийце моего посла, дерзкому шаху Хорезма Мухаммеду?

— Уже готово, мой повелитель!

— Отлично! Читай!

Измаил-Ходжа начал читать нараспев:

— «Вечно синее небо воздвигло меня каганом всех народов. Такого обширного царства, как мое, еще никто не создавал с древнейших времен. За непокорность государей я громлю их земли, приводя в ужас жителей. Почему же ты поступаешь непочтительно? Как мог ты оскорбить моих послов? Пока не поздно, одумайся...»

Чингиз-хан опустил с трона ноги, как бешеный бросился на Измаил-Ходжу и вырвал из его рук недочитанное длинное послание.

— Кому ты пишешь? Достойному говорить со мной владыке или сыну желтоухой собаки? Так ли нужно говорить с врагами? Ты, верно, хочешь, чтобы шах Мухаммед подумал, будто я его боюсь?.. Дайте другого писца!

Измаил-Ходжа лежал, уткнувшись лицом в ковер и трясясь от страха. Каган схватил его за пояс, выволок из шатра и бросил у входа, толкнув ногой.

Чингиз-хан вернулся в шатер и снова взобрался с ногами на трон. Обхватив руками правое колено, он долго сидел на пятке левой ноги. Его зеленые глаза то расширялись, то суживались, как у кошки.

Возле трона появился другой писец с калямом, чернильницей и чистым листом пергамента. А Чингиз-хан, сощурив злые глаза, все молчал, смотря в одну точку. Затем он повернулся к писцу.

— Напиши так: «ТЫ ХОТЕЛ ВОЙНЫ — ТЫ ЕЕ ПОЛУЧИШЬ!..» Печать!

Он схватил золотую печать, смоченную синей краской, и приложил ее к письму. На пергаменте появился оттиск:

Бог на небе. Каган — божья мощь на земле.
Повелитель скрещения планет [1].
Печать владыки всех людей.

И в безмолвии затаивших дыхание гостей Чингиз-хан вдруг заревел боевой клич монголов, бросающихся в атаку:

— Кю-ур! Кю-ур! Кю-ур!

Узнав голос хозяина, заржали привязанные за пологом шатра любимые жеребцы Чингиз-хана. Через несколько мгновений во всех концах лагеря стали перекликаться монгольские кони.

— Письмо отослать... на мусульманскую границу... Гонцу дать охрану... Триста всадников...

Писец вышел из шатра, а каган, обратившись снова к сидевшим, заговорил ласковым, мурлыкающим голосом:

— Скоро в мусульманских землях мы повеселимся. Я уже вижу, как от лошадиного пота туманом затянутся и цветущие сады, и поля, и солнце... Как будут бежать испуганные люди и визжать звериным криком увлекаемые арканом женщины. Там реки потекут красные, как это вино, и закоптелое небо раскалится от дыма горящих селений и городов...

Он зажмурил глаза и, подняв толстый, короткий палец, прислушивался, как по всему лагерю продолжали перекликаться жеребцы, слышались крики: «Кю-ур! Кю-ур! Кю-ур!» — и все более усиливался гул пробудившегося монгольского войска.

VII. БЕЙСЯ ЗА СВОЕ СЧАСТЬЕ

> Если мы попросим мира у этих врагов с собачьим сердцем — мудрыми не назовет нас мудрец. Уйти без боя — значит отдать им на разграбление мир.
>
> *Из арабской сказки*

Получив от Чингиз-хана грозное письмо из шести слов, Хорезм-шах Мухаммед созвал чрезвычайный совет из главных военачальников, знатнейших ханов, высших сановников и седобородых имамов. Усевшись тесным кругом на коврах, все, ожидая шаха, говорили о его военном опыте,

---

[1] Скрещение планет. По астрологическому учению того времени, каждый человек имеет свою планету-покровительницу. От скрещения хода планет разных лиц происходят перемены в их судьбе.

о том, что он, конечно, сумеет быстро и победоносно вывести страну из бедствия и разгромить нечистых кяфиров.

Мухаммед долго не показывался. Он в это время находился во внутренних покоях дворца, где у него хранилось редкое оружие: иранское, индийское и арабское. Там, вдали от людей, он совещался со своим сыном Джелаль-эд-Дином. Шах-ин-шах был озабочен и очень мрачен. Сын, с виду спокойный, как всегда, горел как в лихорадке и отирал лоб шелковым платком. Шах говорил вполголоса:

— Я встревожен... Гонцы прибыли сразу с трех сторон... Черные тучи надвигаются отовсюду!

— На то и война,— заметил холодно Джелаль-эд-Дин.

— Первый гонец донес, что рыжий тигр Чингиз-хан уже овладел пограничным городом Отраром, захватил его начальника Инальчик-Каир-хана и, чтобы насытиться местью, приказал залить расплавленным серебром ему глаза и уши... Теперь Чингиз-хан, наверное, уже двинулся сюда, чтобы найти меня.

— Пусть придет! Его мы и ждем!

— Ты даже и в грозу ужасных бедствий остаешься беспечным.

— У нас столько войска, что отчаиваться незачем.

— Второй гонец прибыл с юга,— шептал Мухаммед.— Он уверяет, что в Кашгарских горах уже видели разъезды монголов.

Джелаль-эд-Дин пожал плечами:

— Какой-нибудь небольшой отряд. Теперь, ранней весной, большое войско полегло бы на засыпанных снегом перевалах.

— Однако, спустившись с гор, монгольский отряд загородил нам путь отступления в сторону Индии.

— Отец, что ты говоришь? Зачем нам куда-то отступать? Все огромное войско в твоих руках и ждет приказа о выступлении.

— Вот еще донесение: монгольские разъезды уже замечены в песках Кызылкумов!

— Хазрет, ведь ты же сам направил в пески отряд всадников в десять тысяч коней.

— Эти всадники не удержат монголов,— бормотал Мухаммед и озирался кругом, точно боясь, что монгольские воины уже появились за его спиной.— Может быть, краснобородый зверь уже подкрадывается к Бухаре, его отряды рыщут кругом, отыскивая нас? Нам с тобою нужно скорее уехать отсюда!

Джелаль-эд-Дин молчал и в бешенстве разорвал в клочья шелковый платок.

— Отчего ты не отвечаешь?

— Ты считаешь меня безумцем... Что ж я могу еще сказать?

— Я приказываю тебе говорить.

— Тогда я скажу, а ты можешь меня помиловать или отрубить голову.— Джелаль-эд-Дин говорил горячо, и губы его дрожали.— Если проклятый Чингиз-хан уже идет сюда, то наши войска должны не прятаться за высокими стенами городов, а искать его, убийцу, истребителя мирных народов... Я бы выгнал в поле всех кипчакских ханов, храбрых, когда нужно сдирать кожу с наших покорных поселян, но трепетных, как листья, в этот суровый час войны... Я бы им запретил под угрозой смерти входить в ворота городов. Пусть стоят лагерем в поле. Защита воина — острие его меча и верный конь. Рыжий тигр идет сюда?.. Тем лучше! Значит, нам уже известен его путь. Надо повернуть копей и идти по его следам, кусать его пятки, становиться преградой на его пути, нападать со всех сторон, как волчья стая, избивать его верблюдов и вырывать с мясом клочья его рыжей шкуры... Какая польза от того, что в Самарканде за стенами укрылось сто тысяч кипчакских воинов, большей частью всадников, которым место в поле? Они только жрут баранов, а их благородные кони исходят силой...

— Ты осуждаешь приказы твоего отца? Я давно это заметил... Ты жаждешь моей гибели!

Джелаль-эд-Дин опустил глаза, и голос его звучал глубокой грустью:

— Это не так. Я не оставлю тебя в трудное время, когда потрясается вселенная. Но я клянусь памятью своего любимого Искандера Зулькарнайна: я безумец, что так покорно и нерешительно тебе во всем уступал. К чему все твое огромное войско, четыреста тысяч молодцов, если оно не стоит боевым лагерем, если оно не готово броситься на врага по одному движению твоей руки? К чему высокие стены городов, если за ними прячутся не жены и дети наши, а вооруженные силачи, укрывшиеся под одеялами трясущихся женщин! Ты можешь казнить меня, но сделай как я говорю. Отец, поедем в Самарканд и двинемся...

— Только в Иран или Индию!..

— Нет! Нам остались на выбор только два решения: мужество борьбы или позорная смерть в изгнании... Мы с вой-

ском выйдем в открытое поле, чтобы схватиться с монголами... Мы будем стремительны, как удар молнии, и неуловимы, как ночные тени... Клянусь моей головой, что ты победишь и прославишься, как шахид — великий полководец! Не медли, действуй!

— Ты не полководец,— сказал величественно шах, подняв палец, украшенный алмазным перстнем.— Ты храбрый джигит, ты можешь быть начальником тысячи, даже нескольких тысяч джигитов, которые как безумные налетят на врага... Я же не могу поступать как храбрый, но безумный джигит... Я правитель великой страны и должен все продумать, все предусмотреть. Я решил иначе. Я оставлю войско моим военачальникам, а сам уеду в Иран, где соберу огромное свежее войско. Я вижу, что счастье оставило меня! В Иране оно ко мне вернется...

— Счастье? — воскликнул с яростью Джелаль-эд-Дин.— Что такое счастье? Разве счастье может покинуть смелого? Нельзя убегать от счастья! Надо гнаться за ним, нагонять его, хватать за волосы и подгибать под свое колено... Вот как добиваются счастья!

— Довольно! Довольно! Ты навсегда останешься взбалмошным джигитом!

Джелаль-эд-Дин поцеловал край одежды отца и вышел из комнаты. В этот день он скрылся, и Хорезм-шах долгое время не имел о нем никаких известий.

Хорезм-шах прошел в залу военного совещания непроницаемый и мрачный. Он величественно уселся на золоченом троне. Шейх-уль-ислам прочел молитву, закончив ее словами:

— Да сохранит великий творец благословенные цветущие земли Хорезма для пользы и славы падишаха.

Все подняли ладони и провели концами пальцев по бороде. Шах сказал:

— Я жду помощи от каждого из вас. Пусть все по очереди укажут меры, которые считают наилучшими.

Первым говорил великий имам, украшенный познаниями во многих науках, престарелый Шихаб-эд-Дин-Хиваки, прозванный «столп веры и твердыня царства».

— Я повторяю здесь то, что всегда говорил с высоты мембера в мечети: «Кто будет убит при защите своей жизни и имущества, тот мученик, тот шахид». Все сейчас

должны из мрака мирских дел выйти на путь повиновения и разбить отряды забот мечом отваги и усердия!

— Мы все готовы сложить наши головы на поле битвы! — воскликнули сидевшие.

— Но что же ты советуешь? — спросил шах.

— Ты — великий полководец. Ты — новый Искандер! — сказал старый имам.— Ты должен двинуть все твои бесчисленные войска на берега Сейхуна (Сырдарьи) и там в решительной битве обрушиться на язычников-монголов. Ты должен со свежими силами напасть на врагов, прежде чем они успеют отдохнуть от тяжелого пути по пустыням Азии!

Мухаммед опустил глаза, промолчал и приказал говорить следующему.

Один кипчакский хан сказал:

— Необходимо пропустить монголов во внутренние пределы нашего царства. Тут, зная хорошо местность, мы легко их уничтожим.

Другие кипчакские ханы советовали избегать решительного сражения и предоставить Самарканд и Бухару своей участи, полагаясь на крепость их высоких стен, а позаботиться лишь о защите переправы через многоводную реку Джейхун (Амударью), чтобы не пропустить монголов дальше, в Иран.

— А ты что предложишь, доблестный Тимур-Мелик?

— Побеждает нападающий. А кто только защищается, тот обрекает себя ветру тления,— ответил спокойно Тимур-Мелик.— Оттого слабый человек, смело нападая, побеждает сильного, кровожадного тигра. А уходит за горы и за многоводные реки тот, кто поджимает хвост, кто боится встретиться с врагом лицом к лицу. Зачем ты меня спрашиваешь? Я давно прошу у тебя: отпусти меня туда, где уже рыщут передовые монгольские разъезды. Я попробую в стычках с ними, верно ли попадает моя стрела, не дрожат ли от старости руки, не отяжелела ли моя светлая сабля?!

— Пусть будет так,— сказал Мухаммед.— Ты скоро на монгольских головах испытаешь свою саблю. Назначаю тебя начальником войска крепости Ходжента.

Все опустили глаза и соединили концы пальцев. Ясно было, что шах разгневался на прямодушного Тимур-Мелика, невоздержанного в речах, как и неудержимого в битвах. Он никогда не подливал меда лести в поток красноречия Хорезм-шаха. В Ходженте стоял незначительный отряд, и для испытанного вождя Тимур-Мелика не было почета стать

начальником второстепенной крепости. Но в словах Тимур-Мелика скрывались обидные шипы, и Мухаммед добавил:

— Тимур-Мелик утверждает, что побеждает только нападающий. На войне нужна не слепая храбрость, а прежде всего рассудительность. Я не обижу и не оставлю ни одного города без защиты. В Самарканде имеется сто десять тысяч воинов, не считая добровольцев из горожан, и двадцать могучих боевых слонов устрашающего вида. В Бухаре насчитывается пятьдесят тысяч воинов-храбрецов. Также и во все другие города я послал по двадцать и по тридцать тысяч защитников. Я думаю, что монголы, закутанные в овчины, привыкшие к морозам, не выдержат нашей жары и долго у нас не останутся. Во что обратится войско Чингиз-хана, если целый год будет задерживаться у всех крепостей? Новых войск к нему не прибудет, а его силы станут скоро таять, как снег летом... Лучшая защита для мирных жителей Хорезма — несокрушимые стены наших крепостей и...

— И твоя могучая рука, твоя мудрость! — воскликнули льстивые ханы.

— А я тем временем,— продолжал шах,— соберу в Иране новые войска правоверных. Я со свежими силами так разгромлю остаток монголов, что и внуки и правнуки их побоятся когда-либо приближаться к землям ислама.

— Иншала! Иншала! (Дай-то аллах!) — воскликнули все.

— Это истинно мудрая речь непобедимого полководца!

— Мне пора отправляться,— сказал шах. Он встал и, выслушав молитву имама, удалился во внутренние покои дворца.

VIII. ЧИНГИЗ-ХАН ДВИНУЛСЯ НА ХОРЕЗМ

Перед выступлением в поход Чингиз-хан призвал своих четырех сыновей — Джучи, Джагатая, Угедея и Тули-хана, а также главных военачальников на совещание и получение его последних распоряжений. Он решил войско разделить на отдельные отряды, чтобы каждый действовал самостоятельно.

Все безмолвно сидели на разостланных белых войлоках перед уже разобранным ханским шатром; возле него суетились китайские рабы и вьючили отдельные части шатра на опущенных на колени огромных тангутских желтых верблюдов.

Чингиз-хан, в походной одежде из самой простой чер-

ной холстины и крытой китайским черным шелком собольей шубе, накинутой на плечи, сидел на пятках. Перед ним лежал его старинный, слегка изогнутый меч в черных кожаных ножнах и черные рукавицы об один палец. На голове его был черный кожаный треух, подбитый сильно облезлым черным соболем.

Великий каган говорил спокойно, усталым голосом, точно рассказывал давно знакомое, известное дело, иногда проводя большой квадратной ладонью по длинной, рыжей с проседью, жесткой бороде. На большом пальце правой руки — серебряный перстень с зеленоватым камнем яшмы, на котором была вырезана молитва, приносящая удачу. Он засучил одну кожаную желтую штанину и долго чесал обгрызенным ногтем толстую голую икру, покрытую седыми волосами и множеством красных веснушек. Его любимый младший сын Тули затем помог снова натянуть штанину и всучить ее обратно в огромный белый, сильно поношенный замшевый сапог, выложенный внутри темным войлоком.

Каждый уже получил приказ, каким путем и на какой город ему двинуться, но никто не осмелился спросить у грозного владыки, в какую сторону двинется он сам, куда помчится его белое девятихвостое боевое знамя, — он никогда никому не говорил своих планов и приходил в бешенство, когда его кто-либо о них спрашивал.

— В мое отсутствие, — сказал Чингиз-хан, — над всем войском будет начальствовать осторожный Бугурджи-Нойон. Два передовых отряда поведут: стремительный в набегах Джебе-Нойон, Тохучар и опытный в засадах Субудай-Багатур... Не смейте в полях топтать конями хлеб, иначе идущему позади моему отряду нечем будет накормить коней... Я думаю, что мы встретим Хорезм-шаха Мухаммеда на равнине между Бухарой и Самаркандом... Там мы нападем на него с трех сторон... Уничтожив главное войско шаха, я сразу стану самым сильным повелителем всех мусульманских стран.

Слуги подали на блюде несколько древних, вырезанных из березового корня чаш, наполненных кумысом. Чингиз-хан сделал возлияние в честь духа-покровителя монгольских войск Сульдэ, отпил кумысу и передал чаши сидевшим. Все отпили, говорили пожелания удачи в предстоящем походе, затем встали и пошли к своим коням.

Быстрыми переходами отряды двинулись на запад. Войско шло таким широким фронтом, что казалось огромным,

бесчисленным. Согласно приказу Чингиз-хана, каждый отряд должен был идти своим особым путем, не двигаясь вслед за другими, так как на стоянках кони объедали всю траву и кони следующего отряда могли остаться без корма. Отряд Чингиз-хана шел последним, и каждые девять дней к нему скакали с донесениями гонцы из других отрядов.

Самым передовым отрядом, составлявшим правый фланг, начальствовал испытанный соратник великого кагана Субудай-Багатур. В этом же отряде находился старший сын Чингиз-хана Джучи. У него с отцом были постоянные размолвки. Грозный владыка не доверял сыну, боясь заговоров и придворных переворотов, держал его возможно дальше от себя, давая ему самые трудные и опасные поручения. Джучи считался наследственным правителем самых крайних северных и западных владений монгольской империи Чингиз-хана — «до тех пределов, до каких может ступить копыто монгольского коня».

Этот передовой отряд имел первое столкновение с войском хорезмийцев близ реки Иргиз. Однако результат двухдневной битвы остался неясен, так как монголы ночью внезапно ушли и скрылись бесследно, оставив в своем лагере много больших горящих костров, желая этим ввести в заблуждение противника, который утром готовился снова напасть на монголов.

В этой битве отряд хорезмийцев все-таки достиг некоторых успехов.

Ими начальствовал Джелаль-эд-Дин. Он оттеснил монголов в солончаковое болото, где часть их утонула, часть была изрублена, остальные быстро повернули и ускакали. Тогда Джелаль-эд-Дин заметил военные приемы монголов: что они, нападая, всегда держались тесными, дружными десятками; что они очень проворны; что, обманным образом, как будто обращаются в бегство, чтобы противник, преследуя, растянулся и рассыпался,— тогда они быстро поворачиваются, снова нападают и легко одолевают. Старые воины говорили Джелаль-эд-Дину, что у монголов следует поучиться военным приемам и хорезмийское войско необходимо подготовить к дальнейшей борьбе.

Особый отряд монголов, который вел сам Чингиз-хан, быстро подошел к границе Хорезма, близ города Отрара. Все ожидали, что придется идти вверх по берегу реки Сейхуна (Сырдарьи), но Чингиз-хан приказал продолжать идти

прямо на запад, и всадники по караванным тропам углубились в желтые пески Кызылкумов.

Днем февральское солнце ослепительно сияло и пригревало. Ночью лужи замерзали и твердела вьющаяся по глинистам такырам узкая тропа. Войско двигалось бесшумно. Не было слышно ржания коней, звона оружия, никто не решался запеть песню. Отдельные сотни держались близко друг к другу. Остановки делались короткие, и воины, держа повод в руке, засыпали около передних копыт коня.

Ночью впереди рыскали разведчики с пылавшими факелами. Они взбирались на холмы, подавая огнями сигналы, чтобы отряды не сбились с дороги и не перемешались. Рассказывали, что среди враждебных мусульманских войск выделяются узбекские и туркменские всадники на быстрых длинноногих конях. Что они вылетают барсами из-за холмов, врезаются в ряды монголов, производят смятение и так же быстро исчезают, волоча за собой на арканах сбитых с ног пленных.

Сперва монголы предполагали, что их войско двинулось через пустыню Кызылкумов прямо к Ургенчу — главной столице Хорезма. Но через два дня пути, когда мутные воды Сейхуна остались позади, а солнце утром вставало не за спиной, а слева, все поняли, что головы коней повернуты не на запад, а на юг, к славным городам — богатому Самарканду и к знаменитой своей ученостью Бухаре.

Чингиз-хан ехал на светло-рыжем иноходце с широкой грудью, черными крепкими ногами и черным ремнем вдоль спины... Все войско шло ускоренной тропотой, «аяном» (или «волчьим шагом»), как называют такой ход кочевники. Великий каган сидел на коне невозмутимый и непроницаемый, держа левой рукой в кожаной рукавице ослабленные поводья. Его глаза были зажмурены, открывались изредка тонкие щелки, и нельзя было понять: дремлет ли он на ходу, думает ли свои думы или сквозь щелочки зорко осматривает и близкое и дальнее, все замечая и ничего не забывая.

В этом походе Чингиз-хан не допускал никакого промедления. Юрты ему не ставили, и он спал на сложенном войлоке. Перед сном он снимал кожаный шлем и покрывал седую голову шапкой с наушниками, подбитой черным соболем. Он дремал, иногда стонал, жалуясь на боль в костях, а около него неотлучно сидели четыре верных телохранителя-тургауда, загораживая своего владыку войлоком от ветра, дождя и снега.

IX. ЧТО ПРОИСХОДИЛО В БУХАРЕ

> Звездное небо поворачивалось — была всенародная распря. Вся поверхность земли содрогалась... Всесветная брань шла.
>
> *«Сокровенное сказание»*

В Бухаре, на площади, окруженной высокими арками мечети, и в медресе происходило торжественное богослужение. Ряды молящихся, как строки священной книги, стояли неподвижно, следя за движениями седобородого величественного имама. Когда он опускался на колени, склонялся к земле или поднимал руки к ушам, несколько тысяч правоверных повторяли за имамом его движения. Только шорох от бесчисленных падавших и встававших тел проносился, как порыв ветра, по каменным плитам площади.

Когда моление кончилось, к широким ступеням высокой мечети джигиты подвели большого, огненноглазого гнедого жеребца с красным хвостом, украшенного алым бархатным чепраком, расшитым золотыми цветами.

Из мечети вышел высокий, величественный, чернобородый Хорезм-шах в белоснежном тюрбане, сверкающем алмазными нитями. Шах обратился к толпе с речью:

— Все правоверные — один могучий народ. И острый меч — одна у нас защита. Аллах вас создал, воины ислама, как лучшее творение вселенной и назначил мусульманам быть повелителями всего, что есть на земле и в небе... Что может вам грозить и вас испугать? Но «благородный свиток» также говорит: «Аллах дает свои милости рабу только согласно его старанию и усердию, а ленивые и трусливые не получат ничего». Поэтому вы должны приложить все ваши силы, чтобы поразить врага мечом бесстрашия... Кто устоит перед волною гнева идущих в бой рядов бесстрашных мусульман? Убивайте врагов везде, где их найдете, и гоните их! Великий в гневе аллах, дай нам победу над неверными!

— Убивайте неверных! Гоните язычников! — кричала толпа.

Хорезм-шах сел на гнедого коня с малиновым хвостом и сказал еще несколько слов:

— Цель наша дать вам добрый совет, и мы вам его дали! Мы выезжаем в Самарканд, навстречу нечестивым иноземцам, которые вторглись в нашу страну и жгут наши селения... Но горе им! Враги встретят, себе на погибель,

бесстрашные ряды наших отчаянных воинов... Поручаю вас аллаху!

— Да живет Мухаммед-воин!.. Да здравствует Хорезм-шах-батыр, шахид — победитель неверных! — кричала толпа, пропуская шаха и его нарядных спутников, кипчакских ханов.— Ты наша лучшая защита!

В толпе пронесся шепот. Стали передавать — сперва тихо, на ухо, а потом все громче,— что из Кызылкумов примчались испуганные кочевники и рассказывали, что в песках видны передовые разъезды страшных монголов, что сам грозный истребитель народов Чингиз-хан с могучим войском быстро идет через Кызылкумы и через день появится перед Бухарой как столб огня...

Какие-то одетые странниками люди стали говорить, что воины Чингиз-хана неодолимы — ни стрела, ни меч их не ранит, что они необычайно сильны и до сих пор ни один народ не мог их победить, а все им покорялись; что монголы ростом в полтора обыкновенного человека, и каждый может съесть сырого, нежареного барана, и говорят они тонкими, птичьими голосами.

Богатые купцы и другие знатные бухарцы собирались группами и в страхе говорили:

— Не лучше ли послать грозному Чингиз-хану послов с подарками?

— Стране грозит жестокая война... Спасенья для нас нет! Мы все равно погибнем в разбушевавшемся море бедствий!

Тощий старик, в богатом шелковом халате, с выпученными от страха глазами, взошел на ступеньки мечети и оттуда стал кричать толпе:

— Слушайте, правоверные Хорезма! Вы обмануты! Наш шах-ин-шах умчался не в Самарканд на бой с неверными, а к Келифу, в сторону Ирана, где хочет скрыться... Мы брошены на произвол судьбы. Мы как солома, развеянная бурей... Нам, бессильным, остается только одно — идти с поклоном и мольбой к царю неверных!

Другой старик, перебивая первого, стал еще сильнее вопить:

— Покорно склонившуюся голову меч не сечет! Что нам остается делать? Когда нужно было с нас сдирать налоги, тогда шах и его сборщики стояли возле нас... А теперь, когда враг идет на Бухару и нам грозит разгром, наш шах умчался, как напуганный джейран!

Стоявший невдалеке бедно одетый дервиш бросился на

обоих стариков и столкнул их вниз, так что они с криками покатились по ступеням лестницы.

— Ступайте прочь отсюда, шакалы! — закричал он.— Уходите, пока мой меч не изрубил вас!.. Лгуны бесстыдные! Предатели, шелудивые собаки! Здесь все неправда, все клевета на моего отца!

Дервиш сбросил с себя высокую остроконечную шапку с пришитыми длинными лохмами волос, скрывавшими лицо, и старый заплатанный плащ... Тогда он оказался молодым, стройным джигитом в черном чекмене, с коротким мечом на ременном поясе.

— Джелаль-эд-Дин! Батыр Джелаль-эд-Дин! — послышались из толпы голоса узнавших его бухарцев.— Это молодой сын Хорезм-шаха! Останься с нами, Джелаль-эд-Дин!

Он заговорил горячо, звонким голосом, полным искреннего порыва, и вся толпа затихла, слушая его:

— Я с вами здесь, чтобы вместе биться за родную землю! Я вас не покину! Я зову всех, в ком бьется горячее сердце: вступайте в ряды бойцов, готовых идти на смерть за родину и веру! Скорее закрывайте все одиннадцать ворот города! Даже если здесь, перед Бухарой, покажутся нечестивые враги, они обломают свои старые зубы, но не смогут одолеть и разрушить наши высокие древние стены. Чего вам бояться? Гораздо страшнее смерти позор предательства или измена своему народу... Я собираю смелых шахидов на борьбу за правду и свободу, готовых за родину отдать свою жизнь. И я клянусь, что с такими удальцами нам удастся опрокинуть банды жадных иноземцев.

Молодые бухарцы со всех сторон стали проталкиваться к взволнованному Джелаль-эд-Дину. Некоторые старики продолжали кричать:

— Не слушайте безумца! Долой его! Слепая молодость в нем говорит! В таких важных делах надежнее и вернее мудрость старцев!

Молодые бухарцы им отвечали:

— Весь ум у вас в козлиной бороде! Ваш разум помутился от страху: забыли вы и честь, и гордость, и отвагу.

Вдруг на площадь примчался ополоумевший от страха всадник и закричал:

— Прискакал отряд неверных! Монголы окружили своими постами все выезды из города.

Толпа шарахнулась во все стороны и побежала на стены, чтобы с их вышины посмотреть на страшных иноземцев.

Джелаль-эд-Дин оставался спокойно на ступенях мечети и совещался с молодыми добровольцами, как успешнее организовать свой отряд и предстоящую борьбу.

X. МУЖЕСТВЕННЫЙ ТИМУР-МЕЛИК

Железо размягчить можно только железом.
Против волка нужна волчья повадка.

Низами

Еще находясь на границе Хорезма, близ города Отрара, Чингиз-хан приказал своим сыновьям Угедею и Джагатаю:

— Вы будете осаждать Отрар, пока не захватите живьем начальника его крепости упрямого Инальчика-Каир-хана. Приволоките его ко мне на цепи, непременно живым! Я сам назначу моему дерзкому противнику небывалую казнь.

Своему старшему сыну Джучи он приказал взять города Дженд и Енгикенд. Остальные части своего войска каган направил в другие стороны.

Алак-Нойона с пятью тысячами всадников Чингиз-хан послал к городу Бенакету; его должен был защищать отряд кипчаков. После трех дней осады кипчаки и жители города выслали богатых купцов и просили пощады. Монгольский начальник приказал, чтобы все мужчины вышли из города и построились рядами в поле: отдельно воины, отдельно ремесленники и отдельно прочий народ. Когда же все воины сложили в указанном месте свое оружие и отошли, монголы на них набросились и всех перебили булавами, мечами и стрелами.

Из остальных жителей монголы выделили самых сильных юношей, разбили их по десяткам, сотням и тысячам, поставили над ними своих начальников и погнали дальше, как скотину, приказывая, чтобы они ломали стены встречных городов и первыми шли на приступ.

Только тогда жители Бенакета поняли, что нельзя добровольно свою жизнь и участь семьи отдавать на волю хищного завоевателя, надеясь на его милость. Они поняли также, что родная земля и семейный очаг должны защищаться до последней капли крови только своим мечом и ножом. Опозоренные монголами жены и девушки рыдали, царапая свои щеки и видя, как угоняют в неизвестную даль их му-

жей, отцов и братьев... Но было уже поздно и неоткуда ждать спасения!

В пути к монголам примкнули разбойничьи шайки каракитаев и сброд других племен, так что у Алак-Нойона собралось несколько десятков тысяч воинов. Эта банда подошла к городу Ходженту, омываемому быстрой и многоводной рекой Сейхуном. Жители города возложили свои надежды на неприступность старинных высоких стен и ответили отказом на требование монголов добровольно сдать город.

Начальником войск города только что был назначен Тимур-Мелик, искусный в военном деле, известный смелостью, прямотой и упорством. Он спешно соорудил крепость на острове, посреди Сейхуна, в том месте, где река расходится на два протока, и собрал там запасы оружия и еды.

Когда прибыли монголы и пригнали захваченных пленных, то, под ударами плетей и мечей, мусульмане полезли по приставным лестницам штурмовать стены Ходжента. Жители его долго и мужественно отбивались, но малодушные, желая сохранить свои богатства, стали кричать, что не хотят драться с братьями своего народа, и, тайно от Тимур-Мелика, ночью отправили к монголам знатных стариков с богатыми подарками и заявлением, что жители надеются на милость завоевателей и решили прекратить защиту.

Тимур-Мелик, прокляв малодушных, с тысячью отважных джигитов переплыл реку, захватив с собой все суда, и укрепился на острове. А жители Ходжента отворили ворота, надеясь на прекращение битвы. Монголы немедленно ворвались в город, проникли во все улицы и дома, все ограбили и вырезали тысячи неповинных стариков, женщин и детей... В Ходженте они пировали и бесчинствовали много дней.

Монголы стали обстреливать из китайских метательных машин крепость на острове, но камни и огромные стрелы до укреплений не долетали. Тогда монголы выгнали из Ходжента всех юношей и, присоединив к ним пленных из Бенакета и других селений, собрали на обоих берегах реки около пятидесяти тысяч человек. Разделив их на десятки и сотни, монголы гоняли их к ближайшей горе за три фарсаха (около 21 км) и заставили оттуда таскать камни, решив перегородить плотиной реку Сейхун.

Тимур-Мелик тем временем приготовил двенадцать плотов, накрытых сверху для защиты от монгольского огня

мокрыми войлоками с глиной. По сторонам были оставлены прорези для стрельбы. Ежедневно на рассвете он направлял в каждую сторону реки по шести плотов, и воины его отчаянно бились с монголами, а монгольские пылающие стрелы с горючим составом их плотам не вредили.

По ночам Тимур-Мелик устраивал вылазки. Его джигиты с ножами в зубах подползали к вражескому лагерю, внезапно набрасывались, вырезая спящих монголов, так что монгольское войско постоянно находилось в тревоге.

Искусные китайские мастера, сопровождавшие монголов, построили новые, еще более мощные машины. Эти катапульты, выбрасывающие камни и большие стрелы, начали наносить сильный урон воинам Тимур-Мелика. Видя, что положение его становится безнадежным, Тимур-Мелик в темную ночь, приготовив множество лодок и плотов, сложил на них пожитки и посадил своих воинов. Внезапно на всех судах запылали костры и факелы, и огненным потоком они понеслись вниз по реке, увлекаемые ее бурным течением.

Монгольское войско погналось за ними по обоим берегам. Тимур-Мелик направлял плоты и лодки туда, где показывались монголы. Стрельбой из лука он отгонял их и направлял суда дальше. Проплыв к Бенакету и одним ударом прорвав железную цепь, протянутую монголами через реку, суда и плоты понеслись снова вперед.

Опасаясь, нет ли на реке еще более сильных преград, построенных монголами, Тимур-Мелик, заметив близ Бар-Халыгкента большие табуны, пристал к левому берегу и, посадив воинов на коней, поскакал в степь. Монголы его преследовали. Воинам Тимур-Мелика приходилось останавливаться, сражаться, отгонять монголов и затем снова пробиваться вперед.

Никто не хотел сдаваться, и многие спаслись, проскользнув между монгольскими лагерями. Они пробрались на запад, где присоединились к войску, которое уже собирал Джелаль-эд-Дин.

Тимур-Мелик, оставшись с несколькими воинами, продолжал отбиваться, углубляясь все дальше в степь, надеясь на силу коней. Когда последние спутники Тимур-Мелика были убиты, а в колчане его осталось всего три стрелы, за ним гнались уже только три монгола. Стрелой он попал в глаз одного и бросился с мечом на остальных. Те повернули коней и ускакали.

Тимур-Мелик всего с двумя стрелами в колчане добрался до колодца в песках, где стояли конные разведчики хо-

резмского войска. Они дали ему свежего коня, и на нем Тимур-Мелик доехал до Ургенча, где опять занялся подготовкой к дальнейшей борьбе...

XI. БУХАРА КЛАДЕТ ГОЛОВУ ПОД МОНГОЛЬСКИЙ МЕЧ

В дни смертельной опасности при нашествии могущественных врагов горе тому городу, в котором вместо дружного единодушия для защиты родной земли жители раскалываются на два враждующих лагеря,— такой город сам себя обрекает на гибель!

Это испытала Бухара.

В тот день, когда перед городом появился со своим передовым отрядом свирепый рыжебородый Чингиз-хан и дерзко, чтобы устрашить жителей, поставил свой желтый шатер в виду главных ворот, в Бухаре, как описывает современный летописец, «слышались только голоса малодушных, испуганных и маловерных, желавших покорностью, мольбами и ценными подарками заслужить милость дикого монгольского завоевателя». К сожалению, эту партию малодушных составляли те лица, которые в обыкновенное время были правящими, всесильными и самыми влиятельными в Бухаре, и их долгом было объединить силы всех могущих держать оружие и разместить их по стенам древнего города.

Вместо этого они суетились и кричали:

— Не надо прибегать к безумной борьбе! Теперь нужна мудрая уступчивость! Джелаль-эд-Дин с его призывами к борьбе только погубит священную Бухару. Наш благословенный город охраняют молитвы святых имамов, которые сильнее всех страшных полчищ монгольского владыки. Бухара, где находится столько могил наших великих святых, вовеки останется неприступной, вместилищем знаний, звездой на небесах просвещения!

Самыми уступчивыми и напуганными были наиболее богатые лица: купцы, владельцы складов, больших домов, имамы, ученые улемы — все, кто больше всего заботился о накоплении своих богатств, о своем благополучии, стремясь, чтобы ничто не потревожило той обеспеченной, счастливой жизни, которую они до того времени вели.

Однако в городе, помимо уступчивых, было еще несколько десятков тысяч трудящихся ремесленников, кустарей, медников, оружейников, кузнецов, седельников, гончаров, резчиков по дереву и прочих искусных мастеров с их под-

мастерьями и учениками. Все они горячо стояли за упорную борьбу с хищным врагом, требовали не уступать и не верить коварным монголам, убежденные, что город благодаря древним высоким и прочным стенам сможет устоять и выдержать длительную борьбу.

Но эти народные массы не были объединены для борьбы. Им нужен был вождь, который собрал бы их силы в стойкие и прочные дружины.

Таким вождем мог бы выступить Тимур-Мелик или другие старые, опытные полководцы. Но все они были далеко, разъехавшиеся по своим отрядам, готовым к борьбе с монголами.

Многие указывали на Джелаль-эд-Дина:

— Он был помощником у шах-ин-шаха, он знает военное дело, он уже удачно дрался с монголами в битве при Иргизе!

Другие возражали:

— Имя султана Джелаль-эд-Дина ненавистно бухарским богатым старикам. Они пугаются и кричат: «Султан испортит наши переговоры с монголами и вызовет ненужную резню!..»

На тайном совещании богатых старейшин города было решено послать семьдесят джасусов (шпионов) по всему городу, чтобы разыскать Джелаль-эд-Дина и прикончить на месте как беспокойного врага Бухары, который осмелился возбуждать народ против великого владыки Чингиз-хана, посланного самим аллахом сделаться повелителем всех мусульман.

Кара-Кончар, неизменный спутник Джелаль-эд-Дина, ходил в толпе, прислушиваясь к голосам спорящих и недовольных, и с негодованием отворачивался, когда до него доносились жалкие речи унывавших и трусливых.

Он слышал, как в одном месте в толпе кричали: «Надо поймать Джелаль-эд-Дина и его джигита Кара-Кончара и отвести их к начальнику города».

Кара-Кончар повернул в боковой темный переулок и заметил, что за ним последовало пять человек. Он замедлил шаг и остановился за выступом стены: «Джасусы! Думают, что им удастся схватить Кара-Кончара! Щенки!»

Когда первые двое поравнялись с ним, он быстро схватил их за шею и изо всех сил ударил лицами друг о друга. Те завопили, обливаясь кровью. Остальные трое отбежали на несколько шагов и остановились. Кара-Кончар набро-

сился на одного из них и пронзил мечом. Двое других с криками убежали.

Кара-Кончар быстро шел узким переулком, который тянулся вдоль стены города, всматриваясь в темноту. Здесь изредка спешили навстречу путник с узлом на плече, женщины, держа за руки детей, старики и прочие жители, перепуганные появлением врага.

В одном месте, близ бойницы, где обыкновенно стоял часовой, впереди показалась тень. Это был Джелаль-эд-Дин.

— Бадавлет, я сейчас обошел все базары. Люди потеряли голову,— сказал Кара-Кончар,— люди катятся в пропасть. Завтра Бухара будет вырезана монголами. А между тем отцы города кричат, что они приготовят счастливое будущее священной Бухаре и проклинают султана Джелаль-эд-Дина и всех тех, кто требует вынуть меч для борьбы с врагами.

Джелаль-эд-Дин ответил:

— Нам здесь нельзя оставаться. Нужно собирать войска для большой и долгой войны. Здесь я договорился с часовым из конного отряда. Он пошел к стоянке своих лошадей и обещал принести несколько волосяных арканов. Связав вместе, часовой нас спустит по стене, и мы покинем город. Я ему обещал за это два золотых тилля.

Вскоре пришел часовой. За ним следовало еще несколько человек. Кара-Кончар уже приготовился к битве, но пять человек, всадники конного отряда, стали просить Джелаль-эд-Дина:

— Султан, мы хотим быть с тобой. Мы не останемся в этом городе скорпионов и тарантулов, мы уйдем с тобой драться за родную землю. Но как нам быть? Наши кони здесь, их на веревках не спустишь.

Джелаль-эд-Дин сказал:

— Отныне вы мои братья. Выбирайте: или завтра, когда откроются ворота, выезжайте на конях и скачите в сторону Келифа, или махните рукой на своих коней и сейчас следуйте за мной.

Всадники пожалели своих коней и обещали на другой день догнать Джелаль-эд-Дина.

Кара-Кончар опустился первым по высокой стене, держась за волосяной аркан. Коснувшись ногами земли, он крикнул:

— Аллах нам подмога!

Вторым опустился Джелаль-эд-Дин, третьим — часовой, доставивший арканы.

Яркая луна, затягиваемая тучами, медленно поднималась над спящими рощами, когда три спутника быстро шли прочь от Бухары в сторону Афганских гор, где Джелаль-эд-Дин надеялся начать войну, собирая бесстрашных юношей. Джелаль-эд-Дин направлялся к давно знакомой усадьбе Тимур-Мелика, в которой много раз бывал еще мальчиком. В этой усадьбе Тимур-Мелик хранил своих лучших охотничьих коней, любимых боевых жеребцов, и здесь же он развел большой сад-зверинец, в котором жили одновременно две пантеры, черный олень, несколько джейранов, две семьи диких кабанов и десяток степных диких ослов и тарпанов. Сам Хорезм-шах Мухаммед любил приезжать к Тимур-Мелику специально для охоты в этом заповедном саду-зверинце, чтобы коротким копьем поразить быстро скачущего оленя или тарпана. На кабанов он охотился сидя на коне. Его сопровождало несколько джигитов, готовых выручить шаха, когда на него набрасывался старый кабан, самое страшное животное в единоборстве с человеком.

Джелаль-эд-Дин выбрал из табуна Тимур-Мелика по одному коню для себя и своих спутников и добавил еще по одному, чтобы те везли вьюки с кормом.

— Ты не жалей, что мы забрали столько хороших коней,— сказал он старому дворецкому, смотрителю усадьбы.— На этих конях мы будем бороться против врагов родины, а все остальное, что хранится в этой усадьбе, если ты не успеешь угнать к Келифу или дальше, попадет в руки хищных монголов, они же прикончат и тебя.

Утром примчалось несколько джигитов. Они рассказали, что хозяева города раскрыли все одиннадцать ворот и впустили внутрь священной Бухары страшных кочевников. Монголы разграбили весь город, беспощадно вырезав всех жителей, начиная с самых богатых стариков, забрали только опытных ремесленников, погнав их, как стадо скота, в далекую Монголию.

— Теперь нам предстоит очень трудный путь,— сказал Джелаль-эд-Дин,— мы должны проскользнуть мимо монгольских шаек. Я еду разыскивать моего отца шах-ин-шаха, чтобы убедить его стать во главе могучего войска, которое поднимет священную войну мусульман против иноземных кяфиров!

Джелаль-эд-Дин со своими спутниками быстро направился на запад, всюду расспрашивая, куда уехал и где укрывается Хорезм-шах Мухаммед.

XII. ВСЕ ИМЕЛ — И ВСЕ ПОТЕРЯЛ!

Покинув Бухару, Хорезм-шах Мухаммед направился к Самарканду, но по пути он вдруг резко повернул в сторону и приказал проводнику показать дорогу на Келиф, оберегавший переправу через Джейхун (Амударью). Шаха охранял отряд около двухсот военачальников и джигитов... Они сперва преданно оберегали его, исполняя все приказания, потом его сбивчивые распоряжения, непонятная цель пути — все это вызывало у спутников недоумение, и они стали разбегаться.

Хорезм-шах прибыл в загородную усадьбу-зверинец своего верного воеводы Тимур-Мелика. Там его ждал большой караван в двадцать верблюдов и сорок коней. Все они были навьючены кожаными чемоданами: в них Хорезм-шах увозил сокровища, все драгоценности, все золото, накопленное в течение многих лет его предками.

Шах торопился. Казалось, его преследовали злые духи. Он не спал по ночам, и не без основания: утром над его постелью находили стрелы, пронизавшие шатер с разных сторон. Каждую ночь он менял место ночлега.

Путь его шел через главные города северного Ирана, где беки и ханы оказывали ему глубокое почтение, однако скорости переходов Хорезм-шаха мешал караван. Поэтому в одной крепости — Бистам — он передал своему эмиру Тадж-ад-Омару часть чемоданов и приказал опустить в глубокий подвал крепости, засыпав сверху землей. Другие чемоданы велел отправить в крепость Адрахан.

Об этих сокровищах впоследствии в народе ходили разные сказки, но никто не знает точную судьбу драгоценностей Хорезм-шаха.

Дальше Мухаммед уже ехал переодетый крестьянином, на крупной, сильной крестьянской лошади. Уже около моря он попал со своим отрядом в битву с монголами... Два самых смелых и опытных полководца, Субудай и Джебе, с отрядом в 10 000 воинов были посланы Чингиз-ханом, чтобы поймать Хорезм-шаха, преследуя его хотя бы до предела вселенной. Битва была отчаянной. Сам Мухаммед смело дрался и поразил мечом и копьем трех монголов, а затем скрылся в зарослях низовья реки Атрек.

В округе Джануй к Мухаммеду приехали эмиры и ханы с изъявлением почета и своей готовности ему служить, а он в крайнем изнеможении, совсем больной, все твердил:

— Найдется ли на земле спокойное место, где бы я мог передохнуть от разящих монгольских молний?

Тогда все эмиры признали, что будет наилучшим, если шах сядет в лодку и найдет себе убежище на одном из островов Абескунского (Каспийского) моря.

Шах не спорил, согласный на все предложения, и переехал на небольшой одинокий остров, казавшийся пустынным, без признаков жизни.

Когда от берега отъезжала обратно неуклюжая, просмоленная лодка, Хорезм-шах стоял на песчаной косе острова и смотрел вдаль, потемневший и задумчивый. Гребцы-туркмены поднимали косой серый парус, а провожавшие шаха эмиры стояли в лодке, сложив руки на животе, не смея повернутья, пока на них был устремлен взгляд падишаха.

Парус наполнился ветром. Лодку качнуло, и, ныряя в волнах, она стала быстро удаляться в сторону туманных, голубых Иранских гор.

Теперь у Хорезм-шаха были порваны последние связи с его родиной и его вечно недовольными, бунтующими подданными. Ему больше не угрожали ни монгольские набеги, ни мрачная тень рыжего Чингиз-хана. Здесь, среди беспредельной морской равнины, можно будет с горечью вспоминать прошлое, спокойно оценить настоящее и, не торопясь, обдумать будущее.

На целый месяц Хорезм-шах был обеспечен едой. Эмиры оставили в лощине, между песчаными холмами, войлочную юрту, медный котел, мешок риса, баранье сало, кожаное ведро, лопату, топор и другие необходимые вещи.

Теперь шах станет дервишем — искателем правды. Он сам будет о себе заботиться и варить для себя ежедневную пищу.

Шорох и шепот заставили шаха очнуться. Он оглянулся. На бугре среди кустов седой травы несколько человек в отрепьях, ужасного вида, с красными, раздутыми, в волдырях лицами, подползали к нему.

«Откуда эти морды? Что это за люди, потерявшие подобие человека? Распухшие, красные, львиные морды с огромными нарывами и язвами?..»

— Кто ты? — закричал один из звероподобных.— И зачем ты прибыл на наш остров?

— А кто вы?

— Мы проклятые аллахом прокаженные; еще живыми мы разваливаемся как мертвецы. Смотри, вот у этого отвалились все пальцы, а у этого отпали ступни ног и руки до

локтей, и он ходит на четвереньках, как медведь, а у этого отпал язык, и он стал немой!

Мухаммед молчал и уже только думал о лодке, которая черной точкой удалялась к голубому иранскому берегу. Он повернулся и, задыхаясь, побежал к песчаной косе. Там собрал сухих листьев, веток и щепок, выброшенных морем, сложил костер и зажег огонь. Столб густого дыма, клубясь, потянулся к небу.

«Этот дым увидят с берега, сюда приплывет лодка и увезет меня обратно на землю,— бормотал Мухаммед.— Пусть там война, пусть рыщут татарские всадники, но там живые, здоровые люди,— они враждуют, плачут, смеются, и жить среди них будет радостью после этого острова страданий живых мертвецов. Здесь я теперь понял, что моя жизнь больше никому не нужна».

Несколько дней Мухаммед провел около горящего костра, не выпуская из рук копья, так как прокаженные приползали со всех сторон, желая утащить его одежды и мешок с едой.

Тяжелые мысли одолевали его: «Ужасный год, он налетел со своими бедами, как буря, и сбросил меня со скалы величия... Я все имел и все потерял».

А из-за бугра прокаженные вопили, бросая камни.

— Умри скорее! — кричали они.— Нам надоело ждать: мы хотим разделить твои вещи и твою еду! Мы голодаем!..

Хорезм-шах встал. Вглядываясь в даль, в сторону иранского берега, он все еще надеялся увидеть лодку с высоким парусом. Мысли, тяжелые и мучительные, продолжали волновать его:

«Имел я свой великий, сильный, покорный мне народ. Имел я славу «победителя царей» — и что же? Я как безумный бросил счастье, которое было в моих руках. Теперь я стою перед ужасным концом... Я имел много сыновей, но один был необычайный. Он уже стал моим советником во всех делах. Я же подчинился злобным советам моей безумной матери, обидел сына и потерял в нем преданного друга. Джелаль-эд-Дин сюда не приедет, нет! Я знаю: он теперь бьется с монголами, защищая родную землю. Даже если он погибнет в бою, народ сложит о нем такие песни, что имя его прославится в веках! Я, кажется, схожу с ума... Эти песни мне уже слышатся, они доносятся, точно слетая

с облаков... О милый сын! Если бы мне тебя хоть раз еще увидеть, я бы тогда мог спокойно умереть!..»

Из туманной морской дали тихо стала доноситься боевая песня джигитов. Хорезм-шах вздрогнул, выбежал на конец песчаной косы и увидел лодку, которая с каждым взмахом длинных весел приближалась к берегу. Из лодки выпрыгнул Джелаль-эд-Дин и бросился к отцу:

— Отец, отец! Какое счастье, что я нашел тебя живым! Я приехал, чтобы спасти тебя и увезти обратно на родину!

Мухаммед обнял сына, и они сели рядом на обрывистом берегу.

— Я счастлив, что перед концом аллах оказал мне великую милость, дав возможность еще раз повидать тебя. Мой конец близок. Силы меня оставляют. Я уже выкопал себе могилу, в которую ты положишь мое тело и зажжешь над ней большой костер. Но перед смертью я хочу услышать от тебя о судьбе Великого Хорезма.

Джелаль-эд-Дин посмотрел с тревогой на отца, не понимая, почему тот говорит только о смерти, и стал рассказывать:

— Война губительным пожаром разлилась по всему Великому Хорезму. Везде носятся и злобствуют дикие монголы. Они безжалостно избивают наших мирных поселян. Лучших ремесленников они собирают в отряды и угоняют в далекую Монголию. Проклятые кяфиры не жалеют ни женщин, ни детей. Вся земля Хорезма напиталась кровью и взывает с мольбой о защите и мщении.

Хорезм-шах Мухаммед последним усилием воли поднялся, отстегнул свой пояс с кривым мечом и надел его на Джелаль-эд-Дина. Все джигиты подошли.

— Мой любимый сын! Я передаю тебе священный боевой меч твоих предков Хорезм-шахов. Я знаю, что теперь только ты один сумеешь спасти несчастный народ Великого Хорезма. Джигиты, перед вами стоит новый Хорезм-шах, султан Джелаль-эд-Дин. Он смел и молод, с ним к вам придет желанная победа!

— Живи и царствуй, Джелаль-эд-Дин! — воскликнули джигиты.— И разгроми скорее всех наших врагов!..

Силы Хорезм-шаха оставляли: он зашатался и упал.

Джелаль-эд-Дин бросился к нему, пытаясь поддержать и посадить.

— Не старайся, сын мой. Я принял яд. Прощай, мой любимый! Кто родину в опасности покинул, тот не имеет права жить!..

Джелаль-эд-Дин, сложив руки на груди, долго стоял в глубокой задумчивости. Джигиты сидели в стороне, ожидая распоряжений. Наконец он очнулся, поднял свою старую саблю и положил на грудь отца. Затем, как будто беседуя сам с собою, громко сказал:

— Я получаю в управление царство Хорезма, когда его захватили и терзают монголы. Я вступаю в начальствование над войсками, от которых осталось только имя,— они рассеяны, как листья после бури. Но в эту темную ночь, спустившуюся над мусульманскими странами, я зажгу в горах боевые огни, созывая смелых. Клянусь, что полученным от отца мечом я буду биться до конца моих дней, чтобы освободить родную землю и уничтожить диких, злобных наших врагов!..

Вместе с джигитами Джелаль-эд-Дин осторожно опустил тело отца в могилу. Оно было закутано в белый саван, для чего один из джигитов отдал свой пышный кисейный тюрбан.

Они нанесли много сучьев и сложили над могилой Хорезм-шаха. Высокое красное пламя взвилось к небу, казалось, лизнув облака. Джелаль-эд-Дин долго не мог покинуть могилу. Один из джигитов подошел и коснулся его плеча.

Прокаженные из-за соседнего холма стали кричать:

— Султан Джелаль-эд-Дин! Пожертвуй что-либо несчастным! Мы будем молиться за твоего отца.

— Эй вы, проклятые аллахом! Слушайте: все, что я привез на этой лодке, я оставляю вам, а вы мне обещайте беречь и чтить могилу шах-ин-шаха. За это я и впредь не оставлю вас своей милостью.

Поднялся ветер. Он стал раздувать костер и наполнил парус лодки.

Джелаль-эд-Дин с джигитами медленно отъезжали от острова, и долго еще из туманной дали доносилась их песня:

Когда джигиты-молодцы
Идут на смертный бой,
Враги бегут во все концы
От песни боевой!
Неотразимы, точно рок,
Могучи, словно львы.
И каждый отточил клинок
Для вражьей головы!
Вперед, джигиты, смерть врагу!
Аллага!.. Аллагу!..

ЧАСТЬ 2

ДЖЕЛАЛЬ-ЭД-ДИН НЕУКРОТИМЫЙ

Вместе с Хорезм-шахом Мухаммедом блеск его дома скрылся в тумане. Но честь его была спасена, и этим он обязан султану Джелаль-эд-Дину.

Мухаммед Несави

XIII. ПОМНИ УРГЕНЧ!

Где найти достойные слова, чтобы описать героическую, необычайно тяжелую защиту в течение семи месяцев города Ургенча от свирепых полчищ безжалостных монголов?! Все защитники оказались шахидами, героями, батырами, а защитниками-то были и мужчины, и женщины, и маленькие дети, подносившие родителям, бившимся на стенах, кирпичи и камни. Сам аллах — величие ему! — в один, самый тяжелый, день пожалел защитников и разом забрал все их души в свой блистающий звездами подол и унес их в небесные райские сады! А напиравших на город жестоких, диких монголов он поразил своим гневом, обрушив на них разбушевавшуюся великую реку Джейхун, которая смыла город, разметала ворвавшихся монголов и обратила богатейшую столицу Великого Хорезма в молчаливые развалины среди песчаной пустыни...

Случайный путник, проезжающий вдоль левого берега многоводной реки Джейхун, уже в низовьях может увидеть среди пустынной равнины ряд развалин. Там выделяются высокая, круглая башня, и красивый могильный памятник, и груды камней на месте домов, и холмы каменных обломков па большом протяжении... Все говорит о далеком прошлом огромного города, богатого, с красивыми пышными зданиями дворцов, мечетей, караван-сараев. Теперь все это покоится в глубоком молчании под ярким солнцем, и там можно заметить только старого чабана с длинной палкой, пасущего стадо овец. На вопрос: «Что это за развалины?» — он охотно начнет рассказывать о далеком прошлом, семьсот лет назад, когда на месте этих развалин пышно раскинулась столица Великого Хорезма, к которой тянулись богатые караваны с семи поясов земли...

— Это был город бессмертных, наших великих предков!

О них можно петь песни и рассказывать сказки,— скажет, покачивая головой, старый чабан.— Узбеки должны гордиться этим героическим городом.

...Когда лодка под косым парусом отплыла от острова прокаженных, султан Джелаль-эд-Дин ее направил не обратно на юг, к Иранским горам, где уже свирепствовали и рыскали в поисках Хорезм-шаха монгольские отряды Субудай-Багатура... Лодка поплыла к северу, к полуострову Мангишлак. Там Джелаль-эд-Дин сошел на песчаный берег и долго беседовал с кочевниками-киргизами, сбежавшимися со всех сторон. Султан объяснял им, в каком тяжелом положении оказалась вся родина, какие теперь нужны чрезвычайные усилия, чтобы выступить на борьбу с иноземными проклятыми кяфирами...

— Если же мы не станем бороться, то весь народ Великого Хорезма будет обречен на ужасную гибель и пропадет в равнинах вселенной!

Киргизы дали Джелаль-эд-Дину и его спутникам верховых коней и достаточно продовольствия для тяжелого пути. Некоторые кочевники сами присоединились к отряду смелого султана, заявив, что и они хотят сражаться за родину, хотя бы пришлось погибнуть, сложив головы, как верные шахиды.

Отряд быстрыми переходами добрался до стен Ургенча, столицы Великого Хорезма. Кругом города все находилось в крайнем волнении. Некоторые жители с вьюками на верблюдах и ослах спешили из города в глубину каракумских кочевий; другие, владельцы расположенных вокруг Ургенча поместий, торопились проникнуть в город, чтобы со своим имуществом укрыться за его прочными стенами.

В Ургенче много лет жила, как полновластная правительница Хорезма, кипчакская царица Туркан-Хатун. Держа в своих маленьких когтистых ручках управление страной, она могла бы в этот грозный час объединить весь народ в борьбе с наступающими страшными монголами.

Но злобная мать шаха прежде всего решила спасать себя и бежать из города. Однако перед отъездом она еще раз удивила небеса своей жестокостью. При ее дворе жили и воспитывались двадцать восемь малолетних сыновей эмиров и беков отдельных провинций, подвластных Хорезм-шаху. Это были юные заложники, которых шах-ин-шах держал

при себе в столице, желая предупредить возможность восстания неустойчивых ханов.

Туркан-Хатун заявила приближенным:

— Везти с собой этих мальчишек доставит нам лишние хлопоты. Однако и оставить их здесь опасно. Они могут, когда подрастут, захватить власть и стать правителями Хорезма, отняв трон у прямых потомков нашего рода Хорезм-шахов.

Поэтому Туркан-Хатун приказала палачам вывезти всех двадцать восемь принцев в лодке на середину реки Джейхун и, привязав к ногам мальчиков тяжелые камни, сбросить в воду.

Затем властная шахиня, забрав гарем Хорезм-шаха Мухаммеда, спешно направилась большим караваном через пески Каракумов в северную провинцию Ирана. Там весь караван был захвачен монголами, разграблен, женщины розданы воинам, а вся свита перебита. Сама Туркан-Хатун была отослана к Чингиз-хану. Монгольский владыка ей обрадовался и приказал, чтобы бывшая царица Хорезма во время его обедов сидела возле входной двери, пела песни о гибели своей родины, а сам он изредка бросал царице обглоданные кости...

Кипчакские ханы в Ургенче после отъезда своей царицы Туркан-Хатун заметались, не зная, что предпринять. Они усилили строгости по отношению к населению, приказали раисам избивать всех тех, кто недостаточно усердно посещал мечети, и ввели новые налоги, якобы для усиления защиты города.

Главную власть в городе захватил султан Хумар-Тегин. На военном совете начальников отрядов он показал подметные письма монголов. В них население приглашалось безбоязненно открыть ворота и довериться монголам, которые не сделают никакого вреда.

— Почему нам не договориться с ними? — говорил султан Хумар-Тегин.— Лучше поднести им большую дань и покончить дело миром, чем подвергать всех жителей ужасам вторжения, резни и пожаров.

Участвовавшие в военном совете другие военачальники возражали:

— Ты, падишах, вероятно, забыл, какие ужасы монголы заставили испытать жителей Бухары, Самарканда, Мерва и других городов? Там осажденные тоже просили пощады и бросали оружие. Монголы отобрали лучших ремеслен-

ников и послали их к себе на родину, а остальных перебили палками с железными шарами.

— Все-таки надо узнать, чего хотят монголы.

Ночью султан Хумар-Тегин с небольшой свитой тайно выехал из Ургенча и прибыл в загородный дворец, где пьянствовали три сына Чингиз-хана — Джучи, Джагатай и Угедей. Он предстал перед ними, сложив руки на животе, как проситель.

Монголы встретили его насмешками:

— Что ты нам привез? Где золотые ключи от ворот? Что тебе надобно?

— Я давно хотел поцеловать землю перед владыкой Востока. И я прошу принять меня в монгольское войско, где я докажу мою преданность великому кагану.

— На что ты нам, неудачный защитник Ургенча! И можно ли поверить тебе, если ты, главный правитель города, первый же предал и его, и родную землю? Ты получишь от нас в благодарность то, чего заслуживаешь.

Султан Хумар-Тегин и вся его свита были выведены в поле, за границу лагеря, и там монголы содрали с них одежды и переломили им хребты.

Они долго еще лежали живые, брошенные, как падаль. Ночью их раскрытые глаза видели звездное небо, и они не могли пошевелить рукой, когда к ним подползали шакалы и начинали терзать их тела.

XIV. ОРЕЛ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

Джелаль-эд-Дин со своим небольшим отрядом благополучно прибыл из Мангишлака в Ургенч, где сейчас же направился в военный совет столицы. Там он нашел заседавших напыщенных и надменных кипчакских ханов, обсуждавших план войны. Там же он застал трех своих братьев. Они встретили его враждебно. Джелаль-эд-Дин рассказал о смерти Хорезм-шаха Мухаммеда, о том, что тот назначил его своим преемником, правителем всего Хорезма, и показал алмазный меч, врученный ему отцом для того, чтобы он встал во главе всех войск, поднявшихся на священную войну с монгольскими полчищами. Военный совет отнесся не только с недоверием, но и с открытой враждебностью к Джелаль-эд-Дину.

— Мы знаем только одного наследника — Озлаг-шаха, и мы сами встали во главе войск для борьбы с монголами. Никакого другого начальника мы не допустим. Скорее уез-

жай отсюда и помни, что если ты будешь добиваться власти, то тебе и всем твоим сторонникам грозит суд и позорная смерть.

Джелаль-эд-Дин свистнул и засмеялся:

— Время покажет, какие страницы, славные или позорные, вы напишете в книге судеб Великого Хорезма!

— Прочь, прочь отсюда! — ревели, потрясая мечами, разъяренные кипчакские ханы.

Тогда Джелаль-эд-Дин сделал то, что было им давно намечено, он отправился на главный базар столицы. Там кругом площади были расположены мастерские кузнецов, медников, оружейников и других ремесленников. Он повидал главных старшин ремесленных общин: Беркуша-Пехлевана, Мухаммеда-Пулад-Уста, Сурхад-Хаким-Ака и других. Они стали вместе обсуждать, как устроить наиболее успешной защиту города. Все они были опытные мастера, прославленные своими изделиями: непробиваемыми кольчугами, прочными светлыми мечами, легкими щитами и другим оружием, и среди многочисленных ремесленников города они пользовались особым уважением.

— Мы уже не раз обсуждали между собой, что нам делать. Во-первых, мы решили не обращаться за помощью и советом к кипчакским ханам. Султан Хумар-Тегин уже показал, насколько можно им доверять. Ургенч, этот крупнейший город Великого Хорезма, благодаря своим древним, прочным стенам может оказаться неприступным для монголов. Однако, пока кипчакские ханы спорили и рассуждали, что делать и кому начальствовать, три монгольских царевича уже постепенно обложили столицу, чтобы лишить ее всякой связи с внешним миром.

— Что же вы сделали? — спросил Джелаль-эд-Дин.

— Мы разделили город на участки, в каждом во главе поставлен наш человек. Если не будет предательства — а его в рядах наших тружеников быть не должно,— то город продержится долго и монголам его не одолеть. Все изготовленное нами оружие мы раздадим защитникам, а сами будем продолжать изготовлять новое. Вода у нас есть, продовольствием мы обеспечены надолго. Ты можешь быть спокоен, султан Джелаль-эд-Дин, что мы с честью будем держать в руках свое оружие... А ты, наш молодой шах-ин-шах, как намерен бороться с врагами?

— Я покидаю Ургенч для того, чтобы проехать через горы и повидать владетелей Гура, Герата, Газни, Кандагара и других вождей родственных нам племен и постарать-

ся объединить их в одно могучее грозное войско. Нелегко будет это сделать, потому что все эти племена искони привыкли враждовать между собой. Но разве можно враждовать тем, кому грозит общий страшный враг и в дни, когда потрясается вселенная?..

Разговор продолжался недолго. Все встали, прочли молитву и обнялись, пожелав друг другу удачи, после чего Джелаль-эд-Дин отправился к своему отряду, который во главе с Тимур-Меликом ожидал его у подножья стен Ургенча.

В эту же ночь Джелаль-эд-Дин со своим отрядом направился через Каракумские пески к крепости Неса, у подножья гор Копетдага. Путь был очень труден, всадники прибыли полуживые, на истощенных до крайности конях.

В Несе стоял монгольский гарнизон в семьсот воинов. Не ожидая опасности, они отдыхали, имея хороших, сытых коней. На склоне горы паслось стадо баранов.

Джелаль-эд-Дин, укрываясь среди песчаных барханов Каракумов, собрал своих воинов и устроил совещание.

— Смотрите: там пасутся свежие, бодрые кони. У монголов имеется мясо и хорошее оружие, а у нас почти ничего. На наших конях двигаться дальше невозможно.

— Так что же нам делать? — спросили джигиты.— Мы измучены, а монголы в два раза сильнее нас.

— Но разве в нас не кипит огненная тюркская кровь? — сказал горячо Джелаль-эд-Дин.— У нас сохранились наши длинные ножи и зазубренные в боях мечи. Мы должны подкрасться к монголам, как злобные волки, и их разгромить. Или мы это сделаем и спасемся, или нам грозит неминуемая гибель. За смелым летит удача. Нападение мы сделаем сейчас, пока монголы еще нас не заметили...

Джигиты Джелаль-эд-Дина обрушились на монголов, как град среди летнего дня. Привыкшие к легким победам, монголы никак не ожидали такого яростного, внезапного нападения. Они бежали во все стороны и всюду натыкались на отчаянно рубившихся, смелых воинов. Большая часть монголов была рассеяна и перебита, остатки спаслись, спрятавшись в подземных каналах — кяризах. Все их оружие, продовольствие и кони достались отряду Джелаль-эд-Дина.

Он сказал своим товарищам:

— Мы не можем здесь оставаться ни одного лишнего

дня, так как другие отряды врагов рыщут поблизости. Выбирайте коней и оружие. Мы сейчас же едем дальше.

Это была первая победа мусульманских войск над монголами, развеявшая сказку о их непобедимости и создавшая славу Джелаль-эд-Дину. Он немедленно двинулся дальше и горными тропами благополучно пробрался к Афганистану. Там он стал собирать войско для разгрома монголов. В Несе к Джелаль-эд-Дину присоединился уроженец этого города, ученый историк Мухаммед Несави, сопровождавший затем его в походах и написавший замечательную книгу о его жизни и всех его войнах.

XV. ГОРОД БЕССМЕРТНЫХ[1]

Народ там непреклонный. Это такие люди, которые в ярости принимают смерть, бросаясь на собственные мечи.

Из восточной сказки

Для осады такого большого города, как Ургенч, Чингизхану пришлось отправить более значительные силы, чем против других городов. На эту древнюю богатую столицу Великого Хорезма монгольский владыка двинул сразу войска всех трех своих сыновей — Джучи, Джагатая и Угедея.

Первоначально монголы не показывались возле города, и жители его даже не представляли себе, какого вида вторгшиеся орды кочевников пустыни. Монголы окружили Ургенч широким кольцом отрядов, а сами занимались грабежом ханских усадеб и окрестных рустаков (селений), захватом скота, продовольствия и всякого имущества. Ургенч долго сперва не чувствовал близости войны. Можно было свободно въезжать и выезжать через главные городские ворота — «Ворота мира», где был только поставлен небольшой конный сторожевой отряд.

Однажды среди дня на главной дороге показалось стадо скота, в облаке пыли направлявшееся в город. Вдруг из этого облака послышались отчаянные крики, и откуда-то, как шайтаны, вылетели странные, дикого вида всадники в меховых шубах, скакавшие во весь дух на небольших лохматых конях с длинными гривами и хвостами. Они стали рубить мечами пастухов и старались угнать скот обратно.

---

[1] «Оборона Ургенча представляет, несомненно, одно из замечательных явлений в истории» *(В. Бартольд)*.

Из ворот Ургенча сейчас же выехал отряд всадников и, обманутый малочисленностью врагов, напал на монголов. Те обратились в притворное бегство, завлекая преследовавших, и ургенчские всадники вскоре попали в засаду, где их окружило множество монголов. Произошла отчаянная схватка. Не многим хорезмским воинам удалось вырваться из кольца и прискакать обратно в Ургенч.

Тут жители столицы поняли, что началась настоящая война. Вскоре монголы начали свое упорное, неуклонное наступление на город. Они захватили в рустаках много юношей и погнали их перед собой к стенам города. По приставным лестницам они заставляли юношей взбираться на стены и ударами мечей избивали сопротивлявшихся. А наверху между бойницами уже стояли защитники с топорами, дубинами и копьями и сбрасывали вниз нападающих.

— Не бейте нас! — кричали влезавшие юноши.— Мы тоже хорезмийцы!

— Зачем же вы идете против нас! Оборачивайтесь назад! Бросайтесь на монголов, сбивайте их с лестниц!

И защитники беспощадно избивали каждого, кто появлялся на стене, так что никому не удавалось проникнуть внутрь города. Всюду показывались силачи Берхуш-Пехлеван, Мухаммед-Пулад-Уста и другие их товарищи, воодушевляя защитников, разбивая черепа монголов топорами и молотами на длинных рукоятках.

Но монгольские военачальники продолжали гнать своих воинов и пленных на приступ стен. Те снова карабкались по лестницам и падали вниз.

Летописец того времени говорит, что при обороне города погибло монголов больше, чем жителей. Кости убитых образовали целые холмы, которые еще полвека спустя были видны возле развалин старого Ургенча.

В то время как весь город кипел беспокойством и тревогой, только один старый дворец Хорезм-шаха стоял мрачный, опустелый и безмолвный, еще недавно бывший «средоточием вселенной», откуда летели во все концы Хорезма молнии приказов сурового бадавлета.

Стройный, тонкий юноша прошел легкой походкой мимо старых слуг, которые с копьями в руках по привычке дремали при входе во дворец. Он с удивлением осматривал залы, недавно полные народа, ожидавшего милости или гнева шах-ин-шаха. Гулко звучали шаги. Бронзовые подсвечники,

серебряные кубки и кувшины в беспорядке громоздились на мраморных столах, точно приготовленные для отправки. В одной зале юноша встретил шахского приближенного полководца сердара Огул-Хаджиба. Он шел в сопровождении джигитов, нагруженных мечами, копьями и другим оружием.

— Прости, великий сердар, что я тебя останавливаю,— сказал, скромно сложив руки на груди, юноша.— У меня к тебе большая просьба.

— Я слушаю тебя, мой юный друг.

— Я прошу указать мне путь, чтобы разыскать султана Джелаль-эд-Дина. Он так внезапно уехал из Ургенча, что я не успела его увидеть. Он обещал взять меня с собой.

— Теперь такое время, что нельзя ждать и медлить: опасность может внезапно запереть ворота спасения и открыть ворота бедствия. Я слышал, что наш смелый орел Джелаль-эд-Дин направился к верховьям Джейхуна. Там около Герата он надеялся встретиться с вождями племен, чтобы приготовиться к битвам с монголами. А кто ты, смелый юноша? Может быть, я тебе помогу.

— Я Бент-Занкиджа, переписчица, секретарь и чтица шахского летописца Шахира-Сулеймана Аль-Хорезми. Он до сих пор каждый день записывал важные события в книгу подвигов и речей шах-ин-шаха Мухаммеда. Но теперь он стал так слаб, что, взяв с собой «Книгу событий», ушел из дворца к внучатам, которые обещали кормить и поддерживать его. Я ему уже не нужна и хочу найти Джелаль-эд-Дина. Я научилась писать книгу подвигов, а от кого же теперь их можно ждать, как не от нашего хорезмского орла?

— Значит, ты девушка? Хватит ли у тебя сил на дальнюю дорогу, на трудности и ужасы, когда с боем придется пробираться между страшными, дикими врагами? Подумай раньше.

— Я все передумала и хочу одного — разыскать молодого бадавлета и стать его секретарем.

— Тогда я тебе помогу. Сегодня ночью я выезжаю из Ургенча с двумя тысячами всадников: ведь корма для коней в городе уже не осталось. Мы направимся через пески прямо в сторону города Мерва, а оттуда будем искать путей, чтобы найти султана Джелаль-эд-Дина. Имеется ли у тебя конь?

— У меня нет ничего, кроме крыльев мужества. Но меня ничто не остановит.

— Хорошо. Если у тебя нет коня, я тебе его дам, а также кинжал и легкое бамбуковое копье.

— Да хранит тебя праведный Хызр и принесет тебе удачу!

Древний город, бывший столицей Великого Хорезма, оказался в самом тяжелом положении, отрезанный от всякой помощи. Расположенный в низовьях великой реки Джейхун, среди беспредельных равнин, Ургенч славился как торговый и промышленный центр на скрещении древних караванных путей. Его мастерские вырабатывали замечательные железные изделия, знаменитые кольчуги, шлемы, оружие, закаленные мечи. Целые кварталы жили шумной жизнью, выделывая щиты, седла, конскую сбрую, тонкие, нежные ткани для тюрбанов благочестивых мусульман. И весь многолюдный город в один день всполошился, узнав, что на него надвигаются полчища монголов... Тысячи ремесленников стали собираться на площадях, обсуждая, что делать, как выдержать борьбу с наступающим врагом...

Несмотря на то что, по слухам, монголов двигалось так много, что их войско напоминало разлившееся море и что их отряды растянулись вдоль всего течения Джейхуна, жители решили защищаться.

Хотя в городе было много кипчакских ханов, державших в своих руках управление Великим Хорезмом, эти ханы вызывали к себе только глухую ненависть своими грабежами мирного населения и полным равнодушием к его нуждам и лишениям. Станут ли они теперь драться за него с прославленными воинами рыжебородого завоевателя Чингиз-хана? Население отвернулось от них.

Было множество героических поступков, замечательных случаев мужества и самоотверженности не искушенного в борьбе, но смелого населения Ургенча. Увы! — после падения города некому было о них рассказывать. Лучшие батыры погибли в схватке с монголами, а когда мощные волны реки смыли последних борцов и унесли их тела вместе с остатками разрушенных зданий, тогда уже никого не сохранилось, кто бы мог поведать обо всем, и только от случайно уцелевших узнал народ, как беззаветно боролись жители Великого Хорезма.

Старый Шериф-Бобо имел кузнечную мастерскую на главной дороге из Ургенча в Бухару. Он чинил повозки, обтягивал железными ободьями колеса и много лет делал мелкие починки крестьянам, ковал омачи, кетмени и прочее.

Долгую жизнь прожил Шериф-Бобо на перекрестке пыльной проезжей дороги и вывел в люди семерых сыновей: трое из них стали медниками на большом базаре в Ургенче, двое с караванами ходили по бесконечным дорогам Азии, а два последних, еще подростки, помогали отцу в мастерской.

Когда пришли первые тревожные известия о нашествии страшных, жестоких монголов, Шериф-Бобо стал настойчиво расспрашивать проезжих, сходил в соседнее селение к дамулле и пришел к определенному решению: надо бросить свою мастерскую, взять с собой нож, топор и полукопье и отправляться в Ургенч к сыновьям, чтобы вместе защищать от врагов старый родной город.

Он собрал все свои инструменты, спрятал их в яме, туда же сложил запасы ячменя и пшеницы, засыпал все соломой и песком... Оседлав старую рыжую кобылу, нагрузил на нее переметные сумы с домашним имуществом и едой и направился в Ургенч. Рядом с ним шагали два младших сына и старушка жена.

— Теперь настало время, о котором говорят только в старых сказках: пришли враги беспощадные и злобные, и нам всем нужно браться за оружие и выйти биться со злодеями. Старый Шериф-Бобо покажет молодым джигитам, что он тоже может защищать родную землю и умирать за нее.

В Ургенче Шериф-Бобо нашел своих сыновей уже готовыми к борьбе. Они гремели железными молотками, изготовляя мечи и наконечники копий. Все пятеро получили свои места на городских стенах, где им предстояло избивать и сбрасывать взбиравшихся монголов.

У старого оружейника Беркуша-Пехлевана была внучка Огуль-Бостан. Она мирно жила в городе, занималась хозяйством в доме своей матери. Когда она увидела, что кругом соседи поднимаются на борьбу, она сказала:

— Я покажу всем, что наши девушки так же смело и самоотверженно встанут на защиту родных древних стен, как и наши джигиты.

Будучи крепкой и выносливой девушкой, она с раннего утра, стоя на стене, без устали забрасывала камнями появлявшихся монголов. Ее заметили, и один старый, богатырского вида монгол взялся ее уничтожить. Три раза уже взбирался он на стену, но принужден был отступать, забрасываемый камнями.

— Я доберусь до этой проклятой девчонки! — кричал монгол и упорно снова взбирался по лестнице.

Ему уже удалось схватить ее за руку и выхватить меч. Огуль-Бостан как тигрица бросилась на него, обхватила за шею, и они вместе полетели вниз на камни, где оба разбились.

У монголов было страшное оружие — горшки с зажигательной жидкостью; они швыряли их в дома, и тогда деревянные части вспыхивали, как солома.

Но ургенчские женщины поднялись все, как одна, на защиту своих жилищ: они тушили пожары, рубились мечами, поражали стрелами, укрывали раненых, и злобные хищники ничего не могли с ними поделать.

Мухаммед-Пулад-Уста имел определенное место на стене, откуда он очень удачно и ловко сбивал поднимавшихся монголов ударом топора на длинной ручке по черепу. Это вызывало их бешенство. Они подкатили и поставили против места, где он стоял, метательную машину, которая швыряла большие камни и обрубки дерева. На крыше этой машины они поместили несколько отборных лучников. Пулад-Уста, прикрываясь щитом, удачно продолжал свое дело. Внезапно, точно стая дроздов, взвились стрелы над стеною. Стойкий герой упал, тяжело раненный. Его нельзя было оттащить в безопасное место, так как стрелы летели непрерывно. Тогда его маленький внук стал подползать и складывать стенку из камней. Она медленно поднималась и в конце концов прикрыла раненого защитника, позволив приблизиться жене, которая обмыла и перевязала его раны.

Шли дни, шли недели и месяцы, монголы продолжали нападать на Ургенч, карабкаясь на стены, а защитники так же упорно и мужественно сбивали и отбрасывали их. Прошло полгода, а город оставался столь же неприступным!

Восточные летописцы говорят, что, не получая известий о падении и сдаче Ургенча, Чингиз-хан свирепствовал, казнил без надобности сотнями пленных и посылал грозные приказы сыновьям, требуя скорейшего захвата столицы Хорезма. Он их обвинял в том, что они только пьянствуют, ссорятся и действуют недружно. Наконец он повелел, чтобы главным начальником монгольских войск был младший сын Угедей, а Джучи и Джагатай ему подчинялись.

Для более успешной осады Чингиз-хан прислал китайских мастеров. Они построили огромные машины-катапульты, мечущие тяжелые камни, зажигательные стрелы и сосуды с горючей жидкостью. Монголы пригнали пленных,

заставили их засыпать большой ров, окружавший город. Тогда удалось придвинуть катапульты ближе к стенам, и они стали разрушать и поджигать город. Горючая жидкость вызывала сильные пожары в Ургенче, где большая часть построек была деревянная.

Затем Джучи приказал пленным сделать под стеной и под одной башней подкоп, по которому отряд монголов проник в город и занял квартал. Впервые на башне поднялось монгольское знамя Джучи — белое, с семью концами. Однако другие кварталы продолжали отчаянно защищаться, и монголам приходилось завоевывать улицу за улицей, неся огромные потери.

Жители Ургенча проявляли изумительное мужество и беззаветную самоотверженность.

Говорят, что два праведника ходили между защитниками и особенно их воодушевляли: шейх Недж-ад-Дин-Кубра и факих Али-ад-Дин Хаяти. Были еще удальцы: полководец Сипех-Алар, Кухи-Дуруги, Эр-Бука-Пехлеван и другие батыры, как, например, Фиридун-Гури, который с отрядом в пятьсот человек появлялся в самых опасных местах и отбрасывал монголов.

Рассказывают об одной победе, одержанной над монголами благодаря мужеству и находчивости Фиридун-Гури. Монголы решили навести мост через большой канал близ ворот Акабилан. Три тысячи человек спешно занялись этой постройкой, когда ворота внезапно раскрылись и Фиридун-Гури со своим отрядом бешено набросился на работавших. В отчаянной схватке все монголы были перебиты.

Прошло семь месяцев осады. Уже большая часть города была разрушена, когда монголы решили, что огонь действует слишком медленно и что следует отвести от города воду Джейхуна. Для этого они разрушили главную плотину великого канала. Вода широко и бурно разлилась и затопила весь Ургенч. Вся огромная площадь, которую занимала столица, долго еще потом оставалась покрытой водой. Кто из хорезмийцев спасся от монголов, тот утонул или погиб под развалинами подмытых рекой зданий.

Так нашла свой конец древняя, прекрасная и многолюдная столица Великого Хорезма и никогда больше не была восстановлена. Все ее защитники выказали высшую доблесть, какую только может проявить человек: они не колеблясь отдали свою жизнь за свободу родины.

Героический Ургенч по справедливости должен считаться «Городом бессмертных», потому что память о его защит-

никах никогда не умрет и будет воодушевлять на новые, такие же светлые подвиги.

С гибелью Ургенча развалилось когда-то сильное и могучее государство Великого Хорезма. Некому было собрать его опять в одно целое, так как монгольские отряды рыскали и свирепствовали во всех областях, а тюркские ханы не умели или не хотели объединиться в один прочный союз.

Только Джелаль-эд-Дин пытался еще восстановить Великий Хорезм.

XVI. НАДО КОВАТЬ ПОБЕДУ

Во взгляде его огонь, а лицо — как заря.

Из восточной сказки

...Многие спрашивали, в чем тайна обаяния Джелаль-эд-Дина?

Почему к нему стремятся и джигиты, и простой народ, и военачальники, почему в него верят, почему его любят?

Лица, видевшие его много раз, говорят, что он среднего роста, лицо смуглое, что всякий, увидав его, скажет, что это узбек или туркмен. Его глаза слегка скошены, на устах обыкновенно блуждает бодрая, приветливая улыбка... Но что особенно в нем привлекательно — это его задорный смех, его кажущаяся беспечность, его вера в себя, в то, что своими силами, своей волей он сможет всего достигнуть.

У Джелаль-эд-Дина не было зависти, желания власти, а между тем к нему все стремились и просили его стать во главе отрядов.

Следует отметить еще одну замечательную черту Джелаль-эд-Дина — его умение быстро мирить, объединять враждующих ханов, собирать в одно целое соперников и таким образом создавать более сильное, спаянное одной волей войско.

Когда пал Самарканд, позорно сдавшись без боя, когда Бухара добровольно положила свою голову под меч Чингизхана, когда Ургенч был осажден монгольскими отрядами и, казалось, не было никакой надежды на спасение несчастного народа Великого Хорезма, Джелаль-эд-Дин, как всегда, смеялся, ободрял павших духом, говоря, что будущие победы у нас в руках, но слезами их не ускорить ни на один день.

После разгрома монгольского отряда у Несы Джелаль-эд-Дин с тремястами джигитов пробрался через горные хреб-

ты северного Ирана в Афганистан и стал искать там вождей тюркских племен — харлуков, узбеков, халаджей, туркмен, афганцев, гурцев и других.

Всем он говорил, что пора позабыть прежние распри и ссоры, помня только главную задачу — борьбу против ворвавшихся в земли Хорезма злодеев — и то, что все мы сыны великого племени, что у всех в жилах течет одна огненная кровь потомков тех богатырей, которые пришли с диких степей востока в плодоносные равнины Мавераннагра[1] и завоевали весь край, создав из него единое могучее государство Великого Хорезма: «Мы создали Великий Хорезм и должны сберечь его могучим и свободным...»

Джелаль-эд-Дин всегда призывал и ханов, и эмиров, и рядовых джигитов с такой страстью, такой убежденностью в правдивости своих слов, что все невольно задумывались и проникались горячей верой в то, что вместе с Джелаль-эд-Дином, под его начальством, можно будет одержать блестящие победы.

Из всех друзей Джелаль-эд-Дина, его верных спутников, особенно был полон такой же верой в его непобедимость, в в его славное будущее старый, изрубленный в боях сердар Тимур-Мелик. Но ведь Джелаль-эд-Дин являлся учеником Тимур-Мелика, и в словах Джелаль-эд-Дина слышались отзвуки тех речей, тех поучений, которые сердар Тимур-Мелик с детства внушал своему пламенному, смелому питомцу.

Буйный и шумный лагерь раскинулся между скалистыми седыми горами северного Афганистана. На зеленых склонах паслись сотни коней, костры дымились и уходили далеко в глубину ущелья.

На одном бугре возвышался шатер, сшитый из полосатой ткани, с блестящей медной маковкой в виде летящего сокола. Группы всадников проезжали в разных направлениях. Некоторые с криками неслись во весь дух, подбрасывая высоко легкие копья, и ловко хватали их на скаку.

Старик крестьянин, изможденный и тощий, ехал по главной тропе и обращался с вопросами ко всем встречным. Ему отвечали насмешками:

[1] Мавераннагр — земли Средней Азии между Сырдарьей и Амударьей.

— Куда ж ты отправился на своей старой кобыле? На ней можно только молотить джугару, а не воевать.

— Скажи это своей бабушке, а моя кобыла скачет более резво, чем все кони, на которых вы здесь хотите разбить злобных кяфиров.

Пожилой воин с длинной бородой, засунутой за ворот кольчуги, придержал нарядного жеребца и спросил:

— Ты мне скажи толком, почтенный дядюшка, кого ты ищешь, чего тебе надо?

— Я слышал, что здесь собирается войско для борьбы с врагами, которые хотят поработить Хорезм, и что начальствовать над нашими смелыми джигитами будет бешеный коршун султан Джелаль-эд-Дин Неукротимый. Верно ли это? Я хочу драться в его отряде и сумею рубить моим топором врагов родины не хуже, чем все молодые воины. Меня зовут Шериф-Бобо...

— Твое желание весьма похвально, почтенный дядюшка Шериф-Бобо, и я тебе помогу. Ты можешь проехать в глубину этого ущелья. Спроси там шатер сипехсалара Эр-Бука-Пехлевана. Скажи ему, что тебя прислал Тимур-Мелик... Если ты захочешь быть конюхом моих лошадей, то я буду тебя кормить. Там же ты и меня разыщешь.

— Спасибо тебе, великий сердар Тимур-Мелик. Я давно слышал твое славное имя и буду счастлив стать твоим слугой.

В главном шатре происходило совещание вождей и эмиров. В этой большой долине собрались разные отряды: гурцев, харлуков, афганцев, халаджей и других племен.

Все вожди сидели кольцом на лиловом афганском ковре, и чаша с крепким сладким вином переходила из рук в руки.

Но мира не было на этом совещании. Каждый хотел главенствовать, каждый доказывал, что его войско если не многочисленнее, то храбрее, упорнее в бою, стремительнее в наступлении. Самым важным из вождей был Амин-аль-Мульк — глава афганцев. С ним бешено спорили глава халаджей Аграк-Мелик и глава гурцев Ихтиар-ад-Дин-Харпуст.

— Халаджи хороши, когда надо делить добычу.

— А гурцы особенно ловки, когда воруют коней!

Прибывший на собрание сердар Тимур-Мелик не мог успокоить ссорившихся. Споры становились все горячее, и

уже раздавались бранные слова, после которых вожди хватались за оружие.

— Успокойтесь, почтенные сердары и ханы. Мы съехались, чтобы заключить союз дружбы в дни грозной опасности.

— Разве возможен такой союз, когда войска ведут себя как разбойники в степи на большой дороге?

— Все гурцы всегда были ворами! — хрипел голос с одной стороны шатра.

— Халаджи даже ворами не могут быть — они бегут при виде обнаженного меча.

Вдруг издали послышался шум приближавшейся толпы.

— Слушайте, к нам кто-то едет.

Доносились песни, распевавшиеся молодыми голосами, взрывы смеха и громких приветствий.

— Это к нам едет пьяная свадьба, — воскликнул Амин-аль-Мульк. — Не время пьянствовать, когда мы должны точить мечи.

Топот коней оборвался у самого шатра, и в него ввалилось несколько человек. Впереди шел молодой стройный батыр в серебристой кольчуге с расстегнутым воротом. Шлема на голове не было, и кудрявые волосы рассыпались по плечам. Задорная и вместе приветливая улыбка открывала крупные белые зубы. Прищуренные глаза смотрели весело, в то же время впиваясь в каждого и не выпуская из своего внимания ни одной мелочи.

— Джелаль-эд-Дин! К нам приехал султан Джелаль-эд-Дин! Да живет он тысячи лет! — закричали голоса.

— Где он, мой старый, любимый друг Амин-аль-Мульк? — кричал молодой батыр. — Вероятно, тебе меня сейчас и не узнать? Ведь ты держал меня на коленях и ласкал, когда мне было семь лет!

— Не подходи ко мне, султан Джелаль-эд-Дин! Сперва я должен разделаться с Ихтиаром Харпустом и отрубить его беспутную голову.

— Этого не может быть! — воскликнул Джелаль-эд-Дин. — Харпуст хорошо пьет вино, уважает своего дядю и готов перед ним поцеловать землю.

— Не приехал ли ты со свадьбы, бадавлет? Почему ты такой веселый?

— Я не со свадьбы приехал, а еду на свадьбу. Нет ли у тебя, Амин-аль-Мульк, дочери, которая меня не отвергнет? Я сейчас же на ней женюсь!

— Для тебя, бадавлет, такая царевна всегда найдется.

Вражда и ссоры в шатре уже затихали. Все смеялись и обменивались с Джелаль-эд-Дином шутками.

— Нам предстоит сейчас пир — большой и роскошный пир!.. Я нашел тут недалеко долину близ города Первана, в которой мы скрестим мечи с монголами. Они уже гонятся за нами по пятам и скоро будут здесь... В такой день мы все должны быть братьями. Мы дети одного народа. Объединившись, мы станем непобедимыми и разгромим монголов. Кто здесь ссорился? Прячьте мечи и берите кубки вина. Я вам клянусь, что мы сейчас накануне большой победы!..

XVII. КАНУН ВЕЛИКОГО ДНЯ

Я не хочу от тебя ничего, кроме дружбы.
И если я получу ее, вся земля и народы
для меня пыль, а жители — мухи.

Ибн Хазм

Джелаль-эд-Дин объехал всю долину, где на склоне горы рассыпались домики городка Первана, окруженного старой, полуразвалившейся стеной. Здесь наконец он нашел то, чего искал. Он поднялся на холм, долго всматривался в суровые, скалистые отроги гор, заметил высоко, на опушке фисташковых зарослей, группу наблюдавших людей. Кто они? Свои? Или подосланные монголами лазутчики?

Быстро опустившись вниз к ручью, Джелаль-эд-Дин передал лошадь джигиту возле шатра вождя афганцев Аминаль-Мулька. Там собрались сердары и эмиры. Джелаль-эд-Дин сел на ковре в общий круг и сказал:

— Я нашел в этой большой долине место, где с двух сторон опускаются друг другу навстречу отроги гор. Они образуют отличную защиту для войска от боковых ударов. Дозорные мне донесли, что сюда уже спешно приближаются, нахлестывая коней, мохнатые монголы. Они торопятся, точно боясь нас потерять. Но, найдя нас, они тоже пожалеют. Я знаю, как они будут действовать. Они нападут на нас воющей толпой, стараясь напугать, смять копытами коней. А мы должны их перехитрить. Мы выстроим всех наших воинов тесными рядами поперек долины. Мы должны приготовить для монголов то, чего они не ожидают. Наши джигиты будут стоять пешие: каждый воин должен чувствовать локоть соседа, стоящего рядом.

— А где же будут кони? — послышались голоса.

— Кони будут стоять за спиной, привязанные за повод к

поясу. В самом центре надо поставить самых опытных лучников, чтобы при атаке они сбивали монголов ударами в глаз и в горло. Когда же монголы откатятся, то мы ни в коем случае не должны их преследовать. Ряды останутся на месте. Монголы будут нападать на нас несколько раз и снова откатываться, а наши воины будут по-прежнему стоять неподвижно, вызывая удивление врага. Таким образом, наши кони останутся бодрыми и свежими, а кони монголов к концу дня вымотаются. Сбоку будут стоять барабанщики, ожидая моего приказа. И вот, когда я увижу, что монголы уже устали, что их кони измучены, я прикажу ударить в барабаны. Тогда все наши молодцы сядут на коней и бросятся преследовать этих злобных кяфиров. Сверкающие планеты благоприятствуют и сбросят нам на руки давно желанную победу. За смелым следует удача!.. Клянусь вам памятью Искандера Великого, завтра мы вдребезги разобьем монголов!

— Не знаешь ли ты, бадавлет, кто начальствует над монголами?

— Мои дозорные поймали одного заблудившегося монгола, и тот рассказал, что их ведет родственник самого Чингиз-хана — Шики-Хуту-Ху, раньше бывший судьей и палачом. Его и послал Чингиз-хан, чтобы он казнил всех нас, дерзких противников монгольского вторжения.

Джелаль-эд-Дину не спалось. Он ходил по лагерю, разговаривал с воинами, сидевшими у костров и кормившими коней, объяснял им план намеченной битвы.

Из-за гор поднялась круглая луна и озарила серебристым светом всю долину. Один за другим потухали костры, замолкали речи. Величественный покой своими легкими крыльями навевал сон на глаза лежащих хорезмийцев, и глубокая тишина воцарилась по всей долине.

Только изредка с горных вершин доносился тягучий вой голодного волка или визгливый плач шакалов. Нельзя было решить, звери ли это подают друг другу вести, предчувствуя скорый кровавый пир, или это перекликаются подползающие монгольские лазутчики.

Джелаль-эд-Дин сидел на коврике близ своего небольшого походного шатра. Тяжелые думы его охватывали, сомнение боролось с уверенностью, что завтрашняя битва принесет поражение высокомерным врагам, что, наконец, он сумеет перебить им хребты и показать всем братьям, что кос-

матых монголов можно так же успешно побивать копьем и стрелами, как до сих пор смелые хорезмийцы побивали свирепых кабанов или могучих тигров.

Он опустил усталую голову на руку, сон дымным облаком закрыл ему глаза, и вдруг он очнулся от шороха.

Впереди, на краю коврика, сидела маленькая фигурка в черной одежде... Глубокие морщины прорезали ее лицо. Это была старушка с сумкой в руках.

— Кто ты? Дух ночи или выходец из могилы? И что тебе здесь надо?

— Ты мне обещал дать свободу, и я ее получила. Но я умоляла тебя еще о великом счастье быть у твоих ног и тебе помогать. Ты умчался и не подумал обо мне.

— Я помню все, но это я говорил девушке, благоуханному цветку ранней весны. Вероятно, ты ее бабушка и мне о ней расскажешь?

— Нет, я Бент-Занкиджа!.. Чтобы разыскать тебя, я нарисовала на лице морщины, я подобрала посох, оделась нищенкой и пошла, согнувшись, по дорогам. Моя кажущаяся старость защитила меня от злых людей. На меня налетали монголы, но, махнув рукой, оставляли в покое. Ты можешь отослать меня прочь, и тогда я брошусь на кинжал, благодаря небо, что еще один раз увидела твое светлое лицо!

Джелаль-эд-Дин взял кувшин с водой и поставил его перед девушкой. Он вошел в шатер и вынес оттуда сверкающее ожерелье и красивое шелковое платье с цветными узорами.

— Меня здесь хотят женить, и друзья прислали подарки. Сбрось с себя нищенские лохмотья и надень этот праздничный наряд. Смой все свои морщины — тебе больше не придется чего-либо опасаться.

Девушка положила перед Джелаль-эд-Дином ковровую сумку и сказала:

— Здесь две книги: одна — жизнь Искандера Двурогого. Не знаю, сохранил ли ты в своих скитаниях ту, что я тебе написала. Вторая книга еще чистая: в ней я буду отмечать победный полет смелого молодого орла!..

Бент-Занкиджа взяла кувшин и цветное платье и отошла за шатер. Она вернулась и теперь стояла перед Джелаль-эд-Дином, озаренная луной, юная, стройная и радостная, как взмахнувшая крыльями чайка.

Девушка подняла руки над головой и, глядя на небо, где рассыпались мигающие звезды, говорила:

— В твоих руках я вижу поводья, управляющие бегом

счастливых планет. Верь в удачу всего, что будешь предпринимать, верь в свое сверкающее будущее.

Джелаль-эд-Дин вскочил и схватил Бент-Занкиджу за ее маленькие руки.

— Ты чудесная лунная пери, посланная мне судьбою. С тобою счастье меня не покинет.

— Сегодня необычайный день моей жизни! — прошептала Бент-Занкиджа.— Сегодня цветок счастья осыпал меня своими лепестками.

XVIII. ПОД БОЙ БАРАБАНОВ

Справиться с одним — это устрашить сотню.

Восточная поговорка

За ночь Перванская долина закуталась облаками тумана. Другого конца ее не было видно, но оттуда уже слышался вой, звуки труб и крики, переходящие в визг: «Кю-ур! Кю-ур! Кю-ур!» («Бей! Бей!»)

Солнце медленно поднималось из-за гор, и слабый ветер тихо унес молочно-белые клочки тумана.

В глубине долины показались монголы. Они собрались там огромной толпой. Слышались звон оружия, ржание коней. Отдельные всадники проносились по равнине, делая круги, и возвращались обратно.

Хорезмийцы уже были наготове. Они стояли тихими, безмолвными рядами, растянувшись между выступающими горными отрогами. Султан Джелаль-эд-Дин слегка перестроил боевую линию воинов, поставив впереди их сотню отборных джигитов. Он прибавил к ним около двух сот палванов[1] с тяжелыми топорами на длинных рукоятках. Сюда же явилось много лучников; у них были длинные, в рост человека, луки, а в их колчанах острые, закаленные стрелы.

Монголы зашевелились и вдруг понеслись вперед сплошной лавиной с отчаянными криками: «Кю-ур! Кю-ур!»

Опережая один другого, они скакали во весь дух, направляя главный удар на середину боевой линии хорезмийцев. Не уменьшая бега, обрушились на стоявших впереди отборных джигитов и палванов и пронеслись дальше. Все перемешалось. Стрелки и палваны делали свое дело: они

[1] Палван — силач.

дробили черепа монгольских богатырей и их коней ударами своих тяжелых топоров. Стрелы метко попадали в лица нападающих, пробивали глаза коням, отчего те, обезумев от боли, неслись в сторону, натыкаясь на своих же. Другие монгольские части налетали на боковые ряды стоящих хорезмийцев и получали от них такой же решительный отпор...

Вдруг позади монгольского отряда стал раздаваться протяжный звон бронзовых щитов, призывающий к отступлению. Услыхав это приказание, монголы все разом повернули своих коней и понеслись обратно. Но хорезмийцы, помня строгий приказ султана Джелаль-эд-Дина, не стали их преследовать.

По всему полю битвы лежало множество убитых и раненых всадников и их коней. В некоторых местах раненые монголы отчаянно кричали, стараясь выбраться из-под навалившихся на них коней.

Джелаль-эд-Дин на своем красавце вороном жеребце промчался вдоль боевой линии хорезмийского войска.

— Молодцы богатыри! Еще вам придется выдержать два-три таких удара, и мы разгромим этих мохнатых воинов и отправим их к страшному Иблису[1]. Потерпите и ждите удара в барабан!

Монголы совещались и перестраивались довольно долго. Хорезмийцы, вспоминая прошедшую битву, отмечали, что монголы нападали не в одиночку, а десятками, помогая друг другу и защищая упавших.

— Это у них хороший обычай,— говорили воины.— В этом нам следовало бы им подражать!

Солнце медленно поднималось и стало над головой. Монголы снова бросились неудержимым потоком. Их кони неслись вскачь, вздымая пыль. Всадники, засучив правый рукав и подняв кривые мечи, кричали: «Кю-ур! Кю-ур!..»

Хорезмийцы их ждали. На месте прежних палванов уже стояли новые и так же грозно и бесстрашно разбивали головы монгольским коням и их хозяевам.

После отчаянной схватки снова зазвенели монгольские бронзовые щиты и вся их ревущая и дикая толпа покатилась обратно, к другому концу долины.

Много раз повторялась резня. Солнце стало спускаться.

---

[1] Иблис — злой дух в мусульманском веровании, дьявол.

И тогда, во время кровопролитного боя, когда монголы, после звона щитов, опять повернули обратно, по знаку Джелаль-эд-Дина затрещали барабаны. Быстро и радостно хорезмийские воины вскочили на своих застоявшихся коней и бешеным вихрем понеслись догонять монголов. На своих неуставших конях они легко настигали врага и выбивали его из седел, устилая всю долину монгольскими трупами.

Монголы были не в силах сдержать неожиданный удар хорезмийцев. Они в ужасе мчались прочь с места роковой битвы и гибли десятками и сотнями.

Начальник монгольского войска Шики-Хуту-Ху наблюдал за битвой со скалы. Увидев гибель своих воинов, он думал уже только о спасении жизни и о возвращении в монгольский лагерь. Переменив в пути нескольких коней, Шики-Хуту-Ху примчался к Чингиз-хану.

Согласно монгольскому обычаю, он подполз к трону своего повелителя на четвереньках, покрывшись с головой вывернутой шубой. Плача, он рассказал о разгроме и полной гибели монгольского отряда.

Великий завоеватель остался совершенно спокоен, как всегда ничем не выказав даже своего удивления.

— Зачем ты ползаешь по земле, как черепаха, почтенный великий судья Шики-Хуту-Ху? До сих пор тебе в жизни сопутствовало счастье, и это тебя сделало беспечным и самоуверенным. Ты был оком смотрения моего и ухом слушания моего... Проигранная битва послужит тебе на пользу, научив не браться за то, чего ты не умеешь.

Шики-Хуту-Ху встал, утирая шубою слезы. Чингиз-хан посадил его рядом с собою. Он долго молчал.

Вдруг каган вскочил и издал такой дикий вопль, что все в шатре упали на землю, спрятав лица в ладони. В глазах его засветилась упрямая, жесткая воля.

— Я знаю, кто виноват в этом разгроме,— ревел Чингиз-хан низким, хриплым голосом.— Это все он, желторотый птенец, желающий сразу стать орлом! Я ему покажу мощь монгольского войска! Приказываю всем моим багадурам, нойонам, всем начальникам отрядов немедленно отозвать войска, занятые осадою городов, и собраться здесь, около моего лагеря. Я сам их поведу, чтобы поймать султана Джелаль-эд-Дина. Я захвачу его живым и сам задушу своими руками.

XIX. СМЕЛОСТЬ ПРОТИВ СИЛЫ

Чингиз-хан сказал: «Я истреблю их до потомков потомков и до последнего раба».

«Сокровенное сказание»

В шатер Чингиз-хана вошел монгольский часовой-кэбтэул[1], за ним легко шагал молодой джигит в серебристой кольчуге с небольшим копьем в руке. На острие копья белел листок пергамента.

Кэбтэул сказал:

— Я привел к тебе, повелитель, посла от шаха Хорезма, султана Джелаль-эд-Дина. На копье вдето письмо от него.

Чингиз-хан сидел неподвижно на своем золоченом троне. Он подобрал под себя ноги и перевел угрюмый взгляд на гонца.

— Какой же это может быть посол? Это девушка, и очень смелая девушка, если, переодевшись нукером, она открыто явилась в мою берлогу. Что ты мне скажешь? И почему девушки у вас стали воинами?

— Я принесла тебе письмо от моего султана Джелаль-эд-Дина... А сделалась я воином, потому что у нас, чтобы защищать родину, и девушки взялись за оружие.

Старый писарь-уйгур снял с копья листок пергамента, сперва долго его рассматривал, потом сказал:

— Это действительно письмо... От Хорезм-шаха Джелаль-эд-Дина... Письмо дерзкое и написано непочтительно.

— Читай же! — заревел Чингиз-хан.

— Вот что он пишет:

«УКАЖИ МЕСТО, ГДЕ МЫ ВСТРЕТИМСЯ ДЛЯ БИТВЫ. ТАМ Я БУДУ ТЕБЯ ЖДАТЬ».

Чингиз-хан добродушно засмеялся, так что его толстый живот запрыгал.

— Ты приехала в счастливый для тебя день. Сегодня грозный лев сыт, и я тебя отпущу обратно.

— Я только жду твоего ответа, великий каган.

— Молодой гонец, — сказал Чингиз-хан, — отправляйся к своему господину и скажи ему: «Могу ли я дозволить тебе безнаказанно обрывать украшенья моих златоцарственных поводьев. Ты, желторотый птенец, захотел встретиться в бою

---

[1] Кэбтэул — личный телохранитель; «он обязан голову рубить по самые плечи и плечи — на отвал всякому, кто попытался бы ночью проникнуть во дворец».

со старым беркутом. Плохой конец ты для себя выбрал. Я не буду назначать места встречи. Я погонюсь, точно гроза, за Джелаль-эд-Дином и разыщу его всюду — в облаках или на дне моря. Я поймаю его живым и задушу собственными руками».

— Я передам твои слова, повелитель! — сказал гонец.— Но будущее лежит в руках аллаха, и он один знает наш конец.

Чингиз-хан нахмурился и махнул рукой:

— Проводить этого гонца за пределы лагеря! И чтобы никто его не обидел!

Когда гонец вышел, Чингиз-хан вскочил и стал так бешено кричать и реветь, бросая на пол бронзовые чашки и сосуды, что все попадали на ковер и спрятали лица в ладони.

— Где Бугурджи-Нойон?

— Я здесь, непобедимый! — ответил, лежа на животе, старый, полуседой монгол.

— Встань и слушай меня. Ты пошлешь гонцов ко всем отрядам, которые рассыпались по разным городам. Пусть они немедленно съезжаются к городу Талькану. Там я объединю все мое войско и отправлюсь в погоню за этим дерзким птенцом. Он захочет скрыться от меня в Индии, но я постараюсь перехватить его на горных перевалах. Он дерзкий и думает, что только дерзкие побеждают. Но таких людей нам нужно опасаться. Из потомков такого боевого петуха могут вырасти драконы, которые пожрут моих ленивых и неспособных внуков. Поэтому мы, монголы, должны его уничтожить. Я разыщу его, вымотаю, отниму все его силы и задушу!..

Получив грозный приказ кагана, монгольские отряды стали съезжаться отовсюду, и около Талькана их собралось до семидесяти тысяч воинов.

Чингиз-хан немедленно повел их через Афганские горные проходы с такой стремительностью, что воины не имели возможности приготовить себе пищу. Все тяжелые обозы были оставлены в Талькане. Одна неотвязная мысль сжигала монгольского повелителя: нагнать Джелаль-эд-Дина, который с остатками своей гвардии спешно направлялся через афганские перевалы к Индии.

Как только Чингиз-хан ушел в горы, на его тяжелые обозы напал спустившийся через снежные хребты началь-

ник гарджистанской горной крепости Ашир-эмир Мухаммед Марагани.

Он увез с собой столько телег с золотом и другим добром Чингиз-хана, сколько мог захватить; угнал большое количество лошадей и освободил много пленных.

Потом эмир Мухаммед Марагани исчез со всем награбленным добром в трущобах Гарджистана.

Только через год Чингиз-хан послал в Гарджистан отряд, который после пятнадцатимесячной осады разгромил все крепости горцев.

Радостный и веселый примчался Джелаль-эд-Дин к шатру Амин-аль-Мулька. Подъехав к входу, он осадил коня. Из шатра неслись злобные крики, звон разбитой посуды.

— Начинается старая песня — дележ добычи! — сказал Джелаль-эд-Дин, сходя с коня, и бросил поводья джигиту.

Он вошел в шатер и увидел дикую свалку: ханы и эмиры, недавно еще сражавшиеся бок о бок против монголов, теперь готовы были растерзать друг друга. Туркменский хан упрекал двух кипчакских ханов, что они получили от монголов верблюда, нагруженного золотом и подарками, за что обещали покинуть Джелаль-эд-Дина. Кипчакский хан ударил плетью по голове Аграка, предводителя воинов кельдджа, и кричал:

— Ты обвиняешь других, а сам тоже получил дары от монгольского владыки.

После этого Музафар-Малик, предводитель афганцев, и Азим-Мелик, вождь харлуков, стали уверять, что из их объединенного войска ничего путного выйти не может, что все смотрят в разные стороны, все хотят уйти в свои земли, а также стремятся в Гарджистан, чтобы там урвать часть из захваченного золота в обозах Чингиз-хана. Некоторые ханы стали жаловаться на высокомерие и грубость кипчаков, которые держатся как господа среди других племен и постоянно их унижают и оскорбляют.

— Эти самые ханы раньше боялись монголов. Они уверяли, что монголы непохожи на обыкновенных людей, что стрелы и удары мечей не могут их поранить, а поэтому они непобедимы. Поэтому же монголы будто бы не страшатся никого на свете, и нет такой силы, которая могла бы бороться с ними и их победить. А теперь, когда мы их разбили, все увидели, что и монгольское племя так же, как и все люди, может быть ранено, истекая такой же, как у всех, кро-

вью. Теперь кипчаки переполнились хвастовством и стали оскорблять нас, бывших главными противниками монголов и разгромивших их при Перване...

Джелаль-эд-Дин стоял, сложив руки на груди, и с грустью смотрел на ссорившихся вождей.

— О чем вы спорите? — сказал он. — К чему эта вражда? Я чувствую, что тень Чингиз-хана незримо бродит здесь среди вас и подсыпает золото в ваши кошельки. Знайте, что если вы разойдетесь по своим землям, то Чингиз-хану легко будет одолеть каждого из вас в отдельности. Если же мы будем держаться дружно, вместе, как это было в битве при Перване, то станем неодолимы, и я клянусь вам, что мы разгромим этого страшного старика, освободим родину от его диких полчищ и будем свободно и спокойно жить в любимых нами землях Хорезма!

Но уговоры Джелаль-эд-Дина были напрасны, и половина войска от него ушла. С бешенством отчаяния он смотрел, как ханы садились на своих коней и уезжали, покидая лагерь. С ним остался только верный Тимур-Мелик и преданный, непоколебимый Амин-аль-Мульк. Теперь надежд на разгром Чингиз-хана уже не оставалось...

Печальный сидел он при входе в шатер и по своей привычке точил иззубренный в бою меч.

Вдруг он увидел скачущего к нему всадника. Подъехав, тот резко осадил коня — это была Бент-Занкиджа. Она соскочила с седла и стояла вытянувшись, опираясь на маленькое копье.

— Бадавлет, я привезла тебе ответ от монгольского дракона.

Джелаль-эд-Дин вскочил:

— Ты все-таки бесстрашно побывала у него?! Я никогда не забуду твоей услуги. Но как случилось, что этот хищный тигр тебя выпустил живой из своего логова?

Бент-Занкиджа рассказала о своей беседе с Чингиз-ханом, об его ответе с угрозой Джелаль-эд-Дину и о беспрепятственном выезде из монгольского лагеря. Она добавила: «Там, где славный богатырь погибает, там часто слабая женщина находит безопасную тропу».

— Эта угроза Чингиз-хана страшна, — сказал, нахмурившись, Джелаль-эд-Дин. — Кислолицый старик попусту никогда ничего не говорит и если что обещает, то сделает. Но меня сломить трудно, и я не прекращу борьбы! Из этого ответа я вижу, что сейчас нам нужно быстро сняться с этого лагеря и уходить в Афганские горы и ущелья. Ты же, мой

юный, смелый и преданный друг, впишешь интересную страницу в твоей книге, рассказав о своей беседе с «потрясателем вселенной» Чингиз-ханом... Мы пойдем к границам Индии, перевалив через Афганские хребты, и там я соберу войско, достаточно сильное, чтобы встретиться в решительной схватке с монгольским повелителем и перегрызть ему горло!

После ухода союзных отрядов Джелаль-эд-Дин уже не мог вступить с монголами в открытый бой, как хотел раньше,— его войско уменьшилось в два раза. Поэтому он спешно отправился на юг.

Его задержала быстрая и многоводная река Синд, стесненная горами. Султан искал лодок и плотов, чтобы переправить войско, но стремительные волны разбивали все суда о высокий скалистый берег.

Наконец привели одно судно, и Джелаль-эд-Дин пытался посадить в него свою мать Ай-Джиджек и других спутниц. Но и это судно развалилось от ударов волн о скалу, и женщины остались на берегу вместе с войском.

Вдруг примчался гонец с криком:

— Монголы совсем близко!

А ночь в это время все затянула своим покрывалом.

Чингиз-хан, узнав, что Джелаль-эд-Дин ищет переправы через Синд, решил его захватить. Он вел войско всю ночь и на заре увидел противника.

Монголы стали приближаться к войскам султана с трех сторон. Они остановились несколькими полукругами, а река Синд была как бы тетивой лука.

Чингиз-хан послал Упер-Гулиджу и Гугуз-Гулиджу с их отрядами оттеснить султана от берега, а своему войску дал приказ:

— Не поражайте султана стрелами, повелеваю схватить его живым и притащить ко мне на аркане.

Джелаль-эд-Дин находился в середине мусульманского войска, окруженный семьюстами отчаянными всадниками. Заметив на холме Чингиз-хана, который оттуда распоряжался боем, султан со своими джигитами бросился в атаку с такой яростью, что погнал монголов, даже сам монгольский владыка обратился в бегство и помчался, нахлестывая плетью коня.

Казалось, что победа могла перейти в руки Джелаль-эд-

Дина, но дальновидный и осторожный Чингиз-хан перед битвой спрятал в засаде большой отряд отборных воинов. Они вылетели сбоку и напали на Джелаль-эд-Дина. Отбросив его, они понеслись на правое крыло, которым начальствовал Амин-аль-Мульк. Монголы смяли его ряды, оттеснили в середину войска, где все воины перемешались и стали отступать.

Затем монголы разбили также и левое крыло. Джелаль-эд-Дин продолжал биться вместе со своими преданными джигитами до полудня и, потеряв обычное спокойствие, бросался как затравленный зверь то на левое, то на правое крыло.

Монголы помнили приказ кагана: «Не пускать в султана стрел», и кольцо вокруг Джелаль-эд-Дина все сжималось. Он бился бешено, стараясь прорваться сквозь ряды врагов.

Поняв, что положение стало безнадежным, султан сбросил шлем, кольчугу и другие воинские доспехи и оставил себе только алмазный меч. Он вскочил на любимого туркменского коня, направил его к реке и с ним кинулся с высокой скалы в темные волны бурного Синда.

Переплыв реку и взобравшись на крутой берег, Джелаль-эд-Дин погрозил оттуда мечом Чингиз-хану и ускакал, скрывшись в береговых зарослях.

Чингиз-хан от чрезмерного удивления положил палец на рот, показал на Джелаль-эд-Дина сыновьям и сказал:

— Вот каким у отца должен быть сын!

Монголы, увидев, что султан бросился в реку, хотели вплавь пуститься за ним в погоню, но Чингиз-хан запретил. Половина войск Джелаль-эд-Дина тоже бросилась в реку, значительная часть переплыла на другую сторону, остальные нашли свою смерть в бурных волнах. Все, кто спасся, направились к границам Индии, где Джелаль-эд-Дин обещал снова собрать войско, чтобы продолжать борьбу с ненавистными врагами родины.

Монголы перебили всех оставшихся на месте сраженья. Воины султана успели бросить в реку его жену, мать и других женщин, чтобы те не достались врагам.

Остался в живых только семилетний сын Джелаль-эд-Дина, захваченный монголами. Они поставили его перед Чингиз-ханом. Мальчик, повернувшись боком к кагану, косился на него смелым, ненавидящим глазом.

— Род наших врагов надо вырывать с корнем! — сказал Чингиз-хан.— Потомство таких смелых хорезмийцев

вырежет моих внуков. Поэтому сердцем мальчишки накормите мою борзую собаку!

Палач-монгол, улыбаясь до ушей от гордости, что он может перед великим каганом показать свое искусство, засучил рукава и подошел к мальчику. Опрокинув его на спину, он в одно мгновение, по монгольскому обычаю, вспорол ножом грудь. Засунув руку под ребра, он вырвал маленькое еще, бьющееся сердце и поднес его Чингиз-хану.

Тот несколько раз, как старый боров, прокряхтел:

— Кху! Кху-кху!

Повернув саврасого коня и сгорбившись, Чингиз-хан, угрюмый, двинулся дальше, вверх по каменистой тропинке.

XX. СНОВА ЗАПЫЛАЛ КОСТЕР БОРЬБЫ

> Хвала же тому, кого не уничтожают превратности времени и не поражают никакие перемены, кого не отвлекает одно дело от другого и кто одинок по совершенству своих качеств.
>
> *Заххыр*

Стоя на береговых камнях реки Инда, Бент-Запкиджа колебалась недолго. Она держала за повод коня. Он тянулся к воде, громко фыркая, и вздрагивал, когда темные волны быстро проносились мимо, обдавая его пеной.

Что же делать? Пробраться правым берегом, через заросли, поискать переправы? Или смело броситься в реку? Хватит ли у нее сил, чтобы переплыть бурные, стремительные потоки?

Она оглянулась. На горном хребте показалось несколько монголов. Они начали спускаться по крутому скату. Будь что будет! Впереди — надежды и Джелаль-эд-Дин. Она найдет спасение... Позади — позор, рабство и смерть.

Чего бояться? Она увидела, как плывут через реку несколько хорезмийцев, как, держась за гривы коней, они упорно борются с течением, окунаются с головой в воду, но все же постепенно приближаются к другому берегу. Вот один уже вышел из воды... За ним другой... Они оглянулись, что-то закричали ей и пошли берегом вниз по течению.

Колебаться больше нельзя. Она проверила свою сумку. Книга об Искандере вложена в бычачий пузырь и тщательно завязана. Вторая — тоже. Вода им не повредит... Долой кольчугу! С ней утонешь в реке. Щит и меч тоже полетели в

воду. Остался только индийский кинжал за поясом. Через два-три шага уже начиналась глубина. Уцепившись за гриву коня, Бент-Занкиджа вместе с ним погрузилась в воду.

Долго пришлось ей бороться с могучими волнами реки. Течение уносило ее вниз. Постепенно она стала замечать, что противоположный берег приближается. Не раз, казалось, силы ее оставляли, но, настойчивая, она снова упорно загребала рукой и била ногами по воде. Конь, казалось, слился с ней в одном порыве, из воды были видны только его торчащие уши и фыркающие ноздри. Но он сильно загребал ногами. Оба боролись за свою жизнь, и наконец конь вынес девушку на берег. Там сидели на камнях несколько хорезмийцев, отжимая из одежды воду. Криками они поощряли Бент-Занкиджу. Двое бросились к ней и подхватили на руки, когда она уже теряла сознание.

Она очнулась, лежа на холме, на зеленой лужайке. Кругом сидели воины, босые, почти без одежды. Все смеялись, счастливые, что синее небо снова раскинулось над ними и что где-то далеко позади, за горами, остался кислолицый, страшный старик.

Невдалеке стоял молодой пастух-чабан в белом шерстяном плаще и что-то кричал, размахивая руками и указывая на юг.

Из зарослей выехал на неоседланном коне величественный, как всегда, хотя и полуодетый, старый Тимур-Мелик. Он объезжал лежавших — некоторые были совсем без сил, — и всех он уговаривал вставать и двигаться дальше.

— Идем к крепости Джебаль-эль-Джуди. Там нас ждет индийский царь Рана-Чатра. Он собирает войско против монголов. Там же нас ждет стадо жирных баранов и султан Джелаль-эд-Дин. А вы хорошо знаете: где Джелаль-эд-Дин, там уже мы не пропадем!

Все стали подниматься и поплелись тропой, проложенной среди высоких зарослей, ведя за собой усталых коней. Раза два слышалось глухое рычание тигра. Шакалы неистово завывали со всех сторон.

Вскоре наступила ночь и все затянула густой паутиной. Багровая луна стала медленно подниматься из-за деревьев, и в ее неверном свете шагавшие полуодетые, изможденные воины казались выходцами из могилы.

Под утро впереди засветились яркие костры. Это были остатки хорезмийского войска, с радостью приветствовавшие своих друзей и товарищей по оружию.

На одном из костров Джелаль-эд-Дин поджаривал на

углях молодого барашка. Возле костра стоял часовым с копьем в руке суровый Кара-Кончар, неизменный спутник султана. Невдалеке к деревьям были привязаны их кони.

Джелаль-эд-Дин, хмурый и задумчивый после гибели своей семьи, все же всех подходивших встречал шутками:

— Что повесили носы? Самое главное — мы живы, руки и голова целы. Мы снова всего добьемся. У тебя, я вижу, нет сапог? Клянусь, завтра я сдеру их с надменного индийского царя Рана-Чатры и подарю тебе. Только сейчас не падай в колодец отчаяния и расправляй крылья мужества!

Султан обратился к другому джигиту, сидевшему поблизости:

— Эй, Курбан, спой песню! Развесели наши сердца!

Молодой джигит запел:

Полон стрел мой колчан.
Я не пил, я не пьян!
Мне, джигиту, напиться бы всласть!

Все окружающие подхватили любимую песню джигитов:

Ведь на то и война,
Чтобы чашу вина
Опрокинуть и замертво пасть!

Запевала продолжал:

Серце полно любви.
Где же губы твои,
Черных глаз прежняя власть?

Джигиты снова хором подхватили:

Ведь на то и война,
Чтобы выпить до дна
Поцелуи — и замертво пасть.

Постепенно лагерь затихал. Джигиты, растянувшись на земле, с тревогой думали о том, что готовит им наступающий день.

Вдруг неожиданно в стороне зазвучала новая песня. Сильный, красивый женский голос пел:

Лети, моя песня, быстрей ветерка
В тот край, где на скалах лежат облака,
Где бродят в ущельях и мгла и туман,
И хищные птицы, и легкий джейран.

Лети, моя песня, не зная преград,
Туда, где на солнце шумит водопад,

Где смелый охотник добычу несет,
Торопится к милой и песню поет.

Сидевший у костра Кара-Кончар вздрогнул и вскочил.

— Этот голос! Эта песня! Как она попала сюда? Ведь ее захватили монголы и поместили в гарем Чингиз-хана. Сейчас я ей пошлю ответ.

И Кара-Кончар запел:

Лети, моя песня, в тот радостный край,
Что сердцу дороже и ближе, чем рай!
Туда, где под солнцем, не зная тревог,
Цветет, распускаясь, душистый цветок.

Глаза что агаты, и рот ее ал,
И голос так нежен моей Гюль-Джамал!
Ей смелый охотник добычу несет,
Торопится к милой и песню поет...

Песня оборвалась. Кара-Кончар, схватив копье, сказал:

— Я сейчас разыщу наших девушек.

Джигиты закричали:

— Приведи их всех сюда!

Кара-Кончар быстро пробирался через густые заросли и наконец вышел на поляну. Там на ковре сидела молодая женщина в золотистом полосатом платье. Возле нее расположилось еще несколько нарядно одетых девушек в ожерельях и браслетах. В стороне стояли вьючные кони.

Одна из девушек вскочила и бросилась к Кара-Кончару:

— Как я счастлива, что судьба снова скрестила наши дороги! Я спаслась только чудом. Мы — часть гарема и хор певиц Чингиз-хана. Мы находились в Тулькане при его тяжелом обозе, и нас сторожили суровые часовые. Внезапно на обоз напали горцы из Барджистана. Перебили стражу и выпустили на волю всех пленных. Я тоже, как другие, взяла из обоза часть золота. Теперь я богата, я могу тебя, Кара-Кончар, одеть в новые одежды.

Кара-Кончар рассказал о битве при Синде и о том, что все оставшиеся при Джелаль-эд-Дине испытывают муки бедствий.

— Мое золото я дарю вам! Покупайте баранов, кормитесь! А мне ничего не надо, кроме одного: чтобы с тобой идти дальше по длинным дорогам нашей скитальческой жизни.

— Пойдем к султану Джелаль-эд-Дину. Он здесь и со-

бирает новое войско. А наши джигиты просят, чтобы все девушки пришли к ним.

Гюль-Джамал и ее спутницы отправились к костру султана. Джигиты встретили их песней:

Товарищи-друзья, боевой народ!
Дайте дорогу — красавицы идут.
Знатная пора для нас настает!
Дайте дорогу — красавицы идут!
Здравствуйте, здравствуйте,
Милые мои!
Лицом вы как розы,
Станом — муравьи.

Прибывшие рассказали о своих переживаниях в лагере Чингиз-хана и о неожиданном спасении.

Джелаль-эд-Дин всех их усадил в круг джигитов и сказал:

— Счастье нас не оставляет, а само к нам приходит. Будущие победы от нас не ускользнут и принесут нам славу.

XXI. ПЕРВАЯ БИТВА С ИНДУСАМИ

И лучезарный юноша сражался на пути аллаха и оберегал честь рода своей славой.

Из древней сказки

Все утро Джелаль-эд-Дин был занят приведением в порядок своего разноязычного войска. Он призвал всех вождей отдельных племен и устроил совещание:

— Чем меньше наше войско, тем больше в нем должно быть железного порядка и решимости. Сейчас это стадо быков, пускай породистых, но все же несколько волков легко смогут его разогнать. Поделите всех джигитов на десятки, в каждом должен быть назначен он-баши (десятник). Десять десятков должны выбрать себе юз-баши (сотника). Я буду давать распоряжения только через сотников. Пусть все воины выстроятся в одну линию перед городом. Мне нужно из них выбрать лучших и затем создать ударное ядро. Остальных разделить на правое и левое крыло. С этим надо очень торопиться. Индийский царь Рана-Чатра идет сюда, нам навстречу, и, вероятно, захочет разгромить, пока наши воины измождены и устали.

В это время произошло событие, которое надолго осталось загадкой. Вдруг из зарослей вылетела стрела. Она

скользнула, коснувшись черных волос Джелаль-эд-Дина, пролетела дальше и ранила одного из сидевших на траве воинов. Если бы стрела пролетела на палец ниже, султан был бы убит.

Кара-Кончар и несколько джигитов бросились в заросли, но там никого не оказалось. Они нашли только брошенный лук и саадак с закаленными боевыми стрелами.

Долго обсуждали потом: кто мог покушаться на бадавлета? Монгольский лазутчик? Или убийца, подосланный индийским царем, не желающим, чтобы Джелаль-эд-Дин проник в его владения?

— А нет ли здесь старого заговора царицы Туркан-Хатун и ее кипчакских ханов или завистливых сыновей Хорезмшаха, озлобленных тем, что они обязаны будут ему подчиняться как законному носителю власти?

Джелаль-эд-Дин сказал спокойно:

— Беда нам грозит отовсюду, но неизвестно, откуда обрушится небесный гром. Будем думать только о той опасности, которая сейчас перед нашими глазами — об индийском войске Рана-Чатра.

Войско Джелаль-эд-Дина растянулось прямым строем на равнине близ города Джебаль-эль-Джуди. Самая середина его выдвигалась вперед углом. Здесь были поставлены лучшие меченосцы, копейщики и стрелки. Джелаль-эд-Дин выбрал из всех своих джигитов около двухсот всадников. Они ждали знака, готовые броситься всюду, куда их пошлет султан. Индийское войско находилось на другом конце долины.

— У индийцев семь тысяч воинов,— сказал Джелаль-эд-Дину подъехавший сотник.

— Тем лучше.

— Но у них у всех отличное оружие.

— Тем прекраснее! Завтра все это оружие будет в наших руках.

Большая часть индийского войска, закованная в нарядные доспехи, сверкала на солнце. Бронзовые украшения на шлемах, медные крылья — чтобы воины казались страшнее. Музыканты неистово дули в трубы, гремели на барабанах и ударяли в медные тарелки.

Джелаль-эд-Дин отдал последний приказ:

— Я брошусь в самую середину вражеского войска, что-

бы разделаться с царем Рана-Чатрой. Со мной будут лучшие воины. Мы расколем строй индусов, а вы все броситесь в прорыв, тесните и уничтожайте правое и левое крыло.

— Но что мы, беспомощные, можем сделать? У нас же нет оружия? — говорили воины.

— Для того мы и бросимся на индийцев, чтобы это оружие получить.

Сражение развернулось с необычайной быстротой. Джелаль-эд-Дин понесся на врага как птица. Из найденного в зарослях лука он выстрелил в царя Рана-Чатру, пробил ему глаз и свалил с коня. Затем он отчаянно бился с индийцами, поражая мечом вражеских всадников. Рядом с ним, как духи смерти, бились Тимур-Мелик и Кара-Кончар.

Индийцы держались очень недолго. Увидев гибель своего царя, они обратились в повальное бегство, бросая оружие. Хорезмийские воины гнались за ними, перехватывали хороших коней, собирая мечи, копья и луки.

Это сражение при Джебаль-эль-Джуди дало возможность всем воинам Джелаль-эд-Дина получить хорошие одежды, вооружение и коней.

Из Джебаль-эль-Джуди вышли знатнейшие жители с подарками, приглашая в город на празднество, где всем воинам заготовлено угощение.

Джелаль-эд-Дин захватил роскошный шатер индийского царя. Он лежал возле него на подушках и беседовал с Бент-Занкиджой, которая вписывала новую славную страницу в книгу походов султана.

— Ты видишь, мой юный друг, как все в жизни зависит от нашей воли и решимости. Если бы я не бросился в это сражение, мы были бы обречены на самую плачевную гибель. Но имеются еще тайные силы, которые могут нас погубить и поворачивают судьбу в нежелательную для нас сторону: рука доброго Хызра на один палец отклонила стрелу, пущенную моим врагом, владельцем этого лука... Не случись этого, сегодня тебе пришлось бы написать последнюю страницу твоей книги.

— Но кто был загадочный убийца?

— Это раскроет время. Если он твердо решил меня погубить, то скоро опять появится на моем пути. Это не отвлечет меня от намеченной цели, и я буду продолжать борьбу.

XXII. АЛЕМ-ГИР[1] И ЦАРЬ ИНДУСОВ ИТУЛЬМЫШ

Три лазутчика прибежали один за другим. Все с ужасом, задыхаясь, говорили:

— Бадавлет, что мы будем делать?.. Идет несметное войско... Сто тысяч воинов... Нам конец!.. Надо бежать отсюда как можно скорее.

— Ну и беги! — сказал Джелаль-эд-Дин. — А я остаюсь и нападу на это войско. Эй, джигиты! Скорее созовите всех сотников!

Начальники сотен прибежали немедленно. Уже до них дошел слух, что индусы собрали огромное войско. Все уселись кругом на земле и с волнением смотрели на Джелаль-эд-Дина, ожидая, какой выход он предложит.

— Нам предстоит отчаянная битва. Но даже гибель в борьбе за победу лучше, чем сохраненная жизнь жалкого труса. Во время бегства все наши джигиты разбредутся и потеряют мужество и братское единство. Сейчас мы повторим бой, который имели с царем Рана-Чатрой.

— Но тогда наши силы были равны, — сказал один сотник.

— А теперь мы сильнее, — ответил Джелаль-эд-Дин. — Какие воины собраны против нас? Это носильщики вьюков, погонщики мулов, крестьяне — все думают только об одном, чтобы вернуться домой, в свою хижину. Им нет никакого дела до нас, и они не захотят терять голову в битве с нами. Опасен только отборный отряд телохранителей Итульмыша, который его окружает. Но мы набросимся на него и рассечем, как нож рассекает тесто, приготовленное для лапши... Чтобы разгромить любое войско, надо поразить его сердце или его голову. Здесь голова — царь Итульмыш, и мой алмазный меч отрубит ее. А вы постарайтесь разделить вражеское войско на две части.

Вскоре показались индусы. Они шли широким, чрезвычайно растянутым боевым порядком, точно желая охватить кольцом войско Джелаль-эд-Дина. Посредине развернутого строя возвышались могучие боевые слоны, одетые в кожаные панцири, убранные цветными тканями. Погонщики слонов сидели у них на шее и железными крюками ударяли их по черепу, стараясь раздразнить.

На самом высоком цейлонском слоне, под малиновым балдахином, разукрашенным золотой парчой, сидел царь

[1] Алем-гир — берущий, захватывающий мир.

Итульмыш. Все время он поворачивался в разные стороны и, размахивая руками, подавал знаки своему войску. Конница была в очень нарядном вооружении, в медных латах. Коней покрывали парчовые и бархатные чепраки.

Увидев войско Джелаль-эд-Дина, индусы остановились. Музыканты на обоих концах строя стали извлекать дикие звуки из своих длинных труб, колотили в барабаны и медные тарелки, слоны трубили, подняв к небу хоботы, а воины запевали боевые песни.

Джелаль-эд-Дин переоделся в одежды убитого царя Рана-Чатры. На голове его сверкал серебряный шлем с двумя белыми крыльями цапли. Стальная кольчуга была украшена серебряными цветами и золотыми звездами. Он сидел на коне Рана-Чатры, выделявшемся своей могучей красотой и нарядной сбруей, убранной драгоценными камнями, и был похож на древнего сказочного богатыря.

Впереди царя Итульмыша гарцевали две сотни отборных всадников на выхоленных конях. Они должны были ограждать его от внезапного нападения.

Крикнув: «Вперед, за мной, непобедимые!» — Джелаль-эд-Дин, как сверкающая молния, помчался на середину индусского войска во главе своего отборного отряда. Он бешено нападал на встречных всадников, крутясь, как раненый зверь. Возле него, как всегда, бились Кара-Кончар и Тимур-Мелик, показывая чудеса ловкости: одним ударом меча они рассекали встречного всадника через плечо до пояса.

Увидев, что Джелаль-эд-Дин мчится прямо на него, отбрасывая по пути всех встречных, Итульмыш поспешно соскользнул со слона и, пересев на коня, помчался в тыл.

Его слон, задравши хобот, бешено трубил. Прискакавший Джелаль-эд-Дин пустил стрелу в горло слона. Тот в ярости поднялся на задние ноги, стал кружиться на месте и, сбросив погонщиков, неуклюжими скачками понесся вдоль боевого строя.

Все индусское войско, не видя больше на слоне своего повелителя, управлявшего боем, пришло в замешательство, решив, что он убит, и боевой порядок сломался.

В это время войско Джелаль-эд-Дина врезалось в середину индусов, в отчаянной схватке раскололо его на две части, и враги стали поспешно отступать, не успев даже пустить в дело своих боевых слонов, которые беспорядочно бегали между сражающимися.

Джелаль-эд-Дин не преследовал неприятеля. Он остался

со своими воинами на месте боя, поднялся на холм и оттуда продолжал наблюдать за действиями индусов.

Царь Итульмыш, увидев, какого решительного и грозного противника он приобрел в лице Джелаль-эд-Дина, стал совещаться со своими приближенными. Все советовали ему немедленно заключить мир.

Посольство с большим знаменем, расшитым золотом, выехало к Джелаль-эд-Дину. Во главе его был великий визирь, красивый седой старик в пышной парчовой одежде. Приблизившись, он в знак почета сошел с коня и сказал:

— Наш пресветлый повелитель царь Итульмыш восхищен твоей храбростью, алем-гир (захватывающий мир), и приглашает тебя быть его гостем. Прекрати враждебные военные действия и...— Тут визирь заговорил шепотом: — Он готов, бисмилля! (во имя божье!) принять тебя как сына и предлагает в жены свою красавицу дочь...

Визирь указал на группу всадников, отделившуюся от войска:

— Вот сам царь направляется к тебе.

Джелаль-эд-Дин подождал, пока Итульмыш подъехал, тогда он сошел с коня и его приветствовал:

— Хазрет! Салям тебе, султан Дели и шах-джехан всей Индии!

Войско Джелаль-эд-Дина расположилось лагерем тут же, на поле битвы. Прибыли повозки, привезли котлы, мясные туши и кувшины с вином.

Однако, несмотря на примирение, положение Джелаль-эд-Дина становилось все более непрочным и опасным. Индийские князья, внешне оказывая гостеприимство, готовили против него заговор, выжидая только удобного случая для уничтожения хорезмийцев.

XXIII. СКИТАНИЯ В ПОИСКАХ ЕДИНСТВА

В течение нескольких лет Джелаль-эд-Дин вместе со своими войсками скитался по различным государствам Азии и с боями, пройдя по Северной Индии, ушел на запад. Он убеждал всех государей заключить дружеский союз, объединить войска, чтобы создать большую воинскую силу, которая могла бы не только противостоять монголам, но и выгнать их навсегда из Хорезма и других близлежащих земель.

Но все его попытки объединить эти государства не до-

стигали цели. Начиная с его брата Гияс-эд-Дина все вожди тюркских племен и государств были заняты мелкими пограничными ссорами, враждовали и не хотели поставить перед собой высокую цель объединения.

Тогда Джелаль-эд-Дин направился еще дальше на запад, в земли багдадского халифа Мустансира. Когда он не смог его уговорить стать во главе мусульман для борьбы с монголами, он разгромил его войско и затем прошел в Азербайджан и Арран.

Наконец султан попал в Грузию, где местные феодалы тоже отказались объединиться с ним для общей борьбы с Чингиз-ханом. Здесь ему пришлось неожиданно повернуть обратно и направить свое войско на восток, чтобы напасть на полчища монголов, ворвавшихся в Азербайджан, откуда он быстро их отогнал.

Но главная цель — объединение правоверных войск — все-таки не была достигнута. Хотя султан и разбил вторгнувшийся большой монгольский отряд и тот бежал на восток, все же властители разных государств должны были призадуматься и понять, что мелкая вражда принесет им гибель, что нужно объединиться под управлением сильной руки и что такая сильная рука имеется только у Джелаль-эд-Дина.

Три могущественных властителя, в их числе багдадский халиф Мустансир, прислали особые посольства к Джелаль-эд-Дину с просьбой стать во главе объединенных сил и создать прочный военный союз.

Джелаль-эд-Дин находился в это время в Азербайджане, где отдыхал, приводил в порядок войско и выжидал событий перед новым походом, так как монголы, разгневанные и ожесточенные за свое поражение, снова явились с войском в тридцать тысяч всадников и стали разыскивать своего главного противника Джелаль-эд-Дина.

Мусульманское посольство состояло из трех великих визирей, присланных тремя властителями. Они прибыли с подарками и караваном съестных припасов, подносимых Джелаль-эд-Дину. Султан в это время находился в азербайджанских горах, а его войско расположилось в ближайших селениях и долинах.

Джелаль-эд-Дин принял посольство в своем индийском желтом шелковом шатре, расшитом изображениями черных индийских богов и золотых цветов.

Все три визиря были с остроконечными белыми бородами, в шелковых полосатых одеждах. Они говорили медовые речи, предлагали заключить прочный союз, который внесет

порядок, прекратит постоянные междоусобные войны и явится толчком для создания силы, способной энергично отразить новое нападение монголов.

— Конечно, я вам помогу,— ответил Джелаль-эд-Дин.— Но вы должны быть твердыми и верными данному слову и не заключать за моей спиной тайных соглашений с врагами, в первую очередь с бесчестными и жестокими монголами... Вы особенно рады отправлять посольства к лживым и коварным монголам в надежде, что они вас пожалеют и пощадят... а они вас изрубят и обратят в пепел.

Беседа с визирями происходила на склоне горного перевала. Там они пробыли три дня и уехали.

Однако Джелаль-эд-Дин плохо верил обещаниям стариков, и мрачное настроение его не рассеивалось.

В это время прибыл один человек, вызвавший общее удивление. С ним были три коня, нагруженных корзинами и переметными сумами. Всех поразило его лицо, покрытое болячками и шрамами. Один глаз вытек.

— Кто ты и зачем приехал? — спросил Тимур-Мелик.

— Я купец, Нуреддин-Фаркат. Езжу с мелкими товарами, которые любят женщины: иголками, наперстками, кольцами, ожерельями, лентами, зеркальцами, красками и сурьмой, а также китайскими шелками и одеждой.

— Но мы не женщины,— заметил Джелаль-эд-Дин.

— У меня имеются и товары, пригодные также и для воинов: шелковые рубашки, пояса, кошельки, кинжалы и прочие мелочи... А тебе, Хорезм-шах, я хочу предложить индийскую шелковую рубашку, достойную царей, с прекрасным рисунком и жемчужными пуговицами, которая принесет тебе счастье.

Продавец достал из корзины и развернул рубашку рубинового цвета, искусно расшитую золотистыми цветами.

— Не бери этой рубашки! — закричала Бент-Занкиджа.— Я читала в лечебных книгах, что такой рубиновый шелк изготовляется в Индии колдунами. Они его пропитывают кровью дракона. Если такую рубашку наденет человек, то все его тело покроется нарывами и он погибнет в страшных мучениях.

— Ты лжешь! — воскликнул взбешенный продавец.— Это царская рубашка! Такие носят только высокие по рождению ханы и эмиры.

— Меня беспокоит еще одна догадка,— сказала Бент-Занкиджа.— Я вижу у тебя за поясом кипчакский кинжал. Точно такой кинжал с ручкой из слоновой кости носил лю-

бимец кипчакской царицы Туркан-Хатун... Как эта вещь оказалась у тебя?

Тимур-Мелик, который давно пристально всматривался в торговца, вдруг сказал:

— Я узнаю тебя, хотя теперь твое лицо изуродовано. Конечно, ты бывший гулям, а потом великий визирь царицы Туркан-Хатун — Мухаммед Бен-Салих. Может быть, ты расскажешь нам, к каким джиннам ты попал в лапы, что они тебя так разукрасили и откусили ухо.

Торговец поспешно сунул рубашку в корзину на спине лошади. Он повернулся и смело стоял перед Джелаль-эд-Дином, злобно сверкая своим единственным глазом.

— Да, это верно. Я действительно бывший гулям Бен-Салих. Я удивлен, что вы меня узнали. Монголы схватили меня и бросили головой в костер. Тогда я получил ожоги лица и потерял глаз. С трудом мне удалось залечить раны. Одним глазом я вижу людей насквозь, как многие из вас не видят и двумя... Мою госпожу Туркан-Хатун монголы увели с собой, и она теперь поет песни «потрясателю вселенной», увеселяя его за обедом. Такова судьба человека — она всегда в руках аллаха, и никто не может знать вперед, опустится ли ему на плечо птица счастья или саранча беды!

— Тебя ожидает удар кинжалом,— сурово сказал Тимур-Мелик.— Путь предательства тебе давно знаком.

Кара-Кончар, положив руку на меч, приблизился к торговцу.

— На твоих руках кровь невинных: не ты ли по приказу злобной царицы утопил в реке двадцать восемь детей хорезмских ханов, которые воспитывались во дворце Туркан-Хатун?

Один из воинов воскликнул:

— Тогда погиб мой маленький брат! Ты его убийца! Я сам задушу тебя! — И он бросился к торговцу, но его задержал Тимур-Мелик:

— К чему нам пачкать светлые мечи его грязной кровью? Сбросим его с горы.— Тимур-Мелик выхватил меч, занес его над головой Бен-Салиха и угрожающе сказал: — Прыгай сейчас в пропасть, и пусть тебя спасает твой покровитель, злобный Иблис!

Бен-Салих подошел к краю обрыва, взглянул вниз и прыгнул. Но, видно, его час еще не настал. На склоне обрыва он вцепился в фисташковое дерево, и оно его задержало. Там же чернела расщелина. Бен-Салих встал на ноги и крикнул:

— Я не забываю и не прощаю ничего! Я вам отомщу!.. И более всех пострадает султан Джелаль-эд-Дин. Берегись меня!.. — И Бен-Салих скрылся в расщелине скалы.

Несмотря на окружающие со всех сторон опасности, на монгольские отряды, замеченные на горных тропах в поисках Джелаль-эд-Дина, он был так же весел, как всегда. Потребовав себе кувшин с рубиновым вином и усевшись в кругу нескольких лиц, он заговорил о вечности, о любви, о будущей судьбе народов, о высших задачах, предназначенных человеку.

— Что ж я не слышу песен? — сказал султан.

— Разве можно петь сейчас, когда голос певца могут услышать наши враги?

— Бент-Занкиджа, спой мою любимую песню!

Девушка тихо сидела в общем кругу позади Мухаммеда Несави.

— Хорошо, бадавлет, я спою, только вполголоса. Мне так страшно, что опять подберутся враги.

И в тихом вечернем воздухе полились мелодичные звуки песни:

Улетает джигит...
Пусть аллах сохранит
Моего молодого орла
От чужого копья,
От паденья коня,
От скользнувшего набок седла.
Мой джигит молодой,
Лучше дома со мной
Будем милых лелеять детей!
Молодой мой джигит,
Если ты не убит,
Возвращайся ко мне поскорей!

Джелаль-эд-Дин, сжав себе руками голову, отвернулся в сторону и долго сидел, глубоко задумавшись. О чем он думал? О том ли, что променял спокойствие и счастье семейной жизни на бесконечные боевые скитания? Что для него радость иметь детей уже почти потеряна, а впереди предстоят новые тревоги и смертельные опасности? О том, что потрачено так много сил и так мало еще сделано?..

Сидевший рядом Тимур-Мелик положил руку на плечо Джелаль-эд-Дину и сказал:

— Незачем горевать, незачем думать о смерти, когда мы здоровы, полны сил и наверное еще увидим счастливые дни удачи...

Составитель книги о жизни и походах Джелаль-эд-Дина — Мухаммед Несави, желая отвлечь султана от мрачных мыслей, обратился к нему с такими словами:

— Я уже видел много твоих подвигов... Я слышал твои речи к воинам, твои боевые приказы, и я бы хотел узнать еще кое-что, если только ты не обидишься и дашь искренний ответ.

— Говори, мой дорогой друг. Я на все отвечу тебе с открытой душой.

— Ты видишь, султан, что сейчас черное крыло смерти часто веет над всеми нами. Мы не знаем, проживем ли мы много лет или этот день для нас последний? А между тем жизнь течет, дети подрастают, старики торопятся узнать все о борьбе последних лет против монголов... Теперь — прости, если я буду очень резок,— я прошу тебя, чтобы ты говорил со мной, как будто писал свое завещание. Я бы хотел запечатлеть в моей книге для нашего подрастающего поколения твои заветные мечты и пожелания, в надежде, что они будут выполнены. Эти твои слова сохранятся вечно, и никакие монгольские зверства и преследования не смогут их вытравить из памяти народа.

Джелаль-эд-Дин подумал и ответил:

— Я бы мог сказать много, очень много. Но чем больше я буду говорить, тем скорее все будет перезабыто... И я вспоминаю такой случай. Несколько лет назад, в бурю, я нашел приют в бедной юрте-шалаше пастуха в степном кочевье. Он перед этим откопал в земле древний кумган, очень тяжелый, и просил меня этот кумган вскрыть. Я сумел это сделать. Внутри, в кумгане, лежала записка — завещание знаменитого в народных сказаниях Хана Баяндера своим детям и внукам. Это завещание я переписал и всегда ношу с собой. Вот что написано в этом свитке...— И он вынул из серебряной коробочки на своем поясе свернутый листок.— «Оставляю завещание моим внукам и правнукам. Им я не передаю золота и богатства. Я хочу, чтобы они сами, своими руками, своим трудом, поставили себе юрту благоденствия и радости. К вам я обращаюсь, мои потомки великого племени. Храните пять драгоценностей, которые всегда создадут вам славу, безопасность, довольство и сделают непобедимыми. Эти драгоценности: мужество, трудолюбие, верность данному слову, уважение к женщине и почитание и прославление аллаха единого, покоряющего и милосердного.

Хан Баяндер».

В это время по тропинкам с двух сторон стремительно примчались два джигита. Задыхаясь, они торопливо говорили:

— Бадавлет! Сюда направляются три монгольских отряда. Они, конечно, разыскивают тебя. Ты должен немедленно уходить отсюда и временно укрыться в горных трущобах. А всему нашему отряду, вероятно, придется мечами проложить себе дорогу в леса Азербайджана.

— Этот переход будет особенно опасен,— сказал Джелаль-эд-Дин,— здесь монголы попытаются наконец захватить меня в свои лапы.

— Разреши нам следовать с тобою! — воскликнули Несави и Бент-Занкиджа.— Мы не покинем тебя, даже если бы нам грозила гибель.

Джелаль-эд-Дин встал, расспросил, где показались монголы, поручил Тимур-Мелику начальствование над оставшимися воинами, приказал следовать за собою Кара-Кончару, Несави и Бент-Занкидже и еще нескольким джигитам. Обняв друзей, он пожелал им счастья, сел на коня и быстро направился к северу через горный перевал.

XXIV. ГНЕЗДО БЕРКУТА

Гроза бушевала над скалистыми хребтами Курдских гор. Казалось, злые духи слетались со всех концов вселенной и бились в небесах, нагромождая серые, дымчатые тучи над глубокими ущельями, и обрушивались потоками ливня, который водопадами стекал по диким кручам, смывая искривленные стволы арчи и фисташек, швыряя камни, летевшие в пропасти бешеными прыжками.

Группа всадников упорно пробиралась горной тропинкой, проложенной вдоль хребта высоко над обрывом. Видно, важная причина гнала их по крутизнам, где отовсюду грозили обвалы и гибель, так как размытая почва не давала возможности коню поставить прочно копыто на скользкой тропинке. Иногда всадники, спешившись, осторожно шли под косым ливнем, прижимаясь к скале, ведя за собой усталых, намокших коней.

Среди шедших впереди, вслед за старым проводником в высокой барашковой шапке, выделялся один, в стальном шлеме, закутанный в короткий синий с желтой каймою плащ. Он вел под уздцы дивного вороного жеребца, который, изгибая лебединую шею, пытался на ходу схватить стебли горных трав.

— Где же тобою обещанное селение? Все ты врешь, лживый курд! Куда ты нас ведешь? Хочешь, чтобы мы свалились в пропасть? Дорога становится все труднее! Помни, что я тебя не отпущу живым: ты полетишь вместе с нами в преисподнюю, показывая нам дорогу в вечный огонь.

Проводник остановился и сложил руки на груди:

— Да проклянет меня аллах и да поразит громом, если я говорю неправду! Я веду тебя в самое высокое горное селение — Гнездо беркута. За ним начинается перевал. Оттуда ты сможешь перебраться на другую сторону хребта. Дорога там легче, и ты свободно уйдешь на север. Ты сам говорил, что кругом рыщут монгольские отряды и ты боишься встречаться с ними.

— Ты лжешь, старик! Я никогда их не боялся! Я снова жду встречи с этими шакалами. Но мне нужно пройти на север, в Азербайджан, кратчайшим путем. Там ждет меня мое новое войско.

Проводник протянул руку:

— Видишь ли ты впереди, в просвете между облаками, селение? Луч солнца, пробившись сквозь тучи, осветил крыши. Это мой дом. Это мое селение Гнездо беркута. Теперь мы уже близко.

— Гнездо беркута? — воскликнул воин в стальном шлеме, смуглый, стройный, с черными проницательными глазами. — Старуха гадалка когда-то мне предсказала: «Берегись гнезда беркута!»

— Я хозяин — ты мой гость! И я отвечаю своей головой за твое благополучие.

— А кто старшина этого разбойничьего гнезда?

— Я же — старшина селения и наблюдаю за порядком. Приезжай спокойно, мой хан. У меня ты отдохнешь, как в доме друга.

Селение было расположено почти на вершине скалистого хребта. Веками тяжелым трудом курды, измученные постоянными нападениями и междоусобными войнами, сложили из каменных глыб свои дома на самом краю глубокой пропасти, которой обычно и дна не было видно из-за непроницаемых белых туманов; как молоко в крынке, они наполняли до краев все ущелье.

Селение действительно, точно гнездо беркута, прилепилось на такой крутизне, что, казалось, один человек на тропинке, огибающей выступ скалы, мог бы удержать целый вражеский отряд.

Три верных друга и спутница отчаянного скитальца —

Несави, Бент-Запкиджа и Кара-Кончар — неотлучно сопровождали Джелаль-эд-Дина, готовые биться и защищать его до последнего вздоха.

Селение было окружено прочной каменной стеной, сложенной в древнейшие времена. Со стены можно было наблюдать за всеми подъезжающими по узкой тропинке. Дома с плоскими крышами, сложенными из расколотых топором бревен и жердей, обмазанных глиной, поднимались, как уступы, как широкие ступени, один над другим. Не только кошка, но и ловкие курды могли свободно пройти через все селение, прыгая с крыши на крышу.

Кара-Кончар стал неистово стучать в ворота, разбудив всех собак. Большие и лохматые, они показались на стене, заливаясь хриплым лаем, готовые разорвать всякого прибывшего. Скоро на площадке над воротами показались курды:

— Что вам здесь нужно? Поворачивайте коней обратно, в адское пекло, откуда вы появились! Для темных бродяг наши ворота заперты.

— Ваше счастье мы привезли вам! Скорее открывайте ворота!

— Знаем, какое счастье вы нам привозите! Ваши кони съедят наше сено, накопленное на зиму и с трудом собранное на скалах для своих коров. Проваливайте!

Проводник оказался действительно старшиной селения. Пронзительным голосом он стал кричать на стоящих на стене, осыпая их отборными ругательствами:

— Шакалье охвостье, сыновья шлюхи, свиные объедки, змеиные языки! Мы промокли до кишок, пока вы грели у очагов ваши толстые животы, набитые прокисшей джугарой, а теперь вы не хотите повернуться, чтобы открыть нам ворота! Скорей, не то мы их сломаем!

Тогда люди на стене забегали, и потемневшие старинные ворота, сложенные из кривых бревен, со скрежетом раскрылись. Джелаль-эд-Дин со своими спутниками въехал внутрь селения.

Старшина предложил следовать за ним и всех привел к старинного вида каменной постройке, тоже сложенной из гранитных глыб и плит; она держалась на краю бездны при помощи бревенчатых подпорок. На крыше собрались женщины и дети.

Дворик был маленький, выложенный плитами. Кара-Кончар привязал коней Джелаль-эд-Дина под навесом и бросил им охапку сена, найденного на крыше.

— Вьюки можете оставить здесь, никто их не тронет.

Но джигиты, умудренные опытом, втащили все вьюки и седла по приставным деревянным лесенкам на крышу, откуда через темное отверстие спустились внутрь здания.

Внутри дома старшины, в просторной комнате для гостей, в высоком очаге запылали дрова. Несколько женщин, с закутанными до глаз лицами, в черных куртках и широчайших красных шароварах, стали суетиться возле большого котла, подвешенного над огнем на длинной железной цепи, приготовляя ужин путникам.

С Джелаль-эд-Дина стекала вода. Сложив все свое оружие на низкой широкой тахте, затянутой пестрым персидским ковром, он скинул с себя одежду и сапоги и развесил на веревке перед огнем. Переодевшись в длинную, до колен, рубашку и домотканые шаровары, Джелаль-эд-Дин опустился на колени на войлоке перед очагом и стал греться. Скоро, измученный продолжительной дорогой и тяжелыми переходами через хребты, он незаметно задремал.

Несави и Кара-Кончар ушли добывать ячменя для коней. Хозяин, получив в качестве задатка золотую монету, тоже вышел.

Пока Несави и Кара-Кончар с другими джигитами были заняты кормлением коней, а женщины рубили мясо для кебаба, в дом старшины проник незамеченным ужасного вида одноглазый человек — лицо его было исполосовано старыми, зарубцевавшимися шрамами, а уши отрезаны — в знак понесенного наказания за воровство.

И тут произошло необычайное, непредвиденное, свалившееся на Джелаль-эд-Дина и его спутников как горный обвал, как величайшее горе, как непоправимое несчастье, как коварная выходка злого демона, красноглазого джинна.

Одноглазый подкрался сзади к тихо задремавшему перед пылавшим очагом Джелаль-эд-Дину и сильным ударом большого, отточенного ножа пронзил спину величайшего героя-батыра.

И тот светлый и единственный, выходивший невредимым из самых опасных схваток, рвущийся в бой отважный сокол, разбивавший отряды непобедимых монголов, кто ускользнул из железного кольца самого могучего Чингиз-хана, кто был победителем в сотнях битв, вдруг пал от подлой руки предателя...

Джелаль-эд-Дин упал вниз лицом, на руки... Пытался встать. Из его спины и рта текла кровь.

Убийца вытащил нож и бросился к выходу, но в дверях он столкнулся с тремя курдскими женщинами. Первой шла

жена старшины, всегда спокойная Каринэ, высокая и величавая. Она увидела торжествующего злодея с большим ножом в руке и лежавшего Джелаль-эд-Дина, который, захлебываясь собственной кровью, пытался подняться и что-то сказать, но слышалось только хриплое бульканье...

Каринэ, сразу поняв, что случилось что-то ужасное, непоправимое,— так как убийство гостя произошло в ее доме, и она и ее муж первыми за него ответят,— как бешеная волчица бросилась на убийцу. В ее руках была железная сечка, которой она готовила кебаб. Одним ее ударом она рассекла руку, державшую нож, вторым поразила голову, сбив полосатую грязную чалму.

С диким воплем убийца бросился из дому, растолкав женщин. Но навстречу ему по лестнице уже поднимался Кара-Кончар. Тогда убийца по другой приставной лестнице взобрался на крышу соседнего дома, на бегу стараясь тряпкой затянуть разрубленную руку, из которой хлестала кровь.

Несави, увидев раненого Джелаль-эд-Дина, положил его боком на войлоке на полу. Он сорвал с себя рубашку, разодрал ее на полосы и с помощью прибежавшей Бент-Занкиджи старался быстро и туго перевязать рану своего друга-покровителя.

Кара-Кончар бросился вслед за убийцей на крышу, поймал его, накинул на него мешок и перевязал веревкой. После этого, вернувшись к Джелаль-эд-Дину, он, как всегда холодный и спокойный, горящим взглядом следил за бледнеющим и угасающим лицом великого воина...

Кровь из раны стала проступать медленнее, и Джелаль-эд-Дин заговорил как в бреду, будто обращаясь к войску:

— Слушайте, смелые, неукротимые воины... Отныне я ухожу в страну, имя которой — народная сказка... В ней я буду жить... Моя слава, мои заветы будут учить мальчиков, как стать бесстрашными джигитами... Как воодушевить воина на битву с более сильными противниками... Как приносить радость воспоминаний старикам... Слушайте, хорезмийцы и все племена! Дружно все стойте плечо к плечу!.. И не позволяйте ханам откалываться от народа и забегать с подарками к безжалостным врагам, в надежде, что эти наши убийцы и мучители их пощадят... Только крепкий союз всех слабых племен сделает их неодолимыми... И монголы растворятся в нашем народе, как горсть соли в море... Тогда мы создадим страну счастливых и свободных!..

Голос его слабел. Он еще что-то шептал, но уже слышались только хрипы и бульканье кровавой пены. Джелаль-

эд-Дин вытянулся, простирая руки к товарищам. Они стояли возле него на коленях и чувствовали, как в их руках холодеют его пальцы и в них прекращается трепетание жизни...

Кара-Кончар и другие джигиты сложили на площадке посреди селения большой высокий костер из бревен и жердей, выломанных из ближайших загородок. Наверху, на разостланном ковре, они положили тело великого воина-батыра. В головах у него было седло, рядом лежало копье с двумя красными кистями и колчан, в котором находились три стрелы с орлиными перьями. Кинжал и меч Кара-Кончар и Несави поделили между собой, поклявшись совершить ими дела, достойные их погибшего великого друга. В ногах большого костра был сложен другой, поменьше, над которым джигиты поставили распорку из трех бревен: на ней они повесили головой вниз убийцу со связанными за спиной руками. В стороне толпились курдские женщины и с рыданьями причитали, оплакивая великого батыра и проклиная убийцу, который поднял на него руку, покрыв тем селенье Гнездо беркута неизгладимым позором.

Погода стояла тихая. Все окрестные ущелья, как молоком, были наполнены до краев белым густым туманом... Вдруг на противоположной стороне глубокого ущелья из тумана стала выезжать вереница всадников. Они передвигались медленно, один за другим, с трудом взбираясь на кручу. У них были низкорослые кони с длинными хвостами и гривами и белое знамя с семью концами.

— Это монголы! — воскликнули курды.— Горе нам! Не свернут ли они с главной дороги, чтобы подняться сюда?

Старшина стоял в головах покойника. Рядом с ним седой мулла, держа в руках священную книгу Корана, показывая, что в нее заглядывает и по ней читает, и нараспев говорил суры благородного свитка.

Джелаль-эд-Дин лежал как живой, с нахмуренными бровями. Его побледневшее, даже сквозь загар, лицо казалось грустным, полным незаслуженной обиды. К телу Джелаль-эд-Дина безмолвно подошла Бент-Занкиджа и, прижавшись щекой к его похолодевшему лицу, долго тихо плакала. Затем она достала из своей дорожной ковровой сумки его любимую «Книгу походов Искандера Великого» и осторожно положила ее под голову героя.

Кара-Кончар принес из дома старшины пылающую го-

ловню и разжег солому и хворост, подложенные под жерди обоих костров. Они, затрещав, запылали высоким огнем. Языки пламени, казалось, старались лизнуть клубившиеся серые облака. Буря давно ушла на запад. Ветер стих, и ни один листок не шевелился на недавно омытых дождем деревьях.

Когда оба костра догорели, Кара-Кончар раздал оставшиеся вещи из походных вьюков Джелаль-эд-Дина товарищам-джигитам, семье старшины и некоторым беднякам.

Затем они оседлали и навьючили коней, задали им корму, и когда все было готово, Кара-Кончар с несколькими джигитами позвали старшину на крышу его дома. Тот, с ужасом на лице и подгибающимися коленями, пошел за ними. Там Кара-Кончар сказал:

— Хозяин, который не уберег от руки убийцы своего гостя, не заслуживает пощады.

— Ты сказал правду! — ответил старшина. — Таков наш закон.

— Таков наш закон! — подтвердили джигиты.

Старик стоял спокойно, безропотно и не сопротивлялся, когда его схватили сподвижники Джелаль-эд-Дина и сбросили с крыши в молочный туман, в глубокую пропасть...

Джигиты вернулись к коням, вскочили на них и направились на север, к перевалу, откуда начиналась дорога в Азербайджан. На любимом коне Джелаль-эд-Дина, столько раз выносившего его невредимым с поля битвы, ехала Бент-Занкиджа.

Надо было спешить: отряд монголов уже поднимался по тропе, ведущей к Гнезду беркута.

...И стал он предметом рассказов сказочников, и сообщали о нем друг другу путники на дорогах, и передавали молву о нем по странам, и потекла повесть его по земле, неся с собою удивление.

Из арабской сказки

РАССКАЗЫ



РАССКАЗЫ «О НЕОБЫЧАЙНОМ»

ЧТО ЛУЧШЕ?

(Восточная сказка)

Ястреб летал над аулом, высматривая, нельзя ли где-нибудь стащить цыпленка. А куры, замечая скользящую по земле тень ястреба, кудахтали, сзывая под свои крылья разбежавшихся цыплят.

Поравнялся с ястребом пролетавший мимо большой могучий беркут и говорит ему:

— Неужели тебе не надоест летать все время над аулом, так близко от земли, что тебя легко подобьет стрелой охотник? Полети со мной выше, под облака. Не бойся высоты, ты увидишь, как привольно там летать, как прекрасен мир, когда на него смотришь с вышины, как чудесны голубые дали... Ты увидишь, как за пустынями раскинулось синее море, а на равнинах пасутся дикие козы и медленно проходят караваны...

Послушался ястреб и полетел рядом с беркутом, и они подымались все выше и выше, и вскоре аул показался ястребу величиной с тарелку, а все люди маленькими, как черные мураши.

Страшно было ястребу лететь с могучим беркутом, но он не хотел, чтобы тот считал его трусом, и продолжал подыматься еще выше. Вскоре, однако, страх одолел его и он стал жаловаться беркуту, что у него закружилась голова.

— Нет, теперь лети! — ответил беркут.— Иначе тебе придется испытать силу моих острых когтей.

Оба хищника взлетели еще выше.

— Что же теперь ты видишь? — спросил беркут.

— Ничего не вижу! — сказал ястреб.— Я боюсь смотреть вниз.

— Для тебя гораздо опаснее летать над домами, чем здесь, в небесном просторе... А я все вижу. Вот там, на горе, пасутся бараны. А среди них сидит пастух и крошит хлеб в чашку молока. А в молоке плавает черный волос...

— Это тебе легко сочинять — сейчас проверить нельзя.

— Почему нельзя! Если не веришь, полетим поближе.

Полетели они к горе и видят, что пастух действительно вытаскивает из чашки с молоком черный волос и неистово ругается. И подивился ястреб зоркости глаз беркута.

— Верно я сказал? Будешь теперь летать со мной под облаками?

— Нет, здесь, над землей, безопаснее.

Взмахнул беркут сильными крыльями и, ничего не сказав, улетел.

Через несколько дней, летая над аулом, ястреб вдруг увидел своего знакомого беркута. На мусорном холме, привязанный веревкой за ногу, нахохлившись, сидел беркут, тоскливо распластав могучие крылья. Вокруг стояли аульные ребята и дразнили сердитую беспомощную птицу, бросая в нее щепки.

Ястреб стал кружиться над беркутом, и дети разбежались.

— Как же ты, могучий царь воздуха, стал игрушкой маленьких детей? Ты, наверное, попал в западню? Но как же ты, видевший с недосягаемой высоты волос в чашке молока, не заметил расставленных силков?

— На все воля аллаха и собственная неосторожность. Иной переплывает бурные моря, а тонет в колодце. Иной счастливо сражается на войне и погибает дома от укуса тарантула... Человека спасает его воля и настойчивость. А здесь, в неволе, оставаться не могу и не стану... Я добьюсь свободы!

— Тебе отсюда, от человеческой хитрости, не вырваться! Здесь ты найдешь свой конец! — сказал ястреб и улетел.

На другой день ястреб снова пролетал над аулом и спустился проведать беркута. Однако его на холме уже не было. На приколе висел обрывок веревки.

А высоко в небе ястреб увидел черную точку, делавшую широкие круги.

«Все же моя работа вернее и безопаснее», — решил ястреб и стал летать над аулом, отыскивая беспечного, неосторожного цыпленка. Облюбовав себе одного, ястреб камнем упал на него и только что хотел подняться вверх, как на него набросилась курица с взъерошенными перьями и так его теребила, что ястреб не мог от нее вырваться.

Это заметила хозяйка курицы, схватила полено и ударила ястреба,— тот и ноги протянул.

Круживший под облаками беркут своим зорким глазом видел печальный, бесславный конец ястреба. Но что он в это время подумал — точных сведений мы не имеем...

1944

ГОЛУБАЯ СОЙКА ЗАРАТУСТРЫ

Когда покоритель народов Александр Македонский, прозванный Великим, проходил через равнины и горы Ирана, он достиг старинного города Бактры, столицы северной цветущей провинции Бактрианы. Ее сатрап с жалкими остатками разгромленных войск бежал в Мараканду. Население в ужасе металось по всем дорогам, уходило в горы, пряталось в лесах и болотах.

Старинные каменные стены города Бактры недолго сдерживали натиск опытных в военном деле чужеземцев. Они разбили таранами ворота, проломали стены и несколько дней свирепствовали, истребляя жителей и грабя их дома.

Богатый, многолюдный город особенно славился своими древними храмами. При них жили многочисленные жрецы, обучавшие юношей знаниям, которые издревле передавались от одного поколения другому. Были также особые, сокровенные знания: они сообщались тайно только избранным ученикам, посвященным в звание «испытанных» и «верных». При храмах существовали библиотеки. В них сберегались древние поучения, написанные на пергаментных свитках в виде размеренных песен, чтобы ученики легче их запоминали.

Александр, цветущий молодостью и красотой, проезжал по узким, извилистым улицам Бактры на горячем вороном жеребце, в сопровождении блистающего латами отряда копейщиков. Он пожелал увидеть знаменитый древний храм огнепоклонников, расположенный среди тенистой рощи, состоящей из вековых священных платанов и вязов. В прохладной тени этих столетних великанов сидели на камышовых циновках ученые жрецы храма и рассказывали собравшимся вокруг ученикам и случайным богомольцам предания минувших времен: о создании светлым Ормуздом неба

и земли, о жизни народов, давно исчезнувших после жестоких, кровопролитных войн.

Некоторым ученикам, посвятившим себя изучению тайны жизни и смерти человека, бактрийские мудрецы рассказывали об устройстве и работе органов тела человека и животных. Эти же мудрецы объясняли причины всевозможных заболеваний и обучали способам их лечения.

Въехав в заповедную рощу храма, Александр легко соскочил с огнеглазого коня, покрытого барсовой шкурой. Два статных негра-скорохода, с курчавыми, как овечье руно, волосами, схватили беспокойного коня за поводья, украшенные золотыми бляшками и цепочками, и замерли, неподвижные как изваяния.

Молодой, красивый, с обнаженными могучими руками, властелин раздавленной Персии, разминая загорелые ноги в красных шнурованных башмаках, медленно направился по дорожке, осыпанной пожелтевшими листьями. Лучи солнца, пробив густые ветви, яркими пятнами переливались на позолоченных латах и серебряном шлеме с двумя золотыми закрученными бараньими рогами, прикрывавшими уши. Широкий меч в золотых ножнах висел на широком кожаном поясе.

Сдвинув брови, пристальным, недоверчивым взглядом Александр смотрел по сторонам. Роща казалась пустой. Никто не вышел встречать победителя.

Слева, несколько позади, шел друг и ровесник Александра, его неизменный спутник в походах, Гефестион, так же любимый, как был любим Патрокл, друг героя Троянской войны Ахиллеса. Такой же молодой, красивый, нарядный и цветущий, Гефестион нес в руке короткое красное копье царя с длинным, отточенным до блеска лезвием. Всегда настороженный, он следил за выражением лица своего могущественного друга и умел успокаивать внезапные вспышки бешеного гнева, начинающегося с подергивания правого плеча. В то утро он заметил, что Александр несколько раз уже поводил плечом и откидывал назад голову. Нужно было опасаться за участь тех, кто в предстоящие минуты попадется на глаза неукротимому македонцу.

Сзади слышались размеренные тяжелые шаги воинов и позвякивание их оружия.

Впереди, между стволами деревьев, показались белые очертания храма. По сторонам центральной высокой постройки протянулись два крыла со множеством круглых маленьких окошек под самой крышей, ровной и плоской.

Обычно на ней по ночам собирались жрецы, наблюдая движение звезд и планет и совершая по ним гадания о судьбе человека.

Середину храма занимали сто колонн, соединенных арками, подпиравшими затейливую постройку в виде ступенчатой пирамиды с площадкой наверху. На ней днем и ночью на большом жертвеннике пылал неугасимый священный огонь.

Даже в эти страшные дни, несмотря на вторжение в Бактру врагов, жрецы не покинули храма, и, как обычно, сизый дым извилистыми струйками поднимался к ясному бирюзовому небу.

Александр, приближаясь спокойным, уверенным шагом, увидел на ступеньках храма ряды жрецов и их учеников в длинных белых одеждах. Подняв над головой руки с выпрямленными ладонями, точно для защиты от подходивших завоевателей, все они пели стройным хором протяжную, заунывную молитву.

Увидев блиставших оружием необычайных чужеземцев, жрецы прекратили пение, опустились на колени и склонились ниц.

Александр остановился в нескольких шагах.

— Переводчик! — сказал он отрывисто.

Приблизился старый грек, бывший купец из Эфеса, знавший языки многих народов Персии. Вместе с ним подошел и молодой философ Каллисфен, афинянин, племянник ученого Аристотеля. Он держался с Александром свободно, как равный, говорил с ним запросто, на правах товарища его юношеских игр:

— Вот Восток, со всей своей многовековой мудростью и знаниями, склонился перед Западом, принесшим новую эллинскую мысль,— гением воли, смелости и грядущего мирового величия.

Гефестион добавил:

— Феб и Арей оказались сильнее Ормузда и Аримана.

Александр усмехнулся и сказал через плечо переводчику:

— Спроси, кто у них старший жрец? Пусть он подойдет ко мне. А всем остальным прикажи покинуть храм и ждать решения своей судьбы в этой платановой роще.

Переводчик подошел к стоявшим неподвижно перепу-

ганным жрецам. Они выпрямились. Один выступил вперед. Высокий остроконечный колпак из белого барашка покрывал его седую голову. Он опирался на длинный посох с золотым крючком наверху. Все остальные жрецы, снова затянув заунывную песню, медленно направились парами в глубь рощи.

Главный жрец приблизился к Александру шаркающей старческой походкой. Из его потускневших глаз стекали крупные слезы и застревали в длинной седой бороде. Сухие, узловатые старческие руки, державшие посох, дрожали.

— Давно ли существует этот храм? — спросил македонец.

— Много столетий. С той поры, когда еще жил под лучами солнца наш великий учитель, мудрейший из мудрых, кроткий и всезнающий Заратустра.

— Много ли книг он написал?

— Много. Но еще больше написали ученики, слушавшие его поучения.

— Предсказал ли он судьбу своей родины?

— Да. Он говорил не раз и о прошлой, и о современной ему жизни, и о грядущих горестях и радостях своей страны. Он все знал и все предвидел.

— Предсказал ли он, что сюда, в это развалившееся государство царя Дария, приду я и покорю его?

— Он и это говорил.

Александр переглянулся с Гефестионом.

— Расскажи, что он сказал обо мне.

Старик грустно покачал головой, и снова из глаз его брызнули слезы.

— Если ты приказываешь, то я скажу. Но это принесет тебе печаль и гнев, а мне — гибель.

— Говори, не бойся!

— Всезнающий Заратустра поучал,— и старик продолжал нараспев, как привык читать священные книги, а переводчик сейчас же переводил его слова:

...Настанет черный день страшнее ночи.
От слез твоих, народ, погаснут очи.
Законом станет меч в руке врага.
Приедет он с глазами Аримана,
Жестокий враг на вороном коне.
Сгорят и дети, и жена в огне,
И ты пойдешь один равнинами Ирана,
И будет прах везде, развалины и кровь...

Заметив, как стало вздрагивать плечо Александра, Гефестион быстро подошел к старому жрецу и рукой прикрыл ему рот. Он обратился к Александру:

— Наверное, ты захочешь посмотреть храм этих огнепоклонников?

— Да. И пусть этот старый безумец мне покажет жертвенник вечного огня и покои Заратустры.

Переводчик и Каллисфен, поддерживая старика под руки, пошли вперед. Александр с Гефестионом, следуя за ними, поднялись по стертой витой каменной лестнице и достигли площадки на крыше храма.

На мраморном жертвеннике горел огонь. Два жреца вылезли, трясясь, из ниши и стали подбрасывать в огонь мелко нарубленные можжевеловые ветки и смолистые корни.

С крыши храма было отчетливо видно, как по кривым, запутанным улицам и переулкам города проезжали всадники, гоня толпы людей, нагруженных домашним скарбом, как пылали в клубах черного дыма бесчисленные дома с плоскими кровлями, как на них метались люди и отчаянно кричали, воздевая руки к небу.

Александр спросил равнодушно:

— А что случится, если священный огонь на жертвеннике погасить?

Старый жрец ответил:

— Тогда люди жестоко пострадают от гнева оскорбленного бога Ормузда. Это уже было. Однажды мы недоглядели. Страшная буря разметала угли и дрова на жертвеннике. Потоки дождя залили огонь. Мы горячо молились, прося прощения за свою нерадивость, и снова нам помогла милость всепрощающего бога. Раздался страшный раскат грома, и молния, расщепив старый кедр, зажгла его, как факел. Мы сберегли этот священный огонь небесного гнева, и с тех пор он горит опять днем и ночью... Теперь ты пришел затушить его и погубить нас.

Александр, отвернувшись, указал Гефестиону на север, где тянулись хребты покрытых снегом гор:

— Туда я направлю мое войско. Там я поймаю подлого сатрапа Бесса, коварно заколовшего своего царя Дария. Я жестоко накажу его. Тогда моим воинам я дам заслуженный отдых. Затем я двинусь дальше, к восходу солнца, чтобы дойти наконец до последнего моря, куда никто еще до меня не доходил.

Внезапно Александр обратился к юноше-оруженосцу, несшему за ним небольшой, разукрашенный узорами кожаный щит, и приказал:

— Разбросай во все стороны дрова и угли. Погаси сейчас же этот нечестивый огонь.

Смотря на старого жреца, Александр продолжал:

— Ты сказал, что я сын Аримана, «жестокий». А я уже зажег столько огней по всей Бактре, что обманщикам жрецам нетрудно будет снова разжечь священный жертвенник. Ступай вперед, старик, и покажи мне покои Заратустры.

Помещение, где некогда обитал праведный Заратустра, было похоже на узкую келью с небольшим круглым окошком под потолком.

— Из этого окна всегда видна звезда «небесный гвоздь». Учитель любил в ясные ночи смотреть на эту звезду и спрашивать у нее совета.

В келье находились только небольшой потертый коврик в углу и на нем глиняный светильник и чашка, деревянная ложка, бронзовая чернильница и несколько отточенных и запачканных чернилами тростниковых перьев. Вся келья была обрызгана белым пометом птиц. На деревянном гвозде висела старая, выцветшая одежда, тоже вся в таких же белых пятнах.

Вдруг послышалось нежное чириканье.

— Сядьте и не шевелитесь! — прошептал старый жрец.— Сейчас вы услышите голос нашего учителя Заратустры.

Все замерли.

В просвете окна показалась птичка, похожая на горлинку, но с большим длинным клювом. Она посмотрела косым, недоверчивым взглядом. Старый жрец посвистал, и птичка перелетела к нему на плечо и стала осторожно перебирать клювом его длинные седые волосы. У нее были яркие, бирюзовые крылышки и синее кольцо вокруг блестящего глаза. На голове то поднимался, то опускался коричневый хохолок. Она вспорхнула и снова опустилась, на этот раз на голову Каллисфена. Все стояли неподвижно, стараясь не спугнуть маленького ручного гостя.

— Скажи, крошка! Скажи нам что-нибудь! — тихо говорил старый жрец и слегка посвистывал.

Вдруг птичка насторожилась. В окошке показалась такая

же вторая и прочирикала красивую переливчатую мелодию. Сидевшая на голове Каллисфена птичка повторила ту же мелодию, и обе вылетели в окно.

— Где же голос Заратустры? — спросил Каллисфен.

Старик ответил:

— Разве вы не слышали, что прощебетала эта голубая птичка? То было одно из поучений Заратустры. Однажды он сказал своим ученикам: «Настанут тяжелые времена, и сын Аримана прикажет сжечь все мои наставления, все рассказы, все молитвы. Изменится лицо земли. Придут новые народы. Но мысли, вложенные мне в сердце светлым Ормуздом, должны остаться вечно. И я их сведу к нескольким главным заветам. Я их пропою священной птичке, голубой сойке, умеющей повторять слышанное. Ариман не осмелится ее тронуть...» После этого до конца своей жизни Заратустра ходил по лесам, приручал голубых соек и приносил их на плече в свою келью. Так у него побывало много птичек. Каждую он учил одному из своих изречений. Все сойки запоминали их и передавали птенцам... Поэтому мы, жрецы священного огня, сберегаем и подкармливаем этих соек, напоминающих людям священные заветы Заратустры.

— Ты можешь сказать нам какие-либо изречения, услышанные от голубых соек? — спросил Каллисфен.

— Да, я помню некоторые: «Торопись обласкать каждого, быть может, ты его больше не увидишь».

— А еще?

— «В каждом человеке дремлет неузнанный бог. Разбуди его».

— А что сказала сойка, прилетавшая сюда?

— Она сказала...— И старый жрец схватил себя руками за голову.— Нет, я не смею повторить это!

— Говори! — настаивал Александр.— Я тебя не трону...

— Она пропела: «Как злы и беспощадны эти люди!»

Александр вскочил, взбешенный. Он говорил быстро, и пеной покрылись его побледневшие губы. Один глаз, более светлый, закатывался под лоб.

— Эти жрецы-огнепоклонники — обманщики народа... Есть только одна истина, ее напишет людям острый конец моего меча. Все остальное — бредни... И поучения Заратустры надо сжечь, а не морочить ими народ. Ты, Гефестион, проследишь, чтобы этот храм был разрушен, все жрецы

вместе с книгами сожжены на их же священном жертвеннике...

— Позволь возразить! — вмешался Каллисфен.— Не делай непоправимой ошибки. Эти жрецы одновременно искусные лекари. У них собраны ценнейшие книги с указанием способов лечения различных болезней. Прикажи отослать их в Афины Аристотелю.

— Пусть будет так. Я поручаю тебе, Гефестион, проследить также и за этим. Старику я дарую жизнь, но приказываю отрезать его лживый язык. Пускай ходит по развалинам Персии и слушает голубых соек...

* * *

Приказ грозного, неумолимого завоевателя был исполнен. Несколько дней его воины свирепствовали, разыскивая по всему городу священные книги огнепоклонников-зороастрийцев, вылавливали жрецов и с песнями и свистом сжигали их на кострах вместе с книгами. Люди, еще сохранившиеся в городе, ожидали, что гнев великого праведного Ормузда после такого святотатства обрушится на Александра. Но этого не случилось. Он двинул свои войска на север, к городу Мараканде и далее, на царство вольных скифов.

На месте когда-то многолюдного, богатого и счастливого города Бактры остались одни развалины. Вся долина между горами дремала в мертвой тишине, покрытая заросшими травой обломками каменных зданий и когда-то величественных храмов. Оставшееся население разбежалось, и в скважинах между камнями гнездились только совы и проворные ящерицы, а по ночам отвратительно лаяли и завывали трусливые шакалы.

Говорят, что старый жрец еще много лет бродил по пыльным дорогам Ирана с голубой сойкой на плече, которая повторяла встречным поучение Заратустры:

«Любите солнце и детей, воспевайте женщин и жалейте стариков!»

Напуганные пожаром и воцарившимся безлюдьем, мирные голубые сойки разлетелись по всему свету, где до сих пор повторяют на непонятном для нас языке мудрые поучения великого учителя народов.

1945

ОВИДИЙ В ИЗГНАНИИ[1]

Изгнаньем из страны родной
хвались повсюду, как свободой!

Лермонтов

Я приютился в верхней каморке двухъярусной каменной гетской хижины, в небольшом городке, полном разноязычных варваров. Здесь, как нищий, бесправный ссыльный, провожу я томительные долгие годы, вспоминая римскую речь только в те часы, когда я пишу свои скорбные элегии, хожу на проверку к военному трибуну и когда достаю из ящика потемневшие свитки моих любимых поэтов: Горация, Проперция, Тибулла и Корнелия Галла[2].

Стараюсь быть мужественным и утешаюсь как могу: в одной стене у меня есть очаг, где в морозные дни пылают

---

[1] Публий Овидий Назон, считающийся последним поэтом «золотого века» римской поэзии, жил с 43 года до н. э. по 17 год н. э. В 8 г. н. э. император Август (по не выясненной до сих пор причине) сослал Овидия в самый дальний пункт своих владений, в город Томы, находившийся немного южнее впадения Дуная в Черное море, тогда называвшееся Понт Эвксинский. Теперь на месте города Томы румынский порт Констанца.

Ссылка на берега Черного моря подала Овидию повод к целому ряду произведений, вызванных исключительно новым положением поэта, свидетельствуя о неиссякаемой силе таланта Овидия. Они показывают его огромное трудолюбие, упорство в создании крупных художественных произведений и силу характера, несломленного, несмотря на крайние лишения, в каких ему пришлось прожить более десяти лет.

В Риме Овидий писал легкомысленные эротические элегии, поэму «Искусство любви» и другие произведения, дававшие повод к обвинению его в безнравственности; из Том Овидий послал огромный труд «Метаморфозы», «Фасты» (календарь), «Скорбные элегии», «Послания с Понта», трактат о рыбах Черного моря,— все это написано в художественной форме, показавшей высокое мастерство поэта. Кроме того, им была послана цезарю поэма, восхвалявшая его подвиги на языке гетов, варварского племени, среди которого Овидию пришлось жить. Эта поэма, как и его трагедия «Медея», до нас не дошла.

Овидию в ссылке посвятил Пушкин замечательные строки в рассказе старика из поэмы «Цыганы»» («Меж нами есть одно преданье...») и в стихотворении «К Овидию» («Овидий, я живу близ этих берегов...») и находил много общего с ним в своем положении ссыльного на берегах Черного моря.

Настоящий отрывок из дневника Овидия относится к последним годам его пребывания в Томах.

[2] К о р н е л и й Г а л л — один из крупнейших римских поэтов, но из его произведений до нас ничего не дошло. Поэты Гораций и Проперций были друзьями Овидия.

щепки и сучья, собранные мной на морском берегу; на полу разостлан козий мех, а сбоку ложе варварского вида, покрытое сарматской войлочной попоной.

С восточной стороны прорублено окно, завешенное фракийским малиновым покрывалом. Через это окно ко мне влетают золотые лучи утреннего солнца и зовут на берег моря. Есть у меня также разрисованный узкогорлый кувшин,— в нем я берегу последние остатки выжатого на цветущих склонах Везувия[1] сладкого темного вина.

Откинув занавеску, я часто жадно всматриваюсь в туманную даль, в линию горизонта, постоянно меняющего свой цвет беспокойного моря. Я с нетерпением жду радостного вестника оттуда, из навеки мною покинутого Рима.

Сегодня вдруг я заметил долгожданную золотистую точку. Медленно приближается надутый ветром парус, все ближе вырастает покачиваемый волнами корабль. Парус быстро опускается на палубу, мерно взмахивают поблескивающие на солнце белые длинные весла.

Затерянный в толпе варваров, я спешу к пристани.

Что привез мне корабль? Прощение нового императора Тиберия? Письма друзей и с ними несколько запечатанных амфор с вином из моего сульмоновского[2] виноградника?

Кормчий, за время долгого пути заросший бородой, важно сошел по сходням на берег. Грубый голос, как обычно, произнес:

— Письмо Публию Овидию Назону? Ни такого письма, ни посылки для него мне не передавали. Теперь не скоро жди писем: наступает время зимних бурь, и все корабли спешат укрыться в гаванях.

Ни письма, ни денег, ни посылки... Чем же я проживу эту зиму?

* * *

Снова я сижу около пылающего очага, допивая последнюю чашу вина. Я грею озябшие руки и закрываю глаза. В завывании ветра мне чудится шепот:

«Опять тебе нет ни вестей, ни привета с родины? Но не ты ли сам предсказывал в своей элегии:

В счастье покуда живешь, ты много друзей сосчитаешь,
А как туманные явятся дни,— будешь один».

---

[1] Во времена Овидия гора Везувий еще не была вулканом и славилась своими цветущими селениями и виноградниками.

[2] Овидий родился в усадьбе отца, близ города Сульмона, в гористой части Средней Италии. Из «Скорбных песен», кн. 1, элегия 9.

Ветер с моря шелестит тростником крыши, и опять слышатся чьи-то речи:

«Твои друзья веселятся с другими, и даже прославленная твоими песнями Корина от тебя отвернулась. Забудь и ты о неблагодарном великом городе и находи утешение среди ненавидящих хищный Рим варваров...»

Порыв ветра будит меня. Я открываю глаза. Замечаю серые, сложенные из грубых камней стены и покрытые седым пеплом потухающие угли в очаге. Ветер треплет малиновую занавеску в окне и доносит равномерные удары тяжелых волн о каменистый берег. Под этот шум у меня складываются строки:

Варваром я здесь слыву: моя речь непонятна туземцам,
Слова латинского звук смех вызывает глупцов.
Сам уж, боюсь, разучился здесь говорить по-латыни:
К гетским, сарматским словам ум приспособил я свой [1].

* * *

Уж много лет и в полнолуние, и в ущерб каждого месяца я обязан являться в крепость к военному трибуну — удостоверить, что я не бежал из города.

Я пробираюсь узкой кривой улицей, где мне знакома каждая плита, каждый выступ дома. Я стараюсь незамеченным проскользнуть мимо лавок, увешанных: одни — свиными окороками и рассеченными бараньими тушами, другие — глиняными чашами и пестрыми кувшинами, третьи — сыромятными ремнями и дублеными кожами. Что я могу ответить на ласковые зазывания продавцов, видевших меня нарядным в первый год моего приезда, когда теперь мою римскую гордость терзают муки нищеты?

— Чем тебе, господин, мы можем услужить? — слышу я вопросы и ускоряю шаги.

Я обхожу площадь, где ежедневно сходятся томиты, жители города, для торга с кочевниками. Хищные геты и свирепые сарматы ненавидят друг друга и при встрече в степи держат наготове арканы и стрелы, а здесь, на торговой площади, они только молча сторонятся, хотя кровавая схватка может произойти каждое мгновение. Они неразлучны с коротким мечом, небольшим тугим луком и кожаным разрисованным колчаном, полным отравленных краснοперых

[1] «Послание с Понта». *Перевод А. Фета.*

стрел. Эти страшные кочевники мирно пригоняют сюда баранов, быков или истощенных, покрытых ранами пленных, которые стонут и плачут на неведомых языках.

Я дохожу до наполненного водой рва и каменных ворот. Часовой легионер знает меня и, махнув рукой, говорит:

— Овидий, проходи!

Внутри крепости, на холме, живет трибун, начальник римского гарнизона. Я останавливаюсь возле небольшого дома. Сквозь раскрытую дверь я вижу на мраморном полу выложенную черными камешками надпись: «Сальве»[1].

Как изгнанник, эксуль, я не смею переступить порог и жду среди двух десятков таких же, как и я, ссыльных. Все перешептываются об одном:

— Пришел корабль из Италии. Не получил ли с ним трибун повеление из Рима, чтобы дать нам свободу? Цезарь Октавий Август умер; теперь новый император, Тиберий, он нам окажет милость.

Сперва из дома выходит молодой центурион[2]. Он отзывает меня в сторону и передает сверток.

— Здесь для тебя папирусовый свиток. Напиши мне на нем свое новое «Послание с Понта». Я тебе за это пришлю муки.

Центурион сам пишет стихи и поэтому любит тайком побеседовать со мной. Как-то он мне сказал:

— Ты жалуешься, что сослан на крайнюю границу Римской империи. Однако твои песни по-прежнему переписываются и распеваются в Риме, и их всегда будут читать те, кто ценит сладостную латинскую речь. Ты можешь гордиться своим изгнанием: из сердца Рима твои песни изгнать нельзя.

Слышатся тяжелые шаги легионеров. Двадцать копейщиков, звеня оружием, подходят к дому и выстраиваются у входа. Центурион быстро покидает меня и вытягивается, непроницаемый и окаменелый.

Старый суровый трибун с выбритым морщинистым лицом показывается в дверях.

Трибун меня ненавидит. Наблюдение за ссыльными его больше беспокоит, чем нападение гетов и сарматов. Разговаривая со мной, он смотрит в сторону, шрам, рассекающий его седую бровь, багровеет, и я слышу отрывистые знакомые слова:

---

[1] Сальве — здравствуй.

[2] Центурион — начальник сотни.

— Это ты, эксуль Публий Овидий Назон? Ты живешь по-прежнему? В том же доме? У разбойника Геко? Еще не научился шить сапоги, выделывать кожи или красить ткани? Нет? Напрасно! Это гораздо полезнее, чем писать беспутные, вредные песни. Да это для тебя было бы и выгоднее. Ступай. Через пятнадцать дней приходи снова.

* * *

Когда огненный лик солнца вынырнул из пучины темного моря, я узнал об этом по золотистому лучу, упавшему розовым квадратом на серые камни стены.

Я приоткрыл дверь. Город был еще закутан сизым утренним туманом. Кое-где над плоскими крышами тянулись к небу голубые завитки дыма.

С собой я захватил навощенные дощечки, думая набросать новые строки «Послания с Понта». Осторожно, по приставной лестнице, я спустился в крохотный дворик, где в жидком навозе дремали черные туши буйволов с длинными, опущенными на плечи рогами.

Свирепый буйвол-самец злобно засопел и начал подыматься, но снова грузно улегся, когда его окликнул хозяин дома Геко. Он входил в это время с побелевшими от пыли, свисшими усами, толкая перед собой девушку со связанными за спиной руками. У нее, по обычаю варварских племен, лицо было закутано пестрым платком так, что видны были только бирюзовые глаза, окруженные черными ресницами. Я заметил узкие плечи, туго стянутые белой шерстяной одеждой, узорчатые красные обшивки и нити синих бус.

Хозяин распутал у девушки веревки и сорвал с ее головы пестрый платок. Она схватилась за голову и, раскачиваясь, пронзительно закричала непонятные варварские слова.

Но Геко, отряхивая от пыли овчинную шапку, втолкнул кричавшую девушку в подвал.

Конечно, это новая добыча хозяина. Как-то раньше он привез из степи другую пленницу, по его словам, выменяв ее за два стальных меча, а потом без сожаления продал ее на уходивший в море греческий корабль.

Снедаемый тоской, я прошел узкой улицей, где — плохой знак — мне дорогу перебежала женщина с глиняным горшком; в нем дымилась головешка, чтобы разжечь чей-то потухший очаг.

Когда я проходил южные ворота, выходящие на при-

брежную большую дорогу во Фракию, часовой легионер угрюмо меня предостерег:

— Не отходи далеко. Не потому, чтобы мы боялись твоего побега,— куда тебе, слабому, убежать! Но вчера невдалеке по равнине вскачь пронеслась толпа гетских разбойников. Они где-нибудь близ дороги притаилась в засаде.

В моем отчаянии мне дорого одиночество. Я взором ищу среди унылой равнины дикую скалу, выступающую в море, и медленно иду к ней берегом, отступая перед набегающими волнами и обходя выброшенные ночной бурей слизистые диски прозрачных медуз.

1934

ТРЮМ И ПАЛУБА[1]

Красильщик Силан, бледный, испитой, с каплями пота на лбу, держа растопыренными мокрые руки, выпачканные до локтей синей краской, выскочил из своей мастерской на

---

[1] В двадцати пяти километрах к юго-востоку от Рима расположено горное озеро Нэми; оно является кратером потухшего вулкана значительной глубины — свыше 100 метров. Неоднократно на берегу озера находили выброшенные волнами старинные предметы римской эпохи — кольца, бронзовые обломки и пр. У древних писателей имеются указания, что на озере Нэми римские императоры устраивали празднества на увеселительных судах, несколько из которых затонули.

Ученые стали производить систематические обследования озера; уровень воды был искусственно понижен на несколько метров, и драгами удалось коснуться одной затонувшей галеры. Судно было поднято на поверхность, все покрытое тиной и водорослями. Сохранилась лишь нижняя часть с килем, боковые брусья и множество художественно исполненных бронзовых украшений.

Эта ценная находка дала надежду на возможность новых открытий, которые обогатят наши сведения о древнеримских кораблях. Может быть, они принесут также новые данные из эпохи древнего Рима.

Рассказ является попыткой восстановить картину гибели на озере Нэми увеселительного корабля Калигулы.

Гай Цезарь Август Германик, более известный по насмешливому прозвищу Калигула («Сапожок»), которое ему дали за привычку показываться повсюду в походных солдатских сапогах, хотя он и не был полководцем. Калигула царствовал три года девять месяцев (37—41 гг. н. э.) и за это время успел промотать колоссальные сбережения своего предшественника Тиберия (5—6 миллиардов рублей на наши современные деньги) и довести население до отчаяния своими преследованиями, жестокостями и казнями. Известно его изречение: «Жаль, что человечество не имеет только одной головы, чтобы ее сразу можно было отрубить». Он умер в возрасте 29 лет, убитый приближенными, как и большинство римских императоров.

улицу. Там уже толпились соседние ремесленники; перешептываясь, они глазели на нарядную процессию, тянувшуюся мимо них. Сапожник Пафий, бородатый гигант в большом кожаном переднике, с черными, всегда взъерошенными волосами, объяснял, что сегодня вся знать Рима едет на праздник, устраиваемый цезарем на горном озере Немурензис (Лесное), приказом цезаря переименованное в Зеркало Дианы [1].

— На такие празднества у цезаря находятся деньги, а с нас сборщики податей готовы содрать единственную нашу шкуру, чтобы только вытрясти из нее побольше серебра.

— Моего брата Тетриния за это даже продали в рабство,— сказал Пафий.

— Как же смели это сделать со свободным римским гражданином?

— Ты знаешь Скаптия-ростовщика? Он ссудил Тетринию две тысячи сестерций, чтобы он мог уплатить свои долги и штрафы, наложенные цезарем. Брат не мог их вернуть в срок, и, по закону, Скаптий сделал Тетриния своим рабом, а затем продал за тройную цену против долга. Тетриний пытался убежать, но его поймали и каленым железом наложили на щеку клеймо. Новый хозяин продал Тетриния на галеры. Мне неоткуда достать денег для выкупа брата, а на галере он скоро надорвет свои силы. Говорят, больше года не выживает ни один гребец.

— Смотрите, вот едет на празднество молодой богач Фабий.

— Я вчера отнес ему башмаки из красного сафьяна, специально заказанные для этого праздника.

— Сколько сестерций он заплатил тебе за башмаки? — спросил подошедший пирожник Рустик; он нес корзину с пирожками, начиненными свиной требухой.

— Опять ничего, как и раньше.

— Он прежде износит твои башмаки, чем ты получишь за них.

— Но если я не исполню его требования, то он не заплатит и за прежние заказы. Патриции ведь могут сделать с нами что захотят. Тише, вот и он сам...

Мимо говоривших медленно проезжала нарядная двухколесная повозка, отделанная серебром и слоновой костью

---

[1] Диана — богиня луны и охоты. На берегу озера находился храм, посвященный Диане. Греческое название Дианы — Артемида. Гора же на берегу озера до сих пор носит название Артемизия.

и покрытая пурпурным египетским ковром. Два серых мула были убраны расшитыми золотом чепраками и серебряной сбруей. В повозке на месте кучера, держа белые вожжи и длинный бич, сидел изнеженного вида молодой римлянин с искусно завитыми пышными кудрями. Его белая тога, видимо только что вынутая из-под гладильного пресса, лежала красивыми складками. У его ног сидел на корточках возница, черный раб с большими серебряными кольцами в ушах. Повозка Фабия вдруг остановилась, давая дорогу быстро продвигавшейся процессии.

Восемь рослых носильщиков в красных плащах беглым шагом несли на длинных полированных шестах белые крытые носилки, разукрашенные позолотой. Из-за полосатых полураздвинутых занавесок была видна лежавшая женщина, закутанная в длинную «столу», с лицом, полузакрытым прозрачной вуалью. Впереди носилок, крича и разгоняя встречных, шагали четыре негра-скорохода с пестрыми повязками на бедрах и серебряными дощечками на груди, на которых было вырезано имя их госпожи: «Харита Поппея».

Женщина сделала приветственный жест рукой, блиставшей кольцами и браслетами, и Фабий, бросив вожжи и бич кучеру, с выражением крайней почтительности подошел к носилкам. Поппея сообщила ему, что не может ехать по черной базальтовой мостовой Рима, на которой ее очень трясет, и рабы поэтому донесут ее до большой Аппиевой дороги за городом, где ее ждет экипаж. Оба обменялись последними новостями, занимавшими внимание высшего света столицы.

— Скажите, в честь какого божества устроен праздник? Я до сих пор этого не знаю,— спросила Поппея.— Говорят такие вещи, что я даже не могу поверить. Но я женщина и многого не понимаю.

Красильщик, пирожник и сапожник вместе с другими любопытными протиснулись поближе, чтобы услышать новости из разговора двух знатных римлян.

Фабий, по обычаю франтов того времени картавя и делая вид, что не может произнести половины слогов, рассказывал нежным, томным голосом, что божественный цезарь, полный высокой премудрости, произвел своего любимого жеребца Инцитата в звание сенатора и по этому случаю устраивает небывалый в истории праздник. Его жеребец будет помещен на увеселительном корабле императора, и вся знать Рима должна прибыть на озеро Зеркало Дианы, чтобы поздравить несравненного скакуна с его новым высоким назна-

чением. Шесть роскошных кораблей императора уже перевезены по сухопутью несколькими сотнями быков и рабов через ущелья и перевалы на озеро. Для этого сделаны особые прочные катки с дубовыми сплошными колесами, обитыми железом. Когда один корабль повалился набок и его борт сломался, тут же были выпороты бичами все сопровождавшие его рабы и казнен каждый десятый.

— Теперь рабы похожи на тигров,— добавил, смеясь, Фабий,— у них спины разрисованы полосами от ударов плетей.

При этих словах красильщик толкнул сапожника локтем:

— Ты слышал, Пафий? Рабов на галере выпороли. Среди них находился, кажется, и твой брат Тетриний?

— Я надеюсь, что по крайней мере он не был одним из десятых...

Харита Поппея, в свою очередь, рассказала Фабию, что богатые коммерсанты, у которых она накануне выбирала восточные драгоценности, готовы уплатить большие суммы, чтобы только присутствовать на празднике и увидеть священную особу цезаря.

— Но это легко сделать! — Фабий обрадовался случаю «заработать» на чванном честолюбии богатых купцов.— Вот к нам приближается мой дядя Кассий Херея. Он служит центурионом в гвардии императора. Ему ничего не стоит переговорить с распорядителем церемоний и пропустить на корабль верных почитателей молодого повелителя.

Несколько всадников, по два в ряд, блистая медными панцирями и шлемами, с копьями в руках, показались из-за угла. Впереди ехал старый седой воин в тунике с двумя пурпурными полосами[1]. Его угрюмому лицу придавал еще более суровое выражение рассекавший его наискось глубокий шрам. Поравнявшись с носилками, центурион остановил коня. К нему подошел Фабий и, почтительно приветствуя, изложил просьбу Хариты Поппеи. Центурион ответил:

— Ваше желание будет исполнено. Лица, за которых вы просите, могут находиться на корабле номер пятый, куда цезарь приказал поместить приглашенных по особому списку, лично им составленному. Он сказал, что на этот корабль можно еще добавить желающих, готовых принести свои средства в подарок цезарю.

Позади послышались крики:

[1] Две пурпурные полосы свидетельствовали о принадлежности к знатному сословию всадников.

— Расступитесь! Дайте дорогу!

Толпа бросилась в сторону. Кассий Херея рысью двинулся вперед. Харита Поппея сделала знак рабам, которые быстрыми мерными шагами стали продвигаться среди толпы. Фабий вскочил в колесницу и, щелкая бичом, погнал мулов.

Сзади стали усиливаться звуки унылой песни, которая покрывала гул кипевшей улицы. Приближалось несколько сот рабов, их гнали на озеро Зеркало Дианы. Группа вооруженных всадников ехала впереди; тупыми концами копий они толкали загораживавших им путь прохожих. За ними шли рядами полуголые рабы разного цвета, доставленные в Рим со всех побережий Средиземного моря. Здесь были бронзовые египтяне, бледно-желтые сирийцы, черные нумидийцы с курчавыми волосами и костяной палочкой в носовом хряще. Самыми рослыми были белокурые германцы и мускулистые волосатые скифы с широкими рыжими бородами. Все они несли на плечах громадные длинные весла.

Расталкивая толпу, сапожник подбежал к худощавому рабу, шедшему с краю. Его ноги были скованы цепью, середину которой подтягивал ремень, привязанный к поясу, чтобы цепь не волочилась по земле.

— Брат Тетриний, возьми пирожков, луку, чесноку. Я успел их занять у соседа-пирожника. Почему такие несчастья свалились на твою голову? За что боги наказали тебя?

— Не боги, а жадность Калигулы. Он готов продать в рабство всех римлян, чтобы получить новые деньги для своих пиров.

Крики надсмотрщика и удар плетью отогнали сапожника от его брата. Угрюмые рабы шли тяжелыми шагами и пели:

Не ждите нас, отец и мать,
Вам больше сына не видать.
Ударь веслом, ударь еще,
Откинь сильней назад плечо.
Уносит нас вперед волна,
Все дальше наша сторона.
Ударь веслом, ударь еще,
Откинь сильней назад плечо.

* * *

Длинная вереница рабов под конвоем вооруженных всадников подошла к небольшому озеру, расположенному у подножия горы Артемизии, заросшей приземистыми соснами.

Озеро находилось в котловине, окруженной невысокими горами. Разноплеменные рабы всех оттенков кожи, теперь покрытые дорожной известковой пылью, казались одинаково серыми. Большинство бросилось к воде, чтобы смыть с себя грязь и освежиться. Некоторые, усталые и больные, бессильно растянулись на земле.

Тетриний, искупавшись в прохладной воде глубокого озера и почувствовав себя бодрее, стоял на берегу. Его взгляд ощупывал окрестные хребты, вьющиеся по ним тропинки, и мысли о новом побеге волновали его.

На озере Зеркало Дианы уже стояли близ берега шесть разукрашенных нарядных кораблей. Один из них, поврежденный в пути, слегка накренился, и толпа рабов возилась около него, гулко колотя молотками, исправляя поломанный борт.

В стороне протянулось по склону горы бедное горное селение с приплюснутыми хижинами, сложенными из камней и покрытыми хворостом. Жители-пастухи, одетые в бараньи шкуры и грубые коричневые шерстяные плащи, глядели расширенными, блестящими от удивления глазами на шумную пеструю толпу, все прибывавшую к берегам обычно тихого, безлюдного озера. Со всех сторон подходили преторианцы[1] в блестящих медных латах, бесчисленные служащие и рабы, которые вели лошадей, мулов и ревущих ослов. Всевозможные колесницы, двух- и четырехколесные, подвозили знатных патрициев и их семейства. Гости направлялись, чтобы переодеться, к нарядным пестрым палаткам, заблаговременно разбитым вдоль берега.

Через некоторое время вспомнили о рабах; им были выданы вареные бобы, по куску хлеба и кружке вина с уксусом. Затем их погнали на корабли, разукрашенные гирляндами цветов и разноцветными флажками, трепетавшими от ветра. Пока двести рабов по очереди гуськом спускались в трюм через небольшой люк, Тетриний рассматривал убранство корабля. На палубе были устроены красивые киоски и арки, а под ними находились скамьи, покрытые дорогими цветными тканями. Виноградные кусты и плодовые деревья со спелыми фруктами были живописно размещены в разных местах, скрывая певцов и музыкантов. Середина палубы была затянута громадными восточными коврами.

Удары бича по голым плечам заставили Тетриния быстро нырнуть в черное квадратное отверстие люка. По узкой

[1] Преторианцы — гвардия римских императоров.

лестнице он спустился вниз. После дневного света ему сперва казалось, что он попал в полный мрак, но слабый свет проникал сквозь заделанные железными прутьями отверстия в борту корабля, из которых высовывались висящие на ремнях рукоятки ста семидесяти весел. Пять рядов скамеек, один над другим, были расположены вдоль обоих бортов. Полуголые гребцы, крича и ругаясь, невольно натыкались друг на друга в полутьме, рассаживаясь по скамьям.

Несколько кузнецов с щипцами и молотками подходили по очереди к каждому из гребцов и приковывали короткой цепью одну ногу к толстому поперечному брусу, на котором держались скамейки.

Так как Тетриний был римлянин, его оставили для посылок. Большинство рабов были чужеземцы, плохо понимавшие латинскую речь, и их загоняли, как скот, с помощью бичей. Около двадцати рабов были оставлены неприкованными, чтобы сменять во время гребли выбившихся из сил.

На возвышении посреди трюма стоял гортатор [1], который ударами железного молотка по столу должен был выбивать такт для ровной гребли. По окрику гортатора все гребцы положили руки на тяжелые, налитые свинцом рукоятки весел и оставались в напряженном положении, ожидая команды. Сквозь палубу до них доносился шум прибывающих гостей, топот пробегавших матросов, крики команды.

Загремели удары в медные щиты, запели трубы, давая императорские сигналы, и раздались громкие приветственные крики. Рядом подплыл и остановился корабль, на котором находился сам цезарь.

Сквозь железные прутья люка Тетриний увидел множество нарядно одетых патрициев в белоснежных тогах с пурпурной каймой. У всех на головах были надеты венки. Впереди стоял император — высокий молодой человек, очень тучный, но с истощенным лицом, в красной одежде, расшитой золотом. Его высокий лоб был полузакрыт венком. Глубоко сидящие глаза лихорадочно и недоверчиво осматривали окружающих. Прицепленная золотая борода придавала ему вид актера.

Рядом с ним стоял большой жеребец с гривой, заплетенной в мелкие косички, перевитые цветными лентами, с позолоченными копытами и драгоценным ожерельем на шее.

---

[1] Гортатор — надсмотрщик.

На спину жеребца была накинута белая тога сенатора, окаймленная пурпурной полосой. Два старых патриция стояли по сторонам коня и держали золотые цепи, прикрепленные к недоуздку. Конь похрапывал, перебирая ногами по мягкому ковру, и косился блестящими глазами на огни, пылавшие в железных корзинах, возвышавшихся на подставках около бортов.

Присутствовавшие гости проходили по очереди сперва мимо жеребца, кланяясь ему, как высокому сановнику, и восклицая: «Привет коню цезаря, сенатору Инцитату!» — затем приближались к Калигуле.

Цезарь протягивал очень тонкую, несмотря на его тучность, руку, и патриции, подобострастно наклоняясь, подходили и целовали ее. Когда к императору склонился старый центурион Херея, с косым шрамом через все лицо, протянутая рука Калигулы вдруг вцепилась в седую голову и вырвала несколько волосков.

— Смотрите,— воскликнул с деланным хохотом император,— я у него вырываю волосы, а он остается таким же спокойным, как всегда!

Центурион побледнел, шрам на его лице побагровел, но Калигула в выражении лица старого воина не мог найти ничего, за что бы он мог обвинить его, и, махнув рукой, разрешил ему отойти.

Тетриний, получив удар по ногам, отскочил от люка. В трюме стало крайне душно. В нескольких местах раздавались крики:

— Бибэре![1]

Тетриний и его неприкованные товарищи пробирались с глиняными чашами по рядам, подавая пить задыхавшимся в трюме гребцам. Раздался новый оклик надсмотрщика, и молоток звонко ударил по доске. Мускулы напряглись, тела откинулись назад, и рукоятки весел стали равномерно двигаться.

— О-ооп! О-ооп! — выкрикивал надсмотрщик при каждом ударе.

* * *

По всему побережью упали деревянные щиты, загораживавшие заранее зажженные костры, и яркие огни осветили поверхность озера и ближайшие уступы гор. Через определенные промежутки времени костры снова загоражи-

[1] Бибэре — пить *(лат.)*.

вались щитами, и все погружалось во мрак. Тогда пять кораблей двигались вокруг озера как сказочные чудовища, блистая множеством огней, зажженных вдоль бортов.

Посреди озера медленно плыл особенно разукрашенный шестой корабль, на котором находился сам Калигула. В руках цезарь держал свернутый папирус, и приближенные предполагали, что там написана новая его ода. Император приказал, чтобы все другие пять кораблей непрерывно двигались вокруг озера, не уменьшая скорости. Маленькая лодка, в которой кроме гребцов сидело несколько человек с топорами, немедленно отчалила и объехала все корабли, передавая приказание Калигулы. Потом она прицепилась к последнему, пятому кораблю.

Плети надсмотрщиков проворно забегали по плечам рабов, полосуя тугие мускулы. Молоток гортатора застучал быстрее, шум опускавшихся весел усиливался, уключины визжали, корабли понеслись, вспенивая неподвижную гладь озера.

Калигула обмякшей поступью прошел на свое место позади роскошно убранного стола, за которым, по его приказанию, вместо слуг стояло несколько старейших сенаторов, одетых в холщовые передники рабов. Император весь вечер отдавал безумные приказы, словно испытывая терпение своих приближенных. Закованные в латы телохранители Калигулы, германские наемники, которых цезарь, не доверяя своим гражданам, нанимал за громадное жалованье, стояли, вытянувшись, близ цезаря, готовые исполнить каждый его каприз.

Внезапно бледное худое лицо Калигулы покраснело от приступа безрассудного гнева. Венок, украшавший его лысый череп, съехал на одно ухо, и цезарь закричал:

— Ах, какие чудные кудри у этого красавца Фабия! Конечно, он не откажется подарить их императору вместе со всем своим имуществом... Ха-ха!

Германские телохранители, поняв каприз императора, бросились исполнять его приказание.

— Посмотрим... посмотрим, как будет выглядеть этот надменный юноша, когда его обреют, разденут и привяжут к мачте на пятом корабле...— хихикал Калигула, и весь хор сенаторов и патрициев выражал одобрение словам божественного цезаря.

С растерянного Фабия сорвали одежду, красные башмаки, обрезали волосы и потащили к лодке, чтобы отвезти на пятый корабль.

Празднество продолжалось, отличаясь разнообразием, великолепием и безрассудной роскошью. Гостей угощали громадными рыбами, откормленными в императорских прудах мясом преступников и рабов, салатом из соловьиных язычков и прочими необычайными блюдами, специально придуманными искусными поварами.

Акробаты, извивавшиеся как змеи, жонглеры, канатоходцы, фокусники, испанские и египетские певцы и танцовщицы поражали своим искусством гостей, не находивших достаточно слов, чтобы выразить свое восхищение.

Равнодушным оставался только тот, в честь кого был устроен замечательный праздник, любимый конь цезаря Инцитат, хотя сам император кормил его с золотого блюдца позолоченным овсом и даже произвел его из сенаторов в высшее звание империи — консулы.

* * *

Под конец празднества Калигула взял пергаментный свиток, лежавший около него на столе, и несколько раз ударил им по золотой чаше. Прогремели медные щиты, запели трубы, и все замолкли, ожидая, что цезарь споет новую сочиненную им песню. На всех кораблях затихли музыка и пение, и только весла продолжали мерно вспенивать воду, поскрипывая в кожаных уключинах. Щиты закрыли береговые костры, и озеро погрузилось во мрак.

Внезапно на пятом корабле вспыхнул пожар. Маленькая лодочка отцепилась от него и стала кружить по озеру. Длинные весла корабля перемешались и бессильно опустились, как перебитые лапки сколопендры. Дикие крики ужаса и мольбы о помощи стали раздаваться с горящего корабля. Пламя быстро охватывало просмоленные снасти и причудливые киоски; во все стороны сыпались искры. Многие стали прыгать в воду. Привязанный к мачте Фабий рвался и кричал, прося его отвязать перед смертью. От яркого пламени низкие облака и хребты гор стали розовыми.

Калугила стоял, расставив длинные тонкие ноги, и, развернув пергамент, кричал:

— Сам великий Юпитер наказал их! Вот у меня список лиц, находящихся на корабле, они все тайные противники цезарской власти. Их имущество становится собственностью цезаря... Слышите их песни — какая прекрасная музыка! Ха, ха, ха! — И цезарь стал читать по пергаментному свитку имена лиц, которые осуждены им на сожжение живьем.

Тетриний и несколько других неприкованных рабов, как только заметили пожар и панику на своем корабле, бросились на помощь оставленным на произвол судьбы товарищам. В трюме раздавались отчаянные крики. Громадные кимвры, рыча от ярости, пытались разорвать цепи, сухие сирийцы грызли себе руки, мохнатые скифы затянули грубыми голосами дикую песню смерти.

— Крепитесь, друзья! Мы вас освободим! — кричал Тетриний.

Схватив молоток гортатора, он бросился к ближайшему гребцу. Черный нубиец, вырвав молоток, двумя ударами перебил кольцо своей цепи и визжа бросился к решетке люка.

— Назад! Ты должен помочь другим! — пытался его остановить Тетриний, но тот, не понимая, точно безумный оглянулся, оттолкнул Тетриния и стал взбираться по трапу.

Гребцы вырывали друг у друга молоток. В паническом ужасе они дробили один другому головы и руки, теряя последнюю надежду на свободу. Через решетку люка стал пробираться дым, загорелась лестница, ведущая наверх. Одновременно в трюм хлынула вода, затопляя сидевших внизу рабов,— это люди с лодки прорубили борт.

Некоторые рабы, видя неизбежность смерти, стали петь заунывные песни, другие кричали:

— Прощайте, друзья! Проклятие тиранам!

Тетриний побежал наверх по горевшему трапу. Вокруг входа все пылало. Могучему нубийцу вместе с Тетринием удалось выломать накалившуюся решетку люка и выскочить на палубу.

«Вот случай убежать» — стучало в голове у Тетриния, и, накрыв голову краем плаща, он пробежал пылающую палубу и бросился за борт. Он слышал предсмертные крики и песни погибавших двухсот рабов, отдававшиеся ужасным эхом в горах.

Галера наклонилась набок и стала быстро погружаться, шипя и потухая. Когда на месте гибели корабля растаяло громадное облако пара, на поверхности воды показались затейливые киоски, скамейки, бревна, доски и цеплявшиеся за них тонущие люди. Маленькая лодка, как коршун, кружилась по воде, и сидевшие в ней слуги Калигулы добивали топорами пытавшихся спастись.

На других кораблях все объятые ужасом певцы и музыканты замолкли, но Калигула, обернувшись, закричал:

— Играйте гимн цезарю!

И дрожавшие музыканты, сбиваясь с такта, заиграли торжественную мелодию.

* * *

На другой день утром на пологой вершине горы Артемизии сидело два человека. Один был старый пастух, завернутый в баранью шкуру. Его седые волосы резко выделялись на загорелой темной коже. Он вдевал лепешку на конец ножа и грел ее над углями. Лепешка становилась мягкой, и он передавал ее Тетринию, устало сидевшему рядом.

Его тело было покрыто ссадинами и пузырями от ожогов. Бараньим салом, растопленным в черепке, он смазывал свои раны и два кровоточивших кольца на ногах, оставшиеся от цепей.

— Ты пройдешь хребтами немного к югу,— объяснял пастух,— затем подождешь наступления ночи. Тогда ты пересечешь большую Аппиеву дорогу. По ней всегда движется много народу,— увидят круги на ногах, сразу догадаются, что ты беглый, и тебя схватят. Пройдя Аппиеву дорогу, ты пойдешь опять горами, а пастухи тебя подкормят [1].

Сквозь ветви сосен видно было лежавшее внизу, под горой, темное глубокое озеро. Пять кораблей цезаря носами врезались в берег, и множество рабов канатами старались вытащить их на сушу. Пестрые палатки, разбросанные вдоль берега, поспешно разбирались. Патриции на колесницах и верхом уезжали с озера, где они видели накануне необычайный праздник цезаря.

На золоченой колеснице, запряженной четверкой белых коней, уезжал император. Сзади колесницы, между двумя конюхами, следовал золотисто-рыжий конь цезаря Инцитат, закутанный в пурпурную попону.

---

[1] В замечательном сочинении Светония «Жизнь двенадцати цезарей», описывающем царствование Калигулы, упоминается Тетриний, который был схвачен воинами императора и после жестоких пыток казнен, обвиненный как разбойник. Надо предполагать, что, став во главе группы беглых рабов, спасавшихся в горах, Тетриний, после долгой и отчаянной борьбы с отрядом цезаря, был наконец окружен сильным противником и погиб, защищая свою свободу.

Окружив колесницу, шли закованные в тяжелые доспехи германские телохранители.

И впереди и сзади императорской процессии двигались отряды преторианцев в блестящих на солнце медных латах.

* * *

В тот же год зимою Калигула был убит заговорщиками, когда проходил подземным ходом из дворца в храм бога Юпитера. Первый нанес удар мечом по лицу старый центурион Кассий Херея. На место Калигулы вступил другой император, но от этого мало что изменилось в еще могучем, но уже гниющем Риме. Все осталось по-прежнему: и рабство, и насилие, и пресмыкание патрициев перед цезарем...

1929

ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕЧТЫ

Два воина в блестящих латах и высоких ботфортах с медными шпорами освещали пылающими факелами вход в каменную башню. Тюремщик, гремя большими ключами, отворял ржавую железную дверь, ведущую в страшное подземелье, откуда узникам не было возврата.

Император вошел в мрачную каменную пасть. Там начинался спуск. Он вспомнил, что должно быть тринадцать ступеней. Повеяло холодом и сыростью. Впереди шел факельщик, за ним тюремщик. Красное пламя трепетало, и тени прыгали по стенам и сводчатому потолку, с которого свешивались мокрые известковые сталактиты и густая серая паутина.

За императором следовал второй воин с факелом, камергер Иоахим и слуга-араб с корзиной, в которой находились кисти винограда, апельсины, кувшин вина и серебряная кружка. Сегодня император хотел проявить милость к заключенным. За поворотом открылся темный коридор с несколькими низкими дверями по обе стороны. В одной из них, в глазке, императору почудился чей-то тревожный взгляд.

— Которую камеру прикажешь открыть? — спросил тю-

ремщик, толстый, с опухшим красным лицом и узкими глазами-щелками под нависшими щетинистыми бровями.

— Где находится Пьетро де ла Винья? [1]

— Имена заключенных мне неведомы. Мне говорят только их номера.

— В девятой камере,— сказал камергер Иоахим.

— Она в конце второго коридора.

Все двинулись дальше, в боковой узкий проход, еще более сырой и темный. Глухой шум раздался впереди в темноте. Большие рыжие крысы, прыгая одна через другую, с писком метнулись навстречу, под ноги шедшим, и быстро разбежались, исчезая в щелях между плитами, метнув черными голыми хвостами.

— Бесовское отродье! — проворчал тюремщик.— Я приносил несколько котов, так проклятые крысы их загрызли и сожрали.

Небольшая низкая дверь в девятую камеру подалась с визгом после сильного нажима плечом угрюмого тюремщика. Узкий подвал, сложенный из каменных плит. На стенах еще кое-где сохранилась штукатурка, густо покрытая зеленоватой плесенью.

Вдоль стен повисли восемь заржавленных железных цепей с кандалами. В дальнем углу сидел на соломе человек. Он поднялся, зазвенев цепью, которой одна его нога была

---

[1] Пьетро де ла Винья — выдающийся итальянский государственный деятель, философ и поэт XIII века, вышедший из бедной, незнатной семьи и своими выдающимися способностями проложивший себе дорогу: достиг высокого положения, став канцлером (первым министром) царствовавшего в то время в Сицилии наследника Великой Германской империи — Фридриха II Гогенштауфена.

Фридрих II сам был поэтом, покровителем ремесел и искусств, основателем Поэтической академии в Палермо и Неаполитанского университета и непримиримым врагом папства, в борьбе с которым прошла вся его жизнь. Однако, когда завистливые придворные, оклеветав, обвинили Пьетро де ла Винья в измене, Фридрих вверг того в темницу и ослепил. Историки не колеблясь утверждают, что де ла Винья был невиновен и погиб в тюрьме, покончив с собой в порыве отчаяния.

Данте в своей поэме «Ад» (песнь 13) встречается с Пьетро де ла Винья. Когда Данте с Виргилием вступают во второй пояс Ада, где караются причинившие себе вред и где самоубийцы превращены в узловатые древесные стволы, на которых гнездятся гарпии, Пьетро отвечает на вопрос Виргилия:

...Я тот, кто оба сберегал ключа
От сердца Фредерика и вращал их
К затвору и отвору, не звуча.

прикована к стене. Шатаясь, он ухватился за стену худой, костлявой рукой. Старик с длинными, седыми, пожелтевшими космами, ниспадавшими на плечи, полуприкрытые отрепьями истлевшей одежды, он застыл, как бы прислушиваясь. Вместо глаз зияли две гноящиеся красные впадины.

Все с ужасом и жалостью смотрели на изможденного старика, похожего на выходца из могилы. В воцарившейся тишине слышалось только потрескивание горящих факелов и шипение капель смолы, падавших на сырой пол.

— Здравствуй, Пьетро де ла Винья! — с трудом выговорил император.

— Кто вы? — хрипло спросил узник.— Зачем пришли? Неужели, чтобы привести в исполнение последнюю милость августейшего императора? Я давно всеми забыт, даже смерть не приходит за мной, чтобы увести в царство теней.

— Он безумный...— прошептал тюремщик.— Уж столько лет каждый раз, как я приносил ему пищу и воду, он все время разговаривает один, воображая, что у него полная камера людей.

— А помнишь ли ты свое имя? — спросил император.

— Теперь я только девятый узник, единственный оставшийся в живых в этой каменной щели, безымянный мечтатель.

Хранитель тайн его, больших и малых,
Неся мой долг, который был мне свят,
Я не щадил ни сна, ни сил усталых.

Развратница, от кесарских палат
Не отводящая очей тлетворных,— Зависть,
Чума народов и дворцовый яд,—

Так воспалила на меня придворных,
Что Август, их пыланьем воспылав,
Низверг мой блеск в пучину бедствий черных

Смятенный дух мой, вознегодовав,
Замыслил смертью помешать злословью,
И правый — стал перед собой не прав.

Моих корней клянусь ужасной кровью,
Я жил и умер, свой обет храня,
И господину я служил любовью!

И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от навета,
Которым зависть ранила меня!

Император, взволнованный, прикрыл глаза рукой, сделал знак камергеру, чтобы тот продолжал разговор с узником.

— Наш великий августейший император, как всегда, захотел проявить свою милость. Он прислал тебе вина и плодов.

— Я до глубины души признателен моему августейшему владыке за его новую милость, хотя время сделало меня безразличным к мирским радостям.

— Почему ты говоришь: «новую милость»? — спросил император.— Какие же раньше ты видел его милости?

Старик вздрогнул и как-то насторожился, ему послышалось что-то знакомое в голосе.

— Самая великая милость, мне оказанная,— та, что император разрешил мне пребывать в этом приюте чудесных встреч.

— Каких встреч? С кем?

— Когда судьба сыграла со мной горькую шутку и после того, как я занимал одно из первых мест в империи, я был ввергнут в мрачную клоаку, я сказал себе: «Все к лучшему. Это испытание моего мужества. Я не покорюсь судьбе и не впаду в уныние, которого ожидают мои враги...» И тогда я создал себе собственный прекрасный, сказочный мир, в котором начал жить, не зная границ между веками, странами, народами.

— Я же сказал, что он безумный,— пробормотал тюремщик.

— Говори, говори дальше,— приказал, задыхаясь от волнения, император.

— Со мною вместе к этой стене были прикованы восемь человек: один патер, провозгласивший в церкви, что наш великий император трижды проклят его святейшеством папой Григорием, и призывавший богомольцев также проклинать нашего благодетеля Фридриха Второго. Затем два удальца, в пьяном виде бранившие в таверне нашего милостивого покровителя. Один морской пират, два купца, обманывавшие народ, аптекарь, продававший зелье для вызывания дьявола, и, наконец, монах, ходивший по базарам, проповедуя, что настали последние времена и в мир явился антихрист в лице императора Фридриха.

— И все они были казнены?

— Нет. Хуже. Они умерли здесь от уныния, от слез, оттого, что разучились смеяться, постепенно видя смерть одного за другим, а я, ослепленный по милости императора, от этих ужасов был избавлен. Все они бранили и прокли-

нали того, кто посадил их на цепь в подземелье, а я его восхвалял и благодарил за щедрость, сочиняя и записывая радостные песни.

— Записывал? — удивился император.— На чем же ты писал их?

— Я их записывал осколком кремня на заплесневелой стене. Теперь я знаю, что они не умрут, что они останутся жить после моей смерти, и юноши и девушки будут повторять их.

С удивлением слушал император речь старика. Он приказал факельщику подойди поближе и пытался прочесть каракули, выцарапанные на стене дрожащей рукой слепого. Записей было много, но известковые капли, медленно стекавшие по стене, смывали драгоценные строки.

— Мне трудно прочесть твои песни,— сказал император.— Время их быстро смывает. Может быть, ты их помнишь? Скажи нам ту, в которой ты восхваляешь императора Фридриха за милость, оказанную тебе. Как все это необычайно,— шепотом промолвил он, обращаясь к камергеру.

— Конечно, я помню многие свои песни. Слушай! — И старик с глубокой взволнованностью и страстью прочел:

Великим ты себя считаешь, император.
А слышен ли тебе насмешки тонкой свист?
Безжалостный тиран, надменный триумфатор,
В народе шепчутся: «Он дьявол, Антихрист».

В исканьях же твоих заслуги несомненны:
Востока дивный мир открыл ты для веков,
Переведя канон бессмертный Авиценны
И в школы пригласив арабских мудрецов.

Ты выжег мне глаза. Замкнув в темнице тесной,
Меня послал ты в мир незримый и чудесный,
Куда пришли Гомер, Анакреон, Спартак...

В безумстве грез моих они, приняв участье,
Беседами со мной давали столько счастья,
Что стал лазурным днем мой долголетний мрак.

Изумленный пламенной речью узника, Фридрих прошептал:

— «Я «безжалостный тиран, надменный триумфатор»? Однако! Он говорит со мной и непочтительно, и дерзко... Правильно я наказал его.— И, обращаясь к старику, он сказал: — Прочти мне еще твои стихи.

— Хорошо. Слушай:

Она вошла ко мне... Светился нимб волос
Вокруг лица ее с алмазными глазами,
Меня коснулся шелк благоуханных кос,
И грязный, влажный пол покрылся вдруг цветами...

Я осязал тепло ее атласных рук,
И жарких, жадных уст к устам прикосновенье,
И не было в тот миг на свете страшных мук,
Каких не принял бы, чтоб удержать виденье.

Я снова молод был, беспечен, полон сил,
Свободен, как орел, и я ее просил:
«Не уходи, побудь, желанная, со мною!»

Но, тая медленно, как тучка в вышине,
Она с улыбкою шепнула нежно мне:
«Я снова возвращусь. Ведь я зовусь мечтою».

— Какой неукротимый, несгибаемый старик,— проворчал император и сказал узнику:— Ты больше не останешься в этой сырой яме. Камергер Иоахим, прикажи расковать Пьетро де ла Винья. Приставь к нему писца, которому он продиктует свои песни. Затем принеси их мне. Я тебя прощаю, Пьетро де ла Винья. Твоя волшебница мечта снова к тебе прилетела и широко открыла двери в новую, счастливую жизнь. Я возвращаю тебе свободу.

* * *

Через день Фридрих получил первую часть песен, записанных усердным секретарем со слов ослепленного канцлера-поэта.

А еще через день император призвал камергера Иоахима и сказал:

— Я прочел все песни, сочиненные Пьетро де ла Винья. Это непокорный, слишком самостоятельный ум. Такие песни мне не нужны, и они опасны, волнуя простой народ. Но я обещал ему свободу и не откажусь от своих слов.

* * *

Согласно повелению императора, в подземную темницу отправились камергер Иоахим с письменным приказом смотрителю дворцовой охраны, опытный кузнец с клещами и молотом для того, чтобы расклепать кандалы, брадобрей, слуга-араб с ведром теплой воды, мылом и мочалкой и второй слуга с чистым бельем, одеждой и башмаками.

Слепой узник встретил гостей спокойно и покорно предоставил себя в их распоряжение для мытья, стрижки и переодевания. Когда Пьетро де ла Винья был уже в нарядной бархатной одежде, вымытый, красиво обстриженный и, главное, свободный, без цепей на ногах, он попросил на короткое время оставить его одного, чтобы он мог подумать и прочесть необходимые молитвы перед вступлением в новый, счастливый период своей жизни.

Все вышли из камеры и ждали в коридоре, тихо переговариваясь. Ждать, однако, пришлось долго. Наконец Иоахим приоткрыл дверь и с криком бросился в камеру. Все последовали за ним и увидели, что бывший великий канцлер лежал на полу с разбитой головой: он сам размозжил ее о каменную стену. Кровь залила все его лицо. Он сжимал в руке обломок камня, а на стене, на плесени, появилась новая нацарапанная надпись:

«Я не хочу получить из рук злобного, несправедливого императора Фридриха никакой милости, никакого дара, хотя бы даже это была моя желанная свобода...»

1944

В ОРЛИНОМ ГНЕЗДЕ «СТАРЦА ГОРЫ»

БАШНЯ ДЖИННОВ

Застигнутые бурей в Курдских горах, видя, как быстро надуваются мелкие ручьи, обращаясь в пенистые бешеные водяные валы, как по склонам летят и прыгают мелкие камни, точно выпущенные из пращи, как низвергаются только что возникшие водопады,— промокшие путники уже считали себя почти погибшими, ожидая последнего, главного вала — селя, который огромной водяной струей прорвется сквозь ущелье, неся в своих клокочущих недрах деревья, вывернутые с корнями, пляшущие камни, перепуганных диких животных — медведей, пантер и оленей — вместе с неудачливыми охотниками, оказавшимися на пути водяного шквала.

Поэтому путники особенно обрадовались, заметив в стороне, на склоне горы, полуразвалившуюся древнюю каменную башню.

— Абдэр-Рахман! Там наше спасение! — крикнул Дуда,

обтирая рукавом свою намокшую бороду.— Скорее укроемся среди этих развалин, посланных нам аллахом!

Все торопливо поднялись по тропинке к подножью башни, окруженной полуразвалившейся оградой из больших камней.

Абдэр-Рахману показалось, что какое-то существо мелькнуло впереди и укрылось в башне. «Кто это? Пастух или охотник, а может быть, один из разбойников, подстерегающих караван? Нет ли там еще других?» Но думать было некогда. Готовый ко всему молодой арабский посол подошел к древней постройке.

Никаких признаков жизни в башне не замечалось. Сквозь провал в стене, заросший диким колючим кустарником, виднелось мрачное подземелье, куда не проникал дождь. Там было достаточно светло, чтобы разглядеть покрытые пеплом угли, черепки разбитой глиняной посуды и вязанку хвороста.

— Ведь мы идем не по главному караванному пути,— сказал шепотом Дуда.— Коварный курд, наш проводник, нарочно привел нас сюда, в дикое, глухое место. Я предчувствую, что, в дополнение к буре, вскоре сюда проберется шайка курдских разбойников и мы не сможем выполнить нашу задачу — передать «салям» халифа владыке татар.

— Я готов ко всему,— ответил, как всегда, беспечно Абдэр-Рахман.— Но больше всего я верю в мою счастливую звезду и в твою хитрость, мой обремененный знаниями, несравненный учитель. Горевать еще рано. Лучше позаботимся поскорее развести огонь. Хворост сухой, и скоро мы там обогреемся.

Проводник-курд быстро, с помощью кремня и кресала, высек огонь; затлел кусочек трута, вспыхнул хворост, и вскоре в подземелье разгорелся небольшой костер. Тем временем Дуда вместе с погонщиком провели двух верблюдов под камышовый навес. Там же стреножили и привязали обоих коней.

Буря продолжала еще свирепствовать. В подземелье все опустились на каменные плиты вокруг костра.

Один Дуда, полный тревоги, продолжал ходить вокруг башни, обследуя стены и стараясь прочесть надписи, нацарапанные на замшелых камнях. Вернувшись в подземелье, он развесил свой широкий плащ и полез к черной нише в стене, но стремительно отскочил, когда там, шипя, показалась голова большого ушастого филина с круглыми желтыми глазами.

— Плохое место: гнездо шайтана! — сказал проводник, ставя на угли медный котелок с мутной водой. Он достал из походной сумы муки и кусок вяленой баранины, опустил в котелок и стал помешивать похлебку.

Дуда, по своему обыкновению, которому он не изменял в течение всего пути, зажег масляный светильник, поставил его на каменный выступ стены и уселся под ним на корточках. Он раскрыл перед собою священную книгу и стал записывать на полях и на вложенных в нее длинных листках все, что путники видели и пережили за последние дни. Он писал арабской вязью, но слова были иного, непонятного языка. Когда, бывало, любопытные заглядывали в священную книгу, Дуда всегда им объяснял, что пишет на языке древних магов заклинания и молитвы, чтобы отгонять злобных джиннов, старающихся погубить мирных путников, насылая на них нежданные беды.

Вот что на самом деле писал Дуда:

«Мы выехали из славного города Багдада, столицы расслабленного и слишком недальновидного халифа Мустансира, который своей беспечностью погубит и столицу правоверных, и весь халифат. День нашего выезда был радостный. Предзнаменования нам обещали благополучный и удачный путь. Ни одна женщина нам не пересекла дороги, и над нами в синем небе чертил широкие круги большой орел.

Друзья юного Абдэр-Рахмана примчались из его родного кочевья на отборных клейменых аргамаках самых древних, славных конских родов. Когда мы выехали на равнину, все провожавшие нас удальцы устроили в честь уезжавшего друга «фантассио». Они носились наперегонки, скакали, стоя на седлах, и в это время метали в воздух камышовые дротики, подхватывая их на скаку. Все пели боевые песни. К вечеру друзья распрощались, пожелав Абдэр-Рахману удачи и славы.

В дороге я убедил Абдэр-Рахмана никогда не пренебрегать осторожностью и хитрыми уловками. Зная, что нам будут встречаться хищные и злые люди, желающие порыться в наших переметных сумах, прорезать их снизу и вытащить ценные вещи, мы поэтому на дно переметных сум насыпали жареного проса и туда же положили кожаные свертки с подарками халифа.

В каждом селении и кочевье, которое мы проезжали, мы расспрашивали обо всех дорогах. Мы указывали город, к которому будто бы направляемся, а отъехав немного, от-

пускали проводников, сворачивали с пути и ехали совершенно в другую сторону. Ночевали в укромных местах между скалами.

Мы встретили караван паломников — хаджей, возвращавшихся из святого города Мекки. Они шли медленно, распевая священные песни. Хотя все они считаются теперь праведными — хаджи, но многие из них были так же любопытны и вороваты, как простые смертные, и всеми способами старались разузнать, что хранится в наших дорожных сумах. Они вымаливали подачки и особенно еду.

Если бы мы одаривали всех, то у нас не осталось бы ничего, с чем бы мы могли добраться до стоянки великого татарского хана. Несмотря на то что двигаться вместе с караваном паломников было более безопасно от разбойников, все же мы среди ночи оставили славных хаджей и поехали дальше одни.

Сперва мы направились дорогой на Казвин, славный, богатый город. По пути нам встречались курдские селения. Я объявил как-то, что я лекарь, исцеляю безнадежно больных, возвращаю старикам молодость и силы, а меня сопровождает мой молодой помощник.

Все окрестные ханы, услышав это, прискакали лечиться у меня, привезли своих больных жен и всяких свежих и сушеных плодов, риса и ягнят. Все требовали, чтобы мы их лечили. Приобретя такую славу, я стал опасаться, что мы уже не выберемся от курдов. Одной ночью, при ярком лунном свете, мы направились сперва на север, потом на восток и попали во владения могущественного царства ассасинов — тайных убийц, возглавляемых загадочным и недосягаемым «Старцем горы».

Один охотник-курд взялся нас снова вывести на большую дорогу, ведущую к Казвину, и мы попали в ущелье, где разразилась небывалая буря. Потоки воды грозили нам гибелью. Мы укрылись в древней башне, где я при тусклом огоньке светильника пишу эти строки. Удастся ли нам спастись? Я верю в господа бога, который нас не оставит своей милостью, а еще больше полагаюсь на нашу находчивость и упрямство...»

Так писал Дуда и вдруг замер в испуге. Ему послышался свист, потом другой. Еще свист с противоположной стороны.

— Кажется, мы в западне! — прошептал Дуда.

— Я без боя не сдамся,— тихо ответил Абдэр-Рахман и протянул руку к копью.

— Мы пропали! — застонал курд-проводник.— Это разбойники-карматы [1], слуги «Старца горы».

Хриплый голос властно проревел из той ниши, где недавно шипел филин:

— Путники, не шевелитесь! Не пробуйте убежать, иначе прервется, как нитка, ваша жизнь.

Дуда, схватив горящую головню, закричал:

— Кто смеет такими дерзкими словами оскорблять посланника халифа, потомка пророка Мухаммеда, да будет над ним величие и мир!

Абдэр-Рахман вскочил, готовый к бою.

— Путник, не шевелись, не шевелись! — раздались голоса, и во всех проломах стены показались люди с натянутыми большими луками. Длинные стрелы были готовы послать смерть. У этих людей с черными курчавыми бородами из-под остроконечных высоких овчинных шапок блестели настороженные глаза.

— Зачем вы прибыли в эти запретные владения грозного «Старца горы»?

— Именно к нему мы и едем! — не колеблясь сочинил Дуда.— Мы посланы священным приказом халифа всех правоверных Мустансиром, да укрепится его власть и величие! И мы должны положить в руки владыки этих гор послание халифа и редчайший подарок, им посылаемый.

Тот же голос снова проревел:

— Покажите немедленно этот подарок и послание халифа!

Абдэр-Рахман закричал:

— Эй ты, храбрый удалец, запрятавшийся в совиной дыре! Выходи-ка сюда, и я испытаю крепость твоего заржавленного меча.

Все затихло, и еще раз прохрипел голос из темноты:

— Отвечайте то, что вас спрашивают. Скажите ваши имена. Докажите, что вы говорите правду.

— Прежде чем вам отвечать, объясните, кто вы, нападающие на мирных путников? Кто дал вам право угрожать нам?

---

[1] Карматы, или ассассины,— могущественная мусульманская (шиитского толка) секта, своими убийствами терроризировавшая в течение 150 лет все государства Ближнего Востока. Они применяли одуряющее курение гашиша, добываемого из сока конопли. Крестоносцы первые прозвали курильщиков гашиша карматов ассассинами, после чего во французском языке это слово получило значение вообще «убийц».

Голос из темноты ответил:

— Вы — наши пленники, а мы — слуги потомка великого Абдаллаха ибн-Меймуна Каддаха. На этой горе находится его неприступный дворец Дар-аль-Хиджре. Всякий путник, проезжающий через этот край, должен оставить у подножья горы достойный дар, и тогда Ала-ад-Дин, великий Даый[1], либо разрешит ехать дальше, либо прикажет прекратить навеки путь дерзких.

Дуда ответил:

— Теперь я понял, что мы находимся во владениях великого многознающего учителя и защитника всех страждущих, правнука великого Хасана Саббаха. Мы счастливы, что прибыли наконец к той священной горе, которую мы разыскиваем уже сто дней. Ты расскажешь всезнающему учителю, что его желает навестить и поцеловать перед ним землю славный Абдэр-Рахман, потомок прославленного Мухаммеда, и ученый лекарь Дуда, прозванный Праведным, излечивающий все болезни.

Люди с натянутыми луками отступили обратно в темноту. Затем хриплый голос снова сказал, уже более милостиво:

— Отдыхайте спокойно до утра и набирайтесь сил. Утром вам придется сделать трудный переход по скалам и подняться на вершину горы, где находится крепость и дворец Дар-аль-Хиджре.

АЛАМУТ, СТОЛИЦА АССАССИНОВ

Утро настало солнечное. В бирюзовом небе кружились два орла. Стаи ворон и пестрых сорок пролетали с карканьем в поисках трупов, выброшенных на прибрежные скалы ночным ураганом.

Караван снялся со стоянки, и все двинулись в путь, направляясь в таинственное обиталище владыки карматов.

Дорога тянулась по склону горы. Видно было далеко, как тропинка, едва заметная на узком карнизе, высеченном в скале, вилась над мрачным ущельем, где в туманной глубине бурлил еще не успокоившийся после бури поток. Коням и особенно тяжело навьюченным верблюдам приходилось двигаться весьма осторожно, так как часто встречались поперечные трещины, размытые дождем, где всякая ошибка грозила падением вниз, в пропасть.

[1] Даый — посвященный в религиозные таинственные обряды.

Далее путники вступили в дикий, труднопроходимый лес. Густо разросся невысокий искривленный дубняк, среди которого поднимались стройные стволы вязов, широко раскинувши свою пышную зелень. Между деревьями разрослись кусты высокой цепкой ежевики, сплошной стеной загородившей доступ в лес, где, по словам проводника, пасутся пятнистые кабаны и их подстерегают хищные тигры. Чем выше поднималась дорога, тем шире открывались голубые дали, показывались нагроможденные в диком беспорядке вершины горных хребтов. Дорога то спускалась в седловину, то взбиралась на перевал. Два больших черных грифа пронеслись над головами. Один взмывал широкими кругами, поднимаясь все выше. Второй несся за ним вдогонку. Первый держал что-то в когтях и, когда приблизился другой, выронил свою ношу. Преследовавший гриф прямой стрелой скользнул вниз и уже над самой скалой снова взлетел кверху.

Перед Абдэр-Рахманом упала на дорогу оброненная грифом голова газели с двумя черными рожками, видимо разбившейся во время бури. Один глаз, черный с синевой, был полузакрыт. Рыжеватая шелковистая шерсть уже обсохла и блестела на солнце. Проводник поднял голову за рожки и подал ее Абдэр-Рахману. Подъехавший Дуда сказал:

— Небо шлет тебе свой привет. Это означает, что тебе предстоит большая удача.

Абдэр-Рахман отдал голову курду:

— Сегодня вечером ты эту голову разделишь с вожаком верблюдов.

— А ты, почтенный ага, разве не хочешь отведать ее?

— Меня накормит владыка этих гор. Аллах, мой покровитель!

На одном перевале шедший впереди кармат поднял руку с копьем и приказал всем остановиться. Он торжественно сказал:

— Аламут!

Опустившись на колени, он склонился до земли. Другие карматы тоже выразили свое почтение к святилищу их владыки. Подойдя к Абдэр-Рахману, вожак сказал вполголоса:

— Может быть, ты раздумал? Немногие приезжают в это орлиное гнездо «Старца горы», но только очень счастливым удается вернуться обратно под свой родной кров.

— Хан двух слов не говорит. Вперед! А там будь что будет!

Абдэр-Рахман пристально всматривался, стараясь раз-

глядеть всю котловину между двумя вершинами горы. Он старался узнать, сколько тропинок ведет к этому, укрывшемуся среди диких хребтов, становищу загадочного старца.

«Тропинок кругом несколько,— думал он.— Старый хитрый барс, вероятно, сам озабочен тем, чтобы иметь возможность ускользнуть от врагов. Некоторые тропинки ведут на соседние хребты. Одна опускается в глубокое ущелье, и, может быть, она наиболее удобна для бегства. На хребтах путники всегда заметны издалека... Что же представляет собой грозный «Старец горы»? Нет такого человека, которого нельзя было бы очаровать или одурачить. Нужно только избрать наиболее верный способ...»

Аламут казался естественной крепостью. На четырех сторонах небольшой котловины возвышались четыре каменные сторожевые башни, где показывались часовые. Ряд низеньких каменных зданий с плоскими крышами полукругом опоясывал площадь. Одно здание, вероятно главное жилище старца, было двухъярусное, с четырьмя балкончиками. Посреди плоской крыши поднимался остроконечный минарет, выложенный сверкающими на солнце изразцами. На балкончике минарета показался муэдзин, запевший тонким, высоким голосом обычный утренний призыв к молитве.

Прибытие нежданных путников вызвало смятение в мирно безмолвствующем Аламуте. Вооруженные ассассины сбежались со всех сторон и выстроились в ряд перед главным зданием. Несколько трубачей изо всех сил стали подавать сигналы, дудя в длинные кожаные трубы.

Главное здание было огорожено каменной стеной в два человеческих роста. Тяжелые ворота, обитые железом, охраняли вход.

Слуги в черных остроконечных овчинных шапках, подпоясанные кожаными ремнями, на которых висели широкие кривые ножи, подбежали к путникам и взяли под уздцы лошадей. Дуда спустился на землю первым, степенно подошел к Абдэр-Рахману и почтительно взялся за его стремя. С низким поклоном он хотел помочь своему ученику, но тот легко соскочил с коня и шепнул Дуде:

— Требуй помещения для почетных гостей! Требуй, а не проси!

Дуда, проведя руками по бороде, сложил их перед собой и произнес молитву, повернувшись лицом к востоку, где солнце уже ярко светило, поднявшись над голубыми скалистыми хребтами.

Ассассины, с копьями у ноги, стояли полукругом. К ним подбегали все новые. С раскрытыми ртами следили они за каждым движением прибывших редких гостей. Дуда обратился к одному ассассину, казавшемуся начальником: голова его была украшена огромной чалмой из индийской узорчатой ткани:

—. Где помещение для почетного посла от великого халифа правоверных Мустансира Багдадского? Он послан к владыке вашему — да будет над ним мир и нескончаемые победы!

Начальник оглянулся, поговорил с ассассинами и ответил:

— Мы сперва должны проверить те грамоты, которые везет этот неведомый удалец, чтобы убедиться, насколько он действительно почетный посол.

Дуда воскликнул:

— Я кятиб, секретарь и великий хранитель драгоценных грамот, бережно везу их и покажу только после того, как мой высокий повелитель совершит нужные молитвы и омовения, указанные пророком Мухаммедом,— величие над ним и почет! Когда он облачится в полагающиеся для приема одежды и предстанет перед взорами вашего достопочтенного владыки,— слава ему и многие годы безмятежного процветания! Если же вы не укажете нам такого помещения, то мы сейчас же повернем наших коней и направимся снова в трудный путь через эти горы, которые мы прошли, несмотря на чрезвычайные тяготы и опасности.

Начальник провел ладонями по своим щекам, также сложил их перед лицом, произнес молитву и тихо дал приказание окружавшим его людям. Несколько ассассинов бросились бегом к зданию, находившемуся в стороне от главного дома. Другие ассассины подбежали к коням и верблюдам.

— Я вас прошу следовать за мной в этот приют для почетных гостей, а верблюды будут отведены в другое здание.

— Нет! Верблюды будут находиться тоже возле нас,— резко ответил Дуда.— В переметных сумах на верблюдах находятся священные предметы и все грамоты. Чужие руки не посмеют их коснуться. Мы не расстанемся с верблюдами.

— Следуйте за мной,— сказал начальник.— Я, великий визирь владыки этих гор, клянусь, что ничто не грозит безопасности вашей и всех вьюков, которые следуют с вами.

— Аджаб, аджаб! (Удивительно!) — воскликнули ассассины.

Весь маленький караван пошел к железным воротам, ко-

торые со скрипом и скрежетом отворились. Близ крайних небольших домиков, предназначенных для почетных гостей, все вьюки были сняты, перенесены внутрь одного из них: там оказалась узкая длинная приемная, пол которой был покрыт коврами вдоль стен. Посреди одной стены находилось углубление, выложенное камнем,— обычный у горцев очаг, где сейчас же были зажжены пучки сухого вереска. Проводник-курд был уведен ассасинами куда-то для допроса, а погонщик верблюдов, почти черный араб, остался возле животных, опустил их на колени и стал жалобно вопить, требуя корма для них и себя.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТАЙНЫХ УБИЙЦ

Почтительный слуга в овчинной остроконечной шапке, в черном чекмене, перетянутом матерчатым кушаком, и в широчайших, как пузыри, синих шароварах безмолвно вырос перед Абдэр-Рахманом. В левой руке он бережно держал тремя пальцами красный плод граната, в правой — плеть с гирькой на конце. Многозначительно поднимая и опуская брови, он доложил как что-то очень важное, что «защитник правой веры и бесчисленных карматов» готов допустить пред свои очи блистательного посла халифа багдадского,— да будет над ним величие и мир!

Слуга объяснил, что гранат дарится послу как знак благоволения великого Дабя Ала-ад-Дина к приехавшему гостю, а плеть означает, что если гость не выполнит предлагаемого, то у владыки Аламута имеются все возможности заставить гостя покориться.

Абдэр-Рахман ответил коротко:

— Пекп! (Ладно!)

И оба путника направились на прием к владыке ассасинов.

* * *

В приемную залу с нарисованными на стенах павлинами торжественно вошли двое слуг, неся на вытянутых руках подносы, покрытые расшитыми тканями. На одном стояла большая серебряная чаша, окруженная девятью маленькими серебряными стаканчиками. На другом лежал кривой кинжал дамасской узорчатой стали с резной рукоятью из дымчатого мекского камня.

За слугами торжественно выступал в парчовом халате точно окаменевший Дуда, в огромном белом тюрбане, под-

поясанный серебряным поясом, на котором висели кожаный продолговатый калямчи (футляр для камышинок) и бронзовая чернильница. В руках он нес, прижимая к груди, наполовину завернутую в шелковый цветной платок священную книгу, продиктованную аллахом посланцу своему Мухаммеду. Весь Коран, в кожаном переплете с серебряным тиснением, был размером не больше ладони и написан искуснейшим багдадским каллиграфом. Последним шел Абдэр-Рахман, легкой походкой джигита-охотника.

— Берикеля! (Молодец!) — раздался чей-то тихий возглас восхищения.

Низкий широкий трон на точеных ножках, обитый пестрым бархатом. На высокой спинке трона вышитое золотыми нитками изображение летящего орла. На троне, подобрав под себя ноги в шерстяных полосатых носках, страшный, лохматый старик в черной овчинной остроконечной шапке, надвинутой на брови. Седые растрепанные космы свесились на лицо. На щеках, покрытых красными пятнами, седые клочья бороды. Правая рука лежала на подлокотнике кресла, и пальцы, унизанные алмазными перстнями, быстро шевелились. Абдэр-Рахман понимал, что глава ассассинов ждет: «Поцелует ли гость правую руку?» Но упрямая гордость вольного кочевника ему подсказывала: «Ты не поцелуешь этой, залитой кровью, орлиной лапы!»

Приблизившись, Абдэр-Рахман остановился. Слуги с подарками встали сбоку. Дуда, подойдя к трону, опустился на колени и поцеловал ковер. Старик вдруг выпрямился, встал и взял из рук Дуды священную книгу. Громко произнеся обычную молитву, он передал Коран одному из приближенных, с огромным тюрбаном на голове (знак учености). Затем он перебрал другие подарки и спросил:

— Для чего этот нож? И что означает изображение двух соединенных рук на серебряной чаше?

Абдэр-Рахман склонился и сказал:

— Эти две соединенные руки означают, что халиф багдадский Мустансир желает иметь с тобой долгую и прочную дружбу, которая будет поддерживаться и в мире и на войне силою оружия.

— Прекрасно, прекрасно! — сказал старик и снова взобрался на трон.— Садитесь, почтенные гости. Эй, мальчики, принесите подушки!

Слуги разложили перед троном подушки. Абдэр-Рахман и Дуда уселись на них.

Старик начал расспрашивать о здоровье халифа, о его

возрасте, сколько он имеет коней и любит ли их. Спросил, как зовут почтенных гостей и куда они держат путь.

Услышав, что Абдэр-Рахман едет в недавно созданную боевую стоянку грозного татарского хана, старик фыркнул и стал почесывать пятерней свои ноги.

— Как вы решились отправиться в берлогу хищного, свирепого тигра? Какая нужда могла толкнуть вас на такую опасность?

— Я обещал халифу, моему высокому покровителю, что буду сопровождать страшного, до сих пор непобедимого Бату-хана в его походе на Вечерние страны. Я обещал также халифу, что буду посылать ему с особыми гонцами донесения, обо всех битвах, победах или завоеваниях городов, которые предстоят татарскому войску и о которых знает пока только аллах всеведущий.

— Говори, говори все, что ты знаешь и слышал о татарском хане. Для нас, защитников истинной веры, провозглашенной пророком Мухаммедом,— да будет над ним величие! — очень важен этот поход нечестивых язычников монголов, потому что они идут также на еще более нечестивых наших долголетних врагов — крестоносцев. Эти шакалы давно пытаются ворваться в наши земли и перекусить горло всем мусульманам.

— Пока я знаю только, что аллах — слава ему и величие! — разгневался на своих верных сынов и послал на них страшную казнь в виде безжалостного повелителя татар, который не дает никому пощады и оставляет на своем пути угли, политые кровью и слезами.

— Нужно его перехитрить,— прошипел старик.— Нужно его убедить, что для его же славы и величия он должен объявить себя правоверным. Тогда все народы, исповедующие учение пророка Мухаммеда,— молитва над ним и привет! — объединятся с монголами, над всеми протянется монгольская рука, и тогда мы провозгласим Бату-хана имамом...

— И махди! [1] — добавил Дуда, скромно опустив глаза.

— Если Бату-хан действительно искренне примет веру, оставленную праведным Алием [2], то, может быть, в его лице

[1] Махди — обещанный легендами мусульманский пророк и вождь, который должен объединить всех мусульман и принести им победу над неверными.

[2] Алий — зять пророка Мухаммеда, отколовший от «правоверных» мусульман (суннитов) значительную секту последователей (шиитов), которые в течение столетий до настоящего времени враждовали друг с другом.

мы увидим победоносного Махдия...— тут «Старец горы» осекся, приподнял пальцем кверху свою правую «бровь сомнения» и строго уставился на Дуду.— А ты кто такой, что так смело произносишь это священное для всех правильно верующих имя?

Дуда, поняв, что он сказал что-то лишнее, повернулся к Абдэр-Рахману:

— Может быть, ты, смелый потомок Альманзора, вместо меня лучше ответишь на вопрос всеведущего, прославленного и всемогущего Ала-ад-Дина Хуршаха?

Абдэр-Рахман сказал:

— Это мой секретарь, кятиб, ученый советник и лекарь, отмеченный в Багдаде как источник мудрости.

— Ты лекарь? — прервал старик.— Это прекрасно! Мне очень нужен знающий, опытный лекарь. У меня столько болезней, что я не нахожу себе покоя ни днем ни ночью. Какие болезни ты лечишь?

— Я излечиваю все болезни, о которых говорит Абу Али Ибн-Сина[1] в своей превосходной книге «Канун-Фит-тибб», и он же указывает найденные им целебные средства, которые совершенно излечивают болезни и объясняют причины, почему возникает та или другая боль в теле.

— Мы хорошо знаем Абу Али Ибн-Сину. Он тоже был наш, правоверный, кармат, федавий[2], и брат и отец его тоже были наши карматы. А ты можешь ли разыскать нужные лекарства, которые меня вылечат и на которые указывает этот мудрец? Я тебя за это осыплю своими милостями, какие только может пожелать сын Адама.

— Лекарства не для чего долго искать,— ответил Дуда.— Главные из них я обычно храню и вожу с собой. И если только злоумышленники не тронут наших походных мешков, то я охотно тебе их предоставлю.

— Слава аллаху, который привел тебя ко мне! — воскликнул старик.— Отныне я назначаю тебя моим придворным лекарем, и ты навсегда останешься здесь. А твой молодой спутник может свободно поехать дальше один.

— Я сделаю все, что могу,— возразил Дуда,— но не из-

---

[1] Ибн-Сина, известный в Европе под именем Авиценны,— знаменитый ученый родом из Бухары, составивший медицинскую энциклопедию «Канон», в которой собрал все имевшиеся на Востоке сведения по медицине, сохранив их тем самым для мировой культуры. Согласно некоторым древним арабским писателям, он тоже состоял членом секты измаилитов, равно как и его отец.

[2] Федавий — отдавший себя аллаху, «посвященный».

за тех милостей, которыми ты хочешь меня осчастливить, а по долгу человеколюбия. Остаться же здесь, у тебя, я не имею права. Я обязан выполнить приказание халифа.

— Не шути со мной! Ты, вероятно, и не подозреваешь, какие беды обрушатся на тебя, если ты осмелишься не выполнить моей воли.

— Что промолвил наш владыка, то свято! — сказал один из приближенных.— И ты не пожалеешь, что остался.

— Ты не пожалеешь! — воскликнули хором карматы, сидевшие полукругом по сторонам трона.— Ты увидишь ночи восторгов, сладость безумного опьянения, полет в райские сады! Никто до сих пор не пожалел, что остался с нами, и ты, посвященный в звание федавия, испытаешь высшее блаженство на земле.

— Когда ты начнешь лечить меня? — спросил строго владыка ассассинов.— Я не могу ждать, страдания мучают меня беспрерывно.

— Сегодня я разотру мази, приготовлю лекарство и завтра явлюсь к тебе.

— Тогда я разрешаю вам сейчас меня покинуть!

Выказав все принятые обычаем знаки почтения, Дуда и Абдэр-Рахман покинули приемную «Старца горы» и, предшествуемые двумя слугами, прошли в отведенный для них домик.

МИЛОСТЬ ИЛИ ЗАПАДНЯ?

Когда оба арабских путника отошли от дворца владыки ассассинов и часовые остались позади, сопровождавший их мрачный слуга в черном чекмене приблизился и тихо сказал:

— Наш повелитель приказал вам передать, что он очень доволен беседой с вашей милостью и приглашает вас обоих прийти сегодня вечером в запретный для всех непосвященных сад наслаждений.

— Какой сад? — удивился Абдэр-Рахман.— Где здесь, между голыми скалами, может вырасти сад?

— Есть райский сад, и я вас туда проведу после захода солнца, когда тени покроют вас своим плащом от всех любопытных с жадными глазами.

Безмолвный слуга снова зашагал впереди и довел их до предназначенного для гостей дома.

Оставшись наконец одни, оба скитальца принялись обсуждать, как быть. Не отказаться ли? Не приготовлены ли

там крученые веревки, чтобы облегчить путь в тот райский сад, откуда нет возврата?

— Это западня! — говорил Дуда.— Они хотят нас провести подальше от «любопытных с жадными глазами», чтобы мы бесследно и неведомо ни для кого исчезли из того скорбного мира.

— А что же мы можем сделать?

— Бежать! — говорил Дуда и дрожал мелкой дрожью.— Бежать, не теряя времени, побросав и верблюдов, и подарки халифа. Пробраться пешком, перелезая через скалы, в сторону моря к городу Трапезунду, где нас спасут византийские греки.

— В первый же день нас выследят дикие курды, схватят, вытряхнут нас из наших одежд и сбросят в ущелье,— говорил спокойно Абдэр-Рахман.— Чего ты боишься, Дуда Праведный? Пропой семью семь молитв скороприходящему Хызру и безропотно ожидай решения своей судьбы. А я, наоборот, хочу пойти в сад наслаждений. Может быть, мы в самом деле увидим дивные рощи рая Мухаммеда, полные прекрасных сказочных гурий, где мы испытаем какое-нибудь новое, неизвестное до сих пор наслаждение. Почему мы должны этого избегать? Я думаю, что кровавый, огненный Иблис или Джебраил ждут нас уже давно для пыток и казней в своем царстве последнего страшного суда. Так будем радоваться, пока мы еще можем двигаться, петь и смеяться. Не ты ли сам меня всегда учил: «Иди к тем, кто тебя зовет!» Почему же ты сегодня не хочешь отозваться на приглашение «Старца горы»? Кто другой сможет потом рассказывать своим внукам: «Я вместе с ужасным «Старцем горы» Алаад-Дином увидел то, что обыкновенным смертным увидеть не удается».

Когда с заходом солнца длинные тени проползли по дворцовой площадке, молчаливый слуга уже стоял возле двери почетного домика. Абдэр-Рахман и ученый, но робкий Дуда выждали еще немного, пока солнце окончательно не погрузилось за горы и в темных ущельях стали плавать голубоватые клочья тумана.

Тогда они вышли из дома, и слуга повел их к горному перевалу. Откуда-то из темноты вынырнули тени сторожевых ассассинов. Они бесшумно подошли, подняв копья.

— Назад, или увидишь смерть!

Слуга позвонил крохотным бубенцом и тихо произнес условленный пропуск. Стражники отступили на шаг назад.

— Проходите!

С вершины перевала открылся вид на небольшую долину, с трех сторон окруженную скалами, а с четвертой была пропасть, наполненная до краев, как чаша молоком, белым туманом. Взошла луна, в ее бледном свете можно было рассмотреть густой сад с правильными рядами деревьев. Посреди сада над прудом взлетала струя фонтана. Впереди показалось продолговатое белое здание, перед которым горели огоньки плошек, обычно зажигаемых в честь почетных гостей. На крыше дома тоже засветилась цепочка веселых огоньков.

— Какой заманчивый приют устроил для себя суровый владыка тайных убийц! — тихо сказал Абдэр-Рахман.— А мне здесь нравится! Пока ничто не предвещает нашей близкой кончины!

— Это хитрая западня! Ловушка для доверчивых! — ворчал Дуда.— Хызр скороприходящий! Охрани нас своей благостной помощью!

Послышались нежный голос и тихий перебор струн лютни. Перед входом в здание на ковре сидела певица в белом, как лунный свет, легком платье. Она тихо пела персидскую песню. Рядом находился крохотный уродец карлик с очень большой головой и страшным лицом. Он выбивал быструю глухую дробь на небольшом барабане.

Приблизившись, Дуда прошептал:

— Покажи щедрость!

Абдэр-Рахман достал из матерчатого скрученного пояса замшевый кошелек и бросил музыкантам по серебряной монете.

Открылась входная дверь, откуда выскользнули четыре девушки, миловидные, с сильно накрашенными лицами, в узорчатых одеждах и бархатных шапочках, обшитых серебряными бляшками, которые позванивали при каждом движении. С почтительными поклонами, прикладывая руки к груди, они приглашали войти внутрь.

— Почтенные, долгожданные, дорогие! Придите в этот сказочный приют радости, забвения и блаженства!

Дуда и его ученик обменялись взглядами и пожали плечами, как бы говоря: «Ну что же, пойдем! Испытаем нашу участь!»

Внутри оказалась небольшая прихожая, сонный слуга и множество туфель, стоявших парами.

«Значит, гости уже собрались,— подумал Абдэр-Рахман.— Нас будут показывать, как заморских зверей, как диковину»,— и он смело шагнул за цветную занавеску.

Большая продолговатая зала. Вдоль стен разложены узкие коврики и камышовые циновки. На каждой цветная ковровая или шелковая подушка.

В глубине, в задней стене, большая ниша. В ней посредине низкое широкое кресло. На его спинке изображение, подобное уже виденному, золотого летящего орла.

По обе стороны ниши с потолка спускались узкие длинные полосы ткани; на них изречения из корана и загадочные наставления. Два из них поразили Абдэр-Рахмана: «Торопись насладиться сегодняшним днем» и «Мудрый ничему не удивляется!».

Оглянувшись, Абдэр-Рахман заметил, что в зале уже находится много людей. Одни лежали неподвижные, равнодушные ко всему, подложив подушку под голову. Некоторые сидели, перебирая четки, и тихо шептали молитву. Одна из девушек прошла вперед и близ ниши указала два коврика, пригласив расположиться на них.

Откуда-то донеслись нежные звуки: как будто переливы флейты и свирели и равномерные удары в бубен.

Абдэр-Рахман растянулся на коврике и вдруг услышал сдержанный стон. С удивлением он увидел, как лежащий Дуда, закрыв лицо руками, вздрагивает.

Абдэр-Рахман сел возле Дуды. По лицу его наставника текли слезы, и большие капли скатывались по рыжей бороде.

— Что с тобой, дорогой мой учитель? Что огорчило тебя?

— Не расспрашивай меня! Налетели старые воспоминания. Мир полон соблазнов, и мы должны бежать от них, а куда убежишь из этой ловушки коварного Иблиса? — И Дуда снова стал всхлипывать.

— Если нам суждено погибнуть,— ответил Абдэр-Рахман,— так, по крайней мере, последний день мы проведем с достоинством и, наверное, увидим что-либо удивительное. Я не согласен с этим висящим правилом: «Ничему не удивляйся!» Напротив, я люблю удивляться, я хочу бродить по свету, чтобы видеть необычайное, а особенно таких людей, которые своей мудростью или смелостью вызовут мой восторг.

— Ты еще не испытал горьких разочарований, какие пришлось пережить мне за мою долгую скорбную жизнь. Поэтому ты и говоришь как беспечный юноша.

— А я бы хотел до глубокой старости прожить беспечным юношей.

Тихий разговор был прерван хриплыми звуками боевых труб, раздавшимися снаружи дома.

— Сам идет! Сам владыка Аламута направляется сюда! — послышались голоса, и все лежавшие поднялись на колени и опустились на пятки, сложив руки на животе.

Раскрылись двери, и в залу вошли сперва два воина в блестящем вооружении. Они стали по сторонам входа. За ними следовали один за другим несколько придворных. Далее шагали поэты: они отличались большими тюрбанами, концы которых свешивались на левое плечо, на поясе висели калямдары, и под мышкой они прижимали большие книги, в которых были увековечены их вдохновенные песни.

По зале пронесся все усиливающийся шорох приветствий и благопожеланий. Вошел грозный глава ассассинов и на мгновение остановился. Он угрюмо и недоверчиво посмотрел по сторонам, потом двинулся дальше. Правой рукой он опирался на высокий посох с резным набалдашником из слоновой кости, под левую руку его поддерживал великий визирь, почтительно семенивший ногами. Шаги владыки были медленны и внушительны. На бледном лице казалась особенно черной накрашенная борода. Пронизывающие глаза и нахмуренные брови делали лицо грозным.

— Да хранит вас аллах! — повторил он несколько раз и прошел к нише, где опустился в кресло.

Слуга принял от него посох и встал позади. Великий визирь опустился на колени с левой стороны, но тут же вскочил, чтобы оправить недостаточно красиво спускавшиеся складки широкой одежды своего господина. Тот, погладив бороду и сжав конец ее в кулаке, обратился ко всем бывшим в зале:

— Мои преданные друзья! Сегодняшний день я хотел бы посвятить отдыху от государственных трудов и забот, услышать радостные песни, провести время в сладостной беседе, узнать что-либо новое. Пусть красноречивые бахши сперва споют, радуя слушателей, свои лучшие газели.

Четыре поэта торопливо прошли в нишу, и заметно было, как каждый старался сесть поближе к трону. После короткого безмолвного взаимного отталкивания поэты уселись полукругом.

Каждый по очереди читал нараспев свои стихи. Владыка, вероятно, их уже не раз слышал, потому что рассеянно смотрел по сторонам и даже раза два зевнул. Когда четвертый поэт прочел последнюю свою газель, воспевавшую достоинства и величие владыки Аламута, Дуда вдруг поднял-

ся, быстро прошел почтительными мелкими шажками к трону, поклонился до земли и, поцеловав ковер между руками, попросил разрешения прибавить свою газель к тем божественным песням, которые он сейчас слышал.

— Охотно послушаю песню моего почтенного гостя.

Дуда опустился на колени, пятым в ряду поэтов, и зажал руками свои уши, как это делают муэдзины во время молитвы на минарете. Он откинул назад голову и смотрел вверх, отчего его рыжая борода стояла торчком. Потом он запел необычайно тонким голосом, мало подходившим к его внушительному виду.

Абдэр-Рахман внимательно следил за каждым движением владыки карматов. Сперва крайнее удивление отразилось на его лице и даже испуг, когда Дуда пронзительно запел; потом у владыки открылся от изумления рот, наконец лицо осветилось милостивой улыбкой. Чем дальше, тем больше он выражал свое благоволение, одобрительно кивая головой.

Вот что пел Дуда:

Слава богу, причине всех причин,
Распорядителю дел, строителю веков,
Чье существование необходимо!

Когда великий властитель Аламута,—
Да возвеличит бог помощь его! —
Послал меня к себе и я предстал

Перед его пронзительным взором,
То я оробел при виде его величественной осанки.
Я умилился, взглянув на его прекрасное лицо.

И я понял тогда, что стремился к нему всю жизнь,
Не переставая искать его в моих скитаниях,
Пока это стремление не привело меня к нему.

Молва о нем сопутствовала мне на бесконечных дорогах,
И до встречи с ним я считал все слухи преувеличенными,
Но, увидев его, я убедился, что он прекраснее молвы о нем,

Пока человек не скажет слова,
До той поры его достоинства
Не достаточно заметны, точно затерялись в лесу;

Но не думай, что всякая лесная чаща необитаема,
Может быть, в ней дремлет могучий барс?
И я увидел и понял его, как муравей может понять

Величие горы; и я сказал себе:
Не обольщайся его мягкой улыбкой,
За ней скрывается могучая воля,

Перед которой преклоняются львы,
За ней скрывается проницательный ум,
Которого остерегаются и правители.

Он — море! Ныряй там, когда оно спокойно,
Но берегись его, когда оно запенится!
Волны увлекут тебя в его пучину.

Он достиг неба своей высокой мыслью,
И звезды говорили с ним о своих тайнах,
С ним, мудрейшим и прекраснейшим владыкой Аламута.

Оборвав свою песню на очень высокой ноте, Дуда склонился к ковру и оставался в таком положении, пока владыка не сделал знак своему визирю, и тот поднял Дуду.

Владыка ассассинов сказал:

— Ты понял меня, мои тяжелые труды и мои заботы о людях. И я хочу отблагодарить тебя так, как бы ты сам этого захотел.

— Твое ласковое слово — моя высшая награда! — ответил Дуда.— Единственно, чего я прошу: не препятствуй нашему дальнейшему пути к лагерю великого хана татарского. Я клянусь, что каждый месяц я буду посылать тебе подробные донесения обо всем особенно значительном, что мы увидим.

— Нет! Ты так меня очаровал, что отныне я оставляю тебя навсегда моим постоянным дворцовым лекарем, но и твой молодой спутник все-таки должен подчиниться правилам, которые исполняют все приезжающие в Аламут. Завтра он узнает от моего визиря решение своей судьбы. А теперь я разрешаю всем собравшимся заняться сладостной отрадой, дающей забвение от всех огорчений, которые нам приносит жизнь.

Владыка ассассинов встал. Служанки задернули шелковую занавеску, закрывшую нишу. Там была потайная дверь, через которую владыка удалился, чтобы тоже заняться сладостной дурманящей отрадой, дающей забвение.

СКАЗКИ ТУМАНОВ

Вытянувшись на камышовой циновке, Абдэр-Рахман лежал на боку и посматривал в сторону Дуды. В ушах его еще как будто звучали слова наставника: «Держи в руке трубку, притворяйся, будто куришь, а сам удерживайся. Не затягивайся ни в коем случае, иначе, забыв осторожность, ты потеряешь разум и сам призовешь на себя беду. Незаметно

гляди по сторонам, бойся подползающего гада, вора и убийцы».

Но отчего сам почтенный Дуда Праведный забыл осторожность? Он смотрит на гурию-служанку, как она нагревает шарик гашиша над огнем, как его прилепляет изнутри к медной чашечке трубки, как трубку опускает на огонек, вкладывает конец трубки себе в рот, затягивается дымом, смешно вытянув губы и сморщив маленький носик, и затем, тряхнув головой, обращается к Дуде. Почему Дуда, всегда такой степенный и невозмутимый, теперь жадно протягивает дрожащие руки, выхватывает трубку и, быстро выпуская дым, долго ее курит, растянувшись на ковре, и на лице его написано блаженство?

И почему он забыл о своем ученике? Почему он весь погрузился в посасывание трубки,— ее он держит уже двумя руками. Его глаза закатились под лоб, он беспомощно уронил голову и шепчет:

— Еще! Еще одну трубку! О маленькая Мариам, я зову тебя! Вспомни обо мне, спустись с облаков сюда, на грешную землю, где я погибаю. Мариам, дай мне возможность еще раз тебя увидеть, и тогда я готов умереть!

А душный бурый дым наполняет всю залу, медленно плывет темными слоями над одурманенными курильщиками.

Все они в упоении: одни издают звуки скорби, другие что-то бормочут, иные стонут. Один быстро говорит, воображая, что обращается к толпе:

— Слушайте меня, смелые барсы, орлы скалистых гор! Внимайте мне, непобедимые львы золотой пустыни! Я вам говорю, я, скиталец Абу-Джихан-Гешт, прозванный «Острием судьбы» и «Талисманом победы». Я обошел все страны нечестивых гяуров, скрываясь под облачением торговца янтарем, бирюзой и волшебным корнем растения маджнун, дающего силу мужества и возвращающего старикам здоровье юности. Скитаясь по вселенной, я изучил все дороги, по которым можно будет провести могучее, непобедимое, благородное войско правоверных. Я проникал во дворцы королей и в запретные киоски их жен, перед которыми я расстилал багдадские шелка и рассыпал золотые женские украшения сказочной Индии... Королева саксов на коленях умоляла меня остаться при ней смотрителем ее любимых кошек, но я гордо отказался. Королева германов готова была наложить на себя руки и уже держала кинжал против сердца. Но я вовремя отнял это острое оружие. Я приберег его для татар-

ских ханов Бату и Угедея, которые уже трепещут, услышав о моем приближении.

— Почему же ты ушел от королевы германов, хотя там тебе так хорошо жилось? Королева была красива? — спросил сосед.

— Она была золотисто-рыжая, с дивным бледным лицом, подобным полной луне. Под левой грудью у нее скрывалась родинка, похожая на большую мышь и даже покрытая шерстью. Я обещал ее вылечить от этой родинки. И не раз тайком она уговаривала меня убить короля германов, обещая, что меня изберут владыкой на его место. Но король проведал это, послал за мной убийц, и я едва спасся, спустившись по веревке из спальни королевы. Веревка оборвалась, и я упал прямо на часового, стоявшего под окном. Я его вмиг заколол кинжалом, а сам ускакал на королевском дивном коне, проехал много стран, пока не прибыл сюда...

— А кинжал ты привез с собой? — протянул чей-то сонный голос.

— Разумеется, привез.

— Покажи!

— Не могу же я приходить с кинжалом сюда, во дворец садостных восторгов. Он у меня спрятан в укромном месте под скалой. Я его захвачу с собой, когда отправлюсь в лагерь татарского хана. О, это изумительный кинжал, украшенный золотом, изумрудами и алмазами.

Со всех сторон слышались тихие разговоры, постепенно замиравшие, по мере того как курильщики погружались в глубокое забвение.

Абдэр-Рахман докуривал трубку, сделал последнюю затяжку, и сейчас же над ним склонилась гурия-служанка, взяла трубку и вставила ему в рот другую, уже дымящуюся. Абдэр-Рахман снова начал втягивать приторный дым, голова его все сильнее кружилась, стены задвигались и наклонились... «Землетрясение? Но почему нет шума? Нет, все это я вижу в гашишном безумии»,— подумал Абдэр-Рахман. Пол под ним стал качаться и то проваливался, то взлетал кверху. «Мало этих чудес, мало! Я хочу увидеть что-либо еще более необычайное». Он повернулся на спину и отчетливо увидел, как в середине потолка раздвинулись доски, и оттуда показалась черная голова с узкими светящимися глазами. Длинная черная шея все более вытягивалась и свешивалась, извиваясь кольцами.

«Ядовитая змея Эфа»,— решил Абдэр-Рахман. Вдруг змея сорвалась и упала с глухим шумом, а наверху в потол-

ке осталось ровное квадратное отверстие, сквозь которое виднелись темно-синее небо и оранжевые звезды.

«Куда девалась змея? Самая страшная змея, несущая мгновенную смерть?» Абдэр-Рахман приподнялся на локте и вдруг увидел, как невдалеке перед ним поднялась плоская змеиная головка с блестящими сердитыми глазками. Змея точно чего-то искала, поворачиваясь во все стороны и покачиваясь, тонкая и гибкая. Их взгляды встретились. Змея поползла к Абдэр-Рахману. Огромный до ушей рот приоткрылся, показывая два острых верхних зуба и раздвоенный трепещущий язык.

Желая выхватить кинжал, Абдэр-Рахман осторожно протянул руку к поясу, но нащупал только пустые ножны. «Кто похитил кинжал?» — и он закрыл глаза, чувствуя, как легкий, тонкий язык коснулся его щек и сжатых губ...

Он снова открыл глаза. Змеиная черная головка тихо удалялась, скользя между лежащими телами, и за ней, извиваясь, уползало длинное черное туловище.

Бесшумная гурия вставила в рот новую дымящуюся трубку, и Абдэр-Рахман опять наклонил конец ее над светильником, втягивая дым, задыхаясь и теряя сознание...

* * *

Абдэр-Рахман приходил в себя. Видения, теряя четкость, постепенно исчезали. Кровь стучала в висках сильно и равномерно, точно тяжелые шаги идущего человека, и сквозь клубы дыма Абдэр-Рахман увидел возле себя сидящую на коленях девушку с грустными глазами. Облокотившись на руку, она вглядывалась в лицо Абдэр-Рахмана и тихо шептала:

— Очнись, очнись, чужеземец! Выслушай меня! Ты богатый, сильный, молодой, смелый. Вот я тебе приготовила новую трубку, но ты не затягивайся, а только притворись, что куришь, сам же слушай, что я тебе буду говорить. Вам отсюда уже не выбраться. Страшный старик придумал для вас необычайную казнь. За дворцом, в особом дворе, находится его зверинец. Там стоят большие железные клетки. В них посажены лев, тигр, горный медведь, барс и две гиены. Старик любит садиться в кресло перед клетками и наблюдать, как через отверстие наверху в клетки сбрасывают зверям осужденных людей. Там приготовлена одна пустая клетка для «Рыжей лисицы», как старик называет твоего длиннобородого спутника. Старик ни за что его не отпустит;

ожидая от него исцеления. Тебе же грозит страшная смерть: тебя бросят в клетку с гиенами, а если ты их задушишь, то будешь отдан на растерзание тигру...

— Что же мне делать? — прошептал Абдэр-Рахман, схватив маленькую руку, зазвеневшую серебряными запястьями.

— Спасу тебя я, если у вас обоих хватит смелости тайком покинуть Аламут. Сегодня вы накурились гашиша, и у вас не хватит для дороги сил, но завтра, когда стемнеет, вы навьючите верблюдов, оседлаете коней и будете ждать меня. Я проберусь к вам как тень и поведу тропинкой, которую знают немногие.

— Чем я могу наградить тебя?

— Увези меня с собой и сделай снова свободной. Я буду верно служить тебе, а прибыв в город Рудбар, или Казвин, где сейчас находятся монголы, мы окажемся далеко, куда не дотянется страшная лапа «Старца горы». Там ты мне дашь награду, достаточную, чтобы я могла вернуться на свою родину.

— Из какого ты племени и как тебя зовут?

— Я гречанка Дафни, знатного византийского рода царей Комненов. Корабль, на котором я плыла, потерпел крушение около Трапезунда. Мне удалось спастись, ухватившись за доску. Всех пострадавших захватили в плен дикие, как звери, курды. Они отвезли меня в подарок здешнему владыке, «Старцу горы». Но я не покорюсь. Я непокорная орлица и решила бежать отсюда...

— Я дам тебе свободу, хотя бы это грозило мне смертью. А уверена ли ты, что нас не заметят часовые?

— Старый убийца сегодня запил и будет пьянствовать, как обычно, семь дней, от пятницы до пятницы. За это время все в Аламуте тоже будут пить и курить гашиш. Я постараюсь, чтобы каждый получил вдвое больше вина и гашиша. Не теряйте времени и готовьтесь к бегству. Завтра вечером мы двинемся в путь!

* * *

...Дафни оказалась права. На другой день ночью, когда весь Аламут, начиная со своего грозного владыки, «Старца горы» Ала-ад-Дина и кончая последним погонщиком мулов и часовым, лежал одурманенный волнами гашиша, наслаждаясь картинами неземного блаженства, Дафни незаметно вывела маленький караван посланцев багдадского ха-

лифа на тайную тропинку, и путники углубились в горы, держа путь на север, к устью великой реки Итиль[1], где была ставка татарского хана...

1946

СКОМОРОШЬЯ ПОТЕХА

Пронеслась молва по всему Новгороду, что в годовщину свадьбы молодой князь Александр Ярославич со своей женой Александрой Брячеславной станут «кашу чинить»[2] и бить челом всему народу славного города: не побрезговать их угощением и всем пожаловать на княжий двор со чады и домочадцы.

Любят новгородцы ходить по гостям: кому же не охота поесть сытно у радушных хозяев, попить сладко, а тут еще предстоял не простой, а княженецкий пир на весь крещеный мир.

Тут же зараз полезли, зазмеились слухи, что молодой князь хочет показать свою щедро́ту не в пример отцу-батюшке Ярославу Всеволодовичу,— тот был управитель прижимистый, имел ладонь крепкую и цепкую, все набавлял пени, обкладывал черный люд поборами непосильными, особенно на всех перевозах, оттого и память о его княжении сохранилась в народе как о времени нудном, тяжком. Но что верно, то верно: порядок старый князь держать умел и поводьев не распускал.

И судили и рядили заодно новогородцы степенные и расчетливые: как-то княжить станет молодой Ярославич? Не задумал ли он размотать отцовскую кису[3], которую князь Ярослав изрядно приумножил и любил встряхивать и пересчитывать, наслаждаясь звоном золотых и серебряных монет, не гнушаясь, впрочем, и медными.

«Ой, не загуляет ли Александр Ярославич? Больно уж он молод и за́рист, как гончая, учуявшая косого. Да и удачлив он. На Неве под Ижорой разбил свеев только озорством: налетел из тумана на свеев грозным соколом.

---

[1] Итиль — Волга.

[2] «Чинить кашу» — старинное выражение: устроить свадебное угощение и пир для гостей.

[3] Киса — денежный мешок.

Тут гости бросились кувырком кто куда мог. Одни вскарабкались на свои шняки, остальные утопли или были перебиты. А молодцы наши забрали забытые шведские сапоги воловьей кожи, прочной выделки, и всякое другое добро — кафтаны, порты, рубахи домотканые шерстяные, мечи и копья — и скрылись в лесу так же нежданно, как пришли.

— Вестимо! Какой же это бой, одно озорство! — ворчали некоторые бояре, встретясь на перекрестке улицы и продолжая судить, рядить и бранить молодого князя.

— С иноземными гостями надо держаться обходительно. Теперь свеи уплыли, и торговля с ними надолго сорвалась. Вчера озорство, сегодня озорство, а назавтра исправлять промахи ведь понадобится. Для этого нужны люди думные, воеводы ратные, а у Александра и усы еще не выросли, и бороды ему еще долго ждать. Что за воевода в двадцать лет?»

Но говорили с таким осуждением только больше «псковские сторонники», все имеющие связи с «молодым пригородом новгородским» — Псковом, где, как известно, все близкие и дальние родичи богатых верховодов-переветников Ноздрилиных, Негóчевичей и Жирославичей вели большие торговые дела с немецкими купцами, степенными свеями и другими иноземцами и старались всемерно с ними ладить и как-либо от них барыши нажить. А о том, что иноземцы зарятся на русские земли, они помалкивали.

В этот яркий солнечный день, когда, казалось, и небо и вся природа ликовали и праздновали вместе с друзьями и сторонниками «молодоженов», сиявших красотой и юностью, и ворчунам волей-неволей приходилось участвовать в торжестве. Так же, как и другие, хотя с ехидной улыбкой и скрепя сердце, они потянулись, подобрав полы кафтанов, протоптанными дорожками среди высоких сугробов к княжьему двору и по проложенным мосткам прошли к Ярославову городищу, где заготовлено было главное угощение.

Все проходили сквозь широкие раскрытые ворота во двор, переполненный народом. Там пробирались гуськом, в затылок, к большому крыльцу с широкими ступенями, где в двух креслах сидели «молодые»: князь Александр, завернувшийся в красное корзно, и разрумянившаяся синеглазая княгиня в бархатной лисьей шубке и собольей шапочке, встречавшая всех ласковой улыбкой и приветливым словом.

Подходившие передавали стоявшему рядом княжескому

ключарю свой «принос» (подарки), кто чем богат. Именитые бояре, разодетые в цветные бархатные и плисовые шубы, принесли в «даровья́» ценные меха — лис бурнастых, куски бременской шерстяной или персидской шелковой ткани, рытого бархату и узорчатой камки, серебряные кубки, венецейские стеклянные чаши и другие заморские диковинные дары, а люд попроще подносил больше румяные пироги с рыбой или яблоками.

Все «концы» великого вольного Новгорода загуляли в этот памятный день. Высыпали на улицу стар и млад: и хозяюшки-хлопотухи, и купцы-лабазники, и подростки-проказники, стогодовы старики, и рыбаки с седого Волхова. Целый день народные толпы ходили по всем улицам и переулкам, заливались звонкими песнями девушки, парни пели свои частушки с присвистом, гудошники бродили парами и дудели в сопелки и дудки.

Особого разгула и веселья достигло празднество, когда по главной улице вдоль набережной послышались радостные крики, смехи, охи да ахи и пошли рядками веселые молодцы — скоморохи. Все они были с чудны́ми «харями» [1], наряженные, как на масленой или на святках, в смешные короткополые, до бедра, одежды с непомерно длинными рукавами. На головах высокие колпаки с бубенчиком на конце. Ноги перевиты разноцветными тесемками.

Увидев, как народ стал валом валить и хохотать под звуки скоморошьих переливов, молодой князь приказал своим челядинцам отодвинуть кресла и ковры в сторону, так что на крыльце княжеских хором освободилась просторная площадка, куда затем по ступеням вбежали шумные, гулливые скоморохи. Теперь народу, заполнившему тесно двор, и ребятам, забравшимся на окружающие заборы, можно было хорошо видеть предстоящую «скоморошью потеху».

Шесть скоморохов выстроились в ряд, остальные уселись по сторонам, скрестив ноги. За ними из разрисованных ярко холстин были воздвигнуты два высоких затейливых домика-башенки, в которых скоморохи могли быстро преображаться и выходить оттуда новыми, невиданными людьми или чудищами.

Один скоморох, наряженный стариком, с длинной кудельной бородой, то скороговоркой, то нараспев, обращаясь

---

[1] Харями в древности на Руси называли скоморошьи маски.

к князю с княгиней, а иногда и к толпе, начал свои прибаутки:

— Земной поклон низкой вам, други сердечные! Взгляните-ка на князя с княгинюшкой зорким глазиком и поздравьте их с веселым праздником. Ась, родные, ненаглядные!

— Послушайте, как дед Вавило лясы точит, людей морочит!

— Был ведь я, касатики, и на море, был, касатики, и за морем я, насмотрелся, нагляделся, что — ахти мне! — другому не снится и во сне.

Русскую землю прошел я вдоль и поперек, родных ножек не берег. Не раз встречался с таким морозом, что лютого татарина как муху свернет, на лету птицу бьет, железо рвет, а нашему брату только пару поддает.

Катался я на таких саночках, где кони не ржут, мои други, а лают и ножками лишь снег взметают.

Засыпал я на такой постелюшке, что стелют вьюги да метелюшки. Погулял я и там, на реке Ижоре, где незваный свей нашел свое горе, где от князя Ляксандрова кулака проплясал свейский недруг трепака.

Кому же не захотелось бы соли русской покушать! Красавицы русские — вьюга да метелица — одеяльцами белыми их покрыли и песенками усыпили. Покой им вечный от души сердечной! Не мы вас звали — сами напросились. Спите, заморские гости,— мы не пошевелим ваши кости. Когда же приснится вам, что хотят на пир внучата ваши к нам, шепните им любя, чтобы не губили себя, что-де и дедам было не до пляски, когда завернули им на Неве салазки!

Тюх-тюх-тюрюрюшечки! Ах вы, душечки! То-то мы сейчас вас уважим, то-то чудеса покажем! Свистнем, гаркнем: раздайся народ, старики идут в хоровод! Красны девки, ленточки снимайте, стариковы шляпы украшайте!

Нынче наш молодой князь-удалец всему Нову-городу «чинит кашу», а мы ему сыграем потеху нашу. Вот сидит он со своей красавицей лапушкой. Уж куда она хлеб-соль водить умеет и гостей приголубит и пригреет!..

Скоморох, приплясывая, подбежал к затейному домику, юркнул в него, и сейчас же с другой стороны оттуда выскользнула девушка, белокурая, сероглазая, в пышном ярком сарафане. На голове кокошник, расшитый бисером, на шее бусы.

Увидев скоморошку, княгиня Брячеславна вцепилась руками в подлокотники кресла и жадно стала следить за

ней и за поведением князя Александра. Он откинулся назад, лицо стало грустным и задумчивым.

Скоморохи заиграли плясовую, и девушка, размахивая платочком, лебедем поплыла по кругу, сделала низкий поклон перед княжеской четой, потом поклонилась на три стороны народу и стала в сторонке.

Княгиня жестом руки подозвала кравчего, стоявшего позади ее кресла, и тихо прошептала ему:

— Разузнай имя этой девушки-скоморошки и откуда она родом. И потом мне украдкой скажешь.

— Будет сделано, государыня моя княгиня! — ответил кравчий.

«Неужели это она? Вот где нежданно довелось встретиться...» — всматривался в девушку Александр, и вспомнились ему юность, глухой еловый бор, избенка старика охотника Еремы... как спасла его, Александра, из лосиной западни дочка Еремы, сероглазая Устя... ночь под Ивана Купалу, хороводы и костры на Перуновой горке...

Тем временем из другого домика вышел скоморох, причудливо наряженный иноземным воином. На нем был шлем, сшитый из раскрашенной бересты, с пучком петушиных перьев на макушке. На ногах широкие сапоги с огромными, загнутыми кверху шпорами. В руках щит с намалеванной на нем рогатой рожей и длинный деревянный меч с крестообразной рукоятью. Размахивая мечом, чужеземец прошелся вокруг площадки, выкрикивая непонятные слова:

— Экэтэ, пэкэтэ, цукэтэмэ, аболь, фáболь, дóминэн! [1]

В толпе закричали:

— Гляди, да это немецкий черт! Ей-ей, это немец! Ату его!

Скоморохи задудели в свои гудцы и волынки. Девушка махнула платочком, и музыка оборвалась. Девушка обратилась к толпе:

— Послушаем гостя иноземного. Ты зачем приехал, проказник, на наш веселый праздник? Откуда свалился, жаль дорогой не убился.

Чужеземец отвечал нараспев, выпрямившись и отставив вперед ногу:

— Проехал я дремучие леса, чтобы видеть тебя, новгородская краса. Мой конь силен и зверовиден, а я зовусь немецкий рыдель. Меч мой, в боях бывалый, рассека-

[1] Финская скороговорка.

ет; и железо, и скалы. Есть ли во всей поднебесной воин чудесный, кто бы мог со мной биться,— будет ли противник мне татарский царь, злобой пышущий, али зверь, огнем дышащий?

Старик раёшник, подмигнув, спросил тоже нараспев:

— Хоть ты на словах и храбрый рыдель, но таких, как ты, я немало видел. Ты злобен, немецкий воин, но почтенья нашего совсем не достоин. Для чего вы, рыдели, собираете воинскую рать? Не затем ли, чтобы нас завоевать?

Рыцарь ответил:

— Хоть ты меня и бранишь, что я злобен и лих, но к вам я приехал как богатый жених. Услыхал я про вашу девицу, несказанну красу, и ей я подарки сейчас принесу!

Рыцарь обратился к девушке:

— Не могу я красе твоей надивиться! Пойдешь ли за меня, чаровница?

Девушка, слегка закрываясь белой фатой, ответила:

— Чтобы уважить такого, как ты, молодца, по-нашему обычаю сперва надо спросить моего отца. Если он даст благословение, тебе будет и свадебное угощение.

Старик воскликнул:

— А вот и он, легок на помине!

Из скоморошьей будки вышел другой согнувшийся старик с еще более длинной бородой до пояса и суковатой дубиной. Приложив ладонь козырьком к глазам, он стал рассматривать странного гостя. Раёшник поклонился старику:

— Здравствуй, дедушка Ипат, с капустных гряд! Приехал к тебе гость чудно́й за большой бедой: сватает, видно спьяну, твою красавицу Светлану.

Старик ответил:

— А нет ли тут какого обману?

Немец с важностью взмахнул мечом и запел:

— Я могучий удалец, могу всех разорить вконец. У меня много полей и лесов...

Старик с гневом проревел:

— А у меня стая верных псов!..

Из скоморошьего домика послышался неистовый собачий лай.

Чужеземец стал топать ногами:

— Мне твои угрозы нипочем! Изрублю тебя мечом!

Старик поднял дубину:

— А ты лучше меня не замай, на чужой каравай рта не разевай!

Рыдель стал наступать:

— Вот тебе, старичина, получай для почина!

Он ударил старика по шапке мечом, а старик выпрямился, сразу вырос на целую голову и опять заревел:

— Теперь подставляй-ка мне спину!

Он стукнул рыделя дубиной по шлему, и тот опустился на землю с криком:

— Постой, постой! Не хочу я драться! Давай лучше целоваться!

Старик повернулся к толпе:

— Что же мне с гостем делать? Научите, братцы: не вписать ли его в святцы?

В толпе прокатился смех и крики:

— Не верь, не жалей! Не пускай на порог! Бей его промеж рог!

Раёшник подошел к старику, опять поднявшему дубину:

— Постой, дядя Ипат! Видишь, он уж и сам не рад! Пожалей гостя, чтоб ему не лечь на погосте! — И он стал подымать иноземца.

— Получил ты, рыдель, сполна за грехи! Вставай и откатывай: едут к нам другие женихи.

Послышался звон бубенцов, и на площадку верхом на палке с лошадиной головой въехал татарин.

Все скоморохи запели:

Как из дальних, диких стран
Едет к нам Батыга-хан
На пятнистом жеребце,
Со зверской думой на лице.

За татарином прошелся вокруг площадки «зверь-верблюд», покрытый полосатой холстиной. На нем сидела разряженная татарка со скошенными бровями. Ее две длинные косы волочились по земле. Верблюда изображали два скомороха, скрытые под холстиной. Они шли один за другим, причем задний положил руки на плечи переднего, который держал перед собой вырезанную из доски покачивающуюся голову верблюда, а второй скоморох вертел верблюжьим хвостом. Появление верблюда вызвало восторг и новые крики зрителей.

Все скоморохи запели:

За Батыгой караван,
Там жена его Кулан,
Хоть сидит она в седле,
Косы тащит по земле.

Татарин остановился посреди площадки и обратился к толпе:

Я татарский главный царь,
Всему свету государь,
Всем я головы снесу,
Дайте девицу-красу.

Девушка-скоморошка подбежала к татарину и упала перед ним на колени:

Пожалей нас, царь лихой!
Ведь у нас закон такой:
Мужу верная жена
Только может быть одна.

Татарка на верблюде вмешалась:

Не могу я надивиться:
Что за умная девица!
А татарский плох закон:
Хан имеет триста жен.

Раёшник стал кланяться татарину:

— Послушай, великий татарский хан! Все говорят, что ты владыка всех стран, а вот рыдель латинский тебя называет «царь свинский».

Татарин с гневом ответил, подпрыгивая на одном месте:

Как сожгу сперва я Русь,
Так и к немцам доберусь
И со всей своей Ордой
Налечу на них грозой.

Он выхватил кривую саблю и бросился на немецкого рыделя. Тот на четвереньках уполз в сторону и стал громко выть, закрывая кулаками лицо.

Александр, задумчиво слушавший скоморошью потеху, неожиданно вмешался:

— Все вы гости дорогие, скоморохи удалые, приехали из дальних стран, чтобы нас поздравить, веселой песней позабавить. Прекратите драку и спойте теперь лучше что-либо веселое, сердечное.

Старый раёшник обратился к девушке:

— Айда, девица-красавица, спой свадебную здравицу. Расскажи нам, кто ты есть такая, из далекого ли края? Из какого ты роду, отчего ты всем слаще меду?

Девушка выступила вперед, на середину площадки, и запела:

Сватался за Устеньку немецкий воевода,
Сказывал-показывал богачество свое:
Семь кобыл бесхвостых, семь телег бесколесных,
Думала-подумала: пойти ли за него?
Умом пораскинула: не быть делу так!

Все скоморохи подхватили песню, ударяя в бубны:

Тюх-тюх-тюрюрюшеньки!
Ай да Устенька-душенька!
Думала-раздумала — немца прогнала,
Удалого молодца из сказки пождала.

Девушка продолжала:

Сватался за Устеньку татарский лютый хан,
Сказывал-рассказывал богачество свое:
Двадцать городов, да все без домов,
Двадцать сундуков, полных рубленых голов.
Думала-подумала: пойти ли за него?
Умом пораскинула: не быть делу так!

Скоморохи снова подхватили:

Тюх-тюх-тюрюрюшеньки!
Ай да умница Устенька-душенька!
Думала-раздумала — хана прогнала,
Удалого молодца из сказки пождала.

Девушка снова запела:

Сватался за Устеньку веселый скоморох,
Сказывал-рассказывал богачество свое:
Богачество свое — дудку да гудок!
Думала-подумала: пойти ли за него?
Умом пораскинула: быть делу так!
Сыта ли, не сыта ли — всегда я весела.
Пьяна ли, не пьяна ли — всегда я плясунья:
Выйду ль за ворота, всяк честь отдает.
Кто такова? — Скоморохова жена.

Все скоморохи, взявшись за руки и лихо выделывая ногами трепака, пошли хороводом по кругу. Девушка плясала в середине. Загудели гудки и волынки, но весь ско-

мороший показ должен был неожиданно прерваться: надвигавшаяся туча разразилась ураганом. Порывом ветра опрокинуло затейливые домики. Княгиня поднялась и направилась к хоромам. Челядинцы поспешили убирать ковры и все принесенные даровья. Скоморохи бросились складывать свое имущество и переносить его под навесы. Зрители разбежались, прикрываясь кто чем мог от порывов колючего снега.

Князь Александр подошел к плясавшей девушке:

— Ты ли это, Устя, Еремина дочка? Как же ты попала к этим удальцам?

Устя, опустив глаза, отвечала:

— Да, это я самая, что тебя в давнюю пору вызволила из лосиной западни. Поехала я раз с подружками на праздник в город. Увидела скоморохов. А мы, девушки, там хороводы водили и песни пели. Подошел ко мне один скоморох и говорит: «Слышал я, как ты поешь. Довольно тебе в лесу сидеть и с волками выть. Пойдем с нами, по крайности свет божий увидишь. Мы по всем городам бродим. Будешь мне помощницей и у нас запевалой». Подумала я, умом пораскинула и сказала: «Быть делу так!» В лес к отцу-батюшке я так больше и не вернулась, а за этого самого скомороха замуж пошла...

Князь снял с пальца изумрудный перстень, но, когда поднял глаза, чтобы передать его Усте,— ее и след простыл.

1946

ПАРТИЗАНСКАЯ ВЫДЕРЖКА, ИЛИ ВАЛЕНКИ ЛЕТОМ

Партизана Петра Калистратова я впервые увидел в 1922 году на улице города Минусинска. Он шел прихрамывая, опираясь на палку, коренастый, крепкий, сероглазый. На него указал мой собеседник:

— Посмотрите, это наш Калистратов! Видите, несмотря на летнюю жару, он в валенках. Это не случайно. Он пережил такие дни, что только его закалка, его партизанское упорство, его нежелание сдаться, при, казалось бы, явной гибели, спасли его. Впрочем, лучше всего он сам обо всем расскажет.

На другой день товарищ Калистратов был в редакции газеты «Власть труда», где я тогда работал, и мне описывал свои переживания, и я как мог записал его рассказ.

* * *

«С первого дня, как в Минусинск пришли партизаны под начальством Петра Ефимовича Щетинкина, я вступил во второй Тальский полк. С частью этого полка мы прибыли в село Каптерево. Вечером того же дня, часов в семь, получив приказание плавиться на левую сторону Енисея, мы это и сделали, заняв деревню Ачуры.

Всего нас было две роты при двух пулеметах. Утром мы расположились возле деревни и выставили посты. Я был отделенным командиром 1-го отделения второй роты. Мы знали, что белые близко, верстах в пятнадцати, и были готовы.

Около половины десятого утром показались белые, открыли огонь по деревне и стали наступать тремя колоннами. Их было около тысячи человек пехоты и конницы. При них было двенадцать пулеметов. Патронов они не жалели.

Наш батальонный командир, товарищ Егоров, приказал нам выйти в цепь. Кроме нас в деревне был еще отряд товарища Кобякова. Хотя он был происхождения казацкого, но по убеждениям большевик и в свой партизанский отряд набрал человек семьдесят.

Наши ребята быстро исполнили приказание, и обе роты, совместно с отрядом Кобякова, вышли в цепь. Пришлось идти чистым полем под сильным пулеметным и ружейным огнем.

Белые наступали, окружив нас с трех сторон, поддерживая между собой связь и желая припереть нас к реке.

Когда бой начал затягиваться, то у нас и патронов осталось немного, и подвозить их было неоткуда. Скоро у нашего пулемета на правом фланге осталось всего две ленты. Командир Егоров приказал перевести его на правый берег Енисея.

Стали у нас появляться раненые, уже набралось их около тридцати. Первым был ранен второй Егоров, член военно-следственной комиссии.

Белые сразу заметили, что наш пулемет убран, осмелели и стали пускать на нас кавалерию. Наши две роты, где были старые опытные бойцы, держались стойко. А сре-

ди кобяковцев, где были молодые неопытные партизаны, началось смятение, и многие стали убегать из цепи обратно в деревню. Они в беспорядке прибегали на берег, занимали лодку, человек по восемь, и, захватив по две-три лопашни, спешно стали переплавляться на другой берег Енисея. Лодок же было около шестидесяти. Некоторые, без весел, гребли прикладом ружей. Погода была бурная, и на середине Енисея несколько лодок утонуло.

Часов пять-шесть длился бой, и цепи партизан все редели. Мы продолжали лежать в цепи и стреляли залпами по цепи белых. Я хотел что-нибудь узнать о распоряжении начальника, но цепь уже до того поредела, что даже нельзя было что-либо передавать.

Время близилось к трем часам. Я со своими четырьмя товарищами стал переговариваться, и мы решили, что настало время и нам отступать. Мы, пятеро, встали и побежали цепью по направлению к деревне.

Нас обстреливали из трех пулеметов. Цепь белых поднялась и пошла в наступление на деревню. Когда я бежал, то заметил, что пули бьют землю перед нами подле самой деревни. Я крикнул товарищам, чтобы они ложились. Прошло минут пять, и огонь затих. Тогда мы выскочили и снова побежали в деревню, а белые уже перелезали через поскотину саженях в двухстах.

Мы забежали на гумно, положили винтовки на изгородь и стали залпами обстреливать белых.

Белые стали ложиться и тоже обстреливали нас залпами. Тогда мы снова бросились вперед и прибежали на берег Енисея. А лодок уже не было ни одной. Последняя лодка только что отчалила от берега,— в ней сидели один наш партизан, женщина с ребенком и ачурский крестьянин. Воротиться к берегу лодке было бы очень трудно, так как буря бросала ее в стороны, и она уплыла через проток к острову.

Вижу я — положение скверное, белые нас перехватывают с двух сторон. А мой товарищ Александр (минусинский житель, фамилии его я так и не узнал) побежал вверх по берегу. Там протока пересыхала, и он, видимо, надеялся пробраться вброд на островок, где причаливал паром и где собралось много наших товарищей. Но на его пути в тальнике уже залегли казаки и стали его обстреливать. Тогда Александр бросился вплавь в протоку, и казаки его убили в воде. Он там и утонул.

Другие товарищи, увидев в тальнике казаков, бросились в деревню.

Белые, заняв береговой тальник, стали нажимать на остров, где находился припаромок и где наших собралось сорок два человека вместе с командиром Егоровым. Пока его не было, там была суматоха и паника, люди не знали, что делать. Егоров сейчас же установил порядок, и, когда белые стали наступать на островок, наши их отбивали сперва залпами, а когда патроны вышли, то бомбами. Этим удалось четыре раза отогнать белых обратно в тальник на берегу протоки.

Мои товарищи тогда пробрались по подъяру на островок, и, как я потом узнал, около двух часов ночи с правого берега наши пригнали восемь лодок, на которых весь отряд благополучно перебрался на ту сторону.

* * *

Когда я увидел, что мне уже не спастись, я выскочил на яр. Тут один ачурский крестьянин предложил мне лодку. Но уже было поздно стаскивать ее с гумна в Енисей. Тогда я забрался в одно гумно и, не видя кругом никого, спрятал винтовку под зарод, а сам забрался в солому. Солома была старая, слежавшаяся, заваленная ветками. Я поднял снизу солому, забрался в середину, пласт завалился обратно и, вероятно, имел такой вид, что солома лежит нетронутой много времени.

Пролежал я два часа и решил закурить,— у меня была бензиновая зажигалка. Когда я закурил, то невдалеке оказался казак. Он подошел к городьбе, облокотился,— я его видел довольно ясно сквозь солому. Папиросу я сейчас же замял руками. Казак был молодой и неопытный. Облокотился он на городьбу и проговорил вслух:

— Как будто здесь что-то дымится? Или мне почудилось?

Я думал, что казак вынет шашку и начнет ею пробовать солому — нет ли кого? Но он постоял недолго и ушел.

Я обрадовался. Чуть было не погиб — и спасся.

* * *

Шесть дней я пролежал в той соломе. Очень затекли и замерзли ноги. Я тогда снял сапоги, а ноги мои уже не движутся. Я натянул на ноги меховые рукавицы, стал

разминать ноги, и они отошли. Но, согревшись, ноги сразу же так распухли, что стали круглые, как валенки, и я не мог ими вовсе двигать.

Очень меня мучила жажда, горло совершенно пересохло. Когда я жевал солому, тогда получалось немного влаги, и горло ненадолго начинало действовать.

По ночам по дороге, совсем недалеко от меня, в нескольких шагах, ходил взад и вперед часовой. Тут стояло два пулемета, направленные вдоль двух улиц, и часовой ходил между ними.

Больше всего я боялся ночью заснуть: если бы я случайно захрапел, услыхал бы часовой. Поэтому я почти не спал.

* * *

Когда прошло восемь суток, утром к тому месту, где я лежал в соломе, вышла женщина. Она будто бы кур звала, на самом же деле, как я потом узнал, она искала мужа, который участвовал в бою и утонул в Енисее.

Я решился ее окликнуть.

Она подбежала к зароду соломы и спросила, кто я такой. Я сказал, что я красный. Она шепнула:

— Лежи тихо! В деревне стоят белые...

Я попросил ее дать хотя бы воды, и она принесла мне крынку и кусок хлеба. Сама ушла. Я стал постепенно пить воду и есть хлеб самыми маленькими кусочками, так как знал, что если бы съел сразу, то мог бы умереть.

Ночью я попробовал встать, но упал,— ноги мои совсем отнялись. Тогда я решил искать спасения в деревне. Пополз я по огороду и дополз до стены. Вижу: изба новая, хорошая,— видно, живет мужик богатый. «Нет,— подумал я,— здесь мне не помогут, здесь опасно!»

И я пополз дальше, пока не добрался до бедной избы. Вижу — баня. Но котел вывороченный, воды нет. Нашел я вилок капусты и съел его.

* * *

Утром, часов в семь, выбрался из бани и по ограде направился к дому. Меня заметили собаки, набросились и хотели разорвать. Но я успел влезть в избу. Вижу я — сундуки раскрыты, все выворочено и никого нет. Понял я, что хозяином был красный, здесь хозяйничали белые и все разграбили. Это была изба той самой женщины, которая приносила мне воду и хлеб. Звали ее Щербинка.

Вдруг в избу вошла старуха, лет восьмидесяти, и с ней четверо детишек. Она оробела, и я тоже оробел. Спрашивает она:

— Ты кто такой?

— Красный! — говорю я.

— Так ты уходи скорей отсюда! Казаки в эту избу заходят каждый день и шарят. Они и тебя найдут.

Тогда я прошу:

— Ты, бабушка, покажи мне по крайней мере, куда мне пойти. Назови хорошего человека, чтобы он меня укрыл...

А бабушка дрожит и твердит одно: «Уходи!»

Пополз я к соседу и наткнулся на мужика и бабу во дворе. Говорю я им, кто я такой и что ноги у меня отнялись. Баба говорит, чтобы я уходил, иначе увидят казаки. Тогда я спрашиваю ее: есть ли у нее дети? Она отвечает, что был сын, да на позиции убит или пропал без вести.

— Тогда пожалей ты меня, хотя бы ради твоего сына. Спрячь до ночи в погребе или в бане, а ночью я уйду куда-нибудь.

Баба сказала:

— Ладно! Иди скорей в баню!

Только что я успел проползти в баню, как во двор вошли пять казаков чай пить. Меня они не заметили. Пока казаки пили чай, хозяин принес дров, затопил печь и дал мне скипидару растереть ноги.

Когда ушли казаки, хозяйка принесла чайник с чаем, пирожков и шанег. Я напился чаю и в первый раз обогрелся после стольких дней голода и тревоги. Затем я перебрался в хлев, где стоял баран, так как в баню должны были прийти бабы мять кудель.

* * *

Утром приходит хозяйка и требует, чтобы я от них ушел. А за ночь выпал первый снег, и я пошел на четвереньках странствовать по огородам. Весь я перемок в снегу и залез в зарод сена, где меня продуло, и ужасно промерз.

Оттуда я перебрался в соседнюю баню, где, по-видимому, валяют катанки. Пробыл там недолго, слышу — опять шаги. Входит старик, в руках несколько поленьев и совок с горячими углями.

Спросил старик, кто я такой, затем ушел и привел сына и невестку. Те стали настаивать, чтобы я немедленно уходил. Умолял я их, чтобы они меня не прогоняли, уверяя, что, если даже меня найдут белые, я им скажу, что хозяева ничего не знали, а я забрался в баню сам. Тогда невестка пустила меня под полок в бане и заколотила досками и гвоздями дыру, через которую я пролез.

Вытопила баба баню. Пришли мыться дружинники из местных абаканских татар. С ними мылся и хозяин. Моются они, разговаривают, а мыльная вода сквозь щели на меня льется. Татары говорят чудно так:

— Нет, мы совсем не добровольцы! А это беременное (временное) сибирское правительство нас облизало (мобилизовало) в дружину и воевать заставляет. А мы с красными совсем воевать не хотим.

Прошел день, и опять явилась хозяйка и говорит, что снова будут в бане мыться казаки.

— Как ты, Петра, выдержишь ли? А вдруг закашляешь?

— Ничего! — говорю я.— До сих пор выдерживал и дальше выдержу.

Пришло пять казаков и хозяин с ними — помочь мне на всякий случай. Пока казаки мылись, они ругали все на свете: и большевиков, и свое начальство, и временное правительство, и что попало.

Еще два дня я пролежал под полком. Я весь промок, платье испортилось. Ночью я сам мылся и сушил свою одежду. Утром приходит старуха и говорит:

— Теперь и впрямь уходи, Петра! Был наш старик на сборне. Там командир казачьей сотни сказал, что сделает в деревне повальный обыск. И если у кого окажется скрытый большевик, хотя бы в соломе, то хозяин будет отвечать своей головой. Так как не может быть, чтобы за семнадцать дней хозяин ничего не знал, что у него делается во дворе.

Делать нечего, я уполз от них. Теперь двигаться мне было гораздо легче, ноги стали поправляться, и я залез в зарод сена.

* * *

За ночь выпал снег в четверть. От дыханья снег таял, образовались сосульки,— совсем медведь в берлоге! Виден был мне Енисей, там была шуга, плоты уже не шли. Лодки еще плавали.

Отправился я опять в ту избу, где я был в первый раз. Хозяина звали Смолянец. Там стоял штаб Таштынской сотни. В переулке у ворот ходил казак-часовой. Я выждал, как прошел часовой, и успел незаметно пройти в баню, где опять немного обогрелся.

Утром пришла хозяйка и воскликнула:

— Ты опять тут? И еще живой!

Отправила она меня в подвал под завозней. Этому я был рад: там было теплей, чем снаружи.

На другой день рано утром я видел, как казаки поили лошадей и опять ушли спать. Тогда мне удалось пробраться к Щербинке, первой меня накормившей, и уговорить ее помочь мне пройти к фельдшеру М. Г. Тетенкову. С ним я подружился в ночь перед ачурским боем, когда стоял у него. Мы с ним тогда проговорили всю ночь, и я убедился, что он наших убеждений.

К фельдшеру я прошел в сумерках, и хотя встретился по дороге с казаками, но они не обратили, к счастью, на меня внимания. М. Г. Тетенков принял меня по-товарищески, я забрался на печку в избе и лежал на ней несколько ночей, уходя днем в амбар.

* * *

Двенадцатого ноября Енисей стал замерзать в разных местах. В этот день казаки стали сниматься, и все уехали. Я разыскал в зароде свою винтовку и патронташ и пошел на берег.

Вижу, плывет ко мне на левый берег лодка, в ней было два красноармейца и два партизана. Они расспросили меня и переплавили на правый берег. Я отправился в Шуш, в штаб нашего Тальского полка. Там я все изложил, что знал и видел.

Меня спросили:

— Ну, а как дальше, Калистратов, теперь полезешь на печку?

— Готов дальше бороться за свободу, только дайте мне коня. С такими ногами-култышками я от Петра Ефимовича отстану. Ведь наш Щетина летает соколом!

Тогда мне дали коня, и я еще ходил на нем».

1922

ЗАГАДКА ОЗЕРА КАРА-НОР

I. У ПАРТИЗАНСКОГО КОСТРА

Под деревьями на берегу Енисея горело несколько костров. Вспышки красного пламени озаряли обветренные лица, желтые полушубки, шапки с наушниками. Блестки играли на темных дулах ружей. Партизаны пили баданный чай, пересмеивались, чинили сбрую и одежду. В нескольких шагах от костров было уже темно. Там стремительно неслась бурная и мрачная река.

— Эй, гвозди! — хриплый голос покрыл шум разговоров.— Укладывайся на боковую. Парома, видно, не дождаться. Завтра чуть свет начнем плавить коней.

— Ладно, Турков, дай уздечку справлю. Коли не выдюжит, коня потеряю,— он дикий, монгольский.

Из-под лохматой папахи торчал непослушный белокурый завиток. Молодое лицо Кадошникова склонилось над сыромятными ремнями. Ловко работало шило, всучивалась дратва.

Рядом на черном изогнутом корне корявого тополя сидел партизан в синей монгольской шубе. На широкой груди, расшитой черным плисом, распласталась рыжая борода. В голубых глазах прыгали искры костра. Заскорузлая пятерня доставала из розового ситцевого мешка сухарные крошки, сыпала в деревянную миску, поливая мутным чаем из прокоптелого жестяного чайника. Огонь костра и тихая ночь располагали к мечтательности.

— Ядреная наша страна Урянхай! [1] — говорил, расчесывая пальцами бороду, Колесников.— Сколько землицы и какого только зверя здесь нет. Какая птица! А рыбы всякой в Енисее сколько хошь.

— Только достань сперва ее,— буркнул мрачно парень, не отрываясь от уздечки.

— И достану! Все крестьянин могит достать, надо только, чтобы смекалка была в черепушке.

— А вот достань рыбу из нашего озера Джагатай [2], если рыба-то сверху вниз ушла.

— Поглубже невод спустить, дно зачерпнуть...

---

[1] В царской России и в описываемое время Урянхаем (Урянхайским краем) называлась Тувинская АССР. Уряпхи, сойоты — тувинцы.

[2] Озеро Джагатай находится на юге Тувинской АССР.

— А если у нашего озера дна нет?

— Дна нет? А на чем вода держится?

— У нашего озера подземный ход под хребтом Тануолой к другому озеру, что в Монголии. Говорят, что рыба кочует из того озера в это и назад. Буря подымется, воду всколыхнет, рыба к берегу всплывает, мы ее тогда неводами и подтягиваем. А дна у озера нет: сколько ни спускали мы бечеву с камнем, никак не достает, а кто-то вроде как перетирает бечеву. Вроде как зубом.

— Это ты, паря, брешешь. Кто же это бечеву будет в озере перетирать? Поди, цепляется за дно.

Кадошников поднял ремни в руках, потянул их, зацепив ногой в мягком бродне, и взглянул на рыжего:

— А ты не слыхал про черного гада, что сидит в монгольском озере?

Колесников закатил глаза к небу и показал белки.

— Это, поди, тоже брехня.

— Спроси Хаджимукова. Своими зенками видел. Вот он... Эй, Хаджимуков!

У соседнего костра стоял высокий партизан, весь зашитый в бараньи шкуры. За спиной болталась винтовка с подогнутой сошкой.

— А ежели он видел, почему не притащил на аркане? Коли увидел черного гада, взял бы его живьем и послал в Москву. Пусть видят, какие звери в нашем краю водятся.

— Такого подлого гада в Москве кормить не станут. Перетопить его на сало, красноармейцам сапоги мазать.

Хаджимуков подошел: глаза раскосые, скулы выдаются, борода жесткая, что из конской гривы.

— Что, брат, Кадка рябая? В дорогу ехать, так шорничаешь?

— Коня мне Турков такого дал, что узда сразу надвое. А завтра его надо через Енисей плавить.

— Поди, утопишь... Чего кликал?

— Садись, Хаджимука. Колесников не верит, что ты гада видел, говорит: «Брешет косоглазый».

— Я-то не видел? А это что? — и Хаджимуков сунул к носу Колесникова нагайку. К деревянной ручке был прикреплен четырехгранный ремень толщиной в палец.

Колесников взял нагайку, пощупал ремень пальцами, попробовал на зуб. Кадошников тоже впился глазами и ткнул ремень шилом.

— Это от какого же зверя будет? Неужто от гада?

— Сказал — от гада! Это только от сосунка евонного. А с самого гада шкуры не снять, если и всех наших шорников сгомонить.

— А и врешь ты! Все вы, абаканские татары, путаники!

— Садись! Не серчай! Расскажи толком,— Кадошников схватил за полу владельца диковинной нагайки.— Садись! Кури! — он сунул ему кисет с табаком.

Хаджимуков сел к костру и набил табаком длинную самодельную трубку из кизилового сучка.

II. ЗА МОНГОЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ

— Помните, прошлым летом, когда отряд Бакича наступал из Монголии, прискакал, как вот и сейчас, гонец от Туркова и поднял всех партизан собираться на белобандитов. «Торопитесь,— говорит.— А то перевалит он хребет, бои пойдут на наших хлебах, поселки пожгет. Какая нам будет корысть? Надо их ухватить, пока они наступают в Монголии, по дороге к нам». Мы, конечно, на коней, у кого коня не было, отобрали у старожилов — марш маршем под хребет. Дальше дорога на Улясутай[1] торная,— поди, каждый из нас туда пробирался. Командиром избрали Кочетова. Он не повел по прямой дороге. «Это, говорит, зря стукнемся им в лоб. Расшибемся об их пулеметы». А повел он наших парней по-за сопками, охотничьими тропами. Главная сила пошла слева от дороги, а нас, человек с десяток, Кочет послал справа, пошарить по сопкам: не замышляет ли Бакич ту же обходную уловку? Вот тут-то и начался переплет.

Наш десяток ехал не скопом, а разбился по тропам. Мне с Бабкиным Васькой пришлось переваливать через гору Сары-яш. Сперва мы ехали между отрогами, по ущельям, что елкой да чащей поросли. Потом стали подниматься голым таскылом[2]. Там дорога стала идти бомами[3] по-над обрывами. Внизу сажен на десять поблескивал ручей. А кругом него болото, мшаники, бурелом навален — самое медвежье место. Переезжать через такие ручьи — последнее дело: лошади вязнут по брюхо. Мы и

---

[1] Улясутай — первый город на пути в Монголию, в 350 км от границы.

[2] Таскыл — скалистая, безлесная вершина.

[3] Бомы — карнизы.

подались кверху, к вершинам, где пошли кедрачи. А троп много, потому зверья до черта, всюду видны следы. То вдавилась медвежья треугольная пята, то кусты объедены — лось проходил, то промелькнет между деревьями желтый бок маралухи.

Повременить бы там, мы бы без охоты не вернулись. Но нас общество послало, мы торопим коней, вздымаемся в гору и наконец видим «обо»: камни навалены кучей, хворост сверху и цветные тряпочки на ветках. Это монголы и сойоты, как дойдут до самой вершины хребта, камень на «обо» подкидывают — подарок ихнему богу, что гору стережет.

Мы обрадовались, что добрались до перевала. Сошли с коней, табачок раскуриваем, а Шарик мой лай поднял в кустах. Как видит, что винтовку беру,— разве его удержишь! Я с ним всегда белковать хожу. Лает Шарик, заливается. Думаю: будь ты неладен! Кто там в кустах хоронится?

Только подумал — выходят три сойота. Два бедных, шубы на них рваные, винтовки самодельные, кремневые на вилках. А один похозяйственней, шуба крыта синей талембой [1] и обшита бархатом, на голове шапка с плисовыми отворотами. А винтовка в руках настоящая аглицкая. Мы ничего, честь честью поздоровкались:

— Мен-ду!

— Мен-ду!

Табаком их угостили. Сели они, посмотрели мы ихнюю аглицкую винтовку, а они — наши. Объяснили сперва, что охотятся на горных козлов — дзеренов, а потом признались, что ихний начальник — нойон — послал следить на этот перевал — пойдут ли на Урянхай белые или кто другой — и донести.

Мы им тут набрехали, что нас до страсти много, что за нами сотен пять партизан подтягиваются, и просим растолковать нам дальше дорогу. Тут они нам все и выложили.

— На монгольской стороне,— говорят,— за хребтом Тануолой идут щеки, глубокие да узкие, с трясинным дном, где конь наверняка утопнет. Потому надо идти по хребтинам. Из этих щек сбегают ручьи в большую речку Тэс; вьется она, как уж вертлявый, между скалами и вливается в

---

[1] Талемба — китайская дешевая материя вроде ситца служила для меновой торговли у охотников вместо денег.

большое озеро — Упса-нор. Вокруг озера собралось много монголов с баранами, быками и верблюдами. Пришли и урянхи. Там и аулы их, где они помаленьку хлеб подсевают: просо, ячмень, а также арбузы и мак для курева, чтобы обалдеть. Не доходя до Упсы-нора, повыше к хребтам, тоже есть озера, но помельче. Раньше около тех озер монголы и урянхи стояли, но только все враз оттуда разбежались...

— А почему,— спрашиваю я,— разбежались?

— А потому,— говорят, что там в одном озере большой гад завелся, никто его убить не может: уж больно гад хитер, умнее человека. Все из воды видит, а на берег не лезет. Если бараны или телята пойдут на водопой, гад схватит за ногу или за морду и утащит под воду. А озеро называется Кара-Нор, значит Черное озеро, и дна в нем нет, трубой уходит неведомо куда под хребет.

Тут мы с Бабкиным переглянулись и подмигиваем. Васька и говорит:

— Вот бы, паря, к этой Карьей норе попасть и гада взять на мушку.

Я тоже говорю, что медведей я без счета бивал, рысей, лосей, марала, а про гада водяного и не слыхивал. То-то будет разговоров по всему Урянхаю и Абаканской степи, что мы гада подшибли. Тогда сразу собьем славу нашим охотникам — Турову, и Нагибину, и самому Цедрику [1].

Расспросили мы еще сойотов, как до Кара-Нора добраться, отдали они нам от души окорок козла, на огне подкопченный, и тронулись мы с Бабкиным дальше. Тут нас взяло сомнение: зачем сойоты сидели на перевале, не подосланы ли белыми следить за тропами? Бабкин и говорит:

— Меня не то беспокоит, а не посылают ли они нас ненароком на Карью нору, потому что там, может быть, этот самый отряд Бакича и засел? Оттого-то монголы во все стороны и разбежались, потому Бакич самый гад и есть, а на озере никакого гада и нет.

Все же мы решили ехать на озеро Кара-Нор,— у сойотов тоже, поди, совесть человеческая, к тому же ребята артельные, козлятины нам дали по-хорошему.

---

[1] Известные урянхайские охотники в 20-х годах.

III. ОЗЕРО, ОТ КОТОРОГО ВСЕ УБЕГАЮТ

Дня через два мы озеро нашли. Как урянхи говорили: длинное, километров на восемь, вначале узкое, а посередине шириной километра на два. На высоких берегах — осина, березняк и смородинные кусты. Один край берега чистый, засыпан мелкой галькой, хорошо бы с него скотину поить. Мы еще издалека, как его завидели, коней за горой в лощинке к деревьям привязали, между кустами хоронимся, ползем, скрадываем, как звери.

Тихо на озере. Малость рябит от ветерка. Вода черная, блестящая, как смола. Шарика на ремне держу, и он, чего-то тоже, подлюга, смекает, уши насторожил, не рвется, а глядит вперед и носом поводит — дух, что ли, чует какой. Подобрались ближе. Никого, все тихо. Утки пролетели над озером, снизились, да будто их шибануло, опять поднялись и дальше перелетели. Сели, головки подняли, вертят по сторонам. Будто что их тревожит.

Бабкин меня подталкивает: гляди, значит, в оба, чего-то на озере есть! А чего — не видать. Мы на высоком берегу лежим в кустах, а озеро под нами, как в миске. Кругом сопки, на них листвяк, рябина, елки. В монгольскую сторону сопки все ниже, а далеко опять поднялись высокие хребты с таскылами. Те горы Кукей прозываются, высоченные, под самое небо, и на них снег под солнцем блестит.

Тут мы видим, будто кто-то в малиннике на том берегу шереперится. Ветки шатаются, а кто — не понять. Бурый бок виден — то ли медведь, то ли бык. Я бы его снял в два счета, да не к чему раньше времени тревогу подымать. Потом кусты затихли, — видно, зверь отошел подальше.

Подождали мы маленько, опять поползли вдоль берега. Видим — поляна, мелким щебнем и кругляком усыпана. За ней откос, на нем сосны и под деревьями избенка, низкая, вся в землю ушла, только крыша высунулась, из бревен связанная. Окошечко что глазок, в четверть, чтобы зверь не влез, а винтовку оттуда можно высунуть — и пали!

Смотрим: не выйдет ли кто? И вот из избы вылезает на кукорках баба в синей монгольской рубахе. Дверь, видно, тоже махонькая, в шубе едва пролезешь. Вскочила она, в одной руке туесок берестяной, а в другой — топор на зверя. Спустилась по откосу, побежала к ручью, зачерпнула

туеском и бегом назад, кругом оглядывается. Вползла опять на кукорках в сруб и дверкой хлопнула.

Бабкин мне шепчет на ухо, сам позеленел и глазами косит:

— Верно, здесь медведи табунами ходят, коли баба так в избе прячется и по воду с топором ходит. Кабы зверь наших коней не задрал. Давай шить с этого места!

— А ты, что ли, медведей не видал? — говорю.— Сами, кажись, своей охотой сюда зашли. А коли баба здесь, значит, и мужик имеется — без него одна баба хозяйства не заведет ни в жисть!

Повременили малость, поползли дальше. Стали петлять, задумали избенку обойти и к тому месту выйти, где в кустах зверь шереперился. Большой круг мы дали и вышли опять к озеру. Тихое да гладкое, ничего на нем не приметно. Залегли в кустах, малину и белую смородину подъедаем. Глядим: человек спускается между валунов, и совсем голый, как палец. Спекло его на монгольском солнце, так что бурый стал, что ржаной каравай. А волосы на голове стоят копной, что у туранского[1] попа, и борода в лохмах до пояса. Совсем одичал, бедняга. На плече тащит пеструю кабаргу[2] удавленную. Подошел близко к воде, поднял высоко кабаргу, покликал: «Мен-ду, мен-ду!» — да и бросил в воду. По озеру волна пошла, точно большая рыба стаей пронеслась.

А тут из кустов выскочили две собаки, шерсть в клочьях, репьях, и напустились на нас. Храпят, давятся, так и лезут к горлу.

IV. ОДИЧАВШИЙ СТАРАТЕЛЬ

Голый человек насторожился и бросился бегом к нам... В руке у него, видим, топор-колун на длинной рукояти. Я встаю и иду открыто к нему,—чего мне бояться: у нас винтовки, а у него топор. А он, как увидел меня, взбеленился и начал крыть почем зря:

— Чего вы сюда пришли, острожники? Здесь места меченые, застолбованные. Монгольские правители мне до-

---

[1] Туран — большой посслок в северной части Тувинской АССР, ныне город.

[2] Кабарга — маленькая пестрая газель; представляет ценность благодаря так называемой «струе» (вытяжке желез), покупаемой китайцами для изготовления лекарств. Кабарга крайне пуглива и ловится обычно петлями и силками.

кумент выдали. Убирайтесь отсюда, а то я на вас моих гадов посвищу, они вам глотки перегрызут.

Смотрю я на него, дивлюсь, а он прыгает на камне, топором машет, кричит, слова сказать не дает. Вся морда шерстью заросла, только серые гляделки словно проколоть хотят. Думаю: где я рыжую башку эту раньше видел? И говорю:

— Карлушка Миллер, немецкая душа, не ты ли это? Как сюда попал?

Остановился он меня честить, разглядывает, а все поднятый топор держит.

— А ты кто такой? И откуда меня знаешь? А тебе я не Карлушка, а Карл Федорович Миллер.

— Неужто забыл, Карлушка Федоровна, как мы с тобой на речке Подпорожной[1] золотишко мыли, ничего не намыли, а последнее, что имели, проели?

— Теперь я вас припоминаю, геноссэ Хаджимуков. Мы в самом деле на Подпорожной золото мыли, и даже, как честный человек, скажу, что я вам остался должен за полфунта пороха и сто пистонов. Только если вы пришли долг спрашивать, то пороха здесь ближе как на Улясутае не достать. А если хотите золотишком промышлять, так милости просим — откатывайте на другие озера, а здесь все позанято, и я никого не пущу.

— Полно дурака валять, Карлушка! Мы к тебе с доброй душой пришли, никакого мне долга не надо. Ты только расскажи толком, какие здесь кругом люди живут, показываются ли белые и далеко ли монголы?

— Ничего я ни про кого не знаю,— говорит.— Я человеконенавистник. Живу один вместе с медведями, лесом и озером и очень рад, что не встречаю ни одной человеческой рожи. Люди всегда меня обманывали. Как только найду я где золотую жилу, налетят все как галки, меня оттеснят, нажиться им поскорее надо. Оттого я и ушел от них в дикие места. До свиданья. Ауфидерзэен!

— Постой, Карлушка,— говорю,— ведь мы с тобой приятели были, калачи вместе ломали. И хотя ты гостей принять не хочешь, а все же мы против тебя злобы не имеем и вертаем назад. Только ты скажи нам последнее слово: правда ли, что в этом озере гад живет и баранов за морду таскает?

---

[1] Подпорожная — приток верхнего Енисея, около Больших порогов.

— Здесь обитает животное очень древнее, в других местах его больше нет, иштызаврус называется. Других людей и зверей, это верно, он хватает, а мы с ним дружны. Если бы не он, сюда бы народу прикочевало столько, что и меня бы отсюда вытеснили. А я этого гада подкармливаю и через два дня в третий приношу ему кабаргу или другую дохлятину. Для того я в тайге засеки[1] навалил и петли в проходах повесил.

— Значит,— говорю,— коли ты это животное кормить не будешь, оно тебя съест?

— И вас съест, геноссэ Хаджимуков, если вы в озере купаться вздумаете. Я очень извиняюсь, что больше не могу разговаривать с вами, потому я человеконенавистник...

— Не крути, Карлушка, не всех же ты ненавидишь. К примеру, в срубе не твою ли жену мы видели, монголку?

— Какое свинячество, что вы могли подглядывать в чужой дом! Фуй, как вам не стыдно! Больше я с вами не разговариваю. До свиданья. Смотрите, если только вы будете близко подходить к моему дому, я буду стрелять картечью.— Тут кликнул Карлушка своих собак и побежал в кусты, волоса по ветру треплются. Овчарки кинулись за ним, и все стихло.

Колесников ударил ладонями по коленям, прервал рассказ Хаджимукова:

— Дивные дела! Чего только не бывает! А я ведь Карлушку хорошо знаю. Далеко же он от нас подался! Я его давно заприметил, еще когда он на Усу, на Золотой речке, золото мыл. Чудной был немец, вроде у него ум за разум зацепился. В круглой соломенной шляпе ходил, сам ее из камыша сплел. Ученый человек был,— гимназию, говорит, в Риге кончил, латинские слова знал и занятно рассказывал про всякие камни, зверей и звезды. Слух ходил, будто он на родине тещу убил самоваром,— очень она ему досаждала, в семейные дела мешалась. Его на каторгу сослали, и он с другими острожниками строил Усинскую дорогу[2]. Оттуда через тайгу к нам прибежал спасаться. Все

[1] В глухой тайге охотники устраивают заборы из наваленных деревьев, оставляя узкие проходы, где вешаются петли. Засеки тянутся иногда до 2—3 километров, перегораживая путь зверю. Охотничьими законами засеки запрещаются.

[2] Большая шоссейная дорога от Минусинска в Тана-Туву, построенная действительно «каторжным трудом» каторжников, проложивших ее в вековой тайге через Саянский хребет.

хвалился, что найдет главную золотую жилу, с которой золотой песок смывается. Возле него и жались разные старатели, думали от него поживиться. А теперь, поди ж ты, в Монголии, у Карьей норы объявился! Не иначе как там золотую жилу раскопал... Ну, Хаджимука, валяй дальше! Что еще с вами было?

V. ГЛАЗ В ВОДЕ

— Поговорили это мы с Бабкиным,— продолжал Хаджимуков,— чего же дальше делать? Озеро как озеро, ничего в нем не видать. Купаться в озеро пойти — боязно. Может, и впрямь в нем гад ползает и за ноги в воду стащит. Пошли мы малость дальше берегом и увидали около воды большие камни-кругляки. Тут мы осмелели и спустили лайку, чтобы кругом пошарила. Шарик встряхнулся, завертел рыжей метелкой и забегал по берегу, камни обнюхивает.

— Зря спустили его,— ворчит Бабкин.

Стали мы подзывать к себе Шарика, а тот заливается, тявкает, как на лисью нору, лезет в воду, а шерсть вздыбилась, и зубы оскалил.

Вдруг выбросилась из воды лошадиная морда с острыми щучьими зубами, вытянулась кверху на зеленой гусиной шее, изогнулась да как схватит Шарика за спину. Взлетел Шарик на воздух, трепыхнул лапами, взвизгнул в последний раз и шлепнулся в воду. Покатились во все стороны светлые круги, а Шарика мы больше так и не видели.

Посмотрели мы с Бабкиным друг на дружку.

— Что же это такое? — говорю.

— Самый этот гад и был. Чего зевал? Надо было палить. Теперь твоему Шарику каюк! Уйдем-ка отсюда подобру-поздорову.

— Нет,— отвечаю,— шалишь! Партизан, да чтобы гада испугался? Не может этого быть: Колчака мы свалили, Унгерна колотим, Бакича ловим,— нет, так я не уйду! Давай-ка приляжем за камень.

Положили мы винтовки перед собой и стали следить за озером. А солнце уже садилось на елки, скоро и заворачивать надо.

И замечаю я на воде глаз — большой, темный, навыкате, как у вола. Лежит глаз на темной воде и смотрит на меня сторожко так да умно. Потом серое веко затянуло

глаз, он опять открылся, прищурился и передвинулся поближе.

— Гляди, черная точка на воде,— шепчу я Бабкину.

— Где, где? — всполошился он.

Стал я наводить винтовку на глаз, а Бабкин уже заметил и шепчет:

— Постой, мы ему другую штучку покажем...

Отцепил он с пояса гранату, сорвал кольцо и спустился ниже к воде. Тихо, чтобы не вспугнуть, поднял гранату и бросил ее в темный глаз.

Граната на тихом озере взорвалась, точно чебултыхнулось на нас самое небо. Гром прошел, и во всех горах застукало. Вода забурлила, выкинулись зеленые лапы, захлопали, пену взбивают. Круглое брюхо, белое, с бурыми подпалинами, выпучилось над водой, перевернулось. Показалась злобная морда, нос разодран, весь в крови, на макушке петуший зеленый гребень. Колесом покатился гад по озеру, волны будоражит, длинный зубчатый хвост узлом крутит. Потом скрылся под воду, еще раз показался, хлестнул хвостом и нырнул в последний раз.

— А если в озере еще такие звери остались? — говорит Бабкин.— И он поплыл на дно звать себе на подмогу? Давай-ка сматываться отсюда к лешему.

Думаю: время к вечеру, пока доберемся до лошадей — совсем стемнеет. Быстро пошли знакомой дорогой. Кони на своем месте. Развели огонь. Ночью не спалось. С озера шел какой-то рев. То ли гад кричал, то ли Карлушка по своем дружке панихиду служил, али медведь ревел,— кто разберет?

Хаджимуков замолчал, набивая трубку табаком. Партизаны наблюдали за ним, ожидая продолжения рассказа.

— Ну, и дальше что? — спросил Колесников.

— Мы к озеру больше не вертались. Проехали кружным путем к реке Тэсу, встретили там юрты монголов. Они нам поведали все, что знали про белых, и я с Бабкиным через несколько дней стрелись с нашей главной партизанской силой на Улясутайском тракте. Ребята ехали уже с песнями,— они навалились врасплох на белобандитов, когда те стояли лагерем и не снилось им, что с сопок и сбоку, и сзади начнется стрельба. Посадили они на автомобили своих барынь — и ходу назад, в Монголию. Все, кто мог,— на конях и пешие — бежали, побросав лагерь. А мы большую добычу забрали: и палатки, и оружие, и пулеметы, и серебро...

Колесников, прищуря недоверчивые глаза, прервал Хаджимукова:

— Это мы знаем, многие сами участвовали. А вот что мне сумлительно. Ты вот сказал, что плетка твоя из сосунка гада. Где ж ты ее подобрал?

— Где? Мне Карлушка ее подарил. Утром ведь он разыскал нас на другой день — нюх у него стал звериный. «От лошадей, говорит, дух ветром принесло». И пришел он к нам уже в портках из талембы и соломенной шляпе. Принес он мне эту нагайку и объясняет: «За порох и пистоны, что я должен остался, я вам, геноссэ, такую плетку дарю, какой во всех Европах ни у кого нет. У этого иштызавруса сосунок был, молоком его кормился. Подох он, и к берегу его ветром прибило. Я из шкуры его ремней накроил, петель наделал, чтобы в засеках кабаргу ловить. Так матка все приплывала, в сосунка носом тычет и мычит,— думала, что очнется. А потом волки мясо объели, одни кости остались. Я с того места подальше перебрался и тут сруб сложил, где вы мою супругу-монголку стрели».

Последние огни облизывали раскаленные вишневые угли. Черная ночь все затягивала своей бархатной полой. Партизаны подбросили в костер хворосту и стали укладываться. Становилось холодно, и в оранжевом свете вспыхнувших сучьев было видно, как нагольные полушубки и приклады ружей покрылись матовым налетом серебристого инея...

Колесников пробормотал:

— И чего только немцу с голодухи не придет на ум! Сперва обезьяну выдумал, а теперь, поди ты, с гадом подружился. Не зря говорят: немец без уловки и с лавки не свалится!..

1929

В ПЕСКАХ КАРАКУМА

I. НА МЕРТВОЙ ТРОПЕ

Жарко было до того, что сухой от жажды язык еле ворочался во рту. Но мы все ехали вперед.

Солнце—расплавившийся слиток ослепительно блестящего золота — начало медленно сползать с темно-синего

неба к колебавшейся в горячем воздухе линии горизонта.

Тени под нашими ногами, эти маленькие лиловые клочки среди моря ярко-желтого песка, насыпанного громадными воронками, стали растягиваться, чтобы исчезнуть через час и дать нам томительный отдых. На юге солнце заходит быстро. Едва успеет побагроветь закат — уже ночь...

Наши легкие ахальские жеребцы еще бодры, они привыкли делать длинные переходы. Прошлой ночью мы напоили их мутной солоноватой водой из колодцев, брошенных кочевниками, и весь день сегодня они шли «волчьим шагом» — ровной тропотой, которой хивинцы и текинцы умеют делать громадные переходы.

Два дня назад наш передовой разведочный отряд, получив задание, разделился на несколько частей, и мне с шестью всадниками и проводником Ходжомом было поручено пройти к колодцам Аджи-кую. Но на привале на нас наткнулась бродячая шайка басмачей. Отстреливаясь и отступая, мы, я и проводник Ходжом, попали в песчаный ураган, который, скрыв от нас басмачей, отбил от остальных.

Вернуться назад было невозможно. По всем крупным тропам рыскали басмачи. Нам оставалось идти вперед заброшенной тропой.

Впереди меня покачивалась в седле сухопарая спина Ходжома в красном полосатом халате, туго затянутом ремнем, на котором висела кривая текинская шашка. Его белая папаха из бараньей шерсти равномерно покачивалась, и длинные лохмы, свешивавшиеся с ее краев, подпрыгивали на каждом шагу. За все время он ни разу не обернулся. Изредка я догонял его и спрашивал о пути.

Черные прищуренные глаза Ходжома впивались в горизонт, он бросал мне малоутешительный ответ:

— Видишь: здесь ишак кости бросал, баран горох не сыпал, давно никто не ходил. Куда дорога ведет, туда и приедем. А куда дорога ведет — кто может знать?

Иногда он, ударив каблуками коня, внезапно взлетал на вершину бархана и оглядывался во все стороны. Затем медленно спускался с холма и, не взглянув на меня, тем же ровным шагом ехал дальше.

Недоверие закрадывалось мне в сердце. Мы оба устали от двухдневного пути, и, когда солнце садилось, Ходжом остановился на вершине холма. Указав мне рукой в сторону солнца, он сказал:

— Видишь — Кыр! Там будут колодцы, а может быть, и не будут...

На фоне зарева солнца я увидел темную рваную линию скал.

— Но ведь там могут быть басмачи?

— Сейчас здесь травы нет, колодцы обвалились, и караваны здесь не пойдут. А каравана нет — и басмачи здесь не будут. Басмачи на больших тропах ждут добычи, как джульбарс (тигр) в камышах подстерегает кабанов.

Наши кони прибавили ходу, и уже при последних лучах заходящего солнца мы стояли около нескольких глубоких узких дыр в земле, обложенных внутри ветками саксаула. Это были долгожданные колодцы, где мы надеялись найти столь нужную нам воду.

Мы слезли с седел, и, пока я держал в поводу лошадей, Ходжом опускал по очереди в каждый колодец кожаное ведро на волосяном аркане. Он пробовал и отплевывался: вода была соленая. Колодцев было около пятнадцати. Перепробовав воду из всех, Ходжом один из колодцев признал годным:

— Сладкая вода, соли мало-мало!

Мы вбили приколы в землю и привязали лошадей на арканах, решив здесь переночевать.

Под защитой скал можно было развести костер, не боясь, что он будет виден в степи.

II. РИСКОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Около колодца, который Ходжом назвал «сладким», он воткнул в землю саблю, чтобы по ее блеску можно было разыскать воду в темноте. Сняв с лошадей седла, мы покрыли их попонами и оставили выстаиваться. Наломав саксаула, я разложил костер и начал варить чай, темный, как кофе, солоноватый и пахнущий серой.

Почему был так угрюм Ходжом? Я его совсем не знал и боялся предательства. Мы с ним сидели на бурке около костра и пили чай из пиал — маленьких туркменских чашечек. Ходжом долго молчал, потом заговорил:

— Вот что, командир-ока[1]! Ты спи здесь два дня, а я завтра рано, пока еще солнце сидит в песке, уеду на своем рыжем и твоем вороном. Сперва на одном поеду, а как шея его запотеет — пересяду на другого. Мы как зайцы скакать будем, и я далеко уеду...

---

[1] Ока — дядя, приятель, товарищ.

— Что же я буду делать без коня?

— Дур! (Погоди!) Это скалы Кыр, теперь я узнал. Здесь много лет назад мы прятались, когда делали набег на Хиву и отбирали у ханов лишних верблюдов и баранов. В ту сторону, где село солнце, за восемь часов хорошего хода есть колодцы, долина Узбой и трава. Там живет племя Ших, они себя называют потомками Магомета и считаются святыми. А всякие святые любят, когда звенят серебряные деньги. А потому за серебро я у них накормлю коней пшеницей и возьму запас на дорогу. Заодно они мне расскажут, где сейчас посты басмачей.

— А если я поеду с тобой?

— Нет, командир-ока, если ты поедешь туда, завтра вся степь будет знать, и тебя убьют...— И Ходжом стал считать, загибая корявые смуглые пальцы: — Слушай: утро пройдет, полночь пройдет и ночь пройдет. Еще утро пройдет, и я буду здесь с конями, бараниной и пшеницей. Понял?

— Дай подумать...

— Чего думать? Ты здесь лежи, кури махорку и жди меня. У тебя есть лепешки, воды много в колодце, басмачи сюда не заедут, и, если они меня не убьют, ты вернешься домой.

Ожидая моего решения, он с непроницаемым лицом наливал из закоптелого чайника кипящий черный чай.

Мысли завертелись в моей голове. Не хочет ли он перейти к басмачам и увезти красавца Италмаза, за которого всякий туркмен отдаст лучшие ковры? Или хочет ценой моей жизни купить свою?

Я не знал дороги. В хуржумах оставалось несколько горстей ячменя, чтобы накормить коней. Остаться здесь вместе — смерть и нам, и коням.

— Ходжом! — сказал я.

Он посмотрел мне в глаза, продолжая со свистом всасывать чай из пиалы. Костер вспыхивал, и красный огонек бегал по фаянсовой пиале, отражаясь в его загадочных пристальных карих глазах.

Стараясь быть невозмутимым, как он, я сказал:

— Хорошо! Хорошо, поезжай и, накормив там коней, привези припасы на дорогу. Я буду тебя ждать, и, если через день ты не приедешь, здесь меня ты больше не найдешь.

— Ладно,— кратко ответил Ходжом, утирая бритую го-

лову концом красного платка, в котором он хранил табак.

Он кончил пить и стал прочищать винтовку. Часа через два, когда лошади остыли, Ходжом взял кожаное ведро на черном аркане, посмотрел на меня, зарядил винтовку и, перекинув ее через плечо, ушел.

Я лежал на разостланной бурке и смотрел в темноту, в которой скрылся Ходжом. Во мне все замерло. Я холодно взглянул на небо, ожидая выстрела... В темноте было слышно пофыркивание коней.

Подул ветерок, с легким шелестом песчинки начали перекатываться по раскрытым страницам моей записной книжки.

Где-то далеко раздался странный тонкий плач. Он усиливался, дрожал, ноты поднимались все выше и затем неожиданно оборвались. В другой стороне ему ответило несколько таких же отвратительных таинственных визгов. Моя настороженная мысль представила, что это не шакалы, а условные знаки подкрадывающихся степных грабителей. Рука невольно легла на затвор винтовки. Из темноты показался Ходжом.

Положив трехлинейку на землю, он развернул принесенные попоны, подстелив одну под себя, другую дал мне. Повернувшись к потухавшему костру боком, он покрылся полосатым халатом.

— Наши кони — первый сорт,— сказал он.— Вода грязная и соленая, а они выпили ее столько, что спина устала вытаскивать ведро.

Я ничего ему не ответил.

III. ЗАГАДОЧНАЯ ВСТРЕЧА

Ранним утром, когда окружавшие нас скалы стали выделяться на чуть посеревшем небе, мы молча развели костер, напоили лошадей и дали им последние горсти ячменя. Отдохнувший Италмаз заигрывал со мной, кусая за плечо мягкими, как резиновые мячи, губами. Он был еще в теле. Скачка от басмачей, плохой корм, большие переходы на него почти не повлияли, только живот подобрался, как у борзой, но упругие мускулы все так же играли под тонкой кожей, покрытой шелковистой шерстью. Я долго гладил и очищал его от песка, набившегося в гриву. Он поглядывал на меня черным влажным глазом и нетерпели-

во танцевал на месте, ожидая, когда я схвачусь за седло. Но нас разлучили...

Ходжом налил в бурдюк воды, туго подтянул подпруги седел и привязал Италмаза в повод к своему долговязому Рыжему, который зло ворочал белым глазом и фыркал, оглядываясь на Италмаза. Ходжом вскочил в седло, поправил халат, надвинул крепко на голову папаху и, закинув за спину винтовку, подал мне руку.

— Сегодня говори: «Совсем прощай»,— сказал Ходжом, подмигивая и шевеля мохнатыми бровями,— а день прошел, и опять скажешь: «Здравствуй», если с меня не сдерут шкуру...

— Прощай,— ответил я ему, пожав руку и отойдя в сторону.— Помни, что завтра днем ты уже не найдешь меня здесь! Счастливой дороги!

В утренних сумерках, окутавших седой чадрой пустыню, удалялся стройный силуэт Италмаза...

Я вскарабкался на скалу. На востоке несколько тучек над горизонтом окрасились карминовым отблеском солнца. С каждым мгновением становилось все светлее. Вдали, между редкими кустами саксаула, расположившимися по песчаным холмам, опять показалась белая папаха и красный полосатый халат Ходжома.

Вдруг оба коня метнулись в сторону, и Ходжом припал к шее Рыжего. Что-то произошло... Ясно было видно, как Ходжом поскакал вбок, и за ним легкими прыжками не отставал вороной. Они куда-то скрылись. Потом, уже далеко, когда первые лучи солнца лизнули степь, последний раз сверкнул красный халат с белой папахой и исчез в бесчисленных барханах.

Я решил пойти к тому месту, где что-то испугало Ходжома. Что это было — человек, зверь или труп павшего животного? Пробирался осторожно, крадучись по следам, выдавленным в песке копытами коней. Тонкие ветки гребенщика и саксаула, свешиваясь над песком, от порывов ветра начертили на нем кружевные рисунки. Ноги вязли в сыпучем песке.

Почва стала тверже, темными пятнами стали выступать сырые места, где просочилась подпочвенная влага и снежными налетами выступала по краям белая бахрома соли.

Наконец я подошел к тому месту, где кони метнулись в сторону. Следы копыт были разбросаны по хрустевшему солью песку. Кони здесь испуганно бились, откинув копы-

тами комья сырой земли. Видно было, что Ходжом вскачь унесся с этого места.

Еще осторожнее ступая, чтобы не спугнуть кого-нибудь, я двинулся к бархану. Встречались какие-то мелкие птичьи следы, вроде степного жаворонка, и более крупные, подходящие к лапам птицы джур-джур, а под ними шли, четко вдавленные тяжестью в песок, пятипалые с острыми когтями странные следы очень крупного животного. Между его следами тянулась гладкая полоса, точно зверь волочил что-то по земле. Я поднялся на верх бархана, припав между зарослями саксаула. Сняв буденовку, осторожно приподнял голову.

Впереди за барханом была полувысохшая впадина, окруженная холмами, с лужицей посредине, вокруг которой спиралью шли белые круги высохшей соли.

Стая серых птиц, похожих на длинноклювых голубей, рассыпалась вокруг лужицы. Они весело перебегали быстрыми шариками, что-то искали в земле и вдруг насторожились, повернув один глаз в сторону. Несколько птиц взлетело и опять опустилось на землю. Другая группа взметнулась в сторону. Внезапно из кустов выпрыгнуло какое-то очень длинное существо с короткими лапами и, схватив на лету одну птицу, упало обратно в низкие заросли. Все птицы разом взлетели и, сделав круг, стремительно унеслись вдаль.

Все произошло так быстро, что я даже не успел рассмотреть это существо, но любопытство и охотничий инстинкт заставили меня пробраться через заросли к тому месту, где оно скрылось.

Там я нашел только несколько серых и белых перьев, забрызганных кровью, и множество пятипалых следов с полосой чего-то волочившегося сзади. Следы уходили и скрывались в песках. Я немного покружился в этом месте и вернулся к скалам.

Из предосторожности я поспешил скрыть свои следы. Я забрал бурку, хуржумы, чайник с чаем и поднялся на скалу. Моя привычка быть недоверчивым заставила меня опять спуститься вниз к колодцам, чтобы изгладить признаки своего пребывания. Я разметал костер и засыпал его песком. Заметая за собой следы веткой саксаула, я дошел до скал. Песок пустыни — это листы книги, каждый кочевник прочтет то, что там написано.

Слои серого известняка косо выпирали из земли. Кое-где в выветренных щелях виднелась маленькая кудрявая

травка и торчала душистая полынь... Этими угрюмыми скалами начиналось каменистое плато, которое тянулось на север. Я вспомнил слова, сказанные однажды проводником: «Там, где кум (песок), можно найти воду, саксаул для костра и траву для коня. Там ты убьешь зайца и не умрешь с голоду. Но берегись попасть в буран на Кыр. На Кыре нет ни одного дерева, на Кыре нельзя прокопать колодца, оттуда уходят все звери, и только быстрые козы-джейраны пробегают через Кыр, гонимые волками...»

Я прополз по скалам в поисках трещины или норы, в которую можно было бы сложить вещи и спрятаться в случае неожиданной опасности.

Невдалеке, между двумя косо сходившимися слоями известняка, я запрятал хуржумы, бурку и чайник. Щель оказалась глубокой, но исследовать ее не было времени. Не теряя ни минуты, я растянулся на скале, положив возле себя винтовку, и проверил, есть ли патроны. Чтобы не упустить ни одной движущейся точки на горизонте, я должен был весь день пролежать под палящими лучами солнца.

С этого места, как с наблюдательной вышки, были видны на десятки верст однообразные барханы, точно волны застывшего песчаного моря, безнадежно унылого в своем молчании. К северу изгибался обрывистый край Кыра, ровной площадкой уходившего за горизонт. На Кыре не было видно ни одного корявого деревца, ни одного холмика, и в своей бесконечной глади каменная равнина выглядела еще более уныло, чем пески...

IV. БОРЬБА С ЖИТЕЛЕМ ПУСТЫНИ

Солнце тихо поднималось, зажигая пустыню. Время текло медленно...

Изредка налетали легкие, едва заметные струи горячего воздуха, покачивавшие торчавшие перед моим лицом маленькие розовые головки кудрявой травки. Неустанный огонь песков жег глаза, и они устало слипались. В ушах стучало, кровь приливала к голове. Горизонт волнообразно дрожал, и на нем стало продвигаться что-то темное, громадное, пушистое.

Я устало вглядывался и почти автоматически соображал. Несомненно, по форме это лисица. Но таких больших я еще ни разу не видел. Она была больше лошади, двигалась мимо меня, все увеличиваясь и застилая гори-

зонт. Лисица нюхала песок, и от ее дыхания взметались целые тучи пыли, точно от бурана. Отчего она была так велика? Мой разгоряченный мозг не мог понять, что, находясь очень близко от меня, она, естественно, закрывала горизонт.

Бесшумно пройдя мимо, лисица скрылась...

Расплавленное солнце двигалось по ультрамариновому небу, словно сконцентрировав на мне весь свой жар. Меня одолевала слабость. Перед глазами проплывали красные пятна. Борясь со сном, я открывал глаза и оглядывал горизонт. Ничего не изменилось: ни одной точки, ни одного нового холмика или яркого пятна. Только несколько больших темных птиц с шорохом пролетели и быстро опустились на песок между барханами.

Внезапно сзади меня раздалось легкое шипение и похрюкивание... Я осторожно повернулся, подняв отяжелевшие веки. Я подумал, что опять брежу, и старался уверить себя, что это была, несомненно, ящерица. Но почему она саженной длины? У нее толстое белое брюхо, зеленая с грязными поперечными полосами спина и длинный бичеобразный, извивающийся хвост с зубчатым гребнем. Маленькие зеленые блестящие глазки уставились на меня. Пасть открылась, показывая частые острые зубы и длинный раздвоенный язык... Нет... Что за чепуха! Вероятно, это маленькая ящерица сидит у меня перед носом. Если я протяну руку, то легко достану до нее... Я протянул руку...

Тут я понял, что́ за зверь испугал коней Ходжома и ловил птицу...

Сонливость сразу прошла. Я сел и схватил винтовку. От моего жеста зверь подпрыгнул на месте, зашипел, раздувая пузырем шею, и начал бить хвостом по земле. Он был похож на крокодила. Крокодил пустыни?.. В другое время я застрелил бы его, чтобы осмотреть невиданного зверя. Но в данный момент, когда был дорог каждый патрон и выстрелы, разнесясь по пустыне, могли быть услышаны случайными путниками, я только осторожно отполз и спрятался за скалу. Откуда здесь, в скалах и безводье, могут быть крокодилы? Я выглянул из-за скалы.

Ящер выполз на то место, где я лежал, и обнюхивал его, щелкая короткими челюстями. Пасть его была вдвое короче, чем у речного крокодила.

Когда я снова выглянул, ящер удалялся, и было слышно, как постукивали о каменистую почву его когтистые лапы.

Я осторожно двинулся вокруг по скалам, но вскоре снова наткнулся на хищника. Он присел на месте, подпрыгнул несколько раз, громко шипя, словно желая меня испугать, затем с поразительной быстротой описал хвостом полукруг и спрятался в щель.

«А нельзя ли с ним жить в дружбе?» — подумал я.

Мне нужно было следить за горизонтом, и я вновь взобрался на скалу, где лежал раньше; время от времени я поглядывал на расщелину, куда скрылся сухопутный крокодил.

Тут, перебирая все свои сведения о местной фауне, я вспомнил рассказ одного старого кочевника-туркмена.

Он уверял, что в песках, в самых недосягаемых, глухих местах, живет зверь — громадная ящерица, так называемый эсдергха[1], похожий на дракона или крокодила. У эсдергхи есть постоянные вековые враги — очковые змеи, живущие в пограничных персидских горах. От времени до времени эсдергха пробирается в горы и ведет там «хор-хор», то есть войну с этими ужасными ядовитыми змеями. Очковая змея никого, кроме эсдергхи, не боится, даже тигра и барса, которые сворачивают с пути, встречаясь с нею.

Иногда случается, что старая очковая змея убивает неопытного молодого эсдергху, но большей частью в хор-хоре побеждает эсдергха. Туркмены очень почитают его и при встрече с ним дают ему дорогу.

Прошло много времени. Жар начал спадать, и я решил выпить из чайника воды и достать лепешки. Но все это находилось в той трещине, в которой сидел эсдергха. Я начал осторожно туда пробираться. Однако проникнуть в щель оказалось труднее, чем я ожидал. На темном фоне неба показалась шипящая голова, покрытая роговой чешуей, с выпуклыми зелеными глазами, с раскрытой пастью и гибким раздвоенным языком. Эсдергха шипел, хлопал челюстями и царапал пятипалыми лапами.

Я в нерешительности отступил обратно. Стрелять мне не хотелось. Выход из положения дал сам эсдергха. Заметив мое колебание, он выскочил из расщелины, несколько раз подпрыгнул на месте, загнув хвост, и большими скачками бросился ко мне. Я побежал назад на скалу.

---

[1] Эсдергха, или зем-зем, также ичкимер — туркменское название варана. ящера из семейства aranidae. Варан водится в Африке и в Азии, от Туркменистана до Индии; укрывается он в самых глухих песчаных местах. Достигает длины двух метров с половиной.

Эсдергха бежал за мною, злобно шипя и стараясь ударами хвоста сбить меня с ног. Я отбивался от него прикладом ружья. Внезапно он отскочил, присел и большим прыжком бросился мне в лицо. Острые зубы встретили ложе винтовки. Я выхватил револьвер и выстрелил ящеру в голову.

Эсдергха высоко подпрыгнул и упал на бок с жалобным повизгиванием, словно скулящий щенок. Мне стало его жалко. Он несколько раз дернулся, колотя извивающимся хвостом по земле, и замер с раскрытыми выпученными зелеными глазами...

Убедившись, что ящер мертв, я осмотрел его и измерил. Он был длиною в четыре шага. Раздвоенный язык был на конце жесткий, роговой. На спине тоже жесткие роговые щитки. Пятипалые лапы оканчивались острыми когтями.

Чиркнув спичкой, я вошел в трещину и в глубине ее увидел кучу грязновато-белых продолговатых яиц, величиной с куриные. Они лежали в мягкой песчаной ямке. Теперь я понял, отчего эсдергха — очевидно, самка — так защищала вход в эту расщелину, и мне опять стало досадно за это ненужное убийство...

День кончался. Солнце село в багровые тучи, и ни одна новая точка не оживляла горизонт. Он был пуст, как и утром...

V. ВСАДНИКИ НА ГОРИЗОНТЕ

Прошла ночь, полная кошмарных снов.

Я лежал, завернувшись в бурку, положив под голову камень так, чтобы уши были открыты и я мог слышать каждый шорох. В бреду ночи мне чудилось, что оживший эсдергха хныча лезет на меня, что из степи скачут басмачи и я захлебываюсь в соленой воде колодца. Я просыпался под вой шакалов, заливавшихся дьявольским визгом и смехом. Они подходили совсем близко, подбираясь к трупу эсдергхи, и я отпугивал их камнями.

Настало утро, такое же, как и вчера. Быть может, последнее утро в моей жизни... Пустыня сверкала в солнечных лучах; ветер свистел, выводя тоскливые песни...

Я поднялся, усталый от проведенной ночи, с напряженными от ожидания нервами. Вынув часы, я стал высчитывать, когда должен вернуться Ходжом, если только он захочет и сможет вернуться.

Если он выехал сегодня на рассвете или раньше, то ча-

сам к одиннадцати или двенадцати должен быть здесь. Я решил, что буду его ждать до вечера. А потом, если он не приедет...

Трепетно, не обращая внимания на солнце, на жажду от соленой воды, уже без всякой сонливости оглядывал я горизонт, надеясь заметить между холмами белую папаху и красный халат.

Глаза, воспалившиеся и полуослепшие, напрягались, вглядываясь в далекий горизонт. Я сидел на скале, обхватив колени руками, уже не обращая внимания на то, что могу быть замечен. Лишь бы что-нибудь новое мелькнуло в этой клубящейся дали! Лишь бы появилась на горизонте новая точка, несущая спасение или смерть!

Прошло еще несколько томительных часов. Было без двадцати минут два. Ходжом давно должен был вернуться. Я вскакивал и, вытягиваясь во весь рост, осматривал горизонт.

Лежавший позади меня огромным бревном труп эсдергхи распух и издавал зловоние. Шакалы местами прогрызли ему горло и живот, и тонкие желтые кишки лежали, как расползшиеся черви.

Я поминутно глядел на часы. Разумеется, Ходжом никогда не приедет...

Что там вдали? Между холмами двигается маленькая точка, совсем маленькая, поминутно скрывающаяся в барханах. От радости я готов был кричать, стрелять из ружья и бежать ей навстречу. Я схватил винтовку и, подняв дуло, хотел было выстрелить, но вдруг заметил... За первой точкой двигалась вторая, третья — и так я насчитал восемь точек.

Я замер на скале с поднятым ружьем.

«Продал Ходжом! Продал! Значит, смерть! Неминуемая смерть! Недаром коршуны кружатся над моей головой... Эх! Поверил один раз «на совесть»! Но нет! Даром я свою жизнь не отдам! Я перестреляю из прикрытия всех их коней! Я буду биться до последнего патрона, который приготовлю для себя! Иначе басмачи сожгут меня живым или выкроят ремни из моей спины...»

Я вспомнил об эсдергхе. Лучшей защитой было засесть в расщелине, где было его гнездо. Я пригнулся и осторожно сполз со скалы, потом внес в расщелину несколько камней и заложил ими вход. Пересчитав патроны, я отложил один отдельно... Затем я собрал все бывшие со мною документы, письма, ценные вещи и зарыл их под камнем...

Выглянул из расщелины. Можно было уже различить шесть всадников в разноцветных халатах, и только один был полуголый и сидел на лошади в одних штанах. Под другим всадником в белой папахе я узнал стройный силуэт Италмаза. Из расщелины было видно как раз то место, где мы с Ходжомом доставали воду из колодцев. Всадники, увешанные патронами, с винтовками за плечами, подъезжали, перебрасываясь словами. Один конь шел в поводу, нагруженный мешками и тюками. Мне показалось, что в этом коне я узнаю рыжего жеребца Ходжома.

VI. РЕШИТЕЛЬНЫЕ МИНУТЫ

Крепко сжимая винтовку, я готовился к отпору. Всадники подъехали к колодцам, не принимая никаких мер предосторожности и не обращая никакого внимания на скалы. В этом мне чудилась какая-то военная хитрость, и я продолжал ждать. Они соскочили с коней, спутали им ноги и вбили приколы в землю. Только полуголый всадник продолжал сидеть на коне, опустив голову.

Двое басмачей стали разыскивать в колодцах годную воду. Трое пошли по пескам, ломая саксаул для костра, а один, коренастый, низкого роста басмач, в белой папахе, как у Ходжома, и в ярком пятнистом халате, подошел к сидевшему на лошади полуголому человеку. Схватив за плечи, он грубо стащил его на землю. У полуголого человека руки были связаны за спиной и лицо в крови.

Мне казалось странным, что среди басмачей не было ни одного похожего на Ходжома. Схватив пленника за связанные сзади руки, басмач поволок его к колодцам. Связанный человек отбивался и делал попытки развязать руки. Коренастый басмач повалил его на землю и, ударяя нагайкой, стал о чем-то спрашивать. Лежавший на земле молчал. Мне страшно хотелось перестрелять басмачей, но я не был уверен, что успею это сделать раньше, чем прибегут ушедшие за саксаулом. Я сдержал себя и ждал.

Басмач прокричал ругательство, сунул пленнику в ноздри два пальца и оттянул его голову назад совсем так, как это делают баранам, которым хотят перерезать горло. Другой рукой он полез за ножом.

В отчаянно вырывавшемся пленнике я узнал Ходжома.

Двое других басмачей, бросив ведра, подошли и, упираясь руками в бока, хохотали. Еще мгновение — и горло Ходжома будет перерезано от уха до уха острым текинским ножом. Неужели я не выручу его?

Я положил ружье на камень и, прицелившись басмачу в голову, выстрелил...

Державший пленника басмач дико вскрикнул, покачнулся и упал на Ходжома. Двое других испуганно замерли, пораженные неожиданным выстрелом. Вторым выстрелом я уложил другого басмача. Третий, схватившись за голову и пригнувшись к земле, бросился к коням и вскочил на первого попавшегося, забыв, что у коня спутаны ноги. Я сбросил его с седла третьим выстрелом.

Кони взбесились, сорвались с арканов и бросились в степь. Неуклюже прыгая на спутанных ногах, они разбегались по пескам. Трое басмачей, собиравших саксаул, побежали к ним, поймали ближайших и без оглядки поскакали в барханы.

Я спрыгнул со скалы и подбежал к Ходжому. Он сбросил с себя труп басмача и стоял, высокий, полуголый, весь в крови. Я разрезал сыромятные ремни, скручивавшие ему руки. Он тотчас же схватил лежавшую на песке винтовку и начал стрелять вдогонку скакавшим басмачам.

— Ладно! Хватит, Ходжом! Они удирают, как лисицы!

Он перестал стрелять и, посмотрев на меня, протянул мне руку:

— Мой дом — твой дом, ока!

Я весело хлопнул его по плечу и ответил так же:

— Моя кибитка — твоя кибитка, Ходжом!

VII. СПАСЕНИЕ НА СЕВЕРЕ

Медлить было нельзя. Ходжом бросился ловить коней,— со спутанными ногами они убежали недалеко. Кони бились в руках Ходжома. Италмаз весь дрожал и не давался мне в руки.

Ходжом торопил с отъездом.

Я задержал его и помог взобраться на скалу.

Мы тщательно осмотрели горизонт. Вдали еще были видны три точки, которые, то появляясь, то исчезая в барханах, быстро удалялись.

Вдруг Ходжом вскрикнул:

— Ой! Что ты наделал!

Он подошел к раздувшемуся трупу эсдергхи:

— Ты убил его?

Я кивнул головой.

— Зачем? Это хороший зверь эсдергха! Нельзя его трогать! Беда будет!

— Беда не от этого, а от тех собак! — ответил я, указывая в сторону ускакавших басмачей.

— Раз ты его убил, надо его зарыть. А тех,— он указал рукой на трупы басмачей,— пусть съедят шакалы за их негодную жизнь!

— Где сейчас басмачи? Ты узнал, где их посты? — спросил я.

Ходжом показал рукой на три стороны горизонта.

— Вон там, там и там! А вон там их нет! — и он указал на равнину.

— Значит, придется ехать на Кыр?

— Ничего не поделаешь! У шихов я взял зерна для лошадей на три дня и лепешки. Басмачи меня захватили по дороге. Не знаю, почему они повернули к этой скале.

— Твое счастье, что сюда, а не в другое место!

Ходжом посмотрел мне в глаза и по-туркменски одобрительно зацокал.

Мы закопали эсдергху в песок, сняли с басмачей патроны и навьючили на басмаческих коней мешки и хуржумы.

Через несколько минут я сидел на Италмазе, Ходжом — на своем Рыжем, и в поводу у нас были три лошади с зерном, водою и вьюками.

Сведения о расположении басмачей, тщательно собранные Ходжомом у шихов, были очень ценные. Надо было торопиться доставить их командиру отряда. Хотя дорога через Кыр была очень тяжела, но благодаря запасу корма и заводным коням можно было надеяться пройти каменную равнину.

Ровным «волчьим шагом» пустыни мы двинулись на север через Кыр. Я оглянулся еще раз.

На ярком синем небе под палящим солнцем одиноко вырисовывалась серая скала, и на нее, кружась в воздухе, спускались коршуны...

1928

ПЛАВИЛЬЩИКИ ВАНДЖА

I

Чтобы понять, как добывались в глубокую старину чугун, железо и сталь, можно не углубляться в древние фолианты, где упоминается об искусных мастерах, отливавших серый ковкий металл, из которого потом изготовлялись «благородные мечи», «жадно впивающиеся острия копий» или «звонкие топоры». Наши современники могли своими глазами видеть подобные первобытные «печи-домницы», раздуваемые ручными мехами, еще сохранившиеся кое-где в нашем необъятном Союзе рядом с грандиозными железоплавильными заводами Магнитогорска или Донбасса, например, в глухих лесных уголках Карельской АССР или в малодоступных долинах Памира, где простые литейщики передаваемыми из рода в род методами получали чугун в «сыродутных домницах» и затем на небольших наковальнях выковывали молотами простейшие сельскохозяйственные орудия, топоры, ножи, посуду и другие предметы домашнего обихода.

В таджикском поселке Гарм, что в долине Каратегина, автор услышал от таджика комсомольца Кудрата историю о том, как плавилась руда и получалось железо по старинному способу искусными мастерами (усто́) в малодоступной долине Ванджж, затерянной в предгорьях Памира, и о других событиях, волновавших в те дни население этой пограничной местности.

Рассказ Кудрата может дать наглядное представление и о способе добычи руды и получения железа, практиковавшемся много веков тому назад.

Вот эта история.

«Я еще не настоящий мастер — усто. Я даже еще не младший мастер, усто-хурдак. Мне предстоит еще много работать под руководством опытного, пропитанного дымом и копотью кузнеца, чтобы научиться всем его искусным приемам: как сковать нож (кард), или наконечник плуга (ноук), или изогнутый серп (урамк). Все-таки я добьюсь того, что железо под моим молотком и по моему желанию будет изгибаться, растягиваться и принимать форму топорика (теша) или упругих ножниц для стрижки овец (кайчин).

Но мало еще быть ловким усто — мастером, надо еще уметь разбираться в сорте железа: если оно мягкое — его

надо сплющить в подковы (наль); а если оно крепкое, твердое — кырч, вышедшее из самого сердца домницы, то из него можно сковать подпилок (суюн), или прочный, не боящийся сучков топор (табар), или звонкую и гибкую саблю (шамшир), достойную блеснуть в руке бесстрашного красного воина (кзыл-аскера).

Вы хотите, чтобы я рассказал вам, как добывается железо? Хорошо, я вам это объясню, но запомните, что железо — это не простой кусок серого камня, из которого что захочешь, то и сделаешь. Нет, далеко не так. Имеется много сортов железа, и каждый сорт таит в себе такие неожиданные причуды, что если перед вами кусок железа, то не вы будете им распоряжаться, а он вами; один кусок скажет вам: «Из меня можно сделать только сковороду, ни больше и ни меньше», а другой кусок приведет вас в восторг: вы его сбережете, чтобы выковать винтовку, за которую каждый охотник даст много горстей серебра и в придачу только что убитого козла.

Итак, я вам расскажу, как у нас, в долине Ванджа, наши мастера — усто — выделывают железо.

Вы знаете нашу речку Вандж? Не знаете? Неудивительно, так как редко кто забирается на наши выси, тянущиеся к высочайшим хребтам Памира. Но все-таки нашу долину Вандж знают хорошо жители и соседних, и более дальних долин — Язгулема и Вахшио, все дарвазцы и даже шугнанцы. Раньше афганцы нередко приезжали в нашу Ванджскую долину и привозили с собой и кожу для обуви, и пестрые чулки, и шерстяные халаты — все с одной целью: выменять на свои товары наше славное, прочное железо, потому что на деньги мы своих изделий никогда не продаем. Зачем деньги, когда нам привезут и башмаки, и домотканую бязь, сушеный урюк, соль и прочее — всего не пересчитаешь!

Наша речка Вандж вытекает из-под самой вершины величайшей горы Гармо, которая в вечных ледниках сверкает своей белоснежной чалмой, возвышаясь над всеми окрестными хребтами.

И днем и ночью с беспрерывным рокотом несет Вандж вниз мутные воды, то высыхая в мелкую речушку, то, когда начнут таять ледники, раздуваясь, заливая долину, и, в пене прыгая через камни, катится до самого Пянджа.

Реку Пяндж вы, конечно, знаете? Как, и ее вы не знаете? Так что вы знаете вообще? Пяндж — это самая большая река в Таджикистане, а может быть, и во всем

мире. Пяндж — значит «пятерня». В нее стекаются пять горных рек, а затем Пяндж, соединившись с водами других встречных речек, разбухает, надолго отделяя нас от Афганистана. Пониже на Пяндже, за порогами, начиная от Серая, плавают сперва длинные плоскодонные лодки — кимэ, или каики, а уже от города Термеза и Келифа ходят наши советские пароходы и тянут баржи. В этом месте река называется Амин-Дэрью, или Катта-Дэрья,— Великая река. А про Амин-Дэрью, величайшую из рек, вы, конечно, уже слышали, а может быть, даже ее и видели? Значит, Пяндж — это узкий хвост змееподобной реки Амин-Дэрьи, вытекающей из величайшего узла всех Памирских гор и бегущей через раскаленные пески до самого Аральского моря.

Поздней осенью, когда лопается орех и закончены полевые работы, вверх по долине Ванджа длинной вереницей тянутся артели людей, отправляющихся в копи за железом.

Узкими тропинками, высеченными вдоль обрывистых горных склонов, путники идут медленно, поднимаясь все выше к вершинам гор. У каждого за спиной мешок, а в руках длинная прочная палка (шикорчуб) с железным наконечником. На нее приходится опираться, особенно при спуске, когда по каменным глыбам легко соскользнуть и оборваться в глубокую пропасть, где на дне свирепо бурлит неугомонная горная речка.

Железная руда в хребте над рекой Вандж встречается в нескольких местах, но главных копей имеется три: первая Те-Хариви, наиболее разрабатываемая, около селения Те-Харв; вторая — Пой-и-Мазар, в самых верховьях реки Вандж, возле селения того же имени; и наконец старинная копь при селении Потоу.

Встречается железная руда и в других местах, но там она плохого качества и к плавке непригодна.

Лучшая руда — из Те-Харва, а потом из Потоу.

Копи находятся высоко в горах, так что путешествие за рудой дело нелегкое, за ней отправляются только опытные и сильные горцы, которые в состоянии пронести на спине тяжелый вьюк.

Теперь я вам расскажу об истории, происшедшей со мной, когда я впервые отправился с нашими горцами за железом. Я был сиротой, жил у дяди, мне исполнилось 15 лет.

У нас в селении обычно собираются несколько хозяев

и общими силами производят выплавку одной домницы. Так и на этот раз пришли к моему дяде три наших соседа, уселись в кружок на земляных нарах (дукон), курили чилим из пустой тыквы, пили зеленый чай и прикидывали, сколько удастся выплавить железа.

— Пять человек трижды сходят за рудой, и каждый из них принесет по три вьюка — «як мард санг», «то, что может снести человек»[1],— сказал старый Абдыр-Бобо.

— Мало по три вьюка. Выплавится мало железа. Сходим по пять раз,— возразил молодой Максум-охотник. Он был силен как бык.

— Ты думаешь, что Абдыр-Бобо старик и боится сходить лишний раз? — вставил всегда молчавший Файзали.— Дело не в том. А хватит ли у нас угля и дров? Если плавка остановится на полпути — пропадут труды за весь год.

— Сколько угля, столько и железа,— подтвердил Абдыр-Бобо.

Мой дядя подсчитывал, сколько собрано топлива. Каждый прибавлял, сколько вьюков он еще подвезет и сложит в наш дровяной склад и угольный (бунг).

— И рады бы привезти дров побольше,— говорили соседи,— да сами знаете, как трудно собирать арчу[2], на какие выси приходится за ней взбираться. Ведь на наших горах леса не больше, чем пуха на тыкве.

Во время разговора я сидел в углу и следил за тем, чтобы чашки наших гостей не оставались пустыми. Я вышел с чугунным чайником (кумганом) во двор, чтобы зачерпнуть в канавке свежей воды, и увидел всадника. Он бесшумно подъехал к нашей хижине и прислушивался к голосам, доносившимся изнутри.

Несмотря на сумерки, меня сразу поразил своей красотой его конь. В бледных лучах молодого месяца черная шерсть коня блестела как шелковая. Маленькая головка гордо сидела на выгнутой шее и хвост был на отлете — признаки драгоценной арабской породы.

Лицо всадника, обрамленное бородкой, казалось особенно бледным, и черные глаза пристально всматривались из-под белой чалмы. Всадник тронул меня концом нагайки, а конь нетерпеливо взмахивал головой и грыз удила.

---

[1] Одна «ноша» человека — приблизительно 48—50 килограммов.

[2] Арча — древовидный можжевельник, ствол которого не имеет сучков, почему и является ценным материалом для изготовления карандашей.

— Кто здесь живет? Махмед Сафид-усто?
— Да, ты не ошибся. Позвать его?
— Ты сын его?
— Нет, племянник.
— А кто у него сейчас?
— Наши соседи.— И я назвал их.

Голоса в хижине смолкли. Конь бил копытом по каменистой почве. Дядя услышал шум и показался в дверях.

— Да будет твой приход счастливым! Откуда ты, путник? — Дядя подошел к коню и взял его за повод и стремя, а сам вглядывался в лицо путника.

— Благословение всевидящего да будет над твоим домом! Кто у тебя?

— Соседи.

— Кто это Максум-охотник? Я его не знаю, из молодых?

— Охотник. Живет недавно.

— Надежный?

— Что могу сказать? Он долго здесь не жил, уходил на север.

— Зачем же попадает к вам в артель бродяга, галыча́? Человек, в котором ты не уверен,— тайный враг. Слушай...— и всадник наклонился к самому уху дяди и что-то долго шептал ему. Я разобрал только несколько слов: «...ты сделаешь двадцать сабель, и я пришлю тебе для этого опытного бродячего кузнеца».

— Хорошо, господин! (Хоп, таксыр!) — повторял шепотом дядя, скрестив руки на груди.

— Помни же, скоро я опять приеду и упаду как град среди ясного дня. Ради великого дела все должно быть готово к сроку!

Бледный всадник тронул коня высоким острым каблуком желтого сапога. Конь, побрякивая уздечкой, легко прошел по двору, и несколько мгновений над каменным забором мелькала удалявшаяся белая чалма незнакомца.

Когда дядя вернулся в хижину, он сперва молчал, соединив концы пальцев, потом стал доказывать, что в домницу надо засыпать побольше руды. Пять вьюков на каждого не хватит. Надо по меньшей мере принести шесть-семь вьюков или же прибавить к артели еще двух-трех соседей.

Все согласились принести лишнюю «ношу» руды и решили завтра же двинуться в путь.

— Мой Кудрат тоже пойдет,— сказал дядя, указав на меня.— Хоть «полноши» да принесет, мальчик крепкий.

— А кто это заезжал к тебе? — спросил Максум-охотник.

— Один язгулемец ехал мимо и спрашивал дорогу. Едет он вниз по реке долг получить.

Дядя говорил неправду. У простого язгулемца не могло быть такого коня, и дядя не стал бы его называть «господином» — таксыр.

II

Мы собрались еще в темноте. Звонко перекликались петухи. Небо казалось не светлее скал. Мерцая, вспыхивали тусклые звезды. Собака терлась у моих ног, но я ее не видел. Путь был далек и труден.

Старый Абдыр-Бобо пошел было впереди, но остановился:

— Максум, иди первый, у тебя шаг легкий.

Я шел последним, и за мной увязался наш мохнатый пес Сиахпуш.

Два мальчика, моих сверстника, должны были провести четырех вьючных лошадей к подножью той горы, откуда мы собирались брать железную руду. Они пошли руслом реки, а мы — хребтами.

Мы обошли свои хижины. В трещинах стен, сложенных из камней, струился желтый свет очагов. Всюду по канавкам журчала вода. В последней землянке, Максума (он ее выстроил всего год назад), в дверях стояла его старая мать и тонким голосом причитала:

— О святой пророк Доуд, о младший мастер кузнецов, о сорок четыре пророка, благословите начатое дело!

— Да отринется несчастье! — ответили шедшие впереди.

Мы перелезали через каменные заборы, прыгали через ямы, осторожно обходили крошечные поля пшеницы и ячменя и наконец выбрались на едва заметную тропинку.

Утесы стали лиловыми, резче выделяясь на светлевшем небе. Ущелья еще чернели с заснувшими в них седыми туманами, когда самый высокий пик заалел, точно облитый малиновым соком. Восток быстро золотился, и, когда первые лучи стали окрашивать острые края скал, отовсюду, отры-

ваясь, поплыли туманные облака, будто увлекаемые подымавшимся солнцем.

Мы шли тропинками, терявшимися в каменных глыбах: через них приходилось перелезать, цепляясь руками, и пес Сиахпуш не раз скулил, пока я его не втаскивал за собой. Мы переходили узкие ущелья по трепетавшим мостикам из двух жердей, огибали висевшие над пропастью скалы по «балконам» из кольев, вбитых в камень нашими заботливыми дедами.

Впереди мелькала красно-белая полосатая спина халата Максума и на ней старое ружье (мыльтык) с двумя рожками подпорок. В полдень мы подошли к маленькому водопаду: узкая серебряная струя воды скатывалась с громадного камня и уносилась вниз, в холодный полумрак ущелья.

Здесь мы отдыхали, ели лепешки с изюмом, тесто из тутовых ягод. Никогда вода не казалась такой вкусной, как из этой холодной струи, вытекавшей из твердого, как лед, снега, сползавшего сверху, с вершины горы.

Максум поманил меня, и я вскарабкался на выступ скалы, где он стоял. Он провел меня дальше и показал на землю, размытую просачивавшейся водой. На земле было видно множество следов — маленьких и больших — от раздвоенных копытцев.

— Сюда приходят на водопой козлы (оху). А вот взгляни-ка: что это?

Треугольные продолговатые пятки и пальцы с остро врезавшимися когтями прошли через сеть мелких следов, тяжело вдавившись во влажную почву.

— Это рыжий медведь (хырс): он всегда блуждает одиноко и прячется в можжевельнике, подстерегая козлов...

Мы тронулись в путь. Теперь я шел все время за Максумом. И раза два он мне указывал на хребет, где желтыми точками пробирались дикие козы, быстро скрываясь среди черных скал. Уже к концу дня, когда солнце опустилось в ущелье и все небо пылало красным заревом, мы пришли к горе с железной рудой. Едва мы успели расползтись по горе, чтобы набрать колючек и круглых, как подушки, кустов вереска с узловатыми корневищами (кампермаш), «старухин кулак», как сразу настала темная ночь.

Сойдясь опять вместе, мы стали готовиться к ночевке. Старик Абдыр-Бобо высек искру кремнем. Затлел трут,

сделанный из пропитанной порохом сердцевины речного камыша. Когда разгорелся костер и закипел железный чайник, к нам подошли несколько человек и уселись на корточках. Наши старики им сказали: «Салям!» Это все были знакомые жители других кишлаков нашей долины. Они тоже собирались выламывать железную руду.

— Наша долина Ванджа,— говорил дядя,— это одна большая кузница. Кто из нас не льет железа? Только ленивый.

Разговоры велись шепотом:

— Говорят, что на днях надо ожидать приезда князей-беков. Они переправились через Пяндж и пробираются верхними тропами по хребтам Язгулема. Их несколько сотен. У них винтовки — «инглиз», и они режут всех, кто стоит за бедняков и не поддерживает святых ишанов и правую веру...

Я вспомнил бледного всадника и слова дяди, с поклонами называвшего его «таксыр» — господин.

Никто в разговоре не решался произнести слова «басмач» (душитель), а все называли их беками, князьями.

Максум-охотник молчал, опустив голову, точно дремал. Но вскоре он поднялся и медленно удалился в темноту, взяв с собой ружье. Ночью он не вернулся. Мы легли звездой вокруг костра, грея то спину, то грудь. С горных вершин тянуло ледяным холодом, и я, свернувшись как змея, дрожал всю ночь, которая казалась бесконечной. Я вставал, подбрасывал в костер ветки вереска и грел руки над разгоравшимся ярким пламенем.

Утром началась горячая работа. На склоне горы, среди темных, угрюмых скал, было несколько узких, как норы, входов, пробитых, как говорили старики, тысячу лет назад. Когда мы подошли к одному входу, Максум уже поджидал нас. Некоторые зажгли светильные ветки — чираги [1], и мы углубились в темную как ночь шахту, опускающуюся постепенно вниз. Пройдя несколько шагов, дядя остановился и на каменном выступе потолка накоптил чирагом какую-то завитушку, сказав, что это он приветствовал злых духов и драконов (ардахóр), живущих в горе: он обращался с просьбой к их владыке — змеиному царю (шахи-моро),

---

[1] Чираг — сухая ветка чинара или тута, обмазанная тестом из кунжутного масла и раздавленных семян маслянистого касторового растения, обсыпанная для прочности мукой.

чтобы он и все его страшные слуги были милостивы к нашей работе.

У каждого из нас была завернутая в тряпку связка чирагов. Шахта имела много разветвлений, где то и дело мелькали огоньки и слышались глухие удары. Всюду шла работа. Абдыр-Бобо провел нас через узкий ход, где раза два пришлось ползти на четвереньках.

— Во всех шахтах железной руды так много,— сказал Абдыр-Бобо,— что всем хватит: и сыновьям, и внукам нашим. Берите только кирку и работайте.

Мы пришли в просторную, но низкую пещеру. В ней было сыро, и всюду по стенам просачивалась вода.

Дядя воткнул несколько чирагов в стены: чираги горели дрожащим светом и потрескивали, распространяя чад и дым.

Двое должны были выламывать руду, а остальные выносить ее наружу и по очереди сменять усталых забойщиков.

Сняв халаты и рубахи, два старика начали изо всех сил ударять кирками в темную стену шахты, где виднелся идущий насквозь красноватый слой руды. Мы подбирали отвалившиеся куски, разбивали их на более мелкие и складывали в мешки за спиной. Работа забойщиков была очень тяжелая: они долго и сильно долбили в одно и то же место, пока откалывался кусок руды.

Когда двое нагрузились рудой, они ушли, остальные, сменив уставших, продолжали работу.

Когда мне насыпали руды в мешок, я едва устоял,— такой тяжелой показалась мне ноша, но, расставив для крепости ноги, я старался и виду не показать, что мне тяжело. Я выходил вдвоем с Максумом и едва за ним поспевал: он шел быстро, нагнувшись под тяжелой ношей, и напевал.

Далеко внизу, под горой, виднелись покрытые полосатыми войлоками наши четыре коня. Я сползал с горы, цепляясь за каменные выступы, боясь покатиться, спотыкался, падал и был уже недалеко от коней, как вдруг мне пришлось сразу спрятаться за камни.

По склону противоположной горы двигались всадники. Их было много, очень много. Они выезжали один за другим из-за хребта и извилистой вереницей спускались по узенькой тропинке, направляясь к реке. Некоторые, доехав до русла, поили коней и неслись вскачь, догоняя уехавших вперед.

«Это они,— решил я.— Кто же, кроме них, может появиться в этой глуши?» У них за спиной поблескивали винтовки: у многих на боку висели кривые сабли. Халаты укорочены до колен, и у некоторых головы повязаны цветными платками с узлом на лбу: они походили на басмачей, отправившихся в набег. Я тревожно вглядывался в этих не виданных мной до сих пор людей. Всадники были самого разного возраста: и старики, согнувшиеся крючком, и мальчишки, и мужчины средних лет.

Несколько человек остановились около наших коней, соскочили на землю и стали спорить с нашими мальчиками-погонщиками. До меня ясно доносились крики одного басмача:

— Ты не хочешь помочь святому делу? Так ты язычник? Ты отрекся от правой веры? Голову отсеку тебе! — И, выхватив кривую саблю, он взмахнул ею.

Оба мальчика отбежали, а басмачи сбросили с наших коней вьюки, расседлали своих коней, и не успел я сообразить, в чем дело, как четыре басмача, сидя на наших конях, уже скакали по дороге.

Когда последние басмачи скрылись в облаке пыли, я спустился вниз и одновременно со мной спустился Максум. Он тоже пролежал все это время за камнями.

Максум осторожно снял свой мешок с рудой и стал осматривать оставленных басмачами коней. У одного копыто треснуло до самой бабки, у двух спины были сбиты и кровь сочилась из гноящихся ран. Четвертый конь, худой, с выступавшими ребрами, стоял, раскорячив ноги и понуро опустив голову.

— Перестаньте реветь, как ослы перед репейником! — крикнул Максум на мальчиков, которые всхлипывали, утирая слезы.— Расскажите, что вам говорили эти разбойники?

— Они звали нас пойти вместе с ними в долину Каратегина, чтобы «проучить» там тех, кто не поддерживает святую веру и ссыпает хлеб в Совет.

— И оставили для похода этих одров?

— Они смеялись и говорили, что дарят нам замечательных коней-скакунов.

— Негодяи, паршивые собаки! — ругался Максум.— Это же крестьянские язгулемские кони. Бродяги насильно забрали их, искалечили и подбросили нам. А язгулемцы скоро прибегут сюда их разыскивать и заберут своих ко-

ней. Наших коней нам больше не видать, а завести новых нам не под силу.

Вскоре спустились с горы другие два наших соседа. Обложив раны коней войлоком, они кое-как наладили вьючные седла. Мы нагрузили коней рудой; каждый из нас тоже нагрузился рудой, и все мы, сгибаясь под тяжестью вьюков, поплелись обратно домой.

III

В нашем кишлаке из всех хижин неслись крики и плач. Басмачи пробыли там целый день, забрали весь хлеб, весь урожай пшеницы и ячменя и, как тучи саранчи, пронеслись дальше. С чем мы останемся на зиму? Чем будем кормиться долгие холодные месяцы?

К вечеру наша артель опять собралась у дяди, чтобы обсудить, что делать.

— Железо нас кормит,— сказал Абдыр-Бобо.— Мы выменяем на железо и хлеб, и шерсть, и хлопок.

— Уходить надо в Фергану на заработки,— сказал Файзали.— Уходить надо сейчас, пока снегом не завалило перевалы.

Максум-охотник убеждал никуда не бежать, а еще раз сходить за железной рудой и приняться за выплавку.

— Будет весна — опять засеем поля. А уйдем, когда еще вернемся?.. Не сладко скитаться на чужбине, я уже испытал это... Конечно, железо нас прокормит.

Так и решили. Закурили чилим. Каждый, обтирая рукавом чилим, булькая водой, затягивался дымом.

Абдыр-Бобо, взяв чилим, воскликнул:

— Скажи мне, чилим, как нам поступить? Когда тебя закуришь, всегда сердце возрадуется. Почему ты даешь нам радость?

Потом старик затянулся три раза и наклонил голову, как будто прислушивался к бульканью внутри тыквы.

— Чилим мне сказал: «Я потому даю радость сердцу, что сам я полон огня и душистого дыма. Будете и вы,— говорит чилим,— иметь огонь в сердце и снова увидите счастье».

...Возле дядиного дома был сарай. Там в течение всего лета складывались дрова и уголь. Наши соседи тоже притащили в сарай свои запасы дров и угля.

К одной из наружных стенок этого сарая была сделана пристройка в виде высокой бутылки. Стенки были сло-

жены из камней, скрепленных глиной. Эта каменная «бутылка» и была той домницей, в которой должно было плавиться железо. Она не маленькая: если высокий человек поднимет руку, то едва достанет до жерла (салохи) этой «бутылки»-домницы.

Стенка, соединяющая домницу с сараем, имела узкую щель, или дверцу. Через эту дверцу вся домница наполнялась доверху дровами, короткими поленьями арчи и узловатыми стволами кустарника ангет. Нужно было пользоваться всем, что только можно было найти в горах, где дров так мало, что иногда трудно развести костер.

Дрова были подожжены через дверцу, и тогда всю щель — дарик — заложили маленькими плоскими камнями, скрепленными глиной так, чтобы стенка была в то же время и тонкой, и достаточно прочной, иначе железо могло ее продавить.

Старый, опытный литейщик Абдыр-Бобо начал распоряжаться и указывать каждому, что ему делать.

Я и два мальчика, ходившие за конями, дежурили по очереди у верхушки домницы. Взрослые по двое работали у ее основания.

Я вскарабкался на выступ близ жерла домницы, из которого валил густой дым. Здесь я наблюдал, что делается внутри домницы. Я не смел садиться, чтобы не заснуть, да и негде было. Дрова прогорели и обратились в раскаленные угли. Я крикнул работавшим внизу:

— Принимай свою очередь! (Гоу-та быгир!)

Тогда Абдыр-Бобо пробил внизу тонкой стенки дарика небольшое отверстие и вставил глиняную трубку — билюль. Таких трубок было заготовлено десятка два, так как они быстро прогорают. Через эту трубку с помощью двух козьих мехов (шерстью наружу) Максум начал раздувать уголь в домнице. Работать мехами предстояло несколько дней, беспрерывно усиливая жар настолько, чтобы руда расплавилась и потекла яркой, сверкающей, как солнце, струей.

Отработав свой срок, Максум кричал:

— Принимай свою очередь!

И другой работник брался за мехи.

Старый Абдыр-Бобо, взобравшись наверх, учил меня:

— Дрова сгорели, и уголья опустились, теперь ты всыпай корзину угля и одну миску руды.

Корзина угля была большая и тяжелая, и старик по-

мог мне опрокинуть ее в горло домницы. Вся руда была расколота на мелкие кусочки величиной с абрикос.

Я отстоял свой час, прикрывая лицо платком от невыносимого чада и жара, и заглядывал внутрь домницы. Там постепенно опускался уголь. Каждый раз, когда я всыпал новую корзину угля и миску руды, я кричал:

— Принимай свою очередь!

Одного раздувальщика сменял другой, и с новой силой он двигал мехи, а уставший утирал лоб, отходил выпить чашку воды и ложился тут же, близ домницы, завернувшись в старый тулуп.

Через глиняную трубку работавший мехами мог узнавать, много ли расплавилось железа и как высоко оно наполняло дно домницы. Для этого он пропускал внутрь трубки деревянную палочку: если она горит медленно — железа еще нет, но когда палочка сразу вспыхивает ярким пламенем,— значит, она касается расплавленного железа. Тогда отверстие трубки закладывалось камешком, замазывалось глиной и еще заваливалось снаружи землей. Над этим местом, на три-четыре пальца выше стенки дарика, пробивалось новое отверстие и вставлялась новая трубка. Снова начинали работать мехи, вдувая воздух и раскаляя уголья домницы.

И так, беспрерывно, чтобы узнать, как высоко поднялось расплавленное железо, надо было все выше пробивать отверстие в стенке дарика, вставлять новые трубки, а нижнее отверстие заделывать и заваливать землей: земляной бугор поднимался все выше, придерживая стенку дарика, чтобы она не проломилась под тяжестью железа.

Самыми приятными минутами отдыха было время, когда дядя сзывал нас завтракать. Утром, на заре, по обычаю приносили нам мелкие клецки (умоч) с кислым молоком, в полдень — гороховую лапшу с хлебом; перед закатом солнца ели окрошку из мелко нарезанных груш и грецких орехов; наконец, на ночь дядя угощал нас горячим кипяченым молоком с накрошенным в него хлебом (ширджуш).

Дядя, конечно, отдавал свои последние запасы еды, но ведь так кормят повсюду: когда работают артелью, то угощают каждый по очереди,— это называется хешар.

IV

Прошло два дня плавки: два дня и две ночи мы не отходили от домницы, ложились отдыхать возле нее, греясь в ее пышущих жаром красных лучах. Домница пожи-

рала наши запасы железа и с еще большей жадностью запасы угля. Абдыр-Бобо и дядя все ходили подсчитывать запасы угля.

— Вай-вай-уляй! Угля мало, приходит к концу... потухнет домница, не выплавим железа. Все железо застынет, и все труды пропадут. Без железа и без хлеба будем! Вай-вай-уляй!

Но все мы — три мальчика и четверо взрослых — работали упорно.

У меня всякий сон пропадал, когда в очередь становились Максум и Абдыр-Бобо. Оба с важным видом начинали по очереди рассказывать сказки, чтобы не заснуть. Один — про то, как осел и верблюд отстали от каравана и осел, напившись кумысу, начал распевать песни, а это услышал лев и прибежал...

Другой — про то, как мудрый ворон охранял ястреба от проделок лисицы и перехитрил ее...

Максум на это стал рассказывать такую сказку, что все мы слушали и ничего не понимали.

— Мудро или не мудро, хитро иль не хитро, начинается наша небылица от пестрой птицы, от красной лисицы. Усевшись в кружок, покручивая усы, подъедая чашу кислого молока, повели мы рассказ издалека. Надо было нам поехать, отвезти железо, хотели мы оседлать осла. Стоит он белый, как хлопчатник, не может пошевелиться от старости. Как мы его ни тащили, не могли сдвинуть с места. Вышел нам навстречу цыпленок. Навьючили мы на него четыре вьюка железа. Сами сели верхом и поехали по дороге! Сзади бежит лисица и кричит: «Седло съехало набок!» Сняли мы седло, рассмотрели: на спине у цыпленка нарыв. Посыпали мы сверху землей, смотрим — на спине у цыпленка вырос тополь, а на нем сидит аист и кричит: «Постой, не бросай камня, дай я сперва молитву, фатиху, пропою».

На этом месте Максум прервал свою сказку. В темноте ночи, в красном свете от багровых отблесков дыма, вырывавшегося из горла домницы, показались три человека. Они подошли бесшумно и остановились, слушая сказку Максума. Один из них был старый, седобородый мулла из соседнего кишлака, другой — бродячий кузнец. Третий — тот бледный незнакомец, который на красивом коне приезжал вечером к дяде. В руках у него была маленькая блестящая винтовка — «инглиз».

— Слушаю я, как ты свою фатиху поешь. А ведь она у тебя предсмертная, я тебя узнал: ты ведь с собаками кзыл-аскерами дрался против нас, защитников веры...

Максум и не дрогнул, а продолжал раздувать козий мех.

— Не знаю, где ты видел меня. Я тебя вижу первый раз. Но если ты мне сейчас прострелишь голову, наши ребята от страха разбегутся, домница потухнет, железо остынет. Кому от этого будет прибыль? Дай нам лучше сперва выплавить железо, а потом и приканчивай.

Тут вдали послышались выстрелы и пронзительные крики.

— Это наши князья производят суд и расправу. Сейчас и сюда подойдут.

А старый мулла шамкает беззубым ртом:

— Этот охотник Максум — самый неверный сын шайтана. Никогда не делает пятикратного намаза. Никогда не жертвует «на коврик мулле». Он продал свою душу красному шайтану, и все гнездо, весь дом здесь из одних нечестивых...

Я стоял наверху, из жерла домницы огнем обжигало, а у меня руки и ноги похолодели. Я знал, что нам нужно было еще два дня плавить железо, потом два-три дня оно должно было остывать. Тогда выламывалась тонкая стенка дарика, и все железо круглым столбом, болванкой, должно вывалиться внутрь сарая. Там железо разбивается молотами на мелкие куски. А эти куски будет ковать кузнец на наковальне, выделывая из них все, что нужно. В сердцевине более твердое железо, на топоры и ножи, а по краям — более мягкое.

«Но если мулла и басмачи пачнут творить свой жестокий суд, что с нами будет?» Голова моя горела. Я посматривал на бледного басмача, на Максума, который как ни в чем не бывало раздувал мехи, и на дядю: он вышел из дому и, скрестив руки на груди, кланялся пришедшим.

— Войди в мой дом, таксыр! Да будет тебе просторно! Все мое — ковер под твоими ногами.

— Погоди,— ответил басмач,— я сперва пристрелю этого черного бродягу...

— О таксыр,— продолжал дядя,— какой дорогой гость приехал! Ты с толпой сподвижников пророка точно месяц с великолепным полчищем звезд.

— Сейчас, старик, сейчас...

— Не режь курицу, когда она несет яйца! — воскли-

нул дядя.— Дай нашей артели закончить плавку руды, и мы из нового железа сделаем тебе все, что твоя мудрая речь нам приказала. Разве ты не хочешь получить от нас двадцать острых сабель для твоих храбрых как львы джигитов?

— Да, я знаю. Ты мне сделаешь все, что я приказал. А вот я привел мастера-кузнеца,— он только ждет железа. Скоро ли вы кончите плавку? — Басмач, не спуская глаз с Максума, прошел вперед и вместе со своими спутниками расположился на ковре, разостланном перед домом.

Я оставался на верху домницы и следил за жаром внутри нее. Красные, как золото, уголья сильно опустились,— нужно было снова засыпать ее доверху.

— Принимай свою очередь! — закричал я, схватив заготовленную корзину угля.

— Абдыр-Бобо, Файзули, принимайте очередь! — крикнул Максум.

Но обоих стариков уже не было,— взяв туфли в руки, они ускользнули со двора.

Оба мальчика, помогавшие мне следить за домницей, подбежали к Максуму:

— Мы будем раздувать мехи... Передохни, Максум!

— Да где вам справиться с мехами!

— Не бойся, давай! Мы не уступим взрослым.

Максум передал мехи мальчикам, а сам, разминая спину, медленно поднялся на домницу, помог мне опрокинуть тяжелую корзину с углем и миску с рудой.

Мехи громко сопели. Отовсюду по селению неслись крики, и трудно было расслышать слова Максума, разгребавшего всыпанные в домницу уголья длинной кочергой.

— Кудрат, покажи, что не погибло еще между людьми благородство души. В тебе должен гореть долг совести, и поэтому...— И Максум продолжал громко, так как новый басмач вошел во двор и приблизился к домнице: — Плавить еще надо два дня и две ночи, и как можно сильнее раздувать жар, чтобы железная руда все время капала, как бараний суп (шурпá),— тогда весь перегар и мусор всплывут наверх, а внутри останется чистое и белое, как серебро, железо...

Второй басмач уселся на ковре, а Максум продолжал говорить вполголоса:

— ...Ты сейчас спокойно спустишься вниз и возьмешь тулуп, как будто хочешь отдыхать в сарае, а сам перелезешь через забор и побежишь в мою хижину. Скажи там

моей жене и матери, чтобы, не медля ни минуты, они взяли с собой только хлеба и убежали в горы и ждали там меня у Горячего ключа. Скажи, что я убежал к реке Пяндж, переплыл ее. На том берегу стоят деревянные столбы, и на них протянута железная проволока. Я найду там человека, который по этой проволоке скажет в Москву, чтобы прислали сюда летающие по небу машины, и тогда все эти шакалы разбегутся во все стороны как зайцы. Абдыр-Бобо, куда ходил? Принимай свою очередь! — опять закричал Максум.— Ребята не справятся с мехами.

Я медленно сошел с домницы и, подняв свой тулуп, направился в сарай. Бледный басмач важно сидел на ковре, а во двор входили Абдыр-Бобо и Файзали. Один на подносе нес разрезанную дыню, дикие абрикосы и груши, а другой — деревянную миску с кислым молоком. Оба с поклоном поставили угощенье перед гостями.

— Вот, таксыр, радость для души. Все, что в нашем погребе,— ваше. Кушайте и наслаждайтесь.

Гости благодарили:

— Саламат, рахмат, култук!

— Теперь, чтобы совсем насладиться, послушаем последнюю фатиху, которую нам пропоет красный аист на огненной печи,— и басмач вскинул ружье на плечо.

— Моя фатиха будет старинная,— начал Максум, продолжая стоять у жерла домницы. Он выпрямился и говорил, сверкая глазами, без всякого страха.

— Говори, говори! А мы будем есть дыню. Сладкую дыню припрятал в своем погребе старик!

— Шел крестьянин по дороге, видит — горит дерево, а на дереве свернулась змея — сейчас тоже сгорит. И взмолилась змея: «Спаси меня, крестьянин!» — «Ладно»,— сказал он и протянул ей палку. Змея проползла по палке и прыгнула крестьянину за пазуху. Испугался крестьянин: сейчас змея укусит его. Как ни просил крестьянин, чтобы змея из благодарности за спасение оставила его, она ответила: «Теперь на свете благодарности нет. Я буду жить у тебя за пазухой, а ты будешь кормить меня». Идет крестьянин и плачет. Навстречу ему ворон: «Чего ты плачешь?» Рассказал ему крестьянин, а ворон говорит: «Послушай, змея. Говорили мне, что ты самая сильная на свете, тебя все боятся».— «Верно»,— отвечает змея. «И ты можешь сделать все, что хочешь?» — «И это верно, я все могу».— «А можешь ли ты пролезть в маленькую щель?» — «Конечно, могу».— «Видишь, здесь лежит веревка с петлей; попробуй

пролезть в петлю».— «Это дело пустое»,— ответила змея и полезла в петлю. А крестьянин схватил за конец веревки и задавил змею. И так мы, крестьяне, задавим всех гадов, которые лезут к крестьянам за пазуху!..

После этих слов я перепрыгнул через забор и побежал к хижине Максума. Позади слышались выстрелы и крики...»

На этом месте рассказ Кудрата оборвался.

Разговор с Кудратом происходил в очень тревожное время, когда знаменитый бандит — князь локайский Ибрагим-бек — во главе тысячи восьмисот басмачей переправился через Пяндж и ворвался в Таджикистан. Все комсомольцы тогда были мобилизованы, и Кудрат был в этот вечер наготове, с саблей, ружьем и патронами на поясе. Автор с ним беседовал в красном уголке, где Кудрат поджидал условного сигнала, чтобы примчаться к дому коменданта.

Труба тревожно прозвенела в ночной тишине, и Кудрат вскочил, схватив винтовку.

— Одно слово, Кудрат... Чем все окончилось? Спасся ли Максум и другие? Удалась ли плавка железа?

— Плавка удалась. Железо вышло отличное. И эта сабля выкована из нашего железа.

— А Максум?

— Максум и другие спаслись и наслаждаются теперь благополучием, желаю вам полного счастья!..

С этими словами Кудрат сделал восточный жест почтения, коснувшись рукой земли, и выбежал на улицу, где его ожидала привязанная лошадь.

Читатель, вероятно, знает, что весь отряд Ибрагим-бека был разбит и сам он вместе с другими главарями (курбаши) был взят в плен.

С Кудратом автору больше не пришлось встречаться. Передавали, что он учился на рабфаке и потом сделался специалистом по железоплавильному делу. Таких специалистов требуется много, так как в Таджикистане найдены новые богатые залежи отличного железа, олова, свинца и других металлов в горе Хоронгон и в других местах.

Конечно, там работа пойдет не таким первобытным способом, как это происходило у плавильщиков железа в долине реки Вандж.

1933

РАССКАЗЫ «СТАРОГО ЗАКАСПИЙЦА»

КОЛОКОЛ ПУСТЫНИ

Между линией Среднеазиатской железной дороги и Хивой лежит громадная пустыня, степь, называемая Каракум. (черные, то есть страшные, пески).

История рассказывает, что через пустыню некогда протекала Амударья, ныне впадающая в Аральское море.

Действительно, через пустыню тянется, извиваясь, как бы русло реки, где в разных местах остались озера и лужи воды, настолько насыщенные солью, что ветки саксауловых деревьев, упавшие в воду, покрываются красивыми белыми кристаллами в палец толщиной, а встреченный мною труп верблюда был весь обвернут толстой соляной коркой.

Этим озерам в старом русле Амударьи, называемым Узбой и Унгуз, кочевые туркмены приписывают целебные свойства и купают в них больных чесоткой верблюдов.

Несколько лет назад я кочевал по Каракумам, возвращаясь в Ашхабад из Хивы, вдвоем с туркменом — старым Шах-Назар Ходжомом, в молодости, до завоевания Ахала, бывшим известным разбойником — аламанщиком, а теперь служившим бравым урядником туркменского иррегулярного дивизиона. Как знающий все тропы пустыни, он состоял моим проводником.

Мы ехали на легких ахальских жеребцах, имея запасным хивинского иноходца, навьюченного двумя бурдюками воды. На главных тропах между Ашхабадом и Хивой и Хивой и Геок-Тепе теоретически должны быть колодцы для караванов, но на практике эти колодцы обвалились и высохли, вода имеется только там, где кочующий с баранами туркмен или киргиз остановится на долгое время, сам углубит и расчистит колодец и поддерживает, пока ему нужно, воду в нем.

Поэтому приходилось всегда везти с собой воду, для себя и для наших лошадей.

По пустыне вьются едва заметные в песках тропы, проложенные с незапамятных времен проходившими караванами. Где почва глинистая — тропа глубокая и узкая, как желоб, оттиснутая верблюжьими лапами; где песчаная — там ветром наносятся груды легкого песка, сметаются следы, и приходится ориентироваться по белеющим скелетам, священным деревцам с подвязанными цветными тряпочками и по верблюжьему и бараньему помету.

Не дай бог потерять тропу, отклониться в сторону!

Песчаные холмы, покрытые редкой серебристой травой и низкими саксауловыми деревцами, похожи один на другой, и через несколько минут можно совершенно потеряться в безмолвных, однообразных песчаных барханах.

Если нет компаса и солнце затянуто тучами, то, как в море, сразу теряется возможность найти север. Сами кочевники, опытные в умении разыскивать тропу, устраивают на более высоких холмах вышки из хвороста и костей животных, чтобы иметь какие-нибудь путеводные точки и не заблудиться.

Несмотря на опытность Ходжома, много раз делавшего набеги на Хиву и уводившего оттуда лошадей и верблюдов, мы потеряли дорогу невдалеке от колодцев Куртыш на Узбое.

В этом месте дорога разветвлялась веером, шла несколькими тропинками, и Ходжом выбрал неверную. Тропа стала виться между холмами, теряться, и, наконец, мы поехали вперед безо всякой тропы.

Возвращаться назад невозможно и бессмысленно. Тропа так извивалась между холмами, что направление ее все время менялось. Теперь нужно было держаться одного направления по компасу, чтобы не кружиться на месте, и надеяться, что мы пересечем новую тропу, которая нас приведет к каким-нибудь кибиткам кочевников. Мешал нам также однообразный, беспрерывный боковой ветер. Не затихая ни на минуту, он нес тучи легкого песка, осыпал нас с ног до головы, рвал платье. Мы кутались в бурки, должны были жмуриться, оберегая глаза от песчинок, и, конечно, не могли следить за дорогой.

Ходжом на своем долговязом рыжем жеребце въезжал на холмы, вглядывался в окрестности покрасневшими, воспаленными глазами, стараясь найти какой-нибудь признак дороги или жилья.

Кругом нас до самого горизонта тянулись однообразные холмы, покрытые редкими курчавыми кустами, низкие серые тучи неслись над ними, и мертвую пустыню оживляли только желтые суслики, выскакивавшие из норок. Они садились на задние лапки, оглядывались кругом и при нашем приближении быстро прятались в свои подземные жилища.

Постепенно ветер стал стихать и, наконец, стих совершенно. Прекратился неумолчный свист летящих песчинок, сыпавшихся на сухие ветки саксаула, и над пустыней воцарилась странная тишина.

Казалось, вся природа спала, стараясь прислушаться к чему-то неслышному нам, и мы внезапно услышали мерные, низкие удары колокола. Это были низкие, густые звуки, какие слышны с громадной соборной колокольни, когда ударяют в самый могучий старинный седой колокол и слышны не отдельные звуки, а густой, басовый гул от ударов в толстую медную стенку.

Ходжом и я, стоявшие на холме, переглянулись.

— Как в русской церкви,— шепотом сказал Ходжом.

— Отчего это? — спросил я.

Ходжом наклонил голову и прислушивался: мерные звуки продолжали литься с перерывами. Ходжом поднял руки, прошептал мусульманскую молитву и провел ладонями по бороде.

— Смотри, бояр,— шепнул он, указывая вдаль.

На горизонте шли, мерно покачиваясь, гуськом четыре верблюда с вьюками. Переднего вел в поводу вожатый, на следующих сидели туркменки в нарядных одеждах. Верблюды медленно поднимались в воздух, увеличивались, стали громадными, как тучи, и плыли по небу. Верхняя часть каравана стала таять и исчезать. Некоторое время еще ритмично двигались одни ноги верблюдов, наконец и они исчезли...

— Что это такое? — повторил я вопрос.

— Это шайтан играет с нами,— шепотом ответил Ходжом.— Наше дело яман (плохо). Это шайтан всегда смеется над туркменами, теряющими дорогу. Надо поскорее бежать прочь от этого места. Бывают такие духи — джинны, они как будто люди, а все они от шайтана. Они могут такой вид принять, как будто это женщина, джигит за ней побежит, а джинн его приведет в солончак, и в нем джигит потонет.

Подул маленький ветерок. Чем больше он усиливался,

тем звуки колокола становились слабее, наконец прекратились.

— Едем, бояр,— сказал Ходжом, спускаясь с бархана.

Взяв направление по компасу, мы направились опять между холмами без дороги, но туда, где, казалось, должны были быть колодцы и главная тропа. Ходжом требовал не делать никаких остановок, идти ровным шагом без отдыха.

— Будь спокоен, бояр! Я старый волк: пока глаза видят, я не пропаду. Здесь близко должны быть кибитки туркменов из рода Ших и Ата — они святые, потомки пророка Мухаммеда. Только бы мне увидеть одного их барана или один его след, и я уже приведу тебя в кибитки.

Мы ехали долго. Выносливые, но голодные туркменские кони стали хватать на ходу молодые побеги горького саксаула. Но Ходжом был прав. Свистнула нагайка, и его жеребец галопом помчался по найденному следу.

Зорко всматриваясь в землю, Ходжом скакал впереди извилистым путем между холмами. На земле стали видны следы баранов, и через несколько минут мы были на высоком обрывистом берегу Узбоя.

Точно настоящая река, покрытая льдом и снегом, казалось, текло соленое русло Узбоя,— с его серебристо-белой поверхностью кристаллизовавшейся соли, с лунками темной воды, по каким бродили длинноногие цапли.

Возле берега Узбоя мы встретили опять тропу, по ней рысью пошли вперед, надеясь встретить до вечера колодцы Куртыш-кую, раньше известные Ходжому.

На изгибе Узбоя мы неожиданно наткнулись на ряд могил по краю оврага; возле могил увидели одинокую часовню «аулиа» и — о блаженство! — туркменскую кибитку; над ее крышей вился дымок.

Когда мы подъезжали к кибитке, из-за холма, с противоположной стороны, показался туркмен-вожатый, ведущий за повод верблюда, а за ним брели еще три... Медленно помахивая обросшими длинной шерстью шеями, качая головами, шли четыре верблюда, а на их горбах сидели нарядные, в красных шелковых халатах, туркменки. На шею первого верблюда был подвешен большой, самодельной работы, медный колокол.

— Эге! Вот твои «джинны», Ходжом! — усмехнулся я.

— Не смейся, бояр! Если в Каракумах происходят странные вещи, это не к добру. Подожди, что дальше будет. День еще не прошел. Кабы не было беды! Иншалла!

Из кибитки вышел благообразный седой туркмен, почтительно приветствовал нас, сообщил, что он меджеур — хранитель часовни и могил, и просил почтить нас своим посещением, зайти в его кибитку.

Одновременно подошел и караван верблюдов. На первом сидела молодая красивая туркменка с двумя длинными черными косами, увешанными серебряными монетами и украшениями, с независимым, гордым взглядом. На других верблюдах, по двое, тоже сидели туркменки.

Меджеур пригласил и прибывших войти к нему в дом. Вожатый, чернобородый пожилой туркмен, опустил верблюдов на колени, и все туркменки сошли на землю.

Наши кони, привязанные на длинных волосяных арканах, бродили вокруг приколов в ожидании корма или катались на спине, взбрыкивая ногами, по песку.

Туркмен-вожатый обкручивал веревками колени лежащих верблюдов, чтобы те не могли встать. Ходжом разговаривал со стариком меджеуром и со свойственной ему наивностью рассказывал подробные сведения о нас: куда едем, зачем и где были, что делали в Хиве, что говорил нам хан хивинский...

Туркменки, с гордой грацией вольных детей пустыни, сняли несколько ковров и разноцветных сумок — хуржумов с верблюдов и вошли в кибитку.

Чернобородый туркмен покончил со своими верблюдами, подошел к Ходжому и меджеуру, после чего все трое опустились на корточки, и у них начались безостановочные рассказы о новостях Ахала. Прибывший туркмен рассказал тотчас же и о себе:

— Я,— говорил он,— из аула Канджик. Сын мой взял девушку Ай-Джамал из аула Беурма и заплатил ее бедному отцу большой калым. Но он не сумел ее держать в страхе. От него она убежала к родным. Мы собрали двадцать всадников, поехали за ней и привезли ее обратно. Мой сын Мамед побил ее верблюжьей нагайкой. Она грозила его зарезать и ночью опять убежала!

Второй раз пришлось искать довольно долго, так как отец спрятал ее в персидской семье и она ходила в персидской одежде под чадрой. Мы никогда бы не узнали, где она, но слуга-персиянин, желая получить награду, встретив меня на базаре, рассказал, что Ай-Джамал у них. Мы пригрозили, что вырежем всю эту семью и сожжем их дом...

Тем временем отец Ай-Джамал, вероятно, нашел ей

другого жениха, обещавшего ему заплатить большой калым, и стал говорить, что его дочь уже разведена, так как мой сын будто бы сказал три раза «талак» (развод), и, по шариату, Ай-Джамал, значит, свободна.

Я взял Ай-Джамал от персиян и, чтобы отец не помог ей бежать опять, решил отправить ее в Каракумы, на колодцы Бала-Ишем. Здесь кочуют мои родные, они за ней присмотрят. А если и теперь она захочет делать по-своему, то здесь ни пристава, ни уездного начальника нет,— расправа здесь будет коротка: бросим в старый колодец и засыплем песком! Не будет тогда она больше позорить мое имя!..

— Отчего везешь ее ты? — спросил Ходжом.— Где же твой сын?

— Сын с восемью товарищами едут следом верхами. Они следят, не будет ли за нами погоня. Через час и они подъедут. Здесь теперь уже безопасно!

Однако было трудно согласиться с туркменом, что «здесь безопасно». Желтые холмы, тянувшиеся бесконечной грядой, могли скрыть целую армию, а не только нескольких головорезов-джигитов, какие могли бы пустить из засады пулю или вырезать целый караван, скрывши все следы преступления в сыпучих песках.

Багровое солнце уже садилось и, выглянув из-за туч, уставилось на нас большим красным глазом. Я сидел на глыбе серой, растрескавшейся глины, отвалившейся от могилы туркменского праведника, и ждал, пока женщины расстелют ковры, приберут в кибитке и приготовят ужин. Разговор туркмен мне был отчетливо слышен.

Ходжом описал, как мы видели мираж — караван верблюдов — и слышали звуки колокола. Старый меджеур неодобрительно покачал головой:

— Нехорошо! — определил он.— Не к добру! Странные вещи бывают в пустыне, и все это предзнаменования. В Каракумах ничего не делается просто так. Если вы услышали в песках плач ребенка, звон колокола, пение женщины — это означает, что вам грозит беда! Верблюды поплыли на небо — это значит, что аллах зовет к себе какой-то караван!

Несколько лет назад у меня здесь поселился туркмен из Хивы; он бежал от ханского гнева, боялся мести родственников за убийство и скрывался в песках, думая, что здесь его уже никто не отыщет.

Он часто уходил далеко отсюда в пески, стрелял зай-

цев, ставил силки для лисиц. Невдалеке отсюда есть одинокий холм с развалинами какой-то старой башни. Однажды хивинец, проходя мимо этих развалин, услышал хохот из-за камней. Он бросился туда, но там никого не оказалось.

Второй раз мы шли вместе, и тоже оба услышали человеческий смех. Обошли весь холм, но даже следов человека не видели. А через несколько дней этот хивинец был убит возле холма. Остались следы всадника, подъехавшего к развалинам. Он, видно, привязал лошадь за холмом, а сам сидел за стеной и убил с первого выстрела — в затылок.

Затем он снял с убитого винтовку и нож с рукояткой из слоновой кости и скрылся в песках так же бесследно, как приехал. Я говорил хивинцу: не ходи этой дорогой — тебе было предзнаменование, пустыня тебя предупредила. Но он не послушался... Все джинны бежали из городов и аулов в Каракумы, здесь везде полно ими. Они воют по ночам, как шакалы или дикие кошки, подкрадываются к кибиткам и просовывают мохнатые лапы под войлочные стенки...

— А выходят ли сюда разбойники из Хивы? — спросил Ходжом.

— Лет десять назад приходили,— ответил старик,— но меня, как меджеура, не тронули. Я их угостил, дал зерна для лошадей. Они, уезжая, даже дали мне денег... Потом ушли на восток, угнали в Хиве несколько сот баранов. Нескольких пастухов-текинцев зарезали. Куртыш-кую уже далеко от Хивы. Здесь проходят только караваны с контрабандным чаем и териаком (опиумом) из Персии...

Быстро стало темнеть. Солнце закуталось облаками. Приезжий туркмен забеспокоился, что нет его сына.

Меджеур попросил всех нас внутрь кибитки. Пригнувшись, я прошел маленькой дверцей. Посреди кибитки ласково горел костер, в нем стояло несколько закоптелых чугунных кувшинов с кипящей водой для чая.

Приезжие туркменки, вместе со старушкой — женой меджеура, сидели в стороне, кружком у стенки кибитки, не глядя на мужчин. Мы же разлеглись на коврах и войлоках вокруг костра и стали пить зеленый чай, душистый, как ромашка.

Ходжом, наклонившись ко мне, сказал шепотом по-русски:

— Наш хозяин нехороший мусульманин. Я слышал про

него раньше. Он живет со своей женой против закона!

— Почему?

— Он сказал давно своей жене три раза «талак» и прогнал ее. Она уехала к своим родным. Потом ему стало скучно, и он позвал ее обратно. По шариату, это большой грех! Если развод жене дан, потом уже никогда больше нельзя жить вместе!

— Ну, Ходжом, я понимаю, если жена молодая, как Ай-Джамал, тогда развод не надо давать. А если она старая, как жена меджеура, тогда надо разводиться? Плохие вы мужья, туркмены!

Ходжом бесшумно засмеялся, все его лицо собралось во множество складок, в глазах блеснули веселые искорки.

— У меня три жены,— сказал он,— и все три старые! Поэтому я приезжаю домой раз в год, а остальное время шатаюсь либо на Гюргане и Атреке в Персии, либо в Каракумах! Конь, винтовка и трубка — вот верные друзья джигита до гроба: конь везет, винтовка бьет врагов, а трубка веселит сердце! И все трое молчат. А женщина, да еще старая, не может, чтобы не говорить и пилить с утра до поздней ночи!..

— Однако отчего же ты, Ходжом, не сказал тогда «талак» всем твоим трем женам?

— Для того, чтобы жены Шах-Назар Ходжома имели всегда свою кибитку и виноградник и чтобы никто не посмел попрекнуть, что жена Ходжома просит милостыню!

По-видимому, совсем стемнело, потому что сквозь отверстие в центре крыши кибитки уже было видно темное, мутно-лиловое небо.

Туркмен из Канджика, видимо, беспокоился о сыне, часто выходил из кибитки, ожидая его приезда с товарищами. Ай-Джамал, напротив, держалась с полным спокойствием. Она тоже выходила несколько раз из кибитки с вкрадчивой гибкостью и плавностью пантеры, и каждый раз вместе с ней выходила пожилая туркменка, с выдающимися скулами, тупым, покорным выражением плосконосого лица, очевидно присматривавшая за беглянкой.

У Ай-Джамал были красивые черты смуглого лица, прекрасные миндалевидные черные глаза, один глаз немного косил, что придавало особую загадочность ее невозмутимому облику. Она не глядела ни на кого, только изредка быстро окидывала всех небрежным взглядом и затем, слегка прищурившись, рассеянно смотрела в пространство.

— Яхши алль! (Прекрасная женщина!) — шепотом ска-

зал мне Ходжом.— Только такую дикую и гордую кобылицу не объездить этому туркмену! Она или убежит опять, или зарежет своего свекра. И зачем он ее держит, видно, своей головы не жалко?!

После ужина из подстреленных Ходжомом в пути зайцев мы задремали, расположившись кругом костра, ногами к огню. Костер уже потухал, тлели красные угли, изредка вспыхивал, мерцая, огонек, освещая на мгновение лежавших на полу.

Я быстро заснул усталым сном путника, непрерывно едущего второй месяц, сделавшего верст восемьдесят за последний переход по пустыне. Опять мне снились бесконечные степи, мерное покачивание в седле на идущей шагом лошади, пески становились все более сыпучими, лошадь пошла вязнуть, погружаться в песок, начавший засасывать и меня, и я стал задыхаться...

Чья-то маленькая рука лежала у меня на лице, закрыв нос и рот; отсутствие воздуха привело меня в сознание, я пошевельнулся. Тогда рука отнялась, и во мраке кибитки я почувствовал мускусный запах и слабый шепот возле моего лица:

— Спаси, бояр, бедную Ай-Джамал! У тебя одна лишняя лошадь, отдай мне иноходца, и я убегу на родину... Отец тебе вернет коня в Алаге. Здесь, в песках, мне пощады не будет! Несчастную Ай-Джамал бросят в старый колодец, где она умрет от голода и тоски! Позволь мне на твоем иноходце скрыться в этой темной ночи от врагов и страданий!..

— Помогать туркменам в их семейных делах я не могу и не буду. Но если ты убежишь на иноходце, то преследовать тебя не стану... Мне нет времени, я должен торопиться идти на юг, к Бахардену...

Как тень бесшумно скользнула Ай-Джамал к выходу, оставив за собой легкую волну воздуха, полного запаха мускуса и розового масла... Ее туманный силуэт на мгновение показался в дверях кибитки. Но тут же с пола поднялся другой, мужской силуэт и так же бесшумно скользнул сквозь двери.

Тишина ночи продолжалась недолго.

Послышался шум борьбы, сдавленные крики, топот испуганных лошадей. Я вскочил и поспешил наружу. Проснулись и остальные, выбежали из кибитки, спрашивая, что случилось.

Кругом было темно. Сквозь ночную мглу слабо вырисо-

вывались светлые гробницы и ближайшие холмы. Откуда-то послышались бешеные крики туркмена из Канджика:

— Идите на помощь! Она бежала в пески между холмами! Нужно ее окружить! Схватить! Она меня ранила ножом! Помогите!

Вскоре он показался сам, охая, зажимая рану на плече.

— Ходжом! Бояр!.. Садитесь на коней! — кричал туркмен.— Поедем за ней! Верхами мы ее сейчас же догоним! Далеко не уйти! Бояр, она хотела отвязать твоего иноходца, да я следил за ней и не дал!..

— Мои джигиты за женщинами не охотятся,— ответил я туркмену.— Было время, туркмены делали набеги на Хиву и Персию, сражались один против десятерых трусливых шиитов, а теперь туркмены гоняются по степи за бабами! Позор! Ты не настоящий текинец — «твердо́»!..

Ходжом, как старый знахарь, потащил туркмена в кибитку перевязывать ему руку. Туркменки охали и причитывали, вглядывались в темную даль, но боялись отойти от кибитки. Меджеур бормотал под нос молитвы и неодобрительно покачивал головой:

— Пустыня предсказала: будет беда! Приедут сюда туркмены, будут драться, нескольких зарежут! Прибавятся еще новые могилы на Куртыше. Меджеуру будет больше заботы чистить их и обмазывать глиной...

Старуха, жена меджеура, раздула костер, сварила нам чай, угостила пшеничными лепешками с изюмом, жаренными в кунжутном масле. Мы немедленно отправились дальше в путь.

На этой стоянке с нами никакой беды не случилось, но Ходжом твердил, что колокол зря не звонил и кому-нибудь да суждено вскоре погибнуть в окрестностях Куртыша.

1906

ТАЧ-ГЮЛЬ

(В горах Персии)

В Северной Персии, вдоль нашей закаспийской границы, расположены курдские селения. Курды переселены сюда несколько столетий назад с турецкой границы — для защиты женственных персов от набегов отважных туркмен.

Курды и одеваются иначе, чем персы, и говорят на особом языке.

Они ведут полукочевой образ жизни и любят на некоторое время уходить в горы из своих деревень со стадами баранов и тогда живут в темных шатрах, напоминающих арабские палатки.

Со своими стадами они часто переходят нашу границу. Бараны пасутся на вершинах хребта Копетдага, где летом остается свежая трава. Приходят они в наши равнины и зимою, когда в персидских горах начинают свирепствовать бураны и выпадает обильный снег.

У меня был знакомый молодой текинец по имени Хива-Клыч. Во время похода Скобелева на Геок-Тепе родители Хива-Клыча, опасаясь за свою участь, отвезли его в курдскую деревню и оставили там «на сохранение».

После битвы в стенах Геок-Тепе они не приехали за сыном, и маленький Хива-Клыч был воспитан курдами, научился говорить по-курдски. Когда он подрос, его родственники, довольно богатые, привезли его обратно в родной аул, и там он вырос уже туркменом.

Среди курдов, в Персии, у него осталась та семья, которую он считал родной, где жили его сверстники, кого он называл своими братьями и сестрами.

Однажды, когда мы с ним вдвоем были на охоте и в холодную ночь грелись у костра, он рассказал мне о себе.

— В той семье, где я рос мальчиком,— говорил Хива-Клыч,— была девочка, Тач-Гюль, немного помоложе меня. Мы росли как брат и сестра. Она была очень красивая. Ее мать была персиянка, красавица, которую во время аламана (набега) увезли из Персии.

Вместе с Тач-Гюль я ходил в горы. Там мы смотрели, как живут дикие звери. Спрятавшись среди камней, мы наблюдали, как пасутся дикие свиньи. Они очень хитрые и чуткие, а кабаны злые. Когда возле них детеныши-кабанята, они сами бросаются на всякого, кого встретят, готовы растерзать своими большими клыками.

Тач-Гюль была смелая девочка, ничего не боялась. Мы с ней бегали по горам с быстротой диких коз — джейранов, и ее глаза напоминали мне круглые темные глаза джейрана.

Когда меня привезли в Ахал и я стал жить среди туркмен, я всегда вспоминал Тач-Гюль. Я любил ее больше других. Когда я получил небольшое наследство, то поступил в туркменский конный полк солдатом-джигитом. Я ку-

пил хорошего коня, такого, что на текинских скачках не раз приходил первым, старинную шашку и шелковую одежду для Тач-Гюль.

Как-то раз я узнал, что Тач-Гюль была выдана своими родными замуж за богатого старшину селения на верховьях реки Сумбара, близ русской границы. Я решил ее навестить, чтобы посмотреть, как она счастлива.

Я был очень грустен, узнав о ее замужестве; я сам хотел на ней жениться и решил: если выдали насильно, то выкрасть ее и увезти в свой аул. Курды боятся туркмен и сами в Ахал не придут.

Когда летом джигитов полка отпустили на месяц по домам, я поехал в Персию. Я не взял никакого «приказа» для пропуска через границу,— я хорошо знаю все тропинки через горы. Пограничные посты стоят далеко один от другого, и между ними туркменские контрабандисты могут пробираться без особого труда.

Был уже вечер, когда я приехал в селение. Оно находится в долине, меж горами на реке. А эту реку можно перескочить на лошади. Но, когда идут дожди, вода по долине идет валом, вышиной в две сажени, на своем пути ломает деревья, уносит скот, и тогда нужно спасаться, забираясь высоко в горы.

У нас, в Ахале, было жарко, а когда я приехал в курдский аул, то там к вечеру стало прохладно.

Я подъехал к дому старшины. Видно сразу, что он богатый. По склону горы много построек, одна выше другой, с плоскими крышами, на них ночью можно спать под звездами.

Я въехал во двор и лихо осадил коня, храпевшего и бившего передней ногой. Тач-Гюль вышла на крышу. По ее крику выбежали два работника-курда и поставили моего коня под навес.

Тач-Гюль выросла, она была как настоящая женщина, в синей кофте и широких синих шароварах до колен. У нее звенело много серебряных и золотых монет в четырех черных косах и на ее груди. А на голове был красный платок, признак того, что она уже не девушка, а замужем.

Тач-Гюль крикнула несколько приветствий и сказала, что она очень рада приезду ее брата.

Три дома старшины стояли по склону горы, один выше другого, как лестница. На кровлю второго дома вышел старшина, накинув на плечи дорогую шубу из мелкой рыжей мерлушки.

Я видел, что старшина богатый, гораздо богаче меня. У меня только и есть, что конь, да хорошая сабля, да жалованье простого солдата-джигита. Но я увидел, что у старшины худое, впалое лицо, что у него пожелтевшие белки глаз и мутный взгляд. Сразу я понял, что он териакеш, курит опиум.

Мое сердце упало, как подстреленная птица. Тач-Гюль несчастная женщина, у нее не будет детей! Териакеш не может любить свою жену... Но я старался не показать вида, что мне грустно, и когда поднялся во второй дом, где был старшина, я сказал ему приветствие как брату.

Мы с ним сели на ковре и пили чай, принесенный его слугами, и я ему рассказывал, что делается у нас в Ахале. Старшина же рассказал, сколько у него скота и сколько богатства.

Когда мы ели плов, Тач-Гюль пришла и стала позади старшины. О ней он мало думал и даже ни разу не предложил ей сесть. Сам он ел мало, видно было, что это слабый человек.

Среди разговора старшина встал и, не обращая на меня внимания, ушел в соседнюю комнату. Я видел, как он зажег светильник, лег на бок, намазал териаком конец трубки и, грея его над огнем, долго втягивал дым, пока не заснул...

Пока он спал, целый час я говорил с Тач-Гюль.

Она рассказала, как ее выдали за старшину, уплатившего богатый калым. Ее выдали потому, что хотели, чтобы он перестал курить опиум. Родители думали, что, женившись на молодой и красивой девушке, старшина сделается здоровым человеком. Но прошло уже полгода после свадьбы, а старшина не провел с ней ни одной брачной ночи.

Я жалел Тач-Гюль и спросил: хочет ли она, чтобы я старшину зарезал?

Тач-Гюль не ответила, встала и заглянула в соседнюю комнату, где лежал ее муж. Я прошел к нему.

Старшина лежал с открытыми глазами, неподвижным лицом, на котором видно было высшее удовольствие.

Мы посмотрели друг на друга.

— Отчего ты не живешь с моей сестрой? — спросил я.

— Мне все равно,— ответил старшина.

— Ты ее любишь?

— Да.

— Ты хочешь, чтобы она была твоей женой?

— Да.

— Ты с ней будешь жить?

— Мне все равно.

— Я ее увезу к себе в Ахал!

— Мне все равно... Будьте счастливы и не мешайте мне...

Я увидел, что он, накурившись териака, теперь полон блаженства, и что ему все равно, если бы даже я стал рубить стены или жечь его дом.

Я вынул нож, но старшина оставался спокоен.

Тач-Гюль взяла меня за руку:

— Оставь его, теперь он душою в раю Магомета...

Она увела меня в самый верхний дом, и мы там сидели на ковре на крыше. Солнце спряталось за вершины гор, и небо было красное, точно залитое кровью. Мне стало больно, что я не увидел особой радости на лице моей сестры, когда сказал, что увезу ее к себе в Ахал.

Крыша дома была самая высокая, и нас никто не видел. Кругом подымались вершины скал, где в расщелинах росли искривленные фисташковые деревья.

Я увидел какое-то беспокойство в поведении Тач-Гюль. Она замолчала, раза два встала, как будто бы хотела сойти вниз. Она кусала себе пальцы, совесть, вероятно, ее мучила, и она меня стыдилась.

Я начал догадываться, что с нею, и моя душа стала скорбеть. Молча я сидел, обняв колени, и смотрел на нее.

— Если так хочешь, можешь курить,— сказал я,— но кури здесь, я буду смотреть на тебя.

Тач-Гюль ушла вниз и вернулась с маленькой лампой, трубкой и черной коробочкой. Затем подошла и поцеловала мою руку:

— Сиди вот так и не двигайся. Я буду смотреть на тебя и думать про тебя. Я так всегда делаю. Мне кажется тогда, что мы с тобой бегаем по камням, как раньше, что мы сидим на горячем склоне горы, раскаленной полуденным солнцем, где цветут красивые тюльпаны и маки. И я вижу, как ты меня ласкаешь. Я испытываю такую радость, какую никогда не знала в жизни...

Она легла на старый узорчатый курдский ковер, подложив под голову шелковую подушку, и своими маленькими руками стала приготовлять трубку, намазывая териак возле отверстия.

Было так тихо, что дымок лампы подымался прямо к небу.

Тач-Гюль тихо говорила, пока не стала втягивать дым

териака. Она смотрела остановившимися расширенными глазами, полными странной радости. Ее глаза делались все больше мертвыми, наконец застыли в неподвижном взгляде...

Она раскинула руки, и мне было стыдно глядеть на нее.

Потом она повернулась на спину, и я замечал, как на ее бледном лице менялись чувства и мысли. Мне было и жаль ее, и я ее ненавидел! Больше всего я был зол на то, что она глядит уже не на меня, а в небо, где видит кого-то другого.

Я подошел к ней и, став на колени, смотрел в ее бледное лицо. В нем было столько счастья, оно было такое красивое, что я уже не думал о том, где я нахожусь, и не боялся, что старшина или его слуги придут сюда, на крышу.

И тогда я опозорил дом хозяина, чьим я был гостем...

Тач-Гюль очнулась спустя много времени и долго еще лежала спокойно.

Она стала рассказывать, как тонко она слышит теперь все, что делается кругом. Она сказала, что слышит, как на горах храпят кабаны, роющие землю. Она слышала, как бьется мое сердце. Когда, усталая, она поднялась и поправила свою раскрытую одежду,— только тогда она поняла, что я сделался ее мужем.

Теперь, приходя все больше в себя, усталая и разбитая, она стала тревожиться, дрожать, и мне нужно было ее успокаивать.

Я ее звал сегодня же ночью уехать через горы к нам в Ахал. Я говорил ей, что она будет моей женой и никто там ее не тронет.

Уже сделалось совсем темно, когда из ущелья поднялась большая круглая луна, и ото всех скал потянулись длинные темные тени, как руки горного джинна.

Тогда пришел и старшина, ласковый, счастливый и разговорчивый. Теперь и старшина, и Тач-Гюль сделались очень живыми. Они быстро ходили, говорили, размахивали руками, смеялись безо всякой причины. Старшина стал меня угощать фисташками, сыром и сладостями и сам много ел. Он хвастался, какой он большой человек, как его все слушаются и боятся.

— Я старого курдского рода,— рассказывал он,— все мои деды были ханами. Меня нужно называть не просто старшина, а хан Мамед... Я им покажу всем! Они узнают меня! — кричал он, грозя кулаком куда-то в горы.— Я соберу

всех курдов и сделаю набег на Ахал! Я заберу целый табун лучших ахальских коней, приведу в Персию, погоню в Тегеран, продам там за большие деньги!.. А самого лучшего коня я подарю шаху! Я ведь очень хитрый и знаю, что кому подарить. Шаху я привезу еще и красивого мальчика из Мешхеда. За это шах меня полюбит, даст мне золотую саблю и мундир! Сделает губернатором!.. А тебя, Хива-Клыч, я назначу начальником полка. Ты будешь полком командовать и всех колотить, кого я прикажу!..

Так говорил старшина. Он видел перед собою сражения, командовал войсками, нападал на кого-то, грабил, увозил...

Затем он пошел вниз, а я остался на крыше с Тач-Гюль.

Она была весела, смеялась, как раньше когда-то, в дни нашей юности. Глаза ее горели как звезды. Она хотела со мной поселиться в каракумской пустыне, рассказывала о том, как хорошо нам будет жить вдвоем в песках, где пасутся стада баранов, где бродят большие одногорбые верблюды, сколько у нее будет детей и как она будет ткать красивые ковры...

Я радовался, и мы условились этой же ночью, когда все уснут, бежать через горы. Она должна была надеть мужскую одежду, взять револьвер и нож и ускакать на лучшем коне старшины.

Мне казалось, что в ней пробуждалась прежняя жизнь и прежнее здоровье. Уходя вниз, она мне шепнула:

— Как жаль, что столько лет потеряно вдали друг от друга! Зачем мы так долго были детьми и не знали, что любим!..

Я прошел вниз к своему коню; он стоял вялый и понурый. Слуги, вероятно, ему не дали в свое время ячменя, перед ним не было даже сена. Разыскав ячмень и сено, я накормил своего скакуна. Заглянул я и на лошадей старшины,— они были плохо накормлены. Если бы таких лошадей увидел мой командир Мерген-Ага, он бы такому хозяину надавал по морде!

Долго я лежал на большом ковре, на крыше дома, заложив руки себе под голову и глядя в небо, где мерцали яркие звезды. Было тихо, кое-где раздавались звоны колокольчиков на шеях коров или верблюдов. Иногда в горах начинал петь свою долгую, заунывную песню шакал, на нее откликались такими же долгими, непонятными песнями другие шакалы, боявшиеся подойти близко к селению.

Луна уже опять спустилась к горам и стала бледной и слабой. Кругом стало темно и сумрачно. Уже давно должна

была Тач-Гюль прийти сюда, на крышу ко мне, сказать, что все в доме спят и она готова. Я забеспокоился, стал бояться, что с ней, и тихо спустился вниз...

Все крепко спали, снизу доносиля громкий храп работников старшины. В большой комнате, проходя, я наткнулся на чье-то тело — это была Тач-Гюль. Она лежала как мертвая, и когда я попробовал ее поднять, то тело ее перегибалось пополам. Она была совершенно без сознания.

Зажегши спичку, я увидел возле нее потушенный светильник и трубку с опиумом. Она опять накурилась териака и забыла обо всем — и обо мне, и о новой жизни...

Я бы ее зарезал, если бы встретил в таком виде на дороге, но я был ее гостем. Вспомнив, как наши женщины в ауле, тоже курящие териак, безумные, с распущенными волосами, бессмысленным взглядом, служат посмешищем всего аула, я не стал больше колебаться.

Хотя слуги крепко спали, я их растолкал и объяснил, что должен уехать ночью, пока прохладно, так как днем солнце слишком жжет, да и днем меня могут задержать на границе.

Я попросил кланяться старшине и Тач-Гюль и, сев на своего коня, уехал один на север через горы. Так я остался один и останусь навсегда джигитом...

— Ездил ли ты еще раз туда, к старшине? — спросил я.

— Я обычно заезжаю к ним, когда бываю поблизости,— ответил Хива-Клыч.— Тач-Гюль всегда мне очень рада, но еще более рад моему приезду старшина.

1909

«ДЕМОН ГОРЫ»

Мне пришлось быть участником геолого-археологической экспедиции и путешествовать по Персии, как тогда назывался Иран. Моим спутником был молодой американский ученый-геолог, позднее ставший большой знаменитостью и профессором Гарвардского университета, а тогда бывший молодым румяным юношей с наивной улыбкой, в высоких охотничьих сапогах и меховой куртке. Это был человек железной воли и аккуратен, как патентованный хронометр. Одна из его особенностей была в том, что он никогда не расставался с Библией и записной книжкой, в которую, не зная устали, заносил все свои наблюдения даже в самых

трудных обстоятельствах. Библия у него была тоже замечательная: в мягком кожаном переплете, напечатанная таким мелким шрифтом, что вся помещалась в боковом кармане его куртки.

Мы видели в Персии немало удивительного, например город, разрушенный землетрясением накануне нашего приезда; или в Сеистане другой город, расположенный посреди болотистого озера, по которому можно было ездить только на плотах из связок камыша в виде сигар. Этот городок был брошен жителями в древние времена по невыясненным причинам, и единственной его обитательницей была лисица, метавшаяся по переулкам и снова выбегавшая нам навстречу.

«Демона горы» я встретил в Северной Персии на горе, которая называлась Кяфир-Кала, что означает «Крепость язычников». Гора была высокая среди каменистой долины. Про нее говорили, что в древние времена там жил страшный разбойник, державший в терроре и покорности целый округ. На вершине горы находились развалины крепости, будто бы полной сокровищ. Добраться до нее казалось невозможным, так как обрывистые склоны горы были словно отшлифованные, и нужно было найти тайную тропинку, которая, несомненно, пролегала над пропастью.

Мы решили добраться до вершины, чего бы это нам ни стоило. Но наши спутники, джигиты-туркмены, отказались лезть на гору: проводник-перс их напугал, сказав, что здесь уже погибло несколько ференги[1] и неосторожных охотников: «Гору охраняет страшный дух и сбрасывает дерзких вниз, на острые камни».

Наиболее безопасно на Кяфир-Калу можно было подниматься с той стороны, где громоздились каменные глыбы. Но тогда бы пришлось взбираться долго, мучительно карабкаясь с одной огромной глыбы на другую. Второй путь, более короткий, хотя опасный и рискованный, едва намечался по гладкому скату, угрожая возможностью соскользнуть в пропасть на глубину нескольких сот метров. Американец выбрал кратчайший путь. Он смело полез первый, цепляясь за еле заметные выступы и осторожно ставя свои тяжелые сапоги. Ему повезло. После долгих усилий он оказался на самой вершине скалы, где и уселся над обрывом, раскрыв Библию, и следил за всеми моими движениями, подавая советы.

Приходилось быть очень осторожным, однако я верил,

---

[1] Ференги, ференджис — европеец.

что смелому всегда поможет добрая старушка удача; меня также подстрекала брошенная как-то раньше фраза моего заокеанского друга: «Мы, американцы, конечно, культурнее вас, а все русские еще наполовину дикие азиаты. Вы еще долго будете идти в хвосте за нами». Дело шло хорошо — до вершины мне оставалось ползти на животе всего метра четыре, и я уже видел над собой, близко, толстые подметки моего американца.

Но здесь произошла первая авария. Я взял слишком влево и впереди не замечал больше ни одного выступа. Серая скала казалась безнадежно гладкой. Я стал подвигаться вправо, прижимаясь грудью к скале, и у меня выскользнул привешенный к поясу кинжал с белой ручкой из слоновой кости. Кинжал так и остался лежать на откосе. Что делать? Ползти обратно за кинжалом или подниматься вверх к заветной цели?

Тут у меня соскользнула нога с уступа, на котором я стоял. Руками ухватиться было не за что, и я медленно, но неуклонно стал сползать к краю обрыва. Вихрем завертелись мысли: «Если я буду скользить и дальше, то через пару метров мне конец».

А день был ясный, небо синее, безмятежное. Ужас усиливался. Бросив искоса взгляд влево и вниз, я увидел наших коней, маленьких, как мурашки, и возле них джигитов-туркмен в полосатых халатах.

«Не может быть, чтобы я сейчас умер!» — пролетали мысли. Со мной моя незаконченная записная книжка с планом романа, я слышу тиканье часов на руке. Вся моя жизнь промелькнула в одно мгновение. Классическая гимназия, уроки латинского и греческого языка. Преподаватель французского языка латыш Кауңен с седой козлиной бородкой... Университет и лекции профессора Зелинского. Моя зачетная работа о псковских говорах. Ресторан в Лондоне с замечательным бифштексом... Стройная девушка под васильковой вуалью на вокзале... Это не реально, что я на скале, над пропастью! Это сон! Мне нужно энергично встать, тогда я проснусь и окажусь в своей комнате, в постели... Я хотел оттолкнуться от скалы, встать на колени и тогда... В это мгновенье я сползал, крестом раскинув руки и ноги, и с лихорадочной быстротой думал: «Конечно, в этой горе живет могучий, злобный дух... Надо добиться его милости... Надо ему поднести подарок, как делали все язычники, поднимавшиеся на эту гору...»

И я шептал, а может быть, кричал: «Горный дух! Я да-

рю тебе этот кинжал дамасской стали. На ручке из слоновой кости у него вырезан дракон!»

И тут я почувствовал, что моя левая нога остановилась на небольшом выступе скалы. Спокойствие и хладнокровие сразу ко мне вернулись: «Я буду стоять здесь хоть целую вечность, и это не сон». Я взглянул на американца; он с изменившимся лицом кричал мне:

— Я спущусь ниже, ухватитесь за мои ноги!

— Все в порядке! — ответил я уже веселым голосом.— Сейчас я буду у вас.

— Слушайте, что я нашел в Библии! — воскликнул радостно американец.— Прямо сказано про вас: «Она лежала, разметав руки и ноги на скрещении четырех дорог...» Ну, дальше там что-то неподходящее...— смутился мой друг.

Я снова взглянул влево и вниз и едва поверил своим глазам. Сон продолжался. Из-за грани скалы показалась смуглая, сильно обросшая волосами рука, затем высунулась голова с иссиня-черными кудрями, лицо, потемневшее от загара и грязи, с всклокоченной бородой, и, наконец, голая, в лохмотьях фигура осторожно и ловко поднялась на скат, быстро схватила потерянный мною кинжал, с глухим рычанием сползла обратно и скрылась.

«Дух услышал меня и помог»,— подумал я и никогда не двигался так осторожно и медленно, как эти последние метры моего подъема. Вскоре я сидел рядом с моим спутником.

Мы осмотрели вершину скалы. Американец зарисовал план найденных строений, нашел кое-какие ценные обломки... Обратно мы спускались по другому склону, прыгая с глыбы на глыбу и рискуя переломать себе ноги, но не шею.

В ближайшем персидском селении мы расспросили местных жителей про таинственного «демона» с Кяфир-Калы.

— Мы хорошо его знаем. Это полусумасшедший дервиш Мамед-Али, ставший скитальцем после того, как великий аллах разгневался на город Нухур и все его дома при сильном землетрясении провалились в разверзшуюся землю. Тогда погибли и не были найдены дети и жена Мамеда-Али. Он пришел на гору Кяфир-Кала, долго на ней молился и затем поселился в маленькой пещере, находящейся на верху отвесной стороны скалы. Он умеет пробираться в эту пещеру по опасной, ему одному известной тропе над пропастью. Многие жители считают его праведником, жалеют, приносят еду и просят молиться в случае болезни.

1944

«ВАТАН»

(«Родина»)

Если смотреть на карту Ирана, то в середине страны можно увидеть большие белые пятна. Это — малоисследованные части пустыни Дешти-Лут, или пустыни Дешти-Кевир. Безводная соляная пустыня оправдывает свое название Лут, что означает «лютая». Там на сотни километров тянутся песчаные равнины, прорезанные во всех направлениях невысокими скалистыми горами. Путешественники, проникавшие туда, возвращались разочарованными: проводников достать трудно, зной невероятный, вода горько-соленая, и всюду бродят разбойничьи шайки белуджей или бездомного народа Люти [1]. Однако кочевники живут и в этой своеобразной бедной природе и даже любят ее.

Вот что мне пришлось однажды услышать на берегу соленого озера Немексар, близ солончаковой топи, в которой наш верблюд провалился по уши и остался там навеки одной из многих жертв суровой пустыни.

Потеряв дорогу, мы стояли тогда лагерем у подножья мрачной горы, где из каменной щели пробивалась тонкая струйка холодной пресной воды. К нашему костру вынырнул из темноты тощий, с голодными глазами персидский пастух, с длинной палкой, в белом войлочном плаще и с тыквенной бутылкой у пояса. За ним, уцепившись за конец палки, шел такой же тощий мальчик лет восьми, и далее плелась, опустив голову, угрюмая собака в желтых репьях. Я бросил ей корку хлеба. Поджав хвост, она отскочила большими прыжками в сторону и завыла, по-волчьи задрав голову.

Пастух опустился на колени у самого костра. Он произнес с достоинством мусульманское приветствие, протянув загрубелые ладони, и провел ими по давно не чесанной бороде. Я ответил тоже приветствием. Пастух достал из-за пазухи самодельную кизиловую трубку и попросил табаку... Я расспрашивал его о Дешти-Лут, — пустыня начиналась уже за мрачной горой. Вот кое-что из того, что он рассказал:

* * *

— Ты, ференджис, не думай, что Дешти-Лут — мертвая пустыня. Она не мертвая, хотя и не всегда счастливая для тех, кто в ней родился и должен тяжелым трудом добывать

[1] Буквальное значение слова «люти» — сорванец, гуляка, сорвиголова.

себе деревянную миску проса. Да! Это неверно, что там нет людей, колодцев, воды. Все есть для знающего... Да!

На мой вопрос пастух объяснил, что в этой пустыне он видел и древние развалины городов, затерянные среди мертвых каменистых гор, и много голубых курганов, где хранятся недоступные человеку сокровища древних царей...

В середине Дешти-Лут живет народ свободолюбивых кочевников — Люти. Молодые люди этого племени любят шататься по караванным путям и грабить крепко перевязанные верблюжьи вьюки, что провозят иранские купцы. Более старые Люти пасут баранов, сеют просо и собирают в горах дикие фисташки и горький миндаль.

Люти хорошо знают запутанные тропы пустыни и укромные колодцы, где вода показывается только в определенные месяцы года. Тогда возле этих колодцев собирается много черных и рыжих шатров, распластанных, как крылья летучей мыши. Кочевники располагаются на склонах низких гор, и там их длинноногие, тощие бараны пасутся, откармливаясь побегами недолговечных растений, быстро засыхающих под палящими лучами ослепительного солнца.

У народа Люти была своя, не отмеченная в ученых книгах столица Атеш-Кардэ [1], затерянная в глубине пустыни и окруженная лабиринтом невысоких, но труднопроходимых гор. Старики говорили, что эти горы когда-то были высокими, очень высокими, на них росли кедры, и тучи отдыхали на их вершинах. На кедрах пели песни чудесные птицы, а в норках между корнями прятались горностаи. Да! Это было давно, очень давно!

Говорят, что сам великий Искандер Двурогий, заблудившись в пустыне Дешти-Лут, проходил невдалеке от столицы Атеш-Кардэ, умирая со своим войском от жажды, и не подозревал о близости «сладких» колодцев [2]. Кругом него высились только острые зубцы кремнистых хребтов. Мудрая правительница народа Люти, потеряв осторожность, пожелала увидеть прославленного полководца. Ее горячо отговаривали от этого опасного шага ее седобородые советники, доказывая, что благоразумнее подождать, пока войско румийцев [3] погибнет,— тогда можно будет захватить все богат-

---

[1] Атеш-Кардэ — «зажженный огонь». По-видимому, там был в древности храм огнепоклонников-зороастрийцев или загорались подземные огни — признак залежей нефти.

[2] В пустыне, где все колодцы солоноваты, колодцы с пресной водой зовутся сладкими.

[3] Румийцы — греки.

ства Искандера. Но правительница все же выехала навстречу Искандеру на белой арабской кобылице с голубой сбруей, украшенной сердоликами, в сопровождении служанки и великого визиря. Те ехали на обыкновенных серых ослах.

Правительница пожалела Искандера, лежавшего без сил на камнях, и показала ему холодный ключ, запрятавшийся в ущелье среди кремневых скал. Она накормила покорителя народов вареной джугарой и финиками из дворцовой рощи и взяла с него слово, что македонские воины не разграбят ее столицы Атеш-Кардэ. Искандер такое слово дал и, напоив войско, отправил его вперед, а сам провел всю ночь в беседе с правительницей народа Люти, слушая ее сказки. Утром он отправился дальше, а ей оставил фирман [1], охраняющий столицу и народ Люти от всяких налогов и поборов на десять тысяч лет, при условии, что править народом будут всегда только женщины,— они спокойны и не устраивают заговоров и восстаний. Этот охранный фирман правительницы Люти носили на груди, в серебряной коробочке, искусно сделанной наподобие початка кукурузы. С тех пор две тысячи двести лет ни один сборщик налогов не осмеливался даже близко подъезжать к столице Атеш-Кардэ.

Только купеческие караваны иногда проходили через столицу, потому что старейшины Люти понимали кое-что в торговле и знали, когда выгоднее всего закупать хлеб в плодородном Гиляне, когда его доставить на юг, в Сеистан, или, наоборот, когда подвезти сеистанские финики на север, в Хиву, или на Кавказ.

Совет старейшин внимательно следил за всем, что происходило на равнинах Азии. Отдельные семьи Люти круглый год бродили между Индией, Аравией и Тибетом, иногда уходили далеко на восток, до Китая, или на север, до города урусов Оренбурга, где подносили в дар русскому начальнику уличных стражников бурдюк, полный фиников, а он разрешал им свободно вернуться в Иран.

Каждая семья бродячих Люти старалась хоть раз в три года посетить родную столицу Атеш-Кардэ, коснуться рукой платья своей мудрой правительницы и рассказать ей все последние события. В награду рассказчик получал шелковый мешочек с фисташками, миндалем и орехами, среди ко-

---

[1] Фирман — охранная грамота.

торых лежала древняя серебряная монетка: эту монетку женщины пришивали себе на грудь как талисман, предохраняющий от злого глаза.

* * *

По неписаным законам народа Люти, всем старейшинам надлежало быть не моложе пятидесяти лет, иметь внука (чтобы народ Люти не прекращался) и хоть раз в жизни побывать в священном городе Кярбале. От старейшины не требовалось, чтобы он гнал взбивающее облако пыли стадо,— он мог иметь хотя бы выцветший плащ, посох календера[1] и кокосовую миску — кяшкуль. Но он не мог быть замаранным ни одним из главных преступлений: трусостью перед иноверцем, кражей у своего соплеменника-люти и тем, что не заботится о своей семье.

Однажды люти Керим Абу-Джафар заявил старейшинам, что кузнец Кяль-Гулем Али не смеет больше оставаться членом совета, так как жена по вечерам его бьет: «Если кузнец не может завести порядок в своем шатре, то как же он будет способен управлять государством?» Совет сам не разрешил этого вопроса и обратился к правительнице Гуль-Чаман-Биби[2]. Мудрая руководительница племени сказала:

— Кузнец Кяль-Гулем Али в два раза выше и в девять раз сильнее своей маленькой жены. Могут ли ее удары повредить ему? Он хозяин в своей кузнице, она хозяйка в юрте. Чем колотила жена?

— Большой деревянной суповой ложкой.

— Если мужья перестанут бояться упреков и криков своей заботливой жены, то порядок семьи нарушится, а от этого распадется порядок и во всем народе Люти. Как не стыдно Кериму подсматривать, что делается в чужой юрте!..

Все члены совета воскликнули: «Хейли хуб!» (Очень хорошо!), а на доносчика Керима Абу-Джафара стали указывать пальцем. От стыда он немедленно ушел погонщиком каравана в далекую страну.

Пользуясь этим случаем, совет обратился к правительнице с вопросом: когда она начнет строить свою семью и выберет себе мужа? Уже прошло три года после смерти матери, а Гуль-Чаман-Биби все отказывалась выйти замуж.

---

[1] Календер — нищий, дервиш, скиталец.

[2] Гуль-Чаман — «цветок площадки», Биби — наставница, учительница.

Теперь ей пошел уже шестнадцатый год. Долго ли еще терпеть?

Гуль-Чаман-Биби, опустив глаза, ответила очень осторожно:

— Если вы разыщете мне мужа умнее и сильнее меня, то я покорно соединюсь с ним по древним законам Люти. Я сама не нахожу никого среди нашего народа, кто бы мне казался лучше других. Все для меня одинаково хороши!

И правительница, как и раньше, продолжала жить, проводя время вместе с подругами на крыше старого, полуразвалившегося дворца, вышивая шелками узоры на покрывале и слушая иногда слепого сказочника или прибывшего из путешествия скитальца-люти. Все-таки с того дня девушки три раза в день выходили на площадку на верху высокой сторожевой башни дворца и смотрели во все стороны: не едет ли посольство от владыки другого государства, который ищет себе невесту? Так как во всем мире в то время происходили кровопролитные войны, никто из правителей таких брачных посольств не присылал.

Однажды произошло событие, маленькое, совсем маленькое, но оно перевернуло спокойную жизнь столицы Атеш-Кардэ. В этот день город казался особенно пустым. Члены совета старейшин ушли в горы собирать созревшие дикие фисташки и горький миндаль. Сторож у городских ворот крепко спал после обеда. Поэтому никто не заметил, в какие ворота, восточные или западные, проскакал полудикий красно-пегий конь с развевающейся черной гривой. На нем едва держался молодой всадник, уцепившись левой рукой за гриву коня, другой рукой сжимая рукоять меча с обломком лезвия. На всаднике была синяя одежда с медными пуговицами, широкие белые шаровары, какие носят воины, и на голове небольшая шапочка, расшитая золотом. Лицо казалось необычайно бледным, глаза полузакрыты, и рубашка на груди алела, пропитанная кровью.

Конь промчался на базарную площадь перед дворцом, в тот час безлюдную, остановился, выбирая, куда направиться дальше, и громко заржал. Два купца, дремавшие на выступах своих крохотных лавчонок, направились к всаднику, желая предложить целебной мази, но конь, злобно фыркая, бросился в сторону. Всадник же оставался по-прежнему безучастным, с неподвижно-серым лицом.

В это время Гуль-Чаман-Биби, вместе с подругами, находилась на дворцовой башне. Она заметила красно-пегого коня с неподвижным всадником и, вопреки обычаям, сама

поспешила на площадь. Девушки окружили дикого коня и схватили его за повод. Конь сразу сделался покорным,— видимо, он от рождения был воспитан женской рукой, что в обычае многих кочевых племен. По приказу правительницы коня повели во дворец, а всадник, потеряв последние силы, склонился без сознания на густую гриву коня. Гуль-Чаман-Биби шла рядом и распоряжалась:

— Поддержите раненого, он сейчас упадет!..

Конь вошел под старинную арку каменных ворот, но во дворе не остановился, а повернул в дворцовую финиковую рощу, спокойно, точно бывал здесь раньше, и упрямо стал около старой беседки, обвитой виноградом. Правительница, а за ней все подруги воскликнули: «Ойе! Какой умный конь!» Никто не знал, что делать. Тогда служанка, черная занзибарка, схватила с дорожки горсть песку, пошептала над ним и бросила разом себе за плечо.

— Я знаю, что надо делать,— уверенно сказала она.— Больной будет находиться в беседке, пока не выздоровеет. Судья даст письменное разрешение, чтобы женщины ухаживали за ним. «Благородный свиток» это позволяет.

Занзибарка была сильная, самая сильная из всех. Она подхватила всадника, легко сняла его с седла и отнесла в беседку, где был разостлан белый войлок, поверх него пестрый ковер, а на ковре лежала зеленая сафьяновая подушка. Туда занзибарка положила раненого. Он лежал тихо, молодой, красивый, очень красивый, с завитком темных волос, прилипших к влажному лбу. Вдруг он сказал одно слово. Все с удивлением повторяли его и тихо сидели кругом, посматривая друг на друга. Больной снова прошептал это слово:

— Ватан!

Гуль-Чаман-Биби нахмурила прямые сросшиеся брови. Мрачная тень скользнула по ее смуглому, раньше беззаботному лицу. Но она была мудрая, очень мудрая, и лицо ее снова стало радостным. Она спросила:

— Кто объяснит, почему больной сказал «Ватан»?

Все перешептывались. Одни говорили, что это имя любимой девушки, другие — что это имя врага, который ранил иноземца. Черная занзибарка, повидавшая много стран, объяснила:

— Вероятно, «ватан» — значит «вода». Прежде всего больного надо напоить...

Гуль-Чаман решила:

— Верно! Подождем гадать, пока соберется совет. При-

дут старики, много знающие. Принесите одну чашку чистой воды, другую чашку козьего молока. Я сама буду лечить больного.

— А мы будем на тебя смотреть! — сказали девушки.

Занзибарка сбегала во дворец, принесла две деревянные миски с водой и козьим молоком и поставила их в изголовье больного. Правительница села на ковре, подобрав ноги. Она окунала в молоко смуглый палец с тремя серебряными кольцами и проводила по губам раненого юноши. Он облизывал губы. Занзибарка мочила полотенце в чашке с водой и стирала брызги крови с лица и рук больного.

К вечеру вернулись с мешками фисташек и миндаля старейшины совета и были потрясены, узнав, что правительница племени, забыв свое высокое, самое высокое звание, сама сидит возле странного незнакомца и поит его с пальца молоком!..

— Вот что значит хоть на один день забросить государственные дела! Как теперь исправить упущенное? Что это за человек? А вдруг правительница изберет его своим мужем? А если он кяфир? Или разбойник? Захватит государственную казну и с ней убежит? О горе нам! Вайдот! Вайдот!

Совет устроил совещание. Все обдумывали меры, как избавиться от опасности, грозящей племени Люти. Некоторые предлагали дать больному чашку черного кофе, опустив туда шарик, приносящий вечное забвение... Да! Никто не дал более дельного совета.

На другой день седобородые пошли во дворец смотреть раненого. Правительница разрешила приближаться только по одному, прикрывая ладонью рот и сняв туфли, чтобы шумом или дыханием не повредить больному.

Все согласились, что незнакомец молод, красив, очень красив, и потому особенно опасен... Никто не мог объяснить, что значит «ватан». Один старик, ездивший на север, в страну доулет-э-рус, заметил, что там похожее слово «ватаман» означает «главарь разбойников». Вайдот! Вайдот!

Совет обратился за помощью к знахарю и колдуну Газуку. В его старый кошель тогда перешло немало серебряных монет, после чего Газук изготовил зеленое лекарство и с ним явился во дворец. Газук обещал вылечить больного в три дня. Гуль-Чаман-Биби взяла из рук колдуна глиняный горшочек, понюхала и передала черной занзибарке.

— Дай ложку этого лекарства моему любимому коту.

Если с ним ничего не случится, то мы начнем лечить раненого.

Занзибарка влила ложку лекарства в розовый рот белого пушистого кота. Он стал высоко прыгать, вскарабкался с диким мяуканьем на крышу дворца и свалился оттуда с раздувшимся, как шар, животом. Правительница приказала посадить знахаря Газука в дворцовый погреб, где он рыдал и выл несколько дней, после чего, выломав ночью решетку в окне, навсегда скрылся из пределов страны Люти.

Дни шли. Гуль-Чаман-Биби продолжала ухаживать за раненым, поила его с пальца козьим молоком, для чего сама доила своих коз. Больной начал поправляться, но оставался безумным. Часто он восклицал: «О моя прекрасная Ватан!» При этом на его ресницах показывались слезы. Он начал узнавать Гуль-Чаман-Биби и говорить. Однажды правительница спросила:

— Кто это — Ватан?

— О Ватан! — воскликнул больной.— О, моя бедная, оборванная, но все же прекрасная Ватан! — И снова слезы покатились по его исхудавшим щекам.— Зачем ты мне напомнила это дорогое имя?

— Прекрасна ли она?

— Она очень бедна, она нищая, платье у нее в лохмотьях, ноги в пыли и ранах. Она ходит по острым камням босая...

— Значит, у нее нет таких красивых шелковых одежд, как у меня? Значит, она не благоухает индийским мускусом и шафраном, как я?

— У нее нет таких богатых одежд. Но она овеяна ароматом горного красного вереска, среди которого проходит ее тяжелая жизнь. Ее преследуют враги, она залита кровью...

— Умеет ли она петь такие красивые песни, какие поют мои девушки?

— Может быть, ее песни и дикие и грубые, но я люблю их больше других песен, потому что это песня моей Ватан!

Тогда Гуль-Чаман-Биби вскочила, разбила о камень деревянную чашку и ушла, уводя с собой девушек. Возле больного осталась одна черная занзибарка.

Узнав о гневе правительницы, старые советники обрадовались и стали обдумывать план действий. Теперь седобородые надеялись пройти к больному и даже говорить с ним. Самый хитрый из всех, великий визирь, взялся все уладить. Он пробрался в финиковую рощу и опустился на колени рядом с больным. Он стал рассказывать ему о странах и не-

обыкновенных людях, упоминал разные названия городов и селений, надеясь, что при каком-нибудь имени раненый оживится, и тогда можно будет догадаться, откуда прибыл иноземец. Визирь также сказал, что старейшины уже позаботились о красно-пегом коне, вычистили и починили порванное седло.

При упоминании о коне больной обрадовался. Выждав минуту, когда занзибарка ушла, великий визирь объяснил больному, что скоро из города уйдет караван с товарами в далекие страны и больной должен воспользоваться этим. Будет приготовлен конь, а в переметные сумы уже положена еда на несколько дней и кошелек с деньгами.

— Тогда,— добавил визирь,— ты снова увидишь твою прекрасную Ватан.

— Я снова увижу Ватан! — воскликнул раненый. Его глаза засверкали, и он вцепился в руку великого визиря.— Я твоя жертва!..[1] Услышав про Ватан, я уже чувствую, что стал снова силен и могу сесть в седло! Когда пойдет караван?

— Завтра утром. Никому не проговорись! Тебя здесь стерегут и не выпустят. На рассвете городские ворота будут раскрыты, и за ними ты найдешь оседланного коня.

— Но разве я могу отправиться без меча?

— Клянусь, меч ты тоже получишь. Признайся, как зовут тебя?

— Меня зовут Неукротимый воин Хассан...

Подходила черная занзибарка. Великий визирь в знак клятвы приложил руку к глазу и, шепча молитву, осторожно вышел из сада.

* * *

На другой день раненый Хассан исчез. Гуль-Чаман-Биби призвала великого визиря. Она говорила с ним ледяным, злым голосом, шипела как змея, всматриваясь немигающими черными глазами, и девять раз ударила визиря по щекам зеленой туфлей.

— Как ты смел недосмотреть? Что зевали сторожа?

— Я твоя жертва! — прошептал покорно визирь.— Раненый воин Хассан хитрее всех нас. Сторожа оказались пьяны и без чувств лежали у ворот, а красно-пегий конь чу-

---

[1] «Я твоя жертва» — выражение, обозначающее клятву.

десным образом вышел из запертой на пять замков конюшни. Дивы и пери помогали Хассану.

— Это ты оказался хитрее всех! Недаром ты вчера шептался с больным воином. Это ты уговорил его бежать! Скройся с моих глаз! Скорее, или я оборву тебе бороду и расцарапаю лицо!

Через день в столицу Атеш-Кардэ вернулся погонщик каравана Керим Абу-Джафар — тот люти, что доносил на кузнеца, будто того по вечерам бьет ложкой маленькая жена. Керим рассказал, что встретил по пути всадника на красно-пегом коне. Он будто бы ехал впереди каравана и смеялся над красотой правительницы народа Люти.

— Ты солгал! — воскликнула Гуль-Чаман-Биби, когда к ней привели Керима.

— Твои уста меня обидели напрасно! — ответил Керим.— За мою сорокалетнюю жизнь я никогда не солгал моим соплеменникам. Всадник на красно-пегом коне пел такую песню:

Я счастье повстречал, увидя Гуль-Чаман.
Мечты о счастье брось! Нет счастья без Ватан...
Люби ее, люби! Расставлен ей капкан,
Грозит неволя ей! Спаси ее, Хассан!

Ятир-матир, дутир-матир!

На небесах — звезда, в пустыне — Гуль-Чаман.
От глаз ее бегут и сумрак, и туман...
Но помни лишь о той, кого зовут Ватан!
Скорее на коня! Спаси ее, Хассан!

Ятир-матир, дутир-матир! [1]

— Поклянись, Керим, что ты говоришь правду!

— Клянусь могилой своего отца: все было так, как я сказал.

— Почему Хассан ни на кого не смотрел, а воспевал нищую девушку Ватан?

— Ватан — не девушка! На языке его храброго племени слово «Ватан» означает — родина, родная сторона. Этот всадник на красно-пегом коне объяснил, что он торопится проехать на восток, чтобы снова проникнуть на свою родину и

---

[1] Перевод М. Б. Сандомирского.

там бороться за ее свободу. Его родина, Ватан,— маленькая горная страна, и в нее вторглись жадные ференджисы. Хассан с товарищами боролся с врагами родины, но ференджисы оказались сильнее, издали убивая народ из пушек. Ференджисы захватили всю страну, и воину Хассану пришлось скитаться на чужбине. Хотя все его друзья временно и рассеялись, но они поклялись бороться до смерти за свободу и счастье Ватан, их родины, измученной, полузадушенной... А кто упорно борется, не бросая оружия, разве тот в конце концов не победит?..

* * *

Гуль-Чаман-Биби провела три дня в финиковой роще одна, не разговаривая с подругами. Она ходила задумчивая по тропинкам, поднималась на пригорок, смотрела молча вдаль и отказывалась от всякой еды. Она только попросила подруг сходить в горы и сплести ей венок из красного вереска и приказала визирю созвать великий совет племени.

Народ Люти пришел в финиковую рощу, где длинные пальмовые ветви узорчатой тенью давали некоторую прохладу. Пришли все: и старики, и женщины с детьми, и мальчики, пролезавшие вперед. Собаки сбежались со всех домов и устроили дикую возню.

Все с удивлением смотрели на Гуль-Чаман-Биби; она сидела на пригорке, на ковре, вся закутанная в малиновый шелковый полуистлевший плащ, когда-то давно подаренный Искандером Великим правительнице народа Люти. Сперва все громко говорили, спорили из-за мест и смеялись, пока рассаживались кругом, потом уставились взорами на Гуль-Чаман-Биби, которая продолжала сидеть неподвижно, и все затихли.

Старейшины и визирь сидели справа, подруги Гуль-Чаман-Биби — слева от правительницы. Долго продолжалось молчание, седобородые подавали визирю знаки, чтобы тот первый заговорил. А визирь рукой тер глаза и кривил лицо, этим объясняя, что юная правительница плачет.

Наконец визирь кашлянул несколько раз и сказал:

— Правительница свободного народа Люти, Гуль-Чаман-Биби! Ты созвала великий совет племени. Прочтем молитву и начнем обсуждение!

— Правительница и все сидевшие встали. Визирь торжественно произнес:

— Бисмилля арр-рахман ар-раим!

Все мужчины провели ладонями по щекам и ударили по бороде. Затем все снова молча сели. Правительница скинула шелковый малиновый плащ. Она продолжала стоять, побледневшая, со впавшими щеками. Расширенные глаза горели как звезды. Облизывая пересохшие губы, она заговорила:

— Свободный народ Люти! Я вас потревожила после того, как, убедившись, что я, недостойная, неумелая, неспособная для управления народом, решила отказаться от такого великого и почетного дела. Вот фирман Искандера Великого и его почетный плащ. Возложите их на плечи более достойной.

Гуль-Чаман-Биби сняла с шеи серебряную цепочку с коробочкой и положила у ног на ковре.

Все зашептали и загудели. Один древний старик прошамкал:

— Мы слушались и покорялись, когда были правительницами твоя мать, твоя бабушка и прабабушка. Зачем ты нам теперь доставляешь беспокойство и горе? Мы хотим, чтобы ты осталась с нами...

Со всех сторон раздались удивленные голоса:

— Почему она отказывается? Что случилось? Что ты будешь делать?

Гуль-Чаман-Биби опустила глаза и прошептала:

— Я ухожу от вас!

Все на мгновение онемели, так что слышался только визг собак, потом, разом, все стали кричать:

— Зачем ты уходишь? Куда ты направишь твои шаги? Не пускайте ее! Что смотрит старый визирь?

Гуль-Чаман-Биби протянула вперед руки:

— Я ухожу от вас, но мое сердце всегда будет с вами. Я ухожу в далекую страну, где храбрые бедняки дерутся ножами и стреляют из старых дедовских ружей, защищая свою родину от жадных ференджисов, которые летают на железных птицах и сбрасывают на храбрецов огненные ящики, взрывающие и землю, и скалы. Но правда и свобода на стороне бедняков, и они смело продолжают бороться, не бросая оружия. Они победят, потому что ференджисы из-за своей жадности начали уже ссориться и воевать друг с дру-

гом. Скоро ференджисы сами себя погубят. Тогда беднякам можно будет свободно дышать...

Один юноша воскликнул:

— Иди, Гуль-Чаман-Биби! А мы не станем избирать другую правительницу, пока ты не вернешься.

— Мы будем ждать тебя! Возвращайся скорее! — закричали другие голоса.

Гуль-Чаман-Биби подняла с ковра узелок и перекинула его за спину. Она молча стояла, окидывая грустным взглядом любимый народ, затем резко повернулась и решительно зашагала по тропинке, ведущей через рощу на восток. Она оставила все ценные одежды и украшения. От быстрой ходьбы развевалось длинное красное, все в лохмотьях, платье и сквозь прорехи виднелись босые ноги. Даже зеленые туфли она не надела, а подвесила их на кожаном поясе.

Все ее украшение составил небольшой венок из красного вереска, который она надела на голову. Да, эта правительница показала, что она не воспользовалась никакими богатствами, которые скопили ее мать и бабушка. Она ушла молодая, не боясь ничего. Единственным ее защитником был старый пес, который, высунув язык, поплелся за ней...

Да! Вот какие люди живут в пустыне Дешти-Лут!..

— А как потом? Вернулась эта девушка в свой родной город Атеш-Кардэ? — спросил я замолчавшего пастуха, подсыпая в его кизиловую трубку новую щепотку табаку.

— Чего я не знаю, о том лучше умолчу. Одни говорят, что Гуль-Чаман-Биби была убита в Гималаях на границе Индии, где отчаянные афридии дрались с инглизами. Другие говорят, что Гуль-Чаман-Биби образовала особое кочевье из одних своих подруг и старого визиря. Они гонят стадо коз, четырех ишаков и несколько верблюдов, нагруженных шатрами. Их можно встретить и сейчас, если ехать по Восточному Ирану близ пустыни Дешти-Лут. А если ты, ференджис, встретишь ее, то поговори: она охотно расскажет и об Искандере Двурогом, и погадает на бобах или разноцветных камешках, и сама тебя расспросит о том, где происходит война, где слабые, но смелые защищают свою маленькую родину Ватан... Да! Но если ты увидишь на ее голове вдовью синюю повязку, то не спрашивай, почему она ее носит! Этим ты сделаешь больно, очень больно! Да! Ятир-матир, дутир-матир!..

1948

ПИСЬМО ИЗ СКИФСКОГО СТАНА

...Она, может быть, еще жива. Сухая, как стручок, темная, как шоколад, она сидит около костра из душистого вереска и рассказывает о далеких временах, сверкая белыми зубами и ожерельем из изумрудов. И в глазах ее, блестящих живой мыслью, вспыхивают синие искры чудесных воспоминаний...

Автор

I. ВЕРБЛЮДЫ ОСТАНОВИЛИСЬ

Четыре наших верблюда стояли, в недоумении поворачивая высоко поднятые головы. Сошли с коней суровый Мердан, джигит-афганец, и переводчик Курбан и остановились возле верблюдов, сбивая плеткой соленую пыль с сапог. Проводник, взятый из последнего персидского селения, сидел на корточках и чертил веткой гребенщика по мягкой, как зола, солончаковой почве.

Мы перевели коней на рысь и подъехали к нашему маленькому каравану. Профессор Хентингтон, который всегда вспыхивал, как ракета, стал кричать мне, погоняя своего маленького хивинского иноходца:

— Проводник, наверное, обманщик! Взялся проводить нас до Кяфир-Калы, уверяя, что знает дорогу, а оказался обычным восточным лгуном. Ничего не знает... Что мы будем делать? На вашей сорокакилометровой карте ничего не понять. Города показываются там, где они не намечены, а нужных городов не появляется. На американских картах этого не бывает.

Когда маленький профессор сердился, он всегда уверял, что в Америке все лучше.

— В чем дело, Курбан? Почему вы стоите?

— Вот этот человек говорит...— засмеялся по своей привычке Курбан, скаля ослепительные зубы и забрав глаза во множество морщинок,— этот человек говорит, что здесь три дороги, и все три плохие. Если хорошо заплатите, то он пойдет дальше, а не заплатите, повернет домой.

Хентингтон, вспомнив, что он сын набожного квакерского пастора, стал еще пуще горячиться и выпаливать множество слов, которые Курбан вряд ли понимал:

— Скажи этому несчастному обманщику, что если он договорился, если он дал слово, то, как порядочный, честный

гражданин, он должен это слово исполнить! Американская пословица говорит: «Один человек — это одно слово, а не два слова». У нас в Америке...

Я прервал его:

— Позвольте, дорогой Хентингтон! Все дело в каких-нибудь десяти лишних кранах [1]. Дадим ему их и двинемся дальше...

— Они, понимаете, они...— Профессор подразумевал под словом «они» всех «восточных» людей, в противоположность культурным «белым»; к восточным он в душе причислял и меня, «московита».— Они,— задыхался Хентингтон,— будут пад нами смеяться. Вся равнина от Зюльфагара [2] до Индии будет через три дня знать, что мы дураки, которых всякий может обмануть. Скажи ему, что он, как американцы говорят, хэмбог — надувальщик!

Курбан снова смущенно засмеялся. Оттянув челюсть вниз и скосив глаза на кончик носа, он сказал:

— Слушаю, американ бояр-ага [3].

И он стал что-то говорить проводнику, равнодушно сидевшему на пятках. Курбан указывал плеткой и на меня, и на американца, и на джигитов. Он проводил руками по бороде, указывал на небо и на землю и наконец ткнул плеткой в живот вздрогнувшему верблюду. Проводник ответил по-персидски одной фразой. Курбан захихикал и согнулся, деликатно почесывая спину:

— Он большой нахал!

— Так что же он говорит?

Курбан снова хихикнул. Хентингтон погрозил переводчику своей маленькой рукой и прошипел, делая свирепое лицо:

— Хэмбог! Ты — хэмбог! — и, угрожая плеткой, стал надвигать крошечного иноходца на огромного, неповоротливого, как верблюд, горного крестьянина.

Мердан, желая предотвратить катастрофу, вмешался:

— Американ-бояр! Ты его не бей! Не надо бить. Он убежит, и тогда мы пропали. Он просит, извините, пожалуйста, еще десять кранов и немного териака: он териакеш и иначе идти не может: у него курсок [4] плохой...

---

[1] Кран — персидская монета — около 20 копеек.

[2] Зюльфагар — ущелье, где сходятся границы Туркменистана, Афганистана и Персии.

[3] Туркмены раньше называли знатных лиц «бояр». Ага — дядя, господин.

[4] Курсок — сердце.

— Ол райт! Мы дадим ему еще десять кранов и териак. Но знает ли он дорогу?

Курбан переспросил проводника, провел руками по бороде и сказал:

— Он очень даже знает, только здесь есть три дороги, и все три плохие. Колодца нет, травы нет, карапшик [1] много. Лучше, говорит, поедем домой, он нам плов делать будет.

Мы двинулись дальше по седой солончаковой пустыне.

II. ОГОНЕК В СТЕПИ

Мы шли до темноты, однако не встретили ничего похожего на ручеек или колодец. Полузасохшие стебли ползучих растений с соленым кристаллическим налетом на ветках наводили уныние. Нередко попадались следы диких ослов. Мердан показал нам на горизонте несколько точек, едва заметных в дрожащем воздухе. Это были дикие ослы, а может быть, куланы [2]. Мы с трудом разглядели в цейсовский бинокль их желтые спины с черными полосами на хребтах. Животные вскоре скрылись за холмами.

Хентингтон высказал предположение, что проводник хочет нас привести в лагерь кочевников-разбойников, и утверждал, что нам следует двинуться по компасу на юг, не слушая «хитрого восточного хэмбога».

К несчастью, пятый наш джигит, русский молоканин Михаил, заболел тяжелым приступом лихорадки. Он был почти без сознания, лежал животом на своем рыжем жеребце, обняв его за шею. Голова больного беспомощно болталась при каждом шаге коня.

В сгущавшихся сумерках мы не хотели останавливаться, полагая, что привал на солончаке не принесет отдыха ни нам, ни животным. Мнения разделились. Хентингтон считал, что надо продолжать идти на юг; я же возражал, что далеко на юг тянется голая безводная степь, поэтому необходимо направляться прямо на восток к афганской границе. Там, в предгорьях, куда докатываются последние вздохи горных ручьев, можно встретить бродячих арабов или кочующих афганцев. Они нас накормят, мы дадим передышку животным и снова двинемся на юг, к нашей конечной цели — Белуджистану.

Хентингтон твердо стоял на своем; он опасался враж-

---

[1] Карапшик — разбойник, буквально: «черная кошка».
[2] Кулан — разновидность дикой лошади.

дебных действий афганцев, которым ничего не стоило ограбить нас и бесследно исчезнуть в беспредельных равнинах.

В конце концов решено было разделиться: со мной поедет афганец Мердан и переводчик-туркмен из Теджена — Курбан; больной Михаил, молодой джигит Хива-Клыч и все верблюды пойдут с Хентингтоном на юг. Через два-три дня, если все будет благополучно, мы должны снова встретиться на сто километров южнее. Проводник, проглотив темный шарик опиума, равнодушно сказал, что пойдет с верблюдами хоть к самому шайтану. Через несколько минут мы втроем ехали на восток, а к югу от нас в сумерках терялись силуэты мерно покачивавшихся верблюдов и затихал звон их бо́талов.

Начали попадаться небольшие овраги — хороший признак,— значит, сюда доходят потоки воды во время горных ливней. Из-под куста выскочила и понеслась стремглав в сторону щетинистая гиена, отвратительно подбрасывая короткие задние ноги, похожие на букву «Х». Стало совсем темно. Лошади шли чутьем, одна за другой; в темноте они то поднимались, то спускались, ныряя куда-то на неровной почве.

Поднявшись по откосу оврага, кони остановились. Где-то впереди мерцал огонек. Он то пропадал, то снова загорался, едва заметный и тусклый. Где огонек в степи, там и люди, и вода в закопченных чайниках, и отдых, и указание ближайшей тропы...

III. ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОЙ ТИАРЕ

Мы подъезжали к арабским шатрам. Оранжевый огонек метался среди черной мглы, облизывая большой котел, и отблески красного света прыгали по косым полотнищам темных палаток, припавших к земле, словно крылья летучей мыши. Несколько женских фигур двигались около костра, поминутно закрывая его пламя.

Огромные мохнатые собаки бросились под ноги нашим вздыбившимся коням. С хриплым, давящимся лае́м они прыгали, как дьяволы, перед нами. Фигуры встрепенулись, забегали, закричали по-персидски:

— Зачем вы приехали сюда? Здесь только одни женщины! Что вам надо?..

Кони подлетели к самому костру. Женщины в полосатых халатах, малиновые от огня, пронзительно кричали, хватая с земли камни. Из мрака вынырнул старик в чалме

с длинной седой бородой. Из-под руки он пристально посмотрел на нас и закашлялся.

— Теперь это у него долго будет,— Курбан безнадежно махнул рукой, словно он знал старика.

Наконец старик откашлялся и стал свирепо наступать на нас, требуя, чтобы мы уехали назад в степь.

— Это племя машуджи, одних женщин. Кяфирам — безбожникам здесь нечего делать! Видите, как они вас боятся!..

Курбан, наклонившись с седла, дружески тронул старика за плечо. Тот отскочил, словно обожженный, и начал старательно очищать место, которого коснулась рука нечестивого.

— Он нас не любит,— засмеялся Курбан,— потому что мы вам служим, а вы Магомета не уважаете. Значит, мы все тоже кяфиры.

Старик свирепел и шипел, как змея, а женщины продолжали пронзительно визжать. Камень пролетел мимо моей головы. Уговоры и объяснения Курбана, что мы заблудились и голодны, не помогали.

Вдруг к нам подбежала, звеня бусами и нашитыми на платье серебряными монетами, смуглая девочка и стала что-то быстро говорить по-персидски.

Курбан объяснил:

— В этом ауле есть старшина — баба, то есть женщина... Биби-Гюндюз [1]. Она просит не слушать старого муллу — он дели [2] — и прийти в ее кибитку.

Женщины сразу успокоились, подбежали к нам, взяли под уздцы коней, сняли наши хуржумы [3] и пошли с нами вслед за девочкой. Согласно законам восточного гостеприимства, мы могли о конях больше не беспокоиться — женщины-кочевницы лучше нас посмотрят за лошадьми, вовремя их накормят и напоят.

У среднего шатра девочка сделала жест рукой, предлагая остановиться, и нырнула за узорчатый полог. Затем она выглянула и пригласила нас войти.

Палатка была широкая, плоская и тянулась далеко в глубину. Посредине тлел огонек, и душистый голубой дымок приносил запах сухого степного вереска. Позади костра, на большом темно-лиловом афганском ковре, сидела пе-

---

[1] «Биби» прибавляется к женскому мусульманскому имени в значении «наставница».

[2] Дели — сумасшедший, также юродивый, блажной.

[3] Хуржум — мешок, чересседельные дорожные сумы.

подвижная фигура в красной шелковой одежде. В ярких вспышках костра я разглядел застывшее, как у буддийского идола, коричневое лицо под остроконечным золотым колпаком.

Курбан, знавший правила восточной вежливости, опустился на колени с правой стороны идола и пригласил меня сесть рядом. Я расположился около него, а Мердан, недоверчивый и угрюмый, остался стоять у входа. Женщины положили около нас хуржумы, седла и уздечки и удалились.

Курбан начал витиеватые обращения, спрашивая о здоровье коней, верблюдов, овечьих стад Биби-Гюндюз и о ее собственном здоровье. Женщина оставалась неподвижной, с опущенной головой.

Я начал всматриваться в ее лицо: она была немолода; сухое лицо с красивыми чертами и удлиненными скошенными глазами имело восточный тип. На бронзовой шее светилось ожерелье зеленых изумрудов, безжалостно просверленных и надетых на нитку. На ее халате было нашито множество серебряных монет и несколько талисманов. На голове — странная конусообразная тиара-колпак с золотыми цепочками и подвесками.

Мердан мрачно буркнул:

— А я пойду к коням. Их нельзя оставлять одних. Неспокойное здесь место.

И он вышел.

Неожиданно Биби-Гюндюз резко повернулась в мою сторону, и все украшения ее колпака зазвенели.

— Зачем ты приехал ко мне? — спросила она по-туркменски.

Курбан стал рассказывать про путь, проделанный нами от Асхабада к соленому озеру Немексар[1], про наш план проехать верхом до Индии; он упомянул, что Хентингтон — маленький человек, но большой мулла — рисует и измеряет горы.

— Чтобы отнять их потом у мусульман! А до Индии вы не доедете! — сказала уверенно бронзовая женщина.— В Сеистане стоит очень большой отряд англичан, и они никого не пускают в Индию. Чего они боятся?

— Откуда ты это знаешь?

Веки ее медленно приподнялись, и взгляд, тяжелый,

[1] Немексар — соленое озеро в восточной Персии, к югу от города Хафа.

пристальный, загадочный взгляд дочери Востока, остановился на мне.

— Откуда я знаю? Мой старинный род машуджи свободно кочует уже тысячу лет от каналов Хорезма до Гималаев и от Аравийского моря до астраханских киргиз. Я знаю все, что делается на моей равнине.

— Как же ты так свободно ездишь? Разве тебя не задерживают на границах?

— Никогда! Никто не смеет остановить меня, потому что со времен Искандера Великого над моим племенем власти не было. Мы знаем все пути и тропы, которых не могут знать пограничные стражники. Да и зачем им нам мешать? У нас стадо баранов, которое проберется по таким горным крутизнам, где сорвутся в бездну кони.

— Разве коней у тебя нет?

— Ты знаешь пословицу: «Продать баранов и купить коней — не будет ни коней, ни баранов. Продать коней и купить баранов — будут и бараны, и кони».

— Только цыгане так кочуют без родины, без дома.

— У меня есть родной аул — кала[1], окруженная высокой стеной. В стене бойницы, где сидят наши сторожа. Эта кала лежит в горах, среди пустыни Дешти-Лут[2]. Мы там бываем ежегодно весной, а затем откочевываем, спасаясь от жары, на север, где есть корм для баранов. Ты знаешь, где Дешти-Лут?

Курбан осклабился и цокнул в знак отрицания.

— Дешти-Лут — посреди Персии. Там идут пустыни еще более песчаные и страшные, чем Каракум. Персидские начальники и солдаты боятся туда поехать. Там живут свободные кочевые племена, которые грабят всех, и никто не мог их покорить со времен Искандера, завоевавшего весь мир...

Женщины в пестрых просторных одеждах внесли большие медные подносы с затейливой резьбой. Концами своих головных платков они закутали нижнюю часть лица: видны были только глаза, сверкающие любопытством.

Перед нами красовались сеистанские финики, изюм, вяленые бураки, овечье молоко в плоских мисках и длинные палочки леденцов. Одна из женщин наломала лепешек, испеченных в золе, и разложила кругом угощенье.

---

[1] Кала — поселение, крепость, обнесенная глухой стеной, обыкновенно глинобитной.

[2] Дешти-Лут — Лютая пустыня, лежит в Центральной Персии, в значительной степени еще не исследована до сих пор.

Снаружи я услышал сердитый, грубый голос Мердана, вскрикиванья и смех женщин. Биби-Гюндюз повернула голову в сторону шума:

— Почему этот аскер[1] такой сердитый?

— Он зарезал в Герате жену со своим душманом[2], застав их вместе. Чтобы его не повесили, он убежал из Афганистана. Вот он и скучает. А у Курбана четыре жены, и он от них уехал, поэтому он такой веселый.

Мердан, хмурясь и дергая седой ус, вошел в шатер, вернее, его втолкнули несколько женских рук. Он сопротивлялся довольно слабо.

— Кардаш[3],— пробормотал он шепотом.— Надо ночевать около коней. Это все цыгане, воры. Украдут коней,— что мы тогда будем делать? Стыдно будет джигиту идти пешком, без коня.

Биби-Гюндюз догадалась, о чем ворчал Мердан, и величественным жестом пригласила его сесть.

— Ты у нас дорогой гость. Не бойся ни за коня, ни за свою голову. Ешь, пей и не думай о завтрашнем дне...

IV. ФИРМАН ВЕЛИКОГО ИСКАНДЕРА

— Великий Искандер дал фирман нашему роду, разрешив свободно кочевать по всем равнинам Азии.

— Сохранился ли у вас этот фирман?

Биби-Гюндюз провела рукой по большому серебряному амулету у нее на груди. Этот амулет имел форму початка кукурузы и висел на серебряной цепочке с сердоликовыми украшениями.

— Этому фирману тысяча лет!

— Если его написал сам Искандер, то фирману две тысячи и двести лет.

Снова поднялись опущенные веки, и глаза испытующе остановились на мне.

— Фирман написан на древнем языке руми[4], который знал только один Искандер.

Курбан прошептал:

---

[1] Аскер — солдат, воин.
[2] Душман — враг.
[3] Кардаш — приятель, друг.
[4] Руми — так на Ближнем Востоке называют греков и греческий язык.

— Твой гость — мусафир-ага [1] — знает тринадцать языков!..

Биби-Гюндюз сняла серебряную кукурузу и протянула руку в мою сторону. Курбан подхватил амулет и передал мне. Серебряная коробочка была искусно сделана: бугорки подражали зернам кукурузы. С одной стороны открывалась крышка; на ней были тонко вырезаны три многорукие и многоногие индийские богини.

— Можно открыть?

Биби-Гюндюз прошептала:

— Эввет!.. [2]

Внутри амулета лежал кусок шафрановой шелковой материи, в которой находился какой-то сверток. Я начал осторожно разворачивать край свертка. Я ожидал увидеть пергамент, истлевший от времени, но это был папирус, настоящий старый папирус с желтыми прожилками. Сверху шла цепь косых, словно прыгающих букв, и я сразу узнал древнегреческие значки. Первое слово было написано так:

Αλεξανδρψ

Это было имя Александра, но почему-то оно стояло в дательном падеже: «Александро», а не «Александрос», как должен был бы начинаться указ.

— Ты права, рукопись написана по-гречески, руми. Если я спишу все, что там написано, то вместе с Курбаном мы переведем фирман и напишем его по-туркменски.

— Хорошо. Ты останешься один. Тебе никто не будет мешать. Люди будут сторожить палатку, чтобы никто не вошел.

Мердан шепнул:

— Не верь женщинам. Они хитрые. Лучше отдай ей это назад.

Я ответил Биби-Гюндюз:

— Хорошо. К утру я тебе все переведу.

Мое сердце трепетало. Неужели в моих руках в самом деле документ древностью в две тысячи лет? Ведь это же величайшая радость! Что скажут все академики Лондона,

---

[1] Мусафир — почетный гость.

[2] Эввет — да *(турецк.)*. Пересыпать разговор турецкими и арабскими словами на Ближнем Востоке считается признаком хорошего тона.

Берлина, Парижа! И в какой ярости будет Хентингтон, шагающий сейчас по соленым тропинкам Немексара, что не он нашел документ Александра, а московский варвар, один из коварных восточных «хэмбог»!

Меня провели в другую палатку. Старый мулла, ненавидевший кяфиров, сел около меня и сонными глазами следил за моими действиями. Вскоре он свалился на бок и крепко заснул. Я же всю ночь тщательно копировал свиток, бывший около метра длиной. Приблизительно я догадывался о содержании свитка. Это не был указ Александра Македонского, но тем не менее это была рукопись его времени.

У входа в палатку некоторое время шептались две женщины: одна из них опиралась на старинное ружье — мултук. Вскоре обе куда-то скрылись. Из крайних палаток доносились песни и удары бубнов; это кочевницы забавляли моих спутников — угрюмого Мердана и веселого Курбана...

Уже сгорели две сальные свечи и сквозь щели шатра стал пробиваться рассвет, когда я опустил голову на ковровый хуржум и закрыл глаза.

Утром Биби-Гюндюз угостила нас пловом с финиками. Она уже не была в своей золотой тиаре и походила на других женщин ее лагеря. Деловито осмотрела она наших коней и легко бегала между палатками, ловя разбежавшихся ягнят.

Я вернул ей амулет — серебряную кукурузу — и заявил, что это действительно указ самого Искандера (зачем разрушать иллюзии ее рода?), но что мне трудно было перевести указ на туркменский язык.

Мы двинулись в путь.

Часов через шесть мы увидели на склоне оврага профессора Хентингтона. Верблюды со спутанными ногами отыскивали в степи колючки. Хентингтон, сидя, на вьюке, читал свою маленькую карманную Библию.

— Все ли благополучно? — спросил я. — Отчего вы не идете вперед?

— Как видите, все отлично. Сегодня воскресенье, когда я считаю долгом, как верующий, не двигаться с места и проводить время в размышлении. А кроме того, я подумал, что, может быть, вы меня догоните. Здесь есть небольшая лужа с малосольной водой, которую лошади пьют. Одним словом, все ол райт...

V. КИФАРЕД АРИСТОНИК

Через полгода я беседовал с професссором В. К. Ернштедтом[1], известным эллинистом, автором исследований о греческих рукописях, полимпсестах[2] и намогильных надписях.

— Мне жаль,— сказал профессор,— что вы не представили подлинника, однако текст говорит многое. Это письмо к Александру, написанное одним из его воинов в последний период жизни великого авантюриста, когда он был уже владетелем всей Передней и Центральной Азии и находился в Экбатане. Я перевел вам весь текст. Он написан неким беотийцем[3] Аристоником, манера письма и сокращения слов, титлы, также подтверждают беотийское происхождение рукописи. В книге Флавия Арриана о походах Александра упоминается некий Аристоник, кифаред, гусляр или цитрист, будто бы убитый скифами-массагетами[4] подле Зариаспы, нынешнего Чарджуя. Может быть, Аристоник был взят в плен и является автором этого письма. Я напишу обстоятельное исследование об этой рукописи. Желательно приобрести папирус у этой современной кочевой амазонки и передать на хранение в Публичную библиотеку.

Перевод, полученный от профессора Ернштедта, я привожу ниже. Не знаю, написано ли им обещанное исследование; может быть, оно хранится среди его посмертных бумаг. В печати я его не видел.

VI. ПИСЬМО, КОТОРОЕ НЕ ДОШЛО

«Александру, сыну Филиппа, царю Азии, потомку бога Аммона[5], победителю персов, египтян, эфиопов, скифов,

---

[1] Профессор В. К. Ернштедт читал лекции в Петербургском университете по древнегреческому языку и палеографии — науке о древних рукописях.

[2] Полимпсест — рукопись, на которой стерт первоначальный текст и написан новый. Ученым часто удавалось восстановить первоначальный текст и получить ценные древние записи.

[3] Беотия — провинция в Древней Греции, из которой много колонистов переселилось на берега Малой Азии.

[4] Массагеты — одно из скифских племен. Смешавшись с вторгшимся племенем огузов, они образовали нынешний туркменский народ.

[5] Во время похода в Египет Александр Македонский прибыл в храм бога Аммона, находившийся в оазисе Фивах, среди Ливийской пустыни. Аммонские жрецы торжественно провозгласили его «сыном бога Аммона».

бактриан, согдиан, парапамисадов и тысячи других племен и народов, имена коих я не знаю, а знаешь только ты, великий, да Зевс всемогущий,— привет и пожелание здоровья и новых побед посылает твой верный товарищ по сражениям кифаред Аристоник, сын Каллимаха, родившийся в городе Акрафии, в Беотии, близ Копайского болота.

Во время твоего блистательного похода к реке Оксу я вместе с другими товарищами переплыл на другую сторону на надутых воздухом козьих шкурах и участвовал в сражении.

Меня ранили скифы-массагеты заокские; я был сброшен с коня, который влачил меня по камням, пока я не потерял сознание. Я очнулся от сильной боли. Около меня сидел старик, их лекарь, и держал выдернутую стрелу. Он спросил меня: «Что ты умеешь делать? Шить ли сапоги, ковать мечи, строить храмы или делать что-либо другое полезное? Тогда сохранишь себе жизнь, иначе тебя убьют».

Это было с его стороны коварством. Так как скифы любят знание и хотят уподобиться грекам в просвещении, то они из пленных отбирают им полезных и оставляют навсегда у себя, перерезав сухожилия около пятки, чтобы те не убежали. Я не знал этой хитрости и сказал, что умею играть на гуслях и плясать священные танцы. Старик передал это скифским старейшинам, и те оставили меня у себя рабом, тогда как других пленных они отослали к берегу Окса, чтобы обменять на взятых тобою в плен скифов. Мне не перерезали сухожилий, чтобы я мог плясать перед скифами во время их пиршеств.

Уже прошло три долгих года, как я нахожусь в плену, и теперь надеюсь послать тебе это письмо через товарища Пифона, сохранившего целыми свои ноги. Он решил убежать, изучил скифский язык, женился на скифской девушке из племени амазонок, которые мужей не имеют, а живут своими женскими общинами. Поэтому и жена моего товарища не может оставаться больше с амазонками, и теперь вдвоем они хотят переплыть реку на выносливых конях и прибыть к тебе, величайший, непобедимый сын Зевса, равного которому нет, не было и не будет на земле!

Когда Пифон доберется до тебя, он передаст мою мольбу к тебе, который всегда так заботился о всех своих товарищах по битвам, покрывших себя ранами ради славы твоей и нашей дорогой родины. Ты давал каждому больному и раненому всаднику, возвращавшемуся на родину, по два таланта. Я молю тебя прислать эти деньги на берег Окса,

около Зариаспы, и здесь через посредников твой посол пусть вызовет скифа Будакена, чтобы выкупить меня из рабства. Тогда я снова буду сражаться за тебя и петь тебе гимны, воспевая твои походы и доблесть твою и твоих товарищей.

Добровольно скифы меня выпустить не хотят, а заставляют учить их детей писать и говорить по-гречески, петь греческие боевые песни и играть на гуслях. Я живу только надеждой, что снова увижу родные вершины Геликона[1] и долины Беотии, покрытые зелеными виноградниками и масличными рощами.

Скифы-массагеты, меня захватившие, весьма храбры и больше всего любят свободу и коней. Они гордятся тем, что убили непобедимого Кира персидского и голову его положили в мешок, наполненный кровью, чтобы он, ненасытный в убийствах, наконец напился крови досыта. Один из знаменитых храбростью скифов, Будакен, узнав, что я умею играть на гуслях, предложил сделать меня своим другом, держать в почете, если я сделаю гусли и буду ему играть, когда к нему прибудут гости. Он выкупил меня от того скифа, который подобрал меня на поле битвы, дав за меня пять отличных кобылиц.

Скифы очень любят, когда я воспеваю твои походы и особенно твои победы при Гранике[2] и взятии горной крепости Аримазы[3] с помощью крылатых воинов.

Скифы любят пить при всяком случае, даже во время совещаний о набеге, войне или заключении мира они пьют охмеляющий напиток, сделанный из молока, причем передают друг другу золотую чашу, украшенную рисунками[4]. Эта чаша переходит из рук в руки, а виночерпий подливает в нее вино. Особенно славным считается сразу выпить всю чашу и затем сохранить ясным свой рассудок.

Когда скифы хмелеют, они прыгают вокруг костров с

---

[1] Геликон — горный хребет в Беотии.

[2] При реке Гранике Александр одержал первую блестящую победу над персидским войском, превышавшим численностью македонские войска в несколько раз.

[3] Аримаза — ущелье Байсун-Тау в нынешнем Таджикистане. Арриан описывает взятие этой крепости Александром при помощи следующей хитрости. Воины Александра с огромными трудностями взобрались на скалы, возвышавшиеся над неприступной крепостью, и, размахивая плащами, изображали крылатых воинов. Суеверные жители после этого сдались Александру.

[4] В курганах скифского происхождения часто находились чаши с рисунками, искусно сделанными, по-видимому, греческими мастерами. Знаменитая Куль-Обская ваза, сделанная из чистого золота, хранится в Эрмитаже, в Ленинграде.

дикими песнями и воплями, размахивая короткими обоюдоострыми ножами, похожими на листья. Тогда они хотят в ярости перебить всех пленных, борются друг с другом и на конях носятся вперегонки по равнине, не разбирая дороги. Меня тогда спасает мой хозяин Будакен, который гордится перед другими скифами, хвастаясь, что ему играет на кифаре тот самый артист, которого любил слушать Александр Непобедимый, богу Арею[1] равный.

Еще у скифов есть обычай: когда умирает знатный скиф, то с ним должны вместе умереть его жены, которых связывают и кладут на дрова, где они сгорают живыми вместе с телом их мужа. Жены в это время поют песни, а те, которые боятся огня, просят скорее их зарезать, что охотно делают друзья покойного. Потом рабы насыпают курган и на нем распяливают на кольях кожу любимого коня, думая, что покойный герой ездит на нем по ночам и бьется с врагами скифов. Конь на кургане стоит как живой, убранный словно на битву. Вместе с женами убивают и любимых рабов, которые должны вместе с ними пойти в другой мир и там им служить.

Так как мой хозяин настолько любит мою музыку, что хочет слушать мои гусли и после смерти, я молю богов, вечно сущих, чтобы они дали Будакену долгую жизнь и здоровье. Надеюсь, что тем временем ты, Великий Александр, пришлешь за меня выкуп или обменяешь на другого кифареда, из числа имеющихся у тебя египетских рабов-музыкантов, и тогда я хотя бы старым калекой вернусь в милую моим очам Беотию, где буду воспевать детям и внукам твою храбрость, величие и заботу о воинах, деливших с тобой все трудности твоих незабываемых походов...»

* * *

Передо мной лежат выцветшие листки моей путевой тетради с греческим текстом и рядом написанный бисерным почерком перевод профессора В. К. Ернштедта.

Я закрываю глаза, и мне кажется, что на фоне заходящего солнца вырисовывается высокий курган; на нем стоит одинокий человек, закутанный в изодранный греческий плащ. Около него присели на корточки длинноволосые скифы в остроконечных войлочных клобуках и широких пестрых штанах. Они ждут песен.

---

[1] Арей — бог войны у греков.

Пленник смотрит вдаль, туда, где тянутся синие хребты персидских гор; его глаза жадно ищут в туманном горизонте караван верблюдов, который спасет его из рабства. Но все пусто в беспредельной степи, и он, зазвенев цепями, берется за гусли...

1929

АФГАНСКИЕ ПРИВИДЕНИЯ

(Из записок русского путешественника)

Несколько лет назад мне пришлось путешествовать зимой по Восточной Персии, и как раз на рождество случилось приключение, довольно загадочное.

Нас было шесть человек: мой друг Хентингтон, молодой американский ученый, с энергичным, железным характером, как у типичного американца, «делающего свое будущее», и конвой из четырех всадников-джигитов, как их называют в Туркестане: два туркмена, Курбан и Хива-Клыч (т. е. «хивинский нож»), афганец Мердан, бежавший в Россию после того, как в Кабуле убил одиннадцать человек из мести за смерть брата, и один русский молоканин Михаил, отличный охотник, кормивший нас всю дорогу куропатками.

Седьмым был Абдалхи — проводник, нанятый в последнем персидском селении провести нас через пустыню.

Мы ехали вдоль афганской границы по пустынной местности, куда робкие персы не решаются показываться, боясь афганских кочевников, которые здесь бродят беспрепятственно со стадами баранов, не подчиняясь ни афганскому, ни персидскому правительствам и рассчитывая только на собственные винтовки и свои аршинные самодельные ножи.

Кругом была безводная пустыня с каменистой почвой и редкими колодцами, известными только местным кочевникам. К западу, вдали, на горизонте, виднелись персидские горы, от которых мы ушли в глубь равнины, продвигаясь с караваном на юго-восток, чтобы незаметно не проникнуть в Афганистан [1].

---

[1] В описываемый период, при эмире Хабибулле (1901—1919 гг.), между Россией и Афганистаном не было дипломатических отношений. После второй англо-афганской войны (1878—1881 гг.) Афганистан попал под влияние Англии, осуществлял ее политику — враждебную интересам Афганистана и России.

Наши кони и три верблюда с вьюками шли мерным шагом, безостановочно от утра до вечернего привала, как полагается при больших и ускоренных переходах.

Уже два дня мы шли этой пустыней, огибая соленое озеро, питаясь только тем кормом, что несли на себе верблюды, и в этот день утром мы уже должны были прийти к небольшой крепости с колодцами, где можно было бы достать новый фураж для лошадей, чтобы сделать дальнейший переход через пустыню.

По рассказам проводника в этом маленьком оазисе среди пустыни должен находиться небольшой персидский гарнизон, а кругом стен крепости разбиты палатки афганских кочевников со стадами баранов.

Наш проводник Абдалхи внушал большое подозрение. Он старательно осматривался кругом, вглядывался в горизонт и шел уверенно впереди каравана, но, когда с ним заговаривали и расспрашивали о дороге, о названиях видневшихся на горизонте гор, он представлялся дурачком и отвечал бессмыслицей или отмалчивался.

Туркмен Хива-Клыч мне сказал:

— Проводник — дурной глаз! Он неверный человек. Он не хочет показать верную дорогу.

— Он не может ничего сделать,— ответил я,— он пеший, а мы все верхами. Если мы заблудимся, то и он пропадет!

— Не знаю, чего он хочет,— ответил джигит,— но у него на сердце дурное желание. Может быть, у него есть товарищи-разбойники, карапшики (черные кошки), которые нас поджидают в каком-нибудь месте в засаде.

— Во всяком случае нужно не отпускать его ни на минуту в сторону. Ты следи за ним, а если вздумает убегать, сможешь подстрелить его...

Хива-Клыч перевесил более удобно винтовку, довольный тем, что представляется случай пустить пулю во враждебного Абдалхи, но с самым равнодушным видом стал раскуривать свою обделанную в серебро трубку и даже дал затянуться из нее проводнику.

Однако положение наше было вовсе не шуточное.

Ячмень для животных почти кончился, оставался небольшой мешок, а с голодным конем завтра нельзя будет сделать никакого перехода. Между тем кругом пустыня, и до ближайшего персидского аула около трех переходов, то есть не менее 150 верст.

Американец, внимательно следивший по карте наш путь и все время справлявшийся с компасом, сказал:

— Мы постоянно отклоняемся в сторону, и от этой нам необходимой крепости, вероятно, мы отошли теперь верст на тридцать, если не больше. Это значит, что нам придется идти всю ночь без отдыха, в надежде, что либо ночью, либо на рассвете мы увидим кочевников. Нужно идти по компасу, проводнику придется просто связать руки и привязать к верблюду. Он или не знает дороги, или умышленно ведет нас в другое место.

Мы решили пройти еще несколько верст, до одиночной группы скал, там передохнуть несколько часов и затем, как только поднимется луна, сделать ночной переход, в надежде выйти к необходимой нам крепости.

Наш караван повернул от того направления, по которому мы шли, к скалам, но проводник стал вдруг спорить и настаивать, чтобы мы шли дальше за ним. Он обещал очень скоро довести нас до крепости, уверял, что нам незачем останавливаться, что эти скалы скверные, там острые, мелкие камни, так что попортятся ноги у верблюдов.

Видя, наконец, что его слова не действуют и мы всетаки направляемся к скалам, проводник стал взволнованным голосом рассказывать, что про эти скалы очень хорошо знает всякий правоверный: там живут злые духи-дэвы, там похоронены кяфиры — язычники, давно убитые храбрыми мусульманами. Теперь души убитых тревожат путников, осмелившихся остановиться вблизи «нечистых скал», а если мы туда придем, то все погибнем!..

Разумеется, его слова только разожгли наше желание посмотреть могилы «неверных», может быть христиан. Американец стал даже увлекаться перспективой, может быть, найти на могилах какие-нибудь древние памятники, указывающие на то, что за «кяфиры» там похоронены.

— А если к нам явятся их блуждающие души, — сказал Хентингтон, — то это еще более интересно в наш неверующий век, когда привидения перестали являться, а все мы перестали верить и в бессмертие души, и во все, что «не от мира сего»!..

Но Абдалхи заявил категорически, что не пойдет к скалам, а лучше пусть погибнет в пустыне, что ему не нужно никакой платы, и хотел было направиться в сторону от каравана, но подскакавший к нему немедленно Хива-Клыч пригрозил винтовкой, и Абдалхи был вынужден пойти вместе с караваном.

Мы подходили к скалам, когда солнце садилось и они были залиты последними красными лучами заката. Скалы были почти черные, видимо, вулканического происхождения. Хентингтон сразу сказал, что, судя по общей форме, внутри, наверное, есть кратер и что нам не нужно останавливаться снаружи, а необходимо пройти через ущелье внутрь, там мы укроемся от ветра.

Скалы поднимались почти отвесно, и вскарабкаться по откосу было бы невозможно. Мы стали огибать скалы и заметили на земле следы когда-то проходивших здесь верблюдов и по ним дошли до ущелья. Здесь видны были тропа и следы людей.

— Чьи же это следы? — спросил я проводника. — Вероятно, это твои кяфиры? Но ведь души очень легкие, как же оставляют шаги, совсем как настоящие?

Абдалхи стал опять кричать, что это или следы душ кяфиров, или следы тех несчастных путников, что вошли внутрь и были там загублены злыми духами. Хива-Клыч ткнул проводника в плечо шашкой, и тогда Абдалхи уже почувствовал, что с ним не шутят.

— Мы тебе свяжем руки и ноги, если ты не будешь слушаться. А если вздумаешь убежать, так мы нагоним и пристрелим.

Щель между скалами, узкая вначале, дальше все расширялась. Тропа подымалась наверх через груды камней и обломков скал. Наш караван растянулся гуськом, и кони и верблюды, привыкшие ко всяким переходам, осторожно ступая между острых камней, медленно пробирались в гору.

Я с американцем ехали впереди дозорными. Когда мы поднялись на перевал, сразу стало ясно, что Хентингтон прав: тропа стала спускаться внутрь широкого кратера, окруженного мрачными черными стенами, точно внутрь громадной чаши, созданной прихотью природы.

Долина кратера была в некоторых местах завалена большими обломками скал, в середине образовалась естественная гладкая площадь, на которой виднелись небольшой каменный склеп и несколько могил обыкновенного мусульманского типа — из груды мелких камней с плитой посередине.

Американец находил, что ему как геологу очень интересно здесь остановиться, так как кратер представляет важность «с научной точки зрения».

Когда мы спустились внутрь кратера, кое-где видна бы-

ла зола костров, уже размытых дождем, и следы стоянки верблюдов ночевавшего здесь каравана.

Где-то должна была быть, несомненно, вода, так как караваны обыкновенно останавливаются возле колодца.

Джигиты сейчас же разбрелись во все стороны отыскивать воду и вспугнули двух шакалов, заметавшихся по кратеру.

Действительно, нашелся колодец, выложенный камнем, и вода оказалась достаточно хороша, чтобы от нее не отворачивались голодные верблюды и можно было заварить крепкий чай.

Мы расседлали лошадей, развьючили верблюдов возле колодца и расположились по-товарищески кругом костра; проводник Абдалхи был, конечно, тоже среди нас на равных началах.

С джигитами я переговорил, что нужно будет принять меры охраны на ночь, быть очень осторожными, отправить одного часовым на тропу, по которой мы приехали.

Хива-Клыч подошел ко мне и сказал:

— Когда все подымались по дороге вверх, этот шайтан Абдалхи оторвал кусок чалмы, разостлал на дороге и на обрывок положил несколько камешков, как русский крест... Я спросил Абдалхи: зачем он это делает? А он говорит, что кяфиры боятся креста, а кусок чалмы он дает в подарок, чтобы духи на него не сердились... Я только думаю, что этот шайтан врет, и ему на всякий случай «маклач» давал.

Мы стали совещаться с Хентингтоном, вспомнили все случаи, показавшие проницательность Шерлока Холмса, и пришли к одному заключению, что этот сигнал — условный знак, какой Абдалхи показывает кому-то другому. Что, вероятно, кто-то должен приехать этой ночью к скалам, а наш приезд совершенно им нежелателен, и что мы приехали сюда раньше, а этим условным крестом Абдалхи хочет предостеречь своего сообщника, одного или многих.

Нужно было принять контрмеры, так как, конечно, не могут быть добрые намерения у этого притворяющегося дурачком афганца, заведшего нас совершенно в другую сторону.

Наш ужин был скуден: туркмены спекли в золе костра три круглые лепешки из муки, и мы с удовольствием ели это теплое крутое тесто, запивая зеленым чаем.

Ужин лошадей и верблюдов тоже был скуден.

Недолго мы сидели у костра; поочередно все заворачи-

вались в бурки и ватные халаты и ложились вокруг костра, где тлели саксауловые головни.

Условившись с Хентингтоном, что он будет сторожить возле костра, я взял винтовку и обошел нашу стоянку.

Верблюды, лежа на животе и подобрав под себя ноги, пережевывали ячмень, изредка подымая свои длинные шеи и поглядывая кругом задумчивыми грустными глазами. Кони жадно ели сухую, жесткую траву. Одна лошадь, очень усталая, лежала на боку, вытянув ноги, и ничего не ела.

«Туркмены говорят, что хороший конь, как бы ни устал, на землю не ложится,— подумал я.— Вернется ли этот жеребец обратно в Туркестан?»

Кругом на скалах было тихо. Луна обливала серебристым светом громадные каменные глыбы, теснившиеся угрюмой толпой вокруг площади, где белела могила святого и дремал наш караван. Никакой опасности как будто не предвиделось.

Я поднялся по тропинке, вьющейся между скал, обратно на вершину и за перевалом действительно нашел таинственный знак Абдалхи. Прямо на тропинке, залитой лунным светом, ярко белел обрывок чалмы, на нем крестом было положено тринадцать камешков.

«Если бы кто-то шел по тропинке,— подумал я,— он не мог бы не заметить этого сигнала».

Место это было удобно для наблюдения: с перевала видны были и пустыня на десятки верст кругом, и внутренность кратера, где мигал красноватый огонек костра. Среди больших камней легко было спрятаться, и я, отойдя несколько шагов от тропинки, завернулся в бурку и удобно притаился в тени высоких обломков скалы.

Пустыня сперва казалась безмолвной. Передо мной была бесконечная даль равнины. На горизонте с афганской стороны в одном месте на северо-востоке подымались белые острые горные вершины, точно тонкие зубцы сказочного замка.

Равнина, залитая ровным лунным светом, видна была ясно, и только даль, казалось, таяла в серебристом тумане.

В безмолвии угрюмых скал я слышал ровное биение сердца.

«Вероятно, чуткий слух зверя чуял мои шаги по камням,— подумал я,— и все ночные шатуны притаились».

Я всматривался в даль, на север, где за бесчисленными горами и ущельями, пройденными нами, распростирались сперва роскошный теплый Туркестан, а далее загадоч-

ная холодная Россия, «где я любил, где я страдал», и мысленно «я видел зал, сияющий огнями», мне слышалась увлекательная музыка бального оркестра, мне казалось, дети танцуют вокруг елки... но мои мечты вдруг прервал тонкий протяжный вой.

Какой-то низкий сильный голос, точно морская сирена, поднялся очень высоко, несколько раз взвизгнул и замолк.

И вдали, в пустыне, и невдалеке, в скалах, вдруг множество таких же таинственных голосов стали повторять этот ужасный вой и взвизгивания, и вокруг все, казалось, было полно невидимыми злыми духами, издававшими эти странные вопли-стоны о душах убитых здесь кяфиров...

«Шакалы,— подумал я.— Однако их, черт возьми, очень уж много! Это — несколько сотен. Если наткнуться на стаю, то от меня только один стальной ствол берданки останется!..»

Шакалы завывали несколько минут, потом сразу, точно по команде, смолкли, и опять воцарилось странное, таинственное безмолвие пустыни.

Я продолжал внимательно всматриваться в даль и в одном месте, на белой солонцовой площадке, заметил несколько темных фигур, похожих на небольших волков, крадучись перебиравшихся через это светлое место.

«Пустить им пулю? — подумал я.— Нет, пожалуй, наши подумают, что это сигнал тревоги!»

Но в скором времени я увидел нечто более интересное.

По равнине с востока, наперерез тому пути, по какому мы прибыли, продвигались несколько точек. Сперва мне показалось, что я ошибаюсь, но вскоре я смог различить шесть всадников, приближавшихся гуськом, ускоренным шагом...

Прошло некоторое время, и стали заметны темно-синие афганские кафтаны, голубые чалмы, небольшие гнедые крепконогие лошади, привыкшие карабкаться по горным дорогам.

«Вероятно, патруль афганской иррегулярой кавалерии,— подумал я.— Идут сделать маленький аламан — грабеж ближайшей персидской деревни, так как эмир им несколько месяцев не платит жалованье. Но может быть, они в стачке с нашим проводником? Может быть, они должны были здесь подстеречь наш караван и «во славу пророка правоверных» перестрелять из засады всех «гяуров-урусов»?..»

Эти мысли мгновенно пронеслись, и я посетовал: «Эх! Хива-Клыча нет! Спит, вероятно. Он без промаха уло-

жил бы подряд двоих-троих, а с остальными нетрудно будет справиться!..»

Всадники остановились, затем повернули к нашей скале.

«Они должны были раньше нас сюда прибыть и отсюда сторожить, когда мы пройдем мимо. Но они опоздали! Их кони ведь хороши в горах, а в степи им не нагнать туркменских коней, да еще таких отборных, как наши. Пока они кружили, мы пришли раньше...»

Уже стал слышен глухой топот лошадиных шагов, стук подков о камни. Всадники стали подыматься по каменистой тропе...

«Что делать? Стрелять или только окликнуть? Целиться или выстрелить в воздух?» На размышление оставалось всего несколько секунд.

Близко показался передний афганец, видимо ехавший дозорным, другие отстали шагов на пятьдесят.

Теперь я видел ярко освещенного лунным светом высокого афганца с черной бородой, с обведенными черной краской глазами, державшего в руках ружье наизготове, подъезжавшего на широкогрудой гнедой лошадке с белой лысиной во лбу.

Афганец зорко посматривал по сторонам и поддавал под бока лошади своими тяжелыми шнурованными башмаками. Лошадь похрапывала и вдруг остановилась, затем шарахнулась в сторону за два шага до куска белой чалмы с крестом из камней.

«Теперь момент!» — подумал я и выстрелил. Сильный грохот разбудил молчание скал, и эхо раскатом пронеслось по камням.

Афганец сразу повернул коня и быстро помчался обратно.

Раздалось несколько криков, выстрелов в воздух, и через несколько секунд я увидел, как шесть афганских всадников уже карьером неслись обратно по равнине.

— Что случилось? — спросил Хентингтон, запыхавшийся, взбежавши на перевал.

За ним, как всегда спокойный, с винтовкой в руках поднимался Хива-Клыч.

Я указал на удалявшихся всадников и передал свои мысли — кто это мог быть.

— Я думаю, что порядочные люди по ночам не шляются,— сказал американец.

— С ними нет верблюдов, каравана, это аламанщики! — уверенно определил Хива-Клыч.

— Вы хорошо сделали, что показали им — мы всегда наготове! — одобрил мой холостой выстрел Хентингтон.

Я оставил на своем месте сторожить Хива-Клыча, и мы с американцем вернулись к костру.

Проводник, бледный, с блуждающими жгучими глазами, трясся как в лихорадке.

— Далеко ли отсюда до калы, ближайшего селения?

— Недалеко,— ответил Абдалхи,— бояр (господин) может быть уверен, что завтра рано утром уже будет иметь барана, а лошади — много ячменя...

Но еще непонятное было впереди.

Когда рано утром мы спустились с горы и шли степью, Хива-Клыч поднял с земли и передал мне небольшую записную книжку, почти всю исписанную чистейшим английским языком.

Чопорный Хентингтон сказал, что нехорошо читать чужие записи, а лучше бросить. Я же с ним не согласился и эту книжку сохранил до сих пор. Там, между прочим, была такая пометка:

«...1/1. Азис-хан сообщает, что русский сартип... и его караван двинулись на «О» от Немексара. Винтовок шесть. Идут медленно. Дан верный проводник. Приведет в Ашир-кудук 7. 1. Нужно быть у Кяфир-Куха 6. 1 ночью...»

Как видно, таинственные планы, проводника не удались.

Но я думаю, что такие же таинственные привидения, знающие отлично английский язык и интересующиеся тем, что вы делаете и какие ваши намерения, являлись всем русским, путешествующим на Востоке, но под видом других лиц: лакеев в гостиницах, любезных гидов и даже хорошеньких женщин, с какими вы «случайно» знакомитесь на пароходе...

1906

ВИДЕНИЯ ДУРМАНА

(Душа)

Мне сказали, что в азиатской части города, в одном из отдаленных и глухих его мест, куда европеец боится заглядывать, живет старик дервиш, делающий чудеса.

Я достаточно видел чудес, какие показывают обыкновенные восточные фокусники, и не особенно им верил, но про

этого дервиша говорили, что он может вызывать души умерших. Мне сказал владелец дома, где я жил, Ораз, что этот дервиш вызвал к нему тень его покойного отца и он говорил с нею долгое время.

Я прошел через все базары, по узким улицам, крытым сверху рогожами, точно по бесконечным коридорам, где тянулись вереницы всевозможных людей в пестрых халатах.

В глазах рябило от ярких красок, в воздухе пахло всевозможными пряностями, листьями сушеного табака, жареной бараниной, горелым маслом и тем особым запахом Востока, который чувствуется только в Азии.

Я шел вслед за моим джигитом, расталкивавшим толпу, давая пинки всем, кто не сворачивал с пути.

Наконец мы добрались до узкого переулка, где по обеим сторонам тянулись глухие стены без окон.

Джигит подошел к маленькой дверце и стал неистово в нее стучать. Нам открыл калитку мальчик в парчовой тюбетейке на затылке и в длинном халате. Он весело, с поклонами, пригласил войти и разостлал ковры под навесом, выходившим во внутренний двор, где посередине был небольшой бассейн.

Пол двора выложен каменными плитами, кое-где среди плит посажены цветы.

Вскоре к нам вышел худенький человек в пестром халате и в туфлях на босу ногу. Голова его, повязанная белой кисейной чалмой, и халат, подпоясанный зеленым поясом, были признаком того, что он из потомства великого пророка.

Движения его были быстры, светлые глаза живо бегали по сторонам, как будто все пронизывая, но когда они останавливались и вглядывались, то приобретали оловянное, мертвое выражение. Темно-бронзовое лицо, оттого ли, что выжжено солнцем, или от излишнего курения опиума, казалось темным даже среди других восточных лиц, загорелых и смуглых. На этом лице голубые глаза резко выделялись, светились, как две бирюзы.

Мальчик отвел моего джигита в глубину двора, где была кухня, и дал ему кальян.

Я улегся на ковре, а передо мной на корточках уселся старик, обняв колени руками и глядя мне в лицо своими странными светлыми глазами. Я сразу приступил к делу:

— Мне нужно вызвать душу умершего.

Старик засуетился, подпрыгнул, стал отмахиваться руками:

— Зачем ты говоришь такие страшные вещи? Зачем

спрашиваешь невозможное? Разве можно беспокоить и вызвать душу, находящуюся в Садах аллаха? Не хочешь ли лучше порошков от какой-нибудь болезни? Не нужно ли тебе приворожить какую-нибудь белокожую и золотистоволосую красавицу?..

Я от этого отказался.

— Не хочешь ли ты увидеть кого-либо из живущих? Это я могу сделать. Хочешь, я тебе дам такого варева, что ты почувствуешь себя царем? Вокруг тебя будут прекрасные гурии, в мечтах ты достигнешь всего, что захочешь! Или ты будешь великим полководцем, станешь управлять войсками? Или же ты можешь услыхать чудную музыку... У меня есть разное лекарство для разных людей. Какое бы ни было горе, если прийти ко мне и принять мое лекарство, сейчас же забудешь свою печаль и испытаешь высшее спокойствие и счастье...

От всего этого я отказался и просил только вызвать мне душу умершего человека, с кем я больше никогда не смогу повстречаться. Я сослался на то, что он это сделал для моего хозяина Ораза. Тогда старик рассердился, плюнул в сторону:

— Ведь я приказал Оразу, чтобы он никому не говорил о том, что был у меня. Зачем же он тебе сказал?..

Я обещал старику денег. Он ответил, что подумает и, во всяком случае, не может ничего сделать раньше захода солнца, и до этого времени я должен подождать.

Мальчик принес мне чаю, зеленого и душистого. Я курил чилим. Казалось, что дым слишком ароматен, и я подумал, не добавлено ли чего-нибудь к табаку? Лежа на ковре, я дремал и в полусне видел, как иногда по двору медленно проходил старик, как, разостлав коврик, он долго молился, клал земные поклоны по направлению к Мекке.

Мне чудилось, что проходили еще какие-то фигуры, шуршали шелковые одежды, звенели серебряные запястья и украшения.

По каменным плитам протянулись лиловые тени заката, небо стало оранжево-апельсинового цвета. Темнело. Тогда старик подошел, потянул меня за рукав и моргнул глазом, приглашая следовать за ним.

Вслед за стариком я прошел внутрь дома. За узким коридором оказалась довольно просторная комната без окон, свет проникал через отверстие в потолке.

Старик положил несколько подушек возле стены и предложил мне сесть на коврик. Затем принес простую жаровню,

сделанную из грубых железных листов, и поставил ее посредине комнаты. Ее ярко освещал свет, падавший сверху. Углы комнаты были в темноте. На жаровне тлели угли.

Между мною и жаровней старик поставил вазу с большими белыми ароматными цветами. Сам он сел в стороне, в тени, освещалась только его белая чалма, склоненная к жаровне.

Возле старика я увидел деревянный ларец, обитый медными гвоздиками. Старик стал бормотать про себя арабские молитвы, иногда хватаясь рукой за бороду, медленно проводя по ней пальцами. Затем, повернувшись ко мне и строго погрозив пальцем, он сказал:

— Теперь, ага, сиди совсем тихо, не двигайся! Если будешь вставать и кричать, тогда джинн не придет. Джинн боится громкого голоса и шума. Сиди спокойно, пока я сам не возьму тебя за руку и не уведу отсюда...

Я был готов ко всему и поэтому сидел, прислонившись к стене, вытянув ноги вперед, сложивши руки на груди.

Старик прочел свои молитвы, стал шептать вполголоса, раза два взглянул на меня и одобрительно покивал головой. Затем достал из ларца горсть легких семян и бросил их на угли. Семена вспыхнули как порох, голубой дымок поднялся, клубясь, к потолку, полный сильного дурманящего аромата. Горячая струйка протекла по моим жилам.

Старик вполголоса продолжал шептать свои заклинания. В это время точно кто-то заглянул в отверстие потолка — тень скользнула по жаровне, по белой чалме старика... Затем тень исчезла, и опять я видел ярко освещенную коробку жаровни и склоненного в молитвенной позе старика.

Когда тень заслонила отверстие в потолке, я хотел взглянуть наверх, но почувствовал, как я ослабел, что мне трудно сделать какое-либо движение, как одурманена моя голова.

Старик снова стал бросать в жаровню какие-то порошки, поднимались легкие клубы дыма и таяли в воздухе.

Мое состояние делалось странным, мне казалось, что в комнате подымается сильный ветер, хотя дымок над жаровней не колебался, а тянулся кверху. Я чувствовал ясно, как с правой стороны этот ветер усиливался, я слышал его свист.

Порывы ветра неслись справа налево, точно я находился не в комнате, а на рельсах железной дороги и несся со страшной скоростью, чувствуя, как рассекаю воздух, летящий мне навстречу.

Мое состояние раздваивалось: мне казалось, что ураган усиливался, проносясь через комнату, и в то же время про-

должал видеть дымок, большие белые цветы и фигуру неподвижного старика, сознавать, что в комнате все тихо и недвижимо.

Появились клубы пыли, поднятые вихрем; они темнели, проносились мимо, начинали принимать очертания причудливых существ. Точно бесформенные призраки аида, проносились мимо меня бесчисленные темные прозрачные тени.

Иногда между ними, как искры, мелькали острые взгляды пронзительных глаз, виднелись болезненные улыбки, сверкали белые зубы.

«Кто здесь несется? — думал я.— Неужели такую форму прозрачной тени принимают души умерших, вызванные теперь этим странным стариком, чтобы пронестись мимо меня, чтобы я увидел среди них какие-либо лица, мне близкие, или чтобы кто-нибудь из них узнал меня и остановился здесь, в этой комнате, подчиняясь магической силе старца...»

Но один проносившийся контур остановил мое внимание и заставил зашевелиться волосы на голове, холод пробежал по спине. Что-то знакомое было в очертании линий и в профиле этой пронесшейся тени... Мой взгляд метнулся за тенью, и она закрутилась посреди комнаты, как мечется летучая мышь.

Я увидел, что передо мной не белые цветы, а они только яркое пятно на каком-то светлом шелковом платье женщины, сидящей уже давно передо мною.

Я также чувствовал и присутствие старика, но это ощущала какая-то одна половина моей души, а другой частью, как во сне, я видел перед собою легкий позолоченный стул, на нем женщину в белом платье, какие-то белые колонны позади нее, часть ярко блестевшего паркетного пола, шум голосов идущей толпы, шарканье множества ног, шорох бесчисленных платьев и отдаленные звуки музыки.

Теперь я был где-то в уголке большого зала, здесь происходил бал, бродили пары и слышался сплошной шум от множества голосов. Передо мною сидела бледная женщина в белом платье, с красиво причесанными темными волосами. Заложив ногу на ногу, в белых туфельках, она вполголоса продолжала какой-то разговор, который мне был известен, хотя другая часть сознания говорила мне, что эту женщину я вижу в первый раз...

И во мне заговорила двойственность. С одной стороны, я

продолжал тот разговор, какой мы начали в неизвестном мне прошлом, и одновременно хотелось задавать новые вопросы, чтобы узнать: откуда она? как ее зовут? как сюда попала?.. Но я боялся кого-то, находящегося здесь, за колоннами, бывшего на том месте, где, как я видел сквозь туман, продолжал неподвижно сидеть сгорбленный старик в чалме.

Мы говорили фразы, какие, я теперь не припомню, но среди них я вставлял вопросы:

— Вчера мы ездили по набережной, был морозный день... Неужели вы меня не узнаете?..

— Да, как приятно кататься по набережной... Где я вас видела?

— Мы встретили массу знакомых, удивительно, как все съезжаются в одно время... Помните, семь лет назад, вечер в Народном собрании? Мы с вами случайно познакомились и танцевали только одну кадриль... Какая удивительная была вчера погода, небо розовое, сильный мороз...

— Да, нас солнце балует не всегда... конечно, я вас помню, меня познакомил с вами студент, мой хороший друг... Вы знаете, я тогда простудилась и умерла через три дня... Последняя мысль была только об этом красивом бале и о вас... Мне так хотелось жить!..

— Что я могу сделать, чтобы спасти вас?.. Вы так молоды, так прекрасны!..

— Скоро будет новый бал в Народном собрании, ведь вы, конечно, приедете опять? Я была бы рада вас встретить... Я нахожусь вся под властью этого старика, он меня никогда отсюда не отпустит, только через него вы сможете меня видеть.... Я буду очень рада, если вы приедете на бал... Бросьте ваши занятия и приезжайте!..

— Конечно, я буду! Обещайте мне котильон!.. Заклинаю вас — не уходите, я вас спасу! Будьте всегда со мною! Дайте вашу руку!..

Я бросился к ней, чтобы схватить и удержать возле себя, но наткнулся на вазу с цветами и опрокинул ее... Старик поднял руку к потолку и стал умолять меня не шевелиться... Я чувствовал, как темные вихри начинают мчаться вокруг меня. Но я уже не видел никого и ничего, кроме туч пыли, и слышал затихающий гул шагов, веселых речей и бальной музыки...

В комнате было темно, душно от ароматного дыма, а

сквозь отверстие в крыше падали капли дождя, доносился отдаленный гром. Старик в ярости махал руками и шептал:

— Зачем ты прогоняешь души, какие так трудно сюда призвать? Ты им доставляешь ужасные мучения, когда они сразу должны уходить обратно с земли — на небо!

Я лежал на полу, обнимая руками подушку. Тоска мучила мое сердце. Я вспоминал, как много лет назад, будучи студентом, видел эту девушку в белом платье, танцевал с ней всего полчаса. «Я не помню ее имени и не могу вспомнить ее лица. Почему ее нет, где она теперь? Зачем она явилась сюда, в эту трущобу азиатского квартала? Почему ее образ пронесся в толпе страшных серых теней и оказался здесь, в пустой комнате, поднявшись из вазы с белыми цветами?.. Когда я ее увижу? Как ее увидеть опять?»

Я неподвижно лежал, полный тоски. Все мое тело ныло от слабости и боли, точно избитое. Я хотел просить старика, чтобы он вновь вызвал мне это странное явление.

Через некоторое время старик, окончив свои молитвы, подошел ко мне, взял за рукав и вывел на террасу, где мы с ним сидели раньше. Наступила ночь, во дворе стемнело, гроза прошла, и луна выплывала — большая, страшная, равнодушная ко всему. Я лег на ковер и сказал старику, что не уйду от него, останусь здесь с ним.

— Скажи мне, старик, кто это был? Откуда ты ее вызвал?

— Тебе, ага, это лучше известно. Я ничего не видел...

— Старик, я видел не того, кого мне нужно было вызвать!

Вызыватель духов недоверчиво поднял глаза.

— Я видел девушку, какую знал много лет назад, но я ее не звал, она пришла сюда сама... А тот, кого я звал, не пришел....

Старик молча глядел на меня своими странными светлыми глазами, и на лице его сохранялась невозмутимость.

— Я проведу здесь, старик, день, неделю, месяц, но мне нужно увидеть ее еще раз!..

— Нет, ага! — ответил «дервиш, делающий чудеса».— Тебе, ага, нельзя вызывать души джиннов. Ты захочешь их видеть еще и еще много раз! Поезжай домой и забудь обо всем!..

1909

РОГАТАЯ ЗМЕЙКА

(Рассказ капитана)

На русском пароходе, совершающем постоянные рейсы между Одессой и Порт-Саидом, на верхней палубе в креслах сидели несколько пассажиров и вели общий разговор.

Здесь были два смуглых молчаливых грека с красными галстуками, три скучающие дамы, поехавшие в Каир лечиться от неизвестных болезней, томный молодой человек в «велосипедном костюме», записывавший свои впечатления и настроения в книжку с золотым обрезом и сафьяновым переплетом, и капитан парохода — сухой, энергичный, с быстрыми, впивающимися глазами, куривший одну папиросу за другой.

Море было тихо, небольшие волны, синие, как южное небо, лениво плескались. Пароход, пеня соленую воду, бежал мимо скалистого острова Кипр, на котором виднелись полузакутанные туманом серые безлюдные горы. Теплый южный ветер ласково обвевал, а томный молодой человек уверял даже, что чувствует запах цветущих ирисов, доносящийся ветром с острова.

— Капитан, расскажите нам какое-нибудь из ваших приключений,— сказала одна дама,— с вами, моряками, ведь всегда бывает что-либо необыкновенное. Кругом вас опасная морская стихия, а среди пассажиров бывают также и разбойники...

— И очаровательные попутчицы...— заметил любезно капитан.

Три дамы, каждая приняв этот комплимент на свой счет, улыбнулись и поправили складки платьев.

— Я бы вам рассказал одну историю, но она довольно страшная, и вы, пожалуй, спать не станете,— сказал капитан.

— Какие глупости! Если только не будет этой несносной морской качки, то меня не напугают никакие ваши приключения...

— Ну хорошо,— ответил капитан,— но только потом на меня не пеняйте!.. Года два назад жена попросила меня взять ее с собой в рейс...

— Ах, вы женаты?..— разочарованно протянула одна дама.— А я думала, что вы холостяк!

— Ах, не прерывайте, пожалуйста! — сердито сказала

другая дама.— Вам-то что от того, женат ли Борис Николаевич или же он холостяк?

...Я взял с собою и свою дочку, а ей тогда было лет шесть. Мы совершили очень удачный рейс, погода была тихая, не качало, вместе мы съездили в Александрию и Каир. Пароход стоял несколько суток в Порт-Саиде, дожидаясь русских паломников — мусульман, возвращавшихся из Мекки. В Порт-Саиде они должны были пересесть на мой пароход.

В Каире мы осматривали все, что интересно и неинтересно. Влезали на пирамиды, видели ферму страусов, спускались на дно «колодца Иосифа», любовались в музее мумиями, обсыпанными нафталином, плавали под парусами по Нилу, цвета кофе со сливками, видели ботанический и зоологический сады.

В каирском зоологическом саду зверей, пожалуй, не больше, чем в петербургской зоологии, но зато живут они действительно среди чудной природы, а не среди столиков с кружками пива.

В этом прекрасном загородном саду меня особенно заинтересовал домик, где в больших стеклянных ящиках ползали африканские змеи и другие гады. Они были разных видов, маленькие и большие, толщиной в руку. Свернувшись блестящими неподвижными узлами, змеи только иногда раскрывали маленькие глазки и окидывали холодным взглядом арабов и европейцев, толпившихся кругом них.

В углу домика, в одном ящике, как будто бы никого не было. Дно засыпано сухим желтым песком Ливийской пустыни, и волнистые борозды на поверхности показывали, что змеи здесь ползали. Надпись на ящике гласила, что здесь находится «песчаная рогатая змея».

Ждать, однако, пришлось недолго. В одном месте зашевелился песок, и быстро оттуда выскользнула небольшая, как конец бича, золотисто-желтая змейка и остановилась на несколько секунд на поверхности. Цвет ее был совершенно такой же, как и желтый песок и обломки того ноздреватого камня, из какого сложены пирамиды вблизи Каира.

Два желтых рожка подымались над плоской головкой змейки.

— Очень дурная,— объяснил по-английски подошедший сторож-араб,— если укусит, через пять минут человек умрет! И нет такого лекарства, чтобы вылечиться от укуса. Очень сердитая, она сама на человека прыгает. Если с ней повстречаться, она зароется в песок. Араб не видит, наступит

на то место, где она лежит, змея ужалит в ногу, а сама скроется...— Араб постучал черным пальцем по стеклянной стенке, змейка мгновенно метнулась к пальцу, стукнулась носом в стекло, затем бросилась на середину ящика, стала трепыхаться и в несколько секунд вся зарылась в песок...

— Может быть, у нас в России климат более холодный и суровый, но зато, слава богу, таких страстей нет! — заметила одна из слушавших дам.

— Мы возвращались,— продолжал капитан,— набрав из Каира всяких «редкостей» и «древностей», пыльного хлама и мусора, который почему-то принято везти из Египта: обломки пирамиды, кусочки окаменелого леса фараонов, фальшивые статуэтки из гробниц, яйцо страуса, пористые арабские кувшины из малообожженной глины, с «фокусом»: воду наливают через отверстие внизу кувшина, перевернув его вверх дном. Благодаря каким-то трубкам внутри вода затем льется из горлышка, а через отверстие в дне не вытекает.

Всем этим хламом мы загромоздили всю свою каюту.

Паломников — хаджи, освященных лицезрением гробницы Магомета,— набралось около тысячи человек. Они разместились и на палубе, и в трюме, молились с утра и до вечера, делали омовения и залили водой и себя, и свои тюфяки, но вели они себя очень чинно, как и подобает благочестивым мусульманам.

В первый день, как мы вернулись на пароход, жена и дочь обрадовались, что наконец можно отдохнуть после скитаний по гостиницам и музеям, рано заснули, я же при свете электрической лампочки читал русские газеты, полученные от нашего пароходного агента в Порт-Саиде.

Коек в каюте было три. Две — одна над другой, а третья напротив, вдоль стенки; на ней спала дочь. Я лежал на верхней койке, внизу спала жена.

В каюте было тихо. Слышалось только дыхание спящих.

Вдруг послышался шорох. Я повернулся, чтобы узнать, что это,— шорох прекратился, затем опять начался. Мне показалось, что он доносится из египетского кувшина, повешенного за ручку на крючок над койкой, где спала дочь.

«Вероятно, жук или ящерица залезла в кувшин»,— подумал я и хотел было соскочить с койки, чтобы снять кувшин, как вдруг увидел, что из его узкого горлышка стал свешиваться какой-то шнурок или лента.

«Неужели змея?» — мелькнула мысль, от какой я сразу покрылся холодным потом и зашевелилась на голове кожа.

«Что делать? Чем ее схватить? Как ее загнать обратно в кувшин?» — забегали эти мысли, и я не мог найти сразу выхода, чувствовал, что теряю волю и сознание... А золотисто-желтая лента, извиваясь, вытягивалась из кувшина, ворочая плоской головкой с двумя рожками, точно выбирая место, куда ей удобнее скользнуть...

Дочка, ребенок в белой рубашечке, покрытый белым пикейным одеялом, тихо спала и не шевелилась.

«Эта рогатая змейка погубит моего ребенка, если я спрыгну и брошусь к ней! Ребенок проснется, упавшая в складки одеяла змея ужалит девочку, если она дотронется до змеи. Нужно не шевелиться. Нужно, чтобы дочь не пошевелилась. Тогда змея соскользнет на пол, и ее можно будет убить палкой...»

Рогатая змейка извивалась еще несколько секунд, затем мелькнула золотистой спинкой в воздухе, причудливым завитком секунду лежала на белом одеяле, показав кольчатое, в крапинках брюшко, и, подняв хищную плоскую головку с рожками, блестевшими, как зубцы маленькой короны, повертела ею во все стороны.

Мой ребенок был во власти этой золотистой змейки, которой я готов был принести в жертву все, что мог, даже самого себя,— только бы она не залезла в складки постели, а соскользнула бы на пол.

В этот момент девочка спокойно повернулась на другой бок и невольно сбросила змею на пол, шлепнувшуюся как-то мягко, точно кусок теста.

Я готов был кричать, плакать, хохотать от счастья, от того, что самый ужасный момент миновал. Я спустился вниз и, взяв дочь на руки, положил ее на свое место. Затем разбудил жену и потребовал, чтобы она тоже поднялась на верхнюю койку.

— Что с тобой? Ты болен? На тебе лица нет! — встревоженно спросила жена.

— Потом все тебе расскажу. Мне нужно перерыть постели, осмотреть пол. Мне кажется, что там есть нечто ужасное...

— Да в чем дело? Говори прямо!..

Но я не решался сказать правду, боялся шума, крика напуганной женщины, какой мог бы всполошить многочисленных пассажиров парохода.

— Я тебе приказываю... я тебя умоляю подняться наверх!

— Если ты боишься спуститься на пол, то я сама осмотрю, что такое под койками...— ответила жена, вставая.

В эту минуту мой взгляд уловил на полу, в щели двери, немного притворенной, бывшей на цепочке, мелькнувшую золотистую тень. Змея уползла из каюты на палубу...

У меня хватило силы соскочить и запереть дверь. После этого я упал на койку и, кажется, плакал как дитя.

Для меня настали ужасные дни. Я объявил матросам, что потерял очень дорогое кольцо. Я приказал убрать из кают и из ресторана все ковры. Я не мог спать, запирал жену и дочь на ночь в нашей каюте на ключ, а сам бродил по пароходу, заглядывая во все щели.

Жена меня, вероятно, посчитала уже помешанным, и я опасался, чтобы того же не подумали мои подчиненные из судового экипажа. Но я не решался никому высказать ужасную тайну. Тысяча паломников-фанатиков подняла бы бунт на корабле, узнав, что по пароходу ползает ядовитая змея и сам капитан доставил ее на судно!

Я надеялся на счастье, на случай. Когда приходил с рапортом дежурный помощник или матрос, я старался по их глазам узнать, не случилось ли с кем-нибудь несчастья...

Через день утром ко мне пришел старший помощник и сообщил:

— Сегодня на юге (корме) была странная история. Из-под бухты (свертка) канатов, что там свалены, выбежали крысы, с десяток, они вылетели стремглав и понеслись по палубе, затем скрылись кто куда успел. Но одна крыса, пробежав несколько футов, тут же упала и околела в судорогах. Вахтенный матрос выбросил ее в море...

— Напрасно! — ответил я.— Поставьте возле канатов матроса, прикажите, чтобы никого не подпускал к канатам, сам стоял и глядел в оба: не появится ли что-нибудь оттуда? Пусть тогда тотчас зовет меня. Поспешите как можно скорее!

— Слушаюсь! — сказал удивленный помощник, уходя.

Я пошел на ют. Возле канатов бегала моя дочь, играя с маленькой собачкой фокстерьером, принадлежавшей одному из пассажиров.

— Иди сюда! — крикнул я дочери.

— А ты меня поймай! — ответила девочка и вскочила на канаты.

Фокстерьер вспрыгнул за ней. Вдруг он бросился в сторону, пригнулся, шерсть его встопорщилась дыбом. Он стал

неистово визжать, вертеть и трясти головой, а из его пасти свисал и мотался длинный золотисто-желтый хвостик.

Вероятно, пассажиры, находившиеся невдалеке, сочли меня вовсе сумасшедшим, потому что я как бешеный подбежал к собаке и, схватив ее за лапы, бросил через борт в море.

Несколько секунд собака, мотая головой, держалась на прозрачных голубых волнах, затем я увидел, как в судорогах стало извиваться ее маленькое тельце, белое с черными пятнами, и морская пена скрыла маленького спасителя моей дочери...

Конечно, я заплатил владельцу фокстерьера, греку из Смирны, ту сумму, какую он с меня запросил...

— Бедная собачка! — сказала одна из слушавших дам.— Вы безжалостны, господин капитан! Зачем же нужно было ее выбрасывать в море?

— А если бы змея вырвалась из пасти собаки и уползла в трюм,— ответил капитан,— или в каюту?

— Это вовсе не такая уж страшная история,— заметила другая дама.— Я ждала, что будет какое-нибудь убийство, схватка с морскими пиратами!..

— Вы хотите более страшного конца? — сказал капитан.— Тогда я вам договорю то, чего недосказал. Я прочел в описании жизни животных, что рогатая змея живет всегда парами. И я не уверен, что виденная мною змея не была второй, а первая не уползла в трюм парохода раньше.

По крайней мере, меня наводит на странные мысли то, что с тех пор исчезли с парохода все крысы, точно их кто-то изгнал из трюмов и палуб... А через несколько дней умер один паломник очень загадочной и скоропостижной смертью, похожей на отравление после укуса... Затем...

— Скажите, господин капитан! Это все произошло на этом самом пароходе? На каком мы плывем?..— встревоженно спросили побледневшие дамы.

— Успокойтесь... Это было на другом пароходе. Он теперь переделан, приспособлен для перевозки нефти... До свидания, я должен идти на мостик к рулевому. Здесь нашему кораблю нужно менять курс...

1907

ТРИ СЧАСТЛИВЕЙШИХ ДНЯ БУХАРЫ

(Сказка)

Некоторые старые туркестанцы, быть может, помнят о Сала-Эддине, который появился в Бухаре, как вспышка яркого света, как непонятная, неожиданная встряска всей бухарской жизни.

Это был сын (один из многочисленных) предпоследнего эмира Мухаммеда Али Бахадур-хана, и то, что он наделал в Бухаре, вызвало такой переполох и такое волнение во всех религиозных организациях и братствах знатнейших «святых» имамов, муштехидов, улемов и так далее, что они потом в течение многих лет с ужасом шепотом говорили о Сала-Эддине, как о неожиданном появлении Иблиса или джинна.

Однажды, проезжая по городу, эмир заметил около мануфактурной лавки девушку, покупавшую цветной платок. У эмира бывали внезапные капризы и причуды. Ему понравилась эта девушка, ее голубые глаза, печальные и ласковые, ее тонкий юный стан, и он приказал сопровождавшему его куш-беги узнать, кто она.

На другой день куш-беги уже доложил, что девушку зовут Асафат-Гуль, что ее отец торговец старинными книгами, что Асафат-Гуль ему помогает в переписке книг и делает это замечательно искусно. Отец, Ахмед-Китабчи, знаток восточной мудрости, много путешествовал, жил в Каире, Стамбуле, Багдаде. Всюду он разыскивал старинные книги и собрал большую библиотеку. Родом он узбек, а жена его — татарка из Казани, и от нее у Асафат-Гуль белое тело и голубые глаза.

Причуды эмира здесь проявились в том, что он призвал к себе Ахмеда-Китабчи, долго говорил с ним о его путешествиях, отобрал много книг для своей знаменитой, редкой по богатству, библиотеки и щедро ему заплатил, а в конце концов заявил, что берет его молоденькую дочь себе в жены: «Среди моих жен еще не было ни одной ученой».

Свадьба была очень скромной, потому что Ахмед-Китабчи сам просил об этом. Эмир отвел для Асафат-Гуль небольшой домик с садом и виноградником. Он часто к ней приезжал, слушал, как она ему читала отрывки из древних узбекских поэтов, и беседовал с ней на разные политические темы. Асафат-Гуль, как полутатарка, имела свободные и независимые мнения и рассказывала эмиру, как живут азербайджанские и татарские девушки, как они учатся в гимна-

зиях и на высших курсах, что от этого никакого разврата нет: они с увлечением изучают науки, особенно медицину, делаются фельдшерицами и врачами и оказывают замечательную помощь мусульманским женщинам, запертым в ичкари, которые не любят и боятся докторов-мужчин.

С тихой, умной Асафат-Гуль эмир прожил в очень дружеских отношениях несколько лет и с любовью ласкал Сала-Эддина, мальчика, которого она ему подарила. Этот период дружбы с Асафат-Гуль имел очень хорошее влияние на эмира, обычно раздражительного, легко впадавшего в бешенство, когда он десятками казнил или бросал в страшные подземные ямы — зенданы — всех, вызвавших его немилость.

Родственники несчастных обращались к Асафат-Гуль, и она умела спокойно и ласково разгладить морщины на лбу эмира, умоляя его прощать виновных и освобождать из заключения невинно пострадавших.

Этот период морального влияния Асафат-Гуль на свирепого владыку считается одним из самых светлых в истории Бухары.

Когда мальчику было семь лет, Асафат-Гуль получила разрешение эмира пригласить учителя-татарина для преподавания ему русского языка и письма и старого улема, который должен был просветить ученика в арабской богословской мудрости.

В это время эмир стал ездить в Крым, на свою великолепную дачу. Один раз он с собой увез и Асафат-Гуль, но вскоре отправил ее обратно, стесняясь при ней устраивать разгульные пиры со своими приближенными.

Когда Сала-Эддину исполнилось семнадцать лет, эмир разрешил ему, по просьбе Асафат-Гуль, вместе с учителем-татарином уехать в Константинополь, чтобы там поработать в библиотеках Стамбула. Говорят, что сын из Константинополя отправился в Египет, в Каир, оттуда в Париж. Учитель-татарин так осторожно и замкнуто жил со своим воспитанником за границей, что эмир ничего не подозревал о том, где и как они проводили свое время.

Только через два года эмир узнал от бухарских купцов, что Сала-Эддина в Константинополе нет и он бродит по Европе. Это рассердило его, но он все же послал своего старого векиля с письмом, в котором только говорил: «Пора вернуться на родину».

Сала-Эддин сейчас же приехал в Крым, на дачу к отцу. Эмир был восхищен стройной фигурой сына, его скромностью, умением носить европейский костюм, умением гово-

рить по-турецки, арабски, французски и в благодарность подарил ему золотой перстень с бриллиантом, а учителю — с жемчужиной.

Сала-Эддин провел больше месяца у отца — все время в беседах. Он доказывал, что в Бухаре надо ввести новые порядки, что нельзя управлять народом только террором и казнями, что нужно дать подданным надежду на новую жизнь. Он умолял отца выпустить на волю всех сидящих в зенданах и тюрьмах, простить осужденных на смерть, изгнав их из пределов Бухары.

— Никогда до сих пор ни один эмир не разбрасывал щедро милости, никогда он не давал прощения тысячам страдающих. Попробуй свою строгость заменить такой лаской, чтобы все население тебя благословляло... И имя твое будет прославляться и сейчас, и в веках.

Эмир хмурился, но с удивлением слушал сына.

— Ты знаешь сказку Шехерезады «Тысяча и одна ночь»? Там говорится, как халиф поручил одному крестьянину заменить его на несколько дней и сколько добра за это время сделал крестьянин.

На эмира напала одна из его причуд:

— Хорошо. Я тебе поручаю меня заменять в Бухаре в течение трех дней и даю тебе всю власть казнить, прощать, выпускать из тюрем и сажать в зенданы.

Придворные каллиграфы написали высочайший указ, который давал Сала-Эддину всю власть в Бухаре: «Как будто мы сами приказывали».

Первый день пребывания в Бухаре Сала-Эддин провел у своей матери в беседах и рассказах о том, что видел в Европе и у эмира.

На другой день он, уже в бухарском халате, с ханской саблей на боку и в тюрбане, появился в главном тронном зале эмира и призвал к себе всех старейших и ближайших сотрудников отца.

Сала-Эддин передал приказ куш-беги, тот его передал кадию-колону, который трижды прочел высочайший указ, и все высшее духовенство и сановники с изумлением слушали о необычайной власти, которую получил молодой сын эмира. Все остальные сыновья эмира были в страшном негодовании.

Сала-Эддин держался очень строго и твердо. Он заявил, что властью, полученной от отца, он будет давать распоряжения, и горе тому, кто их не исполнит. Затем он всех отпустил, приказав остаться только куш-беги и начальнику

бухарских войск. Он объявил, что начальником армии временно назначает своего татарского учителя, приказав ему выбрать из сарбазов самых надежных 50 человек и поставить их стражей во дворце. Во дворе они разбили лагерь, развели костры, стали в котлах варить рис и сидели тесным кругом, распевая свои полудикие песни.

Утром дворец был полон знатнейшими жителями Бухары. Все хотели выразить свое почтение новому заместителю его величества эмира.

Эмир Абдулла Мухаммед Али Бахадур-хан обыкновенно принимал своих подданных сидя на золоченом троне. Правую руку он держал на подушечке, прикрепленной к ручке кресла, и каждый подходивший получал милостивое разрешение поцеловать руку, украшенную драгоценными перстнями.

Сала-Эддин принимал стоя, поставив одну ногу на нижнюю ступеньку трона. Он обратился к пришедшим с такими словами:

— Али-Хазрет Сейид эмир[1] находится сейчас в Крыму, в своем дворце-даче. Он очень болен, настолько, что русский император прислал экстренным поездом своих врачей, сестер милосердия и аптекарей.

— А чем болен наш обожаемый повелитель, свет мира?

— У него воспаление легких, осложненное плохим состоянием сердца.

— Да сохранит его аллах! — раздались восклицания.

— В минуту опасной болезни его величество послал меня сюда, в Бухару, щедро разбросать горсти благодеяний и ласки на всех страдающих, бедствующих и угнетенных, чтобы молились о его здоровье во всех мечетях священного города. Я получил высшее разрешение его величества действовать по своему усмотрению: «Как будто мы сами приказывали», и в этом мне выдан указ за собственноручной подписью его величества, с приложением золотой печати.

Все стояли раскрыв рты и с удивлением посматривали друг на друга, ожидая, что будет дальше.

Сала-Эддин продолжал:

— Теперь слушайте меня, почтенные люди Бухары. Я хочу дать народу три дня радости, полной, беспредельной солнечной радости, и волей, мне данной, приказываю:

1. Открыть все тюрьмы «об-хона» в Бухаре и выпустить

[1] Али-Хазрет Сейид эмир — его величество высокородный эмир.

арестованных на свободу. Пусть судьи, во главе с кадием-колоном, не ужасаются и не ворчат.

2. Повелеваю: призвать сто рабочих с веревками. Пусть они спустятся во все зенданы и оттуда вытащат гниющих там заключенных. Эти же рабочие пусть вымоют несчастных, а смотритель дворца каждому выдаст шаровары, халат, кавуши и чалму. Все освобожденные в течение трех дней могут уходить куда хотят, даже за пределы Бухары.

3. Разрешаю всем желающим свободно читать газеты, русские и другие, и отныне это чтение не будет считаться государственным преступлением.

4. Я высоко ценю преподавание по книгам ислама и уважаю всех муштехидов, улемов, всех, кто преподает священное слово, и щедро награжу всех тех, кто достойно держит закон веры. Но нельзя бухарскому народу оставаться на той ступени знания, на которой шло преподавание пятьдесят и сто лет назад. Нам необходимо в Бухаре открыть университет, где бы в первую очередь преподавали медицину. Разве не в Бухаре впервые зазвучал голос Абу Али Ибн-Сины, ставшего мировым светочем науки и гордостью бухарского народа?

Университет открыть завтра же и для этого составить комиссию под председательством моего наставника Газиза Губайдуллина, с правом приглашения профессоров.

5. Всем сарбазам, которым задержано жалованье, уплатить за три месяца вперед, взяв необходимые средства из специальной сокровищницы его величества.

Мои приказания окончательны и отмене не подлежат. Можете идти!

В этот вечер Сала-Эддин был у своей матери. Она внимательно его выслушала, и по ее прекрасному лицу потекли слезы.

— Мой дорогой сын! Все, что ты приказал,— чудесно. Три дня бухарский народ будет счастливейшим из всех народов. Не думаешь ли ты, что можно изменить те суровые, страшные обычаи, которые установились в Бухаре в течение столетий? Все эти муштехиды, имамы, улемы, муллы, дервиши не допустят никаких новшеств, и страшные наказания и смертные казни снова воцарятся, потому что его величество, твой отец, не верит своему народу и думает, что его можно держать в руках только ужасом. Это самая неправильная политика.

Сала-Эддин засмеялся:

— Я все это прекрасно знал, но я хотел дать Бухаре три

дня чудесной сказки, незабываемой сказки за все время существования моей родины.

Сала-Эддин задумался, опустился на ковер у ног матери и долго оставался неподвижным.

— Ты права, моя драгоценная. Мы с тобой исполнили свой долг, но если через три дня мы не уедем из Бухары, то нам грозит гибель, как многим, пострадавшим за то, что они хотели дать бухарскому народу свет знания.

В это время вошел слуга и сказал, что молодому принцу принесли подарки. Просят разрешения передать лично.

— Пусть войдут!

Вошел почтенный, благообразный гулям и за ним несколько слуг. Они расставили на ковре корзинки со всевозможными фруктами, два глиняных кувшина с вином и большое пестрое блюдо с различным печеньем и сладостями.

— Твои почитатели,— сказал гулям,— просят тебя принять эти скромные дары для счастья твоего и твоей высокочтимой матери.

Гулям и слуги поцеловали край одежды Сала-Эддина. Он наградил каждого золотым тилля, и все ушли.

Но через минуту гулям вернулся и стал на колени.

— Выслушай меня,— сказал он.— Я прожил много лет и научился ненавидеть людей. Я стал доносчиком и джасусом и причинил людям много зла. Но, увидев тебя, я понял, что на свете бывают также прекрасные, чистые праведники, и я решил сделать хоть одно доброе дело — предупредить тебя о большой опасности.

Не прикасайся к этим подаркам... Все они отравлены самым страшным ядом индийской змеи. Прикажи бросить все это в глубокую яму и забросать кирпичами и землей. Подарки посланы твоими братьями, которые боятся, что ты хочешь захватить власть в Бухаре. Не выдавай меня!

Сала-Эддин бросился к гуляму и обнял его:

— Ты мне брат! Ты мне отец!

Гулям тихо вышел.

Сала-Эддин договорился с матерью, что она немедленно уедет в Самарканд, под защиту русской власти. У нее сохранилось достаточно драгоценностей, подаренных эмиром. На эти средства она решила нанять маленький дом с садом и в нем ожидать результатов «сказки», задуманной ее сыном.

Вся Бухара собралась на другой день около дворца эмира. Все думали, что это безумная шутка, что великий кадий и установленные традиции в жизни Бухары сильнее

тех необычайных приказов, которые объявил Сала-Эддин.

Однако сказка становилась былью: отворились двери тюрем, и оттуда выходили, испуганно озираясь, заключенные. Они не верили, что кончились их многолетние страдания в тесных, переполненных камерах. Убедившись, что им действительно возвращена свобода, они быстро стали расходиться во все стороны, все ускоряя шаг, и наконец побежали.

Самое страшное зрелище потрясло толпу, когда из зенданов, из грязных дыр, прокопанных в земле, рабочие стали вытаскивать заключенных. Это были едва живые мертвецы: худые как скелеты, выпачканные своими экскрементами, в которых им приходилось лежать в течение долгого времени, обросшие волосами, как дикобразы, они плакали от радости, звали друг друга. Многие из них ослепли в темноте и теперь, ползая на четвереньках, стукались головами. У большинства пробывших в тюрьмах и зенданах много лет уже не сохранилось родных. А может быть, они боялись назвать их имена, чтобы не навлечь на них какие-либо наказания.

Сала-Эддин проехал через площадь верхом и остановился, рассматривая вытащенных заключенных.

— Остался ли еще кто-нибудь в зенданах? — спросил он.

— Только трупы,— ответили рабочие.

— Много их?

— Очень много.

— Приказываю поднять на поверхность все тела, отвезти за город и там похоронить в одной братской могиле.

Сала-Эддин ждал, пока рабочие не вымыли заключенных, вылив на них много ведер воды. Затем каждый был облачен в халат, шаровары и, вдев ноги в кавуши, обмотал голову тюрбаном.

Задумчивый ехал он обратно, не отвечая на приветствия толпы. Тяжелые, тревожные мысли его угнетали. Он направился к матери и убедился, что она уже уехала в Самарканд; потом подождал возвращения своего учителя Газиза Губайдуллина, и они долго беседовали, обдумывая дальнейший план действий.

На другой день было совещание нескольких выдающихся ученых Бухары по поводу открытия университета имени Абу Али Инб-Сины. Большинство говорило уклончиво, что еще преждевременно открывать университет, что проще посылать молодежь учиться в Россию.

На четвертый день этих необычайных событий все в Бу-

харе ожидали, что еще придумает молодой заместитель эмира.

Сала-Эддин во дворце больше не появлялся. В этот день он ехал вместе с матерью Асафат-Гуль в поезде на запад, в сторону Красноводска. Они прибыли в Баку, оттуда в Самсун, на маленьком пароходике переплыли Черное море и оказались в Стамбуле. Там Сала-Эддин прожил много лет, работая над сочинением «История последних независимых эмиров Средней Азии».

В Бухаре в народе сохранилось такое мнение: «Если солнце освещало лучами бедный бухарский народ, то это продолжалось только три дня, когда Сала-Эддин был заместителем его величества эмира бухарского». А некоторые неверующие говорят: «Никогда никакого Сала-Эддина не было. Никогда и никто не выпускался из зенданов и тюрем,— кто туда попадал, тот обрекался на смерть... Сала-Эддин только символ неизбежной революции, чаяний и надежд народа». Такова сказка о Сала-Эддине.

Верно, что никогда не было Сала-Эддина, не было ни одной светлой страницы в мрачной, необычайно свирепой и глупой политике истребителей своего народа — бухарских эмиров. Но светлый день все-таки настал, и впервые из зенданов и тюрем вышли искалеченные заключенные, когда, во время революции 1918 года, в Бухару прибыл поезд с отрядом войск ташкентского Совдепа и раскрыл двери тюрем. Внезапное прибытие красноармейцев спасло жизнь многим, в том числе молодому учителю, осужденному на смертную казнь за чтение русских газет...

Этот счастливец — теперь почетный член Академии наук Таджикистана, крупнейший таджикский писатель Садриддин Айни...

1944

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ



ГОЛУБЫЕ ДАЛИ АЗИИ

I. «К ДАЛЕКИМ ГОРИЗОНТАМ»

1. ВПЕРЕДИ — НЕОБЫЧАЙНОЕ!

Еще в 1900 году, будучи в Лондоне, я получил письмо от старшего брата Дмитрия[1] из Китая.

Брат писал, что генерал Суботич[2], у кого он одно время служил, после окончания маньчжурского похода назначен начальником Закаспийской области[3], ищет энергичных сотрудников, и советовал этим случаем воспользоваться: ехать в Азию, указывая, что «будущее России в Азии».

Я решил принять совет брата.

Это решение вызвало далеко идущие последствия, наложившие отпечаток на всю мою жизнь и творчество. Так я из «пешехода» превратился во «всадника»...

Однако отъезд в Среднюю Азию осуществился лишь спустя полтора года после возвращения из Англии. Суботич задержался на Дальнем Востоке, а затем уехал в продолжительный отпуск за границу.

Вернувшись в Россию, я продолжил «скитания» по ней и подготовил к изданию свою первую книжку[4].

Наконец, узнав из газет, что Суботич перед отъездом в Асхабад[5], к новому месту службы, находится в Петербурге,

---

[1] Д. Г. Янчевецкий (1872—1942) — востоковед, журналист, в ту пору работавший в русских газетах Хабаровска и Порт-Артура.

[2] Деан Йованович Суботич (1852—1920), родом серб, русский генерал, окончил Академию Генерального штаба, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., служил на Кавказе, затем на Дальнем Востоке, где был начальником Приамурской области и Квантунского полуострова; командовал южноманьчжурским отрядом русских войск в походе из Порт-Артура на Мукден в 1899 г.

[3] Закаспийская область (где ныне Туркменская ССР) входила в образованный в 1886 г. Туркестанский край, там еще были Сырдарьинская, Семиреченская, Ферганская, Самаркандская области, Хивинское ханство и бухарский эмират; в Ташкенте находился генерал-губернатор Туркестанского края.

[4] Янчевецкий В. Записки пешехода. Ревель (Таллин), 1901.

[5] Асхабад — прежнее название города Ашхабада, столицы Туркменской ССР; основан на месте туркменского поселения в 1881 г. как военное укрепление и центр Закаспийской области.

осенью 1901 года я приехал туда из Ревеля, где жил у своих родителей, но генерала уже не застал.

Меня приветливо приняла генеральша, носившая величественное имя Олимпия Ивановна[1] и обладавшая не менее величественной внешностью. Генеральша сказала, что «они с мужем оба любят Дмитрия Янчевецкого, проделавшего вместе с генералом трудный поход через Маньчжурию, и с удовольствием будут иметь своим сотрудником его брата».

После этого разговора состоялся обмен телеграммами с Суботичем, и тот подтвердил свое согласие на мой приезд в Асхабад.

Еще несколько недель я пробыл в Ревеле, пока наконец получил официальное извещение о своем назначении и «прогонные» на путь следования к месту службы.

На эти деньги я заказал себе форму чиновника канцелярии начальника области и для большей парадности купил в антикварном магазине великолепную шпагу в лакированных ножнах, как мне казалось, украшавшую некоего придворного кавалера эпохи Елизаветы Петровны и побывавшую не на одной дуэли.

На этот раз мои родители были довольны: это все-таки была «служба», а не «бродяжничество», хотя по тем временам где-то «очень далеко» и опасная, в стране «песков и отрубленных голов», как назвал Среднюю Азию один путешественник в своей весьма популярной тогда книге[2].

Вскоре, полный радужных надежд, с легким багажом, фотографическим аппаратом и ящиком масляных красок, я выехал в Азию скорым поездом Петербург — Баку.

Подъезжая к Кавказским горам, я, конечно, воображал себя Печориным, ждал необычайных переживаний и приключений и ощутил первые волнующие минуты, увидев далекие синие ущелья и горцев в черкесках и бурках.

Из Петербурга я выехал в конце декабря 1901 года, в лютый мороз,— в тот год была очень суровая, снежная зима, а в Баку было удивительно тепло. Сияло яркое солнце, сильный ветер выплескивал высокие, пенистые волны на

---

[1] О. И. Суботич — дочь одного из героев обороны Севастополя в войну 1853—1854 гг., защитника 4-го бастиона, инженер-капитана Бережникова; в Закаспии она много сделала для улучшения здоровья и просвещения туркменского населения, шефствуя над организацией больниц, приютов, школ, библиотек и т. п. в области.

[2] Гартевельд В. Н. Среди сыпучих песков и отрубленных голов. Путевые очерки Туркестана. М., 1914.

песчаный берег, у которого в ожидании пассажиров дымил пароход.

Пароходная линия Баку — Красноводск была очень оживленным путем, и по нему в обоих направлениях двигались суда «Восточного пароходства», «Общества «Кавказ и Меркурий» и других судовладельцев, занятых перевалкой грузов и перевозкой пассажиров, следующих из Средней Азии на Кавказ, в Россию, и обратно.

Не задерживаясь в Баку, я пересек Каспийское море и на другой день, ранним утром, впервые увидел приближающиеся берега Средней Азии.

Меня поразили необычайно нежные тона песчаных отмелей, пологих гор и моря — светло-розовые и бирюзовые. Близ скалистого берега плыли узкие, длинные, черные рыбачьи лодки, под ромбическими парусами, вовсе не похожие на рыбачьи суда, какие привык я видеть на Балтийском море и у берегов Англии.

Пароход причалил в Красноводске[1], бывшем тогда совсем небольшим поселением с немногими крохотными домами, в которых жили русские военные и чиновники, а также торговцы — персы и армяне.

У лавок стояли, держа в поводу коней, рослые кочевые туркмены в красных полосатых халатах и очень высоких мохнатых папахах, чей бараний мех свисал на глаза. Здесь же были кочевые киргизы, приехавшие за товарами в город на верблюдах с полуострова Мангышлак.

Поезд узкоколейной железной дороги (его вагоны были выкрашены в белый цвет, чтобы отражать солнечные лучи и не перекаляться) медленно повез меня к Асхабаду, мимо очень невысоких гор, называвшихся Большие Балханы.

Стоя на площадке вагона, я то смотрел на лиловые тени гор, то не мог оторвать взгляда от разворачивавшейся с другой стороны поезда бескрайней панорамы желтых барханов пустыни Каракум.

Железная дорога была проложена до Ташкента, хотя переправлялись через Амударью у Чарджуя (Чарджоу) долгое время по деревянному временному мосту, поставленному на деревянных быках[2].

---

[1] Красноводск был основан в 1869 г. кавказскими войсками генерала Столетова как военное укрепление, на месте которого возник город, откуда в 1880 г. началось строительство Закаспийской ж. д.

[2] Этот мост благополучно простоял 14 лет, пока в 1901 г. не был заменен величайшим тогда в России железным мостом, как говорили про него, «в полторы версты длиною».

2. ПАНСИОН МАДАМ ГИТАР

Встретивший меня на вокзале по приезде в Асхабад жизнерадостный человек в черкеске предложил остановиться в «самой лучшей гостинице города» на выбор — «Лондонской», «Центральной», «Петербургской», «Московской», «Пушкинской»... Когда я спросил, нет ли гостиницы поскромнее, он ответил: «О! Конечно! Тогда я вас провожу в «Парижские номера»!..»

Экипаж отвез нас в тихую, залитую солнцем улицу, где медленно проходил караван верблюдов. Крытая веранда тянулась вдоль низкого, выбеленного известью дома, за ним виднелись верхушки тополей и карагачей.

Меня любезно встретила молодящаяся француженка — мадам Ревильон, по прозвищу «мадам Гитар», необъятных размеров, говорившая хриплым, низким голосом на ломаном русском языке. Она никогда не расставалась с папиросой, закушенной в углу рта, и смеялась протодьяконским басом.

Мадам Гитар одно время была маркитанткой в войсках Скобелева, проделала с ними поход от Красноводска до Геок-Тепе и поэтому пользовалась особым благоволением начальства.

У мадам Гитар был пансион, с завтраками и обедами, а за длинным столом в обособленной комнате состоялись и мои первые знакомства со многими русскими холостяками — жителями Асхабада, не имевшими своего домашнего очага, обменивавшимися здесь новостями.

Мадам Гитар была отличной поварихой, угощавшей блюдами, особенно ценимыми «белым генералом». Она подторговывала вином, знала в нем толк, и у нее всегда можно было получить любимый напиток Скобелева — портер, смешанный с шампанским, половина на половину, пили его стаканами.

Кроме мадам Гитар в Асхабаде жили еще три француженки.

Мадам Рено, тоже скобелевская маркитантка, держала «Французские номера». Маленькая, сухонькая, очень аккуратная, мадам Рено ненавидела мадам Гитар, свою соперницу по славе и конкурентку по коммерции. Мадам Рено разводила великолепные цветы, а постоянными покупателями были офицеры гарнизона, подносившие букеты своим командиршам и дамам сердца.

Две другие француженки, молодые Люси и Мари, дер-

жали на главной улице города «Французскую кондитерскую».

Люси, крупная пышная блондинка, была прочно абонирована начальником Управления государственных имуществ, старым штатским генералом.

Миниатюрная хохотунья Мари имела покровителем крайне ревнивого молодого армянина Аванесова, владельца магазина скобяных изделий, помещавшегося в том же доме, что и кондитерская. Иногда Аванесов внезапно входил в кондитерскую, угрожающе прочищая шомполом большой старинный револьвер, когда слышал через стенку, как Мари, по его мнению, слишком долго и свободно разговаривала с каким-нибудь юным поручиком или усатым казачьим хорунжим.

Я занял в «Парижских номерах» маленькую комнатку, имевшую две двери, одна выходила на улицу, другая вела во внутренний двор и сад при гостинице, что было очень удобным.

Однако в самом скором времени пришлось покинуть мадам Гитар. Хотя она угощала превосходной французской кухней, но одновременно предъявляла непомерные счета, бывшие мне не по средствам.

В большинстве русских семей, как военных, так и чиновничьих, вначале я был принят приветливо, стал изредка бывать в Военном собрании и Клубе велосипедистов — сугубо штатском заведении, где устраивались танцы и веселые маскарады с интригами и неожиданными знакомствами.

Но большей частью я все же держался замкнуто и настороженно, опасаясь, чтобы меня не опутали женские чары и ласковые мамаши взрослых дочерей на выданье.

Меня манили бирюзовые дали, таинственные персидские горы, мечты о скитаниях по Азии. «Семья, дети — все это еще придет,— думал я,— женитьба теперь выбьет меня из колеи намеченного плана путешествий, и я стану чиновником, сидящим за столом с пачками срочных бумаг или архивных дел... Нет, нет! Какими угодно путями, но я добьюсь поездки в Персию, загадочный Афганистан, сказочную Индию!..»

3. ГОРОДОК-КРЕПОСТЬ

Ко времени моего прибытия в Среднюю Азию город Асхабад, расположенный невдалеке от персидской границы, еще продолжал считаться «военным укреплением» и имел военную администрацию, хотя прошло двадцать лет с той

поры, когда здесь продвигались войска генерала Скобелева.

Это был маленький чистенький городок, состоявший из множества глиняных домиков, окруженных фруктовыми садами, с прямыми улицами, распланированными рукою военного инженера, обсаженными стройными тополями, каштанами и белой акацией.

Тротуаров, в современном понятии, не было, а вдоль улиц, отделяя проезжую часть от пешеходных дорожек, журчали арыки, прозрачная вода стекала в них с гор, находившихся неподалеку и, казалось, нависавших над городом.

По другую сторону городка простиралась беспредельная пустыня.

Городок был одноэтажный. После нескольких землетрясений было запрещено строить иные здания, кроме одноэтажных самого легкого типа, и единственным двухэтажным зданием был городской музей.

Городок просыпался и засыпал по сигналам, доносившимся из крепости. На рассвете и на закате солнца в тихом воздухе слышались звуки трубы, игравшей зорю, и протяжные голоса солдат, певших утреннюю и вечернюю молитвы.

Население городка было невелико[1]. Русская его часть главным образом состояла из военнослужащих и чиновников с их семьями. Обыкновенно каждая русская семья покупала или же, чаще, строила себе одноэтажный домик, окруженный небольшим садом.

Всякий желавший надолго обосноваться в Асхабаде просил о предоставлении ему земельного участка, выдававшегося из числа нарезаемых в направлении селения Кеши, и обычно получал также ссуду на постройку. Я тоже подавал прошение об отводе участка, но обстоятельства в дальнейшем сложились так, что обзавестись своим домиком не пришлось.

Кроме русских в городе проживали армяне и кавказские татары, азербайджанцы, державшиеся обособленно. Совсем замкнуто жили персидские семьи. Иногда по улицам проходили персиянки в просторных черных балахонах, с закрытыми белым покрывалом лицами и в широчайших черных шароварах.

Туркмены обитали вне города в своих кочевьях. Немногочисленные группы их войлочных кибиток иногда появля-

---

[1] Тогда в Асхабаде проживало 36 486 чел., из них — русских 10 700, персов 11 200, армян, кавказских татар и прочих национальностей 14 586 чел. (газета «Асхабад», 1903 г., № 98).

лись вблизи окраины. Значительной частью русского общества туркменский народ в то время еще считался кочевым, диким народом, и он находился под двойным гнетом: своих феодалов — ханов и царских наместников.

Первые осуществляли управление бедными слоями туркменского народа, преимущественно чабанами (пастухами), на основе многовековых родовых отношений, исстари сложившихся в многочисленных отдельных родах и племенах. Вторые держали в руках всю законодательную и административную власть.

Для русского чиновного населения Асхабада жизнь не была тяжелой. Все получали полуторное жалованье, так как считалось, что они живут и служат в военном поселении на границе, а расходовать деньги было некуда, да и жизнь была дешевой.

В городе было несколько усиленно посещавшихся частью «общества» пивных и садов-ресторанов, с их пьяными драками, тайных и явных публичных домов и притонов — курилен териака (опиума); случались грабежи купеческих лавок, насилия и убийства по ночам.

Для развлечения этой части «общества», ищущей, как убить время, чтобы спастись от провинциальной скуки, устраивались представления передвижного цирка с девицами — укротительницами тигров, «Парад фаэтонов и дилижансов», осмотры столичного музея восковых фигур, слушание «говорящих людей-автоматов» и тому подобные зрелища.

С мая по сентябрь, спасаясь от убийственной жары, все это «общество» уезжало на лето в Фирюзинское ущелье (в Копетдагских горах), где было попрохладнее. Туда же на это время переезжала и канцелярия начальника области.

В оставшиеся периоды года — развлекались, посещая музыкально-танцевальные вечера в Клубе велосипедистов, костюмированные балы в Военном собрании, благотворительные вечера в Народном доме, скачки на ипподроме Скакового общества и сеансы недавно появившегося синематографа Люмьера.

Любимым развлечением асхабадцев по вечерам, когда спадала жара, была прогулка за город по Гауданскому шоссе, ведущему в Персию. Наемные фаэтоны, запряженные парами бешеных коней, блестя никелированными спицами колес, на резиновых дутых шинах (высший шик!), с кучерами-азербайджанцами, сидевшими на козлах в белых парусиновых кафтанах, обгоняя друг друга, везли разряженных жен офицеров и чиновников.

Наиболее эффектные дамы мчались в собственных экипажах. Среди них выделялись юные красавицы — княгиня Дударева, жена генерала, командира артиллерийской бригады, и Успенская, жена директора банка, прекрасная пианистка.

Рядом или отдельными кавалькадами гарцевали верхом молодые офицеры и чиновники в белых кителях и фуражках, также стремясь обскакать друг друга.

4. «СТАРЫЕ ЗАКАСПИЙЦЫ»

Но было в городе и другое русское общество, с иными интересами, тоже из военных или чиновников, основавшее Закаспийский кружок любителей археологии, Общество исследователей Закаспия, Общество востоковедения, городскую библиотеку и музей. Эти люди преподавали, лечили, строили, изучали Туркмению, ее язык, фольклор, литературу, искусство, архитектуру и историю древнего туркменского народа.

Ими устраивались народные чтения о путешествиях по Востоку и о прошлом Туркмении, об окрытии Х-луча Рентгена и о будущем развитии нефтяных богатств острова Челекен. Они отмечали Гоголевские и Пушкинские дни, посещали концерты и спектакли заезжих музыкантов и артистов, спорили о новых пьесах Чехова и Горького, обсуждали творчество Льва Толстого и туркменских поэтов Кемине, Молланепеса, Махтумкули. Они же участвовали в зарождавшемся революционном движении Закаспия.

Русские старожилы, обосновавшиеся в Туркмении, называли себя «старыми закаспийцами», в отличие от «старых туркестанцев», как именовали себя русские старожилы Ташкента, Самарканда и других городов восточной части русской Средней Азии.

Первыми русскими поселенцами в Туркмении были отставные военные и чиновники с их семьями. Затем появились люди торговой и промышленной профессий, исследователи края — представители естественных, географических и исторических наук, инженеры, врачи, учителя.

С окончанием строительства Среднеазиатской железной дороги приехало и осело в городах Туркмении много рабочего и мастерового люда, а кое-где появились русские переселенцы-крестьяне.

Эти русские люди, непосредственно общавшиеся с туркменами, коренным населением Закаспия, явились носителя-

ми более передовой, по сравнению с тем, что здесь было, русской культуры. Они искренне полюбили Туркмению и Среднюю Азию, жили общими интересами, породнились с населявшими ее народами и проделали незаметную, но великую работу по сближению с русскими и другими народами России всех национальностей ее бывших «среднеазиатских владений».

Таких замечательных «старых закаспийцев и туркестанцев» в Средней Азии немало. Один из типичных — Александр Александрович Семенов [1], чья судьба — пример многих его современников, посвятивших свою жизнь сперва русской, а потом советской Средней Азии.

Мы познакомились с А. А. Семеновым, когда я только что прибыл в Асхабад, а он служил в канцелярии начальника области секретарем статистической части, и быстро подружились.

Будучи незадолго перед тем студентом Лазаревского института восточных языков, Семенов участвовал от Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете в экспедиции графа А. А. Бобринского в Восточную Бухару.

Из этой экспедиции Семенов вывез большой этнографический и фольклорно-лингвистический материал, обработал его и опубликовал в трех томах, где очень живо описал эту поездку, разговоры, поговорки и сказки горных таджиков. За это сочинение он получил золотую медаль Общества.

Об А. А. Семенове я рассказал генералу Суботичу; тот крайне удивился, что ничего о нем не знает, и помог его продвинуть по служебной линии.

В советское время А. А. Семенов стал членом двух среднеазиатских академий, профессором двух среднеазиатских университетов, директором двух научных среднеазиатских институтов.

Мы встретились с А. А. Семеновым вновь — через сорок лет! — в 1942—1944 годах в Ташкенте. Неузнаваемо изменилась советская Средняя Азия, изменились и мы оба. Но Александр Александрович оставался таким же кипящим

[1] А. А. Семенов (1873—1958 гг.) — выдающийся исследователь Средней Азии, советский историк, филолог, этнограф, академик АН Таджикской ССР, член-корреспондент АН Узбекской ССР, был директором Института истории, археологии, этнографии АН Таджикской ССР. Умер и похоронен в Душанбе.

энергией, полным юношеской неукротимой силой духа исследователем, влюбленным в жизнь народов Средней Азии, делу просвещения которых он отдал все свои силы замечательного русского человека, ученого и гражданина.

Тогда же в Асхабаде я подружился с другим старым закаспийцем, дипломатическим чиновником Андреем Дмитриевичем Калмыковым. Нас сблизила общая любовь к Востоку.

Калмыков, ориенталист по образованию, написал несколько интересных специальных исследований о Средней Азии. Он продолжал ее изучать и в дальнейшем, хотя судьба дипломатического чиновника и бросала его с одного места на другое.

Так, спустя десятилетие, я вновь встретился с Калмыковым в Турции, где в ту пору он был русским консулом в Бейруте.

Старожил Асхабада Алексей Михайлович Дуплицкий, чиновник, заведовавший судной частью при начальнике области, старик, сопровождал Скобелева в походах по Средней Азии. Дуплицкий имел чин действительного статского советника, и к нему, как штатскому генералу, обращались с титулом «ваше превосходительство».

Но у Дуплицкого была очень молодая жена, к тому же еврейка, да еще и невенчанная. Кроме того, ее брат был местным фотографом, а эта профессия тогда считалась недостаточно корректной. Поэтому жена Дуплицкого не была принята в асхабадском «обществе», и вместе они не могли появляться на официальных приемах, что было типично для местных нравов тех лет.

Колоритной фигурой в Асхабаде был довольно известный тогда журналист и писатель Юрий Кази-бек, публиковавший живые, бойкие, злободневные фельетоны под псевдонимом «Ивернели».

Им написано много очерков и рассказов из жизни народов Северного Кавказа и Средней Азии, напечатанных в журналах «Нива», «Природа и люди», других периодических изданиях. Кази-бек был его псевдоним, под которым он жил, скрывая настоящую фамилию.

Кази-бек всегда ходил в черкеске с газырями и большим кинжалом у пояса, носил дымчатое пенсне, скрывавшее за

стеклами его беспокойный взгляд. Много испытавший, необычайно остроумный, он неожиданно исчез из Асхабада, как говорили, потому, что им заинтересовалась полиция. Позднее, мне рассказывали, Кази-бек оказался в Персии.

Там он пришел к губернатору города Мешхеда[1] и заявил, что он русский, хочет служить на персидской службе и принять мусульманство. Персы восхитились, узнав, что наконец нашелся «русский писатель, пожелавший стать верным слугой шаха персидского». Но когда потребовалось совершить обряд обрезания и старые ишаны готовы были приступить к этой священной для мусульман процедуре, Кази-бека нигде найти не смогли.

Оказалось, что Кази-бек рассчитывал обойтись без этой процедуры по простой причине — она ему была не нужна; когда ишаны узнали, что Кази-бек — ягуди (еврей), то заявили, что он, обманув их, тем самым совершил величайшее святотатство, проникнув в запретную зону древнего, священного для мусульман города. За Кази-беком погналась толпа фанатичных персов, и дальнейшая его судьба осталась неизвестной...

Если учесть, что в ту пору среди государств Средней Азии евреи повсеместно жили в крайне униженном положении (они не смели ездить на лошади, в знак своего рабского состояния должны были опоясываться веревками), становится понятной отчаянная дерзость Кази-бека и ярость ишанов.

5. КАПИТАН ЙОМУДСКИЙ И МЕРГЕН-АГА

Интересное знакомство было у меня с большим знатоком Туркмении капитаном Н. Йомудским, рассказывавшим о своих предках, туркменских вождях и ханах, автором нескольких изданных на русском языке книг о прошлом туркменского народа. Йомудский не мог смириться с приниженным положением своей родины и мечтал о том времени, когда Туркмения расцветет, станет свободной.

У него были свои причудливые фантазии. Как-то в совместной поездке верхом Йомудский вывел меня на вершину отрога огромной скалы, возвышавшейся над песками, отку-

[1] «Священный» для мусульман город Мешхед находится в Северном Иране, недалеко от советско-иранской границы.

да открывался далекий вид в глубь пустыни, и сказал, что «из этой скалы нужно высечь фигуру наподобие египетского сфинкса, лежащую и приподымающуюся. Она будет символизировать спящую и пробуждающуюся Туркмению, глядящую на запад...».

Конечно, капитан хан Йомудский представлял себе Туркмению свободной лишь в привычных ему патриархальных общественных формах, ему не могло и присниться, чем стала его родина через два-три десятилетия.

Вскоре меня познакомили еще с одним «старым закаспийцем», подполковником Малахием Клавдиевичем Маргания, родом с Кавказа, из-под Сухуми, возможно абхазцем, влюбленным в туркменский народ; туркмены прозвали его «Мерген-Ага» (охотник-начальник).

В молодости он служил солдатом в отряде Скобелева и отличился в знаменитой битве при Кушке[1], за что получил офицерский чин и Георгиевский крест. Теперь он был полным георгиевским кавалером — его грудь украшали солдатские и офицерские Георгиевские кресты.

Маргания — Мерген-Ага — командовал одним из кавалерийских туркменских дивизионов. Он заботился о породе, красоте, подборе масти коней своих джигитов, и на парадах его дивизион отличался особой лихостью и выправкой. Все офицеры дивизиона были туркмены.

До Маргания командиром дивизиона был кавказский князь Алиханов-Аварский, тоже выслужившийся из рядовых и разжалованный в рядовые за убийство офицера на дуэли. Алиханов-Аварский был восстановлен в правах во время Восточной войны[2] за отчаянную храбрость.

В битве при Кушке Алиханов-Аварский командовал тем туркменским дивизионом, который был составлен из всадников, недавно дравшихся против Скобелева под Геок-Тепе. Как известно, после победы при Геок-Тепе Скобелев предложил всем лихим туркменским воинам перейти на службу

---

[1] Битва при Кушке — 18 марта 1885 г.; руководимый и подстрекаемый английскими офицерами отряд афганских войск вторгся в Пендинский оазис недалеко от Мерва (Мары), был наголову разбит русским отрядом генерала Комарова, бежал, бросив знамена, орудия и имущество.

[2] Восточная война — Крымская война России с коалицией западноевропейских держав и Турции, 1853—1856 годов.

России и этим положил основание созданию туркменских дивизионов.

Даже англичане, стоявшие за спиной афганцев в кушкинской авантюре, в описании битвы при Кушке отмечают необычайную смелость туркменских всадников, неудержимой лавиной атаковавших противника, превосходившего их численностью более чем в десять раз [1].

Мерген-Ага свободно говорил по-туркменски и по-персидски. При пограничных инцидентах его всегда посылали вести дипломатические переговоры с заграничными (персидскими), туркменскими ханами, выполняя директивы начальника области.

Жил он в прекрасно устроенном доме с большим садом, со многими комнатами, убранными, как тогда говорили, по-восточному, где можно было сидеть, подвернув ноги под себя, на коврах, опираясь на подушки. Угощение тоже подавалось на восточный манер — в маленьких чашечках-пиалах, на подносах, без европейских приборов. Здесь всегда можно было встретить останавливавшихся погостить туркмен, приехавших в Асхабад по своим делам.

Про Маргания говорили, что он тайно принял мусульманство.

Мерген-Ага вел очень замкнутую жизнь, почти не бывая среди русского общества, и говорил мне, что никогда не ухаживал за русскими красавицами. «Нет ничего прекраснее туркменки!..» Действительно, женщин он как будто не замечал, даже самые эффектные и пылкие красавицы Асхабада были бессильны сделать его своим поклонником.

Но у Маргания была тайная любовь, о которой мало кто знал,— богатая вдова-туркменка, жившая самостоятельно, имевшая в степи свой аул, лошадей, скот. Иногда Малахий Клавдиевич исчезал из Асхабада, обычно уезжая на охоту в горы Копетдага, и во время этих поездок тайно посещал одинокое туркменское кочевье.

Эти посещения были большой редкостью, так как вдова, видимо, отличалась свободолюбивым и беспокойным характером, постоянно кочевала по Каракумам, лишь изредка разбивая свою кибитку вблизи Асхабада.

Носивший небольшую черную бороду, стриженную лопаточкой, стройный, высокий, с некоторой полнотой, но очень гибкий, зимой в черной, а летом в белой черкеске с

---

[1] Об этом подвиге пишет английский капитан Етт в книге «Россия и Англия лицом к лицу».

серебряными газырями, Маргания умел держаться со всеми, в том числе с начальниками, с величественным и в то же время вежливым достоинством, а со своими немногочисленными друзьями был прост и сердечен.

Мерген-Ага был замечательным знатоком лошадей, и особенно кровных туркменских пород, славнейших родов и разных мастей. Иногда он проезжал через город на любимом гнедом жеребце, способном легко нести богатырское семипудовое тело седока, а сзади ехали конюхи, ведя в поводу еще двух жеребцов — золотисто-канареечной масти и вороного.

Мы с ним сдружились после того, как Мерген-Ага увидел, что я полюбил Среднюю Азию и мечтаю приобрести туркменского жеребца.

Когда я приехал в этот казавшийся мне сказочным городок-крепость на границе пустыни и диких гор, то долго чувствовал себя как в стране, похожей на мир из романов Фенимора Купера и Майн Рида. И первое, о чем я страстно мечтал,— это иметь дивного верхового коня, самому ухаживать за ним и странствовать на нем в далеких поездках по пустыням и горным ущельям.

Но Мерген-Ага говорил мне: «Не торопись покупать коня. Конь — как родной брат и даже больше. Подожди, я найду тебе первейшего жеребца, золотисто-рыжего или вороного, какой тебе понравится, с широкой грудью, от породистой крови йомуда или поджарого ахалтекинца. Ко мне скоро приедут мои друзья из туркменских кочевий, и я найду тебе коня».

Мерген-Ага сдержал свое слово. С его помощью вскоре я приобрел текинца — золотисто-рыжего Ит-Алмаза (конь-алмаз). А после того — великолепного Моро, чистокровного вороного йомуда. И впоследствии Мерген-Ага не один раз оказывал мне свою помощь и покровительствовал, выручал из затруднительных положений.

В Асхабаде тогда печатались две конкурировавшие русские газеты. «Асхабад», либеральная газета, бывшая не в ладах с цензурой, издавалась капитаном артиллерии в отставке З. Д. Джавровым. Про «Асхабад» говорили, что это издание поддерживается из-за рубежа социалистами-революционерами эмигрантами.

Другая газета-полуофициоз «Закаспийское обозрение» издавалась К. М. Федоровым, местным старожилом, авто-

ром нескольких книг о Средней Азии, считавшим себя непогрешимым знатоком Закаспия. В ней печатались все официальные приказы и казенные объявления, составлявшие самую доходную статью ее бюджета.

В частных разговорах Федоров намекал на то, что в студенческие годы он был секретарем у Н. Г. Чернышевского, за это побывал в ссылке и потому оказался в Асхабаде.

Сразу по прибытии я стал изучать Среднюю Азию, Туркмению и сопредельные страны и писать о них свои впечатления, очерки, статьи, рассказы, печатаясь в обеих местных газетах, а также в петербургской печати.

«Асхабад» обычно охотно печатал меня, зато «Закаспийское обозрение» вначале тоже печатало, но вскоре приревновало к «Асхабаду» и, почувствовав угрозу авторитету Федорова, не только не печатало, но даже порою преследовало меня злобными заметками.

Посещал я городские библиотеку и музей, собрания членов обществ востоковедения и археологии, исследования Закаспийского края и другие собрания, но особенно я пытался завести дружбу с туркменами — аборигенами страны, изучал туркменский язык, а бывая в туркменских кочевьях, беседовал с их жителями.

II. «ЗАКАСПИЙСКАЯ ОКРАИНА»

1. «ГЕНЕРАЛ-РАКЕТА»

Начальника Закаспийской области и командира Второго туркестанского корпуса, Генерального штаба генерал-лейтенанта Деана Суботича сослуживцы прозвали «генерал-ракета», настолько он был вспыльчив и стремителен во всех своих действиях.

Суботич внезапно выезжал на ревизии и был беспощаден в наказаниях и взысканиях за факты притеснения населения, налагаемых им на провинившихся приставов и всяческих других начальников — любителей поживиться, получая «подарки» от подчиненных и зависимых от них.

Генерал был очень подвижный, худощавый, пятидесятилетний красавец небольшого роста с совершенно седой головой, черной бородой и огненными глазами[1].

---

[1] Отец начальника области — Йован Суботич (1817—1886), воспитавший своего сына русофилом, известный сербский обществен-

Утром следующего дня по прибытии я надел мундир, прицепил шпагу и отправился представляться Суботичу. Одноэтажный выбеленный дом, где находилась канцелярия начальника области, отличался от других домов Асхабада только более внушительной архитектурой, размерами да тем, что перед зданием, в сквере, возвышался памятник русским воинам, павшим при взятии крепости Геок-Тепе.

Пройдя мимо стоявших у входа казаков-часовых, я попал в приемную, где генерала уже ожидало много посетителей, почти все были офицеры или военные чиновники. Обаятельный личный адъютант, неизменный спутник генерала во всех его походах, ротмистр Штапельберг, встретил меня очень дружески, и наши совершенно товарищеские отношения впоследствии продолжались много лет.

Суботич вскоре вышел из своего кабинета и поочередно поздоровался за руку с каждым его ожидавшим. Все официально рапортовали, представляясь. Затем некоторых генерал отпустил, а других по одному принимал в кабинете.

Когда подошла моя очередь, генерал посмотрел на меня в упор черными, живыми, проницательными глазами, потрепал по плечу и увел к себе.

В его кабинете меня поразила огромная китайская фарфоровая ваза, в полтора человеческих роста величиной, привезенная им из императорского дворца в Пекине или из Мукдена как военный трофей.

Суботич сказал мне: «У меня был чиновник-переводчик, знавший отлично иностранные и восточные языки. Теперь он, по-видимому, умирает... Я хотел бы, чтобы вы так же, как он, изучили восточные языки, в первую очередь туркменский язык, и сопровождали меня в поездках. На днях мы отправляемся в объезд Закаспийской области. Вы поедете со мною.

От вашего брата я знаю, что вы любите литературу.

ный деятель русской ориентации, писатель и издатель, печатавший все свои издания русским шрифтом кириллицей, был непримиримым врагом всесильных тогда австрийцев и германофилов, одним из самых достойных патриотов сербского народа; его бронзовый бюст ныне установлен в белградском историческом парке Калемегдан.

Уместно напомнить, что Австрия, получившая после русско-турецкой войны 1877—1878 годов Боснию и Герцеговину, на которые не имела никаких прав, но заявившая, что будет «заботиться о культурном развитии героических сербов», ввела там повсеместно для всех печатных изданий латинский шрифт, желая и этим оторвать сербов от стремления к сближению с Россией, давшей ей свободу, избавив от многовекового турецкого ига.

Изучите не только восточные языки, но также загадочную душу народов Востока и создайте произведения, где раскройте этот непонятный большинству европейцев мир Востока...

Не тратьте времени даром, оно пролетает быстро. Здесь обыкновенно молодежь безрассудно расходует время, спивается от скуки и уезжает с опустошенными душой и карманом!.. Я дам вам возможность поездок по краю, и работы для вас будет много... Олимпия Ивановна приглашает вас позавтракать вместе с нами. Мы послушаем ваши английские впечатления...»

Когда мы завтракали, Олимпия Ивановна поинтересовалась тем, как я доехал и устроился в городе, советовала перебраться в отдельный маленький домик с садиком при нем, из тех, что сдавались довольно свободно и дешево правительством для чиновников канцелярии начальника области; вскоре я так и поступил.

2. «БЕЛАЯ СМЕРТЬ»

В начале марта 1902 года генерал Суботич с группой сотрудников своей канцелярии выехал в инспекционную поездку на побережье Каспийского моря, и я сопровождал его. Наш путь лежал вначале в Красноводск, а оттуда на остров Челекен и другие острова, где строились нефтяные промыслы обществ «Братья Нобели» и Каткова.

Эта поездка была вызвана жалобами прибрежных прокаженных туркмен на то, что, хотя им были обещаны лечение и питание, о них забыли и они умирают от голода и болезни. Нефтепромышленники также просили заняться судьбой прокаженных, так как завербованные рабочие и технический персонал промыслов, едва узнавали о близости прокаженных, бросали работу и бежали из боязни заразиться и погибнуть ужасной «белой смертью».

А это мешало нормальной работе промыслов, приносило убытки, и Нобели обещали большие деньги на устройство лепрозориев, лишь бы избавиться от прокаженных.

Инспектирующих вез принадлежавший Нобелям большой грузо-пассажирский пароход, черный, с высокой белой трубой, носивший возвышенное, но мало к нему подходящее наименование — фамилию великого голландского мыслителя и скромного гранильщика стекол «Спиноза». На берег съезжали сопровождавшим паровым катером «Меридиан».

На Челекене, где уже вырос лес ажурных нефтяных вышек, была устроена пышная встреча Суботичу. Представи-

тели от населения острова и администрация нефтепромыслов поднесли ему хлеб-соль, после чего все инспектировавшие и сопровождавшие отправились в экипажах и верхами на осмотр нефтяных сооружений.

Серые облака, изредка моросившие мелким дождем, низко повисли над однообразной песчаной равниной, кое-где поросшей колючей сухой травой, поблескивавшей солончаковыми болотцами и испещренной бурыми пятнами просочившейся нефти.

Контрастом этой суровой местности были сопровождавшие вереницу экипажей и верховых лихие всадники-туркмены в ярких красных халатах и черных папахах, они джигитовали и гонялись друг за другом, вырывая большие красные платки.

С нефтепромыслов Суботич проехал в северный аул Корт-Яга, а затем в южный большой аул Кара-Гель, где население промышляло ломкой соли, рыбной ловлей, добычей нефти и горного воска. Аул этот торговал с Персией, где прокаженные были обычным явлением, пользовались полной свободой и бродили по стране или сидели на улицах, выпрашивая себе подаяние. Поэтому вследствие постоянных сношений с Персией и по наследственным причинам в ауле Кара-Гель были прокаженные.

Дорога к аулу шла сыпучими песками, пока не показалась голубая полоса моря. Направо уходила вереница нефтяных вышек, а вдоль берега тянулась цепочка туркменских кибиток. Здесь тоже была подготовлена торжественная встреча.

Путь, сажен на сто, был выстлан коврами, а поверх них раскатана дорожка из белой кошмы, расшитая пестрым цветным туркменским орнаментом.

Толпа туркмен ожидала на окраине аула. Впереди стояли старики — аксакалы — в дорогих парчовых «наградных» халатах, с медалями, держали хлеб-соль. Из-за кибиток, закрывая лица платками, выглядывали смуглые туркменки в длинных, до пят, красных одеждах, увешанные серебряными монистами, с браслетами на запястьях, придерживавшие любопытных гололобых ребятишек.

Туркмены окружили Суботича и говорили с ним о своих нуждах через переводчика Эфендиева. Предложение увезти прокаженных в другое место вызвало протест их родственников, заявивших, что «теперь несчастные видят родной аул, слышат голоса своих близких, им легче переносить болезнь.

А на отдаленном острове, не видя своих близких, они умрут от горя и будут для нас как уже умершие...».

Суботич прошел к кибитке, где жили прокаженные. Метрах в ста от аула, среди чистого поля, уединенно стояла старая, грязная, покривившаяся кибитка нищенского и нежилого вида. Из нее вышел угрюмый молодой туркмен. Одет он был так же, как его соплеменники по аулу, но в чертах лица его было нечто ужасное: без ресниц и бровей, с толстыми опухолями на лбу, распухшим носом, синеватой, покрытой волдырями кожей. Он окинул нас безжизненным погасшим взором и отвернулся.

За ним вышла старая туркменка, его мать. Генерал Суботич говорил с нею, и мать просила не удалять ее сына на остров прокаженных и сама отказалась туда ехать. Сын и слова не сказал.

С острова Челекен Суботич проехал на остров Огурчинский, куда были собраны большинство прокаженных Закаспия, и посетил другие острова, где они жили. Деан Йованович и там лично обошел поселения прокаженных, беседовал с ними.

В этой поездке медицинские пояснения давал военный врач, впоследствии известный профессор Московского университета Н. В. Богоявленский, изучавший проказу, много сделавший для улучшения положения несчастных больных туркмен, прозванный за это в Закаспии «другом прокаженных».

Больных проказой было много. Меня поразили эти живые трупы, многие калеки, ползавшие на четвереньках — ступни уже отвалились, иные без кистей рук... Больные мужчины и женщины продолжали состоять в браке, имели маленьких детей, больных от рождения, продолжавших жить у родителей.

Для облегчения участи прокаженных и для их изоляции были найдены, с помощью занимавшихся геологическими изысканиями горного инженера Маевского и геолога Иванова, острова, подходящие к устройству лепрозориев.

Олимпия Ивановна, бывшая председателем Общества Красного Креста в Закаспии, организовала по области сбор средств в помощь прокаженным. В Асхабаде, Мерве, некоторых других городах были устроены благотворительные спектакли и базары, чистый сбор шел в пользу больных и на устройство лепрозориев.

На собранные деньги закупили и отправили больным для бесплатной раздачи одежду, белье, посуду и продукты, а вы-

дачу медикаментов и лечение организовали через красноводского уездного врача, сообщившего позже об организации нескольких лепрозориев и некотором улучшении жизни больных «белой смертью».

3. ВДОЛЬ ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЫ

С острова Огурчинского генерал Суботич на «Спинозе» проехал к персидской границе, в пограничный городок Чикишляр, маленький, более похожий на военное поселение. Возле него находились крупные рыбные промыслы миллионера Лианозова.

В Чикишляре Суботич разнес начальника отряда местной пограничной стражи за то, что у того пушки стояли не на месте — в лощине — и плохо была организована круговая оборона отряда. Генерал сказал, что пушки должны обстреливать местность, а не прятаться (это были легкие полевые орудия), и показал на примере, как организовать круговую оборону.

Затем Суботич поехал вдоль границы, частью в экипаже, а иногда верхом, в сопровождении начальника пограничной стражи, по военной дороге, построенной еще во времена Скобелева.

В одном месте, на самой границе с Персией, Суботича встретила небольшая группа туркменских всадников. Они сошли с коней и выразили восточный «салям» русскому «ярым-падишаху» (полуцарь).

Это был, со своими телохранителями, знаменитый глава пограничного туркменского племени Сатлык-хан, постоянно живший в Персии, известный своими набегами на туркмен, живших в русском Закаспии, и похищением пленных, которых он держал в цепях, заставлял копать арыки для орошения полей туркмен его племени, живших в Персии, занимаясь земледелием.

В разговоре с Сатлык-ханом Суботич держался довольно приветливо, но все сопровождавшие генерала ожидали каких-то внезапных, каверзных, враждебных действий от известного своей хитростью Сатлык-хана, чьи спутники, по-видимому, скрывались невдалеке за холмами. Генерала Суботича конвоировал небольшой конный отряд — всего десять — двенадцать казаков.

Сатлык-хан, высокий, худощавый туркмен с очень тонкой талией, гибкий и порывистый в движениях, просил, чтобы его не считали врагом белого царя, и сказал, что прибыл

нарочно, дабы выразить почтение его генералу и просить защиты для персидских туркмен от притеснений персов...

Суботич обещал рассмотреть эту просьбу Сатлык-хана и позже отправил в Персию комиссию, поручив выяснить какие-то претензии персидских туркмен.

После этой встречи генерал с конвоем поехал далее вдоль границы, а мы с возничим-солдатом следовали за ними в маленькой тележке, и мы отстали.

Дорога вилась берегом речки, делая много поворотов, поэтому часть пути я шел, сокращая путь напрямик, пересекая изгибы берега. В одном месте, на лужайке, поросшей мелкими кустами, среди обломков камней и щебня, внезапно я увидел — шагах в десяти впереди себя — огромную змею, в рост человека, поднявшуюся на хвост, шипевшую, раздувая шейные мешки, выбрасывая тонкий язык.

Я остановился и замер, окаменев и думая, что моя красивая шпага едва ли поможет в схватке с гигантской ядовитой коброй... Так я стоял неподвижно, следуя своему правилу, говорившему, что иногда спокойная нерешительность — высшее проявление мужества.

Через несколько минут, показавшихся мне часами, змея упала с легким шумом, похожим на звук падения каната, затем быстро отползла в сторону. Раза три она внезапно поднималась из высокой травы и камней, замирала, следя, не делаю ли я каких-либо движений, затем уползла и скрылась...

Вскоре мы нагнали Суботича, и дальше я ехал вместе с отрядом. Вернулись мы через Кызыл-Арват, пробыв в пути около двух недель.

Некоторое время спустя генерал Суботич сказал мне: «Когда вы рассказывали про свою встречу со змеей, я подумал, не является ли этот рассказ плодом вашего поэтического воображения?.. Но сегодня я получил сообщение с пограничного поста неподалеку от того места, где вы тогда были... Пограничники убили колоссальную кобру длиной в сажень! Ее шкуру мы вскоре увидим в асхабадском городском музее...»

Написанные мною тогда «Путевые заметки во время поездки начальника Закаспийской области 9—19 марта 1902 года», повествующие о маршруте поездки, многочисленных просьбах населения по пути следования и сделанных в связи с этим генералом Суботичем необходимых распоряжениях, напечатали асхабадские газеты.

Одновременно свои первые корреспонденции о Туркмении я послал в петербургскую печать и в «Ревельские известия» своему отцу.

4. СЦЕНЫ АСХАБАДСКОЙ ЖИЗНИ

Вскоре после первой поездки с генералом Суботичем, когда я еще жил в пансионе мадам Гитар, со мною произошло несколько событий, характерных для нравов асхабадского общества того времени.

Однажды ночью я проснулся от неистового стука в дверь. Затем в комнату ворвались трое молодых армян. В одном из них, державшем в руке огромный револьвер, я узнал владельца оружейного магазина Аванесова. Двое других, мне незнакомые, обежали комнату, заглядывая в углы, стали шарить под кроватью и в шкафу. «Никого нет!..» — сообщили они Аванесову трагическим шепотом.

Оказалось, что Аванесов ищет по всему городу сбежавшую от него француженку Мари и заподозрил ее присутствие здесь, «у молодого приезжего холостяка».

В порядке извинения и в знак примирения Аванесов подарил мне свой револьвер, и этот «смит-и-вессон» неожиданно пригодился. При состоявшейся на следующей неделе покупке коня я отдал револьвер в придачу за стоимость Ит-Алмаза (хозяин просил много, а уступил задешево) его продавцу-туркмену, восхитившемуся огромным «алтатаром»!

В другой раз как-то вечером мы с Мерген-Агой зашли в Военное собрание, где попали на кутеж штабс-капитана пограничной стражи N, приглашавшего к своему столу всех подходивших офицеров и других знакомых. Было, как говорится, разливанное море!

«В низовьях Атрека он нагнал богатейший караван с контрабандой для хана Хивинского и после горячей перестрелки задержал караван... За это дело штабс-капитан получит тысяч пятьдесят. И кутит в счет будущей премии вовсю!..» — говорили офицеры.

Штабс-капитан усадил Мерген-Агу рядом с собой, а мне указал место у противоположного дальнего конца стола, где группировались молодые офицеры.

Мне это не понравилось, а потому, присев за стол, я ничего не пил, лишь прикасаясь губами к бокалу, когда тамада провозглашал очередную здравицу.

Штабс-капитан, хотя и охмелевший изрядно, заметил мою обструкцию и громко высказался весьма неуважительно насчет «всяких штрюцких», этих «развязных шпаков», которым место «в Клубе велосипедистов, а не в среде русского воинства!..».

Услышав реплику N, офицеры громко расхохотались, поглядывая в мою сторону. Тогда я встал, спокойно достал из бумажника и положил возле своего прибора двадцатипятирублевку и сказал, что прострелю штабс-капитану его развязный язык и покажу тем, как «штрюцкие» умеют стрелять, повернулся и ушел не простившись.

Эта словесная стычка едва не закончилась дуэлью.

В Военном собрании дело замял Мерген-Ага, но на другой же день штабс-капитан N и я, оба, были вытребованы к генералу Суботичу для распека.

Тогда Суботич сказал мне:

— Я хочу, чтобы вы занимались литературным трудом и научными исследованиями, а не попадали в ненужные и глупые столкновения между штатскими и военными. Для того чтобы вас больше не могли назвать неопытным «зеленым шпаком», даю вам ответственное поручение...

Вы проедете караванным путем от Асхабада до Хивы и обратно. Составите отчет о ваших наблюдениях за состоянием колодцев и движением караванов на пройденном пути. В Хиве держитесь осторожно, постарайтесь повидать хана Хивинского. В разговоре, как будто случайно, упомяните об усилившейся, участившейся за последнее время контрабанде. Любопытно, что скажет об этом старый контрабандист?..

При Суботиче и позже через Асхабад несколько раз проследовал эмир Бухарский, обычно ежегодно ездивший в Петербург и проводивший жаркое время лета в Крыму.

Суботич приказал устроить эмиру пышный прием — достархан. В двух залах дома начальника области были составлены длинные столы, украшенные цветами, уставленные изысканным угощением и коллекционными винами.

Сопровождаемый многочисленной дворцовой свитой, эмир, высокий, величественный, в цветном парчовом златотканом халате, с генерал-адъютантскими эполетами и алмазными аксельбантами, со множеством русских орденов

и звезд, медленно обошел эти столы, прикоснувшись только к виноградной кисти.

Но он был очень доволен таким проявлением почтительности к нему и позже назначил, по представлению генерала Суботича, бухарские ордена некоторым сотрудникам начальника области.

По тогдашним представлениям, в обществе эти эмирские ордена не шли в сравнение по ценности с русскими, но выглядели они необыкновенно внушительно.

Поэтому полученная мною позже огромная звезда — орден столичного города благородной Бухары — со множеством золотых лучей и золотыми письменами арабской вязью на фоне синей эмали в центре звезды производила на непосвященных потрясающий эффект, когда на торжественных приемах я прицеплял бухарскую звезду к черному фраку.

5. КОНЕЦ КАРЬЕРЫ СУБОТИЧА

Эпоха генерала Суботича быстро закончилась. Он пробыл в Закаспии полтора года.

В августе 1902 года он заложил первый камень в строительство новых зданий — областного музея и библиотеки, вскоре после того был вызван в Петербург, назначен Приамурским генерал-губернатором и уехал в Хабаровск, забрав с собою нескольких особенно приближенных к нему офицеров и чиновников.

Я остался служить в Асхабаде. Но мне суждено было еще несколько раз повстречаться с генералом Суботичем при разных обстоятельствах: на Дальнем Востоке в годы русско-японской войны и в Ташкенте после ее окончания, когда я одно время служил в переселенческом управлении.

На место Суботича незамедлительно прибыл новый начальник области, Генерального штаба генерал-лейтенант Евгений Евгеньевич Уссаковский, бывший до того помощником начальника Главного штаба, и с ним приехало много новых офицеров и чиновников.

Уссаковский немедленно стал повсюду насаждать своих людей, а тех, кто пользовался доверием Суботича, выживать.

Когда все военнослужащие и чиновники прежней канцелярии начальника области представлялись новому начальнику, то меня Уссаковский принял очень сухо, я был для него «ничем», не более чем губернский секретарь — мелкая сошка. Вскоре я узнал, что мое жалованье сокра-

щено со 150 до 100 рублей в месяц, конечно с ведома генерала.

Я понял, что теперь меня здесь только терпят и ничего хорошего впереди ждать не приходится. Тем не менее я решил пока оставаться на прежней службе, чтобы осуществить задуманные путешествия и поближе узнать Среднюю Азию.

И вскоре с помощью Маргания я все же добился согласия на указанную Суботичем и очень увлекавшую меня командировку в Хиву, через пустыню Каракум.

Любопытен конец карьеры и государственной деятельности генерала Суботича, открывающий внутреннее содержание этого выдающегося человека.

В 1906 году Суботич недолгое время был генерал-губернатором Туркестана. После своего назначения, перед отъездом в Ташкент, он заявил петербургским журналистам: «...До сих пор меня считали либералом. Я всегда относился доброжелательно ко всем общественным начинаниям, и даже поощрял усиление общественной самодеятельности. То же самое могу сказать о своем отношении к печати. За все это меня называли даже «красным»...

Я буду управлять краем по совести, относясь к обществу с искренней доброжелательностью, но противодействуя крайностям...» [1]

В духе этого заявления, реагируя на происшедшие до его прибытия в Среднюю Азию еще в 1905 году революционные выступления, генерал Суботич, избегая репрессий, повел переговоры с главными деятелями революционного движения, стал смягчать полицейский режим, выпускать из тюрем арестованных, отказался применить войска против революционеров и пытался удовлетворить требования бастовавших рабочих, лично беседуя с их делегатами.

Суботич выпустил из тюрьмы арестованных учителей-забастовщиков в Самарканде, офицеров—участников Кушкинского восстания, группу узбеков, ожидавших суда за Андижанское восстание, редакторов нескольких местных газет — «Среднеазиатская жизнь», «Русский Туркестан» и других, отменил смертный приговор солдату, покушавшемуся на жизнь своего генерала, повел переговоры с руководителями бастовавших ташкентских железнодорожных мастерских, сменил начальство и облегчил условия содер-

---

[1] «Торгово-промышленная палата», газета, 14.1.1906, № 11.

жания в ташкентской тюрьме, проводил ряд других либеральных действий.

Однако местная высшая военная и гражданская администрация, феодальная знать, купечество, реакционно настроенное офицерство Туркестана, напуганные растущим революционным движением, требовали от генерала немедленно подавить войсками выступления рабочих за свои права, а не потворствовать им своим либерализмом, и жаловались в Петербург, требуя смещения нового генерал-губернатора.

«...Генерал Суботич — боевой генерал, сражавшийся за престиж России на поле брани, но не воздвигший как генерал-губернатор ни одной виселицы,— революционер!..

Генерал Суботич носит мундир, закопченный в пороховом дыму,— писала либеральная газета «Русский Туркестан»,— гнусным клеветникам этого мало! Они хотели бы, чтобы генерал Суботич еще запятнал свой мундир кровью народною...

Какой он генерал-губернатор, если ни одна мать не произносит с проклятием его имени, если он не воздвиг ни одной виселицы, если на его руках не запеклась кровь ненавистных революционеров!..» [1]

С роспуском Государственной думы и приходом к власти Столыпина телеграфным распоряжением из Петербурга генерал Суботич был отстранен от должности. За «либеральничанье и разговоры с левыми» генерала вынудили подать в отставку, он был отозван в Петербург с формальным назначением — «в резерв — членом Военного совета».

Узнав о смещении Суботича, один из офицеров Ташкентского гарнизона сорвал со стены портрет генерала, бросил на пол и топтал ногами, крича: «Туда тебе и дорога, революционер!..»

А реакционная ташкентская газета написала такое: «Отозванный на днях туркестанский бывший генерал-губернатор Суботич еще позорнее Уссаковского заигрывал с забастовщиками, нередко открыто становясь на их сторону... Пора очистить армию от разных Уссаковских, Суботичей и им подобных генералов!..» [2]

---

[1] Газета «Русский Туркестан», 23.VIII.1906, № 172.

[2] Газета «Среднеазиатская жизнь», 4.X.1906, № 215. Остававшийся начальником Закаспийской области генерал Уссаковский в период революционных событий 1905 года пытался одно время проводить либеральную политику, но вскоре был вынужден подать в отставку и уехать из Асхабада за свой либерализм.

С отставкой Суботича крайне правые воспряли духом: в Туркестане ввели военное положение, а генерал-губернатором назначили опытного усмирителя польского восстания, «холерного бунта» в Ташкенте и революционного движения в Маньчжурской армии, генерала от инфантерии Гродекова.

Та же газета со злорадством описала отъезд генерала Суботича из Ташкента:

«В четверг выехал из Ташкента бывший генерал-губернатор Туркестана генерал-лейтенант Суботич. Сформированный для его превосходительства поезд был подан на 5-ю версту на переезде у Садового Заведения... Генерал Суботич с супругой сели в вагон, подъехав к месту посадки в экипажах...

Ташкенту приходится в первый раз быть свидетелем такого отъезда главного начальника края. До настоящего времени все генерал-губернаторы покидали его при другой обстановке...» [1]

Я был одним из немногих, кто приехал «на 5-ю версту» проводить генерала, и встретил на этих проводах, больше похожих на высылку, всего несколько человек из круга его бывших приближенных, решившихся все же почтить вниманием тайно уезжавшего опального военного и государственного деятеля, принятого здесь, в Ташкенте, с большой помпой при своем прибытии, менее года тому назад...

Несколько позднее я повстречался с генералом Суботичем в Петербурге. Он был в штатском и не у дел. Мы обменялись воспоминаниями и больше не свиделись.

Говорили, что Суботич уехал за границу, на родину, и там окончил свои дни.

6. «ШУТКА» ГЕНЕРАЛА КОВАЛЕВА

Когда в конце 1902 года, в связи с назначением на Дальний Восток, Суботич был экстренно вызван в Петербург, то временно за начальника области оставался генерал Ковалев. Его имя вскоре скандально прогремело на всю

---

[1] Газета «Среднеазиатская жизнь», 23.IX.1906, № 207. Любопытно, что то же подтверждают югославские энциклопедии, отмечая либерализм Суботича как причину его отставки: «Из-за своих либеральных идей и действий во время русской революции 1905—1906 гг. уволен из армии» («Народная энциклопедия», т. IV, с. 494. Загреб, 1929), и «Уволен из армии вследствие защиты и проведения либеральных идей в период русской революции 1905 года» («Военная энциклопедия», 2-е изд., т. IX, с. 225. Белград, 1975).

Россию, показав, каковы были нравы некоторых офицеров-самодуров закаспийской окраины...

Генерал Ковалев был начальником казачьих войск в области, командиром казачьей бригады, жил одиноко и устраивал каждое воскресенье «холостой ужин» вместе со своими любимцами из молодых офицеров.

Про него говорили, что Ковалев пользовался особыми симпатиями при царском дворе за свое остроумие и знание бесчисленного количества анекдотов.

Среднего роста, моложавый, с усиками, лихо закрученными кверху, в черной черкеске с белыми газырями, он был популярен в военной среде и имел большой успех у местных дам.

До приезда в Асхабад Ковалев одно время был начальником казачьего конвоя при царе и потому носил форму 1-го Таманского казачьего полка. Особенно покровительствовала Ковалеву какая-то великая княгиня, и поэтому он считал себя недосягаемым и непогрешимым в отношении всех остальных.

Ковалев питал особую нежность к жене начальника штаба генерала Суботича, полковника Генерального штаба Старосельского; но та, имевшая двух дочерей на выданье, внешне неприступная и строгая, одевавшаяся под англичанку, всегда держалась очень корректно, не давая никаких поводов для сплетен.

Однако однажды офицерские языки, развязавшиеся по-пьяному за ужином у Ковалева, намекнули тому, что якобы некий человек пользуется особым благоволением госпожи Старосельской, любимец всех асхабадских дам, высокий, стройный, в пенсне, к тому же обладатель первого в Асхабаде автомобиля, что вызывало зависть одних и насмешки других,— холостяк доктор Забусов.

Впрочем, асхабадские дамы стремились к Забусову на прием по понятным причинам — он был врач-гинеколог.

Услышав, что какой-то Забусов осмеливается быть или стать конкурентом ему — Ковалеву! — генерал объявил пировавшей компании, что он собьет спесь с этого Забусова и сделает его всеобщим посмешищем у них на глазах!

Тут же Ковалев послал нескольких лихих таманцев-вестовых к Забусову, и те объявили доктору, что генерал его требует немедленно к себе. Удивленный Забусов объяснил, что он гинеколог и ему нечего делать у генерала, но таманцы настаивали, утверждая, что Забусов должен явиться

к генералу вообще как врач, так как Ковалеву якобы стало плохо.

Не ожидавший ничего дурного Забусов приехал.

Тогда полупьяный генерал Ковалев приказал казакам: «Сдерите с него штаны и отхлестайте нагайками!..» Дисциплина — превыше всего, и казаки не осмелились ослушаться.

Забусов держался очень мужественно, после экзекуции оделся и молча ушел...

«Он никогда не осмелится рассказать, что его выпороли!..» — сказал, посмеиваясь и покручивая ус, генерал Ковалев.

В ту же ночь Забусов пошел на телеграф и послал две телеграммы. Одну — военному министру, вторую — в газету «Речь».

На другой день утром Забусов явился на прием к только что прибывшему новому начальнику области генералу Уссаковскому и рассказал тому, что с ним произошло.

Уссаковский, поглаживая по своей привычке длинные, шелковистые усы, молчал, затем меланхолично спросил: «Может быть, все это вам показалось?.. Это невероятно!.. В ваших же интересах промолчать. Разглашение такой истории вызовет слишком большой скандал!»

Доктор Забусов ответил, что молчать уже поздно, и, ни с кем не простившись, в тот же день уехал в Симбирск.

Телеграммы сделали свое дело, и это «невероятное происшествие» вызвало большое волнение во всей русской печати и отрицательную реакцию в обществе и военных кругах. Газеты сообщали о крепостных нравах и разгуле самодурства властей на окраинах России, об этом деле писал В. Г. Короленко и другие известные журналисты того времени.

Остряк и шутник генерал Ковалев за свою «шутку» получил по заслугам: он был предан Высшему военному суду, лишен военного звания, чинов, орденов и пенсии...

Во время русско-японской войны Ковалев приехал в Маньчжурию, в штаб главнокомандующего. Я присутствовал при том, как генерал Куропаткин, в то время уже смещенный с должности главнокомандующего, но остававшийся командующим 1-й Маньчжурской армией, проезжавший мимо верхом, остановился и, обменявшись коротким разговором с Ковалевым, сказал ему: «Вам здесь придется снова заслужить воинское звание!..»

Будучи в Маньчжурии, Ковалев просил дать ему любое назначение, хотя бы нижним чином. Но, не дождавшись

решения по своей кассационной жалобе и не получив никакого назначения, Ковалев вернулся в Россию.

В поезде, где-то между Москвой и Кавказом, бывший генерал Ковалев застрелился.

III. «ЧЕРЕЗ СЫПУЧИЕ БАРХАНЫ»

1. КАРАВАННОЙ ТРОПОЙ

Поскольку с отъездом генерала Суботича его поручение — посетить Хиву — осталось лишь на словах, не закрепленное приказом, мне пришлось подать формальный рапорт по этому поводу генералу Уссаковскому, где, в числе прочего, в конце ноября 1902 года я так излагал цели этого путешествия:

«...Так как те редкие экспедиции в Хиву, например по исследованию старого русла Амударьи, преследовали главным образом свои специальные цели, и уже прошло много лет, как из всего северного района Закаспийской области не получалось, насколько мне известно, обстоятельных и точных сведений, то я обращаюсь с просьбой разрешить мне поездку из Асхабада через пески к хивинским владениям и оттуда на запад до Кара-Бугазского залива, для составления отчета о современном состоянии этих частей Закаспийской области.

Быть может, улучшенные способы сообщения, исправление колодцев, найденные новые источники воды и разные другие мероприятия могли бы помочь туркменскому населению пользоваться всем этим районом, как для пастьбы скота, для сбора лесных материалов, так, вероятно, и для поселений, так как развалины многочисленных крепостей, встречающиеся постоянно по всему пути до Хивы, доказывают о бывшей здесь когда-то возможности даже оседлой жизни в песках...»

Другой официальный повод моей поездки в Хиву был такой.

В Асхабаде жил ишан (мусульманский «святой старец»), прозванный «ишан-шайтаном», так как он помимо святых дел хорошо устраивал и дела коммерческие.

Этот ишан взял на себя подряд — прочистить колодцы караванной дороги между Асхабадом и Хивой. По мусульманскому поверью, копать колодцы могут только «святые

люди», поэтому подряд и был передан «святому» ишану.

Однако проезжавшие жаловались на то, что большая часть колодцев обвалилась и воды в них нет. Нужно было проверить состояние колодцев, а также узнать, выкопаны ли новые вместо осыпавшихся. И как ишан выполнил свой подряд?

В «Открытом листе», выданном мне канцелярией, указывалось, что я «командирован начальником области к хивинским владениям для научно-статистических исследований».

Я решил пересечь пустыню без конвоя, в сопровождении лишь одного спутника. «От большого конвоя прошу меня освободить,— писал я в рапорте,— так как следуемых мне прогонных совершенно недостаточно для довольствия большого каравана в течение 1 $^1/_2$ месяца, а также потому, что, будучи опытным в утомительных и опасных путешествиях, я не боюсь могущих встретиться препятствий; однако я не могу взять на себя ответственность за безопасность назначенного неопытного конвоя...» Ради собственной безопасности я не хотел рисковать жизнью других.

Отправляясь в путь, я взял себе в товарищи старого аламанщика (степного разбойника) Шах-Назара Карабекова, давно бросившего это занятие и теперь урядника туркменского дивизиона, каким командовал Мерген-Ага, отличившегося в битве при Кушке и получившего за подвиг Георгиевский крест, на котором, по особой привилегии для мусульман, изображался всадник — святой Георгий.

Шах-Назар, крепкий сухопарый старик, в своей молодости совершал набеги на Персию и на Хиву, уводил оттуда в полон коней. Он отлично знал караванные дороги и тропы Каракумов и оказался превосходным проводником в наших трудных переходах по пустынной, лишенной корма местности.

Все имущество Шах-Назара — конь, винтовка и трубка — было всегда с ним, и он говорил, что они «верные друзья джигита до гроба: конь везет, винтовка бьет врагов, трубка веселит сердце. И все трое молчат. А женщина — не может не говорить с утра и до ночи...».

Мы продвигались верхом: я — на недавно приобретенном рыжем Ит-Алмазе, Шах-Назар — на поджаром вороном жеребце текинской породы. За каждым из нас в поводу шла вьючная лошадь, несшая бурдюки с водой, снаряжение и провиант.

Перед отправлением в поход мне казалось, что я доста-

точно тщательно к нему подготовился. Но это было мое первое дальнее путешествие по пустыне, и оно принесло несколько сюрпризов, уроки которых я усвоил на всю жизнь.

Караванный путь из Асхабада в Хиву мог называться дорогой весьма условно. На нем не было никаких признаков того, что обычно присуще дороге: ни дорожного полотна, колей от колес, следов копыт верблюдов, подков коней, ни опознавательных или измерительных знаков, указателей направления, столбов или камней.

Вначале я не мог понять, чем руководствуется Шах-Назар, уверенно направляя наших коней от одного колодца к другому и действительно находя их в пустыне, эти единственные искусственные сооружения на дороге.

Окруженный волнообразной линией неразличимых между собой песчаных барханов, под солнцем, высоко и неподвижно висевшим весь день над головой в центре небосвода, Шах-Назар спокойно и уверенно двигался вперед, то подымаясь, то спускаясь по склонам бесчисленных застывших волн песчаного моря, простиравшихся до горизонта, а за ним следовали я на Ит-Алмазе и вьючные лошади.

Удивительное чутье в сочетании с острой наблюдательностью и огромным опытом помогали Шах-Назару безошибочно ориентироваться в однообразной пустыне.

Не имея часов, Шах-Назар всегда знал время суток, без компаса определял направление стран света, без карты точно знал, где находится, и там, где я не видел ничего, кроме расплывающейся в знойном мареве волнистой линии песков, он на огромном расстоянии замечал — белеющие кости павшего верблюда, редкие заросли корявого саксаула, темную полосу глинистого такыра, бывшие для Шах-Назара указателями, подтверждавшими правильность его пути.

Шах-Назар никогда не задумывался над поисками дороги, и расспрашивать его, как он ее находит, было, в его глазах, странное занятие. Наоборот, он удивлялся тому, как это я не вижу дороги, такой ясной для него самого.

Мы выехали из Асхабада в начале марта 1903 года, когда пришла весна, Каракумы покрылись коврами цветущих лиловых ирисов и малиновых тюльпанов, а в песках кое-где зеленела трава. Путь наш оказался трудным, дважды подымались песчаные бураны, а один раз даже выпал густой снег.

Колодцы должны были находиться на расстоянии дневного перехода, примерно в двадцати — тридцати километрах

один от другого, но в действительности все оказалось не так, как это было помечено на карте. Одни колодцы исчезли под грядами двигающихся песков, другие обрушились или пересохли так, что нам приходилось по двое-трое суток расчитывать лишь на скудный запас воды в своих бурдюках.

Большинство уцелевших колодцев было накрыто сооружениями купольной формы из ветвей саксаула, обмазанных глиной, куда вход закрывался хворостяной плетенкой. Такой же плетенкой накрывалось устье колодца. Очень глубокие и узкие, до двадцати метров глубиной и около метра в диаметре, колодцы изнутри были оплетены, наподобие корзинки, ветвями саксаула.

Трудно было определить, что сделал «святой ишан» для расчистки колодцев; с той поры, как он получил подряд на эту работу, прошло несколько лет, и колодцы находились без всякого присмотра.

Их состояние теперь зависело от случая, природы, путников. Но было несомненным то, что они лишь частично пригодны и нуждаются в серьезном ремонте. Воды в них было мало, при доставании ее кожаными складными ведрами вода быстро замутнялась, и надо было долго ждать, пока она наберется вновь.

С сильным привкусом, солоноватая и горьковатая, отдающая затхлостью, а то и падалью, от попадавших в колодец змей, ящериц, сусликов и других степных зверьков, нам, изнуренным жаждой и зноем, эта вода тогда казалась слаще «струй горного потока»...

2. АЛЧНОСТЬ АЛЛА-НИЯЗА

Я помечал наш путь на карте и через несколько дней пути обратил внимание на то, что начиная с одного пункта дорога дальше идет как бы по дуге большого круга диаметром примерно в два-три перехода, и указал на это Шах-Назару.

Мой спутник объяснил, что есть старая, заброшенная дорога, соединяющая концы этой дуги напрямик, словно тетива, стягивающая концы согнутого лука, но уже много десятилетий караваны по ней не ходят,— «есть там несколько колодцев, но вода в них дурная, отравленная. Если верблюд, лошадь, человек попьют из этих колодцев, у них раздуваются животы, они чернеют и умирают в жестоких мучениях...».

На ночном привале Шах-Назар рассказал печальную историю гибели этих колодцев.

...Много лет назад недалеко от этих мест в зимнюю пору разбивало свои кибитки кочевье обширного и богатого туркменского рода хана Алла-Нияза, откуда происходил и Шах-Назар. На лето кочевье уходило к пастбищам в предгорьях Копетдага, где жара не так сильна, много воды, корма для скота, хорошая охота.

Отец Шах-Назара погиб в перестрелке с персами при одном из набегов, мать умерла от поветрия черной оспы. Шах-Назар вырос сиротой в кибитке Алла-Нияза. Он помогал пасти баранов, следил за лошадьми, чистил оружие, сопровождал в походах.

Так продолжалось из года в год. Кочевье Алла-Нияза быстро богатело. Почти каждую осень, перед тем как вернуться в пустыню, Алла-Нияз с джигитами отправлялись в набег через горы на персидские селения.

Правда, не все возвращались обратно, иных недосчитывались, другие харкали кровью, но зато у остальных вьючные лошади прогибались под тороками с награбленным добром, в поводу шли красивые кони, а сзади плелись рабы-персы со связанными за спиной руками, бросавшие испуганные взгляды на своих хозяев, и плачущие женщины с распущенными волосами несли маленьких детей в платке за спиной.

Алла-Нияз богател больше всех, но, видно, ему этого было мало, потому что от его алчности произошло великое несчастье для всего племени.

Однажды весной в кочевье пришел небольшой караван. Это возвращался из Персии старинный приятель Алла-Нияза, Берды-Бай, постоянно кочевавший со своим родом в низовьях Амударьи.

Он возвращался, сидя на великолепном белом арабском скакуне, лошади породы очень редкой и высоко ценимой туркменами, в сопровождении нескольких джигитов. Берды-Бай промышлял не набегами, а торговлей и после удачной поездки в Мешхед вез серебряные краны, персидские шелка, териак, сахар, другие товары.

С первого взгляда Алла-Нияз влюбился в арабского скакуна и стал просить Берды-Бая продать ему белого красавца за любую цену. Берды-Бай отказался наотрез, объяснив, что жеребец ему нужен на племя, и предложил в знак старой дружбы подарить Алла-Ниязу лучшего жеребенка из первого же приплода от белого скакуна.

Утром караван Берды-Бая ушел, а через несколько часов после того Алла-Нияз в сопровождении двух самых верных джигитов уехал на охоту.

Вернулся Алла-Нияз лишь через три дня, один, левая рука была перевязана оторванной полой халата, а в поводу за ним шел белый арабский скакун.

«Берды-Бай передумал, продал мне жеребца,— объяснил Алла-Нияз сбежавшимся людям,— а мои джигиты поехали с Берды-Баем в Хиву, они скоро вернутся...» Сообщив это, он приказал сворачивать кибитки и объявил, что «утром уходим к персидским горам...», затем скрылся в своей кибитке.

Женщины подхватили под руки и увели завопивших жен обоих джигитов, но никто не осмелился перечить главе рода. Однако все переглянулись и опустили взоры, поняв, что Алла-Нияз уходит в горы раньше срока не случайно...

Ночью собаки сбежались на окраину кочевья и лая умчались в степь. Потом они вернулись, кроме нескольких оставшихся в степи и жалобно завывавших.

Несколько юношей пошли в степь на далекий вой собак. К утру они нашли на склоне бархана голого, покрытого кровью, пóтом и землей, умиравшего от ран джигита, за которым по пескам тянулся кровавый след.

Умиравший был одним из двух джигитов, сопровождавших Алла-Нияза. Он хрипел, выплевывая кровавую пену и умер на руках своих родичей, не сказав ни одного слова. Всех поразило, что он был прострелен в спину и жестоко изрублен.

Наутро все мужчины во главе с Алла-Ниязом помчались в степь по кровавому следу. Он привел к разрытой могиле в песках, где нашли второго джигита, тоже застреленного и зарубленного.

Алла-Нияз сказал, что это убийство мог совершить только Берды-Бай и его караван. Но напрасно искали туркмены по окрестным холмам и тропам караван Берды-Бая. Он пропал бесследно, словно погрузившись в песчаную пучину.

Алла-Нияз торопил с уходом в горы. Все чувствовали, что за этой трагедией кроется тайна, но такова была сила власти Алла-Нияза, что и тут никто не посмел его ослушаться. Джигитов похоронили, и кочевье ушло к персидским горам.

А зимой того же года, когда племя, возвратившись в прежние места, раскинуло кибитки, ночью, когда все спали, внезапно на кочевье напал хорошо вооруженный отряд.

Джигиты из рода Берды-Бая беспощадно вырезали всех мужчин кочевья Алла-Нияза, включая стариков; женщин и детей взяли в полон, немногие уцелевшие разбежались по пескам. Все ценное имущество погрузили на верблюдов и лошадей, кибитки и все остальное сожгли. Трупы сбросили в колодцы и разрушили их.

Все это произошло быстро, и в ночной резне погиб Алла-Нияз.

Шах-Назара с другими юношами племени продали в рабство на невольничьем рынке в Хиве.

Влачась с деревянной колодкой на шее и руками, связанными за спиной, позади конного отряда, подкалываемый острыми пиками, глотая пыль и песок, поднимаемый копытами, Шах-Назар узнал причину ужасного уничтожения его рода.

Оказывается, стоустая молва донесла известие о пропаже каравана Берды-Бая и до устья Амударьи. Сыновья Берды-Бая с джигитами отправились на розыски. Долго они не могли ничего обнаружить, пока не обратили внимание на то, что одна группа колодцев в районе исчезновения каравана Берды-Бая обвалилась, пересохла, ее стали огибать другие караваны, продвигаясь по цепочке иных колодцев.

В этом богатом землетрясениями районе обвал колодцев не редкость. Все же сыновья Берды-Бая проехали к заброшенным колодцам, действительно обвалившимся, и, хотя они умирали от жажды, не поленились их отрыть и очистить.

На дне одного колодца нашлись трупы Берды-Бая и его джигитов, застреленных и зарубленных. Однако лошадей и верблюдов каравана, его вьюки и мешки с кранами найти не удалось.

Сыновья Берды-Бая похоронили джигитов в песках, а труп отца отвезли в родное кочевье. Потом один из сыновей, прихватив побольше воды на «заводной» лошади, вернулся к месту гибели каравана.

После долгих поисков в песке, отрытом из колодца с трупами, нашлась роговая пуговица с серебряной насечкой, а еще прежде из одного трупа была извлечена засевшая в лопатке пуля нарезной винтовки английской работы; все признали, что пуговица и пуля принадлежали Алла-Ниязу, и была объявлена кровная месть...

«Так, из-за алчности Алла-Нияза,— говорил Шах-Назар,— я стал рабом одного хивинского кузнеца. Долго

я бил молотом по наковальне, пока мне, уже ставшему взрослым мужчиной, удалось перерубить цепи на ногах и бежать в пустыню, где, на счастье, я не погиб, а — хвала аллаху! — остался жив, подобранный проходившим мимо меня караваном...

А те колодцы стали называть Аджи-кую (Горькая вода), так как вода в них сделалась непригодной для питья. С той поры колодцы заброшены и караваны их огибают...»

3. У МЕРТВЫХ КОЛОДЦЕВ

Температура в пустыне менялась очень быстро. Днем пекло солнце, а ночью подмораживало. На рассвете иней серебрил стволы винтовок, стремена и пряжки седел, на которые мы склоняли головы, засыпая. Затем, с первым лучом солнца, приходило тепло.

Когда, слушая неторопливый рассказ Шах-Назара, я лежал у багровых угольев слабо тлеющего костра, поворачиваясь, грея то один, то другой подмерзающий бок, то у меня возникла мысль пройти заброшенным путем, осмотреть мертвые колодцы и установить, не стали ли они вновь пригодны для питья? Это могло бы намного сократить существующую караванную дорогу.

Но Шах-Назар стал отговаривать меня от такого намерения, заявив, что «у Мертвых колодцев теперь поселились злые духи — дэвы, и если мы нарушим их покой, то навлечем на себя множество бед на дальнейшем пути...».

Это суеверное опасение Шах-Назара возымело обратное действие — еще более возбудило мое любопытство. Бурдюки позволяли нести с собой запас воды для нас и лошадей на трое суток. Я рассчитывал, что если мы их наполним и вволю напоим коней, то, установив строгий «водяной паек», спокойно пройдем заброшенной караванной дорогой.

К несчастью, в середине ночи нас разбудило конское ржание, рев верблюдов, чьи-то крики и лай собак, затем к ночлегу подошел, задержанный в пути песчаной бурей, встречный караван из Хивы. Его погонщики, чтобы напоить множество животных, мигом опустошили колодцы, на дне их осталась одна грязь...

Утром, в толчее общего подъема, нам не удалось вволю напоить своих лошадей, хотя Шах-Назар отчаянно ругался с карабанбаши (старшим погонщиком), грозя ему страшными карами от имени «ярым-падишаха». Это мало помогло.

Когда караван ушел, обнаружилось, что продавлен один наш бурдюк с водой и исчез хуржум с просом. Эти несчастья целиком лежали на моей совести,— пока Шах-Назар поил коней, я должен был следить за вещами, но отвлекся, делая записи и зарисовки дорожных наблюдений.

Хотя Шах-Назар, проклинавший погонщиков каравана, намекнул на дурное начало пути, все же я настоял, и мы углубились в пустыню, держа направление на Мертвые колодцы.

Вероятно, в связи с таким совпадением нескольких неблагоприятных обстоятельств, во имя благоразумия следовало воздержаться от пути к Мертвым колодцам. Однако у меня не было никакой уверенности в том, что когда-нибудь придется вторично попасть в эти места, а желание пройти заброшенной тропой настолько сильно овладело, что я сказал Шах-Назару: «Через три — самое большее, четыре — перехода мы обязательно выйдем на дорогу, где ходят караваны. Неужели мы не выдержим этих трех-четырех дней? Будем экономны в пути. Вперед!..»

В пути я проверял направление по компасу, но это было излишним: по-прежнему Шах-Назар, направляемый своим удивительным чутьем, безошибочно вел нас к намеченной цели.

Пустыня оставалась такой же однообразной. Кое-где Шах-Назар указал на следы бывшей караванной тропы. Иногда на глинистых такырах, словно широкий желоб, тянулся углубившийся в землю след прошедших тут караванов да на ветке саксаула трепались полуистлевшие обрывки некогда яркой тряпки; или над песками подымался холмик с камнем или шестом над ним, с которого свешивался пучок лохмотьев,— могила безвестного путника.

К вечеру на горизонте показалась неровная полоса лиловых скал. «Это кыр (камни),— объяснил Шах-Назар,— там, где кум (песок), можно всегда найти все, что нужно для жизни,— воду в колодце, саксаул для костра, траву для баранов, там можно подстрелить зайца или джейрана. А там, где кыр, нет жизни. Колодец не выкопаешь, деревьев нет, только ящерицы да змеи ползают между скалами. Берегись попасть туда и заночевать на кыре!»

При последних лучах заходящего солнца мы приблизились к угрюмому кыру. Слои серого известняка, наклонившись в одну сторону, выпирали из песков, образуя длинную зубчатую гряду. За ними на север простиралось каменистое

плато. Кое-где из выветренных трещин торчали седые пучки полыни и курчавились сухие травки.

Песчаные волны, дойдя до кыра, образовали ровную площадку, словно разбившиеся в пену морские волны у скалистого берега. На этой площадке выделялись остатки нескольких сооружений, похожих на те, что обычно прикрывают устья колодцев. Они были сложены из известняковых плит и полузанесены песком. Несколько кривых стволов саксаула свешивались над развалинами.

Пока Шах-Назар расседлывал лошадей, я прошелся вдоль скалистой гряды в поисках топлива для костра и осмотрел развалины. Следов существования колодцев не было заметно. Быстро темнело, и я вернулся к нашему привалу, неся охапку сухих ветвей саксаула.

Шах-Назар не стал стреноживать коней, оставил их на приколе, в недоуздках. Когда кони выстоялись, мы дали им половинную порцию воды, по одному ведру, а себе сварили крепкий чай.

Шах-Назар был молчалив. Вероятно, воспоминания нахлынули на него. Но он как благочестивый и суеверный мусульманин не хочет в этом месте говорить о трагедии, происшедшей неподалеку от диких скал, в далекие годы его юности.

Незадолго перед рассветом кони внезапно стали рваться с приколов, захрапели, забили копытами. Очнувшись, мы оба вскочили, подбежали, огладили, успокоили коней. Костер давно погас. Над пустыней стояла нерушимая тишина, только раз из тьмы донеслись непонятные звуки, напоминавшие сипение и клохтанье. Услыхав эти шипы, кони вздрагивали и приседали, прижав уши.

Успокоив коней, мы вновь прилегли, но заснуть уже не могли. При первых признаках рассвета я снова пошел вдоль скалистой гряды. Светало быстро, и с первыми солнечными лучами скалы порозовели, прочертились лиловые тени, стало теплеть.

Песок у скал местами был плотнее, темными пятнами проступала подпочвенная влага и серебрилась бахрома соляных отложений. Иногда на влажном песке пестрели мелкие птичьи следы.

Перепрыгивая с одного скалистого выступа на другой, я поднялся на щербатую поверхность кыра, и незабываемая картина открылась передо мною.

На северо-запад тянулось ровное унылое пространство каменистого плато, изредка нарушаемое трещинами и

острыми пиками скал. На юго-восток шли бесконечные волны оранжевых песков. Сверху ясно виднелось место нашего ночлега, остатки колодезных сооружений, кони и Шах-Назар, склонившийся у костра.

Пройдя дальше по гребню кыра и спустившись в другом месте, чем взошел, я заметил темную глубокую щель под нависшей скалой. Приблизившись, я услыхал доносившееся из щели шипение, похожее на то, что испугало наших коней ночью. Отойдя за каменистый выступ, я бросил в щель обломок известняка. Оттуда опять раздались шипение и клохтанье.

Когда я вновь кинул туда камень, из щели показалась голова огромного ящера-варана, покрытая роговой чешуей. Из раскрытой шипящей пасти с острыми зубами высовывался, извиваясь, гибкий раздвоенный язык, зло смотрели выпуклые зеленые глаза. Саженной длины, толстобрюхий буро-зеленый варан быстро выскочил из расщелины, угрожающе шипел, раздувая белую шею пузырем, подпрыгивал на месте, хлопал по бокам длинным хвостом с зубчатым роговым гребнем...

Из рассказов старых закаспийцев я уже знал, что в недосягаемых местах пустыни живут гигантские вараны, называемые туркменами эсдергха, пожирающие всяких, даже очковых змей, и очень за это почитаемые и охраняемые.

Но я впервые встретился столь неожиданно с «крокодилом пустыни» и в нерешительности замер, выжидая, что будет дальше.

Обычно вараны, как и все зверье, прячутся от людей. Но тут варан бросился на меня. Отступая, я поскользнулся, упал и покатился вниз. Удержавшись за каменный выступ и вскочив, я получил сильный удар хвостом варана по своим ногам и едва не упал снова. Эсдергха злобно и смело нападал, шипел и старался вцепиться зубами в мой сапог, а ударами хвоста сбить с ног.

Мое любопытство оборачивалось неожиданной опасностью. Винтовка осталась у костра, и пришлось достать из заднего кармана брюк маленький пистолет, с каким никогда не расставался в пути... «Но куда стрелять?.. Пуля моего пистолета не пробьет роговой панцирь этого дракона!..» — думал я, осторожно отступая и увертываясь от ударов хвоста ящера.

Вдруг эсдергха прыгнул на меня, попытавшись укусить в лицо, ударить передними лапами. Этим он себя погубил. Я сунул ствол пистолета в оскаленную пасть и выстрелил.

Ящер упал, несколько раз ударил хвостом, судорожно дернулся и замер...

Я замерил ящера — длиной он был в четыре шага.

В расщелине скалы я нашел кучку грязновато-белых продолговатых яиц величиной с гусиные, лежавших в мягкой песчаной ямке,— причину злобного нападения эсдергхи, отважно защищавшего свое будущее потомство.

Когда Шах-Назар узнал о моей схватке с эсдергхой, то был заметно недоволен и решительно потребовал немедленно уехать отсюда. Однако перед тем я вернулся к эсдергхе.

Снять шкуру, если можно так назвать роговой панцирь варана, оказалось делом невероятно трудным, и я удовольствовался огромным гребнем с хвоста «крокодила пустыни», впоследствии долгое время украшавшим мой письменный стол, вызывая изумление.

Много позже, в советское время, впечатления от этой поездки и встречи с эсдергхой помогли мне написать рассказ «В песках Каракума».

4. ПОСЛЕДНИЕ ПЕРЕХОДЫ

Вопреки опасениям Шах-Назара, мы благополучно выбрались на торную караванную дорогу к Хиве. В пути мы осмотрели и другие колодцы и места, где ясно проступала влага. Впоследствии, после моего рапорта начальнику области, к колодцам Аджи-кую были посланы специалисты по копанию колодцев. Они восстановили старые и выкопали новые колодцы. Вода в них оказалась не хуже, чем в других, а путь караванов сократился.

На дальнейшем пути к Хиве мы несколько раз попадали в туркменские кочевья. Шах-Назар своим удивительным чутьем умел их находить именно тогда, когда они были весьма кстати.

Гостеприимные хозяева встречали Шах-Назара как своего, а с ним и меня. У туркмен мы давали отдых коням и сами отогревались в кибитках, этих войлочных домах пустыни, замечательном изобретении кочевников, где прохладно днем и тепло ночью.

Дальше наш путь к Хиве проходил без особых приключений.

Однажды мы увидели мираж — большой караван, беззвучно шагавший на горизонте, все выраставший в размерах, подымавшийся в небо и расплывшийся в нем.

Но в другой раз, когда в стороне от обычной дороги мы увидели не призрачный, а живой караван, бредущий на север, вероятно из Персии в Хиву, то душа старого аламанщика не выдержала и Шах-Назар стал меня убеждать арестовать этот караван, наверняка везущий контрабанду для хана хивинского.

«Подумай, бояр, что эти тридцать верблюдов везут шелка, серебряные краны, териак, чай!..»

Однако я послал Шах-Назара «к шайтану», сказав, что ловить контрабандистов не моя обязанность, и добавил: «Ты думаешь, хан хивинский меня поблагодарит? Он посадит меня и тебя вместе со мною в яму и сгноит там, сообщив в Асхабад, что мы погибли в пустыне на пути к нему!»

Действительно, у меня не было никаких полномочий, чтобы задерживать караваны, не говоря уже об отсутствии средств для их задержания. Но Шах-Назар никак не мог понять, почему я отказался от такого богатства, потому что, по тогдашним законам, задержавший контрабанду получал 25% ее стоимости.

Дальше в пути сильное впечатление произвели на меня две картины.

Первой из них был момент перехода через Узбой. Огромная впадина, старое русло Амударьи, некогда впадавшей в Каспийское море, уходила далеко на запад и вся была покрыта блестевшими на солнце осадками — кристаллами соли.

Когда-то здесь текли могучие волны, шумела жизнь, цвели сады и паслись стада, а теперь, у этих ставших бесплодными берегов, туркмены лечили от чесотки, обкладывая лежавших верблюдов солью.

Затем незабываемым был момент, когда после долгого тяжелого пути по однообразной пустыне, где мы непрерывно то поднимались на песчаные склоны, то спускались с них, взобравшись на высокий бархан, мы вдруг увидели перед собой роскошный зеленый оазис Хивы.

Квадраты полей, где работали пахари, высокие тополя и платаны, а вдали за ними — стройные минареты мечетей, выложенные сверкавшими издалека голубыми изразцами...

Расстояние от Ашхабада до Хивы составляет около пятисот километров. Теперь этот путь каждый может спокойно и безопасно проделать на автомобиле-вездеходе за одни сутки, а самолетом пролететь за один час.

Я же с моим спутником, опытным и умелым проводником, ехал верхом в одну сторону, правда с остановками для

осмотра колодцев, больше двух недель. Причем это путешествие тогда считалось выдающимся и опасным предприятием, требовавшим подготовки, выносливости и мужества.

После этой поездки (даже в Военном собрании) никто не мог говорить обо мне как о «зеленом шпаке»...

IV. В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ

АУДИЕНЦИЯ У ЕГО СВЕТЛОСТИ ХАНА

После того как русские войска в 1873 году вступили в Хиву, они убрали головы казненных, торчавшие на кольях перед ханским дворцом, освободили рабов и положили конец работорговле, прекратили деятельность множества разбойничьих шаек, нападавших на мирных земледельцев и грабивших караваны, и для населения Хивинского ханства наступила пора мирной жизни.

Номинально Хива осталась под властью своих феодалов, но в ней появились представители русской администрации, военные, купечество, а кое-где — русские переселенцы. Сыновья богатых и знатных хивинцев направлялись на учение в Петербург, хивинцы стали служить в русской армии.

Внешний облик Хивы мало чем изменился.

Ко времени моего приезда это был маленький грязный и пыльный город с лабиринтом узких кривых улочек, состоявших из одних стен, не имевших окон и выводивших па пустыри, базары, кладбища, окруженных осыпавшимися рвами и разваливающимися глинобитными стенами с башнями и воротами.

В городе насчитывалось примерно десять тысяч жителей, десяток ханских дворцов, полсотни мечетей и медресе, несколько караван-сараев и множество базарных лавок, мастерских ремесленников, торговых складов.

Но напрасно было искать здесь школу или больницу, книжный магазин, театр или клуб. Хивинское ханство продолжало жить по своим феодальным законам и обычаям, лишь отчасти смягченным русским влиянием.

Высшая власть продолжала оставаться в руках хана — верховного и непогрешимого судьи для своих подданных. Он решал судьбу кошелька и живота своих беков, наибов и хакимов, числом свыше двух десятков, управлявших, в свою

очередь, через старейшин родов — аксакалов — простым народом.

Судьи, бии, казии и прочие представители феодалов отправляли суд быстро и несложно: все тяжбы решались по Чингиз-хановой «Ясе»[1], хотя великий завоеватель уже шесть столетий покоился в могиле.

До прихода русских наказания оставались вполне в Чингиз-хановом вкусе: от битья палками, отсечения уха, пальца, ладони, руки и до отрубания головы. Теперь они соответствовали установленным в России.

В Хиве я был принят с почетом, остановился в небольшом домике с традиционным внутренним двориком, посредине его поблескивал прохладный хаус (водоем), отведенном мне ханом для отдыха и пышно именовавшемся дворцовым покоем.

Дважды был я на приеме у Сеид Мухаммед Рахим-хана и у его сына-наследника Эсфендиар-Тюря, а под конец получил в подарок фотографию хана в серебряной рамке и серебряный кумган (кувшин).

Но самой ценной для меня вещью, вывезенной из Хивы, было легкое туркменское седло с высокой лукой, державшееся на двух дощечках, ложившихся на конскую спину по обеим сторонам хребта. Наши казачьи седла мастерились примерно по такому же принципу. Седла такой конструкции применяются для дальней дороги, так как ими нельзя набить спину коню.

Я по неопытности отправился в далекий путь в английском (скаковом) седле, к которому привык, и вскоре натер бедному Ит-Алмазу большую язву на спине.

Шах-Назар одними ему известными средствами сумел вылечить Ит-Алмаза в пути, так что в Асхабад я вернулся на поправившемся коне, хотя и сильно истощенном. В дальнейшем я путешествовал только в хивинском седле.

Виденный мною хан был сыном хана, капитулировавшего перед войсками генерала Кауфмана, и предпоследним хивинским ханом. Он жил во дворце, окруженном высокой стеной с башнями и воротами в них, состоящем из скопления нескольких десятков одноэтажных глинобитных домиков, соединенных лабиринтами переходов, с множеством дверей, возле них стояли мрачные воины в восточных одеждах, со старинными винтовками и саблями, словно сошедшие с известной картины В. Верещагина «У дверей Тамерлана».

---

[1] «Яса» — свод законов, установленный в XIII в. Чингиз-ханом.

Хан сидел на стопке квадратных верблюжьих кож, выделанных до мягкости замши, лежавшей на небольшом кубическом возвышении, напоминавшем стол, слепленный из глины.

Ханский переводчик Корнилов, русский старожил, в форме полицейского пристава, сидел возле хана на пятках, прижавшись боком к этому «трону». Помня наставления Суботича, я сказал, что проехал через пески и нахожусь на аудиенции у хана по своей личной инициативе, как журналист.

Хан предложил мне сесть рядом с ним, но это было совершенно невозможно, так как на кубике свободного места не было, и вообще отсутствовала какая-либо мебель в зале.

Поэтому я сидел так же, как и переводчик, на собственных пятках, прижавшись к «трону». В беседе я все выжидал удобного случая затронуть тему о контрабанде, чтобы выполнить поручение Суботича, хотя с той поры прошло немало времени, но никак не мог этого сделать, ибо не полагалось задавать вопросы его светлости хану.

Хан поинтересовался, каков собою Уссаковский, а о Суботиче сказал по-русски: «Знаю, знаю, хороший генерал...» Дальше хан говорил только по-хивински (или тюркски), а Корнилов переводил, хотя по всему было видно, что хан знает русский язык.

Хана заинтересовал мой рыжий Ит-Алмаз, и он дважды его осмотрел, сказав, что хотел бы иметь такого коня, но «...сам пойми, у жеребца подрезаны хвост и грива, а у нас это очень стыдно — ехать на жеребце с подрезанным хвостом. Скажут, что моя жена меня бьет!..».

Когда хан заинтересовался тем, как я перенес поездку через пустыню, я сообщил ему о встрече с караваном, намекнув на то, что это, возможно, были контрабандисты, причем в Асхабаде есть сведения об участившейся контрабанде.

При таком известии хан оживился, подробнейшим образом расспросил о встреченном караване и одобрил мое поведение, сказав, что это, конечно, не мог быть караван с контрабандой, ибо он не допускает в своих владениях ничего нарушающего законы белого царя.

Хан был явно доволен известием, а затем опять принял безразличный величественный вид и милостиво спросил, не хочу ли я получить что-либо от него...

Я просил хана только об одной милости: разрешить мне запросто побродить по Хиве, поговорить с ее купцами и

простыми людьми, так как я люблю восточные страны и предполагаю еще много путешествовать по Азии.

Хан ответил, что он мне это охотно разрешает. На том аудиенция закончилась.

Позднее Корнилов объяснил мне, что стопка выделанных верблюжьих кож — это настоящий трон потомка Чингиз-хана. Монгольский завоеватель не возил с собою трона, хотя у себя на родине имел золотой, считая, что истинный воин должен иметь сиденьем только потник коня.

Поэтому и хан хивинский выполняет завет Чингиз-хана — «всегда готов выступить в поход для защиты родины и мусульманской веры...».

После приема у хана я был еще у его наследника — Эсфендиар-Тюря, ставшего последним ханом хивинским и через двадцать лет зарезанного на стопке верблюжьих кож претендентом на хивинский трон Джунаид-ханом [1].

Эсфендиар, бледный молодой человек в шелковом восточном халате, свободно говорил по-русски, рассказывал о своем посещении Петербурга, о жизни в нем. Он интересовался отношениями России и Афганистана, расспрашивал, «правда ли, что на афганской границе у нас постоянные стычки с афганцами, которым помогают англичане?..».

Эсфендиар учился в России и жаловался на то, что после Петербурга ему не нравятся местные хивинские жилища, и говорил, что «намерен заняться просвещением», построить себе «русский дом с печами и окнами».

Впоследствии во дворе ханского дворца действительно был построен «русский дом», куда переселился наследник, ставши ханом, но дальше этого деяния любовь к просвещению Эсфендиара не пошла.

2. ХАНСКАЯ ТЮРЬМА

Получив разрешение хана осмотреть город, вдвоем с Шах-Назаром мы много бродили по его пыльным улицам, заглядывая во все интересовавшие меня места.

Шах-Назар даже показал возле главного базара, в рядах медников и оружейников, темную, закоптелую кузню, где юношей он был рабом. Тогда такие же, как и он, рабы тру-

---

[1] В период гражданской войны в Советской Средней Азии, в 1919 году, известный предводитель басмачей Джунаид-хан, захватив Хиву, зверски расправился со своим «конкурентом» Эсфендиаром, недолго пробывшим хивинским ханом.

дились на задворках и других дымных мастерских, месили глину, пилили доски или тесали камни.

Теперь здесь рабов не было, но, как мог понять, в обиходе, самой работе и мастерских ничего не изменилось.

В полутьме светились огни кузнечного горна и вздыхали его мехи, поблескивала сырая глина, а над ними склонились голые, облитые пòтом фигуры, визжала пила, гудели удары молота, булькала вода...

На пороге мастерской стоял ее хозяин в чистом халате, разговорчивый, ласково приглашал заглянуть к нему, готовый за ваши деньги изготовить руками своих мастеров все, что только вам необходимо, и задешево!..

Бродя по городу, мы увидели поразительное зрелище — проезд хана через свою столицу. Эта картина напомнила мне описания поездок Ивана Грозного по старой Москве.

Впереди процессии ехали вооруженные всадники с копьями и саблями наголо, затем конюхи вели под уздцы множество коней хана поразительной красоты, всех мастей, накрытых дорогими коврами. Первыми шли два огромных вороных битюга. Хан купил их в Оренбурге у архиерея, восхитившись мощью жеребцов.

Хан ехал один на молочно-белом черноглазом жеребце. Позади следовала сотня лихих джигитов с винтовками и копьями.

На всем пути следования процессии толпы жителей города стояли, согнувшись в поясе и скрестив руки на груди. Никто не смел поднять лицо и посмотреть на хана...

После этого зрелища я попросил Шах-Назара провести меня к ханской тюрьме. Мы подошли к невысокой пузатой башне. На коврике у низенькой железной двери сидел на корточках тюремщик со связкой больших ключей. Возле него стояла деревянная миска для подаяний заключенным.

Шах-Назар властным голосом приказал тюремщику открыть дверь башни «по распоряжению его светлости хана для осмотра тюрьмы важным русским бояром!..».

Тюремщик поспешно отворил дверь, завизжавшую, повернувшись на ржавых петлях, и мы прошли в небольшое помещение, полутемное и высокое, куда свет проникал сверху, сквозь узкое окно.

У стен, на каменном сиденье, выгнутом подковой, сидели угрюмые, молчащие заключенные, скованные одной цепью. Конец ее был прикреплен к стене. В центре подковы-сиденья, в каменном полу, находилось отверстие — клоака — для отправления естественных нужд узников. У стены печь,

сложенная наподобие камина, уходила вверх, ее труба высовывалась снаружи над башней.

Заключенные смотрели равнодушно, мертвым взглядом. Лишь один хивинец, подвижный и нервный, увидав нас, быстро заговорил, а затем стал кричать, и Шах-Назар перевел мне, что тот «прикован уже тринадцать лет, невиновен, не знает, за что он в тюрьме, и только великий русский бояр может его освободить».

Услыхав крик хивинца, другие узники вскочили и, гремя цепью, закричали, что они «тоже ни в чем не повинны!..». На шум и крики прибежали два дюжих помощника тюремщика с длинными бичами.

Обеспокоенный тюремщик стал нас энергично выпроваживать из тюрьмы. Позади раздавались вопли, звон цепей и щелканье бичей, ругательства тюремщиков...

Позднее, в подробном рапорте Уссаковскому о своей поездке, я упомянул и об увиденном и услышанном в ханской тюрьме. На это через начальника канцелярии, где я числился, мне было выражено неудовольствие генерала и сделано внушение с предупреждением, чтобы я «впредь не превышал своих полномочий и не вступал в вопросы, его (меня) не касающиеся...».

Вернувшись после осмотра Хивы, мы увидели, что в красивом домике, где остановились, приготовлено обильное восточное угощение. Приближенный хана с радостной улыбкой сообщил, что по приказанию его светлости хана устраивается праздничный вечер, придут музыканты и бачи (танцоры), чтобы «увеселять мою душу».

Но я вспомнил рассказы Маргания о случаях, когда излишне любопытные путешественники после ласкового приема и обильного угощения у хана таинственно исчезали или, внезапно заболев, переселялись в «сады аллаха»...

Так как после посещения тюрьмы сердце у меня совсем не лежало к увеселениям и, кроме того, Шах-Назар сказал мне, что, согласно обычаю, каждому баче и музыканту придется положить в рот «золотой», я начал кашлять и уверять, что очень нездоров и потому прошу, чтобы празднество не устраивалось. Приближенный хана удалился весьма недовольный, намекнув, что хан будет обижен и даже разгневан...

Хотя мои деньги и запасы были на исходе, а еще предстоял длинный обратный путь, нам надо было уезжать туда, где мы могли не опасаться дальнейших проявлений «милостивого внимания» его светлости хана.

Ночью Шах-Назар раздобыл у знакомого содержателя караван-сарая для меня тощего, длинноногого, чалого туркменского коня, оставив в залог Ит-Алмаза, чтобы затянуло рану на его спине, и рассвет застал нас обоих уже за пределами толстых стен Хивы, меня на чалом коне — на пути в Петро-Александровск[1], небольшой городок километрах в пятидесяти от Хивы, на правом берегу Амударьи.

Там была лодочная переправа. До городка доходила пароходная линия из Чарджуя (Чарджоу), туда доставляли грузы на хивинских лодках-каиках под парусами.

3. УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОРУЖИЕ

Часть дороги к Петро-Александровску шла берегом Амударьи.

Остановившись, примерно на полпути, на отдых, мы напоили коней водой из реки, спустившись с холмов, продираясь сквозь густые заросли — тугаи, скрывавшие прибрежные отмели под буйно разросшимися кустами тамариска, облепихи, ивняком, высоким камышом.

Этот путь был противоположностью предыдущему, по мертвым раскаленным барханам Каракумов. Здесь всюду была видна или слышна жизнь.

Из зарослей выпархивали фазаны, со свистом резали воздух косяки диких уток и гусей. Мы пересекали тропки, по каким проходили на водопой джейраны, шакалы, кабаны. На холмах встречались остатки стен укреплений и мазаров. Из чащобы камыша или кустов кендыря, усыпанных розовыми цветами, иногда доносилось похрюкиванье, чавканье илистой почвы, шум возни зверья.

По рассказам хивинцев, даже тигры тогда встречались в этих зарослях. Пару раз мы слышали, как под напором чьей-то могучей туши с треском ломались сухие стебли камыша; хозяева тугаев — кабаны — беспрепятственно разгуливали в этих местах. Хивинцы-мусульмане обходили их стороной, следуя запрету для магометан есть «нечистое» свиное мясо.

От такого множества дичи во мне пробудилась душа охотника, и это едва не стоило жизни.

Я решил заночевать на берегу реки, в таком красивом и

[1] Петро-Александровск — прежнее название Турткуля. Городок был основан как русское укрепление после занятия Хивы, заселявшееся с 1875 года ссыльными уральскими казаками, сосланными за протест против нового закона о военной службе, значительно урезавшего их исконные права.

привольном месте, а заодно подкараулить джейрана и обновить купленную перед отъездом в магазине Аванесова полуавтоматическую американскую винтовку — многозарядный винчестер.

Снаряжаясь в поход, я зашел в магазин Аванесова, бывший не только скобяным, но по совместительству оружейным. В магазине оказался большой выбор всяких ружей и винтовок — одноствольных и двухстволок. Но особенно Аванесов рекомендовал новенький винчестер, полуавтоматически перезаряжавшийся переводом рычага под шейкой ложа.

Аванесов всячески расхваливал механизм, подающий и выбрасывающий патроны. Он заряжал винтовку и быстро двигал рычагом, так что вскоре пол магазина оказался усыпанным гильзами, стремительно вылетавшими при открывании затвора.

«Обладая таким новейшим, усовершенствованным оружием,— убеждал меня Аванесов,— вы легко сможете один перестрелять шесть нападающих или поразить несколько самых резвых коз!»

Шах-Назар, взявший в дорогу старинную пистонную винтовку с очень длинным тонким стволом и узким ложем, изукрашенным серебряной насечкой, заряжавшуюся со стороны дула маленькой круглой пулькой, с сомнением осмотрел рычажный механизм винчестера, отрицательно зацокал и заявил, что не сменяет свою старую винтовку на это «усовершенствованное оружие».

Перед самым отправлением в дорогу я съездил на Ит-Алмазе в сторону Кеши и изрешетил ствол старого платана. Винчестер работал безотказно, и я с улыбкой думал о сомнениях Шах-Назара.

Я запомнил тропку неподалеку от ночлега, углубившуюся в мягкую лессовую землю со следами диких коз и кабанов. Шах-Назар остался стеречь коней, а я незадолго до рассвета направился на охоту. Осторожно раздвигая камыши, я вышел к берегу тихой реки и притаился возле группы тополей, росших несколько выше тропинки, ведущей к водопою.

Я устроился на песчаном бугорке в нескольких метрах от тополей и притаился в ожидании. Отсюда была хорошо видна густая щетина камышей, черневшая на фоне поблескивавшей воды.

Долго я ждал в полной тишине и неподвижности, никто не показывался на тропинке. Когда ночь стала сменяться предрассветными сумерками, над рекой пронесся словно глу-

бокий вздох ветра, гладь воды зарябила, небо прочертили первые птицы.

Край небосвода порозовел, желтой чертой проступил противоположный, освещенный берег реки, и быстро, как это бывает только в пустыне, наступило утро.

В сумерках было довольно холодно, но с первыми лучами солнца стало припекать. Я уже огорчался, что моя охота сорвалась, и собирался возвращаться к почлегу, когда услышал шорох позади себя...

Оглянувшись, я увидел, как, пригибая редкие камыши, в мою сторону движется несколько кабаних-свинок. Мотая головами, они рыскали по сторонам, за ними мелко семенили копытцами черные юркие кабанята. Глухо похрюкивая, стадо быстро приближалось.

Великолепное жаркое само шло ко мне в руки, хотя я и не мог рассчитывать при его изготовлении на компанию Шах-Назара.

Я прицелился под лопатку передней свинки, грохот выстрела разбудил тихую реку, стаи испуганных птиц взвились над камышами. Свинка ткнулась рылом в песок, завизжала, забила ногами. Стадо метнулось в сторону.

Но не успел я встать и шагнуть, как увидал, что, ломая камыши, взрывая песок, на меня стремительно катится огромная черно-бурая туша. «Секач!..» — понял я и сделал движение рычагом винчестера, чтобы перезарядить винтовку... второе... третье... Затвор «усовершенствованного оружия» заело после моего первого выстрела — гильза выскочила, но новый патрон застрял безнадежно в магазине винтовки...

В одно мгновение нужно было решить, как поступить, чтобы спасти свою жизнь. Вот когда пригодились мне уроки веселого Жаколино Роше!.. [1]

Я побежал навстречу секачу, бросил ему в рыло ставший бесполезным винчестер и, перескочив через щетинистую, вонявшую тиной черную спину, подбежал к одинокому тополю.

К счастью, я сумел с разбегу ухватиться за нижнюю ветвь, подпрыгнул, и в то мгновение, когда дерево задрожало от свирепых ударов клыков кабана, я уже сидел верхом на стволе тополя, обнимая его с пылом, какому мог бы позавидовать самый страстный любовник!..

---

[1] Жаколино Роше — известный акробат и клоун, у которого в годы юности В. Янчевецкий брал уроки гимнастики и акробатики.

Секач кружил вокруг тополя, рыл песок, от ствола отлетали кора и щепки, хриплое рычанье неслось из пасти с огромными клыками. Кабан становился на задние ноги, пытаясь добраться до меня, и его маленькие красные глазки сверкали ужасающей ненавистью. Иногда он подбегал к винчестеру, топтал его, схватив в пасть, мотал винтовкой в воздухе, и было слышно, как трещит расщепляемый приклад.

Солнце поднялось уже довольно высоко, но мой страж и не собирался снимать осаду. Он медленно ходил вокруг тополя, иногда обнюхивал и толкал рылом убитую свинку, но продолжал зорко следить за мною и прыжками возвращался к дереву при каждом моем движении, затем опять топтал и грыз винчестер...

Неизвестно, чем бы кончилось это приключение, если па выручку не пришел бы Шах-Назар. Он не стал стрелять в секача, а с дикими воплями и свистом поджег тугай. В мою сторону потянуло дымком, затем по песку заструилось, перебегая от одного сухого стебля к другому, быстрое пламя.

Только тогда кабан остановился, стал порывисто нюхать воздух и медленно ушел в камыши, к реке. Еще некоторое время слышалось чавканье копыт, ступавших по илу, а путь секача можно было проследить по качавшимся черным стрелкам камышей. Потом все затихло...

С трудом можно было узнать в жалких остатках винчестера щегольское «усовершенствованное оружие»! Деревянные части были расщеплены, магазин изуродован, ствол погнут. Шах-Назар, вежливо улыбаясь и глядя в сторону, посетовал вместе со мной над потерей. Опираясь на свое старое ружье, он, должно быть, внутренне торжествовал.

В дальнейшем я всегда брал в путешествия по пескам только оружие самой простой конструкции, однозарядную винтовку Бердана, не боявшуюся песчинок, врага ружей-автоматов в пустыне.

Наше дальнейшее путешествие прошло благополучно.

После осмотра Петро-Александровска и переправы через Амударью мы вернулись в Хиву. Здесь я пересел на отдохнувшего и подлечившегося Ит-Алмаза, и, более не представая пред очи его светлости хана, мы направились в обратный путь.

Продвигаясь на юг, мы вторично пересекли пустыню Ка-

ракум, но уже другим путем, западнее, выехав из песков около Геок-Тепе.

В Асхабаде меня ждало тяжкое известие.

1 апреля 1903 года в петербургской больнице скончался мой отец, «гомерид» Григорий Андреевич[1]. Получив внеочередной отпуск, я выехал в Петербург, а затем пробыл некоторое время у моей матери Варвары Помпеевны в Ревеле.

V. ЖИЗНЬ УШЛА ОТСЮДА

1. АМЕРИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Ко времени нашего возвращения в Асхабаде произошли две «сенсации». Приехала семья генерала Уссаковского, его маленькая жена, урожденная Неплюева, дочь основателя Оренбургского кадетского корпуса, и с ней три дочери. Судя по газетным заметкам, две старшие дочери отличались как наездницы на «конкур-иппик» в Петербурге.

Старшая, Елена, была роковой для сердец многих молодых людей, любила одиноко разъезжать на кобылице английской породы по равнине близ Асхабада и с отчаянной смелостью брала опасные барьеры.

Вторая, «Звездочка», была замужем за французским офицером, жила во Франции и приезжала к родителям погостить. Младшая, Мума, славилась как пианистка и, кроме того, везде появлялась с фотографическим аппаратом.

Прибыл также новый начальник штаба Уссаковского генерал Неелов со своей женой-спириткой, немедленно занявшейся устройством спиритических сеансов и заразившей этим модным тогда увлечением все асхабадское «общество».

Другой «сенсацией», более серьезного свойства, был приезд в мае 1903 года в Асхабад американской геолого-археологической экспедиции научного института миллиардера-филантропа Карнеги.

Газета «Асхабад» писала тогда, что экспедиция прибыла «...по рекомендации министерства земледелия и государст-

---

[1] Г. А. Янчевецкий (1846—1903), переводчик греческих классиков (за что был прозван «гомеридом»), педагог, издатель и редактор журналов «Гимназия» и «Педагогический еженедельник», газеты «Ревельские известия», многих трудов по педагогике и поэзии Древней Греции.

венных имуществ для научных исследований Копетдага, Гаудана, Хайдарабада, Карши и Термеза... Главный штаб по ходатайству посла США просил о содействии экспедиции, но с воспрещением раскопок и вывоза археологических ценностей...».

Возглавлял экспедицию Рафаил Помпелли, не ученый, а предприимчивый делец, приехавший со взрослым сыном. Возможно, поиски нефти или иных полезных ископаемых были действительной причиной прибытия этой экспедиции.

Генерал Уссаковский принял американцев весьма радушно, обещал им всяческое содействие, а мне, как знающему английский язык, поручил состоять при экспедиции.

Помпелли рассказывал, что его «снова потянуло в Россию», так как в юности он уже был в Сибири с какой-то научной экспедицией, оставившей у него «приятные воспоминания».

Научным руководителем экспедиции и правой рукой Помпелли был профессор Дэвис, известный американский ученый, автор капитального руководства по геологии, принятого тогда для преподавания во всех университетах Соединенных Штатов. Дэвис поднимался на горы Копетдага и впоследствии представил Уссаковскому доклад о своих наблюдениях с картой горных пород, разрезами гор, указанием геологического строения Копетдага.

Ассистентом Дэвиса был молодой геолог Эльсворс Хентингтон [1], позже прославившийся поездкой в Тибет, на развалины Пальмиры, в Малую Азию, где ему посчастливилось открыть несколько разрушенных и засыпанных песками городов, и многими другими путешествиями и научными исследованиями.

Он рассказывал, что его старший брат служил в Константинополе; Эльсворс одно время жил у брата и получил первоначальное образование в армянском монастыре, расположенном около озера Ван, в Турции, где было американское училище, подготовлявшее миссионеров. Брат Эльсворса был тогда директором американского «Роберт-колледжа», где

---

[1] Эльсворс Хентингтон (1876—1947) — географ, историк и путешественник, автор теории связи климата с цивилизацией, многих научных трудов по Ближнему Востоку, Средней и Центральной Азии, Северной и Центральной Америки, был профессором Йельского и других университетов США.

воспитывались дети из наиболее состоятельных семейств Турции.

Окончив училище, Эльсворс отказался от миссионерской деятельности, вернулся в Америку, где бедствовал, служил в какой-то фирме, занимавшейся постройкой железных дорог, и в то же время готовился к поступлению в университет. Он сумел поступить в него и затем, пройдя с отличием курс наук, выдвинулся своими способностями и интересными работами по геологии.

Однако школа в Ване дала Эльсворсу хорошее знание армянского языка, что не раз выручало его в будущих путешествиях, где он повсюду встречал армян, рассеянных по свету, помогавших ему в трудные минуты.

После первой же встречи с Еленой Уссаковской Эльсворс в нее безумно влюбился и не раз говорил мне, что нашел в Елене идеал своей будущей жены и был бы счастлив на ней жениться, но не решается в том открыться девушке. К тому же он «пока еще беден».

В экспедиции Помпелли был еще один выдающийся профессор, итальянский археолог, указавший на холм высотой десять — пятнадцать метров, на котором стоит полуразвалившаяся мечеть в Аннау[1], как на место, где можно найти интереснейшие археологические древности.

Экспедиция Помпелли вскоре уехала, но в начале 1904 года вернулась и занялась раскопками возле Аннау.

«Закаспийское обозрение» сообщало, что разрешено «...производство в Закаспийской области раскопок североамериканцу Помпелли в течение 1904 года... Для наблюдения прикомандирован профессор В. В. Бартольд и его помощники, они составят списки найденного и обеспечат охрану... Все предметы останутся в России. Помпелли разрешено описание, зарисовки и издание труда о раскопках в Аннау».

Была проведена траншея через холм и несколько курганов. Со всей научной тщательностью археологи углубились в землю, и были найдены несколько слоев поселений разных культурных эпох и могила древнейшего периода человечества.

---

[1] Аннау — в 10 километрах от Ашхабада, возле железнодорожной станции Аннау, в предгорьях Копетдага, находятся развалины древнего города, постройки его относятся к XV веку.

«Американским геологом Р. Помпелли принесена в дар областному музею богатая коллекция предметов домашней утвари и древних орудий, собранных в развалинах крепости Аннау»,— писала газета «Асхабад».

Эти раскопки Помпелли были новым вкладом в изучение истории Средней Азии. Институт Карнеги напечатал в роскошном издании отчет об экспедиции, а мне тогда было досадно, что эти открытия сделали американцы (с участием В. В. Бартольда, впоследствии академика), а не мы, русские, самостоятельно.

2. «НА СВОЙ СТРАХ И РИСК»

С Эльсворсом Хентингтоном мы были почти одних лет, получили одинаковое по степени и близкое по специальности образование, оба были холостяки, только начинали свою жизненную карьеру, оба мечтали о путешествиях и быстро сблизились. Мы решили вместе пересечь великую соляную пустыню в центре Ирана и проехать по Персии и Афганистану, вдоль персидско-афганской границы — к Индии.

С первых дней своего прибытия в Среднюю Азию и с началом поездок по ней я стал готовиться к задуманному далекому путешествию — через Персию и Афганистан — к Индии. Еще в Лондоне, затем в Петербурге и Асхабаде я изучал страны, через какие намечал проехать. По собранным материалам я написал и опубликовал тогда несколько статей об Афганистане, напечатанных в газетах «Асхабад» и петербургском «Новом времени».

Перед отъездом генерала Суботича на Дальний Восток, в ноябре 1902 года, я подал ему рапорт с просьбой о командировании в Персию и Афганистан и обоснованием целей своего замысла, где писал, что «главной моей целью изучения остается Афганистан и знакомство с народами, его населяющими в политическом, этнографическом и других отношениях» [1].

Основательно познакомившись с литературой русской и иностранной об Афганистане, изучив его досконально теоретически, я бы желал возможно ближе ознакомиться с этим государством практически, как для того, чтобы представить научные труды относительно современного состояния Афганистана, так и равно для того, чтобы оказаться полезным

---

[1] См. примечание к рассказу «Афганские привидения», на стр. 566.

правительству в случае дипломатических, торговых или иных сношений с Афганистаном...

Из многочисленных расспросов лиц, имевших сношения с афганцами, а также из расспросов самих афганцев, постоянно прибывающих в область, я убедился, что *обаяние русского имени настолько велико,* что, если только проехать пограничную черту, где не пропускаются русские подданные, можно проехать русскому человеку через весь Афганистан, не встретив никакого противодействия.

Поэтому план моей поездки состоит в том, чтобы избежать встречи с афганскими отрядами в пограничной черте, далее вполне открыто в европейской одежде проехать до Кабула. Если же афганские власти меня и арестуют, то все-таки часть моего плана будет выполнена, так как мне удастся побывать внутри этого замкнутого государства и увидеть его современную жизнь.

Начать поездку я бы полагал либо из Персии, либо из юго-восточной части Бухары и, делая возможно большие переходы, проникнуть как можно дальше в глубь страны, надеясь на дальнейшие счастье и удачу...

Генерал Суботич представил в копии мой рапорт Туркестанскому генерал-губернатору Тевяшеву со своим ходатайством об удовлетворении просьбы.

В ответном письме из Ташкента генерал Тевяшев писал: «Мне очень симпатично сообщенное вашим превосходительством намерение губернского секретаря Янчевецкого отправиться в Афганистан для ознакомления с этой страной, и желал бы, чтобы г. Янчевецкий осуществил это намерение на *свой страх и риск,* но... я затрудняюсь дать разрешение ему отправиться туда без предварительного согласия г. военного министра, вследствие чего ходатайство этого чиновника я вместе с сим представил его высокопревосходительству...»

В декабре 1902 года в Асхабад поступила телеграмма из Петербурга от военного министра: «На поездку на свой страх Янчевецкого согласен...»

Таким образом, еще в конце 1902 года вопрос о моей поездке к Индии решился положительно и можно было приступать к реализации замысла. Однако без малого лишь через год сложившиеся обстоятельства позволили воплотить мечту в жизнь.

Своими планами я делился с Хентингтоном, и осенью 1903 года мы вместе приняли сложное решение: совершить научное путешествие в Персию и оттуда (это облегчало бы

нашу задачу) попытаться вблизи Сеистана проникнуть в Афганистан и проехать к Индии...

Поэтому в августе 1903 года я подал одновременно два рапорта: один о поездке в Персию, другой — конфиденциальный — о поездке в Афганистан и в Индию.

Вследствие отсутствия дипломатических отношений России с Афганистаном, с целью избежать излишней огласки нашей экспедиции и ее маршрута, в приказе и документах о моей командировке указывалась только Персия. Остальное, то есть Афганистан и Индия, относилось на мой «страх и риск»...

Было известно, что я сотрудничаю в петербургских газетах, и Уссаковский отпустил меня в эту поездку как журналиста — «без расходов от казны, с сохранением содержания»; поэтому для меня снаряжение в экспедицию было очень затруднительно — денег у меня было в обрез.

Я получил триста рублей командировочных и свое содержание за три месяца вперед — триста рублей (позже командировку продлили еще на месяц) — и должен был рассчитывать только на эту сумму, а все расходы с Хентингтоном, получавшим крупные денежные переводы из-за океана, мы делили пополам.

3. НАШ КАРАВАН

В нашей экспедиции было шесть человек. Три верблюда несли бурдюки с водой, вьюки с провиантом и походным снаряжением, складную палатку и войлоки, на которых мы спали. У Эльсворса еще были с собою привезенные из Америки складные кровать, стул, стол и ванна, какими он пользовался при каждом удобном случае, бывавшем весьма редко, и это сердило моего американца.

Меня сопровождали два джигита, прикомандированные Маргания: молодой веселый туркмен Хива-Клыч и мрачный старый беглый афганец Мердан.

Живший раньше в Герате, Мердан застал свою жену с любовником и зарезал обоих. Поэтому постоянные думы о волосяной петле, ожидавшей его в Афганистане, делали Мердана молчаливым и хмурым спутником. А Хива-Клыч, наоборот, сбежал от четырех надоевших ему жен и был постоянно весел.

Хентингтон нанял себе в помощники туркмена-перевод-

чика Курбана и русского молоканина[1] Михаила, хорошо знавшего персидский и туркменский языки, отличного охотника, постоянно снабжавшего нас в пути подстреленной дичью и учившего Эльсворса русскому языку.

Михаил сам напросился в нашу экспедицию, сказав мне по секрету, что он очень страдает в своем молоканском селении из-за того, что его жена объявлена «богородицей», и потому какой-то молоканский проповедник, считавшийся у них «святым апостолом», жалует ее своим вниманием...

Экспедицию сопровождал еще пес Трезорка, долгое время живший у меня маленький белый фокстерьер, бежавший впереди, а иногда отдыхавший в пути, лежа между горбами вьючного верблюда, и усердно охранявший спящий караван по ночам, будя путников отчаянным лаем при чьем-либо приближении.

Хентингтон, вздыхавший в пути о «прекрасной Елене», всегда очень тщательно вел дневник в специальных тетрадях с копировальной бумагой. Копии записей он при первой возможности посылал в Бостон, своему отцу, так что потеря дневника в пути не была непоправимым несчастьем. Вернувшись в Америку, он опубликовал подробный отчет о нашем путешествии со множеством фотографий и чертежей в книге «Исследование Туркестана»[2].

Много лет спустя, в советскую эпоху, работая в московской Ленинской библиотеке, я встретил эту книгу, а также обнаружил другую работу Хентингтона — «Пульс Азии»; в приложении к ней были указаны все его научные работы, в том числе и «Исследование Туркестана» («Соленые озера Персии»), и сообщалось, что Эльсворс Хентингтон — профессор естественной истории Гарвардского университета. Там же были приведены имена его жены (не Елены!) и семи детей.

Отец Хентингтона, известный бостонский пастор, воспитал сына своим верным последователем, и Эльсворс был высоконравственен и очень религиозен, никогда не расставался с библией, напечатанной мелким шрифтом в одном томе карманного формата, и каждый день ее перечитывал.

---

[1] Молокане — русская христианская секта, возникшая в XVIII веке, отрицавшая весь церемониал официальной церкви, обряды, иконы, храмы и т. п., преследовавшаяся и высылавшаяся на окраины России. В Туркмении молоканские селения были на персидской границе.

[2] Хентингтон Эл. Исследование Туркестана. Экспедиция 1903 г. Вашингтон, 1905 (на англ. языке).

Насколько я успел разгадать его характер, Хентингтон относился к русским, за редким исключением, презрительно, тщательно скрывая такое отношение под напускной вежливостью. По его убеждению, все русские были развратны, нечестны, безбожны, и потому дружить с ними не следовало.

Вообще мы, русские, были для него нацией «второго сорта», а «первоклассными людьми» являлись сперва американцы, а затем англичане. Достоинства русских Хентингтон предпочитал не замечать, говоря, что «русские — азиаты, обладающие всеми недостатками, характерными для азиатских народов».

Меня Эльсворс считал недостаточно и религиозным, и серьезным.

Его отношение к «азиатам» особенно проявлялось, когда он сердился. Тогда выдержка изменяла Хентингтону, и он начинал кричать, что «в Америке все лучше!», а всех «восточных» людей называл «хэмбог» (обманщик).

Для моих отношений с Хентингтоном характерен такой эпизод. Однажды, в середине пути, еще в Сеистане, когда выяснилось, что мои средства кончаются, а новых денежных поступлений в скором времени не будет, я объяснил это печальное обстоятельство Хентингтону и, так как мы продолжали делить все расходы пополам, спросил, как будем действовать дальше.

Эльсворс ответил: «Я могу снабдить вас небольшой суммой, достаточной для возвращения в Асхабад. Но дальше по Персии я поеду один...»

Мне кажется, что при путешествии двух русских друзей между ними существовала бы более тесная взаимная выручка и поддержка и совместное путешествие не смогло бы прерваться по такой причине.

В этом путешествии мы оба относились друг к другу по-товарищески, но в дальнейшем наши пути разошлись. Десять лет позже поездки по Персии, работая корреспондентом СПТА в Константинополе, я написал Хентингтону в Америку и получил вежливо-холодный ответ. На том закончились наши отношения.

4. «АЛЛАХ НАС НЕ ПОКИНУЛ!..»

Караван нашей экспедиции выступил в путь из Серахса в середине ноября 1903 года, намереваясь использовать для путешествия тот осенне-зимний период года, когда по-

сле испепеляющей жары летних месяцев в Средней Азии наступает прохладная пора, а ночами подмораживает. Это время наиболее пригодно для людей и животных при дальних экспедициях по пескам и пустынным скалистым местностям.

«Далекий путь заставляет меня быть крайне осторожным»,— написал я в Асхабад перед выступлением экспедиции из Серахса. И первые же дни путешествия оправдали эти опасения, развеяв некоторые планы и надежды.

Путь по иранской земле начался с Зюльфагара, ущелья, где скрещивались границы трех государств: России, Персии и Афганистана. Оттуда караван направился на юг вдоль персидско-афганской границы. В пути мы придерживались системы, по какой то шли пустынными равнинами, то — иногда — останавливались в редких персидских селениях.

Вдвоем с Хентингтоном, я на вороном Моро, а Эльсворс на кауром иноходце, мы часто отъезжали в сторону от каравана, следовавшего намеченным путем, и осматривали местность.

Однажды, сбившись с пути, мы углубились на несколько километров в Афганистан, где нас окружили и задержали афганские крестьяне, поправлявшие арыки. Нас сопровождали только два джигита, а караван по иранской земле продолжал свой путь к ночлегу.

Когда стало ясно, что афганцы не намерены нас отпускать, Хентингтон предложил отстреливаться и уходить вскачь. Мердан шептал мне: «Аллах нас покинул! За каждого пойманного русского англичане платят тысячу рупий! У англичан здесь везде шпионы! Придется драться, иначе нас сперва сгноят в клоповнике-зендане, а потом посадят на колья перед дворцом английского резидента в Кабуле!..»

Подумав, я предложил испробовать хитроумную уловку Одиссея и ответил Мердану: «Подожди! Аллах нас еще не покинул. Это мы покинули аллаха!..» — и приказал Мердану объявить афганцам, что я, великий сархэнг (полковник), прибыл сюда специально как посол, с кем попало говорить не стану, а требую встречи с кем-либо из самых больших здесь начальников!..

Услышав такую речь Мердана, афганцы ответили, что ближайший афганский ага (начальник) находится отсюда в нескольких километрах — в военной крепости.

«Проводите меня к нему! — приказал я.— И пошлите гонца вперед, чтобы нам приготовили чай и достархан!..»

Несколько афганцев вскочили на лошадей и умчались.

Два афганца хотели взять моего коня под уздцы, но Моро, подстрекаемый шпорами, стал так злобно кусаться и брыкаться, что афганцы отбежали, и мы спокойно двинулись дальше.

Окруженные конвоировавшей толпой босоногих афганцев, мы приехали в маленькую, глиняную, полуразвалившуюся крепостцу, где уже были разостланы ковры, дымился плов и на костре стояли, подогреваясь, бронзовые кумганы с чаем.

Начальник крепости и пограничной стражи на этом участке границы, старый афганский офицер Абдул-Гамид, высокий, с бородой, наполовину выкрашенной хной, говорил с нами злобно, но вежливо, иногда проводя ладонями по красной бороде: «Как вы осмелились проехать без разрешения по афганской земле? Вы должны знать, что русским въезжать в Афганистан запрещено! Зачем вы приехали?..»

Через переводившего нашу речь Мердана мы объяснили, что это научная экспедиция, один из нас русский, но другой американец, и мы сбились с дороги, так как в этой пустынной местности пограничных знаков нет. Поэтому мы приехали сюда, чтобы нам объяснили, каким путем двинуться дальше, чтобы добраться до Сеистана, а оттуда мы направимся в Белуджистан и в Индию. Затем я добавил: «Афганцы — храбрые и благородные воины! Они не задержат мирных путников, следующих своим путем, обратившихся к ним за помощью. Разве афганцы исполняют приказы только инглезов (англичан), а не свои? Разве они не вольны поступить так, чтобы у путников осталась память об афганцах как о свободолюбивых и великодушных хозяевах?.. Или старый храбрый воин Абдул-Гамид не начальник крепости на своей родной земле?..»

Мердан старательно переводил мою речь, и мне показалось, что суровость Абдул-Гамида смягчилась. Он приказал подавать угощение, пожелал осмотреть оружие путников.

Я протянул ему свою обыкновенную старую солдатскую винтовку укороченного (кавалерийского) образца и попросил показать мне афганское ружье. Абдул-Гамид показал свою винтовку, на ее стволе было выбито английское клеймо.

Когда мы приступили к достархану, завязалась беседа, в которой Абдул-Гамид много расспрашивал о России и ее среднеазиатских владениях. Он сказал, что я первый русский, с каким ему приходится вести разговор, и дал понять,

что сам он ничего против России и русских не имеет, но, как и другие афганцы, должен выполнять приказы из Кабула своих вчерашних врагов — англичан...

Мы простились дружески. Я оставил Абдул-Гамиду в подарок свои часы, и, предварительно съев весь плов (мы изрядно проголодались, плутая в поисках пути), поблагодарив за прием и указание дороги, мы сели на лошадей.

Во все время беседы Хентингтон молчал, подозрительно посматривал на Абдул-Гамида и по сторонам, иногда доставал из внутреннего кармана меховой куртки библию, заглядывал в нее.

Мы отъехали из крепостцы спокойно, понемногу ускоряя шаг коней, перевели их на рысь и пустили вскачь, когда уже смеркалось.

За нами, наблюдая, следовало несколько афганских всадников.

Достигнув места ночлега своего каравана, где наши спутники уже разбивали лагерь, удивляясь, почему это нас нет так долго, мы услышали издалека знакомый лай Трезорки и дружно возблагодарили «аллаха, не забывшего нас!».

А некоторое время спустя, достигнув Сеистана, в русском консульстве в Хорасане мы узнали, что капитан пограничной стражи Абдул-Гамид был вызван в Кабул, где подвергся телесному наказанию за то, что отпустил, а не задержал и не доставил в Кабул «дерзких русских путников».

5. НОВОГОДНИЙ СОН

Хентингтон, специально изучавший географию и геологию местности, во время пути вел записи, делал зарисовки, фотографировал окрестности и рассказывал мне о процессе геологических изменений земной коры, объясняя, как произошли пустыни, по каким мы проезжали, почему на них нет жизни.

Он говорил, что в течение многих тысячелетий высочайшие горы, некогда существовавшие в Иране, постепенно размывались, образуя пологие холмы и широкие долины, и лишь кое-где оставались невысокие скалы, следы некогда грозных хребтов.

В древние времена восточный Иран был густо населен, имел высокую культуру. Нам постоянно попадались развалины городов, остатки крепостей, следы каналов. По мнению Хентингтона, раскопки в восточной части Персии еще принесут необычайные открытия, обнаружив следы исчезнув-

ших культур, о которых мы до сей поры ничего не знаем.

Лишь изредка мы встречали кочевья и небольшие поселения.

Путь шел большей частью по голой, выжженной солнцем безводной пустыне, где лишь иногда на горизонте проносились стада пугливых диких куланов и сайгаков да высоко в небе парили орлы.

Почему исчезли те селения, поля, сады и арыки, следы которых мы встречали? Ведь геологические изменения, о каких рассказывал Хентингтон, происходили много тысячелетий раньше и создали благодатную почву для развития жизни, а она, распустившись однажды пышным цветением, исчезла, словно ее и не было...

Останавливались на ночлег мы в открытой степи. Ночью слышались завывания и визг шакалов. Стреножив, напоив и накормив коней, уложив верблюдов, лежа возле тлеющего костра или забравшись в раскинутую палатку, мы мгновенно засыпали, усталые, измученные трудной дорогой.

Вглядываясь в окружающую мертвую пустыню, я невольно думал:

«Наверное, и климат здесь раньше был другой. Ведь по этой равнине некогда проходили многотысячные армии Александра Македонского, Чингиз-хана, Тамерлана, других завоевателей. Чем они питались? Где поили вьючных животных и коней? Что принесли они с собой и что после себя оставили?..

Разрушения, смерть, развалины городов и селений, гибель созданной веками культуры, узкую караванную тропу тысячелетней давности — все остальное занесено песком и пылью... Ради чего же воевали эти «потрясатели вселенной»?..»

Новый, 1904 год мы встретили в пустыне, отметив его наступление залпом из винтовок и скромным пиршеством.

Эта новогодняя ночь, морозная и тихая, какой начался год, оказавшийся роковым для России, стала знаменательной и для меня. В эту ночь, под утро, я увидел странный сон.

Мне приснилось, что я сижу близ нарядного шатра и во сне догадываюсь, что большой, грузный монгол с узкими колючими глазами и двумя косичками над ушами, кого я вижу перед собой,— Чингиз-хан.

Он сидит на пятке левой ноги, обнимая правой рукой колено. Чингиз-хан приглашает меня сесть поближе, рядом с ним, на войлочном подседельнике. Я пересаживаюсь по-

ближе к нему, и он обнимает меня могучей рукой и спрашивает:

«Ты хочешь описать мою жизнь? Ты должен показать меня благодетелем покоренных народов, приносящим счастье человечеству! Обещай, что ты это сделаешь!..»

Я отвечаю, что буду писать о нем только правду.

«Ты хитришь!.. Ты уклоняешься от прямого ответа. Ты хочешь опорочить меня? Как ты осмеливаешься это сделать? Ведь я же сильнее тебя? Давай бороться!..»

Не вставая, он начинает все сильнее и сильней сжимать меня в своих могучих объятиях, и я догадываюсь, что он, по монгольскому обычаю, хочет переломить мне спинной хребет!

Как спастись? Как ускользнуть от него? Как стать сильнее Чингиз-хана, чтобы ему не покориться?.. И у меня вспыхивает мысль: «Но ведь все это во сне! Я должен немедленно проснуться и буду спасен!..»

И я проснулся. Надо мною ярко сияли бесчисленные звезды. Пустыня спала. Наши кони, мирно похрустывая, грызли ячмень. Не было ни шатра, ни Чингиз-хана, ни пронизывающего взгляда его колючих глаз...

И тогда впервые появилась у меня мечта — описать жизнь этого завоевателя, показать таким, каким он был в действительности, разрушителем и истребителем народов, оставлявшим за собой такую же пустыню, как та, где спал наш караван...

Но еще много суждено было мне странствовать, видеть и пережить после этого рокового сна, прежде чем — только тридцать лет спустя — я смог осуществить эту свою мечту!..

6. ЛЮТАЯ ПУСТЫНЯ

Продвигаясь дальше на юг, наш маленький караван пересек безводную пустыню Дешти-Лут, вполне оправдывающую свое название («Лут» — означает «Лютая»). В центре восточной части Ирана на сотни километров тянутся ее песчаные равнины, прорезанные невысокими скалистыми горами, покрытые солончаками и редкими мертвыми озерами.

На берегу одного такого горько-соленого озера Немексар мы потеряли вьючного верблюда, по уши провалившегося в солончаковую трясину, и сами чудом выбрались из беспощадной западни. Все наши попытки спасти погибавшее животное и вьюки не помогли, и пришлось пристрелить обре-

ченного на ужасную смерть несчастного верблюда, одну из бесчисленных жертв Лютой пустыни.

Трудно было представить себе, что в этой суровой местности может теплиться какая-нибудь жизнь.

Однако когда, измученные борьбой с трясиной, мы остановились на ночлег у подножия невысокой мрачной голой горы, где из трещины в черной скале слабо сочилась тонкая струйка пресной воды, к нашему костру из темноты вынырнул тощий старик в войлочном белом плаще, с пастушеским посохом, а следом за ним робко подошел мальчик лет восьми с лохматой собакой.

Приняв угощение и греясь у костра, пастух, посасывая длинную самодельную трубку, рассказал нам много интересного о пустыне. Он не считал ее мертвой и говорил, что такой она кажется только чужеземным пришельцам вроде нас, а для того, кто тут родился, в пустыне есть все, что нужно,— вода, пища, животные и люди.

«В этой пустыне живет свободолюбивый кочевой народ Люти, кочующий между Индией и Красным морем. Люди этого народа хорошо знают свою родную землю, где и в какое время года появляется вода в колодцах, побеги растений, и постоянно меняют стоянки своих кочевий.

Молодые люти любят подстерегать купцов на караванных путях, а старики пасут баранов, сеют просо и собирают в горах дикие фисташки и миндаль...

У люти есть своя столица — Атеш-Кардэ, затерянная в глубине пустыни и окруженная лабиринтом гор, где постоянно никто не живет, только раз в три года посещают ее «священные камни». Дорогу в столицу знает только «посвященный».

Управляет народом Люти женщина, «правительница народа», при которой действует совет старейшин. Они тоже в столице не живут, а постоянно кочуют...»

Ночью пастух, мальчик и собака исчезли в темноте так же тихо, как появились, а караван утром двинулся дальше по такой же наводившей уныние и казавшейся нам безжизненной седой солончаковой пустыне с редкими засохшими стеблями ползучих растений, покрытых соляным кристаллическим налетом.

Продолжая спускаться на юг, мы вскоре оказались в совершенно первобытных местах, лишенных всяких признаков человека, без дорог, сильно пересеченных множеством скал и глубоких расщелин. Нам стало ясно, что, блуждая между ними, мы потеряли ориентировку, заблудились.

Наш проводник, нанятый несколько дней назад в последнем персидском селении, оказался териакешем (опиекуром). Он и раньше внушал подозрение, а тут заговорил о том, что «впереди три дороги, все три плохие, без воды, а на дорогах много карапшик...».

Он стал требовать прибавки себе в десять кранов и териак, пояснив, что без опиума не может идти дальше. Получив деньги и опиум, проводник завернул краны в чалму, проглотил коричневый шарик опиума и предложил нам повернуть обратно...

Положение каравана стало опасным.

Погибший верблюд унес с собою два бурдюка с водой и часть продовольствия и снаряжения.

Кроме этого, на прошлом переходе приступ лихорадки охватил молоканина Михаила, и он почти лежал в седле без сознания, обхватив руками шею своего жеребца. Курбан постоянно ехал рядом с ним, следя за тем, чтобы Михаил не упал с седла.

Чем дальше мы продвигались, тем больше убеждались в том, что заблудились. Уже смеркалось, а мы еще не встретили ничего похожего на дорогу или признаки ручья или колодца. Разбивать ночлег на солончаке не хотелось, он не принес бы отдыха ни людям, ни животным.

Хентингтон в ярости называл проводника хэмбогом, ругал карту и возмущался, крича о том, что «теперь вся равнина от Зюльфагара до Белуджистана через несколько дней будет знать, что мы простаки, которых может легко обмануть последний териакеш, и все азиаты станут над нами потешаться!..».

Эльсворс опасался и того, что проводник нарочно завел нас сюда, в это дикое место, чтобы передать в руки бродячих разбойников, и требовал продолжать путь, строго идя на юг по компасу.

Я же прислушался к совету старого многоопытного Мердана, предложившего повернуть на восток, к афганской границе, туда, где, по его словам, «в предгорьях можно встретить селения и кочевья, туда докатываются горные ручьи. А на юг продолжает тянуться голая безводная пустыня...».

Наши мнения разделились, и мы решили идти дальше разными путями, наметив пункт встреч примерно на сто километров южнее, в расчете попасть туда через три-четыре дня. Если бы встреча не состоялась, то каждый должен был идти на выручку другому.

Хентингтон с караваном, проводником, больным Михаилом и Курбаном направились на юг.

Когда звон верблюжьих боталов затих вдали, Мердан, Хива-Клыч и я повернули своих коней головами на восток.

7. ПРАВИТЕЛЬНИЦА НАРОДА ЛЮТИ

Первые сутки пути не принесли нам облегчения, но Мердан был уверен в том, что мы найдем воду, и продолжал вести нас на восток.

Когда снова спустилась ночь и наши кони вновь пошли чутьем, то спускаясь, то поднимаясь по склонам каменистых холмов, то в непроглядной темноте вдали сверкнул и погас огонек. А где огонь — там люди, вода и пища; и надежда придала нам силы.

Подъехав ближе, мы увидели большой костер, вокруг которого двигались, закрывая его пламя, женские фигуры в длинных развевающихся одеждах. Отблески костра освещали несколько черных шатров, распластавшихся как крылья летучей мыши.

Под ноги нашим вздыбившимся коням, давясь хриплым лаем, бросились огромные лохматые собаки. Женщины всполошились, забегали, пронзительно закричали и, подбирая с земли, стали бросать в нас камни.

Когда мы подъехали к самому костру, из темноты выбежал седобородый старик в чалме и, яростно размахивая руками, отгонял нас. Мердан что-то кричал старику по-афгански, а Хива-Клыч пытался объясниться по-персидски и туркменски, но это плохо помогало.

Женщины, закрывая руками нижнюю часть лица, продолжали визжать. Камень пролетел мимо моего уха, другой ударил в коня Мердана.

В растерянности мы попятились, но тут из-за шатров выбежала маленькая смуглая девочка в красной одежде, расшитой звенящими серебряными монетами, что-то крикнула женщинам, и те сразу успокоились. Старик отошел, продолжая ругаться и шипеть. Подойдя к нам, девочка очень быстро заговорила на языке, похожем на персидский.

Хива-Клыч приступил к переговорам, и оказалось, что мы попали в кочевье Машуджи — одного из племен народа Люти, где живут одни женщины, и поэтому мужчинам, а тем более кяфирам (неверным), тут нечего делать. Но в кочевье есть старшина, тоже женщина,— Биби-Гюндюз, она хочет повидать путников и просит нас пройти в ее шатер.

Женщины отозвали собак, припяли и увели наших коней.

Законы восточного гостеприимства свято соблюдаются всеми народами Азии, и поэтому с той поры, как мы были приняты в качестве гостей в чужом кочевье, нам больше не следовало беспокоиться ни о себе, ни о своих конях.

Звеня монистами, девочка повела нас за собой и, приподняв полог, ввела в полутьму одного из шатров, усадила на ковер перед струйкой голубого дымка, дрожавшего над тлеющими углями очага.

Немного присмотревшись, мы увидели по другую сторону очага неподвижно сидящую в позе Будды женскую фигуру с опущенными глазами. Это и была Биби-Гюндюз — правительница племени.

Красная шелковая одежда с нашитыми золотыми монетами и украшениями покрывала ее плечи. Голову укутывала шаль, поверх нее надета золотая конусообразная тиара с золотыми подвесками на цепочках. Блики костра освещали красивые застывшие тонкие черты коричневого лица рано постаревшей или очень моложавой женщины, насурьмленные прямые брови, синюю точку над переносицей. На бронзовой шее и груди висело несколько ожерелий крупных изумрудов и бирюзы.

Хива-Клыч начал вежливый восточный разговор о здоровье баранов, коней и верблюдов Биби-Гюндюз, о ее здоровье и о здоровье всех женщин ее племени, а потом рассказал о пути нашего каравана через соляную пустыню к границам Индии.

Биби-Гюндюз слушала молча, неподвижно, опустив взор.

Услышав, что в экспедиции есть «большой мулла» американец, рисующий горы, она подняла узкие черные глаза и остановила на мне пристальный загадочный взгляд.

«Я знала о вашем караване и раньше,— сказала Биби-Гюндюз тихим мелодичным голосом.— Твой товарищ рисует горы, чтобы потом отнять их у тех, кто живет в этих горах? И ты тоже?.. А в Индию вас не пропустят. В Белуджистане стоят большие отряды англичан, они никого не пропускают...»

Я успокоил Биби-Гюндюз, сказав о себе, что я «искатель истины», брожу по свету, чтобы узнать, где и как живут люди и в чем их счастье...

Взгляд Биби-Гюндюз немного потеплел. «Так ты дервиш? Дервиш-ференги? Таких я еще не встречала...» И она попросила рассказать ей о моих путешествиях.

Услыхав о том, где я побывал, Биби-Гюндюз сказала: «О! Ты еще очень мало видел, немногое знаешь! Ты еще совсем молодой! Долго тебе еще предстоит ходить и искать, прежде чем ты поймешь, что за счастьем никуда ходить не надо. Оно у каждого народа на его земле. Счастье — в свободе народа, у его родного очага, в его любимом занятии, в кругу его родных и соплеменников!..»

Затем Биби-Гюндюз рассказала о племени машуджи, о том, что свой шатер она раскидывает и на зеленых высокогорных лугах Гималаев, и в желтых песках Аравии. Когда я заинтересовался тем, как это она может так свободно кочевать через границы многих государств, Биби-Гюндюз поведала чудесную легенду о своем племени; в ее правдивость она глубоко верила, а мне этот рассказ показался сказкой.

«В очень древние времена, когда на вершинах здешних гор еще росли кедры, а в рощах щебетали птицы, Искандер Двурогий пересекал со своим войском пустыню Дешти-Лут. Искандер умирал от жажды, а с ним погибало все его войско, не подозревавшее о близости колодцев со сладкой водой.

Находившаяся неподалеку в своей столице Атеш-Кардэ правительница свободного народа Люти пожелала увидеть Великого завоевателя, явилась к нему в лагерь и указала Искандеру на ключ сладкой воды.

Искандер напоил свое войско, провел ночь в беседах с правительницей Люти, а уходя в поход, оставил ей фирман (указ), разрешающий на вечные времена свободный проход народу Люти по всем землям, через все границы основанного Искандером государства и освобождающий Люти от налогов и сборов на десять тысяч лет вперед, с одним условием: главой народа всегда должна оставаться женщина.

Женщины миролюбивы, не устраивают заговоров, восстаний и не любят войн.

В том же году у правительницы родилась дочь — ставшая правительницей народа после смерти своей матери, а от нее произошли все остальные правительницы свободного народа Люти, и Биби-Гюндюз — потомок той правительницы, что провела ночь в беседах с Искандером...

С той поры нигде, ни в одном государстве Азии, не спрашивают у Люти разрешения пересечь границу, и ни один сборщик налогов не осмеливается заглядывать в их шатры...»

Когда я заинтересовался судьбой фирмана Искандера, Биби-Гюндюз сняла с груди и показала большой, висевший

на цепочке, серебряный амулет, похожий на початок кукурузы или еловую шишку, сказав, что в нем, передаваемый из рода в род, хранится легендарный фирман.

В амулете, открывающемся наподобие медальона, лежал свиток пергамента, высохший и кофейного цвета от времени, испещренный слабо различимыми значками, похожими на древнегреческие буквы. Узнав, что мне знаком греческий язык, Биби-Гюндюз разрешила прочесть и переписать то, что разберу, чтобы потом перевести на язык ее племени.

Женщины, закрывая лица головными платками, принесли восточные сладости и после угощения отвели нас в другой шатер, где уже были сложены наши уздечки, седла и хуржумы, и там мы провели остаток ночи.

Часть времени я провел в рассматривании и копировании при слабом свете огонька масляного фитиля, плававшего в глиняной плошке, тех немногих сохранившихся строк, по-видимому письма «Великому Александру» от его воина, попавшего в плен к скифам после неудачной для македонцев битвы у Яксарта (Сырдарьи)...

Ночью Мердан несколько раз выходил из шатра смотреть наших коней и ворчал, подозрительно оглядываясь, что мы «попали к ворам-цыганам, только и ждущим момента, чтобы нас зарезать и забрать наших коней».

До известной степени у него были основания так думать.

С нами ночевал старый мулла, вскакивавший при каждом нашем движении, посылавший проклятия «всем кяфирам!», всматриваясь в нас ненавидящими глазами.

Утром те же женщины принесли нам плов с финиками, а затем подвели хорошо выстоявшихся, отдохнувших, накормленных и напоенных, оседланных наших коней.

Перед самым отъездом подошла и Биби-Гюндюз. На этот раз на ней не было надето никаких украшений, и внешне она ничем не отличалась от других женщин ее племени. Биби-Гюндюз деловито осмотрела коней, потрогала подпруги, проверила, наполнены ли наши бурдюки, и пожелала счастливого пути.

Рядом с ней была так на нее похожая смуглая девочка, встретившая и проводившая нас в шатер Биби-Гюндюз минувшей ночью...

Возвращая амулет со свитком, я не стал разочаровывать Биби-Гюндюз; наоборот, подтвердил древность папируса и, поблагодарив за гостеприимство, пообещал прислать ей точный перевод фирмана Искандера через первых же встреченных нами кочевников-белуджей.

Биби-Гюндюз разрешила сделать несколько фотоснимков ее шатров и женщин Люти, я обещал прислать ей и фотографии, конечно уже из Асхабада; несколько фотографий, сделанных в кочевье женщин машуджи, чудесным образом сохранились до наших дней.

Так, с невольной помощью проводника-териакеша, завлекшего нашу экспедицию в эти дикие места, на отлете от проторенных караванных троп, я увидел необычайное,— побывал в кочевье амазонок племени Машуджи, повидал правительницу свободного народа Люти и фирман Искандера.

Впоследствии эти встречи и впечатления помогли мне написать рассказы «Ватан» и «Письмо из скифского стана».

8. «ЗАДЕРЖАТЬ ДЕРЗКИХ ПУТНИКОВ!»

К вечеру следующего дня в условленном месте встречи, поднимаясь по крутому склону оврага, мы увидели на вершине холма маленькую человеческую фигуру. Хентингтон, сидя на складном стуле, читал свою любимую библию. Невдалеке виднелась растянутая палатка, возле нее лежали верблюды и паслись стреноженные лошади, возле костра ходили Курбан и Михаил.

«Все ли благополучно? Отчего вы не в походе?..» — радостно закричал я издали Эльсворсу и галопом поскакал на холм.

«Все отлично... О'кей!.. Но сегодня воскресенье! Как истинный верующий я считаю своим долгом в этот день предаваться отдыху и размышлениям...» — объяснил мой американский спутник.

После долгого тяжелого пути мы прибыли в Сеистан. Эта очень болотистая область восточного Ирана, лежащая на кратчайшем пути из Средней Азии в Индию, орошается и затопляется разливами реки Гильменд, теряющейся далее в песках, не добравшись до Персидского залива.

В древнейшие времена Сеистан славился как родина легендарного иранского героя Рустема, был богатейшей провинцией Персии. Он не раз подвергался нашествиям и опустошениям, а в последний раз был разгромлен и начисто ограблен Тамерланом и после того уже не смог оправиться.

При посещении Сеистана нашей экспедицией, по этой наполовину заболоченной равнине, пустынной и невозделанной, кочевали воинственные белуджи со своими стадами.

Сеистан (или Белуджистан) долго был «яблоком раздора» между Ираном и Афганистаном, пока в 1872 году он не был разделен между ними, конечно, при «посредничестве» Англии. Однако такое искусственное разделение страны, выгодное только «посреднику», никак не смогло устроить единое по национальности население Сеистана, привело к возникновению множества постоянных пограничных инцидентов.

В Сеистане мы посетили одного из местных белуджийских ханов и, как водится, «поднесли дары». Хан нас принял радушно и в разговоре за достарханом сказал:

«Я благодарен вам за подарки, но мне нужно другое... Со мной все время воюет мой брат, правитель соседнего округа в Афганистане. Ему тайно помогают англичане — дают оружие. Почему русский царь, такой могучий, не пришлет мне несколько пушек? Я бы тогда справился со своим братом и стал жить в вечной дружбе с русским царем!..»

В Нусретабаде, административном центре провинции, мы были приняты в русском консульстве и узнали, что дальше, через афганский Сеистан (Белуджистан), к индийской границе (до нее оставалось менее 100 километров!) англичане нас не пропустят. Между тем незадолго до нас несколько немецких путешественников свободно проехали здесь в Индию.

В консульстве мы узнали и о том, что англичане, оберегавшие и старавшиеся удерживать в своих руках все подступы к Индии, зорко следившие за каждым русским, направлявшим свои шаги в сторону «жемчужины британской короны», были встревожены и этой нашей экспедицией.

Английские консулы получили приказ — чинить нам в пути всяческие препятствия и, если удастся, задержать экспедицию, вероятно потому, что один из ее руководителей был русский!

Шайки бродячих разбойников высылались нам навстречу с целью перехватить караван и разделаться с ним в пустыне, навсегда скрывшей бы тайну его исчезновения.

Но у меня в пути было правило, по какому, расспрашивая у встречных о предстоящей дороге, я своими вопросами наводил собеседника на ложный след, сам направляясь вовсе по иному пути. Так нам удалось избежать нежелательных встреч и преследований, благополучно пересечь Персию.

В своем рассказе «Афганские привидения», написанном

вскоре, я поведал об одной такой нежелательной встрече, едва не закончившейся трагически для нашей экспедиции.

В Сеистане пришлось прервать наш путь к Афганистану, Индии и Персидскому заливу еще и по другим причинам.

Поступили известия о коварной атаке японскими миноносцами русского флота в Порт-Артуре [1].

Мои денежные средства совсем иссякли.

Хентингтон неожиданно получил телеграмму от директора института Карнеги с распоряжением вернуться в Америку.

Мы «повернули головы коней обратно» и двинулись на север, но другими, более западными путями, через персидские города.

9. КРЕПОСТЬ ЯЗЫЧНИКОВ

На обратном пути мы видели еще немало удивительного.

Город, разрушенный землетрясением накануне приезда нашей экспедиции, и другой город, в Сеистане, расположенный посреди болотистого озера.

Этот необитаемый город, по улицам его можно было ездить только на плотах, сделанных из связок камыша в форме сигар, покинули по неизвестным причинам все его жители в давние времена.

Его единственной обитательницей оказалась рыжая лисица, метавшаяся по городским крышам и переулкам, снова и снова выбегавшая нам навстречу.

Мы посетили «священный город Мешхед», центр Хорасанской провинции, где фанатичные правоверные мусульмане считали за высшую честь быть похороненными. Поэтому туда отовсюду привозили покойников, часто издалека, и город окружало сонмище бесчисленных могил, отмеченных однообразными надгробиями.

В Мешхеде мы воспользовались очень любезным приемом у русского генерального консула Панафидина. Здесь моя командировка была продлена еще на месяц, консул снабдил меня небольшой суммой денег и пообещал продать наших двух уцелевших верблюдов; надобность в них миновала, большинство вьюков опустело, мы всегда имели воду в пути и приближались к русской границе.

---

[1] Японские миноносцы атаковали русскую эскадру на рейде Порт-Артура в ночь на 26 января 1904 года.

Вскоре после выезда из Мешхеда, на последнем этапе обратного пути, мы услышали от местных жителей о каких-то развалинах на вершине одинокой горы, где будто бы в древние времена жил грозный разбойник, державший в страхе всю округу и хранивший там сокровища. Гора называлась Кяфир-Кала (Крепость язычников).

Суеверные Мердан, Курбан и Хива-Клыч отказались лезть на гору, и, оставив караван с джигитами в селении, Хентингтон с Михаилом и я выехали к Кяфир-Кале.

Подняться на гору сперва показалось делом невозможным.

С трех сторон скала была почти отвесной и гладкой. С четвертой стороны громоздились огромные обломки скал. Все же на одной отвесной стороне мы увидели еле заметные следы горных коз и решили не отступать. «Если на вершину прошли козы, то проберется и человек!..»

Мы с Эльсворсом оба хотели доказать, что американец и русский не уступят друг другу в настойчивости и ловкости, и стали ползти по едва заметной тропинке.

Вскоре она прервалась возле отвесной стены. Дальше предстояло взбираться вверх под углом в сорок пять градусов по совершенно гладкой, точно отшлифованной скале. Мы поглядели друг на друга и сказали: «Иншалла!» (С нами бог!)

Хентингтон полез первым, я вслед за ним, готовый подхватить, если сорвется.

До сих пор я вижу перед собою этого маленького, слегка сутулого, настойчивого человека и то, как он, распластавшись, карабкается, стараясь воспользоваться каждым незначительным бугорком. Наконец он взобрался наверх, уселся над обрывом и сейчас же раскрыл библию, посматривая на меня и подавая советы.

Ощупывая каждую выпуклость, я подымался следом, и до вершины уже оставалось ползти метра четыре, но тут из ножен, висевших на поясе, выскользнул кинжал, задержался и остался лежать на откосе.

Я уже близко видел толстые, подбитые гвоздями подметки сапог моего американца, но сделал движение, пытаясь поймать кинжал, мой сапог соскользнул с бугорка, на какой опирался, и я стал медленно сползать в пропасть...

Мысли завертелись вихрем: «Неужели конец?.. Еще пара метров, и я свалюсь в пропасть!..» Бросив взгляд искоса вправо, я увидел глубоко внизу Михаила и наших коней, маленьких, как муравьи... Но тут я почувствовал, что нога

оперлась о небольшой бугорок, и перестал соскальзывать вниз.

Взглянув влево, я не поверил глазам своим: из-за грани скалы показалась смуглая волосатая рука, высунулась лохматая голова с всклокоченной полуседой черной бородой, и полуголая, в лохмотьях, фигура выскочила на скалу, ловко схватила кинжал и быстро сползла в пропасть...

С отчаянной энергией дополз я до вершины горы, и там мы с Эльсворсом пожали друг другу руки.

На каменной площадке вершины горы Хентингтон нашел остатки какой-то постройки и зарисовал их.

Обратно мы спустились иным путем, по обломкам скал.

В персидском селении, где нас ожидал караван, жители рассказали о таинственной фигуре, схватившей упавший кинжал.

«Это полусумасшедший Мамед-Али, ставший дервишем после того, как при сильном землетрясении его жена и дети провалились в разверзшуюся землю. Он живет на Кяфир-Кале, умеет туда пробираться по одному ему известной тропе над пропастью...»

О рискованном подъеме на Кяфир-Калу и своих переживаниях я написал уже в советское время рассказ «Демон Горы».

От Кяфир-Калы наша экспедиция быстро и без приключений достигла русской границы и 1 марта была в Асхабаде.

Хентингтон вернулся в Америку не задерживаясь.

В Асхабаде по итогам экспедиции я написал подробный отчет, представив его начальнику области, а тот переслал его в штаб Туркестанского военного округа, откуда отчет направили в военное министерство.

Четвертый месяц шла русско-японская война, и я вскоре выехал в Петербург, чтобы добиться назначения в Маньчжурию, на фронт, военным корреспондентом.

Так же, как Хентингтон, я вел дневники и делал зарисовки в пути, фотографировал, но почти все записи об этой экспедиции, как и о других поездках по Средней Азии, погибли в огне войн и революций.

Остались немногие заметки, очерки, рассказы, напечатанные в петербургской и асхабадской прессе тех лет, фотографии, рапорты в архивах Ашхабада и Ташкента, да в

советское время я написал несколько рассказов, в основу каких легли воспоминания о моих путешествиях по Средней Азии начала нашего века.

10. КЛАДОВАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

За этот свой первый период службы в Средней Азии я много раз отправлялся в поездки и путешествия по пустыням и горам, кочевьям, поселкам и городам.

Трижды я посетил Ташкент, будучи членом «Саранчового комитета», изучая методы борьбы с саранчой и договариваясь в туркестанском губернаторстве о приобретении французских конных аппаратов Вермореля (своих, русских, аппаратов тогда не было) для уничтожения «кобылки».

На обратном пути из Ташкента побывал я в Ферганской долине и в столице Бухарского эмирата.

Для «Саранчового комитета» я составил программу действий и проехал по прикопетдагской полосе в поисках участков, где притаились личинки саранчи, а затем руководил отрядами по уничтожению этого ужасного губителя посевов и растительности.

Я сопровождал Суботича в его поездке на полуостров Мангышлак и в некоторых других инспекциях, а позже посетил Северную Персию уже как член «Сельскохозяйственного комитета» — для ознакомления с экономическим и продовольственным положением населения в соседних с нами персидских провинциях. Там, как и в Закаспии, часто свирепствовал голод, бывали засухи, неурожаи, и все растущее пожирала саранча.

Несколько продолжительных поездок верхом вдвоем с туркменом-переводчиком были у меня по восточным землям, аулам и поселкам Асхабадского уезда, для выяснения положения и нужд туркменского населения в землепользовании, распределении воды, народном образовании, в необходимости продовольственной помощи.

Тогда же напечатал я несколько очерков и статей в местных газетах на актуальные темы: «О мерах сближения населения Туркестанского края с русскими», «О ташкентских русско-туземных школах», «О вражде туркменских племен из-за нехватки земли и воды», о нашествиях саранчи и борьбе с нею, о своих поездках по Закаспию, наблюдениях жизни туркмен.

Помня наставления своего отца и учителя о том, что «детям принадлежит будущее», куда бы меня ни забрасывала судьба, я не оставлял без внимания детей, заглядывал в школы, если встречал их на своем пути.

А так как тогда не было школ для туркменских детей (в лучшем случае дети богатых и знатных родителей-туркмен учились грамоте и счету по корану и шариату в мусульманских духовных школах у мулл, ишанов, табибов и прочих местных мракобесов), я думал о том, как организовать школы для всего туркменского народа, пытался это сделать.

Посещая туркменские кочевья, я обычно собирал туркмен на сходы, где выслушивал и записывал их жалобы и пожелания для доклада начальнику области.

Здесь, в Туркмении, как и прежде в России, в период своего «хождения по Руси», меня особенно волновала неграмотность коренного населения, отсутствие школ. В одном из рапортов осени 1903 года я написал от имени туркмен кочевий, где побывал:

«Аул Безмеин: мы очень просим, чтобы правительство помогло нам и открыло школу, где бы наши дети учились разным ремеслам...»

«Аул Геокча: мы очень желаем, чтобы наши дети учились в какой-нибудь школе русскому и мусульманскому письму...»

«Аул Кипчак: кипчакцы желают, чтобы их дети учились разным ремеслам... теперь умеют читать и писать по-туркменски только 5—10 мальчиков из 100...»

«Аул Янкала: просим построить в ауле... школу, хотя бы самую простую. Наши дети ничему не учатся, растут дикарями...»

На этот рапорт начальник области наложил резолюцию: «Вот это — дело! Нужно обсудить».

Впоследствии, в январе 1904 года, когда я был в Персии, на заседании областного «Сельскохозяйственного комитета» присутствовавшие старшины поименованных в рапорте аулов «...заявили, что их общества подобных ходатайств не возбуждали...», однако они высказались в поддержку желательности устройства школ в аулах.

Как я узнал позже, в конце того же года в Ташкенте обсуждалась возможность открытия в Асхабаде ремесленного училища для мальчиков-туркмен.

Начавшаяся русско-японская война надолго отвлекла общественное внимание от поставленной проблемы организации школ для туркменских детей, и решена она была окончательно только через два десятилетия, в советскую эпоху.

Когда весной 1904 года я покидал Асхабад, генерала Уссаковского повидать мне не пришлось, а его адъютант ротмистр Качалов очень надменно сказал мне, чтобы я не рассчитывал на свое возвращение в Асхабад.

«Если вы вздумаете потом вернуться с Дальнего Востока сюда, то мы вас обратно не примем!..»

«Как понимать слово «мы»? Кто это «мы»? — спросил я.— «Мы» — это вы или генерал Уссаковский?..»

«Это одно и то же»,— ответил Качалов.

Таково было отношение чиновничье-офицерского «общества» Асхабада, вначале дружески принявшего меня за своего, а потом, за малым исключением, относившегося враждебно.

Этих людей снедала зависть, порождавшая ненависть, потому что, погруженные в заботы только о собственном благополучии, любопытные только в части провинциальных дрязг и сплетен, они не видели дальше своих эгоистичных интересов, а на страну, где жили, и на ее народы смотрели как на свою колонию и на туземцев.

Я же, за годы, проведенные в Средней Азии, полюбил ее голубые дали, изучал историю, культуру, языки среднеазиатских народов, написал ряд статей и рассказов о них, держал себя независимо, не прислушивался к власть имущим, а шел своей дорогой, мечтал о новых путешествиях, накапливал знания и впечатления, продолжая искать, где же он, счастливый Зеленый клин — мечта обездоленных землепроходцев...

В своем последнем, прощальном письме из Ревеля (куда заехал проститься с матерью, уезжая на фронт в Маньчжурию) я написал генералу Уссаковскому:

«...Оставляя Закаспийскую область, прошу принять мою искреннюю признательность за все предписанные мне командировки в Каракумские пески, Афганистан, Персию и за всю мою работу в области, исполненную по мере сил, что все дало мне драгоценнейшие сведения и знакомство со Средней Азией...»

Увиденные на рубеже двадцатого столетия картины полуфеодальной жизни народов Средней Азии много лет спустя дали пищу моему воображению, чтобы воскресить из небытия сцены жизни древнего Хорезма в повести «Чингиз-хан». Внешность эмира бухарского помогла созданию облика Хорезм-шаха Мухаммеда, посещение Хивинского ханства, островов прокаженных, путешествие через Каракумы и Персию помогли изобразить эпизоды жизни и гибели Хорезма...

Эти поездки дали мне краски, впечатления и понимание души восточного человека.

Москва, 1947—1948

В. ЯН И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Mente terras et saeculasque peragro[1].

I. ОЧАРОВАННЫЙ «ВСАДНИК»

1. В ВИХРЕ СТРАНСТВИЙ

Бывают события, оставляющие в человеке неизгладимый след. Для жизни В. Яна таким «роковым» событием оказался его приезд в Туркмению на рассвете декабрьского дня 1901 года.

Журналист В. Г. Янчевецкий — будущий писатель В. Ян — прибыл в Среднюю Азию молодым (26 лет), но уже бывалым человеком, полным сил и замыслов.

Родившийся на Украине в семье учителя древних языков киевской гимназии, выросший в стенах гимназий Риги и Ревеля (Таллина), где позже преподавал его отец, затем окончивший историко-филологический факультет Петербургского университета, В. Ян отказался от выгод служебной карьеры.

Он «предался вихрю скитаний», куда его влекли бескорыстие, любознательность, неудовлетворенность окружающей средой, стремление познать жизнь трудового народа России, увидеть, «чем люди живы», какова «правда жизни».

С посохом странника и котомкой, в мужицкой одежде несколько лет отдал В. Ян «хождению по Руси», существуя на редкие заработки от публикаций его очерков с дороги, позже составивших первую книжку писателя «Записки пешехода». В этом хождении не раз он попадал в опасные положения, откуда выручали находчивость и мужество. Везде видел картины неграмотности и невежества, неурожая и голода, бесправия трудового народа.

Очерки о «хождении по Руси» были замечены газетными редакциями, и ему предложили, для сравнения, посетить промышленную Англию.

Около года живет В. Ян в викторианской Англии эпохи англо-бурской войны; он объезжает на велосипеде небольшие города и поселки Южной Англии, встречается с горожанами и фермерами, шахтерами и докерами, интеллигенцией и аристократией; работает в библиотеке Британского музея, где впервые читает запрещенные в России революционно-демократические издания.

В Лондоне он наблюдает шовинистический угар, подогреваемый колониальной войной, слушает воинственные выступления молодых У. Черчилля и Р. Киплинга; посещает видных англичан той поры, среди них писателя А. Конан Дойла, поэта О. Уайльда, режиссера Г. Крэга, историка флота Ф. Джейна, издателя В. Стэда.

Здесь в 1900 году он получил письмо старшего брата Д. Г. Янчевецкого, упоминающегося в заметках «Голубые дали Азии», привед-

[1] «Мыслью землю и столетия прохожу» — любимое латинское изречение В. Яна.

шее вскоре «пешехода» на берег Каспийского моря, где ему суждено было превратиться во «всадника».

В своих заметках В. Ян рассказывает далеко не обо всем происшедшем за первый период его пребывания в Средней Азии (1901—1904), а лишь то, что он смог вспомнить через четыре с лишком десятилетия, о наиболее глубоко врезавшемся в память, легшем в его творческую «кладовую воспоминаний».

Первые впечатления, полученные тогда в Средней Азии, стали для В. Яна самыми сильными и незабываемыми. Они забросили в его поэтическую душу семена творческих всходов, проросшие много позже живыми картинами и образами героев крупных художественных произведений.

«Эти скитания по Азии дали мне массу впечатлений, ставших основой, фоном моих исторических сочинений,— говорил В. Ян.— Тогда я полюбил желтые песчаные равнины, голубые дали и снежные хребты беспредельной Азии...

Тогда же я впервые заинтересовался грандиозными фигурами беспощадных восточных завоевателей, повелителей бесчисленных диких орд старой Азии, их войнами и набегами на запад.

Тогда же впервые зародилась идея написать повесть о монгольском урагане, пронесшемся над Азией, Русью, Европой и грозившем гибелью всей мировой культуре...»

После отъезда в Маньчжурию, на фронты русско-японской войны, и двух лет пребывания на Дальнем Востоке, службы в Приамурье, Владивостоке, Хабаровске (1904—1906) В. Ян возвращается в Среднюю Азию.

На этот раз (1906—1907) он живет в Ташкенте, служит в Переселенческом управлении Туркестана в должности «статистика Сырдарьинского переселенческого района».

На бричке или верхом ездит В. Ян по опаленным солнцем унылым пространствам Голодной степи или вдоль желтых обрывистых берегов Сырдарьи и Арыси, выискивая подходящие места для устройства на них новых поселков.

Но пригодные земли были заселены, а чтобы отвоевать у Голодной степи новые пашни и пастбища, надо было многое построить, затратить огромные средства, бывшие не под силу России после проигранной войны, и все возраставшему потоку переселенцев из центральных губерний России и с Украины негде было осесть.

В 1907 году В. Ян возвратился в Петербург. Здесь он служит в редакции газеты «Россия», публикует в ней рассказы и очерки о Средней Азии и на другие темы, преподает латынь в 1-й петербургской гимназии, откуда впоследствии выйдут его ученики [1], ставшие выдающимися советскими литераторами, позже благодарно вспоминавшие своего гимназического учителя.

С 1910 года В. Ян начинает издавать и редактировать в Петербурге журнал для учащегося юношества «Ученик»; в нем он печатает свои рассказы, очерки, беседы с читателями, а с 1912 года из номера в номер публикует повесть (незаконченную) на среднеазиатскую тему — «Афганский изумруд».

Появившаяся семья, регулярная служба и жизнь горожанина удерживают, но не удовлетворяют В. Яна. Постоянно его тянет на бескрайние просторы Азии, и он использует в эти годы (1907—1912)

[1] Драматург Вс. Вишневский, поэт Вс. Рождественский, писатели Леонид Борисов и Евг. Федоров.

каждую возможность покинуть постылые ему хмурые проспекты чиновной столицы, часто уезжая в дальние поездки.

То он на пароходе в плавании от Одессы до Каира вдоль берегов Малой Азии; то он в Австро-Венгрии и в Сербии на IX конгрессе Славянских журналистов; то в заполярной морской экспедиции к Новой Земле; то уезжает в Копетдагские горы и Северную Персию, охваченную огнем второй иранской революции...

Возвращаясь к служебным редакционным и учебным занятиям, он пишет новые очерки и рассказы о своих путешествиях [1], призывающие изучать, развивать, заселять Азию. Живет В. Ян на берегу Невы, но сердце его остается под солнцем Азии, и он высказывает сокровенные думы в таких стихах:

Уж много дней неутомимо
Дождь тихо шелестит в стекло,
Несутся экипажи мимо,
И в комнате моей тепло...
Здесь книги, кресло и камин,
Но все же здесь я — на чужбине.
Мечтой я далеко — в пустыне,
Где конь со мной и я один...

В 1912 году В. Ян с семьей надолго уезжает за границу, становится иностранным корреспондентом и представителем Русского телеграфного агентства [2] в Турции и на Балканах.

Два года он живет в Константинополе (Стамбуле), посылает отсюда в Петербург свои корреспонденции о Ближнем Востоке, Малой Азии, Балканах. Своим бывшим ученикам-гимназистам он посылает, публикуя в «Ученике», серию «Писем из Турции».

С началом первой мировой войны В. Яна переводят в Румынию, тогда еще нейтральную. Оттуда он возвращается в Россию уже после Октябрьской революции, весной 1918 года.

В. Ян уже немолод, но период «скитаний и исканий» с возвращением на родину для писателя не закончился. Он продолжался для него еще десять лет.

В годы гражданской войны сложные пути забросили В. Яна с семьей, через Украину и Урал, опять же в Азию, в Сибирь. Здесь, лишь в 1920 году, с установлением Советской власти в Сибири, В. Ян — год учитель школы и писарь небольшого села Уюк в Саянских горах, недалеко от «центра» Азии — города Кызыла, столицы Тувы.

Затем два года В. Ян редактирует минусинскую газету «Власть труда», печатает в ней свои очерки, фельетоны и пишет для городского театра первые советские пьесы на злобу дня [3], пьесы для детей, тогда же поставленные на сцене.

Приехав в Москву в 1923 году, В. Ян вскоре опять уезжает.

Как один из русских специалистов, посланных на помощь преобразуемой Советской Средней Азии, В. Ян два года живет в Самарканде (тогда столице Узбекистана), служит экономистом Узбекского госбанка и сельхозбанка (1925—1927).

---

[1] «В Черном море», «В Босфоре», «В Афинах», «Записки русского путешественника», «На русском Севере», «В защиту Приамурья», «Япония и Корея», «Неиспользованные богатства Сахалина» и др.

[2] СПТА (Санкт-Петербургское телеграфное агентство), с началом мировой войны ПТА (Петроградское телеграфное агентство).

[3] «Невеста красного партизана», «Колчаковщина», «Деревня, проснись», «Нота лорда Керзона», «Красноармейская звезда» и др.

В эти годы здесь происходили коренные революционные изменения отсталой культурно и экономически бывшей окраины царской империи, знакомой В. Яну по воспоминаниям молодости,— передел владением землей и водой, раскрепощение женщины, устройство школ, создание народной власти, борьба с религиозным мракобесием и басмачеством.

Помогая строить новую жизнь вместе с многими другими русскими специалистами, В. Ян не остается в стороне от вулканических преобразований общества, включается в этот процесс, вернувшись одновременно к творческой работе. Он пишет очерки и статьи о новой, Советской Средней Азии, об ее искусстве, музыке и танце, публикуемые местной и московской печатью [1].

В Самарканде В. Ян знакомится с молодой узбекской интеллигенцией, ее поэтами, писателями, театральными деятелями, актерами и танцорами. Он пишет комедию «Худжум» («Наступление») о раскрепощении азиатской женщины.

Эту пьесу, сперва поставленную на русском языке в самаркандском театре, затем переведенную на узбекский язык поэтом Чолпаном, в постановке Узбекского госдрамтеатра (режиссер Уйгур) показали в 1930 году на Всесоюзной олимпиаде искусств народов СССР в Москве; позже эта пьеса шла на многих сценах Средней Азии.

«Кому не знакомы те рабские условия, в которых пребывала восточная женщина,— сообщалось тогда в либретто к пьесе, показанной на олимпиаде,— и в каких она и поныне томится в отдельных странах Востока вне пределов Советского Союза!..

Узбекская женщина, даже не мечтавшая до революции о раскрепощении, после Октября вышла на широкую дорогу социалистического строительства наравне с мужчинами...

Пьеса «Худжум» представляет собой один из многочисленных эпизодов великой борьбы за освобождение, какую вела узбекская женщина...»

2. «ВОСПОМИНАНИЙ РАЗВИВАЯ СВИТОК...»

Вернувшись из Средней Азии в Москву в 1928 году, В. Ян получил наконец возможность приступить к выполнению своих давних замыслов — созданию серии крупных исторических полотен о Средней Азии и на другие темы.

Умудренный огромным жизненным, журналистским и писательским творческим опытом, писатель В. Ян находит свой индивидуальный путь в литературе, приобретает оригинальный авторский профиль, начинает выполнять то, что вскоре назовет своим «главным делом жизни».

В конце 20-х — начале 30-х годов начинают появляться из-под пера писателя его исторические рассказы, затем повести. Все они несут в себе отзвуки пережитого автором, содержат нечто удивительное, достоверное, некий «камень-самоцвет», извлеченный писателем из его сокровищницы — «кладовой воспоминаний».

Как стрелка компаса постоянно поворачивается на север, так и направление творчества В. Яна всякий раз, иногда немного поколебавшись в стороны, упрямо показывает на Восток, в Азию.

[1] «Самарканд», «Пляски женщин Узбекистана», «Узбекский народный театр», «Узбекская драма», «О 1-й мастерской хореографии» и др.

Первыми его произведениями советских лет (конец 20-х годов) о Средней Азии были рассказы «Письмо из скифского стана» и «В песках Каракума».

А за ними появились повести о далеких плаваниях финикиян («Финикийский корабль»), о скифах, Спитамене и Александре Македонском («Огни на курганах»), о восстании рабов-азиатов против Рима («Спартак») и другие произведения.

Рисуя трагические эпизоды истории народов нашей Родины и сопредельных стран, писатель не задавался целью запугать читателя ужасами увиденных потоков невинно пролитой крови или увлечь развлекательными приключениями героев (хотя и это в должной мере есть как одно из средств художественного отображения событий).

«Главное, что требуется от исторического романа,— утверждает В. Ян,— давать такие образы героев, чтобы у читателя, особенно юного, являлось горячее желание им подражать, у них учиться, а злодеев или тиранов-разрушителей ненавидеть, стремиться бороться с ними для защиты Родины, родного народа...»

В публикуемых в сборнике повестях и рассказах писатель с особой силой применил воспоминания своих молодых лет, проведенных в Средней Азии. Это придает такую свежесть, колорит, достоверность рассказам о событиях, происходивших недавно и много веков тому назад.

Смог бы автор так впечатляюще показать «развязывание верблюда», и «ловлю дикого коня» («Огни на курганах»), и другие сцены повестей и рассказов, если бы он того не видел, сам не был бы всадником, не ехал караванной тропой? Он спал у костра, отдыхал в кибитке, дышал ветром пустыни, обжигался лучами солнца, стоял под сводами мечетей, шел лабиринтом узких улиц, черпал воду из хауса, слушал звон дутара, любовался пляской восточных девушек, слышал серебряный звон их монист, видел и пережил многое другое, что ему дали «голубые дали Азии».

Известно, что крупнейшим произведением В. Яна (1934—1954 годы), делом его жизни стало создание эпопеи о борьбе предков народов Советского Союза в XIII веке с нашествиями с Востока на Среднюю Азию, Русь и Европу монголо-татарских завоевателей и с запада шведских и немецких рыцарей на Северную Русь, цикл повестей: «Чингиз-хан», «Батый», «К последнему морю», «Юность полководца» (Александр Невский).

«Мысль создать историческую повесть об одном из крупнейших завоевателей Азии меня преследовала много лет, но реальное осуществление она получила только с того момента, когда закончились мои скитания по «равнине вселенной» и заменились скитаниями по страницам бесчисленных книг, в тихих залах Ленинской библиотеки в Москве»,— говорил В. Ян на встрече с читателями.

Примечательна живая связь произведений В. Яна на исторические темы с современностью.

«Идею повести «Чингиз-хан» я предложил издательству «Молодая гвардия» 15 августа 1934 года... (Вскоре после захвата власти Гитлером.— *М. Я.*) ...20 августа я подписал договор и связался с великим «Потрясателем Азии» на много лет...» — записал в дневник В. Ян.

Автор будущей эпопеи задумался, как ему поступить: описать ли всю жизнь завоевателя или ограничиться эпизодом?

«И я пришел к выводу,— пишет В. Ян,— что мне необходимо изучить возможно подробно всю жизнь Чингиз-хана, его эпоху, обстановку, в какой он находился... *А эпизод выбрать наиболее близкий и значительный для советского читателя:* вторжение в Среднюю Азию, где живут потомки героев, боровшихся с завоевателями...»

Повесть «Чингиз-хан» вышла из печати в канун первомайских праздников 1939 года. Получив сигнальный экземпляр книги, автор записал в дневник: «Habent sua fata libelli» [1]. Какая судьба постигнет эту книгу? Сохранится ли она в течение столетий или утонет в мутном потоке забвения?..»

А через четыре месяца после выхода книги началась вторая мировая война, возвестившая о новоявленном Чингиз-хане, претенденте на мировое господство, беспощадном завоевателе. И повесть В. Яна, рисовавшая одно из величайших нашествий, призывавшая к сопротивлению захватчикам, борьбе за свободу, оказалась своевременной и современной.

За месяц до вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз вышла из печати (в мае 1941 года) вторая книга рождавшейся эпопеи В. Яна — «Нашествие Батыя» [2].

Эта книга, как и первая, вызвала исключительно высокий интерес читателей, а в годы Великой Отечественной войны — воинов Советской Армии и партизан, вдохновлявшихся показанными автором образами и героизмом своих далеких предков, мужественно защищавших родные очаги, предпочитавших смерть на их порогах позорному плену и рабству.

3. «СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ»

В июне 1941 года В. Ян написал в МК ВКП(б) письмо о том, что «сейчас я хочу держать в руках оружие, а не перо», просил призвать его в армию, послать на фронт. Ему было тогда 66 лет.

На это писателю ответили: «Перо может быть так же нужно фронту, как и оружие».

В. Ян вернулся к письменному столу и наряду с продолжением работы над завершением исторической эпопеи обратился к актуальным темам, очеркам и рассказам для газет и радио, начал писать современную пьесу о войне.

Когда в связи с приближением фронта к Москве в октябре 1941 года началась эвакуация ряда заводов, предприятий, учреждений, то по рекомендации Союза писателей В. Ян выехал в Куйбышев, а затем — опять же в Среднюю Азию.

Он надеялся пробыть здесь недолго, а прожил в Ташкенте три года. «Союз писателей меня принял с большой теплотой, здесь меня считают «своим»,— писал он дочери вскоре после приезда.

«Сегодня, Хаджи-Рахим (имея в виду себя.— *М. Я.*),— записывает В. Ян в дневник,— ты в Средней Азии!.. Улетай мечтой в прошлое этой сказочной страны! Создавай сказки, чтобы они жили, запоминались и будили в человеке светлые мысли и добросердечные желания!..»

---

[1] «Книги имеют свою судьбу»; изречение римского грамматика и философа Теренция Мавра, III в. н. э.

[2] Нашествие Батыя. Детиздат. М.-Л., 1941. Сокращенный для детей вариант повести «Батый», изданной полностью Гослитиздатом в 1942 г.

В апреле 1942 года за книгу «Чингиз-хан» В. Яну была присуждена Государственная премия СССР.

«Далекая история — роман В. Г. Янчевецкого (В. Яна) «Чингиз-хан»,— отмечала передовая статья «Правды».— Можно только приветствовать появление таких произведений, которые на исторических примерах воспитывают художественные вкусы и учат бороться за независимость, честь и свободу своей Родины так, как боролись славные предки наши...»

«Роман В. Янчевецкого (В. Яна) «Чингиз-хан», получивший премию первой степени,— писал в той же газете Ал. Фадеев,— по широте охвата событий, по обилию материала, по зрелому мастерству — одно из наиболее выдающихся и своеобразных явлений советской литературы последних лет... »

Поток поздравлений и писем читателей стал поступать к В. Яну.

«Ваш роман «Чингиз-хан» я, воин-фронтовик, прочитал между боями,— писал автору из действующей армии ст. сержант М. Г. Балденков.— Он произвел на меня огромное впечатление, и я решил поблагодарить Вас от лица моих боевых товарищей, тоже прочитавших Ваш замечательный роман...

Фронтовики, идя в бой, вспоминали героев битвы на реке Калке, героических ремесленников Гурганджа, храброго Джелаль-эд-Дина, бесстрашного Кара-Кончара...

Воины, читая эти строки, крепче сжимают автоматы, беспощаднее бьют немцев!.. Каждый воин, прочитавший Ваш исторический роман, еще крепче бьется с врагом, видя в татарском нашествии на Русь прообраз вероломного нападения фашистской армии!»

Писатель ответил читателю-фронтовику:

«Ваше письмо глубоко взволновало и порадовало меня.

Отрадно сознавать, что писал я не напрасно, что книга понята и нашла отклик среди моих читателей. Нашествие полчищ подлого Гитлера напоминает нашествие орд Чингиз-хана.

Но теперь нет разрозненности, губившей Русь. Все дети ее разных племен встали как один на защиту общей Родины, и, конечно, недалек час, когда враг будет окончательно разбит!..»

На эти книги В. Яна отозвались в печати тогда виднейшие историки, ученые, востоковеды, критики и литературоведы [1]. Ал. Фадеев прислал в Ташкент письмо, где писал В. Яну:

«...Ваша книга очень популярна в стране... Вы могли бы и должны бы периодически выступать на страницах нашей центральной прессы по вопросам, связанным с войной, со всей борьбой против фашизма...

Вы — блестящий публицист, это можно видеть по «Чингиз-хану». Ваши очерки, статьи, рассказы могли бы помочь стране в трудные дни войны... Я и мои товарищи были бы рады систематически получать от Вас что-нибудь в этом плане...»

С подобной же просьбой обратилось тогда к В. Яну и Совинформбюро: «Вас знают за границей. Всякая Ваша статья, рассказ, очерк о ярких фактах жизни народа, о людях труда, науки, искусства были бы очень желательны...»

Ответом на эти призывы стал ряд публицистических выступле-

---

[1] Статьи академиков Б. Грекова, Е. Тарле, А. Якубовского, И. Минца, литературных критиков Д. Заславского, В. Кирпотина, З. Кедриной и многих других.

ний писателя в центральной и среднеазиатской печати, по радио и на встречах с читателями [1].

В статье «Красноармеец», напечатанной в разгар Сталинградской битвы [2], В. Ян отметил единство народов как сущность нашего общества: «Под Сталинградом столкнулись две силы: свет и тьма. Представитель первой — красноармеец, защищает высокие идеалы человечества, представитель второй — несет идеи мракобесия, звериной злобы.

Если спросить красноармейца: откуда он родом? какого он племени?..— ответы будут разные: «Я из снегов Сибири», «Я из древнего Новгорода», «Я из стонущей Украины», «Я из солнечного Узбекистана», «Я с гор Кавказа», «Я из знойных песков Туркмении»... и каждый добавит одно: «Я — советский воин!»

В эти годы жизни в Ташкенте В. Ян продолжил работу над произведениями среднеазиатской тематики: рассказы о своих путешествиях, комедии на мотивы народного восточного фольклора, статьи о театре бродячих кызыкчей (скоморохов), отдал много времени повести «На крыльях мужества» и новой редакции повести «Огни на курганах».

Главы из «На крыльях мужества» печатались на русском языке и в переводах на узбекский и туркменский языки в Ташкенте и Ашхабаде, передавались по радио, и к В. Яну пришел заказ из Туркмении — написать либретто оперы «Джелаль-эд-Дин» на основе его повести для Ашхабадского театра оперы и балета.

У писателя в Ташкенте побывали и обсуждали планы создания и постановки будущей оперы начальник Управления по делам искусств ТССР М. Д. Аннакурдов, председатель Союза писателей Туркмении Б. М. Кербабаев, киевский композитор Ю. Мейтус, живший тогда в Ашхабаде, ему было поручено создание оперы.

«Встреча с В. Яном для меня стала как бы открытием,— вспоминает М. Д. Аннакурдов,— и оставила о нем глубокое впечатление на всю жизнь как о человеке высокой культуры и широкой эрудиции. Тогда В. Яну было около семидесяти лет. Но память у него была ясной, мысли свежие. Чувствовалось, что он трудится неустанно, горит желанием новых поисков, живет творческими планами...

Когда в марте 1944 года в Ташкенте состоялась Декада музыкального искусства республик Средней Азии, Василий Григорьевич живо интересовался работой туркменских коллективов, бывал на репетициях, посещал концерты, встречался с ведущими работниками искусства республики...»

В ответ на письмо Б. М. Кербабаева с просьбой прислать что-либо для перевода и публикации в Ашхабаде В. Ян писал ему: «Я очень люблю Среднюю Азию, особенно Туркменистан, по которому мне пришлось немало поездить, глубоко тронут тем, что мой «Чингиз-хан» нашел дружественный отклик у туркменских читателей.

Я заканчиваю историческую повесть о Джелаль-эд-Дине. Меня очень увлекает образ этого смелого противника Чингиз-хана, и я стараюсь сделать его близким и понятным для читателей. Собираюсь написать на эту тему еще и трагедию...»

---

[1] «У горы Фархада». «Новый узбекский народный театр», «Муканна» (о драме Х. Алимджана), «Проблема исторического романа» и др.

[2] «Красноармеец» — газета «Фрунзевец», 23 февраля 1943 г., № 43.

В мае 1943 года В. Ян болел и не смог посетить съезд писателей Туркмении, и послал собравшимся такую телеграмму: «Горячо приветствую съезд писателей Туркмении! Вспоминаю поездки по Каракумам сорок лет назад. Желаю дальнейшего расцвета туркменской литературе, общей победы над хищным врагом свободы и прогресса братских народов!»

В этот период жизни в Средней Азии В. Ян встречался со многими выдающимися деятелями ее науки, культуры, искусства и литературы, оставил записи о беседах с Садриддином Айни, Айбеком, Ашрафи, Икрамовым, Алимджаном, Г. Гулямом, Уйгуром. К. Яшеном, а также жившими тогда в Ташкенте другими видными узбекскими, туркменскими, таджикскими, русскими, украинскими, белорусскими литераторами и учеными.

Здесь В. Ян вновь повстречался с А. А. Семеновым (о нем рассказывал в «Заметках о Средней Азии»), и они вспоминали свою молодость, отметили сорокалетие их встречи на лекции «О нашествии Чингиз-хана на Среднюю Азию», прочитанную Александром Александровичем в Ашхабадском археологическом обществе, возможно давшую писателю импульс к его провидческому сну о Чингиз-хане в пустыне Дешти-Лут.

Тогда же «Мосфильм» (бывший в эвакуации в Алма-Ате) и «Узбекфильм» заключили с В. Яном договоры на грандиозные кинофильмы — «Чингиз-хан» и «Джелаль-эд-Дин». Режиссер А. Спешнев и сценарист М. Швейцер были прикомандированы к писателю, он побывал в киностудии «Шахан-Таур» и написал либретто обоих этих фильмов.

Несмотря на болезни, он несколько раз выезжал по заданиям Совинформбюро и газет в командировки по Средней Азии, написал очерки о строительстве Большого Ферганского канала, о Чирчикстрое, об освоении Голодной степи, напечатанные местной и московской прессой, переданные по радио.

В. Ян побывал под Ташкентом в бывшей Голодной степи, где почти сорок лет назад разъезжал как статистик переселенческой партии в поисках мест, пригодных для заселения, и писал в очерке, что «в Голодную степь пришли смелые, упорные, настойчивые люди... Преображается Голодная степь, недалеко то время, когда серебряные струи воды оживят ее земли.

Узбекистан — глубокий тыл нашего Отечества, но и здесь с великим усердием и старанием люди работают по-военному, зная, что их труд нужен Отечеству...».

В конце 1943 года мне довелось повидать В. Яна, воспользовавшись служебной командировкой с Закавказского фронта в штаб САВО.

Увидев отца после двух лет разлуки, я был поражен тем, как он изменился, похудел, съежился, как видно, от нелегких условий эвакуационной жизни и крайнего изнурения непомерной работой. Но на мои слова он ответил в обычной шутливой манере:

«У меня вид — как у туркменского скакуна, ни капельки жира! Он только мешает! Я ни на что не жалуюсь. Я в отличной форме. Недавно закончил либретто оперы «Джелаль-эд-Дин Неукротимый», написав ее в необычайно быстрое время, за пять недель!..»

В конце 1944 года В. Ян стал готовиться к возвращению в Москву. Он уезжал с большой грустью, предчувствуя, что навсегда

расстается с очаровавшими его сердце «голубыми далями, желтыми песками, снежными хребтами» Средней Азии!

Прощаясь со среднеазиатскими писателями, В. Ян тогда сказал на своем творческом вечере:

«Почти полвека назад впервые я приехал в Среднюю Азию.

Тогда я познакомился с ее жителями, нашел среди них преданных друзей, учился у них правде и мудрости Востока...

Тогда земли, по каким я проезжал, производили впечатление огромного, бесконечного кладбища — мазара, засыпанного обломками прежних великих цветущих культур, где, изнемогая, бился за свое существование бесправный трудовой народ.

Тогда литература среднеазиатских народов, имевшая в прошлом великих поэтов и мыслителей, только начинала возрождаться. Необычайный размах и новую жизнь она получила лишь в огне революции.

Теперь литература, драма, другие виды искусств уже насчитывают много таких славных имен, как Хамза Хаким-Заде, Халима Насырова, Уйгур, Хидаятов, Тамара-ханум, Хамид Алимджан, Айбек, Уйгун, Гафур Гулям, Маламин Даврон, Камиль Яшен, Максуд Шейх-заде, Исмаил Икрамов и многие другие молодые авторы, кого я с радостью вижу перед собой...»

И, обращаясь к собравшимся, старый писатель приветствовал нынешнюю возможность «свободного и мощного расцвета всех братских республик Средней Азии, выявления национальных культурных ценностей, выдвижения молодежи, отмеченной печатью таланта!..»

Перед отъездом Камиль Яшен при встрече сказал В. Яну:

«Мы считаем вас своим. Если уедете в Москву, то мы будем знать, что там находится «наш» Ян...»

4. ПОСЛЕДНИЕ ЗАМЫСЛЫ

С возвращением в Москву дружеские связи писателя со Средней Азией не оборвались. Его книги стали часто выходить в переводах на языки Среднеазиатских советских республик. А дом В. Яна стал страннoприимным для гостей из Ашхабада, Ташкента, Душанбе, других среднеазиатских городов.

Каждый приезжий считал своим долгом посетить «старого Яна» в Москве, а тот радовался любому привету, принесенному с берегов Сырдарьи или Амударьи, барханов Каракума или Кызылкума, хребтов Копетдага или Памира...

И в этот последний период своей жизни В. Ян возвращался к замыслам, связанным со Средней Азией, занимался завершением начатого в Ташкенте цикла рассказов «Старого закаспийца», дорабатывал и писал главы «На крыльях мужества», совершенствовал «Огни на курганах».

Годы брали свое, и все труднее становилось писателю, теперь уже старому, больному человеку, осуществлять свои замыслы. Но мысли о Средней Азии его не покидали.

В. Ян часто рассказывал своим гостям и посетителям разные приключения, случавшиеся на его пути. Об одном эпизоде, услышанном от писателя, случае, когда он укрыл у себя молодую турк-

менку Дур-Салтан, чем спас ей жизнь, сестру его джигита, бежавшую от немилого мужа, рассказала позже Л. Бать [1].

За два года до смерти В. Ян записал в дневник: «...Я себя чувствовал отлично. Но я очень ослабел, часто задыхаюсь, стали вялыми ноги...

Сегодня ночью мне снился Ашхабад. Я молодой, еду на Ит-Алмазе, кругом степи, Дур-Салтан в красной одежде до пят, туркмены. Приятное сознание, что подо мной нервный, порывистый конь. Я спасаю в палатке Дур-Салтан, а туркмены подглядывают через дувал, не гуляет ли по саду Дур-Салтан?»

Незадолго до кончины В. Ян писал Б. М. Кербабаеву:

«С Туркменистаном у меня связаны самые светлые воспоминания юности, моих путешествий по Средней Азии.

Обо всем этом у меня имеются пока только случайные отрывки и рассказы, а хочется описать жизнь и нравы того времени. Думаю, что это было бы интересно всем советским читателям.

Примите самые наилучшие пожелания от «старого туркмена» и мой искренний привет...»

В конспекте своего намечавшегося выступления на пленуме правления Союза писателей СССР в Москве в начале 50-х годов, в связи с зарождением «холодной войны», В. Ян записал мысли, актуально звучащие и ныне:

«Чем победоноснее была война, чем катастрофичнее был разгром гитлеровской Германии и ее сателлитов, чем радостнее настроения и надежды всех демократических слоев всего мира, тем более злобствуют зарубежные капиталистические круги, все наши явные и тайные враги.

Враг разбит, но опасность нацистского движения остается.

Уйдя в подполье, фашисты будут продолжать свою преступную деятельность иными способами.

Мы должны быть настороже. Быть всегда наготове ко всему, даже к самому худшему.

Наше великое государство раскинулось частью на европейской территории, частью на широких просторах Азии. Нам приходится считаться с этим и всегда быть наготове и во всеоружии против всех вражеских замыслов, от кого бы они ни исходили.

Перед нами великая страна, где, по словам поэта, «вечен каждый миг», и мы имеем счастье находиться в рядах народа — замечательного, великодушного, терпеливого и мужественного.

Ему должны быть посвящены все наши силы и способности».

II. «ХРАБРЕЦЫ ДУХА»

Произведения, вошедшие в этот сборник, созданы в разные периоды жизни и творчества их автора, на протяжении почти полувека. Одни историчны и документальны, другие основаны на воспоминаниях, третьи фантастичны. В них воскрешены разные эпохи — от Александра Македонского и Рима до гражданской войны и басмачества в нашей стране.

[1] «Звезда Востока», 1968, № 10.

Их объединяет один почерк автора, единый литературный прием, среднеазиатская тематика. В них одни идеи — любовь к Родине, самопожертвование, призыв к национальной независимости. Роднит их и отношение автора к своим героям из разных эпох, «храбрецам духа» — прославление борцов за свободу, осуждение насильников.

Один из сборников своих произведений автор хотел назвать «Ватан», по названию рассказа, потому что это слово по-тюркски означает «Родина».

Название этого сборника, «Огни на курганах» (по одноименной повести), соответствует содержанию вошедших в него произведений. Во времена наших далеких предков, если на курганах загорались сигнальные огни, это извещало об опасности, призывало всех членов рода, племени готовиться к защите Родины.

«Счастлив писатель, которому удалось оживить и осветить целую эпоху!» — говорил В. Ян. И в наше время своим творчеством он призывает помнить, что «прошлое и настоящее связаны крепкими узами, и в великих событиях прошлого можно найти очень много аналогичного и поучительного, созвучного нынешней величественной эпохе...».

1. СПИТАМЕН И АЛЕКСАНДР

Историческая повесть «Огни на курганах», часто называемая романом, создана в Москве на переломе 20-х и 30-х годов, впервые опубликована в 1932 году издательством «Молодая гвардия» в сильно сокращенном виде.

До этого В. Ян в советское время напечатал несколько исторических рассказов и повесть «Финикийский корабль» (1931).

«Только затем появилась моя первая повесть о Завоевателе,— говорил автор,— о вторжении Александра Македонского в Среднюю Азию — «Огни на курганах».

Последнюю книгу уже можно было назвать историческим романом. Работая над ней, я многому научился и в отношении общей композиции, построения фабулы исторического романа, разрешая вопросы об исторической точности, о пределах вымысла, обрисовки характеров того или иного героя...»

О зарождении замысла повести В. Ян рассказывал, что «пребывание в Азии, поездки по Каракумам, Персии, в Хиве, изучение прошлого среднеазиатских народов вызвало во мне желание описать борьбу за свою независимость древних скифов, саков, согдов и других далеких предков народов советских Среднеазиатских республик, живших в IV веке до нашей эры, во время завоевания и разгрома Персии Александром Македонским...»

Как и другие произведения В. Яна, где история всегда созвучна современности, так и эта повесть сегодня имеет общественный интерес.

В эпоху всеобщего кризиса империализма, распада колониальной системы, движения порабощенных народов к национальной независимости, на Западе появилось немало «научных» исторических работ, стремящихся оправдать современный неоколониализм ссылками на исторические примеры, показать «цивилизующую роль» колониальных держав, особую роль Европы на Востоке, якобы издревле предрешенную «великую миссию белого человека» в Азии, Африке и других колониальных регионах мира...

С этой целью в ряде книг буржуазных западных историков [1] воскрешен и широко разрекламирован образ легендарного создателя первой европейской колониальной державы Александра Македонского.

В этих книгах завоеватель Александр Македонский выведен «просветителем» азиатских «варваров», а его армия носителем «светоча европейской культуры»; непомерно преувеличивается роль и значение похода Александра в дальнейших судьбах народов Азии, принижается и затушевывается борьба завоевываемых народов с захватчиками за свою свободу.

Знавший эти работы В. Ян говорил, что «трудность данной исторической темы заключалась в том, что до сих пор обычно образ Александра Македонского был крайне идеализирован буржуазными писателями всех национальностей как тип прекрасного монарха, образец добродетели, мужества, великодушия — для сыновей европейских аристократов».

Своей книгой В. Ян отражает наступление западноевропейских историков — реставраторов колониальной системы и защищает национальные интересы «малых» и «слаборазвитых» стран, развенчивает миф о мнимом «просветительстве» Александра и его грабительской армии, разоблачает апологетов и фальсификаторов истории современного неоколониализма.

В этом главное общественное значение повести В. Яна.

Исследуя эпоху, писатель проделал большую предварительную и параллельную работу. В его литературном архиве сохранились рабочие тетради с выписками, зарисовками к повести, конспекты его статей, обращений в издательства, выступлений перед читателями, множество книг на эту тему [2].

В одном из выступлений писатель говорил, что «имя Александра Македонского в течение двух тысячелетий окружалось всевозможными легендами и ореолом необычайного величия и благородства. Это восхваление жестокого завоевателя и истребителя народов получило начало в тех дневниках, какие велись специальными секретарями; их держал при себе в походах тщеславный македонский царь.

В последующее время, в эпоху римского владычества, в сочинениях римских и греческих историков, начиная с Плутарха, по желанию римского императора, искавшего «идеальных монархов» в прошлом, и далее Курцием, Аррианом и другими, образ Александра крайне идеализировался авторами как великодушного, гуманного вождя, мудрого правителя и т. д.

Ясно проступает желание возможно выше возвеличить идею императорского самодержавия, священного происхождения царской власти, чем обосновать «законность» завоевания Римом других земель и народов.

Между тем точные исторические данные свидетельствуют, что Александр был таким же беспощадным колониальным завоевателем и истребителем народов, какими были позднее испанские кондотье-

---

[1] Книги англичанина В. Тарна, американца Ш. Робинсона, француза Л. Омо, австрийца Ф. Шахермайера и др.

[2] «Александр и Спитамен», «Как я работал над своими книгами», «Историческая достоверность и творческая интуиция», а также пространное историческое исследование «Завоевание Средней Азии Александром Македонским» и др. работы.

ры в Америке, англичане в Индии, Чингиз-хан, Тамерлан и другие завоеватели.

Он оставлял за собою разрушенные города, дымящиеся развалины, опустошенные провинции, целые народы обращал в рабство и продавал их, как рабочую скотину, на рынках...

На обязанности советского писателя-историка,— заключает В. Ян,— дать реальный, настоящий образ Александра — разрушителя, интервента, беспощадно и безжалостно истреблявшего своих противников...

В Средней Азии после жестокого порабощения Александром персидских сатрапий Согдианы и Бактрианы последовал ряд восстаний населения, доведенного до отчаяния насилиями и грабежами греческой армии. Александр и тут беспощадно расправился с восставшими, в наказание вырезая целые города и районы, преследуя убегавших в поисках спасения...».

В своих произведениях В. Ян всегда отдает преимущество освещению тех регионов мира и периодов истории, какие близки прошлому народов нашей Родины.

Так и в данной повести, «главными противниками Александра на территории Средней Азии,— говорил писатель, — были тогда согды, предки нынешних таджиков и узбеков, и скифские племена саков и массагетов, в дальнейшем перекочевавшие в южные степи Черноморского побережья, являющиеся в какой-то мере нашими далекими предками».

Рассказывая о прообразах героев повести, В. Ян писал:

«Интереснейшим вождем восставших являлся Спитамен, талантливый, смелый вождь, удачно умевший бороться с войсками Александра, нанося им непрерывные поражения и оставаясь неуловимым, пока его не предали князья, перешедшие из личных выгод на сторону македонского завоевателя.

Главные герои повести, противостоящие Александру Македонскому,— это Спитамен и скифские воины, наши далекие предки. Спитамен теперь национальный герой таджиков. Слово «спита» на древнейшем языке означает «искра», «Спитамен» — «искрометный».

«Этот период пребывания греческой армии в Средней Азии,— указывает В. Ян,— дает интересное столкновение трех различных самобытных культур: *греков* (и македонцев), носителей широкоразвитой эллинской культуры, достигшей тогда высшего расцвета, затем *иранцев* (персов), т. е. согдов, бактров, парапамисадов, мирного земледельческого населения с очень древней и самостоятельной восточной культурой, и, наконец, *скифов* — представителей воинственных кочевых племен с их своеобразными дикими обычаями, еще очень мало исследованными...»

Отвечая на вопрос, какими историческими материалами он пользовался, автор говорил: «Всякими, какие смог найти, работая в сокровищнице Ленинской публичной библиотеки, старых русских и зарубежных, также советских среднеазиатских и русских ученых».

Отмечая коренное отличие своей повести от других, ранее созданных русских (советских не было) и зарубежных художественных исторических произведений на эту тему, автор говорит:

«В этом романе Александр *впервые* изображен в художественной литературе *реалистически*, таким, каким он был на самом деле, каким его изображают первоисточники, без идеализации, мистики и прикрас, чем грешат многочисленные романы и биографии».

«Так возникла,— завершает В. Ян,— историческая повесть об

этом талантливом, но жестоком завоевателе... Книга вышла в свет крайне урезанной, без ее начала и конца, многих глав, вследствие недостатка тогда бумаги у издательства...»

Достоинством первого издания были предисловие автора, иллюстрации высоко ценимого В. Яном художника В. Г. Бехтеева, близкие по стилю изображениям той эпохи, карта походов армии Александра Македонского, сражений в Средней Азии, разработанная писателем.

Последующие после публикации повести два десятилетия В. Ян посвятил созданию других произведений.

Но, не удовлетворенный «урезанным» видом первоиздания «Огней на курганах», писатель не забывал об этой книге, продолжал надеяться на то, что все же увидит напечатанным полный текст, периодически возвращался к этой теме, дорабатывал ее, вносил коррективы в рукописи и на полях первоиздания.

В. Ян разработал план трилогии, где кроме изданной книги должны были быть еще две: предшествующая (1-я) и завершающая (3-я) — с тем чтобы охватить всю эпоху жизни и деятельности завоевателя, от его детства и до кончины, начала развала созданной им империи.

Несколько раз писатель обращался с заявками и предложениями в московские издательства[1], пытаясь реализовать свой замысел о переиздании в полном объеме «Огней на курганах» и создании 1-й и 3-й книг трилогии.

«Когда я зашел в Гослитиздат к А. Н. Тихонову (гл. редактор издательства.— *М. Я.*),— записал В. Ян в дневник 6 января 1941 года,— он спросил: «Где же ваш «Спитамен» (один из вариантов названия повести.— *М. Я.*)? Дайте мне его почитать...»

Спитамен — название народного вождя, дравшегося с Александром.. Я хочу в дальнейшем написать юность Александра, завоевание Финикии. Египта, Персии. А потом, может быть, поход на Индию, планы завоевания Карфагена и Черноморской Скифии, и неожиданная смерть...»

«Мечтаю о Средней Азии,— записывает он через две недели,— чтобы там побродить по длинным дорогам, в восточной толпе. И усвоить хорошо какой-нибудь язык — туркменский или арабский. Побывать на месте битвы Александра со скифами в низовьях Зеравшана...»

Весной 1941 года в Детиздате обещали В. Яну включить его заявку на трилогию в перспективный трехлетний план книг по исторической тематике. Писатель был обнадежен, предстояло подписание договора, и замысел мог осуществиться.

Но вскоре фашистское нашествие разрушило все дальние планы. Однако и это событие глобального масштаба не отвратило автора полностью от его творческих намерений, а лишь перестроило их.

В октябре — ноябре 1941 года, едучи две недели в поезде, составленном из вагонов подмосковной электрички, увозившем в Куйбышев рабочих с семьями эвакуировавшихся заводов, находясь отнюдь не в «творческой обстановке», В. Ян продолжал работать как всегда, каждый день...

---

[1] Письма В. Яна в издательства «Молодая гвардия» от 30.07.39 г., «Жургазобъединение» от 17.11.36, Детиздат от 14.03.41 г. и др.

На полях книги «Овидий» (карманное издание) он вел дневниковую запись поездки, одновременно правил корректуру повести «Батый» для Гослитиздата и написал главу «Смерть Каллисфена», ставшую эпилогом нового издания «Огней на курганах».

«Читаю Квинта Курция, старинный перевод профессора Крашенинникова 1869 г. Взят мною из Москвы,— записывает В. Ян в Куйбышеве 12 ноября 1941 года.— Хочу как следует написать конец Александра... Стал вчитываться в разные периоды его жизни».

Уезжая в эвакуацию, писатель захватил с собою рукопись повести. В Ташкенте встретился со знакомым ранее первооткрывателем руин древнего Хорезма, членом-корреспондентом Академии наук СССР профессором С. П. Толстовым, дал ему прочесть «Огни на курганах»; тот, прочтя, дал автору свои ценные рекомендации.

«Беседовал с С. П. Толстовым... Много замечаний об анахронизмах, арабских и тюркских словах, именах... Он говорил, что после «Чингиз-хана» надо высоко держать марку и не допускать ошибок,— записал В. Ян в дневник.— Просматривал главные сочинения этнографа И. П. Остроумова. Очень интересна его лекция, посвященная Искандеру Зюлькарнайну — Александру Двурогому...»

После получения в апреле 1942 года лавров лауреата за повесть «Чингиз-хан», когда всеобщее внимание надолго было привлечено к его повестям о монголо-татарском нашествии, В. Ян все же не забывает и не оставляет планов воскресить книгу о нашествии Александра Македонского.

«Что будет со мною дальше, не знаю,— записывает он в дневник,— но понимаю, что надо писать очень хорошо. Я напишу Чагину (директор Гослитиздата.— *М. Я.*), что пришлю новый, дополненный и исправленный вариант повести («Огни на курганах».— *М. Я.*)».

Вернувшись в Москву и занимаясь главным образом завершением эпопеи о монголо-татарском нашествии, писатель не забывает и о Спитамене и Александре Македонском.

«Приводил в приличный вид старые рецензии на мою повесть «Огни на курганах»,— записывает он в сентябре 1949 года,— нашел текст повести, отзывы рецензентов... Теперь «Огни на курганах» станут больше, полнее. Прибавится интересная вступительная часть «Александр в Дрангиане», глава «Голубая сойка Заратустры», потрясающая «Смерть Каллисфена»...»

Через два года на даче под Звенигородом (летом 1951 года) он записывает: «У меня в плане... снова восстановить «Огни на курганах», внеся поправки С. П. Толстова и добавив новые главы».

Еще через год, в Москве, осенью 1952 года, В. Ян помечает в дневнике: «Прочел снова Грановского «Жизнь Александра Македонского». Нужно подготовиться, [взяться] уже за отделку и дополнения «Огни на курганах»... Надо многое перечитать и освежить в памяти... Весь вечер разбирал мою повесть в оригинале... Напечатанная книга — только случайная часть повести. Надо еще много прибавить и скомпоновать».

«Когда я это успею?» — реалистически спрашивает писатель. «А ты постарайся успеть!» — отвечает его неистребимый оптимизм... за два года до кончины.

Десятью днями позже (16 сентября) он записывает:

«Я нашел мои рабочие тетради, по которым писал «Огни на курганах»... Я очень много работал, подготовляя «Огни», и теперь видно, сколько книг я прочел! Из всех делал выписки, и все эти выписки целы, и мой труд будет ценным.

Я мог его (роман.— *М. Я.*) написать только потому, что:

1. Я и Митя (Дмитрий, старший брат В. Яна.— *М. Я.*) воспитаны под согревающими лучами мамы и моего отца Григория Андреевича, переводчика Гомера и других греческих авторов, насытившего нас с братом знанием греческого мира — «эллинизмом».

2. Я лично «пропитан Востоком», побывал в Константинополе, Египте, спускался в пирамиду, был в Афинах, жил и путешествовал в Азии, верхом проехал по путям, где шли войска Александра.

3. Мои «Огни» проредактировал С. П. Толстов и сверил с последними научными данными...

Мне все-таки многое надо дополнить и все проверить!

Хватило бы только у меня силенок!..» — заключает писатель.

До последних сознательных дней В. Ян не оставлял заботы об осуществлении своего замысла, связанного с «Огнями на курганах», критически пересматривал написанное и напечатанное, дописывал, замышлял все новое и новое... Лишь начало тяжелой, неотвратимой болезни остановило эту непрерывную работу творческой мысли.

15 октября 1952 года (это последняя запись) В. Ян занес в дневник: «Все время я читаю книги об Александре Двурогом.. У меня отобраны исследования о нем и современной ему эпохе — Греция, Персия, Вавилон, Индия.

Но чтобы писать (об Искандере Двурогом), надо кроме фактов еще что-то, какое-то дуновение особой приподнятости духа и настроения, когда начинаешь писать и рассказывать, как будто все описываемое сам видел недавно, только что, когда события проносятся мимо, как сцены кинофильма, и так легко их рассказывать...»

И в последней записи В. Ян сообщает о новом замысле:

«Я хочу написать книгу о военном искусстве, в виде сцен, рассказав о великих сражениях, менявших ход истории. О победах, одержанных не посредством сил, а именно искусством полководца, его изобретательством, смелостью, ударом, какого не ожидал противник, слепо веривший в свое превосходство...»

Несмотря на все старания автора, прижизненное новое издание повести «Огни на курганах» в свет не появилось.

Это произошло лишь в конце 50-х годов, когда книгой заинтересовалось издательство «Детская литература». При благожелательном отношении заведующего редакцией исторической литературы И. И. Прусакова и редактора Г. А. Дубровской, с моим участием в подготовке текста к печати книга наконец вышла в свет в серии «Школьная библиотека», с автобиографией автора, научным послесловием профессора И. Н. Бороздина, иллюстрациями художника И. Архипова (1959).

Тем же издательством книга была переиздана в 1967 году, затем в 1969 году вошла в сборник «Исторические повести» с предисловием Л. Разгона (издательство «Художественная литература»); она вышла в 1970 году в Риге, в переводе на латышский язык Я. Озол, и в Тбилиси на грузинском языке, переводчик Ш. Гогоберидзе.

Вскоре издали книгу в социалистических странах: на польском языке (Варшава, 1962), венгерском (Будапешт, 1965), чешском (Прага, 1971), словацком (Братислава, 1974 и 1979).

При подготовке к печати текста нового, переработанного и дополненного издания были тщательно сверены сохранившиеся оригиналы рукописи, учтены пометки автора на полях первоиздания, дневниковые и другие записи, вносящие стилистические и прочие изменения, а также рекомендации профессора С. П. Толстова и других рецензентов, какие не противоречили авторскому замыслу и не нарушали целостности ткани произведения.

В новый текст *включены* (отсутствовавшие в первом издании): вся I часть, во II части восемь песен Саксафара, в III части три главы, в IVчасти две главы, в V — одна и весь эпилог повести.

В сравнении с первоначальным текстом заменены подмеченные рецензентами «тюркизмы» и «арабизмы», «анахронизмы» и «модернизмы» в именах собственных и названиях местностей и т. п. на другие, более соответствующие исторической правде [1].

В конце 20-х годов автор нарисовал на бубне, привезенном из Самарканда, скифского воина на коне, приобрел большие фотографии — хорошо известный историкам круглый барельеф с профилем Александра Македонского в шлеме с изогнутым бараньим рогом, так называемый «Александр Двурогий», и другой барельеф, называемый «Голова казненного перса», или же «Голова Спитамена», будто бы присланная Александру предателями-князьями, убившими вождя восставшего населения Сугуды и Бактры.

Этот бубен и фотографии автор постоянно держал перед собой на видном месте в период работы над повестью, сохранял у себя и в свои последние годы.

В. Ян любил своего Спитамена, храбреца духа, борца за свободу, убежденно сделал его выходцем из народа, сыном согда и скифской женщины, чем символизировал желаемый союз двух соседних народов, хотя знал, конечно, что исторический Спитамен был выходец из персидской знати.

Конец повести показывает, что Спитамен жив, а не казнен или предан, он продолжает борьбу с врагами — захватчиками его родины. В этом автор твердо следовал своему творческому принципу создания героических образов, какие «должны стать идеалом».

«Спитамен — из рода Заратустры. Спитамен — остался жить, отрезанная голова была другого...» — записал автор в дневнике.

2. ДЖЕЛАЛЬ-ЭД-ДИН И ЧИНГИЗ-ХАН

Историческая повесть-сказка «На крыльях мужества» создана В. Яном в Ташкенте и в Москве за последнее десятилетие жизни писателя.

Она иногда как бы перекликается с повестью «Чингиз-хан»,

---

[1] Так, например,— названия провинций Согдиана и Бактриана (греческие) заменены на Сугуда и Бактра; имена Сатлык, Коксай, Бахт, Таньмас (тюркизмы) изменены на Сколот, Кидрей, Гелон, Томирис; имя Джумба (новоперсидск.) изменено на Зарика и т. д.

Оставлены некоторые характерные для языковой терминологии автора названия: например, «провинция» (в римско-греческом значении этого слова, хотя в Персии были «сатрапии»), «послы из Греции» (хотя Греции как единого государства тогда не существовало) или «италийцы» (хотя речь идет о римлянах, тогда еще не полностью завоевавших Италию) и др.

имеет общих героев, сходные сюжетные эпизоды, но это оригинальное произведение, преследующее свою ограниченную цель — показать борьбу хорезмийцев, далеких предков современных узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, объединившихся вокруг опального наследника Хорезм-шаха Мухаммеда — его сына Джелаль-эд-Дина, оставшегося в памяти среднеазиатских народов легендарной героической фигурой, боровшейся с вторгшимися захватническими войсками Чингиз-хана.

«Как я заинтересовался образом Джелаль-эд-Дина? — рассказывал автор [1].— Когда я писал повесть «Чингиз-хан», то, читая восточные летописи, убедился, что монголы побеждали более ужасом, какой они внушали своей численностью, дисциплиной и зверствами, чем своей храбростью и силой.

Они сами в своих песнях пели: «...ужас летит впереди наших коней и бросает всех противников на колени!»

Среди множества проявлений трусости, предательства, желания подарками и покорностью избежать монгольского меча я искал смельчаков, «богатырей духа», не боявшихся монголов и храбро бросавшихся в бой с ними.

Чингиз-хан ненавидел таких смельчаков и, жестоко расправляясь, подвергал мучительным казням...»

Говоря о многих таких смельчаках — защитниках города Отрара Инальчик-хане и города Ходжента Тимур-Мелике, безымянных героях-хорезмийцах, защищавших Ургенч, — автор останавливается на «одном из самых безупречных мужественных светозарных героях истории — Джелаль-эд-Дине, носящем торжественное звание «последнего Хорезм-шаха», полученное им тогда, когда Великого Хорезма уже не существовало, а были только истерзанные, ограбленные монголами провинции с разбежавшимся населением...».

В. Ян говорил о Хорезм-шахе Мухаммеде, позорно бросившем свой народ на произвол завоевателей, бежавшем на Запад: «Каждое действие шаха было ненужным, вносило панику в ряды армии и население, только подготовляло быстрый разгром страны...

Мухаммед боялся, что его сын приобретет популярность; убегая, хотел захватить Джелаль-эд-Дина с собой, но тот отказался бежать с родной земли, зажег в горах сигнальные костры, призывая добровольцев к борьбе, и возле него стала возникать армия...»

В. Ян рисует дальнейший трудный путь Джелаль-эд-Дина и объединившихся вокруг него воинов-хорезмийцев, непрерывную неравную борьбу с Чингиз-ханом, кровавые битвы и скитания от Индийских до Кавказских гор, где всюду Джелаль-эд-Дин призывал местных феодалов к сплочению, чтобы совместно отразить нападение монгольских хищников.

Однако так же, как XIII веке была обречена на поражение раздробленная и обескровленная феодальными междоусобицами Русь, средневековые государства и княжества Средней и Малой Азии и Кавказа, а затем Восточной и Средней Европы разделили участь Руси.

«В течение нескольких лет Джелаль-эд-Дин со своим войском скитался по различным государствам Азии, убеждая их правителей объединить войска, чтобы создать такую большую силу, какая мог-

---

[1] Конспект лекции «О героических личностях в истории», прочитанной В. Яном в ЦК ВЛКСМ Узбекистана в 1943 г.

ла бы не только противостоять монголам, но и выгнать их навсегда из Средней Азии», — говорил В. Ян.

«Все попытки объединить феодальных властителей не достигали цели. Они были заняты мелкими пограничными ссорами, враждовали и не хотели поставить перед собой великую цель».

На Кавказе «в ответ на призывы Джелаль-эд-Дина феодалы смеялись, говорили, что монголы им не страшны! Они сами нападали на хорезмийцев, и Джелаль-эд-Дину пришлось выдержать бои с войсками грузин, аваров, армян, аланов и других кавказских племен и народов...».

«Конец Джелаль-эд-Дина неизвестен, — говорит В. Ян. — По преданиям, он долго скитался, призывая к борьбе с монголами, пока не был предательски заколот во сне вероломным убийцей, прикинувшимся его другом, подосланным Чингиз-ханом...»

В годы Великой Отечественной войны главы из этой — тогда еще не законченной — повести печатались на русском, узбекском, туркменском языках в газетах Ташкента («Правда Востока» и «Кызыл Узбекистана»), в Ашхабаде (журнал «Совет эдебияты»), передавались по радио.

В 1943 году Узбекгосиздат выпустил повесть отдельным изданием на узбекском языке в серии книжек «Для бойца»; она читалась воинами среднеазиатских национальностей на фронтах, в лазаретах и госпиталях САВО.

Так же, как к «Чингиз-хану» и «Батыю», тогда был велик интерес в Средней Азии и к этой повести В. Яна. В те годы смертельной борьбы нашей страны с немецко-фашистскими армадами повсеместно вспоминали нашествия Чингиз-хана и Батыя.

Это время возродило в сознании народа многих забытых национальных героев, как русских людей, так и детей всей многонациональной советской семьи народов. Воскресли и героические образы легендарных Джелаль-эд-Дина и его соратников, хранившиеся в памяти среднеазиатских народов на протяжении веков как непримиримых и непобежденных борцов с захватчиками.

В 1943—1944 годах В. Ян написал для Ашхабадского государственного театра оперы и балета либретто оперы на тему повести «На крыльях мужества», а для «Мосфильма» либретто сценариев кинофильмов «Чингиз-хан» и «Джелаль-эд-Дин».

Сохранились несколько объемистых папок с рукописями и тетрадями В. Яна, хранятся варианты повести, либретто оперы, сценариев, многие записи и рисунки автора на эту тему, газетные публикации отдельных глав «На крыльях мужества».

С окончанием войны наступило иное время, требовавшее «новых песен», замыслы оперы и кинофильмов не осуществились; вернувшись в Москву, В. Ян занялся другими творческими работами, но периодически возвращался к повести-сказке о Джелаль-эд-Дине.

Автор назвал свое произведение «повесть-сказка», имея в виду то, что имя Джелаль-эд-Дина, как и Тимур-Мелика, и других его соратников, окружено легендами, осталось в памяти советских среднеазиатских народов, потомков некогда Великого Хорезма, как героические образы народного эпоса.

Написав повесть-сказку в романтической манере, автор следовал неизменному убеждению, высказанному не раз, о том, что в художественном историческом произведении героический образ должен возвышаться над другими, что «герои должны быть не такими,

какими они были в действительности, а какими они должны быть, чтобы стать *идеалом»*.

Война — это насилие, жестокость, убийство, и в этом Джелаль-эд-Дин и его воины были детьми своего века.

Но борьба хорезмийцев не была завоевательной войной, они не ставили целью захват чужих земель, истребление и ограбление покоряемых народов. Это была война освободительная, имевшая впереди задачу добиться независимости от монгольских завоевателей.

Путь Джелаль-эд-Дина и его воинов отмечен кровью на лице истории, но в памяти среднеазиатских народов опальный последний Хорезм-шах остался, как говорил В. Ян, «одним из первых великих туркменских и узбекских полководцев, победителем армии Чингиз-хана в битве около города Первана, где произошла отчаянная битва монголов с хорезмийцами... Джелаль-эд-Дин руководил битвой, и монголы были совершенно разгромлены... Сам Чингиз-хан испугался, а до этого времени его войска не знали поражений...».

3. «ЧЕРЕЗ ВЕКА И СТРАНЫ»

Вошедшие в сборник рассказы на среднеазиатскую или близкую к ней тематику созданы В. Яном в разное время, на протяжении полувека. По авторскому замыслу они отнесены к двум группам.

РАССКАЗЫ «О НЕОБЫЧАЙНОМ»

Эти произведения, основанные на дошедших до нас исторических фактах, свидетельствах, фольклорных преданиях, рисуют эпизоды и фигуры реальных героев истории.

«Что лучше» — фольклорная «восточная сказка-притча» — как бы предваряет своей мыслью остальные рассказы раздела, расположенные далее в последовательности изображенных исторических эпох; написана в Ташкенте в 1944 году.

Впервые опубликована в сборнике рассказов В. Яна «Загадка озера Кара-Нор», издательство «Советский писатель», 1961.

«Голубая сойка Заратустры» — создана в завершающий период работы над новым изданием повести «Огни на курганах»; намечалась для включения в III (ненаписанную) часть задуманной трилогии о нашествии Александра Македонского на Азию.

Летом 1945 года, будучи в подмосковном Доме творчества писателей «Переделкино», В. Ян получил от писателя и друга В. И. Язвицкого подаренный ему экземпляр первого издания повести «Огни на курганах», какого к тому времени у себя не имел; перечитывая эту книгу, он делал пометки, исправления на полях, размышлял об ее продолжении.

Гуляя по окрестностям, «пришли к Мичуринскому саду, — записал В. Ян в дневник (16 июля 1945 года), — нашли какую-то добрую женщину... у нее *голубая сойка*-зимородок, совсем ручная. Влезет на ветку дерева, потом возвращается в комнату. Садится на плечи, просит еды, раскрывая клюв, как галчонок».

Сойка взлетела на плечо В. Яна, вспорхнула на голову, перебирала клювом седые пряди волос. Слетев на дверь, она замяукала по-кошачьи, заскрипела, повторяя имя: «Ми-тя... Ми-тя...» А ко-

гда писатель просвистал музыкальную фразу, сойка повторила ее мелодию...

Встреча с говорящей сойкой вдохновила В. Яна, птичка стала прообразом маленькой героини его рассказа. «Ведь такая голубая сойка — священная птичка Заратустры, — записал В. Ян. — Он ее научил говорить самую главную заповедь, и она передала это умение своему потомству до наших дней...»

Через две недели писатель пометил в дневнике о встрече с друзьями, кому «...я прочел мою новеллу «Голубая сойка Заратустры...» (1 августа 1945 года).

В другой дневниковой записи, через пять лет (8 августа 1950 года), В. Ян поясняет, что он создал рассказ «о голубой сойке», «чтобы объяснить, почему Александр сжигает книги (свитки), т. к. в них возвеличивается род персидских царей, якобы «поставленных от бога», а македонец *сам* «божественного происхождения», а потому возлагает на себя все привилегии, бывшие у древних персидских царей...».

Рассказ впервые опубликован в сборнике «Загадка озера Кара-Нор».

«Овидий в изгнании» — написан в начале 30-х годов в Москве, в период работы автора над историческими произведениями «эллинистического» цикла, когда он хотел написать повести «Детство Гомера» и «Овидий».

«Исторические тетради» автора, содержат бесчисленные выписки по темам, увлекавшим писателя, из многих книг на русском, главных европейских, восточных, латинском и греческом языках.

В конце первой мировой войны В. Ян посетил Констанцу (Румыния), был на месте, где два тысячелетия назад находился город Томы, относимый римлянами к «варварской Азии», куда был сослан и где умер Овидий. Эти впечатления помогли автору в создании картины последних дней Овидия в Томах.

Впервые опубликован в сборнике «Загадка озера Кара-Нор».

«Трюм и палуба» — написан в конце 20-х годов в специальном научном зале Ленинской публичной библиотеки, что помещался на хорах главного зала старого здания Румянцевской библиотеки и музея.

Толчком к созданию рассказа, как о том говорит автор в примечании, стало описание интересной находки на дне озера Нэма, вблизи Рима, напечатанное в иностранном историческом журнале, просмотренном В. Яном в библиотеке.

Впервые опубликован журналом «Вокруг света» (1929, № 16).

«Возвращение мечты», «В Орлином гнезде «Старца горы», «Скоморошья потеха» — написаны в Москве в конце 40-х годов в период работы над завершением исторической эпопеи о монгольском нашествии.

По первоначальному замыслу эти рассказы входили как главы в повесть «Золотая Орда и Александр Беспокойный (Невский)», впоследствии разделенную на две опубликованные книги — «К последнему морю» (поход Батыя на «Вечерние страны»), и «Юность полководца» (молодые годы Александра Невского).

Как говорил писатель, эти главы были исключены «слишком робкой» редакцией Гослитиздата, побоявшейся возникновения у читателей в то время «нежелательных аналогий».

В рассказах действуют герои опубликованных повестей — гер-

манский император Фридрих, арабский воин Абд-эр Рахман, Дуда Праведный, Александр Невский и ряд других.

Впервые опубликованы в сборнике «Загадка озера Кара-Нор».

«Партизанская выдержка (Валенки летом)» — написан в 1922 году в Минусинске со слов партизана П. Каллистратова, служившего тогда смотрителем городского Домзака (Дома заключения, как в то время именовались тюрьмы); тогда же напечатан минусинской газетой «Власть труда».

Опубликован в сборнике рассказов «Загадка озера Кара-Нор».

«Загадка озера Кара-Нор» — написан в конце 20-х годов в Москве по впечатлениям, оставшимся от пребывания в Сибири и Туве, где автору, жившему тогда в Саянских горах, довелось встречаться с охотниками и рыбаками, героями рассказа, выведенными под своими именами, утверждавшими достоверность события.

Впервые опубликован журналом «Всемирный Следопыт» (1929, № 7).

«В песках Каракума» — написан в Москве в конце 20-х годов. В рассказе отразились впечатления от поездки автора в его молодые годы через Каракумы в Хиву, а также новые наблюдения, вывезенные из Средней Азии 20-х годов, после службы в Самарканде, когда еще продолжалась борьба с басмачеством.

Впервые опубликован журналом «Всемирный Следопыт» (1928, № 9).

«Плавильщики Ванджа» — написан в Москве в начале 30-х годов.

Отозвавшись на призыв М. Горького «Создать историю фабрик и заводов!», писатель некоторое время изучал историю техники, железоплавильное и горнорудное дело в России и за рубежом.

В этот период для издательств Металлургиздат и Машметиздат он написал цикл «повестей о железе», часть их опубликована в журналах и отдельными изданиями: «Молотобойцы» (1934), «Роберт Фультон» (1933).

На созданном тогда же рассказе «Плавильщики Ванджа» сказались впечатления и наблюдения от поездки писателя в Среднюю Азию в 1926—1927 годах, вторжений басмачей из-за рубежа в Таджикистан.

Впервые опубликован в сборнике «Загадка озера Кара-Нор».

РАССКАЗЫ «СТАРОГО ЗАКАСПИЙЦА»

Эта группа произведений в значительной степени автобиографична. Созданы рассказы в разное время: как в дореволюционные годы, так и в советскую эпоху.

Отзвуки событий, связанных с этими рассказами, можно найти в заметках писателя о его странствиях по Средней Азии.

«Колокол пустыни» — написан (предположительно) в Ташкенте в 1906 году по воспоминаниям о его поездке в Хиву.

Впервые напечатан газетой «Россия» 22 апреля (5 мая) и 27 апреля (10 мая) 1907 года в Петербурге.

В переводе на туркменский язык К. Курбанмурадова напечатан в сборнике рассказов В. Яна «Голубые дали Азии» (Ашхабад, 1976).

«Тач-Гюль (В горах Персии)» — написан в Петербурге по воспоминаниям о поездках в горы Копетдага и Персии.

Напечатан впервые газетой «Россия» 24 января (6 февраля)

1910 г.; в переводе на туркменский язык напечатан в сборнике рассказов «Голубые дали Азии».

«Демон Горы» — написан в 1943—1944 годах в Ташкенте по воспоминаниям о путешествии через Персию в начале века.

Впервые опубликован в сборнике «Загадка озера Кара-Нор»; в переводе на туркменский язык — в сборнике «Голубые дали Азии».

«Ватан» («Родина») — написан в 1936 году в Москве по воспоминаниям о встрече с племенем Люти в молодые годы автора и под впечатлением от сообщений о разгорающемся национально-освободительном движении зарубежных азиатских народов.

Впервые напечатан в сборнике «Загадка озера Кара-Нор»; в переводе на туркменский язык — в сборнике «Голубые дали Азии».

«Письмо из скифского стана» — написан в конце 20-х годов в Москве по воспоминаниям о поездке через Персию, встрече в пустыне Дешти-Лут с кочевьем Люти.

Впервые напечатан журналом «Всемирный Следопыт» (1929, № 1).

Вошел в сборники «Загадка озера Кара-Нор» и «Голубые дали Азии» [1].

«Афганские привидения (Из записок русского путешественника)» — написан (предположительно) в Ташкенте в 1906 году по впечатлениям о путешествии по Персии 1903—1904 годов.

Впервые напечатан газетой «Россия» 25 декабря 1906 года (7 января 1907 года), вскоре после приезда автора в Петербург, начала работы в этой газете.

Напечатан в журнале «Памир» (1975, № 1) с предисловием Рахима Хашима и в сборнике «Голубые дали Азии».

«Видения дурмана (Душа)» — написан в Петербурге по воспоминаниям о жизни автора в Ташкенте в 1906 году.

Впервые напечатан газетой «Россия» 18 апреля (1 мая) 1910 года под названием «Душа».

На туркменском языке напечатан в сборнике «Голубые дали Азии».

«Рогатая змейка (Рассказ капитана)» — написан в Петербурге в 1907 году вскоре после возвращения из морской поездки на пароходе «Россия» от Одессы до Каира на основе происшествия, бывшего с автором и его семьей на обратном пути.

Впервые напечатан газетой «Россия» 25 декабря 1907 года (7 января 1908 года) под названием «Рассказ капитана».

«Три счастливейших дня Бухары» — написан в 1944 году в Шахимардане под Ферганой. Перед тем автор встречался в Ташкенте с таджикским писателем Садриддином Айни, и тот рассказывал В. Яну эпизоды своей жизни и о том, как в эмирской Бухаре он

---

[1] Название «машуджи» племени амазонок (в современном его понимании, т. е. племени женщин-всадниц, предводительствуемых женщиной-вождем), автор повторяет несколько раз (см. рассказы «Письмо из скифского стана» и «Ватан», путевые заметки «Голубые дали Азии»), называя старинный род «машуджи», рассказывая о том, как он побывал в стане этих амазонок начала XX века.

В мемориальном архиве писателя есть две поблекшие фотографии из того путешествия, где рукой автора карандашом написано на обороте фотографий, на той, где группа женщин, закрывших лица платками, сидит у костра: «Кочевое племя машуджи, в котором я встретил Биби-Гюндюз» (героиня названных рассказов и заметок); на другой, где проходит группа женщин в восточных одеждах: «Кочевое племя машуджи».

преследовался за просветительскую деятельность, за чтение русских книг и газет, был приговорен к смертной казни.

Он был освобожден из тюрьмы, и его тогда спасла от гибели Октябрьская революция, свержение эмирата и установление Советской власти в Средней Азии.

Встречи и дружеские беседы С. Айни и В. Яна (они были близки по возрасту) стали основой рассказа.

Впервые опубликован в сборнике «Загадка озера Кара-Нор». В переводе на туркменский язык — в сборнике «Голубые дали Азии».

4. «ЗАПИСКИ «ВСАДНИКА»

В. Ян говорил, что писатель должен до последней возможности создавать художественные произведения, являющиеся феноменом свободного полета фантазии, и лишь при полном иссякании родника оригинального творчества может переходить к мемуарам.

Этому принципу он следовал до преклонных лет.

Все же уже на восьмом десятилетии жизни по моему настоянию он набросал план своих воспоминаний.

Но поставил условием, что сам писать мемуары не станет, а это будет моя запись его рассказа о «Картинах времени и жизни В. Яна», какую он где нужно подправит.

Зимой 1947/48 годов мы часто встречались. Придерживаясь своего плана, он рассказывал о пережитом, об ушедших в небытие временах и людях.

Наскоро конспектируя беседу, я потом по записи и памяти восстанавливал рассказ. Обычно, к следующей встрече приносил для просмотра то, что записал, и мы продвигались дальше.

Работая таким образом, к весне 1948 года мы записали детские, юношеские и молодые годы моего отца, первые тридцать лет его жизни. Продолжить запись дальше не удалось.

Черновая рукопись ждала своего дня почти десять лет. К тому времени В. Яна уже не было в живых.

В середине пятидесятых годов, готовя эту рукопись к печати, я дополнил ее тем немногим, о чем мог вспомнить из других бесед, заимствовать из семейного и литературного архивов, писем, воспоминаний нашей родни, друзей и знакомых, документов, публикаций и других достоверных источников.

Пришлось также снабдить ее примечаниями и комментарием, нужным для связи событий и проявления неясных мест, малознакомых или вовсе неизвестных современному читателю.

Первые две части записи — «На заре туманной юности» и «Хождение по России» — опубликованы в ежегодниках «Детская литература» за 1971 и 1972 годы; выдержки из них печатались в журналах «Нева» и «Звезда», еженедельнике «Литературная Россия»; «Литературной газете».

Третья часть записи, «Голубые дали Азии», рассказывающая о первом периоде пребывания В. Яна в Средней Азии (1901—1904 годы), в сокращенном виде опубликована журналами «Ашхабад», (1961, № 3) и «Подъем» (1975, № 1).

В канун первой мировой войны, по впечатлениям от своих среднеазиатских скитаний, В. Ян написал повесть «Конь, винтовка и пустыня», но, недовольный ею, сжег рукопись.

В советское время он замышлял объединить свои среднеазиат-

ские рассказы, уже опубликованные, и добавить к ним новые, чтобы получилась книжка «Записки всадника», как бы продолжение его «Записок пешехода».

Теперь этот замысел писателя выполняют его рассказы и путевые заметки «Голубые дали Азии», включенные в сборник.

Издание сборника повестей и рассказов В. Яна в 1985 году отмечает 110-летие со дня его рождения и 40-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в достижение которой внесли свой вклад и патриотические книги писателя.

За три десятилетия, истекших после кончины В. Яна (1954), интерес к его произведениям, получившим широкое признание в годы второй мировой войны, не угас с ее окончанием, но расширился.

По неполным данным число изданий книг В. Яна в нашей стране и за рубежом превысило 320, общим тиражом более 20 миллионов экземпляров. Наиболее популярны повести «Чингиз-хан» (издан более 100 раз) и «Батый» (около 80 раз), переведенные на 50 языков в 30 странах.

Его книги изданы в переводах на языки советских республик, в социалистических странах, крупнейших странах Азии, Европы, Австралии, Южной и Северной Америки.

Объяснение такому интересу читателей можно найти в словах писателя о своем творчестве: «В моих книгах я старался рассказать о героизме мирных народов, дававших мужественный отпор любым вторгавшимся в их земли хищникам, желавшим их поработить, несшим смерть, горе и разрушение.

Я хотел, чтобы мои читатели видели, какой ужас и падение культуры приносят с собой захватнические войны, и чтобы они яснее осознали, какую огромную борьбу пришлось вынести нашим предкам для защиты родной земли.

Только в прекрасном созидательном труде, в мирном сотрудничестве всех свободолюбивых народов — залог счастья человечества. И мой труд — посильная доля, вносимая в общее дело торжества справедливости и добра, в великую идею мира!..»

М. В. Янчевецкий

СОДЕРЖАНИЕ

Ян В. Г.

Я 60 Огни на курганах: Повести, рассказы.— М.: Советский писатель, 1985.— 704 с.

В книгу «Огни на курганах» известного советского писателя Василия Яна (1875—1954) входит одноименная повесть о нашествии Александра Македонского. Героической борьбе с иноземными захватчиками посвящена и повесть «На крыльях мужества», в центре которой — герой среднеазиатских народных преданий Джелаль-эд-Дин. В книгу вошли также рассказы и путевые заметки писателя о Средней Азии.

Я $\frac{4702010200-384}{083(02)-85}$ 158—85 **ББК 84.Р7**

Составитель
Михаил Васильевич Янчевецкий

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЯН

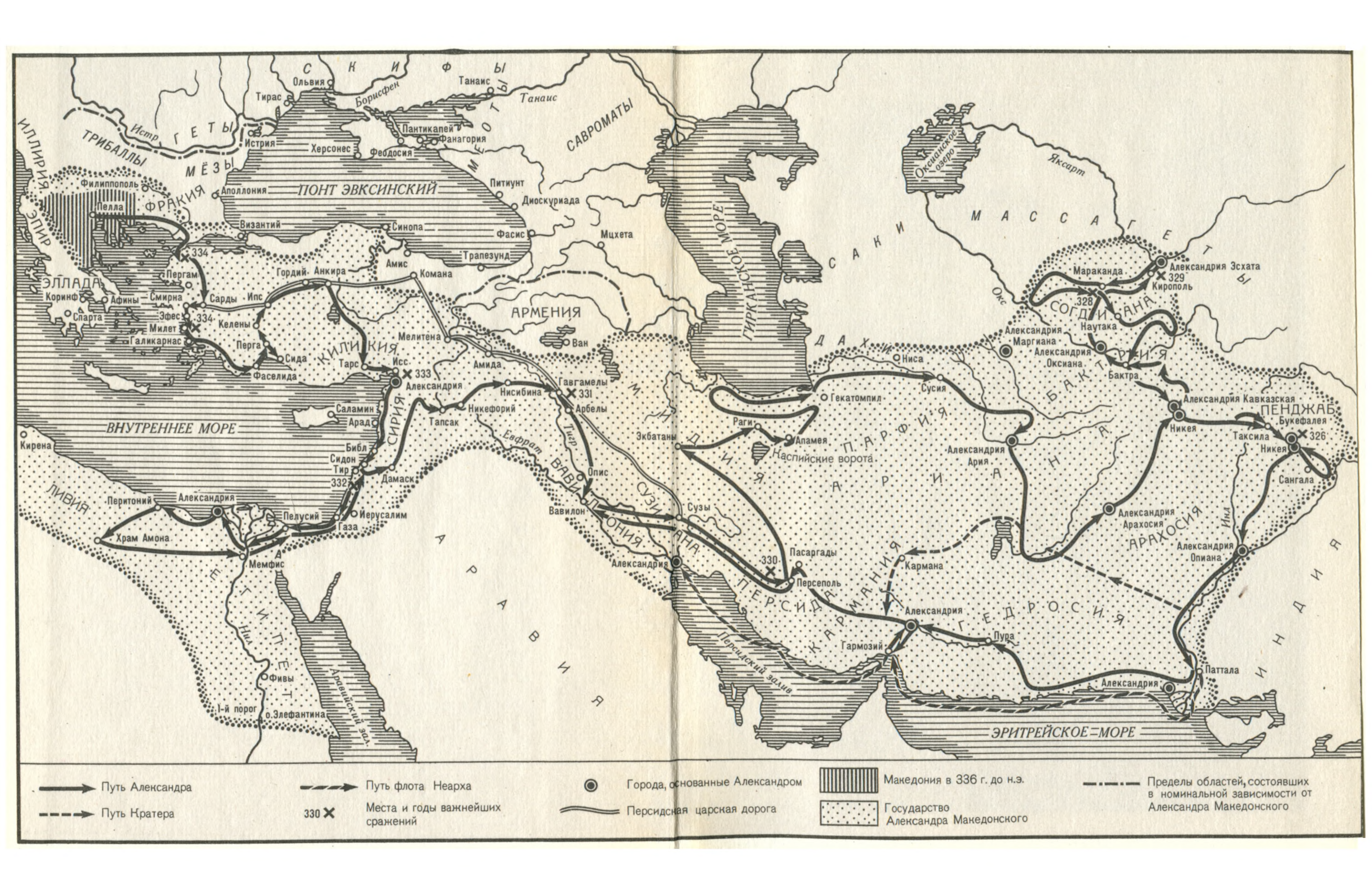
ОГНИ НА КУРГАНАХ

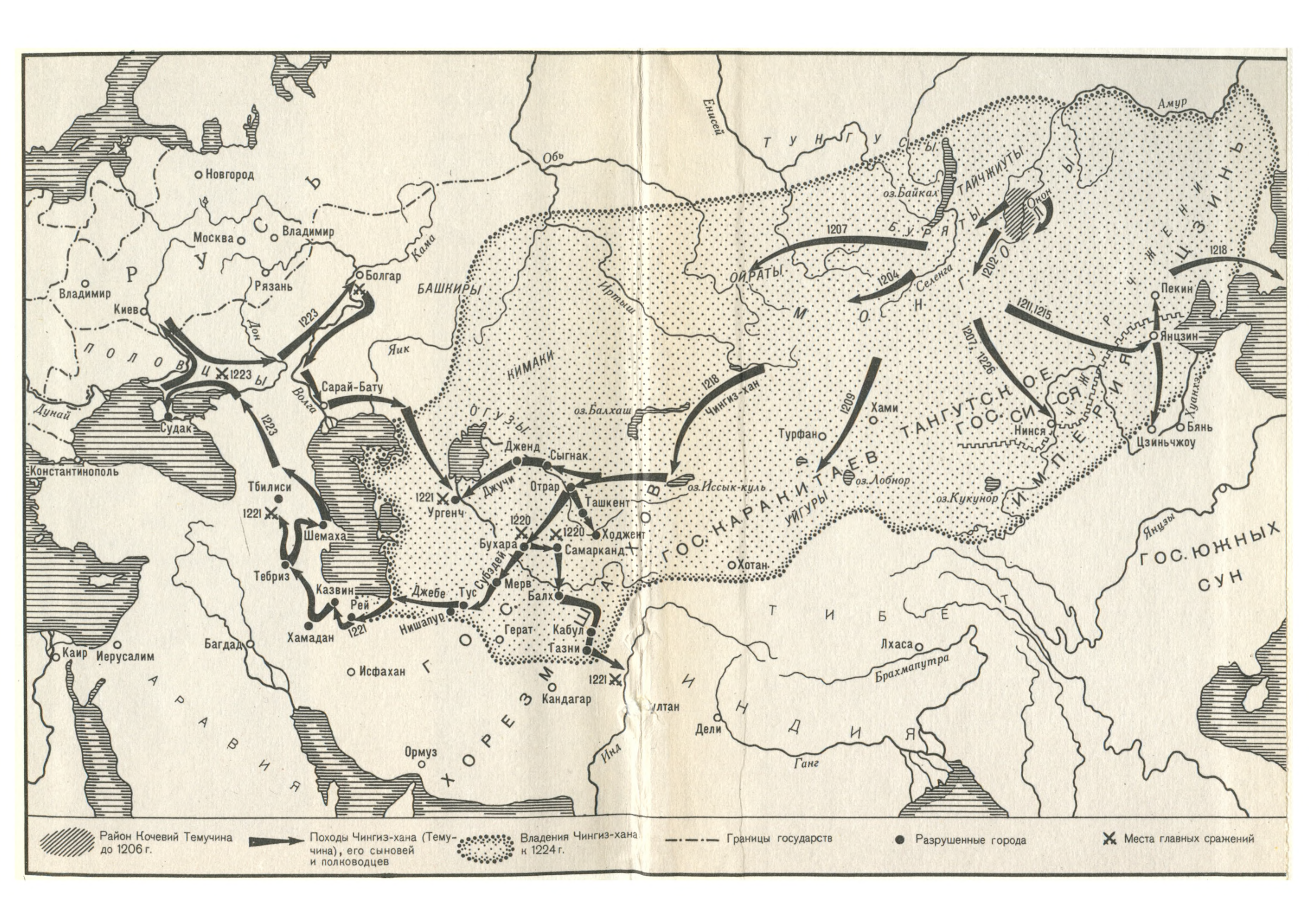
М., «Советский писатель», 1985, 704 стр.
План выпуска 1985 г. № 158

Редактор *И. Ю. Ковалева*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*
Корректор *Б. Ш. Котт*

ИБ № 4962

Сдано в набор 15.03.85. Подписано к печати 16.10.85. А 14133. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 36,96. Уч.-изд. л. 42,21. Тираж 100 000 экз. Заказ № 165. Цена 2 р. 90 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109


С К И Ф Ы
Ольвия
Танаис
Тирас
Борисфен
Танаис
Пантикапей
Фанагория
Истр
Г Е Т Ы
Истрия
ИЛЛИРИЯ
ТРИБАЛЛЫ
Херсонес
Феодосия
САВРОМАТЫ
М Е О Т Ы
МЁЗЫ
Филиппополь
ФРАКИЯ
Аполлония
ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ
Питиунт
Диоскуриада
ЭПИР
Пелла
Византий
Синопа
Фасис
Мцхета
Трапезунд
Амис
334
Пергам
ЭЛЛАДА
Гордий
Анкира
Комана
Коринф
Афины
Смирна
Сарды
Ипс
Спарта
Эфес
334
Милет
Келены
АРМЕНИЯ
Галикарнас
Перга
Сида
Мелитена
Ван
КИЛИКИЯ
Тарс
Исс
333
Фаселида
Амида
Александрия
Нисибина
Гавгамелы
331
Арбелы
Саламин
Арад
Никефорий
Тапсак
ВНУТРЕННЕЕ МОРЕ
СИРИЯ
Кирена
Библ
Сидон
Тир
332
Дамаск
Евфрат
Тигр
ЛИВИЯ
Перитоний
Александрия
Пелусий
Иерусалим
Газа
Опис
Вавилон
ВАВИЛОНИЯ
Храм Амона
Мемфис
Е Г И П Е Т
А Р А В И Я
Нил
Фивы
I-й порог
о. Элефантина
Аравийский зал.
ГИРКАНСКОЕ МОРЕ
Оксианское озеро
Яксарт
М А С С А Г Е Т Ы
С А К И
Окс
Александрия Эсхата
329
Мараканда
328
Кирополь
СОГДИАНА
Наутака
ДАХИ
Александрия Маргиана
Александрия Оксиана
Ниса
Бактра
БАКТРИЯ
Гекатомпил
Сусия
Александрия Кавказская
ПЕНДЖАБ
Букефалея
Никея
326
Таксила
Никея
Сангала
Раги
Апамея
Экбатаны
М Е Д И Я
ПАРФИЯ
Каспийские ворота
Александрия Ария
А Р И А Н А
Сузы
СУЗИАНА
Александрия Арахосия
АРАХОСИЯ
Инд
Пасаргады
330
Персеполь
Александрия
Кармана
Александрия Опиана
И Н Д И Я
ПЕРСИДА
КАРМАНИЯ
Александрия
Г Е Д Р О С И Я
Пура
Гармозий
Персидский залив
Паттала
Александрия
ЭРИТРЕЙСКОЕ МОРЕ
Путь Александра
Путь Кратера
Путь флота Неарха
330 — Места и годы важнейших сражений
Города, основанные Александром
Персидская царская дорога
Македония в 336 г. до н.э.
Государство Александра Македонского
Пределы областей, состоявших в номинальной зависимости от Александра Македонского


Новгород
Москва
Владимир
Рязань
Владимир
Киев
Болгар
Кама
БАШКИРЫ
Р У С Ь
П О Л О В Ц Ы
Дон
Волга
Дунай
Яик
Обь
Иртыш
Енисей
Т У Н Г У С Ы
оз.Байкал
ТАЙЧЖИУТЫ
Онон
Б У Р Я Т Ы
ОЙРАТЫ
Селенга
М О Н Г О Л Ы
Амур
Ц З И Н Ь
И М П Е Р И Я Ч Ж У Р Ч Ж Е Н Е Й
Пекин
Янцзин
Цзиньчжоу
Бянь
Хуанхэ
Нинся
ГОС. СИ-СЯ
ТАНГУТСКОЕ
Хами
Турфан
оз.Лобнор
оз.Кукунор
УЙГУРЫ
ГОС. КАРАКИТАЕВ
оз.Иссык-куль
оз.Балхаш
КИМАКИ
О г у з ы
Сарай-Бату
Судак
Константинополь
Тбилиси
Шемаха
Тебриз
Казвин
Рей
Хамадан
Багдад
Каир
Иерусалим
Исфахан
А Р А В И Я
Ургенч
Дженд
Сыгнак
Отрар
Ташкент
Ходжент
Бухара
Самарканд
Джучи
Субэдей
Джебе
Мерв
Тус
Нишапур
Балх
Герат
Кабул
Газни
Кандагар
Ормуз
ГОС. ХОРЕЗМШАХОВ
Чингиз-хан
Хотан
Т И Б Е Т
Лхаса
Брахмапутра
Дели
Ганг
Инд
И Н Д И Я
Янцзы
ГОС. ЮЖНЫХ СУН
1223
1221
1220
1218
1209
1207
1204
1202
1211, 1215
1207, 1226
Район Кочевий Темучина до 1206 г.
Походы Чингиз-хана (Темучина), его сыновей и полководцев
Владения Чингиз-хана к 1224 г.
Границы государств
Разрушенные города
Места главных сражений